ВСЕВОЛОД



ИВАНОВ

Scan Kreyder - 23.01.2018 - STERLITAMAK



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ВСЕВОЛОД

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

•

Издание осуществляется под общей редакцией А. Пузикова, Т. Ивановой, С. Сартанова

•

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

ИВАНОВ

ТОМ ШЕСТОЙ

●

ПАРХОМЕНКО

роман

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Р2
И20

Комментарии
Л. ИВАНОВОЙ, Е. КРАСНОЩЕКОВОЙ,
А. МЕЛЬЧИНА

Оформление художника
Л. ЧЕРНЫШЕВА

© Комментарии. Приложение. Издательство «Художественная литература», Москва, 1976 г.

И $\frac{70302-122}{028(01)-76}$ подписное

ПАРХОМЕНКО

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В октябре 1905 года рабочая Москва начала всеобщую забастовку. Через несколько дней забастовка эта охватила почти всю Россию; одних только промышленных рабочих участвовало в забастовке до миллиона. В Харькове, Екатеринославе, Одессе воздвигались баррикады. Царское правительство испугалось, и 17 октября появился манифест царя Николая, обещавший всяческие свободы. Царь, как и всегда, хотел обмануть народ. И русские рабочие продолжали забастовку, демонстрируя на улицах городов свой протест против «свобод» манифеста 17 октября.

Шла забастовка и в Луганске, крупном промышленном городе Екатеринославской губернии. Готовилась и демонстрация протеста. Демонстрацию эту поручено было вести молодому рабочему Александру Пархоменко. И демонстранты и Александр Пархоменко хорошо знали, что во всех промышленных городах против бастующих рабочих двинуты банды погромщиков, так называемые «черные сотни», и что собираются войска и полиция. Демонстранты знали это и готовы были к схватке.

Рабочие, распевая «Варшавянку» и выдвинув вперед знаменосцев, приближались к Успенскому скверу, где их ждали черносотенцы, обещавшие дворянству и купечеству Луганска окончательно разгромить демонстрацию или «лечь костьми».

Все утро и всю предыдущую ночь шел дождь. К полудню просветлело, а затем опять показались рыхлые, холодные, иссиня-темные тучи. Дул пронизывающий ветер, заглушавший голоса. Недавно выкрашенная розовая Успенская церковь заслоняла уходящее солнце. Белые голуби, готовясь к ночлегу, кружились возле ее

куполов. Листья тополей, звенящие, тронутые первым морозом, не хотели, казалось, покидать сквер и неохотно летели в уличные колеи.

— И-иду-у-ут! — послышался из сквера чей-то пронзительный и ненавидящий голос.

И тотчас же из сквера и из церкви, навстречу демонстрантам, кинулись черносотенцы, крича:

— Бе-ей!

— Торопись, торопись, молодцы! Сейчас казаки на подмогу придут! — кричал широкоплечий человек, весь лоснящийся, как бы свежепокрашенный, от глаз, прикрытых козырьком, до узких щегольских сапог.

Это был староста Успенской церкви и торговец москательными товарами Чамуков, личность в коммерческом мире весьма почтенная, хотя всем было известно, что он пьет запоем, бьет каждодневно жену и детей так, что старший сын его горбат от побоев. Но больше всего он был известен обывателям нелепым своим самодурством, в котором они находили какой-то широкий и многозначительный ум. Прошлой масленицей, например, он велел повесить свою дворовую собаку за то, что она залаяла на него, когда он шел от вечерни. Собаку повесили в саду на дереве, она висела несколько дней, и обыватели говорили об этом чуть ли не целый год. Не меньшим признаком ума считалось и то, что Чамуков, состоя членом правления городского банка, ухитрился безнаказанно украсть половину банковских капиталов, внес часть этих капиталов в черносотенный «Союз Михаила Архангела» и стал главою луганского отделения этого союза.

Сейчас Чамуков вел толпу черносотенцев, чтобы разогнать демонстрацию рабочих. Он приказал идти своим приказчикам, и приказчики, гонимые его самодурством, а того более призраком безработицы, пошли; шли также мелкие базарные торговцы, переодетые сыщики и жандармы и всевозможная шпана, которую набрали на «толкучке» и которой обещали хорошо заплатить. Среди этой толпы шла и «интеллигенция», которой Чамуков очень гордился. Это были, кроме его сына Николая, сын помещика и предводителя дворянства Славяно-Сербского уезда Геннадий Ильенко, студент Киевского технологического института Эрнст Штрауб и кадет старших классов Киевского кадетского корпуса Быков.

С Быковым Геннадий и Эрнст познакомились в поезде. Мысли их о происходящих политических событиях совпадали. Быков, несмотря на свою юность, сформулировал их с выразительностью Цезаря: «Плетей!» Они сходились также и на том, что внеочередные каникулы, которые получились благодаря забастовке,— очень хорошая вещь, но что желательно было б отдыхать не по причине бессмысленных забастовок, а, скажем, после похмелья или вообще когда тебе самому захочется.

Толпа черносотенцев,— несмотря на то что юноши из «интеллигенции» всячески подбадривали ее, показывая привезенные из Киева кинжалы с вытисненным на рукоятке двуглавым орлом,— толпа чувствовала себя тревожно. Рабочие внушали ей опасение. Поговаривали, что они обучены в подполье всяким военным штукам, что их казачьими шашками, а не то что двуглавым орлом, не испугаешь, да и к тому же предводительствует ими Пархоменко — известный силач и смельчага. Известно было также, что ранним утром эти же самые рабочие подходили к тюрьме освобождать политических и что отошли только тогда, когда конные полицейские начали строиться, и отошли только для того, чтобы направиться к заводу Гартмана, где к демонстрантам присоединился новый отряд, будто бы вооруженный бомбами.

Между двумя напряженно и медленно сближающимися толпами видна была лужа с тонкими, синеватыми и зазубренными льдинками по краям. Возле лужи, в колею, спустились голуби. Один, с рыжеватым хохолком, клевал особенно быстро, поглядывая на сходившихся и тяжело дышавших людей, как бы говоря: пусть солнце закатывается, а я успею-таки наклеваться! А в отпечатке большого копыта очень удобно пристроился воробей, хотя перед ним пищи не было, а блестели шлепок дегтя и сломанная втулка. Возле лужи поскрипывал полуоторванной дверцей уличный фонарь.

Рабочие переговаривались не о том, стоит или не стоит разгонять черносотенцев,— об этом не могло быть и разговоров,— а о том, как поскорей разогнать. Особенно выросло это желание, когда рабочие разглядели в толпе торговца Чамукова. Это и выгнуло демонстрацию подобно натянутой тетиве лука.

Александр Пархоменко, ведший демонстрацию по поручению луганских большевиков и находившийся

в центре тетивы, оглядел ряды. Рабочие сами шли, как лучше и не придумать. По краям демонстрации пустили наиболее смелых и крепких, чтобы в случае обстрела или провокации из обывательских домов эти рабочие могли воздействовать на толпу. Теперь же стремительность и храбрость увлекли их вперед. Черносотенцы шли по-другому. Им не приходилось опасаться обывателей или полиции, а значит, они не прикрывали сторон, и самые сильные шли посредине улицы рядом с Чамуковым.

— Совсем хорошо,— сказал Пархоменко. — Передай по рядам, пускай товарищи хлынут вправо. Первый удар — сбоку! Прямо бить — это уже под конец надо! А сначала всегда бей сбоку, — добавил он, передавая, быть может, не свою мысль, а выработанную практикой в степных походах предками его, казачьей вольницей.

Пархоменко, заложив руки за спину, изредка весело оглядываясь и смеясь, пошел вперед. На плечах у него было накинуто легкое осеннее пальто с плюшевым воротником. Он слегка повел плечами, как бы проверяя, удобно ли его скинуть в случае чего. По тому, как быстро передали его приказание, он понял, что демонстрация не сорвется и правильно, что послали заводских мальчишек узнать, где собираются черносотенцы, поверили им и, завидя Успенский сквер, быстро перестроили первые ряды, удалив из них уставших.

Чамукову осталось и до Пархоменко и до поющих знаменосцев едва ли двадцать шагов. Пархоменко уже видел его лоснящееся лицо, широко раскрытый рот с большими зубами, синюю фуражку, сдвинутую на ухо. Чамуков высоко поднял длинное березовое полено. Голуби, а за ними и воробей поднялись в воздух. Чамуков, ступив на льдинки, перескочил через лужу.

Но тут сбоку в сквере раздался протяжный испуганный вой. Приказчики остановились. Голоса, видимо, показались им знакомыми. Что-то грохнуло, зазвенело; как узнали впоследствии, упал киоск, опрокинутый теми, кого Пархоменко послал «бить сбоку». Хитрость удалась! Черносотенцы, решив, что их будут сейчас громить с боков и с тыла, дрогнули...

— Бомбы бросают! — крикнул кто-то.

Чамуков остановился. Черносотенцы побежали — и не направо, откуда доносились крики, а налево. Приказчиков уже не было. Какой-то лавочник, тощий и

низенький, в длинной поддевке, перекрестился и полез на фонарь.

Чамуков бросил полено и тоже побежал. Штрауб попытался остановить его, выхватив кинжал. Чамуков ударил его кулаком по кисти руки. Кинжал выпал. «С оружием поймают, убьют!» — крикнул Чамуков, но Штрауб не расслышал его слов. Он наклонился, чтобы поднять кинжал: ему жалко было терять это оружие. Толпа смяла его. Он упал. По нему бежали, его топтали. Он пробовал встать и не мог. Под конец какой-то тяжелый, кованый сапог ударил его по виску, и он потерял сознание.

Когда он очнулся, он увидел над собой высокую фигуру. Лицо показалось ему знакомым, но кто это — он не мог вспомнить: очень сильно болела голова. Человек сказал:

— Ничего. Очнулся. Помяли. — И он укоризненно добавил, уже обращаясь к Штраубу: — Вот и помяли; связываетесь со всякой дрянью, а еще студент! Случайно, что ли, попал?

— Нет, не случайно,— сказал Штрауб, вставая. — Вы — Пархоменко? Так вот: у вас одни убеждения, а у меня другие, противоположные.

— Ну, и идите вы с другими убеждениями в сторону! А то ребята вам еще раз бока намнут. А за мундир мне ваш — стыдно. Студентов мы привыкли по-другому понимать.

— Пархоменко-о! Саша-а!

— Иду-у...

Штрауб шел к дому Чамукова среди толпы рабочих, и чем теснее сжимала его эта толпа, тем больше он ненавидел ее. «Нет, не плетей, а винтовок, винтовок!» — шептал он про себя.

Тем временем рабочих охватывало все более и более радостное, почти счастливое волнение. Они пели, и, хотя поющих не прибавилось, голоса их стали как будто гуще. Знамена казались непередаваемо пурпурными и легкими. Полиция заперлась в участках, заставив шкафами двери, а телегами ворота. К демонстрантам пришли жены и дети с гостинцами. До поздней ночи они смотрели на поющих и шагающих.

Пользуясь покровом ночи, все возле того же Успенского сквера, конные полицейские выскочили из тьмы и бросились с обнаженными шашками на демонстрантов,

распевавших в сквере революционные песни. Демонстранты расступились, как приказал им Пархоменко. Полицейские, решив, что демонстранты бегут, ворвались в сквер.

— Сомкнись! — крикнул Пархоменко. — Тяни с коней!

Толпа молча хлынула к полицейским. Пархоменко стащил с коня самого высокого, который занес было над ним шашку.

— Не умеешь, не берись воевать,— сказал Пархоменко полицейскому, который жалобно вопил, что лишь нужда заставила его служить царю... Пархоменко расседлал коня, кинул седло через забор. Конь, легко стуча копытами, ускакал... Пархоменко следил за его бегом. Он любил коней. А кроме того, это был первый плененный им конь!

Ночь не спали. Организаторы шествия были довольны Пархоменко. Усталый, пыльный, жаркий, он пил воду из большого ковша и говорил:

— Теперь не полезут. Мертвец — эта черная сотня!

В конспиративной квартире на столе разбросаны только что полученные из Петербурга большевистские издания. Барев, рабочий с крупной седой головою, рассортировывал брошюры. Перед ним лежал список — на какой завод или шахту какая требовалась литература. Литературы не хватало. Особенно брошюр, написанных Лениным! И Барев неторопливо и бережно брал брошюры в красных, серых и оранжевых обложках, подолгу размышляя над каждой, куда ее направить. Так опытный артиллерист выбирает наиболее поражаемые места у противника, чтобы туда направить огонь своих орудий.

— Читал? — показывая Пархоменко одну из книг Ленина, спросил Барев. — Хорошо написано, каждое слово наизусть изучать надо...

Тогда Пархоменко, счастливо улыбаясь всем своим юным и свежим лицом, осторожно достал из внутреннего кармана пиджака небольшой сверток газетной бумаги. Внутри свертка лежала как раз та книга Ленина «Что делать?», на которую указывал Барев.

— А я ее — наизусть,— сказал торопливо Пархоменко. — Хочешь, буду говорить, а ты следи? Мне,

да Ленина не знать! Барев, а ты его в лицо не видал?

— А зачем тебе лично Ленин?

— Думы! Ты рассчитываешь — молод, так и дум нету?

— Этого я не рассчитываю, Саша. А вот только ты напрасно рассчитываешь, что черная сотня теперь на нас не полезет! Полезет! Ты, Саша, демонстрацию вел умело и разогнал черную сотню замечательно, а все-таки я б на твоем месте так не заносился. Черная сотня, верно,— мертвец! Но, брат, в мертвеце-то трупный яд есть...

— Что же, завтра на заводы полезут? — спросил Пархоменко.

— Зачем же им на завод? Завод их опять отгонит. Нет, они за слабых возьмутся. Быть завтра еврейскому погрому, товарищи.

И точно, на рассвете прибежал заводской мальчишка и сказал, что в чайной «Союза русского народа» лавочники готовятся бить евреев, что охранники и полицейские переодеваются.

Пархоменко вскочил. Высокий, почти упираясь в потолок кухни, он глядел жадными серыми глазами на седого большеголового рабочего, который, держа список в левой руке, проверял, так ли разложил брошюры. Предстояло заседание. Седой рабочий Барев знал многое, и его слушались. А сейчас Пархоменко казалось, что Барев хотя и одобрил ведение демонстрации, но не одобрил бахвальства, которое он услышал от Пархоменко. Да ведь какое же бахвальство? Великая штука — выгнать из сквера черносотенцев, ударить им сбоку! Вот сейчас предстоит дело. И Пархоменко увидал себя на баррикаде посреди улицы. Охранники, полицейские с винтовками наперевес идут к баррикаде. Присоединяются еще и жандармы, Пархоменко подпускает цепь, командует: «Огонь!» Цепь черносотенцев падает, и всюду кричат...

Он сказал:

— Прошу поручить мне и баррикады, и защиту слабых, и недопущение погрома.

— Баррикады будут, когда прикажет партия,— сказал рабочий Барев. Без укора, а разъясняя, он повторил: — Когда прикажет партия, а не когда нас будут провоцировать охранники! И на погром мы должны

ответить не баррикадой, а отбросить их метлой, — дать им знать, что не таков Луганск, не таков его рабочий и не таков город, чтобы принимать на себя позор погромов...

Пархоменко опять не вытерпел:

— А разрешаете ли применять оружие, если охранка идет против беззащитных с ножом?

— Это уж, как ты, Саша, сызмальства понял.

ГЛАВА ВТОРАЯ

И действительно, Саша Пархоменко, как и большинство детей его возраста и его судьбы, сызмальства видел страдание, отовсюду наступавшее на народ. Родное его село Макаров Яр заселили триста лет назад ссыльными, и как началась несправедливая и жестокая жизнь, так и продолжалась. Село находилось в ложбине. Вокруг, сажен на сто, поднимались холмы. В одном месте они раздвигались, и по легкому увалу можно было выйти в широкую и просторную степь. Но и в степи жизнь была и неширокая и не просторная.

Степь и все усадьбы по эту сторону Донца принадлежат помещику Ильенко. По ту сторону реки расположился большой и веселый лес. Но лес этот принадлежит казакам, а они даже хворост не разрешают собирать «макаровцам». Жил в Макаровом Яру сказочник — бондарь Еремин. Дети любили его. Пошел бондарь в лес набирать лозы для ободьев, а казаки так его избили там, что он помер через пять дней. Погонишь в степь пасти волов, заберет помещик и наложит штраф. Оттого-то Яков Пархоменко, отец Саши, не любил заниматься хозяйством, а промышлял то горшечничеством, то лошадьми. Впрочем, промысел этот был особый. Большая семья не позволяла отцу накопить денег свыше пяти рублей, а за пять рублей какую же купишь лошадь? Однако любую шваль отец ухитрялся откормить, а продать уж легко. Продаст, а выходит, что прибыли никакой нет, — поневоле выручку пропьешь и отправишься бродяжничать, искать выгодного коня за пять рублей. Помогая отцу откармливать кляч, Саша полюбил коней и сразу же, когда стал сам зарабатывать деньги, купил книгу «Уход за лошадью».

Но пока он дошел до этой книги, жить было тяжко. Семья громадная, кому ухаживать за младшими? Саша проучился в школе только два года. К ученью, как и ко всему остальному в мире, он относился добросовестно — даже катехизис пробовал наизусть выучить. И младших своих братьев он воспитывал добросовестно, но, быстро усвоив все несложные деревенские методы воспитания, заскучал и попросился, чтобы его определили на другую работу. Вместе с братьями и матерью он полол просо у помещика за пятнадцать копеек в день с приварком — пшенным супом. Когда подрос, работал погонщиком волов.

Спускаясь по увалу в лощину, он оглядывался на дорогу. Стлалась теплая пыль. Шагали вразвалку волы. Дорога вела в Луганск. Там дед его работал водовозом, продавая каждое ведро по копейке. Саша представлял себе громадную, не такую, какую приводит отец, лошадь и сверкающую под солнцем бочку, из которой дед в кумачовой рубахе серебристым ведром черпает необычайно чистую воду. Вычерпает, бросит на дно бочки блестящие копейки и едет по Луганску, закручивая усы.

— Пусти в Луганск, батя,— сказал Саша отцу.— Хочу водовозом быть. Накоплю десять рублей, настоящую лошадь купишь.

Отцу понравилась заботливость сына.

— Двенадцать бы тебе рублей накопить,— сказал мечтательно Яков, давая сыну на дорогу краюху и адрес деда. — За двенадцать рублей такого бы конягу выбрали...

Дед встретил внука сурово. Саше понравилось, что к промыслу своему дед относился с большим достоинством. Дед отказал внуку, подозревая, что он тоскует по шальной городской жизни, а не по развозу воды, и определили его в колбасное заведение за три рубля в месяц на хозяйских харчах.

— Колбаса не вода, ее небрежностью не испортишь,— сказал дед.

Саша Пархоменко ходил по улицам с корзинкой, выкрикивая:

— Колбасы, хорошие колбасы!

А когда его встречал дед, то старик останавливал гнедую свою кобылу, клал мокрые вожжи на колени, покупал на пятак колбасы и, громко чавкая, говорил:

— Добросовестное колбасное заведение. Сала в меру.

Саша узнал, что городу много лет. Основали его запорожцы-казаки, раскинув по берегу Лугани низкие хижины и толстые пушки. Позже нашли тут залежи железняка и каменного угля, пригнали с Урала рабочих, чиновники открыли пушечный завод. Купцы гнали на луганские ярмарки продавать скот. Из Центральной России шли на Дон косари, тощие, в лаптях. А казаки приезжают одетые в просторные белые рубахи, из-под которых выливаются широкие синие шаровары с красными лентами по бокам. Пьяные и загорелые их головы покрыты синими картузами, и когда пойдешь рыбачить, то издали видишь их деревянные дома, крытые тесом, и в каждом доме, говорят, по три теплых комнаты, а на стенах портрет Ермака с широкой серебряной саблей.

В городе на заводах топят сало и делают кожи. Саша стоит у ворот завода. Везут большие бочки с салом и рыжие тюки кожи. Особенно замечательно пахнет кожа. Какие, наверное, можно сделать из нее крепкие сапоги и как далеко уйти! Или из патронного завода вывозят длинные узкие ящики. У них особый, тяжелый и таинственный запах. Это патроны. Увидав мальчонку с веселыми и пытливыми глазами, возчик, не останавливая коней, сгибает громадный палец, и мальчонка подбегает к нему.

— На гривенник,— хрипло говорит возчик. Он берет кусок колбасы и бежит в «питейный», чтобы купить «жулика».

Мальчонка бежит за ним и спрашивает:

— Дяденька, кого это бить, столько патронов-то?

— Кого прикажут,— отвечает возчик. — Попадешь в солдаты, научишься.

Он выпивает «жулика» и крякает на всю улицу так, что куры взметывают крыльями.

С завода Гартмана на вокзал везут какие-то машины и большие инструменты. Там работают, говорят, чуть ли не семь тысяч человек. Завод принадлежит бельгийцам, и однажды Саша видел, как в ворота въезжали два коня, таща кожаное «ландо», в котором сидели бельгийские черноволосые инженеры с толстыми коричневыми папиросами во рту, а за ландо ехала «карета» с архиереем и шли певчие. Возле, в канаве, ле-

жал пьяный босяк, и бельгийский черный инженер посмотрел на него. Босяк закричал:

— Любуйся, заграничная рожа! Погоди, и ты сопьешься!

В тридцати верстах от города есть Успенские каменноугольные копи. Они тоже, говорят, принадлежат бельгийцам. И всем жутко думать о той подлости, хитрости и бесчеловечности, из-за которой люди с толстыми папиросами в зубах, не зная языка чужой страны, не уважая чуждого для них народа, приобрели копи, дома, поставили паровую мельницу и две громадные печи, выплавляющие чугун. И чтобы не думать об этом, люди говорят, что бельгийские инженеры нашли клад и зеленую бутыль особого «изворотливого» зелья,— отсюда и пошло.

Однажды на улице встретился дед. Он спросил было колбасы, но, взглянув в лицо Саши, сказал:

— Вот тебе на! Неужели надоела колбаса? Серьезного дела хочется? Ну, иди в помощники.

Саша был худ, но силен и здоров. Зимой со степи дул такой ветер, что не успеешь влезть на бочку, как уйдет все тепло, сбереженное за ночь, рваный полушубок немедленно обледенеет, ведро рядом звенит, как бубен. И, однако, он, напевая, тащит воду по скользким ступеням и, наполнив громадную бочку, откроет дверь в кухню и спросит, смеясь:

— Еще куда добавить? Наша вода слаще меду!

Кухарки любовались его розовым и смелым лицом и говорили в один голос: «Быть тебе, Сашка, конокрадом».

Мальчик всегда возвращался раньше времени, и дед тщательно доискивался, не пропустил ли помощник заказчика. А все дело было в том, что мальчик составил точное расписание, приноровился к дороге, к лошади, и дед говорил в изумлении:

— Не иначе, Сашка, как содержать тебе извоз!

У госпожи Ярославовой разглядели сноровку водовозова помощника и предложили ему поступить в дворники. Саше выдали тулуп, громадные сапоги, колотушку, двух собак и обещали на водку в двунадесятые праздники. Саша колол дрова, присматривал за коровами, а ночью учил собак влезать на забор и лаять оттуда. Однажды весной он стоял у ворот. Из канавы на тротуар лезла трава. Ему подумалось, что двор вычи-

щен, дров наколото чуть ли не на два года, а хозяева, неизвестно почему, злые, жадные, кормят прислугу плохо, хотя в погребах гниют бочки с продуктами. Мимо проходил инженер Леберен с Каменоватского рудника.

— Сколько тебе лет, дворник? — спросил инженер.

— Четырнадцать.

— По росту тебе двадцать. Значит, пора понять, что у дворника никакой перспективы нет. В лучшем случае превратишься в швейцара. А я только что лакея рассчитал: пьяница и вор. Ступай ко мне — еда отличная и десять рублей жалованья. Будешь называться Серж.

Еда была, точно, отличная, да и лакейская наука не сложна: подавай инженеру пищу, чисти одежду, ходи за папиросами. Всю науку узнал в три дня. Но чем короче наука, тем служить горше. В сущности, здесь при отличнейшей еде было самое несправедливое и жестокое место. Инженер только что женился, и Саша сам видел, как плакал он перед женой от любви и радости, так что Саше самому захотелось любить так же. Но стоило через несколько дней жене уехать к родным, как инженер пригласил каких-то гнусавых девок, и все молодые люди, с виду такие честные, опрятные, совершенно отвратительно напились, плясали, хвастались, кто и сколько взял взяток, как смогли угодить бельгийцам и как ухитрились обмануть рабочих, и чем подлее, жесточе и несправедливее были их поступки, тем громче они хвастались. Но в особенности поразил Сашу один инженер, в золотых очках, с длинными кудрявыми волосами. Он только что отхлестал по щекам девку. Она лежала на полу уже сонная и пьяная. Инженер спросил:

— Лакей! Как фамилия?

— Пархоменко,— хмуро ответил Саша.

— А тебе известно, что здесь, в Луганске, родился великий лексикограф Даль и что он собрал тридцать семь тысяч поговорок и пословиц? Известно тебе такое словесное сокровище?

И вдруг он выпустил такие ругательства, что Пархоменко насупился, засопел и потребовал паспорт у хозяина.

Саша пришел к старшему своему брату Ивану Яковлевичу, который работал на заводе Гартмана, и сказал, что желает учиться какому-нибудь дельному ремеслу.

Он желает жить в порядке. Брат сказал, что посоветуется с приятелями. Рабочие посоветовались, пригласили мастера, угостили его,— и Саша Пархоменко встал учеником у шлифовального станка.

Синевато-черная мгла искрилась, дымилась над заводом. Саша с трепетом шел мимо пыльных зданий, гор угля, рельсов, по которым скользили крошечные паровозики. Тесно, жарко, черно. Но Саше нравятся блестящие валы, рельсы, которых никакие дожди и снега не могут покрыть ржавчиной, разнообразный звон металла и вообще вся повадка и механизм огромного завода. Он с трепетом и страстью изучал силу и ум станка, и очень быстро его перевели на более сложный фрезерный станок. Раз он увидал, как иностранец-инженер, белокурый и жестокий, которого рабочие давно собирались побить, показывал трем барышням завод. Барышни шли, испуганно ступая блестящими ботиночками и приподнимая тремя пальцами юбки, и что-то в их взгляде показалось Саше знакомым. Он вспомнил — и рассмеялся: так и он недавно с недоумением глядел на эту серо-синюю диковину — завод.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Но человеческая жизнь была здесь, в этих стенах, среди ловких машин, построенных очень учеными и умными людьми, еще более жестокой и несправедливой. Работали по одиннадцати часов в день, да и ходить на работу надо было чуть ли не за пять верст. Квартиры дороги, пища плохая, завод окружен кабаками, будто, кроме кабаков, рабочие ничего не должны видеть. Если кто-нибудь на заводе пытался говорить вслух правду, его сразу же рассчитывали, а тому, кто лгал, притворялся или уважал попов, а того больше — полицию, платили лучше и быстро делали его мастером.

Как только Саша Пархоменко понял эту несправедливость, он обратился к брату. Иван послушал его и сказал:

— Есть у нас, Саша, собрания.

— Где? Где?

— Ход со степи,— уклончиво ответил брат.

Через несколько дней он повел Сашу на массовку в Орловскую балку. Они долго шли в темноте, мимо

караульных, встававших из кустов. В балке горел костер, сидели рабочие.

Андрей, агитатор, приехавший из Петербурга, объяснял программу большевиков. Огонь справедливых мыслей ошеломляюще ударил в сердце Пархоменко. Саша перевел взор на костер, да так и не сводил до конца массовки. Его охватило целиком то изумительное и вдохновенное чувство, которое тогда бурно разливалось по стране и которое стало самым возвышенным и плодотворным из всех чувств, когда-либо охватывавших мир.

Со степи в балку дует ветер, неся запах полыни. Костер потухает. Массовка окончилась. Рабочие разошлись. Осталось несколько человек. Брат Иван достает из углей картошку и сыплет на дно фуражки соль. Тихо. Луна уходит, и тени лежат аспидно-черные.

Крановщик Ворошилов лежит на спине, закинув за голову руки, и смотрит в небо, где голубовато блестят звезды. Скоро утро. На каблуке у Ворошилова поблескивает сырой неотставший кусок глины.

Горят внутри, как угли, те же думы, что у рабочих Лондона, Сиднея, Парижа, Коломбо, то желание свободы и власти, что и у рабочих всего мира. И мысли эти столь величественны, что Пархоменко почти жутко переспрашивать:

— Ребята, а ведь это будет?

— А чего не быть? Заводы выстроили мы, шахты выкопали мы. Ну, обманом они их захватили. А обман — нитка, не проволока, порвем, — говорит крановщик.

— Жизнь отдам, чтоб было. Всю! — Пархоменко стучит кулаком по колену, и ему слегка обидно, что ребята в такое время чистят картошку и посыпают ее крупной солью. — А в партию я могу надеяться, ребята?

— Партию выстроили тоже мы, рабочие. Чего ж не надеяться на партию рабочему? — говорит крановщик Ворошилов и подбрасывает сучьев в костер. — Походишь, походишь, наткнешься и на партийных.

— Партийные-то вон из Питера приезжают. В Питер мне ехать, что ли, чтоб наткнуться?

— Из Питера приезжают потому, что луганских опасно выпускать, провокаторы стоят не только на углах, они пробираются и поближе к нам. Выпусти, а за-

втра тебя и поймают. Я подозреваю, что питерские ездят к нам, а луганские — в Питер.

— Значит, и в Луганске есть партийные?

— Твердо не скажу, но подозрение есть,— ответил, ухмыльнувшись, крановщик и опять лег на спину. Сучья разгорелись и освещали его уже всего. Лежал он недолго: приподнявшись на локте, он пристально взглянул на Пархоменко. — У тебя есть революционный жар, Саша. Это хорошо! А партийные в Луганске... помоему, ведь это партийные получали сочинения Ленина и раздавали рабочим, ты как думаешь?

— Партийные! Я это давно знаю. А вот я?.. Я-то буду в партии, Климент?

— Будешь, думаю. Эх, хорошая ночка, товарищи! Жаль и домой уходить. А светает... пора, как раз к гудку успеем.

Вскоре Климент Ворошилов поручил Александру раздавать прокламации. Казалось бы, чего трудного раздать прокламации на крупном машиностроительном заводе, где много квалифицированных рабочих, привыкших к стойкой борьбе? А трудно потому, что девятнадцатый год тебе и редко кто пожелает разговаривать с мальчишкой; трудно и потому, что надо не сротозейничать и не напороться на провокаторов, которые надевают самые революционные личины. И, однако, с Пархоменко разговаривали, брали у него прокламации, читали, и ни одна прокламация не попала к провокатору. Через три месяца он вступил в партию. Он получил партийную кличку «Лавруша».

— Теперь действуй, Лавруша, — сказал ему Ворошилов.

* * *

Вот почему, когда девятнадцатилетний Александр Пархоменко сказал, просясь на баррикады, что он понял сызмальства зов партии и рабочих, то это не было бахвальством, а было подведением итогов борьбы против страданий, и не столько своих, которые он переносил с легкостью как необычайно волевой, здоровый, выносливый парень, сколько страданий народа. И вот почему после удачного разгрома черносотенцев возле Успенского сквера революционеры Луганска поручили Александру Пархоменко обезопасить 23 октября 1905 года

еврейское население города от погрома черносотенцев, причем седой рабочий Барев сказал:

— Сделаешь это, Пархоменко, так, чтобы «черной сотне» была крепкая память от нас!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Возле ворот конспиративной квартиры Пархоменко уже ждали четверо рабочих. Они тревожно и восторженно глядели на его возмужавшее за одну ночь и, казалось, застывшее в решительности лицо. И тогда сразу, как-то по-особенному, он подумал об этой ночи, наполненной спорами о тактике, легендами о бодрости и смелости, мечтами о восстании рабочих, чтением статей Ленина. И на лицах рабочих он увидел тот же новый и освещающий душу пламень, который охватил его тогда в балке, на массовке.

Улицы были безмолвны и тревожны. Ветер нес низко над городом тонкие резные облака. Рабочие на ходу торопливо говорили: действительно, из Харькова «на подкрепление веры» приехали опытнейшие охранники и пойдут впереди погромщиков вместе с торговцем Чамуковым и переодетым приставом полицейской части, что находится возле гартмановского завода.

— Это тот, с черненькими усиками? Подстриженными? Аварев?

— Аварев? Он самый,— ответил веселый рабочий, разглядывая Пархоменко своими широко открытыми голубыми глазами.

Пархоменко давно и свирепо ненавидел пристава Аварева, как ненавидело его большинство рабочих завода. Аварев избивал рабочих, особенно пьяных, которые попадали в часть, был ближайшим другом Чамукова и все хвастался, что вырежет «гартмановскую головку».

— К ранней пошли. Богу, мол, помолимся, а там и резать начнем. Все пошли — и Аварев, и Чамуков, и охранники.

— Пускай помолятся,— мрачно и тихо сказал Пархоменко. — Может быть, им и не придется больше молиться.

И он роздал рабочим револьверы и патроны.

Они влезли на крышу дома, рядом с синагогой.

Ночью, должно быть, пал ранний иней, швы между железными листами крыши обледенели, и когда рабочие хватались за них, сыпалась белая и звонкая крупа. Легли возле трубы.

В переулках уже звенели стекла и слышалось «Боже, царя храни». Затем с воплем выбежали на улицу женщины. Они тащили толстые одеяла и пухлые свертки. Из свертков сыпалось белье. Женщины бежали к синагоге. Еврей в сюртуке и странной высокой шляпе выскочил из дома. Показался низенький бородатый человек с белым ящиком. Это был часовщик Трабенович. Пархоменко знал его хорошо. Не раз относил к нему чинить часы.

Часовщик очень уважал свое дело и, видя, что заказчик интересуется ремеслами, так складно и любовно объяснял часовой механизм, что Пархоменко казалось — он и сам теперь способен сделать любые часы. Теперь этот часовщик с необычайно бледным лицом, прижимая к плечу шкатулку, раскачиваясь и крича, бежал по улице, причем бежал он не прямо, а как-то петляя.

За часовщиком, улюлюкая и свистя, уверенно и нагло шла толпа черносотенцев. Кое-кто в толпе пел. В середине толпы колыхался портрет императора, с бородой коньячного цвета. Портрет несли два рослых усатых и сутулых человека с такой походкой, глядя на которую сразу можно было назвать их разбойниками и палачами. Справа от портрета императора шел пристав Аварев, а слева — торговец Чамуков.

— Э-э-э-й!.. — выла толпа.

Часовщику до дверей синагоги оставалось шагов двадцать. Чамуков вложил в рот полицейский свисток.

— Стой, жид,— крикнул он, окончив свистеть и вытирая мокрый свисток о полу поддевки.

Еврей остановился. Все так же высоко держа шкатулку, он медленно стал поворачиваться к толпе. Губы его что-то бормотали, но что именно, разобрать было нельзя. Едва только повернулся он к толпе в профиль, как произошло такое неожиданно жестокое и несправедливое, что у рабочих, лежавших на крыше, как бы прервалось сознание. Охранник, несший портрет, сунув руку в карман, дернул ее кверху и выстрелил. Часовщик выронил шкатулку, схватился за живот и упал вперед, лицом к толпе.

Толпа захохотала. Задние ряды начали швырять камни в окна домов. Передние запели гимн, и тем же наглым шагом толпа пошла к синагоге.

— Что делается, что делается? — весь дрожа, сказал Пархоменко. — Не могу я такого издевательства терпеть! За что человека убили?.. Так вот: я наказываю пристава, а вы того, что слева шагает: он еще в ту демонстрацию, возле Успенской церкви, орал на нас... Пли, товарищи!..

Упал портрет императора. Свалился пристав. Хромая, вопя и оставляя за собой кровавый след, лез в толпу торговец Чамуков.

— Бегут?!

— Бегут, товарищ Пархоменко!

— Кажется, и второго залпа не потребуется? Что-то мне легко живется, товарищи! Неужели так всегда будет? — сказал, вытирая бледное, взволнованное лицо, Пархоменко.

Действительно, второго залпа не потребовалось. На повороте улицы черносотенцы несколько задержались и даже стреляли по группе Пархоменко, но выстрелы эти, казалось, были сделаны для того, чтобы перевести дыхание и спрятать затем подальше револьверы.

С того дня торговцы и их подручные уже не решались выходить на улицу, а того более — мечтать о погромах. Правда, для успокоения монархически настроенных дамских сердец, встревоженных тем, что погром не удался, из Москвы привезли в продажу новый сорт шелка — «чайные розовые лепестки». Жене покойного пристава Аварева поднесли в дар алмазные серьги дивной грани, Чамукову, совсем охромевшему,— икону с толстой серебряной ризой. Но как ни молился усердно Чамуков, какие пышные и громогласные молебны ни служили остальные черносотенцы, рабочие побеждали и побеждали!

А для того чтобы в октябре прекратить погром, для того чтобы вооружиться, для того чтобы поднять и вести вооруженное восстание, для того чтобы рабочие могли в декабре 1905 года, когда арестовали руководителя луганских большевиков Климента Ворошилова, пойти осадить тюрьму и заставить полицейских, жандармов и вообще всю тюремную стражу освободить арестованного,— для всего этого необходима была огромная и неустанная работа Луганского комитета

большевиков и передовых рабочих, все более и более вливающихся в партию. Луганская организация была самой сильной во всем Донбассе и подлинно ленинской.

О том, как росла луганская организация и как руководила она рабочими, свидетельствует хотя бы, например, следующий рассказ о февральской забастовке 1905 года на заводе Гартмана.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Сам молодой, Александр учит молодых ребят, как останавливать моторы в цеху,— есть намеки, что некоторые старики не захотят остановить станки. В цеху шесть пролетов, и в каждом пролете мотор. Отдельных моторов у каждого станка тогда не было, а шли к станкам трансмиссии от мощного двигателя.

Завод отдыхает. Моторы выключены. Рабочие идут обедать. Пархоменко в дверях цеха останавливает группа рабочих. Здесь весь забастовочный комитет и еще представители цехов — всего человек восемнадцать.

— Пора начинать,— говорит Ворошилов,— ребята, кажись, готовы?

— Ждали много, больше ждать не можем,— говорит сутулый длинноусый рабочий с воспаленными глазами. — Готовей некуда.

Мимо них проходят рабочие на обед. Они уверенно и смело смотрят в лица большевиков, и по этим взглядам можно понять, что рабочие готовы к яростной борьбе. Александр Пархоменко стоит, прислонившись к двери, весь пылая. Он ждет слов Ворошилова, и ему хочется, чтобы забастовка началась с этого цеха. Он будет требовать этого права!

Но требовать не пришлось. Ворошилов говорит Пархоменко:

— Комитет решил начать с вашего цеха. У тебя как, готово?

Пархоменко отвечал внешне спокойно, но внутренне весь трепеща от волнения, ведь именно у него спрашивает Ворошилов, начнет ли цех забастовку, готов ли цех на лишения и на борьбу...

— Можно начинать. Встанем как один!

* * *

Александр верил в своих цеховых «стариков», но для полного успеха дела все же велел молодым ребятам из забастовочного комитета находиться где-нибудь вблизи моторов. «В случае воркотни и колебания стариков отодвинуть в сторону и моторы остановить самим»,— так сказал Пархоменко.

Обед окончен.

Рабочие возвращаются к станкам нехотя. Проходит пятнадцать минут, двадцать. Появляется мастер — и тогда медленно гудят станки, ухают молоты, где-то свистнул паровозик.

Александр Пархоменко стоит возле бетонного столба, поставив ногу на чугунную болванку. В руках какая-то деталь. Внутри у него все трепещет, и он больше всего боится, хватит ли голоса, чтобы перекрыть шум моторов. Еще проходит десять минут, пятнадцать. Вдруг Иван вынул стальные часы, поглядел — и поднял руку. И тотчас же Александр громким, гремящим и каким-то небывало убежденным голосом прокричал:

— Броса-ай работу-у-у! Бросай! Забастовка!

Цех мгновенно замолчал. Рабочие отходят от станков. Только трое пожилых не сняли рук, а один даже сделал шаг к мотору. Но возле моторов стоят плечистые и решительные парни, и даже мальчишка Егор Подбельцев кажется плечистым и готовым на все. В цех вбегают заводской пристав Шамальский и инженер Таусон. Пристав хватает за волосы Егора. Раздается на весь цех голос Александра Пархоменко:

— Отпусти, а то гайка в голову полетит!

Рабочие придвигаются к приставу. Кто-то нажал плечом. Егорку оттерли. Он обижен. Александр подзывает его, и вдруг мальчишка исчезает. Через пять минут с электростанции несется густой перекатывающийся гудок — это Егорка сообщил, что забастовка началась.

Завод остановился.

Большими группами рабочие идут к тяжелому кирпичному зданию заводоуправления. Здесь, возле дверей, у палевых сосновых ящиков с их хорошим и легким запахом уже собрался забастовочный комитет. Лица озабоченные, хмурые. «Как-то удастся собрание?» — думают они. Из-за двойных рам, покрытых

глянцем мороза, слышны голоса. Это кричат в телефон пристав Шамальский и круглощекий инженер Таусон. «Завод,— кричат они,— работающий на военное ведомство, остановился!»

Братья Пархоменко идут медленно. Иван подбирает слова. По всему видно, что ему открывать и вести собрание, а это страшно. Ведь идут все восемь тысяч. Идут уверенные, что сейчас будет найдено и высказано самое главное. «А вдруг пропустишь что-нибудь такое, вдруг растеряешься? — мучительно думают братья.— А вдруг не удержишь и не поведешь? Ведь шутка сказать — сколько тысяч рабочих!»

Молодой крановщик Климент Ворошилов подходит к ним. Идет рядом. Ворошилов понимает мысли братьев, их заботы. Дотрагиваясь до плеча Александра, он обращается к нему ласково, величая его партийной кличкой — «Лавруша»:

— Лавруша! Не волнуйся. Выйдет! Отрежем ломоть, Лавруша. Отнимем и весь каравай у буржуазии! Начнем забастовкой, а кончим полным захватом власти. Так, Лавруша?

— Так, Климент Ефремович, — говорит Александр и от волнения больше ничего не может выговорить.

Опираясь на плечо Александра, крановщик легко вспрыгивает на высокий ящик. Рядом с ним стоит председатель забастовочного комитета Барев, большая голова которого кажется еще больше от высокой барашковой шапки. Барев заметно волнуется. Обычно голос у него крепкий, широкий, а теперь он едва слышно называет фамилию крановщика Ворошилова.

Крановщик Ворошилов не совсем успел смыть мазут с лица и рук. Куртка его блестит на сухом и морозном солнце. Вытирая руки о борта ее, он уверенно осматривает собравшихся и вдруг протягивает руку вперед, как будто держа большой камень, чтобы положить его в основу стройки.

— Товарищи! — восклицает Ворошилов.

Несколько рабочих задержались. Это складские. Они торопливо приближаются, но, услышав восклицание Ворошилова, бегут к нему, протягивая, как и он, руку и не замечая этого. Ворошилов еще громче, еще убедительней повторяет:

— Товарищи!

Это были прекрасные годы. По-новому в молодых и горячих устах звенело слово «товарищ». Многозначительное, таинственное, оно указывало, советовало, учило. Оно соединяло упорство со смелостью, талант с прилежанием, песню с работой, труд с борьбой. Врагов оно заставляло испуганно вскрикивать и било тогда их, как разрывной пулей. Друзей оно понуждало творить и словом и делом. Среди рабочих ему ответило эхом другое слово — «стачка», в гигантских толщах ковался народный гнев, нарастал страшный, девятый вал.

Пархоменко, по молодости, считал особенным и только ему принадлежащим то громадное чувство общности, которое охватило его тогда в балке, на массовке, у костра. А сейчас, возле этого дома цвета светло-желтой охры, у сосновых ящиков, морозным солнечным днем Пархоменко понял, что такое же огромное чувство общности испытывают все рабочие люди, все рабочие, собравшиеся здесь. И ему приятно было это понять.

Рабочих это чувство охватывает по-разному. Иные, захлестнутые надеждой, как водопадом, стоят, сложив руки на груди и опустив голову. Иные, рисуя себе успех, смотрят в небо, где медленно идут кроткие, нежно-лиловые зимние облака. Иные беспокойно слушают речь, разбирая ее, наслаждаясь и немного пугаясь; на лицах у таких написано: «А не очень ли рано?» Большинство же переглядывается, как бы ручаясь за правильность и смелость высказанных оратором мыслей. Они уже подхвачены трепетным и горячим дыханием опасности и победы... Бесследно уходят капризные, роящиеся, суетливые опасения, внушенные меньшевиками и эсерами. Рябой старик с пепельным лицом, тот, что не хотел выключить мотор, оперся руками об ящик, смотрит в лицо Ворошилову и кричит:

— Верна-а!..

— Так-ак! Верна-а!.. — подхватывают передние.

Позади собравшихся стоят на санях возчики в длинных тулупах. Под их ногами слегка звенят длинные аметистовые, запорошенные снегом, полосы железа. Возчики, тощие рязанские мужики, безобидные и покорные, тоже захвачены речью. В особенности один, длиннобородый, в серых валенках. Он так машет шапкой, что из нее летят клочья шерсти. Он сипло кричит:

— Бастовать всем без передышки! Роняй хозяев, вали!

— Комиссию выбирать,— отвечает ему из передних рядов рябой старик. — Ворошилова-а!..

И Ворошилов начинает перечислять требования рабочих.

— Восьмичасовой рабочий день... открытие столовой, а то черт знает что и где едим... прибавку к заработной плате... баню...

Он оглядывает рабочих, что тесно собрались вокруг него, и добавляет:

— Советы рабочих депутатов!

Дальше уже начинается такой крик, махание шапками, топот, шум, что ничего разобрать невозможно, кроме основного: что большевикам верят, что комиссией должен руководить Ворошилов.

Оратор, свободно опустив руки, стоит неподвижно. Он отдыхает. Видно, что ему очень легко и радостно, и Александр начинает понимать, какого большого напряжения воли и ума стоит та кажущаяся легкость, с которой оратор говорил и как бы клал руками воображаемые камни. Как трудно выбрать настоящие, короткие и емкие слова: не легче, чем поднять и опустить большие десятипудовые плиты.

Называют комиссию. Ворошилов назван первым.

Заканчивается собрание, Ворошилов говорит:

— Собираться нам за мостом. Дальше моста не идти без разрешения комиссии. Мы — за вас. Вы — за нас стойте.

Рябой старик вскидывает руку и кричит:

— Согласны стоять! Клянемся...

И все поднимают руки.

Ночью выбирают Совет рабочих депутатов. Председателем его избран Ворошилов. Утром рабочие дошли только до «проходной». Они пропускают комиссию, приветствуют Ворошилова и стоят долго, неподвижно. В конторе завода, на втором этаже, тесно и душно. Съехались все заводские тузы. Директор Крин, визгливый и тощий, говорит почти непрерывно, обращаясь только к Ворошилову. Ворошилов пожимает плечами и указывает на стол:

— Я тут ни при чем, чего вы меня уговариваете, господин директор? Это требования народа.

И точно, на столе перед директором лежит наказ рабочих своей комиссии. Наказ подписали все восемь тысяч.

Переговоры прерываются в двенадцать ночи. Но и ночью отдохнуть невозможно. К председателю идут со всеми нуждами — квартирными, денежными, даже семейными. Утром, в десять часов, опять начинаются переговоры.

На пятый день стачки Ворошилов говорит:

— Надо соглашаться на то, что выторговали. Дальше стачку продолжать опасно, силы еще молодые, как бы не сдали.

Стачка заканчивается победоносно. Удовлетворены все требования бастовавших, только вместо восьмичасового дня рабочие добились девятичасового. Завод переливается шутками, веселыми возгласами — всеми признаками новой пробудившейся силы.

Братья Пархоменко идут с работы тоже веселые и довольные. Александр рассуждает обычной скороговоркой:

— Такую стачку и Ленин одобрил бы. Твердость материала, Иван, меряем. Время и партия выкуют из этого материала социализм.

Перед ним блестящая морозная улица. Она тянется прямо и далеко. Длинный обоз, груженный частями машин, медленно идет по ней. Навстречу обозу едет казак в высоких санях. Он снимает шапку и не торопясь крестится на церковь, из которой несется пение. Братья не видят обоза, казака с его рыжей парой коней, не слышат пения. Они смотрят как бы поверх всего этого, в далекую туманную даль, и видят такое, что колючими и теплыми слезами радости омывает их глаза.

Внезапно они останавливаются и взволнованно смотрят друг на друга. Александр кладет тяжелую и сильную руку на плечо брата.

— А ты понимаешь, что мы наделали? Победу мы сделали, политическую, большую! Я так полагаю, что сразу ее и взглядом не охватишь.

И, помолчав немного, добавил:

— Охватим и закрепим, честное слово.

В июле произошла вторая забастовка рабочих завода Гартмана. И хотя забастовка эта в тот же день была разгромлена полицией и руководители забастовки частью были брошены в тюрьму, а частью скрылись, но это вторичное коллективное выступление рабочих большого завода имело громадные политические последствия не только для Луганска, но и для всего Донбасса. Раз-

гром забастовки, зверства полиции и черносотенцев только способствовали тому, что большевистская организация быстро окрепла и выросла, впитав в себя все лучшие элементы пролетариата. К началу 1906 года луганская организация насчитывала уже больше двух тысяч членов! Весь 1906 год и первые три месяца 1907 года в Луганске и его уезде влияние рабочих организаций было очень сильно. В октябре 1906 года общая забастовка луганских рабочих сорвала суд Харьковской судебной палаты над Ворошиловым — и он был оправдан. А еще раньше, перед Первым мая, группа молодых ребят-большевиков ночью водрузила огромное красное знамя на одной из самых высоких заводских труб. Знамя развевалось над всем городом больше недели, и власти боялись снять это величаво реявшее знамя — живое подтверждение осознавшего свою силу рабочего класса.

Луганская парторганизация через депутатские собрания заводов и через профсоюзы руководила всей жизнью города и в значительной части уезда. Под ее руководством, под влиянием подъема революционной борьбы луганского пролетариата прошло успешное крестьянское восстание и стачка в Макар Яровской волости.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Александр Пархоменко женился. В жены взял он девушку Тину Шабынскую из родного села Макаров Яр. Он знавал ее с детства, они вместе учились в школе. Помнится, еще совсем в юности, шли они переулком, среди плетней, и вдруг услышали за плетнем: «...щедрота моя, хотите к моему сердцу?» Они рассмеялись, переглянулись — и смутились. Эта фраза, которую часто услышишь в селах Екатеринославщины, показалась им близкой и милой. И позже они нередко вспоминали эту фразу и, вспомнив, переглядывались и смеялись радостно...

Подходя к домику, где живет Александр, старший брат Иван жмет ему руку и говорит, уходя:

— Отдыхай. Супруге кланяйся.

Александр стоит у калитки, положив руку на деревянную щеколду, и смотрит вслед спокойно шагающему брату. «Супруге кланяйся»! Александр еле сдерживает

улыбку радости. Супруге поклон... И тотчас же он вспоминает косой зимний переулок, забор в снежном воротнике, пуховые деревья, с трудом, видимо, перенесшие ветви через забор. А снег все падает и падает. Эти деревья, что того и гляди надломятся от тяжести снега, приходятся по душе двум молодым людям.

Они идут, держась за руки, и смотрят, как желто-зеленый месяц сквозь хлопья снега и сучья деревьев пробирается в переулок. Где-то щелкнула калитка, и густой баритон запел: «Шумел, горел пожар московский». Ему ответил хороший женский смех.

Из-под пуховой шали блестели молодые и смелые глаза Харитины. Ресницы поспешно сметали падавший снег, и хотелось глядеть в глаза и раньше снега, и раньше лунного света, и вообще раньше всех...

Александр спросил:

— Харитина, щедрота моя, хотите к моему сердцу?

— А к чьему сердцу мне хотеть? Ваша жизнь твердая, Александр Яковлевич.

— О себе не буду хвастать,— сказал Александр. — Жизнь у всех хлопотливая. А вот говорят, что я хлопотливей других?

Харитина улыбается.

— А и пусть говорят! В школе-то ты, Саша, еще хлопотливей был. — И она хохочет.

Когда учились вместе, случалось даже, что Саша в школьных ссорах поколачивал Тину Шабынскую. Сейчас он должен рассказать ей, что вступил в партию. Поймет ли его эта простая деревенская девушка?! А почему не понять? Разве, когда они женились, не обещали они друг другу жить так вместе, чтоб не только им, но всем людям отвоевать хорошую и счастливую жизнь? Партия большевиков — это и есть борьба за счастье народа, за хорошую и прекрасную жизнь! Как же не понять?.. И все же руки и голос его слегка дрожат, когда он говорит ей:

— Теперь, Тина, хочу о другом... о других хлопотах.

И вдруг она:

— Слышали мы и о другом!

— Слышали?

— Слышали, Саша.

— О чем же другом слышали?..

Она отвечает уклончиво и тихим голосом, давая этим понять, что выведать это было ей трудно, что она еще

сама сомневается в правдивости своих догадок, но уже гордится ими.

— Слышала, будто бы вы даже революционер, Александр Яковлевич.

— А много о том говорят?

— Да будут еще больше,— уже с полной гордостью говорит она, и гордость эта так согрела его сердце, будто сразу растаял кругом весь этот грузный снег.

Он сказал:

— А не страшно от таких разговоров? Выйдешь замуж, а муж-то вон какой, политический. Еще на каторгу уведет...

— Чего ж страшного, раз вы взялись, Александр Яковлевич? Страшно неправое дело.

Свадьбу справили в Макаровом Яру. Гуляли три дня. Когда замолкали песни, Александр рассказывал деревенским парням о заводе, о забастовке, о перепуганных луганских тузах, о том, как во время переговоров заводчик Лобанов выпил от волнения четыре графина водки и вспотел так, что стал мокрым весь его сюртук, а с бровей просто падала роса. Парни хохотали и говорили, что хорошо бы такую росу выжать и у здешнего помещика Ильенко. Ах, какая гадюка, какой злодей, какой обманщик! А ведь предводитель дворянства. Значит, и все дворянство такое же?

— А вы спросите у соседних мужиков, все ли дворянство такое,— говорит Пархоменко.

— Чего и спрашивать? — Парни мотают головой и требуют от гармониста песню пояростней.

Гости расходятся поздно. Проводив их, Александр начинает быстро ходить по скрипящим половицам. Он поет во все горло: «Вставай, проклятьем заклейменный!»

— Чего кричишь? — спрашивает Харитина Григорьевна. — Хочешь, чтобы тебя арестовали?

— А ты знаешь, Тина, чую, не будет царя.

— Как же так царя не будет? — не понимая и восхищаясь одновременно, спрашивает жена. — А кто же будет править царством?

— Народ. Вот и я буду править!

Ей немного страшно, но она вспоминает, что обещала не страшиться,— и страх исчезает. Она с восхи-

щением смотрит в эти горящие ненавистью и жаждой борьбы глаза, и сердце ее трепещет. Но чтобы не подать виду и сохранить достоинство, она наивно говорит, не замечая своей наивности:

— Уездом ты править можешь, а для всего царства еще малограмотен.

— Подучимся, подправимся. Люди да жизнь обстругают.

— Жизнь жизнью, а и книги надо изучать.

И когда она вернулась в город, то выписала ему «Ниву» на 1906 год со всеми приложениями. Александр, нежно улыбаясь ее наивности, сказал:

— «Ниву»-то читать не удастся: много расходу будет на перемену адресов.

И точно, директор Крин однажды утром поздоровался с братьями Пархоменко за руку.

— Значит, дело плохо,— сказал Иван.— Не дадут, пожалуй, и «срока ученья» окончить.

Он говорил о военном обучении, которое члены партии и рабочие «боевики», готовящиеся к вооруженному восстанию, проходили в пустынных полях за Гусиновским кладбищем. Здесь им преподавали теорию и практику военного дела: они маршировали, ложились в цепь, стреляли; во время работы, если удавалось оттянуть мастера в сторону, братья Пархоменко «точили» коробочки для бомб, а в воскресенье ездили на шахты за динамитом; глицерин же добывался из аптек через фармацевтов. По заводам шел сбор денег для закупки оружия. Передавали, что братья Пархоменко собрали денег чуть ли не на целую пушку.

В начале апреля братьев рассчитали. Рабочие хотели протестовать забастовкой, но кто-то стороной узнал, что на младшего есть донос, будто он убил пристава Аварева, да будто и старший принимал участие в этом убийстве. Партийцы и посоветовали младшему уехать пока в родную деревню, а старшему поступить на другой завод.

Так и сделали. Младший с женой уехал в Макаров Яр работать у тестя на пашне, а старший, взяв справку с завода Гартмана, отправился по заводам. Рабочий он был превосходный, брали его охотно, но как только дело доходило до регистрации, как только получали от него гартмановскую справку, ему отказывали под тем или иным предлогом. Однажды в конторе «сосед по ра-

счету», видимо более опытный, взял у него справку, посмотрел и сказал:

— Никуда тебе, товарищ, не поступить.

— Почему?

— Справка дана красными чернилами, а это промежду заводчиков такой знак — «красных» на работу не принимать. Придется тебе, значит, прическу менять.

Пришлось Ивану Пархоменко выправить паспорт на женину фамилию и стать Иваном Критским.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Так как в Луганске монархически настроенным людям жить было небезопасно, то Чамуков предложил своему сыну и его гостям отправиться отдыхать в более спокойное место: в село Макаров Яр, к помещику и предводителю дворянства Славяно-Сербского уезда, на территории которого находился Луганск. Молодым людям не хотелось ехать: во-первых, назовут трусами, а во-вторых, жалко расставаться с теми, кто мог назвать их трусами: с луганскими барышнями. Но, подумав, а главное получив хорошее денежное вспомоществование от Чамукова, молодые люди согласились и поехали в Макаров Яр к Василию Львовичу Ильенко, с сыном которого Геннадием они шли вместе разгонять демонстрацию рабочих возле Успенского сквера.

Привезли они с собой и вина, и конфет, и пряников, чтобы угощать деревенских девушек. Но в первые же минуты приезда стало ясно, что настроение в Макаровом Яру еще более напряженное, чем, быть может, в городе. Поговаривали, что к мужикам в село скоро приедут какие-то знаменитые агитаторы из Луганска; парни и девицы смотрели на приехавших хмуро; вино, конфеты и пряники пришлось употреблять самим. Все это нагоняло скуку, и со скуки они много говорили о политике.

— Все это хорошо: эти ваши рассуждения о республиканском и абсолютическом строе, о России и Америке,— говорил Штрауб, который, как ему казалось, чувствовал себя взволнованным больше всех,— но почему вы все эти рассуждения сводите к разговорам: какая баба смачнее других и выйдет ли с нею, или не выйдет?

— Ого! Штрауб отказывается от девушек. Не к добру,— с хохотом сказал кадет Быков, несмотря на юные годы свои, весьма опытный в обращении с девицами. — К чему же нам сводить разговоры? Любовь — оплот и смысл жизни.

— Да, тогда, когда жизнь устроена!

— Ну, милый, в России она не скоро устроится,— проговорил Николай Чамуков. — Нам, выходит, и за барышнями нельзя ухаживать? Да ты и сам поглядываешь на его сестру,— добавил он, мигая в сторону Геннадия Ильенко. Штрауб слегка ухаживал за Ниной, сестрой Геннадия, которая обладала цветущим лицом, длиннейшей белокурой косой и приличным приданым. Над Николаем она смеялась, и тот не мог этого простить ни Штраубу, ни ей.

— Если я за кем и ухаживаю, то с серьезными намерениями! И вообще лучше относиться к миру и к жизни серьезно. Хотя я и происхожу из немецкой семьи, но родился я в России и считаю себя русским. И меня, как человека, заинтересованного в процветании России, волнует: сможет ли русское дворянство и купечество провинций этой обширной империи защитить от революции свои поместья, магазины и заводы? Здесь мы, молодежь, представители и дворянства и купечества, находимся в гостях у помещика; так вот я смотрю на вас и спрашиваю: сможете вы защитить своего хозяина или вас опять, как в Луганске, будут топтать сапогами, а вы встанете, утретесь, да и скажете: «Божья роса»?

Собой Эрнст был высок, силен, с волосами такой тяжелой черноты, что череп его казался отлитым из чугуна. И странно было видеть рядом с этим чугуном длинные розовые уши, которые макаровояровские девицы тотчас же назвали «поросячьими». Эрнст любил говорить, но и любил действовать; окружающие, видя и ценя эту способность к действию, часто подчинялись ему. В Луганске, вскоре после случая возле Успенского сквера, он, разговорившись с начальником луганской охранки, который пришел как-то вечером к Чамукову, предложил свои услуги. Эти услуги по искоренению революции были приняты. Естественно, что, почувствовав за своими плечами такую солидную организацию, как царское правительство,— охранка разве не часть царского правительства? — Штрауб чувствовал себя и

бодрее и уверенней, а главное он имел теперь право требовать у тех, кто соглашался с ним, не только слов, но и действий.

На лице Геннадия Ильенко выразилось неудовольствие. Слова о «божьей росе» показались ему обидными, но многозначительный тон Штрауба смущал его. «Черт его знает что он за тип!» — подумал Геннадий и пригласил всех купаться. Сейчас «дивчины» идут тоже купаться, и можно будет подплыть к ним среди кустарников. Молодые люди согласились. Взяли две бутылки вина, ветчины и хлеба. Когда они шли к реке, Геннадий поравнялся с Штраубом и сказал:

— Порядка у нас, верно, нет. Это еще Алексей Толстой сказал.

— Кто?

— Поэт, граф Алексей Толстой.

— Вот видите! Какой же это порядок! У вас графы — поэты. Граф должен заниматься хозяйством, своими мужиками, а не поэзией. Начинают писать стихи, а мужики тем временем усадьбы у них жгут.

— В кнуты? — с хохотом сказал Быков. — А в кнуты их?

— В трехлинейные винтовки, — сказал Штрауб и посмотрел на кадета так серьезно, что у того похолодело под ложечкой. — Всем нам нужно написать начальству и попросить оружия. А то что же это? Во всей усадьбе одно дробовое ружье! Винтовки нам нужны, винтовки! Такое время, что без винтовки в руках — конец.

— Конец? — сказал кадет и добавил с хохотом: — Ну? Живу я здесь без винтовки и без кадетского корпуса и вижу, что до конца мне все-таки далеко. Ха-ха!

Девушки на купанье не пришли. Друзья выпили вино, пустили закупоренные пустые бутылки по течению и начали бросать в них камнями. Бутылки уплыли. Друзья полежали на траве, рассказали два-три неприличных анекдота, искупались, опять полежали, а затем, взглянув на солнце, подумали, что пора, пожалуй, и кушать.

Они шли через село. Низенькие хаты, крытые прелой соломой, запах навоза, теснота, грязь. Сильные, сытые, во всю свою жизнь ни разу не испытавшие голода, молодые баричи чувствовали себя, особенно после купанья и выпитого вина, хорошо и весело. Они не замечали ни

вонючих хат, ни тесноты, ни грязи, ни даже озлобленных взглядов крестьян.

На площади, возле церкви, совсем уже неподалеку от усадьбы, несколько парней и девушек о чем-то оживленно говорили. Подталкиваемые вином, молодые люди направились к ним. Посредине группы стоял высокий, на голову выше всех, парень в черной рубахе с широким кожаным поясом. Увидав барчат, девушки отошли в ограду церкви, а парни встали так, что прикрывали собой высокого в кожаном ремне.

— Пархоменко! — сказал, побледнев, Штрауб.

— Кто?

— Агитатор... демонстрация... помнишь, вел?.. — бросил Геннадию студент, подходя вплотную к парням. — Надо его за шиворот...

Парни взяли друг друга под руки.

— Пропустите! — сказал Штрауб повелительно.

Пархоменко, улыбаясь через головы парней, сказал:

— Да ведь вам, господин студент, до моего шиворота не достать! А если и достанете, не дамся.

— Зачем сюда из Луганска? Кто послал? Зачем?

— А ну, раздвинься! — сказал парням Пархоменко.

Парни отошли. Пархоменко стоял неподвижно, заложив пальцы сильных и крепких рук за пояс. Лицо у него было спокойное, и, должно быть, он думал о чем-то важном, и то, что он, стоя перед Штраубом, думает о своем, важном, страшно раздражало.

— Я — на свои родные места возвратился, а вот вы, господин студент, здесь в гостях. А гостю не полагается кричать на хозяина,— помолчав, сказал Пархоменко. — Фамилию вашу слышал: Штрауб! Из немцев, должно быть? Немцы — народ ученый, образованный, да и сами вы — студент... второй раз вам говорю: отойдите!

— Пугать? — подскочил кадет Быков.

Пархоменко посмотрел в глаза кадету, ухмыльнулся:

— Чего мне вас пугать? Сами в свое время испугаетесь. — И, повернувшись к Штраубу, продолжал: — Но, если вы, господин Штрауб, с черной сотней да с охранкой будете путаться, тогда, чур, не сердиться...

— А что? Чем вы мне угрожаете? Чем? — вскричал Штрауб.

Пархоменко приподнял широкую черную фуражку и сказал:

— Прощайте, господин студент. Я вижу, вы себе дорогу выбрали? Ну, вам по ней, а нам — лес.

— Коней пасти? — некстати и неумело насмешливо спросил Геннадий. Ему хотелось рассеять раздражение, вызванное разговором, полным странных и дерзких намеков.

Пархоменко ответил с усмешкой:

— Это вам себя надо упасти. А мы упасенные.

— Но спасенные ли? — сказал Штрауб.

Парни пошли, положив друг другу на талию руки. Они шли молча, пыля сапогами и слегка раскачиваясь. Следом за ними двинулись и девушки. И как только двинулись, так и запели. Пели они хорошую, протяжную украинскую песню о чумаках, о воле, о степи, о запорожцах. Пархоменко шел посредине, закинув назад голову, подтягивая басом.

— Без оружия невозможно жить,— сказал Штрауб. — Разве бы он так со мной разговаривал? — И, обратившись к кадету Быкову, он сказал: — А вас я попрошу...

— ...секундантом? — захохотал Быков.

— Не секундантом, а инструктором быть! Обучать нас всех. Ручаюсь, буду прилежным учеником.

— Достаньте оружие, обучу,— ответил Быков, зевая. — А этот Пархоменко, должно быть, сильный парень. Вы бы его могли побороть, Штрауб, в русской борьбе?

Эрнст промолчал.

В субботу к Ильенко приехали в гости степные помещики, усадьбы которых были маловодны и жарки. Приезжали обычно накануне праздников, чтобы погулять по обширному, спускающемуся к реке саду Ильенко, покупаться в Донце, отдохнуть возле влаги, провести праздник в обществе. Приехал и Гусаров со своей обширной семьей в трех тарантасах и с палаткой, которую обычно он разбивал в саду; Подстаканников, известный сутяга и барышник; Дорошенко, три дочери которого были все за уланскими офицерами из одного полка, о чем он и рассказывал непрерывно; нотариус Афанасий Афанасьевич Стриж-Загорный; Воробьев, самый богатый и скупой, который сам постоянно ездил по гостям, но к себе не приглашал никого; два друга, соседи и картежники, оба со странными фамилиями — Куница и Пробка; приехал и земский начальник Фила-

тов, муж старшей дочери Ильенко. Тарантасы, ландо, брички въезжали непрерывно в каменную ограду, огибали клумбы и подкатывали к веранде. Кучер делал свирепое лицо, гости и хозяева — радостное. Раздавались восклицания, поцелуи, где-то непрерывно лаяли собаки.

Приехал и пристав Творожников, обладавший удивительной способностью наполнять все вокруг себя треском: у него трещали сильно подошвы, трещал мундир и, как он сам говорил с хохотом: «Трещит уже десяток лет голова с похмелья». Эрнсту не нравился этот трещавший пристав, но, подумав, он решил, что для подобного захолустья и такой пристав находка, и Эрнст сказал без всякой подготовки, чтобы сразу ошеломить этого дурака:

— В Макаров Яр приехал агитатор.

— Ага,— сказал пристав, наклонив голову.

— Агитатор. С какой целью, это уж вы ищите.

— Будьте покойны, найдем,— сказал пристав и опять наклонил голову и весь затрещал.

— Сами понимаете, Осип Максимович, что мне жаль семью, где я живу, жаль культурный дом, жаль радушие, которое может погибнуть... — И Эрнст тоже наклонил голову, как бы не имея сил держать ее прямо.

Пристав склонил свою еще ниже, так что с веранды им крикнул Ильенко:

— Вы чего там рассматриваете?

Пристав поспешно сказал:

— Бесспорно. Горячо понимаю. И сочувствую.

Он особенно громко треснул подошвами и сказал:

— Пошлю собрать, во-первых, сведения, во-вторых, арестую агитатора, в-третьих, побольше бы таких вдумчивых студентов у нас в России...

Он указал рукой на веранду, треснул мундиром и трескучим голосом сказал:

— Двигайтесь к угощению. Наш отдых безопасен, ручаюсь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Был конец июля 1906 года. В Луганске только что получили сообщение: началось восстание в Кронштадте и Свеаборге, питерские пролетарии готовятся ко всеобщей политической забастовке, чтобы поддержать восставших.

Александра Пархоменко вызвали из деревни. Он приехал со своей боевой дружиной из шести крестьянских парней. Конспиративное собрание состоялось в квартире его деда-водовоза. Еще не рассохлась бочка, в которой Саша возил воду, еще жива была гнедая кляча и цела ее бурая сбруя, но как все изменилось вокруг, как изменился он сам! Словно минула тысяча лет.

— Пора готовиться к решительному сражению с самодержавием! — говорил горячо оратор. — Готовиться всюду и везде, в городе и в деревне, на заводе и в шахте — всюду, где есть честные, преданные революции люди! Мы накануне великих событий, товарищи!

В подтверждение своих доводов оратор, низенький, коренастый рабочий Никитин, с длинными белесыми бровями, привел слова Ленина из недавно написанной статьи: «Роспуск Думы и задачи пролетариата».

— Товарищ Ленин говорит: «Роспуск Думы есть полный поворот к самодержавию. Возможность единовременного выступления всей России возрастает. Вероятность слияния всех частичных восстаний воедино усиливается. Неизбежность политической забастовки и восстания, как борьбы за власть, чувствуется широкими слоями населения, как никогда прежде.

Наше дело — развернуть самую широкую агитацию в пользу всероссийского восстания, разъяснить политические и организационные его задачи, приложить все усилия к тому, чтобы все сознали его неизбежность, увидели возможность общего натиска и шли уже не на «бунт», не на «демонстрации», не на простые стачки и разгромы, а на борьбу за власть, на борьбу с целью свержения правительства».

...Пархоменко сидел на табурете, положив руки на колени и опустив голову. Он отчетливо слышал низкий, слегка хриповатый голос оратора, ясно понимал, что он говорит, и в то же время думал свое. Да, словно минула тысяча лет!. Как будто вчера еще он встречал рабочего Рябкова, который вдобавок к оружию, добытому раньше, привез еще оружие, купленное за границей Ворошиловым, уехавшим туда на IV съезд партии. Этот Рябков передал братьям Пархоменко по револьверу «смит-вессон». Револьвер и сейчас оттягивает карман Александра... В мае вернулся и сам Ворошилов. Александр рвался к нему из деревни, но луганчане запретили.

Возле водокачки, на станции, паровозный механик передал ему это запрещение. Этот же механик, поглаживая усы и смеясь, рассказывал, как Ворошилов нес из поезда мимо жандармов изящные дамские коробки, в которых возят туфли, шляпы и платья. А в этих коробках лежало пятьдесят револьверов и четыреста пачек патронов.

Закончив рассказ, механик передал Александру пять пачек патронов.

— Жди,— сказал он.

— Жду,— ответил Александр и улыбнулся.

Но ждать ему было нелегко, хотя работы в деревне было много и крестьяне любили его. У костров, в лесу, по ту сторону Донца, он читал политические брошюры и рассказывал о партии и ее борьбе. Лето жаркое, тихое. Неподвижно стоят вокруг костра молчаливые крестьяне. Неподвижные пахучие деревья так же молчаливо толпятся вокруг поляны. Медленный росистый рассвет просачивается сквозь листву. Отягощенные новыми мыслями, медленно расходятся крестьяне.

И вдруг — «Приезжай». Александр, дрожа, садится в поезд. Дрожь эта усиливается и делается почти лихорадочной, когда он подъезжает к Луганску. По дороге к квартире деда провожатый передает ему городские новости. Ворошилов? Ворошилова арестовали. Как арестовали? А так, арестовали. Гартмановцы опять решили бастовать. Расценки сбавляют, обещаний администрация не выполнила и наполовину. Устроили собрание у завода. Собрание вел, конечно, Ворошилов. Ну, теперь капиталисты решили действовать по-другому. Городовых скрытно подвели балкой к собранию, и те сразу открыли стрельбу из револьверов. Наш народ, конечно безоружный, кинулся к речке, Ворошилов отстреливался, пока рабочие не ушли. Патроны кончились, городовые схватили его, избили, утащили в участок...

Как только Александр увидел брата, он вспылил, замахал руками:

— Отбить надо было, отбить! Для этого тебе привезен «смит-вессон»!

Брат Иван, измученный, похудевший, видимо давно уже и много раз сам себя упрекавший, только глубоко вздохнул.

— Сам знаешь, работаю я не у Гартмана, Узнал об аресте вечером. Кинулись к участку, а там охрана из

казаков, не меньше сотни, да и Ворошилов уже отправлен в тюрьму. Тут тремя «смит-вессонами» много не натворишь.

— Прозевали!

— Прозевали. Будем отвечать перед партией.

Едва оратор кончил говорить, как Александр просит слова. Он убеждает, что Луганск поддержит всеобщей забастовкой рабочих Питера и восставших Кронштадта и Свеаборга.

— Есть еще предложение,— говорит Никитин.— В порядке широкой агитации в пользу всероссийского восстания, о котором говорит товарищ Ленин, нам надо организовать выступление крестьян в деревне.

— Макаров Яр готов! — кричит Александр.

— Одного Макарова Яра мало,— говорит Никитин.— Есть предложение организовать забастовки по обе стороны Луганска, на запад и на восток. Есть предложение устроить митинги в воскресенье в двух селах — в Макаровом Яру и в Ивановском.

Седой большеголовый Барев осторожно спросил:

— Крестьяне, сами знаете, народ сейчас взволнованный, горячий. Начнут с митинга, а кончат восстанием. Поди удержи их. А если у Кронштадта и Свеаборга сил не хватит и нам забастовку придется отложить? Если царизм быстро подавит Кронштадт? Поди удержи их, крестьян-то...

Александр подумал и сказал уверенно:

— Тогда забастовка ограничится договором с помещиком и принятием им экономических пунктов.

— Поди удержи их,— повторил Барев. Эта фраза, видимо, понравилась ему, и он не хотел с нею расставаться.

— И удержим,— сказал Александр.

— Ты-то? — спросил Барев.— Да ты первый нападешь на экономию, дай только тебе, Лавруша, волю.

— Буду держать огонь в костре, пока приказывает партия,— сказал Александр.— Прикажет партия — подует ветер, полетят головни, начнется пламя. Моя дружина берется охранять.

— Опасное дело,— сказал осторожно Барев,— опасное.

— Ленин требует, чтобы в неизбежность восстания поверил весь народ,— сказал Иван.— А народ рассеян широко.

Оратор Никитин спросил:

— Следовательно, вы ручаетесь, что, если мы вас не известим, дело ограничится только забастовкой?

Александр ухмыльнулся:

— Было б лучше, чтоб известили: Кронштадт, мол, и Свеаборг продолжают восстание. Питер ведет всеобщую, Луганск начал тоже...

— Но ты, Лавруша, будешь пока держаться? — спросил осторожно Барев.

— Крестьянство поведем, когда прикажет партия.

Побеседовали еще. Спросили членов крестьянской дружины. Затем оратор Никитин сказал:

— Ну что ж, я бы не возражал против забастовки в Ивановском и Макаровом Яру. Протестовать так протестовать. Крестьянство, правда, не привыкло к забастовкам, оно предпочитает бунт.

— Будем учить,— сказал Иван.

Ивана и Александра Пархоменко и Никитина назначили агитаторами и организаторами забастовки в Макаровом Яре, в Ивановское отправили тоже двух. Сейчас же после собрания Александр Пархоменко уехал в Макаров Яр.

* * *

В субботу утром Никитин сказал, что комитет поручил ему работу на Гартмане. Не хватает народу, не справляются.

— Нет ли кого в подкрепление? — спросил Иван.— Меня смущает, что я слаб политически.

— У нас все заняты. Поищи.

Иван стал искать «дружка». И точно, все были заняты, да и многим забастовка в деревне казалась излишней роскошью. Возле Ивана вертелся подросток лет пятнадцати, удалой Вася Гайворон. Он видел, что Иван уговаривает рабочих поехать с ним, а куда и зачем, он не знал. Вася недавно с великим трудом накопил денег и купил велосипед. Теперь ему хотелось обновить его. У Ивана тоже был велосипед.

— Не на охоту ли собираетесь? — спросил наконец Вася. — Меня не захватите ли?

— Ожины хочу нарвать, ягод,— шутя ответил Иван.

— А далеко ехать?

— Да верст пятьдесят.

— А чего же не поехать? В селах в воскресенье базары, кувшины на месте купим, подвесим, привезем.

Иван посмотрел на розовое лицо Васи, подумал и решил «изменить график». Ведь если хорошенько поразмыслить, то крестьяне, плохо сознающие, что такое забастовка и митинг, непременно проболтаются: из города едут агитаторы! Узнает полиция и направит стражников к поезду. Городские торговцы и приказчики все известны, значит — неизвестных забрать. Правда, Александр должен встретить их в леске и провести тропинками. Правда, можно соскочить у семафора и пробраться в лесок. Но кто может ручаться, что стражники не сядут на соседней станции? Лучше всего поехать с этим Васей на велосипедах, хотя и придется сделать крюк и проехать лишних верст двадцать.

Выехали чуть пораньше полудня. День, казалось, будет и дальше солнечный, хороший. Но только пересекли деревню Палитровку, приблизительно на полдороге, как откуда-то справа вышла густая сизая туча и ударил ливень. Дорога черноземная, велосипеды немедленно увязли, пришлось их тащить на себе. Догоняет крестьянин на паре. Бричка еле идет, набита только что скошенной сырой травой, да и сам он мужик грузный, да еще и жена не из тощих.

— Куда?

— Ехали в деревню по ожину,— отвечает Иван.

— Тоды седайте, повезу до дому, поночуйте.

— Великое вам спасибо. Велосипеды возьмите, а мы и пешие.

— Сидайте, сидайте! Тут с горы.

Вечером крестьянин зарезал курицу, сварил галушек и, подмаргивая лукавыми карими глазами, говорил:

— А зачем вам ожина? Вы лучше в Макаров Яр поезжайте, туда народу много едет.

Рано утром, провожая их, он сказал уже прямо:

— Вы не за ожиной едете. Вы други люди. Я бачу, вы люди гарны.

За ночь дорога просохла, даже образовалась местами твердая корка, которую по мере приближения к Макарову Яру брички и телеги раздробляли мельче и мельче, превращая ее наконец в пыль. Вася Гайво-

рон все подсмеивался над мужиком, который не верит почему-то, что они едут по ягоды. Иван всматривался. Не найдя агитаторов в поезде, стражники, несомненно, залягут по дороге.

Уже виднелась темная зелень балки с запрудой. Велосипедисты въехали на гору. Камыши прикрывали речку. Листья их лежали почти на перилах мостика. На мостик поднимался пристав Творожников. Вымыв лицо в речке, он вытирал шею цветным платком. Несколько поодаль, под бугорком, лежали на траве стражники, держа на поводу коней. Пристав, полагая, что агитаторы поедут на телегах, а телеги будут тарахтеть и тем выдадут свое приближение, разрешил стражникам спешиться. Теперь по сверканию спиц он догадался, что агитаторы едут на велосипедах. Он сунул платок в карман и побежал, что-то крича, к лошади.

— А мужик-то, Вася, был прав: не по ожину мы едем,— сказал Иван,— по агитацию мы едем. Нажимай педаль, если жизнь дорога. Стражники-то нас стерегут. Нажимай, Вася!

У парня от растерянности даже ноги затряслись, но все же он набрал сил, нажал на педали, и велосипедисты понеслись под гору.

Стражники успели только вставить ноги в стремена, как велосипедисты проскочили через мостик.

— В деревне могут быть собаки...— говорил Иван,— еще попадут под велосипед... поедем по-за выгоном...

Вася, бледный, обливаясь потом и непрерывно оглядываясь туда, где в клубах светло-желтой пыли скакали стражники, молча жал педали.

— Александр-то, должно быть, в лесу стоит. Нас ждет. Догадается ли? — говорил Иван.

Они промчались мимо ветряков, мимо раскрытых ворот экономии и направились прямо к волостному правлению. В ворота они увидали, что во дворе экономии стоят возле коней еще стражники. Стражники вскочили в седла...

Иван кричал всем встречным:

— Александра известите, что мы здесь! Александру дайте знать!..

Несколько всадников поскакали из села. Народ кинулся к высокому крыльцу волостного правления. Вася втащил свой велосипед на крыльцо, сунул его Ивану и,

не говоря ни слова, соскочил с крыльца и убежал в огороды. Скоро он вернулся, устыдившись. Впрочем, бегство его никого не встревожило, так как подумали, что «главный агитатор» послал его с каким-нибудь поручением.

Народ окружил крыльцо. Какой-то крутолобый парень, в чеботах и холщовых штанах, с метлой, кричал Ивану:

— Тикайте, брату! Поубивают. Вчера и позавчера стража «улицы» разгоняла, не давала парубкам петь. Полоскали плетьми.

— Бежать незачем, — спокойно сказал Иван. — Вы поможете...

— Да мы не вооружены, брату... Бегите за реку! Убьют.

— Бежать незачем, — спокойно повторил Иван. — Мы посланы партией.

Приближались всадники. Впереди, с револьвером в руке, скакал пристав Творожников. Иван сошел с крыльца.

— Ты откуда явился? — крикнул пристав, направляя револьвер на Ивана. — Руки вверх!

Иван поднял руку, схватил коня за узду и дернул. Пристав выстрелил, но мимо. Пуля попала в ворота. Иван опять дернул коня, вздыбил его и одновременно другой рукой дернул пристава за шашку. От испуга пристав выронил револьвер. Стражники начали сечь Ивана плетьми. Он крутил вокруг себя коня пристава, чтобы создать «водоворот». Все же от ударов трудно было спастись.

Народ кричал:

— Убивают!

Крутолобый парень притащил засов от ворот и через стражников, махавших плетьми, старался сшибить пристава.

На площади показались всадники. Это скакал Александр со своей боевой дружиной.

— Тихо! — крикнул он и выстрелил в воздух.

Стражники повернули коней и помчались в экономию. Впереди несся пристав. Возле крыльца, у истоптанного лошадьми велосипеда, остались револьвер пристава и его шашка.

На площадь вынесли стол. Его поставили так, чтоб голоса ораторов слышны были в экономии. «Некого нам бояться!» — говорили в народе. Иван и Александр влезли на стол. Толпа шарахнулась и охнула. Братья были залиты кровью. От ударов плетьми на Иване уцелели только обшлага рубашки да ворот, белая майская фуражка его была вся в крови.

— Искровавили человека, подлые!..

— Бей помещико-ов!.. — вопил крутолобый парень.

Народ бушевал. Иван, как всегда, спокойно:

— Куда враги ускакали? В экономию? Ну, это крепость небольшая: взять ее нетрудно. Давайте поговорим пока о наших требованиях.

Начался митинг. Крестьяне пространно говорили о своих нуждах и бедах, о земле, о помещиках. Крутолобый парень выступал три раза и все не мог наговориться. К обеду начали говорить старики, и, когда высказалось несколько человек, Александр предложил избрать делегацию для переговоров с помещиком.

— Если помещик не пойдет на уступки,— сказал Александр,— снимем рабочих с экономии и откажемся работать. У него хлеб посохнет в полях да триста скаковых лошадей и три тысячи голов рогатого скота некормленными останутся. Пускай поймет, что такое забастовка.

В воротах экономии показалась делегация крестьян. Братья Пархоменко шли по бокам.

Помещики стояли на веранде. Веранда была увита виноградом, широкие листья его, казалось, прилипли к стеклам. Цветы на клумбе были потоптаны полицейскими конями: стражники стояли по обеим сторонам веранды, прямо на газоне. Пристав Творожников сидел за столом, у него разболелась голова. Рядом с ним рассуждал Эрнст Штрауб. Из всех присутствующих он, как ему казалось, только один сохранил должное достоинство; он плотно позавтракал, побрился и переменил воротничок и галстук. И поэтому он считал, что более чем когда-либо имеет право учить всех. Он го-

ворил громко, указывая на высокого и широко шагавшего Александра Пархоменко:

— Нужно выдергивать те растения, которые причиняют наибольший вред важному для нас виду злаков. Собственно, вот кого нужно пристрелить.

— Как же его пристрелить, батенька, когда их несметная толпа? — с тоской сказал пристав Творожников. — И что это у вас за дом, где нет порошков от головной боли?

— Даже если у волков убить предводителя, они разбегаются, — говорил Эрнст, приятно и неторопливо округляя слова.

Ильенко-отец, с раздвоенной бородой и вытянутыми вперед губами, в белой широкой рубахе, весь багровый, быстро переступал с ноги на ногу, словно танцуя, тряс револьверами и кричал стоявшей неподвижно делегации:

— Уберите Пархоменко! Он не крестьянин! Я с ним разговаривать не буду!

Младший Пархоменко сказал:

— Мы к вам не на дуэль пришли. Мы пришли предложить переговоры.

От его спокойного ровного голоса Ильенко опустил револьверы и сказал:

— Я ведь это про твоего брата Ивана Яковлевича. Я тебя признаю крестьянином.

— Сегодня я крестьянин, а брат рабочий, завтра я рабочий, а он крестьянин. Правда у нас одна. Вы нашу правду признавайте.

Ильенко пошептался с приставом. Тот отдал команду. Стражники взяли наизготовку.

Делегации пришлось повернуть обратно.

Ушли и кучера гостей, которые обычно жили долго и оттого прозывались «курортниками». Шел слух, что макаровские мужики разослали по окрестным селениям пакеты с призывом собраться на «всеобщий митинг» о разделе земли и о том, что помещики, вроде Ильенко, готовы на все, даже на избиение крестьян и их делегатов.

Помещики обсуждали уход прислуги. Пристав Творожников прислушивался к их словам: «Эх, трусы!» Впрочем, нельзя сказать, чтоб он и сам чувствовал себя уверенно.

— Война!..— сказал кто-то басом в глубине террасы.

— Вздор,— ответили в один голос Куница и Пробка.

— Нет, не вздор,— возразил Дорошенко.— Уланов придется вызвать.

А пристав Творожников все ходил и ходил по террасе и так трещал подошвами, что не только у него, но и остальных разболелась голова. Ночью он послал одного стражника в город, а другого через Донец в казачью станицу Митякинскую. Стражник, мечтая о медали, добился согласия у казаков и избрал двадцать пять человек с охотничьими ружьями. Но казаки собирались не спеша. Стражнику не терпелось сообщить о своей удаче, и он решил вернуться один. Возле экономии его изловил крестьянский патруль.

Стражника вели через селение. Все улицы были запружены дрогами, телегами, бричками и верховыми. В степи было слышно тарахтение приближающихся телег. «Куда они вместятся?» — смятенно думает стражник, и он забывает, что может получить медаль, и думает, что может получить смерть. Он вспоминает, что за вторую половину июля еще не было жалованья, что жена молода... И ему стало страшно смотреть на высокого худощавого парня в черной рубахе, который стоит, опершись на ружье, возле костра. «Никак, сам Александр Пархоменко? Атаман?!»

Двор громаден, темен, возле сараев жуют кони, и кто-то тихонько звенит металлом.

Александр Пархоменко поднимает голову, и в глазах его отражается зловещий блеск костра.

— Фамилия?

— Григорий Ильич Кошин,— отвечает поспешно стражник.

— Говори правду.

— Так точно.

— Зачем ездил в Митякинскую?

— Господин пристав и господин предводитель поручили вызвать казаков.— Стражник вытягивает руки по швам и, стараясь не моргнуть, смотрит на атамана. К атаману подошел с вожжами в руках крутолобый парень и что-то шепчет на ухо. «Повесят»,— думает стражник и бормочет торопливо: — А казаки, что ж, казаки рады сечь бедный люд...

— А ты не рад? — спрашивает атаман.

— Я-то? Господи! Я-то?

Пархоменко указывает на приземистого усатого агитатора, что со стариком проходит мимо костра.

— А его ты не сек?

— Я-то? Ваше благородие...

— Сколько казаков придет из-за Донца? Какое вооружение?

— Двадцать пять. Вооружение — дробовики.

— А из города кого ждете?

— Про город мне неизвестно. Отправлен один верховой, а кого приведет, не знаю.

— Ой, врешь!

Стражник падает на колени и крестится мелкими крестами, оставляя на груди следы мокрых пальцев.

— Ваше благородие, господин атаман, не вешайте! Говорю, как перед богом, не вешайте!

Он усердно стучит лбом в землю. Лицо у него покрывается пылью, глаза закрыты, изо рта бежит слюна.

— Вояка! — говорит Пархоменко. — Посадите его, хлопцы, в холодную. А ты, Рыбалка, ты, Шкворень, ты, Зубров, садись на коней да за мной к обрыву.

— Бонбу бы! — мечтательно сказал Рыбалка.

— И без бонбы хорош. Сам ты будто бонба,— рассмеялся Пархоменко.

Возле ворот он увидал брата. Иван стоял, прислонившись к забору, курил и отвечал на вопросы непрерывно подходивших крестьян. Была глубокая и тихая ночь, спичка горела в пальцах, почти не колеблясь. Брички все шли и шли на площадь. Сколько сел, сколько народу...

— А что в городе? Как Кронштадт и Свеаборг? — спросил Александр, хотя отлично знал, что из города посланцев нет.

— Надо полагать, держатся,— ответил Иван. — А ты куда?

— Да тут, разоружить кое-кого,— уклончиво ответил Александр.

— Ну, разоружай.

— Желаю,— сказал Александр, трогая коня.

— Желаю,— ответил Иван, и всем было понятно, чего желают братья друг другу, и крестьяне сказали в один голос:

— Желаем!

Четыре казачьи лодки неслышно переплыли Донец и приближались к песчаному обрыву. Здесь на песок можно вытащить лодки почти без шума и плеска, подняться по тропке, проползти небольшой луг и войти в сад помещика. Седой плечистый урядник с «Георгием», раненный в японскую войну, вел лодки. За помощь предводителю дворянства он выторговал племенного жеребца и ждал еще каких-нибудь наград. Макаровоярских «хохлов» он ненавидел. Играя бровями, он говаривал: «Варвары и конокрады»,— и сейчас очень жалел, что ружья заряжены дробью.

— Картечью бы их,— сказал он, вздыхая и выпрыгивая первым на ласково хрустящий песок. — Весла-то суши, крещеные.

— Суши весла! — раздался вдруг с обрыва громкий и властный голос. — С чем пожаловали, станичники?

— А ты кто такой? — спросил урядник, кладя руку на эфес шашки.

— А я начальник боевой дружины,— сказал Пархоменко. — Видишь.

Было темно. На обрыве не то сидели, не то лежали люди. Звякнуло какое-то оружие, и вроде как бы блеснули дула винтовок, и тут казаки подумали, что стоят они на голом песке у голой реки, по которой и вплавь пуститься нельзя, потому что речное сияние как ни слабо, а укажет твою голову. Бей на выбор. Сжалось урядничье сердце. Сжались и сердца казаков.

Начальник боевой дружины понял, должно быть, это, потому что бесстрашно спрыгнул с обрыва и подошел вплотную к казакам.

— Сдавай ружья, патроны, сумки,— сказал он скороговоркой. — Клади на песок.

Казаки положили на песок сначала сумки, затем патроны.

— Хорошие ружья,— сказал урядник.

— Головы еще дороже,— сказал начальник.

— Так,— сказал урядник, вздыхая и кладя первым свое ружье на песок. — Других распоряжений не будет?

— Будет,— сказал начальник.— Если еще вмешаетесь, станичники, красного петуха пустим. Хаты у вас деревянные, лето жаркое, а пожар станицу любит.

Урядник снял фуражку и бросил ее на песок.

— Дьявол попутал, господин начальник! Даем клятву. Не только сами не пойдем — и других не пустим.

Казаки все кинули фуражки на песок.

— Даем клятву, господин начальник!

— Ладно. Садись по лодкам!

Уже с середины реки урядник крикнул:

— А ружья-то когда-нибудь вернете, господин начальник?

Пархоменко рассмеялся:

— Когда-нибудь вернем.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Пора страдная, горячая. Пшеница в поле сухо звенит спелыми колосьями. Между рядов ее тянутся к Макарову Яру брички и дроги, хотя все селение уже занято вплоть до ветряков съехавшимся народом. Приехали крестьяне помещиков и Воробьева, и Дорошенко, и Подстаканникова, и двух друзей — Куницы и Пробки, и Гусарова, и множества других. Они едут среди рядов пшеницы с ее желто-галунным блеском и с хохотом глядят, как помещичья скотина идет в стойла без пастуха.

На площади продолжается митинг. Площадь охраняют крестьяне, вооруженные вилами и ружьями, отнятыми у стражников и казаков. Посреди, на площади, как раз против ворот экономии, стоит стол, а рядом с ним другой, поменьше. На этом столе лежат трофеи — двадцать пять казачьих фуражек.

Крестьяне опять рассказывают об избиениях: кто-то из приехавших плачет, кто-то радуется, что приехал, а какая-то старуха требует, чтобы отперли церковь и разрешили подать «грамотку» о здоровье Ивана и Александра — «крестьянских защитников». Поскрипывают брички, битком набитые народом, распространяя запах отличной колесной мази, прекрасны откормленные помещичьим сеном кони. Женщины одеты по-праздничному: на них свежие коленкоровые кофты, похожие на ковыль ленты; атласно-красные платки горят, червонные юбки шуршат, ярко начищенные ботинки отражают все, что можно отразить. Женщины стоят, обняв друг друга за плечи. И когда Александр на рыжем коне, пробираясь через площадь, чтобы проверить караулы, говорит: «Извиняюсь, посторонитесь», — и женщины,

полуоткрыв алые рты, и мужчины, поглаживая усы и поправляя соломенные шляпы, — все говорят:

— Гарные люди приехали, гарные!

А крестьянин, что подвез Ивана после дождя, кричит на всю площадь:

— А то не я первый сказал, шо гарные люди к нам едут?

Голоса ораторов твердеют:

— Довольно мы работали помещику! Заберем скот по дворам. Все равно и скот и хлеба наши!

На стол поднимается Александр Пархоменко. Слушают его, затая дыхание.

— Учитель наш Ленин говорит, что истребление имущества является лишь результатом неорганизованности. Надо уметь взять себе и удержать за собой имущество врага, вместо того чтобы уничтожать это имущество. Когда воюющий уничтожает имущество врага, это — результат его слабости, он мстит врагу, не имея силы уничтожить, раздавить врага. Вот как говорит Ленин. А разве у нас нет сил? Разве мы не удержим имущество, если понадобится, если придет время?

— А може, оно пришло? — спрашивают из толпы. — Може, уже подул ветер?

— Ждем ветра, — говорит Александр и смотрит на край неба, как бы высматривая там скачущего всадника с сообщением о том, что подул ветер и пора разбросать огонь из костра. — Подождем.

На веранде в экономии помещики прислушиваются к голосам на площади. В полураскрытые ворота можно разглядеть пеструю, необычайную, набитую до отказа народом площадь. Можно увидеть и крестьян с вилами и ружьями. Эрнст Штрауб уже ничего не советует, про себя он решил бесповоротно, что пойдет теперь «по военному делу». Сверху, со второго этажа, слышны всхлипывания барынь: им самим пришлось сегодня готовить завтрак и даже разжигать плиту. Особенно громко всхлипывает Ася — старшая дочь Ильенко, жена земского начальника Филатова. Она обижается на мужа: он же земский, он обязан усмирить бунт, а он ждет каких-то казаков, каких-то уланов из города.

Филатов, брюхатый и лысый, с опухшими лиловыми веками, сидит в форменной тужурке на стуле возле крыльца и тупо смотрит на клумбы. Цветы без поливки увяли, на дорожках следы коней. Ух, тяжело!

Ильенко держит в руках фуражку земского и, быстро семеня, кружит возле стула.

— Ваш долг, Иван Константинович, — говорит он басом, — пока слышен разумный голос Пархоменко, вступить в переговоры. Надо выгадать время.

— А если в городе то же самое?

— Тогда мы выгадаем не только время, но и нашу жизнь.

— Почему же вы ее вчера не выгадывали? — язвительно говорит земский, вздыхает, берет фуражку и нахлобучивает ее до ушей. Он делает несколько шагов по дорожке, затем останавливается. — Дай мне портфель. Может быть, с портфелем меня бить не будут. Да и денег туда положи.

Ася пухлыми руками осторожно выносит рыжий портфель с блестящим замком. Грудь ее быстро поднимается и опускается. Земский целует ее в лоб и думает про себя: «Не понимаю, как можно в такое время носить декольте». Вздыхая, сопя, он медленно идет. В воротах он оборачивается. Ася издали крестит его. Земский думает: «Убьют меня, а она все будет в том же декольте. Ух, тяжело!»

Увидев земского, Пархоменко делает знак руками, и толпа расступается. Она стоит молча, хмуро, тяжело дыша. Земский, чувствуя мурашки в икрах, задыхаясь, идет к столу. У него нет сил достать платок, и он вытирает лоб просто ладонью. Фуражка сдвинулась на затылок, лысину жжет солнце, он устал, и ему смертельно хочется поскорей закончить переговоры. Он тихо говорит:

— Сделаем перерыв, Александр Яковлевич, покупаемся, пообедаем, а там поговорим.

Пархоменко кричит со стола прямо в толпу:

— Слышите, мужики! Господин Филатов приглашает меня обедать и купаться. За тем я приехал по поручению партии? Обедать, купаться? Слышите?

И он, с огромной силой, на всю площадь, резко говорит:

— Все народные права за один барский обед хочет купить? Не купишь нас!

Площадь вопит:

— Привыкли подкупать!

— Не кнутом, так копейкой?..

— В холодную начальника! В холодную!

— В Донец его! Там на дне холодно!

Филатов поспешно лезет на стол. Руки у него короткие и никак не могут достать до другого края стола. Пархоменко берет его за борт тужурки — и вот начальник на столе. В желудке у начальника начинает холодеть, сердце щемит: «Ух, тяжело», — думает он и поспешно спрашивает:

— Какие будут требования, православные? — Раскрывает портфель, достает оттуда карандаш, бумагу. — Какие требования?

Площадь гудит. Ничего понять невозможно.

Пархоменко говорит:

— Мы требуем, чтобы избитым полицией платили по пять рублей в день. Работать они не могут. Так? Кто согласен, прошу поднять руки.

Площадь вся поднимает руки.

Филатов не в состоянии сообразить — ну разве же, в самом деле, полиция могла избить всю площадь; он думает только об одном, щупая портфель: хватит ли денег.

— Кто избит, выступите вперед.

Выходит человек пятнадцать, двадцать.

«Хватит», — радостно думает Филатов, легко спрыгивая со стола, и дает каждому по пять рублей.

— Теперь я могу уйти? — говорит он.

— Куда вам торопиться? — отвечает Пархоменко. — Прошу на стол.

Филатов опять на столе.

— Какие еще убытки? — спрашивает Александр. — Ну, вот еще стражники потоптали наш велосипед.

— Сколько стоит велосипед?

— Велосипед стоит сто двадцать рублей, — отвечает Иван.

Филатов раскрывает портфель.

— Я сейчас, сейчас, — бормочет он.

— Обожди, — говорит Иван. — Я приехал сюда не торговать велосипедом. Мы приехали сюда, рискуя не велосипедом, а жизнью. Нас могут повесить. Мы проводим это собрание по поручению партии, а партия хочет знать, как вы, помещики, будете дальше жить с народом. Вот что ты нам расскажи.

— Рассказывай! — вопит площадь. — Рассказывай!

— Ведь вы, — говорит Александр, — берете с десятины по пятнадцать рублей аренды. Это как же? Ведь

человек родился на этой земле, чтобы ходить по ней, работать, жить. А где же он будет ходить, если по пятнадцати рублей аренды? Где он будет жить? Вот про все это и расскажи.

— Рассказывай! — кричит площадь. — Все рассказывай!

Сквозь народ пробирается Ася. Филатов говорит, что это, наверное, помещики шлют новые условия. Пропускают Асю к столу. Филатов наклоняется. Ася говорит ему тихо: вернулся стражник, тот, что ездил в город. Исправник обещал драгун. Кроме того, отряд стражников приближается к Макарову Яру.

Филатов поспешно пишет записку Творожникову: «Выручайте, меня убивают. Берите с ограды народ на прицел». Ася сует записку в декольте. Филатов становится рядом с Александром.

— Записочку написали? — обращается тот к Асе. — Разрешите прочитать.

— Да это так, к детям,— говорит Ася.

Пархоменко говорит площади:

— Вот, товарищи, барское упрямство. Только что меня подкупить хотели, а теперь пишут какие-то записки. Давайте записку, госпожа.

— Я ее изорвала.

— И никуда не прятали? — Пархоменко показывает пальцем на декольте.

— Что ж, вы женщину будете раздевать? — крикнул Филатов.

— Зачем раздевать? Разве у нас старушек нет?

Пархоменко подзывает старушку в синем платке и велит мужчинам отвернуться. Сам он тоже отворачивается. Две молодайки берут Асю за руки. Старушка осторожно лезет за ворот ее платья.

Пархоменко громко читает записку.

— Какой же вы земский начальник, если приказываете брать народ на прицел, потому что народ с вами разговаривает?

— В Донец его! — кричит опять площадь.

— Вот как о вас думает народ,— говорит Пархоменко. — Мы вас арестуем.

Филатов срывает тужурку и кидает ее на стол, где лежат казачьи фуражки.

— Даю клятву,— говорит он, крестясь на церковь,— что больше земским начальником не буду.

Передает тужурку Асе.

— Она нам не нужна. Идите, барыня, с тужуркой, а мужа вашего мы все-таки арестуем, пусть он послушает, что о нем думают крестьяне.

Поздно ночью вожакам забастовки сообщили, что крестьян, возвращавшихся с митинга, возле речки, у моста, встретили стражники. Стражники, не смея ехать в Макаров Яр, решили ловить крестьян по дороге.

Но так как крестьяне не только возвращались с митинга, но и ехали на митинг, то стражники попали между двух обозов. Стражники начали отстреливаться, и тогда крестьяне взяли их в оглобли. Так убили урядника, а троих стражников, избитых и распухших как ошпаренные свиньи, привезли в Макаров Яр.

— Нехорошо сделали,— сказали вожаки забастовки. — Но что сделано, не исправишь.

И велено было: избитых стражников сдать в больницу, а мертвого урядника отвезли в экономию.

Рано утром на площадь пришел сам Ильенко и с ним нотариус Стриж-Загорный.

— Чего хотите? — сказал Ильенко.

Александр Пархоменко спросил:

— За землю по банковской задолженности сколько уплачиваете?

— Два рубля.

— Подтверждаете? — спросил Пархоменко у нотариуса.

— Подтверждаю.

Крестьяне посоветовались, и самый старый сказал:

— Так вот, барин, будем платить тебе два с полтиной. Два рубля будешь ты вносить в банк, а полтинник останется тебе на прожитие.

Ильенко начал торговаться, и торговались до обеда. Сначала он запросил одиннадцать рублей. Мужики прибавляли по копейке. К обеду сошлись на двух рублях восьмидесяти трех копейках. Нотариус написал договор. Вторым пунктом стояло условие, что помещик не может повышать арендную плату, пока земля не перейдет к государству.

— Поставим лучше: во веки веков, — сказал нотариус. — А то к государству... Утопия!

— Утопят, да не нас,— сказал самый старый. — Ты пиши, пиши, раз рука идет.

Волостной писарь приложил печать к договору. Подписались Ильенко, нотариус Стриж-Загорный, братья Пархоменко, волостной староста и трое крестьян.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Помещики шли к купальням. Рабочие гнали скот на полдник. Кухарки сбивали сливки «на третье». Старики крестьяне советовались, куда бы подальше и покрепче спрятать договор. Вожаки забастовки решили, что раз нет сообщения из города, значит, восстание в Кронштадте и Свеаборге подавлено и всеобщая забастовка отложена. Что же, надо опять ждать, собирать силы, учиться. Жизнь не расписание поездов.

Крестьяне готовили торжественные проводы агитаторам. Вася Гайворон вычистил велосипед и говорил, посмеиваясь:

— Буду я помнить эту ожину. Дальнейшего горя не предвидится, Иван Яковлевич?

— А ты сам посматривай.

На прощанье, встав последний раз на стол, Александр сказал крестьянам:

— Будут спрашивать, отвечайте, что слушались во всем Пархоменко. Мы-то выкрутимся, а если на вас упадет вина — плохо. Мы получим каторгу — освободимся, не к тому дело идет, чтобы сидеть на каторге вечно. А если нас расстреляют, то помяните добрым словом: за общее дело погибли.

Толпа проводила Ивана за Донец. Его перевезли в лодке, украшенной ковром. Старики благословили его «на трудную жизнь» и поцеловали крепко.

А за Донцом ждала бричка. Но Вася Гайворон пожелал ехать на своем велосипеде.

Все время он вспоминал «машину» Ивана Яковлевича.

— И неужели тебе, Иван Яковлевич, машины своей не жалко?

— Руки будут — заработают.

На повороте дороги, у села, они увидели несколько всадников. Иван сразу узнал военную посадку. Влево — озеро, вправо — площадь. Куда поскачешь?

В то же время по Макарову Яру скакал в бричке крутолобый Кирилл Рыбалка и кричал:

— Драгуны! Утекайте, ребята!

Александр прятал ружье и патроны, когда прибежала Харитина Григорьевна. Он выскочил на улицу. Были сумерки. Поперек улицы стояли спешенные драгуны с винтовками. Александр перепрыгнул через плетень и огородами выбежал в поле. Несколько выстрелов раздалось ему вслед. Сумерки сгущались. Он пошел вброд. Донец течет быстро, часто меняя фарватер. Там, где две недели тому назад был брод, теперь омут. Пархоменко плавал хорошо, но от бега и бессонных ночей вдруг нахлынула усталость, ноги свело судорогой, и он едва не потонул.

Его отнесло далеко. Он вылез на берег и добрался до мельницы урядника Деркуна. Урядник этот был женат на дочери шинкаря — еврейке, славящейся на весь уезд красотой, добродетельной жизнью и острым языком. Александр, мокрый, дрожащий и голодный, стоял возле плотины. Утка вперевалку вела к мельнице утят. Пегий теленок жевал какую-то тряпку. «Хозяина нет дома, раз теленок жует тряпку и мельница молчит,— рассуждал про себя Пархоменко. — Хозяйка — баба смелая, раз вышла по любви за казака, а раз смелая, значит, добрая».

— Хозяйка,— сказал он высокой и черноглазой женщине, сидевшей у окна, заставленного цветами. — Хозяйка, за мной гонятся драгуны. Я Пархоменко, начальник боевой дружины из Макарова Яра.

— А где ж твоя боевая дружина? — смеясь, спросила хозяйка.

— Схватили.

— А ты хорошо умеешь плавать в сапогах и одежде? Донец переплыл. Сильный. Может быть, убьешь меня? Я ведь одна во всей мельнице.

— Не боевое это дело — бить женщин,— сказал Пархоменко.

— А я знаю, кого ты бьешь. Это ты осенью стоял на крыше возле синагоги, когда шел погром?

— Не было тогда меня в городе,— сказал Пархоменко,— я был в отъезде.

— Это ты стоял. Мне все известно, Александр Яковлевич. А ты что, боишься, что я тебя уряднику выдам? Нет. Урядника я люблю. Но у него своя служба, а у меня своя.

— Какая же у тебя служба, хозяйка?

— А так, кое-какие думы про себя беречь.

Она вышла, вынесла крынку молока, каравай хлеба и вареную курицу. Посмеиваясь, она провела Александра на сеновал и сказала:

— Будешь здесь спать, пока им не надоест тебя искать. Только не кури. Я с детства пожарами напугана. Курить будешь, когда с мельницы все уедут.

Прикрывая дверь, она рассмеялась:

— Поскучай. Привела бы к тебе жену, да баба, знаешь, слезами дорогу может врагу показать.

Харитина Григорьевна искала своего мужа среди арестованных. Избитые, израненные, лежали они в «холодной». Стражники пропустили ее, надеясь по ее следу найти Пархоменко. Один из дружинников сказал ей, что Александра Яковлевича надо искать в лесу. Целую ночь пробродила она по лесу, крича все громче и громче:

— Саша! Саша! Саша!

На рассвете над головой ее звонко и протяжно запела какая-то птица. Печаль горькой солью наполнила сердце. Харитина Григорьевна зарыдала...

Пархоменко прожил в сарае мельника три недели. Запах сена, щебетанье ласточек, шум бегущей воды и рассуждения мельничихи об ее удивительно крепкой любви к уряднику надоели ему. Сам урядник, стройный, красивый, с завитыми усами, вставал поздно, почти в полдень, и до вечера ругал чрезвычайно искусно своих работников. Голос у него был нежный, но язвительный, а ругательства оскорбительные. Однажды в полдень, когда шел обильный и теплый дождь, мельничиха вошла в сарай и сказала:

— Ну, прощай. Денег тебе не надо?

— Спасибо, не надо. Авось встретимся?

— Авось,— сказала, смеясь, мельничиха.— Поклонись жене, вишь какая я добрая, даже в очи тебе поглубже не заглянула.

Пархоменко поступил слесарем на Ольховский чугунолитейный завод. Приехала жена. Квартировал он в рабочей казарме, получал в день девяносто копеек, жить было сносно. Харитина Григорьевна родила большого и тяжелого сына. Александр соорудил люльку и

сделал сыну погремушку. Сыну было девять дней, когда в комнату вошел пристав.

— Александр Яковлевич Пархоменко?

— Он самый.

— Арестован.

Пархоменко поцеловал сына и жену. Пристав осторожно прикрыл за собой дверь. Дворник передал семье распоряжение немедленно съехать с «казенной квартиры».

Накануне появления Александра в тюрьме брат его Иван был вызван к следователю. Его сопровождали два стражника. Пришли. Один стражник пошел сдавать «сопроводительную бумагу», а у второго не оказалось спичек для закурки, он и пойди в соседнюю комнату. Иван, не долго думая, пошел в другую смежную, а та рядом с кухней, а кухня — во двор, а двор — на улицу, а улица — на свободу. Так Иван и ушел.

Когда Александр не сидел в карцере (а сиживал он там часто), его жене разрешали свидания. Она боязливо, держа ребенка на руках, входила в низкую и тусклую приемную. Александр целовал ребенка в щеки, в ножки и перебирал руками пеленки. В пеленках лежали письма. Харитина Григорьевна писала, как живут его друзья, что делается на свете и что происходит у нее на душе. Александр прятал в пеленки свое письмо и целовал ребенка. Ребенок улыбался, показывая розовые и мокрые десны.

Через полгода Александра выпустили на поруки. Он опять поступил на Ольховский завод. Пристав немедленно пришел с обыском и с вопросом о бежавшем брате. Александр переехал на шахту, в десяти километрах от Ольховки. Пять дней спустя его уволили. Он направился в Луганск. Друзья устроили ему работу у Гартмана. Вдесятеро крепче, чем работе, он радовался встречам с Ворошиловым.

Однажды на заре Александр постучал в окно своей квартиры.

— Скорей револьвер прячь, жена. Я уезжаю.

Жена едва успела закопать револьвер, как появилась полиция. Нашли только семейные фотографические карточки. Сам Александр скрылся. Поймали его в Севастополе, оттуда перевели в луганскую тюрьму.

Заключенные любили этого веселого и сильного арестанта. Про него говорили, что он разрывает любые

кандалы, а песни поет так, что плачут самые старейшие и злейшие надзиратели. Сосед по камере, бывший капитан Поплавков, с розовой лысиной и сизыми усами в три кольца, сидевший в тюрьме за убийство жены «по сплошной ревности», узнав, что Пархоменко интересуется военными науками, решил познакомить его с «военными тайнами». К сожалению, он почти совсем забыл военное дело и больше говорил о том, как является ему жена «в видениях любви».

— Итак, прошлый раз мы остановились на смысле слова «дефиле»,— начинал он, поджав под себя ноги.— Но что такое дефиле, если сам я, Александр Яковлевич, существую, как оконный переплет без стекол? Что вы думаете о любви?

— Не нравится мне, чтоб в семейную мою жизнь вмешивались. Давайте о дефиле.

— Любовь существует не только в семье.

— Как же так — без семьи?

— Не понимаете вы любви, Александр Яковлевич. Вы вообще-то любите кого-нибудь?

— Жену люблю.

— А как же наружных страданий незаметно? Да и внутренних в голосе не отмечаю.

Пархоменко молчал. Капитан недовольно крякал и думал, что сильные физически люди мало способны к любви. Но когда однажды капитан увидел, как Харитина Григорьевна вошла в приемную, ведя за руку ребенка, и как Пархоменко осторожно взял его за плечи и, щекоча усом, поцеловал его в щеку, а тот схватил его бровь, а Пархоменко смотрел то на ребенка, то на жену, и оба эти взгляда светились такой разной и в то же время одинаковой, неистребимой и неиссякаемой любовью, капитан Поплавков, как ни уважал себя, все же должен был подумать, что в его понимании и ощущении любви многого не хватает.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Осенью 1910 года Александр Пархоменко вышел из луганской тюрьмы. Сбоку из переулка дул сырой и пронзительный ветер, сапоги были дырявые, а лужи и грязь непроходимые. Жена смотрела на него огромными и ласковыми глазами. Он с удовольствием перепрыгивал

через лужи, размахивая руками, как бы щупая этот ветер, сырой и пронзительный, но все-таки не тюремный!

— Четыре года, выходит, Тина, вытрясали из меня волю. А много вытрясли? Живу! Живу и буду жить.

— В Луганск поедем? — спросила жена.

— Пока поеду в Дебальцево. Там тюремные дружки имеются.

— Сказывают, выучился ты коновальству, да цыганскому говору от своих дружков? Зачем это, Саша?

Пархоменко засмеялся, с наслаждением крутя папиросу и рассматривая толстый кисет, принесенный женой.

— Опасаешься, в конокрады уйду? — Он посмотрел в обиженное лицо жены и потряс ее за плечи. — Я шучу, шучу, Тина. Цыганские слова сгодятся. Слова эти стоят возле коней, а коней я люблю, Тина. Уж вот как люблю! Как увижу в окно — мимо тюрьмы на хорошем коне проедут, так заноет сердце, будто с корнем его вырывают. По какому праву, думаю, может купец или чиновник ездить на хорошем коне? Нет такого права и не может быть!

В Дебальцеве на механическом заводе он проработал только месяц. Вернулся как-то под вечер и, не садясь за стол, сказал:

— Пришли ко мне, видишь ли, пятеро курских, сокрушаются. Возчики, коней кормить нечем, а управляющий деньги замошенничал. Ну, пришлось пойти в контору и по-военному приказать управляющему, чтобы платил, как полагается. Иначе, мол, сделаем из тебя «дефиле».

— Заплатил?

Он расхохотался.

— Заплатил. Но мне-то теперь они платить только тюрьмой могут. Давай поужинаем поскорей да будем собираться, жена. Едем в Юзовку.

* * *

Приехали в Юзовку. Комната низенькая, окнами на улицу. Тусклые окна; видно, как ходит мимо дома шпик. А как только Пархоменко вернется с работы, так над головой по чердаку гул.

— Сыщики бродят, — со смехом говорит Пархоменко. — На заводе так прямо у станка останавливаются

и в глаза смотрят. «Смотрите, думаю, пока время есть».

За полмесяца до вторых родов жена возвращается с базара. Домик окружен верховыми, ребенок кричит, сундуки опустошены, перевернуты, даже матрац вспорот. Околоточный, рыжий, узкоглазый, роется в подполье. В сенях сидят с нагайками полицейские.

Самого Пархоменко привели в охранку.

— Будет вам, господин Пархоменко, куролесить. Работник вы хороший...

— Чего же вы меня каждый день обыскиваете? — едко спросил Пархоменко.

— ...здоровый. Такому человеку надо жить нормальной жизнью, домком, помогать правительству...

— Это вы живете ненормальной жизнью, волнуетесь, а моя жизнь нормальная,— сказал Пархоменко.

— ...человек вы общительный, веселый, вам бы сообщать о мрачных людях, мрачных мыслях, настроениях, делах. За это хорошее жалованье платят, господин Пархоменко.

— Вы это мне?

— Вам.

— Предать народ?.. Да вы мои глаза видели?.. Эх, стражник рядом... впрочем, была не была! Я... — И он замахнулся.

— В тюрьму его! — отскочив, закричал начальник охранки.

Из луганской тюрьмы он выходит весной 1912 года и поступает на работу в инструментальный цех патронного завода. Здесь Александр руководит политической стачкой — протестом против Ленского расстрела, выступает на массовках, распространяет литературу. Цех считает его лучшим луганским шлифовальщиком, а о его бесстрашии и силе говорят на всех заводах. Есть такая заводская игра — «шутка». Когда рабочие соберутся покурить в уборной, то один, заложив руки за спину, отворачивается от остальных. Надо подойти и ударить по ладоням, а тот, кто отвернулся, должен догадаться, кто бьет. Бьют, не жалея. И если раздастся удар, от которого «шуточник» пошатнется и охнет, то он непременно скажет: «Это Пархоменко».

Однажды, после получки, приятели уговорили Александра зайти в пивную. Александр не то чтоб избегал выпивок, он опасался пьяной болтовни, а в его положении болтовня хуже всего.

Посидел он с полчаса. Стемнело. «Пойду»,— говорит. Приятели ему: «Обожди, пойдем вместе. Нонче хулиганят гусиловские с городскими, как бы не накинулись».— «Нет, пойду»,— говорит. Проходит через базар.

Напали пятеро, вооруженные железными тростями с берестяным набором. Александр раскинул всех пятерых, вырвал у одного палку и гнал их, пока они фуражки со страху не растеряли. Тут он начал хохотать, собрал фуражки и принес их домой.

Жил он тогда в одном домике вместе с братом Иваном, который, по новому, поддельному документу носил теперь фамилию Критский. Александр с трудом привык называть его этой фамилией: все тянуло на Ивана, либо хотелось сказать с теплотой «брат».

— Критский, а ведь фуражки-то со значками,— сказал Александр.— Критский, либо это полиция, либо кто им помогает.

Зажгли лампу, осмотрели фуражки. Две штатские, одна землемерская, две фуражки учеников городского училища. Братья написали письмо в местную газету о том, что и «впредь хулиганы будут также обучены», и послали его вместе с фуражками. Долго ждали, когда напечатают письмо, но так и не дождались.

— Трудно им такой позор про молодую буржуазию печатать,— сказал Александр, смеясь.— Они на нее надеются.

Братья жили дружно. Комнаты их разделялись неширокими сенями. Здесь, в сенях, братья часто встречались, плечо о плечо выходили во двор и садились на приступочку покурить. Александр любил разговаривать о прочитанных книгах. Особенно нравящиеся ему книги он сам переплетал и ставил рядом со словарем Брокгауза и Ефрона, что в черно-золотых переплетах. Он не только переплетал, но мог, казалось, делать все. Например, жена кроит сынишке брюки, Александр сооружает какую-нибудь полочку. У жены кройка не выходит. Александр посматривает, посматривает, а затем скажет: «А ну-ка, давай!» И скроит. Ботинки он чинил себе всегда сам. Сыну ко дню рождения сделал полный столярный инструмент. Но вместе с тем брился он обязательно в парикмахерской и даже имел у мастера специальный абонемент. Мастер Ермолин так уважал своего клиента, что сберег до 1917 года не использованные им талончики.

Брат Иван одевался попроще, как он говорил, «с крестьянским уклоном». Александр же даже на работу ходил в хорошем сером костюме, летом непременно в белом картузе, с тросточкой, в ослепительно чистой косоворотке. Зарабатывал он много, но денег не имел, потому что все родственники — тетки, четвероюродные братья и сестры, дяди — все шли к нему за помощью, и он помогал при любых бедах.

Квартира его от завода находилась близко: обедал он поэтому всегда дома. Едва Харитина Григорьевна услышит обеденный гудок, как миска с борщом уже на столе. «Бойка ты у меня, жена»,— говорил он, входя в хату. Пообедает и обязательно выпьет кружку холодной воды: таков казацкий обычай. «Заместо водки,— скажет он, улыбаясь,— водку тоже пьют холодную».

— Выпей чаю,— скажет Харитина Григорьевна.

— Давай! — Он возьмет сладкий чай, даст ему непременно остыть и выпьет залпом сразу весь стакан, а затем скажет: «Вода не лекарство, чего с ней важничать?»

Как-то в воскресенье, весной, братья утром шли за город с удочками. Шли они мимо дома «патронного генерала» Максимова, как звали рабочие начальника патронного завода, где работал Александр Пархоменко. Дом этот «патронный генерал» недавно приобрел, говорят, за очень сходную цену у немецкого инженера. Дом был самый новомодный, с лепными лилиями по карнизу, с кривыми перилами на лестнице, с мутно-опаловыми окнами. Сам генерал, сутулый, с жирными плечами, стоял спиной к улице возле клумбы с нарциссами. Против него курил сигару молодой человек с иссиня-черными усами и бородкой. Грудь он выпячивал, ноги вытягивал и говорил так громко, словно слушал его весь город.

Пархоменко дернул брата за руку. Они остановились возле кустов акации. «Знакомый и голос... и вид...— прошептал брату Пархоменко.— Кто бы это такой? Дай вспомнить». Голос между тем продолжал:

— Человечество существует только благодаря войне, ваше превосходительство, благодаря войне и ради войны. Это говорят не только Ницше или Маринетти. В войне выковываются новые расы и побеждает голубая, благородная кровь! Да вспомните Египет, Грецию,

Рим. Что осталось от них? Легенды о военных памятниках и рассказы о военных походах...

— А Венера Милосская? — спросил, срывая нарцисс, генерал. — А Венера Медицейская?

— Венера? Вы твердо убеждены, что это богиня любви, а не богиня войны? Не забудьте, ваше превосходительство, что Венера была женой Марса. Женою генерала, так сказать! И рук у нее нет потому, что она держала в них военный атрибут, который противники и выбили у нее! Выбили... Простите,— вскричал он, выхватывая револьвер, — я увидал за акациями знакомого, которого давно догоняю.

Забор был из железной сетки и высок, калитка в стороне. Штраубу приходилось делать крюк. Генерал смотрел на него, разинув рот.

Когда Штрауб выбежал за калитку, братья Пархоменко уже скрылись. Штрауб поспешил в охранку. В ту ночь всюду по городу начались обыски. Искали Пархоменко, но обыски не привели ни к чему. А так как Штрауб не мог думать, что Пархоменко попал к саду генерала случайно, а, наоборот, он думал, что Пархоменко ищет его, и, наверное, зная, что он служит в охранке, хочет его убить... то, сбрив бородку и усы, Штрауб поспешно скрылся из города.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Стоит вернуться немного назад. История четырех молодых людей, с которыми мы мельком познакомились в Луганске и в Макаровом Яру, история Штрауба, Ильенко, Быкова и Чамукова любопытна не столько внешними событиями, которых, между прочим, у каждого из них тоже было немало, она более любопытна единством того внутреннего пути, по которому после революции 1905 года шли российская буржуазия и помещики, шли к тому, чтобы в 1917 — 1921 годах стать,— предав родину, ее прошлое и будущее, не говоря уже о настоящем,— прямыми слугами Антанты, прямыми кондотьерами, продавшимися капиталистам Америки, Англии и Франции. Путь этот особенно резко обозначился в биографии Эрнста Штрауба.

После событий в Макаровом Яру, где Штраубу так и не удалось проявить своих военных способностей,

Штрауб стал сильно сомневаться в наличии их у себя вообще. Да и в конце концов зачем ему быть генералом? Возле Бонапарта были Фуше и Талейран, и еще неизвестно, кто из них по ловкости и уму выше!.. В данное время над миром нависла громадная угроза — уничтожение собственности, особенно крупной, к которой Штрауб имел немалое пристрастие. Эта угроза идет из России; революция 1905 года показала, что, если русским рабочим и крестьянам удастся взять власть, в их руках будет рычаг, о котором тщетно мечтал Архимед. «Они перевернут мир! Они уничтожат собственника! Они устроят коммунизм в России, а из России, как из гигантской огненной печи, этот раскаленный металл разольется по всему миру... Значит, нужно спасать собственность». Как? — не имеет значения. Спасать — и все! Всячески спасать. Оружием, войной, расстрелами, провокациями, охранкой, книгами, защищающими собственность, газетами, журналами... и спасать нужно поскорей, потому что, как видно, русские помещики и купцы легкомысленны и не видят грядущей беды.

В институте он старался завести знакомства среди прогрессивной молодежи. Охранке он посылал время от времени сведения, и по этим сведениям человек тридцать — сорок было арестовано, сослано и посажено в тюрьму. Но своей работе в охранке он не придавал особого значения. «Это — меры предупреждения, не больше. Болезнь нужно лечить радикально. Русские помещики и буржуазия не в состоянии подавить революцию? Превосходно! Им помогут помещики и буржуазия другой страны. Какой? Не все ли равно. Пока в Европе, по-видимому, имеется один кандидат: Германия; Австрия сама находится приблизительно в таком же положении, как Россия».

Отец его, живший в Киеве, был человеком довольно богатым. Правда, он кутил и тратил много на женщин, но все-таки денег было так много и дела шли так хорошо, что Эрнсту не на что было жаловаться. Когда он окончил курс института, отец сказал:

— Тебе предстоит выбрать только предприятие. Ты хорошо знаком с Украиной. Поезжай на один из наших заводов: в Луганск или под Ростов. Вот в Харькове я тоже стал пайщиком...

Эрнст вяло слушал отца, думая: «Немцы сразу меня не возьмут... у них и без того, наверное, много предло-

жений, — все эти коммивояжеры — каждый желает заработать кое-что и на шпионаже. Нет! Начинать надо с Австрии! Австрийцы глупей, вроде русских... Или, быть может, к японцам поехать? К американцам? Но я совсем не знаю японского языка... английский плохо... Нет, начну с немцев. Как-никак, я все-таки — немец!»

— Я — немец, отец?

Из соседней комнаты послышался девичий смех, и двоюродная его сестра Катерина, рассматривавшая вместе с его сестрами кружева, которые принесла на продажу кружевница, полуслепая вдова чиновника казначейства, сказала:

— Ты слишком сух для немца, Эрнст!

— Сух? Если бы ты знала мои планы, ты б увидела, что я очень широк в своих замыслах.

— Ширина нисколько не мешает сухости. Немцы бывают разные, но мне кажется, что ты больше похож на англичанина, Эрнст.

— Я плохо знаю английский.

— Можно быть англичанином и совсем не зная английского.

— Поезжай-ка в Америку без знания английского...

— Но ты, наверное, и поедешь!

Катерина имела на него какие-то виды. Эрнсту она не нравилась резкостью своих суждений, а главное — неосновательной любовью к России, Украине... вообще славянам.

— Самое отвратительное зрелище — немец-славянофил! — сказал он, вставая и закрывая дверь в соседнюю комнату.

Затем он повернулся к отцу и сказал:

— Предварительно мне хотелось бы попутешествовать, отец.

— Куда же ты хочешь ехать? В Париж?

— В Австрию.

— В Вену?

— Нет, мне просто хочется побродить по Карпатам. Это многообещающие горы. Они, мне кажется, позволят свершить подвиг. Моя слава гнездится в Карпатах!

— Если тебе хочется славы, поступай в пожарные, — сказал с хохотом отец.

Эрнст отвечал серьезно.

— Я и хочу сделаться пожарным, который гасит бунты.

— Деньги гасят бунты, сынок, только деньги.

— Деньги лишь помогают направить холодную струю воды в самое опасное гнездо пламени.

— Золотую струю, сынок, золотую!

«Подвиг требует действий, а не размышлений. Если видна цель, действуй! Доверься сердцу, инстинкту, и, если у тебя есть талант, ты придешь к желаемой цели. Средства не имеют никакого значения! Над ними не стоит думать. Когда ты будешь на вершине славы, толпа простит тебе все средства, даже самые грязные, самые отвратительные, самые низкие. Толпа не только простит, она поклонится тебе и воспоет тебя! С точки зрения ходячей нравственности Наполеон был бесстыдным и подлым. А о ком больше всего написано хвалебных книг и кто из поэтов, так кичащихся своей чистотой и неподкупностью, кто не воспел Наполеона?.. Организатор подлейшего сыска и чудовищных пыток Игнатий Лайола объявлен святым...» — так думал Эрнст.

Сначала Эрнст долго кружил по Украине. Он быстро свел знакомства с военными. Эти знакомства позволили ему сфотографировать все важнейшие объекты на железнодорожных путях, а также и некоторые укрепления, тайком возводимые русскими. Затем — не потому, что ему было трудно перевезти через границу негативы, а из удали и для упражнения — он перешел австро-венгерскую границу у Радзивилова. Во Львове он узнал без особых хлопот, что помощник начальника разведывательного бюро генерального штаба австро-венгерской армии находится в Перемышле.

Эрнст не пошел в канцелярию помощника начальника австрийской контрразведки, а постарался познакомиться с ним в ресторане. Майор Ранд, низенький, курносый, пришептывающий, любил цветы.

— Надеюсь, вы со мной не о разведении цветов хотите говорить? — спросил он после индейки, когда Эрнст приказал подать шампанского. — Не ради же разведения роз вы заказываете шампанское? Что вы продаете: всеобщее восстание в русской Польше, украинские легионы, экономические обзоры Царства Польского? Ах, у нас чересчур много иллюзий!

Эрнст взял бокал и, легонько постукивая по нему ногтем, сказал:

— За Россию вы платите мало?

— За Россию мы платим совсем плохо,— ответил майор.— Я вижу, вы серьезный молодой человек, и я вам говорю: бросьте Россию. У нас очень много предложений. Например, только сегодня у меня были представители некоего Пилсудского. Они предложили мне обмен. Если австрийцы их поддержат, они обещают дать мне в помощь свою разведку в России. Ваше здоровье.

Они чокнулись.

— Возможно, я выдаю государственные тайны,— сказал майор,— но вы мне нравитесь. Кроме того, мне кажется, вы серьезно хотите работать в нашем поприще. Многообещающее дело! Что же касается представителей Пилсудского,— они болтуны.

— Я знаю их,— сказал Эрнст.

— Откуда вы знаете их? — спросил с удивлением майор Ранд.

— Через два номера от меня живут какие-то два поляка. Коридорный, тоже поляк,— наверное, ваш служащий,— чрезвычайно им обрадовался. Мне скучно. Я брожу по коридору. Коридорный выносит нечто, покрытое белым. Слишком таинственно его лицо, чтобы это «нечто» было ночным горшком. Я спотыкаюсь возле коридорного. Он, наткнувшись на мою ногу, падает. Странное дело: вместо ночного горшка из-под белого сыплются брошюры и газеты. Я, конечно, не замечаю этого, прошел дальше. Один из листков совершенно случайно пристал к моему пиджаку. И верх листка и подпись одинаковы: польская социалистическая партия. Я спускаюсь вниз и узнаю фамилии постояльцев, это доктор Витольд Иодко и некий банковский служащий Фолькенгайн.

— Вот как! — с изумлением сказал майор Ранд.— Простите, а как ваша фамилия?

— Я Эрнст Штрауб, из России. Некоторое время я обучался в Киеве, а теперь хочу заняться военным делом. Я считаю, что человечество совершенствуется благодаря войне и обязанность каждого честного человека помогать этому совершенствованию.

— Вот как,— уже без изумления сказал майор Ранд и решил про себя, что этот молодой человек выкрал русские шифры и, видимо, хочет продать их подороже.— У вас что, шифры?

— Можно достать и шифры,— сказал Эрнст.— Но у меня не шифры.

— Какие же у вас предложения, господин Штрауб?

— Вы со мной разговариваете, как торговка на базаре, продающая лук. Неужели вы все еще не поверили, что я серьезный человек. Или, быть может, мне рассказать кое-что о вас?

— Вот как! — опять с изумлением сказал майор Ранд. — Я прошу вас завтра в девять часов утра прийти ко мне в канцелярию. Извините, но многие думают, часто не имея для этого никаких данных, что война помогает человечеству совершенствоваться, а у нас для оплаты таких мыслей чрезвычайно малы ассигновки.

До этой фразы Эрнст едва не сказал, что хочет действовать «впредь до подвига» бесплатно. Но, услышав о малых ассигновках, он сразу понял, что майор не способен поверить в какой-либо бескорыстный подвиг и способен поверить только человеку продающемуся. Поэтому, когда Штрауб пришел в канцелярию разведывательного бюро и положил на стол свои негативы, он уже знал им цену. Цена эта оказалась не очень велика. Майор Ранд приобрел негативы, а самое главное — поверил Эрнсту. Это видно было из того, что ни доктор Иодко, ни Фолькенгайн не покинули своего номера и охотно познакомились с Эрнстом. Эрнст ужинал с ними два раза, беседовал о медицине, об архитектуре и даже о привычках обезьян, потому что у банковского служащего господина Фолькенгайна некоторое время, около полугода, жила обезьяна-мартышка! Чудеснейшее существо! А какая привязанность! Господин Фолькенгайн растроганно хмурил брови и нежно бранился. Только один раз он как-то особенно остро взглянул на Эрнста и спросил:

— А вы бывали в Варшаве?

Нет, Эрнст никогда не бывал в Варшаве.

— Мне кажется, я встречал вас в Варшаве.

Нет, Эрнст никогда не бывал в Варшаве и сожалеет об этом. Говорят, варшавянки обворожительны! Если он в кого и влюбится, так в варшавянку, не правда ли? Может быть, мы выпьем еще ликера творчества отцов-бенедиктинцев?

— Да, — сказал господин Фолькенгайн, — познакомимся с творчеством отцов-бенедиктинцев.

Да, несомненно, майор Ранд не только поверил, но и стал уважать Эрнста. Он давал ответственнейшие поручения на Украине и на Дону. Эрнст переходил

границу, теперь уже беспокоясь и дрожа не больше, чем пешеход, переходящий улицу. Эрнст узнавал, насколько растет русское стратегическое строительство железных дорог, где строят укрепления, как их бронируют и каковы основания для установки орудий. К концу 1911 года у него на Украине было в подчинении уже шесть австрийских офицеров, ведших здесь разведывательную службу. Некоторые из них имели крупные чины и ордена. Казалось бы, на что жаловаться Эрнсту? И все же он был недоволен. Австрийское разведывательное бюро работало слабо, малокровно, без размаха. Здесь не совершишь подвига. Здесь всю жизнь будешь тянуть из рюмочки, когда человеку с его способностями надо пить стаканами, бутылками! Эрнст поехал в Берлин.

Майор Николаи, начальник разведывательного отдела германского генштаба, встретился с ним охотно. Видимо, он уже располагал кое-какими данными относительно личности Штрауба, потому что на предложение Эрнста ответил кратко:

— Да, это крупное дело. Мы горячо заинтересованы в нем. Мы давно приближались к этой цели, но не приблизились. Австрийцы тоже, кажется, не были счастливее нас.

— Но можно ли это считать подвигом? — с волнением спросил Эрнст.

— Даже если вас и расстреляют, это будет подвиг, — со странной, кривой улыбкой ответил майор Николаи. Должно быть, он не очень верил в успех подвига.

Эрнст надел мундир офицера сибирского казачьего полка, выпустил чуб, нафиксатуарил усы — и появился на улицах Ковно. Мундир шили несколько поспешно, он жал в плечах, широкие шаровары мешали при ходьбе, да и население относилось к казачьему офицеру со скрытой злостью. «Зачем они выдумали казачий, лучше бы гусарский», — думал с неудовольствием Эрнст и от волнения курил почти без перерыва. Раздражало и то, что казачьему офицеру не подобает курить сигары и он должен курить или трубку, или папиросы. Но странно, во время танцев в офицерском собрании этот казачий мундир и помог ему. Овцев, комендант новой ковенской крепости, в молодости служил в Сибири. Он чрезвычайно обрадовался сибирскому казаку, стал расспрашивать об Омске, Эрнст знал только, что в Омске жил Достоевский, и все разговоры сводил к «Братьям Карамазо-

вым» — единственной книге этого писателя, которую он прочел. Впрочем, старик Овцев радовался и Достоевскому, фамилию которого он припомнил с большим трудом. Комендант познакомил Эрнста с дочерью своей, Верочкой.

Вере было девятнадцать лет. Она родилась в Омске, и первые слова, которые услышал от нее Эрнст, были:

— А правда, Неман несколько похож на Иртыш?

— Мышь тоже походит на слона,— сказал Эрнст.— Вопрос в размере.

«Она удивительно добра»,— подумал Эрнст, разглядывая ее высокие брови, от которых взгляд казался очень наивным. Времени у него было мало. Ковно был наполнен сыщиками. Несомненно, о приехавшем казачьем офицере уже наводили справки. Правительство очень оберегало новую огромную крепость с гигантскими фортами, с подземными ходами, со рвами, выложенными кирпичом, с бетонными бастионами. Надо было торопиться.

Уже во время танцев он сказал ей, что Достоевский, увидя некую великосветскую красавицу, упал в обморок перед ее красотой. Нечто подобное испытывает он. Голос его дрожал, в висках стучало. Он действительно чувствовал, что любит, и любит в первый раз, потому что нельзя же считать любовью и ту горничную, за которую отец бил его плетью, и тех девиц легкого поведения, которых он встречал во множестве. И голос его, и волнение, и необыкновенные слова в необыкновенное время, и страшный мундир, и даже чуб — все это действовало на Веру. Глаза ее горели, она дышала тяжело. Утром, когда он приехал с визитом, она вышла с темными кругами под глазами. Она не спала всю ночь, да и Эрнст тоже не спал. Несомненно, он любил! Эти темные круги расстроили его до слез. Едва отец покинул гостиную, как Эрнст, положив руки на рояль, сказал:

— Я вас люблю, Вера,— и повторил, сжимая руки: — Я вас люблю!

И они оба заплакали, и им было очень приятно плакать. Они выбежали в сад. Здесь под кленом она поклялась в вечной любви. Все происходило так, как обычно происходит со всеми, разве что несколько быстрей. Эрнст объяснял эту быстроту своей сверхчеловечностью и тем, что городишко маленький и все гарнизонные офицеры давно опротивели Вере. Вера же свою

любовь объясняла тем, что, может быть, когда-то в детстве она встретила «его» и там, «на диком бреге Иртыша», возникла эта странная, так счастливо развернувшаяся сейчас любовь. У него такое страдающее лицо и такой проникновенный взгляд йога! О, это очень таинственная личность. Ее огорчало немного, что он богат. Ее отец тоже богат, и ей хотелось бы этой чудесно быстрой любовью осчастливить бедного человека.

Три дня спустя она вышла к нему уже ночью, в сад.

Через день отец ее уехал на кирпичные заводы. Ночь он проведет вне города и вне крепости. Вера оказалась девушкой решительной. Она пустила Эрнста к себе в комнату. Однако поцелуи его казались ей холодными, а сам он задумчивым. «Отец согласится на свадьбу, согласится»,— твердила она и все просила его сесть рядом с нею на диван. Эрнст сидел на стуле и напряженно думал: «Неужели же она не заснет?» Она заснула под утро. Он снял башмаки и прошел в кабинет отца. Планы крепости Ковно хранились в несгораемом шкафу. Эрнст открыл его с большим трудом, сильно порезав себе руку. Он сфотографировал планы при свете магния и закрыл шкаф.

Когда он вернулся, девушка все еще спала. Он полагал, что именно сейчас он способен поцеловать ее так, как она хочет. Но хотя шкаф был заперт и никто не мог догадаться, что его открывали, и хотя до рассвета оставалось два часа, все же нестерпимый трепет бегства потрясал Эрнста. Он даже не имел сил поцеловать ее в лоб и, весь трепеща, вылез в окно.

И в гостинице он не мог успокоиться. В девять утра он был уже на улице. «Бежать, бежать,— думал он.— Подвиг совершен. Бежать!» Пара коней подкатила к подъезду гостиницы высокую коляску. Между двух фонарей сидел бородатый извозчик в высокой черной шляпе. И в крайнем изумлении узнал Эрнст в пассажирах доктора Иодко и некоего банковского служащего господина Фолькенгайна. Господин Фолькенгайн изобразил на своем загорелом лице сильнейшую радость и полез целоваться. «Чьи это? Австрийские или русские?» — думал Эрнст, целуя усатое лицо Фолькенгайна.

— Да, да, конечно не завтракал,— сказал он.— Конечно, с радостью позавтракаю.

И вот они сидят за столом. Господин Фолькенгайн смотрит на Штрауба ласковейшими глазами и, взметнув мохнатые брови, спрашивает:

— А все-таки, мне кажется, я встречал вас в Варшаве?

Нет, что вы, он еще не побывал в Варшаве. И Эрнст думает: «Русские».

— Значит, вы еще не полюбили? — смеется господин Фолькенгайн. — А помните, вы обещали полюбить варшавянку?

Да, он еще не любил, а если полюбит, то только варшавянку. Не правда ли, они обворожительны? А сам думает: «Нет, австрийские. Приехали тоже, чтобы выкрасть планы Ковно. Значит, договорились с Австрией». И голову его обжигает мысль: «А вдруг снимки не получились? Ведь эти два шпика уже не допустят его к Вере».

Эрнст говорит, глядя на свои руки:

— Боже мой, какой пыльный город! Полчаса как пробыл на улице, а руки уже грязней, чем у трубочиста.

— Да что вы, у вас совершенно чистые руки, — говорит господин Фолькенгайн.

— Нет, я привык к действительно чистым рукам, — говорит Эрнст и обращается к официанту: — Проводите меня, пожалуйста, в умывальную, ведь она у вас тут, за дверью, кажется?

— Да, вот здесь, за дверьми, — говорит официант.

— У вас ведь нет никуда из нее отдельного хода?

— Что вы, — говорит официант. — Парадный ход за вашей спиной, а черный через буфет. Нет, из умывальной какой же ход!

И господин Фолькенгайн и доктор Иодко очень довольны, хотя и не показывают виду. Эрнст входит в умывальную. Тут ему вдруг понадобились папиросы и спички. Он дает официанту пять рублей. Сдачи не надо. Официант уходит. Эрнст смотрит в окно. «Второй этаж, черт возьми! А в общем — господи благослови!» Второй раз ему приходится прыгать из окна.

Он нанимает извозчика и скачет за город, к Неману.

Извозчик едет обратно, а он раздевается, складывает аккуратно одежду и посмеивается: вечная память казаку, утонувшему в Немане! «Тяжелый панцирь, дар царя...» И кто бы мог догадаться, что под шароварами

и под мундиром притачан легкий чесучовый костюм, в кармане лежит красивый галстук, а офицер щеголял в двух верхних рубахах? Кто бы мог догадаться, что чулки у него кожаные, вполне заменяющие ботинки, хотя и без каблуков. Нет, подвиг только тогда подвиг, когда он организован.

Эрнст, привязав штатскую одежду на голову, сходит осторожно в Неман. Он плывет вдоль берега, чтобы его никто не видел, затем выходит, одевается, появляется на дачной станции, вспрыгивает на поезд. Поезд, оказывается, идет в Варшаву.

— Что же, надо же наконец побывать в Варшаве,— говорит он. Ему бы рассмеяться, но ему грустно. Он совершил, несомненно, патриотический подвиг, у него планы Ковно, но ему жаль тех заплаканных глаз, которые завтра будут читать в газете заметку о казачьем офицере, утонувшем в Немане. Ему жаль первой своей любви, хотя она и принесена на алтарь отечества!

Так Эрнст Штрауб делается начальником большого разведпункта на Украине. У него свой шифр, в подчинении у него несколько групп разведчиков, в каждом корпусном округе у него свои люди. 28 февраля 1912 года заключается болгаро-сербский военный договор. Это начало Балканского союза, направленного против Турции и Австро-Венгрии. Чувствуется, что близка война на Балканах. Эрнсту Штраубу даны особые полномочия. Он объезжает корпусные округа на Украине и покупает генеральские души. Душу «патронного генерала» Максимова он купил за дом в самом новейшем стиле.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В марте 1914 года Климент Ворошилов побывал в Луганске. Хотелось повидать товарищей, узнать, как живет большевистская организация. Охранка откуда-то уже пронюхала, что в город приезжает крупный революционный деятель. За всеми сколько-нибудь подозрительными приезжими была установлена слежка. Едва Ворошилов соскочил с поезда и миновал вокзал, как четыре господина разного возраста, но с одинаково безразличным выражением лица, кинулись за ним следом. Ворошилов водил их из переулка в переулок, с базара на базар, вокруг заводов, на кладбище, по берегу Донца,

водил день, ночь, утро. Глаза у них слипались. Казалось даже, они догоняли его во сне. К вечеру, широко зевая и потягиваясь, Ворошилов вошел в домик, где снял комнатку. Сыщики присели на скамейку у ворот. Старик с тонкой лестницей на плече подошел к керосиново-калильному фонарю, чтобы зажечь его.

— Никак, ночь? — спросил один из сыщиков и зевнул. Остальные спали. Он встал.— Как бы через сад задним ходом не ушел.

Он открыл калитку. Домик спал. Сыщик остановился у окна кухни.

Пока он слушал бульканье воды — это хозяйка наливала самовар,— Ворошилов вышел в калитку, держа небольшой узелок под мышкой.

Пархоменко провожал его на станцию. Ворошилов решил уехать в Царицын, работать на орудийном заводе. Превозмогая дремоту и усталость, сидел он возле станции на куче щебня. Вечер был теплый, совсем весенний. С крыш капало. Гудки паровозов звучали особенно трепетно. Восток был ярко-голубой. Весна, весна! И странно было видеть, что народ, вливающийся на станцию, был понурый и весь серый, как бы осыпанный золой.

— Деревенские говорят, кукушка на голый лес прилетела.

— Уже прилетела? — спросил Ворошилов.

— Прилетела. Говорят, к войне.

— А ты как думаешь, Лавруша?

— Я в лесу давно не бывал, кукушек не слыхивал, а похоже. Очень «патронный генерал» Максимов разбогател — третий дом покупает, не считая дачи. А жалованье у него все то же. Откуда? Нет! Точка. Придется бастовать. Спасать надо Россию. Распродаст ее иначе буржуазия!

— Это правильно, Лавруша.

Подошел поезд. Они оглянулись. Длинный товарный состав простоял минуту-две. и, громко лязгнув буферами, отправился дальше. Кондуктор в длинном тулупе, с фонарем в руке, вспрыгнул на подножку последнего вагона.

Отрывистый этот разговор был, в сущности, как бы проверкой тех мыслей и решений, которые несколько луганских большевиков торопливо высказали Ворошилову. Он поправил их в частностях, но в основном они думали правильно. Рабочий класс России не имеет ни права, ни

желания поддерживать империалистическую войну русских помещиков и капиталистов. Рабочий класс будет сопротивляться войне как только возможно и где только возможно. Революция близка и непобедима.

— Перед войной они нас еще ударят,— сказал Пархоменко, беря горсть щебня.

— А в войну ударят еще больше. А потом мы их будем бить.

— Уж мы ударим — попомнят!—сказал Пархоменко и с такой силой бросил щебень, что в воздухе свистнуло и с крыши упали сосульки.

Ворошилов тихо рассмеялся, а Пархоменко сказал:

— Читаю в «Ниве», один буржуазный ученый пишет: жизнь, говорит, благо. Я ему открытку послал, спрашиваю: «А почему же все лучшие блага этой жизни вы взяли себе?» Молчит.

От семафора, дрожа и брызгая желтым маслянистым светом, несся поезд. На минуту Пархоменко тоже захотелось уехать, уехать не потому, что в городе было скучно, а вот жалко расставаться с Климентом. Хотелось сказать что-то ласковое, но стеснялся, и чувствовал, что сейчас не в состоянии. А сказать надо очень многое. Как думали с братом хранить Климента, быть при нем, а жизнь и борьба все время разлучают. Правильно ли это? Быть может, правильнее сейчас сесть в поезд и ехать? Или правильнее то, что приказывает партия, у которой глаз зорче и острей?

Они стояли у грязно-зеленого вагона. Сиплый, худой кондуктор, ежась и вздрагивая, должно быть страдая от лихорадки, проверил билеты. С раздражением он несколько раз спросил их: «Вы в этот вагон, что ли?» От голоса его стало еще тоскливей. Пархоменко вздохнул. Ворошилов взял его за руку. Узелок упал к ногам.

— Ты хороший, Лавруша,— растроганно сказал Ворошилов.

И он, широко раскинув руки, обнял и поцеловал Пархоменко.

— Да вы в этот вагон али нет, хохлы? — с раздражением крикнул кондуктор. — Целуются тоже, как бары.

Поезд отошел. Мелькнул последний раз полосатый узелок на подножке, хрипло обругал кого-то кондуктор.

Лениво шевеля ногой окурки, по станции прошел высокий жандарм в шапке с широким верхом.

«Когда-то встретимся?» — подумал с грустью Пархоменко.

* * *

Началась война.

К концу 1914 года «патронный генерал» купил имение неподалеку от Макарова Яра, рядом с имением своего друга Ильенко. Сам Ильенко с великой выгодой торговал конями и хлебом. Первым в городе он выписал автомобиль, катался на нем три недели, а затем пожертвовал в армию. Об этом писали в газетах.

Луганских рабочих, да и не только луганских, а и вообще донецких, удивляло то, что «патронный генерал» приобретает дома и имения. Ильенко отделал дубом особняк, устлал лестницы коврами, и канделябры у него во всем доме серебряные, и даже совсем уже глупые помещики Куница и Пробка ездят на рысаках, а вот гартмановский завод платит рабочим против мирного времени одну треть заработной платы. То же самое и на других заводах и шахтах. Тем, кто ворчит, угрожают посылкой на фронт.

Как и говорил Ворошилов, охранка постаралась перед войной разгромить и разогнать большевистские организации. На берегах Лены, на каторге, в тюрьмах большевики. Тем труднее работать уцелевшим. Но голод и бедствия войны вызывают новый революционный подъем. Забастовки возобновляются. В 1916 году на гартмановском и патронном заводах бастовало пять тысяч триста рабочих.

— Не бойся врага,— говорит Александр своему брату Ивану.— Враг боится тебя в десять раз больше.

Они сидят в комнате Александра, возле карты театра военных действий. Александр получил ее год назад в приложениях к «Ниве». Он тщательно читает газеты и отмечает на карте все передвижения войск. Фронт прыгает и резко меняет свои очертания: русская армия отступает. Даже простому, не военному глазу видно, что правительство бездарно, продажно и погубит страну.

— Враг боится? Наши генералы боятся врага не в десять, а в сто раз больше. Надо протестовать против войны.

— Забастовка? — спрашивает Иван.

— Да, забастовка. Начинаем, как в шестом году, с того же цеха, с тех же моторов, с того же гудка.

— Ворошилова бы сюда! — мечтательно говорит Иван.

— Ворошилов ведет забастовку в другом месте. Да ведь и мы кое-чему подучились, а?

— Вроде.

И точно: так же остановились после обеда моторы, так же загудел гудок, и даже пристав прибежал тот же. Но речи были короче, делегация в контору не пошла, заводоуправление получило сообщение от цехов, что завод протестует своей забастовкой против империалистической войны.

Город замер, даже фонари потушены. На улицах казачьи патрули. Завод оцеплен. Четвертый день рабочие не подходят к заводу. Полиция кидается в предместья. Сначала арестовывают по пятьдесят человек из цеха, а там доходят и до сотни. Стражники окружают дом, где живут братья Пархоменко. Братьям, так же как и остальным рабочим, грозят плетьми, фронтом, дисциплинарными батальонами и спрашивают:

— Кто руководит забастовкой?

— Все руководят,— в один голос отвечают братья.— Все сказали: голод, холод, а тут еще война, надо бастовать. Ну, и забастовали. Зря ведь воюем.

— Кто это говорит?

— Все говорят. Мы так полагаем, что вся страна.

— А в вашем цеху кто говорит?

— Да весь цех говорит. Голод, холод, а тут еще...

— В холодную! Следующий...

Но и следующий, и другой следующий, и еще следующий говорят то же самое.

— Пойдете в запасные, под пули! — уже вопит веснушчатый тонконогий следователь. — Кто руководители?

Цехи молчат.

И тогда шестьсот рабочих направляют в запасные батальоны, а некоторых в ссылку. Александр едет в Воронежский запасный батальон. Брат его, Иван Критский, сослан в Тургай. При отправке эшелона Александр получает от него записку, спрятанную в кренделе. Брат пишет кратко: «Ничего, Саша. Скоро увидимся. Не к тому идет дело, чтобы быть в ссылке».

* * *

Запасный батальон неустанно марширует по снежным улицам Воронежа. На плечах ружья, но без патронов — так спокойнее. Запасные чрезвычайно непокорно ведут себя. Вот, например, в передней шеренге, поставленный туда по росту, шагает запасный Пархоменко. Прапорщик, розовый и круглолицый юноша, недавно покинувший седьмой класс гимназии и получивший сто рублей на экипировку и мечту об офицерском «Георгии», кричит соответственно, как ему кажется, желанию родины:

— Братцы, песню!

Но «братцы» молчат — и все потому, что Пархоменко сделал знак головой. Так нужно полагать, потому что иного объяснения молчанию нет.

— Петь! — категорически приказывает прапорщик. Рота молчит. Прапорщик приглядывается. Пархоменко уже не делает знаков, но что-то протестующее есть в самой посадке его головы, и прапорщик кричит, боясь сорвать голос: — Хватит, гадючья головка, покрутила! Под ружье!.. С полной выкладкой!

Пархоменко в шинели, с шанцевым инструментом, с камнями в вещевом мешке стоит неподвижно «под ружьем». В трех шагах от него, заложив руки за спину, ходит лысый, страдающий насморком фельдфебель. Когда он уходит в конец коридора, Пархоменко вполголоса продолжает рассказывать, почему большевики протестуют против империалистической войны и почему бастуют рабочие. Солдаты неподвижны. Фельдфебель ходит.

Но вот во время урока «словесности» рябой узкогрудый солдат спрашивает у фельдфебеля, указывая на устав:

— А тут написано, долго ли мы кровь зря лить будем?

И вопрос этот учащается. Его задают на кухне, в лазарете, в конюшне, когда везут дрова или сено, на небольших сходках и даже ночью на улице, когда офицер не может узнать в темноте солдата.

— Долго нам зря кровь лить?

Солдат спрашивают:

— Кто первым задал этот вопрос?

— А все.

Прямых указаний нет, но офицеры подозревают Пархоменко. Его отправляют в экскаваторную команду под Москву. Здесь режим покрепче, да и скорей отсюда отправят на фронт. Но, оказывается, в команде много квалифицированных рабочих, встретился даже луганчанин Вася Гайворон — тот, что на велосипеде ездил с ним в 1906 году в Макаров Яр поднимать крестьян на забастовку. Вася сообщает, что в команде есть войсковой комитет большевиков. Пархоменко говорит, смеясь:

— Начальство полагало, что воду льют на костер, ан вышло — бензин.

Двадцать восьмого февраля 1917 года весь войсковой комитет экскаваторной команды, все восемнадцать человек, перевесившись с грузовика, устремив винтовки навстречу полицейским, объезжают Марьинский район Москвы. Пархоменко сидит рядом с шофером. На коленях у него бомбы, за поясом револьвер, у колена винтовка. В участок он врывается первым, тащит городовых с чердака, требует оружие и не покидает участка, пока не вешает над дверью красный флаг и не срывает вывеску.

— Сколько оружия? — спрашивает он у Гайворона.

— Шестнадцать винтовок, четыре нагана, ящик патронов, гражданин начальник,— отвечает Гайворон и делает под козырек.

— Где тут ближайший завод?

Автомобиль подъезжает к ближайшему заводу, и Пархоменко, раздав оружие рабочим, посылает патрули.

К вечеру Марьинский район выбирает его начальником охраны.

* * *

Луганский комитет большевиков телеграфно просит Пархоменко приехать на родину. Телеграмма лежит как раз посередине стола. Направо — сводка, налево — списки арестованных городовых и охранников. По углам — шинели, оружие, флаги, тут же проткнутые штыком портреты особ уже не царствующего дома, газеты. Москву покидать не хочется. Надо бы еще и в Питер поехать. Но если партия вспомнила о нем в эти дни, значит, он нужен.

— Гайворон, собери какое есть тут лишнее оружие,— говорит Пархоменко.— Мы едем в Луганск защищать и развивать революцию.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Главное, что бросалось в глаза,—это множество красных флагов на домах и громадные красные банты на прохожих. В глазах пестрило, и Луганск трудно было узнать, словно его перестроили. Да и люди стали как будто иные. Только что окончилась манифестация, где-то в переулках допевают революционные песни, а никак нельзя узнать, по поводу чего манифестация. Раньше уважали только городские интересы, а теперь спрашивают:

— Вы из Москвы? Ну, как там?

Какой-то незнакомый рабочий, сутулый, басистый, схватил его за руку и крикнул во всю улицу:

— Ленина встречал? Как ударил-то! «Мир хижинам, война дворцам!», «Мир без аннексий и контрибуций!» Мир, Пархоменко, мир! За мир драться будем!..

— А как же без мира?

Собралась толпа, и начался митинг. Отовсюду бежал народ. Улицу запрудили. Вася Гайворон сидел на сундучке, в котором привез он свое оружие. В руках у него были вожжи, так как извозчик убежал на митинг, чтобы высказать: войну надо продолжать!..

Гайворон смотрел, широко раскрыв глаза.

Проходивший мимо сутулый рабочий сказал:

— Какой это извозчик? Это бывший полицейский...

И он, стянув извозчика с трибуны за шиворот, взял слово и предложил собранию пригласить заслуженного революционера Александра Яковлевича Пархоменко.

Пархоменко поблагодарил и рассказал о Москве и то, что слышал о Питере, о рабочих, о Ленине, об его «Апрельских тезисах». Пархоменко сменил тощий и белобрысый мужик в кожаной шапке.

— Все это не так, граждане!—кричал он.— Я сам из Питера и могу сказать...

Сутулый рабочий завопил.

— Не желаем мы слушать мешочников! Ты в окопы слазил бы!

Митинги и споры шли круглые сутки по всему городу. Казалось, город страдает бессонницей. Люди мучительно думают, мечутся, ищут. По одну сторону города лежит огромная хлебородная Украина, по другую сторону — тоже не менее хлебородный Дон. Луганск нечто вроде моста, где встречаются люди с обоих берегов реки.

В Луганском Совете еще много меньшевиков и эсеров. Но вот в городе появляется большевистская газета «Донецкий пролетарий». Ее редактирует недавно вернувшийся Ворошилов. В Совете председательствует меньшевик. Ему кажется необычайно странным, что по всем спорным и крупным вопросам Луганский Совет поддерживает мнение «Донецкого пролетария» и выносит по существу большевистские резолюции.

Председатель Совета, адвокат в длинном защитном френче с большими карманами, размахивая портфелем, раздраженный бежит в свой кабинет. Он пробегает через секретарскую. У окна стоит Ворошилов. Окно раскрыто. Конец апреля. Ворошилов, радостно улыбаясь, разговаривает с каким-то высоким, отлично выбритым солдатом. Председатель раздраженно ворчит:

— Напрасно окно раскрыли, сквозняк. Это вам не май.

— В мае вам уже не страдать здесь ни от сквозняков, ни от нас,— говорит Ворошилов.

— Почему же?

— Потому что Совет примет соответствующие резолюции.

— А вам, собственно, что здесь нужно, гражданин Ворошилов?

— Да то, что по вашему приказу реквизирована бумага, принадлежащая нашей газете. Луганский комитет большевиков предлагает вам снять эту реквизицию.

— А мы предлагаем вам убираться ко всем чертям!— возвышает голос председатель и машет портфелем.

Ворошилов улыбается.

Председатель бежит в свой кабинет, бросает портфель на стол и кидается в кресло. В кабинете душно. Председатель лезет за портсигаром, достает — и тут чувствует в кабинете чье-то спокойное дыхание. Он поднимает глаза. Высокий, отлично выбритый солдат стоит возле стола и держит в руке лист бумаги.

— Так-с,— постукивая ногой об пол, говорит председатель.— А вы, собственно, кто?

— Пархоменко. Член большевистского комитета.— Солдат протягивает председателю лист.— Список товарищей, которым надо выдать право на ношение оружия.

Председатель смотрит изумленно на мелко исписанный со всех сторон лист, коротким пальцем указывает на итог:

— Триста семьдесят пять человек?

— Со мной триста семьдесят шесть,— спокойно говорит Пархоменко.

— Да вы что, хотите свою армию организовать?

— Офицеров, гайдамаков, кадетов, полагаю, раз в десять больше. И они уже вооружены.

Председатель пишет поперек списка. Звонит. Входит дежурный комендант.

— Арестовать этого гражданина,— говорит председатель.— А вот приказ об аресте и основания.— И он протягивает список со своей резолюцией.

— По вашим приказам,— говорит Пархоменко,— люди долго не сидят.

— Конец апреля. В саду, возле гауптвахты, цветут яблони. Возле голубовато-зеленых, кажущихся пушистыми, листьев их — неисчислимое количество белых с розовым цветов. Откуда-то летят пчелы. Под яблонями обедают, громко чавкая, солдаты.

После обеда, перекрестившись на восток, солдат с рыжей бородой подходит к решетчатому окну, в которое смотрит на яблони Пархоменко.

— Иди,— говорит солдат,— продолжай агитацию. Приказано освободить.

— Кто приказал?— спрашивает Пархоменко.

— А наш ротный комитет. Не желаем большевиков караулить. Иди!

Пархоменко отказывается уходить. Он желает уйти по приказу исполкома Совета и когда будет подписано разрешение на право ношения оружия по тому листу, который он вручил председателю. Вот он какой! И солдат смотрит на него удивленно. Подходят еще солдаты. У решетчатого окна образуется митинг. Рыжебородый солдат бежит в роту. Рота собиралась было в баню, но, узнав, что будет выступать с речью Пархоменко, идет к гауптвахте. Рота стоит с вениками и бельем под

мышкой и слушает этот громкий голос из-за решетки. Затем она единогласно пишет резолюцию — требование к исполкому освободить Пархоменко и «удовлетворить его право».

Одновременно в исполкоме обсуждается вопрос о праздновании 1 Мая. Эсеры и меньшевики основным лозунгом выдвигают: «Война до победного конца». Главным аргументом у них служит то, что самые крупные луганские заводы — гартмановский и патронный — работают на оборону, а раз они работают на оборону, то, естественно, должны требовать войны до победного конца.

— Во имя чего?— спрашивает Ворошилов.— Во имя того, чтобы наживались капиталисты, чтобы ради прибылей лилась кровь, чтобы наживались помещики и генералы, чтоб лучшие люди, как, например, Пархоменко, опять сидели в тюрьмах? Нет, с войной надо покончить. Долой ее!

Большеголовый седоволосый рабочий Барев предлагает перенести вопрос о 1 Мая на общее собрание Совета. Исполком сопротивляется, но в конце концов его вынуждают перенести вопрос. В тот же вечер Пархоменко освобожден. «Право на ношение оружия» подписано.

— Скоро сами будем подписывать «право»,— смеясь, говорит ему Ворошилов.

В первомайской демонстрации преобладает лозунг «Долой войну!». Тотчас же большевики требуют перевыборов Советов и городской думы. Соглашатели и кадеты с невиданным единодушием наполняют свои газеты клеветой на большевиков. Но чем больше клеветы, тем меньше расходятся у них газеты. Все заборы и ограды покрыты надписями — мелом и краской. «Мир хижинам, война дворцам!», «Долой войну!», «Мир мир, мир!» — требуют заводы, казармы, предместья.

В результате перевыборов большевистская фракция преобладает и в Совете и в городской думе. Председателем Совета и городским головой избран Ворошилов.

— Ну, вот мы и гласные,— говорит, возвратившись домой, Александр, торопливо хлебая жидкие щи.

По ту сторону стола сидит брат его Иван и, хитро щуря глаза, улыбается. Иван очень доволен: тургайские степи надоели ему смертельно, и он рад вернуться к работе, да еще и какой!

Входит Вася Гайворон. Он нечто вроде адъютанта при штабе Красной гвардии, расположенном в гостинице на Пушкинской улице. Он в военном, с большой красной повязкой на руке, у бедра его длинный револьвер. Бравый и ловкий, Гайворон говорит, торопливо обращаясь к Александру, начальнику луганской Красной гвардии:

— Оружие у нас только то, что осталось с тысяча девятьсот пятого года: разве кое-какие винтовки, берданки да несколько бомб. А в гвардию уже записаны шестьсот рабочих да в летучем отряде пятьдесят. Как гайдамаки и станичники пойдут, что тогда скажем?

— Ни оружия, ни денег,— говорит Александр и кладет ложку.— Взяли мы большинство в думе, а денег там ни гроша. Меньшевики предлагают водку продать. Пошли давеча мы на водочный завод. Верст на пятнадцать тянется водка. Бутылки, баки, бочки. Целая река. Если продать — миллионы, точно. Да кому тогда владеть этими миллионами?

— Знали, где припасать, кого спаивать,— говорит Иван.— Мне уж и то на митингах «акулы» записки подают: «Зачем водку бережете?»

— Продадите? — спрашивает Харитина Григорьевна.

— Сейчас, когда у нас нет оружия?

— По-моему, не стоит,— говорит Харитина Григорьевна.— Если уж денег нет, собрать с народа.

— А у тебя сколько накоплено, Тина?— спрашивает Пархоменко.

— Да уж скопила сто тридцать.

— Отдашь?

— Все будут отдавать — и я отдам.

— А первой?

— Понадобится — и первой отдам,— сказала она, чуть помолчав. Она не жалела денег, а опасалась, как бы соседи не подумали, что хвастается, лезет вперед.

Пархоменко спросил:

— А если внести нам предложение о самообложении рабочих? Поддержат?

— Поддержат.

— И начнем с Красной гвардии,— сказал Вася Гайворон.

Рабочие собрали по самообложению свыше десяти тысяч рублей. Городская дума несколько оправилась.

И тотчас же в Луганске появился 21-й Украинский полк. Впереди ехали офицеры со старомодными мохнатыми лицами, в странных мундирах и в шапках с длинными цветными верхами. Трубы оркестра были убраны лентами. Играл он новые песни совсем неумело. Полк расположился возле казенного винного склада, устроил митинг и прислал в городскую думу решение митинга о том, что 21-й полк приехал в Луганск для охраны города и революции. Ночью уже стало известно, что мохнатые офицеры торгуют водкой и что «акулы» тащат ее со склада ведрами.

— Ишь ты, «охрана революции» приехала,— сказал Ворошилов.— Просили их. Разоружишь, Лавруша?

— Разоружу,— сказал Пархоменко.

— Силами Красной гвардии?

— Силами ее.

— А оружия у тебя хватит?

— Оружия мало. Но, полагаю, вывернемся.

— Зачем рисковать? Надо беречь силы и бить наверняка. Поедешь в Харьков. Вот тебе записка к товарищам.

— Будет сделано, товарищ председатель,— сказал Пархоменко и через полчаса уехал в Харьков.

Он вернулся через три дня. За паровозом, на котором он стоял с бомбой в руке и пулеметом у колена, следовал вагон с оружием. Как он добыл его, так и осталось неизвестным. Весь его доклад заключался в трех словах: «Разъяснил значение Луганска».

Гайдамаки кинулись к вагону. Пархоменко поднял бомбу. Они остановились.

— Пали!— крикнул офицер, морща мохнатое старомодное лицо.

— Пали в подлецов!— ответил ему Пархоменко.— За правое дело!

И он бросил бомбу. Пулеметчики открыли огонь. Гайдамаки побежали. Поезд тронулся. Пулеметчики вскочили в вагоны. Гайдамаки побежали на склад.

Пархоменко опередил их. Он велел раздавать оружие, а сам верхом прискакал на склад, собрал солдат и сказал:

— Граждане! Ваши офицеры обстреляли наш поезд, и мы их будем судить. Я знаю, вы не согласны с ними. Я знаю, что вам хочется домой, сеять, а не воевать с нами. У нас есть предложение: кто желает идти домой,

тот должен запереть сейчас ворота склада, поставить охрану, никого не впускать и обменять оружие на документ, на литер. После того откроем ворота, офицеры разбегутся, а не разбегутся — разгоним, город только что получил состав с оружием... После того поедете домой. Пахать всем надо.

Толпа молчала, оглядывая всадника. Ей хотелось найти на нем оружие, на лице угрозы, в голосе злость. Но оружия на нем не было, даже шинель не подпоясана; лицо простое, солдатское, деревенское; голос хоть и строгий, но вместе с тем доброжелательный. По небу ходили легкие тучки, предвещавшие дождь. Середина мая. Как раз пора сеять. А при такой скорой весне через неделю, пожалуй, опоздаешь.

И маленький солдат в низко надвинутой фуражке, из-под которой торчали потные розовые уши, видимо страстно тосковавший по дому, сказал:

— А табачку на дорогу дашь?

— Две осьмушки получит каждый,— сказал Пархоменко и вдруг похолодел: он вспомнил: утром председатель рабочего кооперативного общества жаловался, что махорки только два пуда. «Что ж, придется по купцам пошарить»,— подумал Пархоменко и повторил:— Две осьмушки получит каждый,— да не махорки, а поищу легкого. Хватит буржуям, покурили!

Ворота закрылись. Пархоменко слез с коня, достал из кармана печать штаба Красной гвардии. Писарь притащил бумагу. В тени каштана, возле конторы склада, солдаты стали в очередь. Солдат получал документ, литер, записку в кооператив насчет табака и клал у стола винтовку.

— Будьте здоровеньки,— говорил он, отходя.

— Счастливо! — отвечал Пархоменко.

Калитка в воротах хлопала. По ту сторону ворот слышались приказания, ругань в ответ. Видимо, вернулись офицеры. Кто-то застонал, завопил, заохал. Затем крики стали утихать.

* * *

Вечером на экстренном объединенном заседании Совета и городской думы встал Пархоменко и сказал:

— Приказание Совета выполнено. Двадцать первый Украинский полк разоружен. Все же должен сказать,

что водка, выпущенная гайдамаками, проникла на заводы и в деревню. Головы от непривычки к алкоголю замутились. Из деревни едут за водкой. Пьяные ломятся в ворота склада. Кто тут переодетый офицер, разобрать трудно. Ясно, что черная сотня хочет споить народ и двинуть из-за Донца казаков. Таково мое мнение.

— Надо разбить вино,— раздался чей-то робкий голос.

— Здесь говорят, что надо разбить вино. Заняв Красной гвардией склад, я пробовал просверлить баки, бить бутылки из пулеметов. Что касается бутылок, то пуля ложится в первые ряды и не идет дальше, а что касается баков, так водка течет ручьем за ограду и опять-таки в рот толпы.

— Что же вы предлагаете?

Пархоменко положил перед собой бумагу.

— Тут у меня подробный график уничтожения водки. Мер много. Основной является то, что я предлагаю раздать водку по продовольственным карточкам. Каждому попадет самое большое по две бутылки.

— То напилась бы небольшая толпа, а теперь вы предлагаете напоить весь город?— ехидно спросил бывший председатель Совета.— Или, быть может, горожане будут продавать свой паек деревенским?

— Если отдать охрану города в надежные руки, так не найдется охотников продавать свой паек.

— В какие же это надежные руки?

— Например, Красной гвардии.

— Это захват власти,— завопил бывший председатель,— это большевистский переворот!

— Какой же это переворот? Переворот будет подругому и по всей стране. А мы просто вашей охране не доверяем и ставим свою. Не гайдамакам же нас охранять? И не вам же. И не анархистам же.

Водку роздали по карточкам. Красная гвардия выслала патрули в город. Склад опустел. Его охраняли теперь только пять красногвардейцев.

Пархоменко сказал Ворошилову:

— Винтовок, патронов, пулеметов у нас хватает. Надо позаботиться об артиллерии. Бронепоезд бы нам, Климент Ефремыч.

— Заводы у нас есть, рабочие есть,— давай сооружать бронепоезд.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Сразу же после Октября к Луганску бросились эшелоны казаков, едущие с фронта на Дон. Ворошилов приказал с оружием пропускать только тех, у кого есть документы о революционной деятельности. На всех ближайших разъездах стояли большие отряды Красной гвардии. А на гартмановском усталые, голодающие рабочие, которым вдобавок приходилось ездить за углем на шахты, сооружали бронепоезда, обшивали сталью, обкладывали шпалами и мешками с песком обыкновенные платформы.

Войска генерала Каледина пробирались к станции Миллерово, чтобы захватить основную магистраль от Ростова на Воронеж.

Донбасс двинул по боковым линиям три колонны против Каледина. Одна колонна шла с севера к станции Миллерово. Другая — к станции Лихой от Луганска. Третья шла из Дебальцева на Зверево. Три эти колонны образовали как бы тройчатые острые вилы, на которые надо было подхватить и отбросить калединские войска.

В станице Каменской, там, где гарцевал недавно есаул Чернецов, собрали съезд казаков-фронтовиков. Александр Пархоменко был послан туда на переговоры. Он привел с собой отряд Красной гвардии.

— Это в помощь революционному казачеству,— сказал он.

Переговоры были кратки. Казаки образовали военно-революционный комитет и объявили войну генералу Каледину. Когда Пархоменко уезжал, они привели к нему сорок семь арестованных офицеров.

Последнее время дули сильные ветры. Они разогнали снег по балкам, и на дороге осталась только корка льда. Полозья саней, в которых везли связанных офицеров, резко визжали. Когда Пархоменко поравнялся с казаками, конвоировавшими пленных, казаки потребовали немедленного расстрела офицеров.

— На дорогу смотрят, а в поле и не повернутся!— крикнул передний казак, закрывая рот от ветра широкой синей рукавицей.— В поле-то весь хлеб пропал из-за них!

Перед всадниками, куда ни хватал взгляд, простиралось неубранное поле. Черные обледеневшие колосья хлебов висели сосульками. Они слипались, образуя

нечто похожее на муравейники, но кое-где, собрав, казалось, последние силы, поднимали с унылым звоном длинные головы.

— Земля плачет,— сказал передний казак и поднес к глазам суконную рукавицу, как бы защищаясь от ветра.

Однажды в тесном коридоре Совета Ворошилова схватил за руку Пархоменко. Увлек в угол и сказал нетерпеливым шепотом:

— Есть настоящий бронепоезд. С артиллерией, с настоящей броней. Прикажите принять командование?

— Где бронепоезд?

— В Луганске. Анархисты привели. Их представитель в Совет пришел, желает видеть председателя.

Еще в дни разоружения 21-го полка в Луганске появилась небольшая группа анархистов, которая, захватив особняк помещика Ильенко, вывесила над крыльцом черное знамя, а поперек дома полотнище с надписью: «Анархия — мать порядка». Жилищный отдел скромно предложил им занять другое помещение. Они заявили, что анархисты даже богу, если б он существовал, не подчинились бы. Пархоменко на автомобиле с тремя пулеметами подъехал к особняку. Обитатели дома почему-то взорвали особняк, а сами перебежали на сеновал, откуда и продолжали перестрелку, пока Пархоменко не превратил половину их в трупы.

Сейчас представители бронепоезда, украшенного черным флагом, обвешанные пулеметными лентами, в распахнутых и грязных матросских бушлатах, расставив широко ноги и уткнув руки в бедра, стояли перед столом председателя Совета.

— Мы требуем наказания виновных, разгромивших нашу организацию в Луганске. А ввиду того что нам мешают производить обыски, мы требуем немедленно снабдить нас необходимым, как-то, помимо пищи: мыло, юбки, резину, духи, панталоны, пудру...

Старший представитель анархистов, мужчина с тонким задумчивым лицом и длинными волосами, положил на стол председателя длинное требование.

— У вас тут много по женскому делу,— сказал председатель.

— Любовь трепещет над миром,— задумчиво ответил старший представитель.— Человек трепещет над любовью.

— Великие слова. Сами составили?— И председатель встал.— Через час наш представитель вручит вам ответ.

Анархисты ушли.

— Лавруша, Новочеркасский Совет просит у нас помощи,— сказал Ворошилов, подавая Пархоменко телеграмму.

— Прикажете направиться туда с данным бронепоездом?

— Да ты что, Лавруша, в анархисты записался?— спросил, улыбаясь, Ворошилов.

— Хочется доказать, что не «анархия — мать порядка», а большевики — дедушки порядка.

— А если узнают, что ты разоружил луганских анархистов?

— Им же страшней. На таких людей авторитет действует.

— Иди,— сказал Ворошилов.— Значит, поведешь этот бронепоезд на Новочеркасск.

Мужчины в защитном, с черными лентами на фуражках, с винтовками наперевес ходили вокруг опустевшей станции. У буфета всхлипывал буфетчик. Самовар с отломанным краном валялся у его ног. В окошке телеграфа лежал с простреленной головой юный телеграфист. Пархоменко знал его. Паренек отлично играл в шашки.

Окруженный анархистами, Пархоменко не спеша подошел к бронепоезду и постучал кулаком в броню. «Настоящая», — подумал он с удовольствием. Прислонившись спиной к броне, он подождал, когда соберется вся команда, затем сказал:

— Я начальник Красной гвардии Пархоменко. В ближайшие дома я велел поставить пулеметы, а бить вас будем главным образом из батарей. Это я разоружил ваших в особняке Ильенко.— Он помолчал, оглядел неподвижные лица анархистов и продолжал:— Совет поручил мне передать, что он отклоняет ваше требование. Прорвались вы сюда под предлогом ремонта бронепоезда, а первым долгом кинулись ремонтировать свое брюхо.

Анархисты бросились к нему. Он вынул револьвер. Они остановились.

— Убью, кто полезет. Я вашей анархии не признаю. Я считаю, что вы делаете подлое преступление. Мне на вас смотреть тошно.

Какой-то догадливый подлез под вагон и из-за колеса, протянув руку, выдернул револьвер у Пархоменко. Пархоменко обернулся. Анархисты бросились опять, опрокинули его и втащили в вагон. Догадливый хотел просто пристукнуть Пархоменко револьвером, но другие воспротивились: можно, если понадобится, выставить вперед начальника Красной гвардии — не будет же эта гвардия стрелять по своему начальнику.

Паровоз дал свисток. Бронепоезд тронулся.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Пархоменко кинули в купе, на скамейку. Обыскать не успели, и Пархоменко лежал, держа руку на кармане брюк, где уцелел еще револьвер. «Сколько в нем пуль?— думал он.— Кажется, пять». Анархистов же в купе трое. Младший, плосколицый, с трубкой и в бушлате, выпачканном масляной краской, особенно внимательно рассматривал Пархоменко.

— Контрибуцию за него надо,— сказал он вдруг.

Пархоменко рассмеялся.

— Ты чего?

— Жадный. Большевики не буржуи, контрибуции не платят.

— Жадный? Я жадный?— возбужденно вскричал плосколицый и ударил кулаком по сиденью.— А кто имущество захватил? Кто водку захватил? Кто баб захватил? Вы!

— Мы,— сказал Пархоменко.

— Ты женат?

— Женат.

— А у меня бабы нету.

— А ты в деревне пожалуйся. Вот девки-то захохочут.

Анархисты рассмеялись. Плосколицый начал объяснять, что жениться он не смог вовсе не оттого, что плох лицом, а оттого, что в мирное время все ходил да писал вывески, когда же началась война, угнали на фронт.

А вот теперь-то он покажет! Теперь он по тем местам, где босой с кистью ходил, на тройке проедет.

Сосед его достал из-за голенища кисет, клочок газеты и свернул «колено». Закурив, он закашлялся. Глаза его налились кровью и слезами, лицо сделалось каким-то жалким, маленьким. Пархоменко пожалел его. О чем мечтает вот этот паренек из Курской губернии? Наверное, о лишней коровенке да пуховой перине.

— Грудью слаб, что ли?—спросил его Пархоменко.

— Ладно, лежи, привыкай, скоро затвердеешь.—Он громко сплюнул на пол, посмотрел на плевок и растер его ногой.—Много я, братцы, смертей видал, а лучше всего плотники помирают.

Плосколицый захохотал.

— Сам-то плотник?—спросил Пархоменко.

— Я?—Спрашиваемый подумал, затянулся и сказал:—Штукатур. Но плотников, верно, люблю. У меня папаша плотник и садовод. Такой плотник и такой садовод, господи ты боже мой! Дай ты ему воды да лейку, на любом комке сад разведет. А топором что делает! Кружева-а!

Он покачал головой и протянул папироску Пархоменко. Воспоминание об отце, видимо, смягчило его душу. Смотря растроганными глазами на Пархоменко, он говорил:

— Какие церкви рубил, какие хоромы!..

— Чтобы попы да купцы жили?—спросил Пархоменко.

— Ты агитацию брось, мы сами, анархисты, сагитированы. Теперь знаем, для кого он церкви рубил, для кого хоромы. Семьдесят пять лет плотнику, в прошлом году мамаша померла, царство ей небесное, а он нынешней осенью на молоденькой женился.—Штукатур рассмеялся и покачал восторженно головой.—Вот так папаша! Я сам думал на Шурке жениться, а он возьми да вырви. В плотники, что ль, перейти мне, братцы?

И он, оглядев всех, взглянул на двери. В дверях стоял длинноволосый, с задумчивыми синими глазами, начальник. Поглаживая пальцами виски, словно у него была мигрень, он сказал протяжно:

— На следующей остановке выведите его,—он ткнул в сторону Пархоменко тонким и бледным подбородком,—и расстреляйте. Да, смотрите, поисправней. Прошлый раз один после своей смерти уполз. Я проверю.

Он опять потер виски, взглянул в окно и сказал:

— Ну и погодка! Кофе бы сейчас выпить.

— Давай агитируй,— сказал, смеясь, плосколицый, когда начальник отошел от купе.— Давай агитируй, Пархоменко.

Он вскочил на ноги, вытянул руки по швам и крикнул, глумясь:

— Слушаю, товарищ комиссар!

Пархоменко вдруг съежился и ударил его ногой в живот.

Он упал. Пархоменко выхватил револьвер и рукояткой стукнул штукатура. Третьего анархиста он, схватив за горло, выкинул в дверь и, задвигая ее, крикнул:

— Кто войдет в купе без позволения, застрелю! Патронов на весь поезд хватит!

Падая, штукатур уронил из-за пояса гранату. Анархисты отошли в конец вагона, и Пархоменко слышал, как штукатур, кашляя и сморкаясь, признался, что граната его осталась в купе. Что-то шлепнуло, должно быть, штукатура ударили по лицу.

— Какие ваши условия, начальник? — крикнули из конца вагона, и Пархоменко узнал голос плосколицего.

— Ведите сюда вашего командира.

Плосколицый молчал. Анархистам явно не хотелось видеть своего командира. Попробуй-ка объясни тому причины, по которым они очистили купе.

— Анархисты не признают командиров, — наконец ответил плосколицый.

— Он из попов, что ли? — спросил Пархоменко.— Попы барышень любят, так он в исполкоме все для барышень снаряжение просил.

— Ты свою агитацию брось, командир.

Пархоменко открыл купе и стал на пороге. Конец вагона был плотно забит анархистами. Пархоменко сказал:

— Что же вы, сволочи, семьдесят пять человек, а одного хотите убить? Что же вы за герои? А еще анархию хотите завоевать!

Он сказал, указывая на купе:

— Вот здесь я открываю запись в Красную гвардию. В Новочеркасске бунтует генерал Алексеев. Рабочий класс Новочеркасска просит ему помочь. Думаю, что мы сможем помочь ему. Вам же, как заблудившимся и зарвавшимся, я от имени советской

власти объявляю амнистию. Кроме командира. Не место попам и дьяконам в советском поезде.

— Да он не поп,— сказал плосколицый,— он фельдшер.

— Из дьяконов, — повторил упорно Пархоменко.

— И не дьякон.

— Дьякон, дьякон! — вдруг вскричал чей-то пронзительный голос, и низкорослый, лет восемнадцати, парнишка в генеральской шинели с оторванной подкладкой и без погонов, потрясая винтовкой, пробился сквозь толпу, стал в проходе, стараясь заслонить собой Пархоменко, и закричал: — Не желаю я подчиняться дьякону! Я желаю подчиняться рабочей власти! — Он обернулся к Пархоменко. — Я подчиняюсь.

— Становись тогда рядом, — сказал Пархоменко.— Тебе меня не прикрыть.

Они вошли в купе. Паренек попробовал затвор, показал Пархоменко подсумок, набитый патронами, и подмигнул. Глаза у него были голубые, смеющиеся, нос в веснушках, а волосы острижены неумело, лестницей.

— Фамилия?

— Максимов.

— Знакомая фамилия.

— А как же? Это генерал бежал из Луганска, наши его и поймали. — Он засмеялся и потряс полу шинели.— Ну, я думаю, зачем генералу шинель? Взял. Подкладку я девчонке с мельницы подарил и погоны — ей же, юбку сошьет, галуном украсит. А потом думаю: почему генеральской фамилии пропадать? Возьму-ка я ее себе. Вот я и Максимов Лешка.

— Темный ты еще совсем, Лешка, тереть тебя да тереть, — сказал Пархоменко, прислушиваясь к громким спорящим голосам анархистов.

Они уже разделились на «нейтральных» и на «убийц». Число «нейтральных» заметно увеличилось, когда анархисты узнали, что длинноволосый командир со страху заперся в купе, поставив возле себя пулемет и ящик с бомбами. «Убийцы» для храбрости потребовали от завхоза водки, которую запершийся командир выдавал им только утром, дабы они ночью не проспали дежурства. Завхоз, тощий мужчина в мундире горного ведомства и в котелке, с огромным удовольствием и большим знанием дела открыл два

ящика коньяку. «Нейтральные» понесли Пархоменко бутылку. Он отказался.

Анархисты пили всю ночь, а когда бронепоезд подходил к Шахтной, они уже опохмелялись.

Пришел плосколицый и, зевая и морщась, сказал:

— Ты, Пархоменко, геройский парень, не сдрейфил перед нами. Мы принимаем твое командование и идем на Новочеркасск.

— Да ведь вы же пьяницы, — сказал Пархоменко, — а я дисциплину люблю.

— А ты попробуй!

— Не подчинитесь — перестреляю.

— Вот ты будь начальником, а тогда посмотрим, — сказал плосколицый и зевнул.

Пархоменко встал во весь свой рост и сверху вниз так посмотрел на плосколицего, что тот лязгнул зубами и побледнел. Пархоменко молча прошел мимо него. Лешка, уже бросивший шинель и туго подпоясанный, «чеканил» за ним шаг. Пархоменко прошел через бронепоезд. Лешка подвел его к купе длинноволосого командира. Пархоменко постучал.

— Кто там? — визгливо крикнул командир.

— Откройте, пожалуйста, — сказал Пархоменко.

Командир приоткрыл дверь едва ли на ширину ладони. Пархоменко сунул туда руку, схватил его за волосы и дернул. Лешка в то же время рванул дверь. Длинноволосый командир, чуть не плача, бился у сапог Пархоменко.

— Выкинуть! — сказал Пархоменко.

Длинноволосый, летя из поезда, последний раз — под глумливый хохот плосколицего — взметнул свои локоны. Бронепоезд подходил к Шахтной.

Той же ночью Харитина Григорьевна узнала, что Александра увезли анархисты. Без шали, простоволосая, она прибежала к Ивану Критскому. Жена Ивана, всхлипывая, сказала, что Иван уехал разыскивать брата.

Харитина Григорьевна подумала, что застанет Ивана на вокзале.

Зал ожидания, как всегда, был заполнен народом, буфетчик уже принес новый самовар и продавал жидкий «фруктовый» чай, который насмешливо называл

«фартовый». На вопрос о Пархоменко ей, горестно вздыхая, говорили, что не то ему отрубили голову, не то его сожгли в топке. Она спросила у коменданта.

— Что же вы Александра Яковлевича погубили?

— Предшественника моего ранили, — сказал комендант, — а меня назначили полчаса назад. Да и какие тут меры спасения? Кругом война, фронт. Вот сейчас получили сообщение, что генерал Каледин объявил уничтожение Советской России. По телеграфу шлет приказ распустить на территории Войска Донского всяческие комитеты. Офицеры, рассказывают, уже убили председателя Крындычевского исполкома... Война, фронт...

— Так я поеду на фронт сама.

Комендант, рабочий с завода Гартмана, знал Харитину Григорьевну, знал ее твердость и настойчивость. Он, вздохнув, покачал головой и сказал:

— Да, надо ехать, надо его искать. Давайте я вас в вагон, который получше, посажу.

Поезд идет еле-еле. В Дебальцеве вышла она на перрон, смотрит — лежат трупы, а на них летит снежок. Пассажиры говорят, что, исполняя приказ Каледина, казаки захватили на станции Колпаково поезд, ворвались в Дебальцево и перебили всех ответственных работников. Казаков вел есаул Чернецов.

Харитина Григорьевна сметала снежок с трупов, которые были покрупнее. Пархоменко среди них не было. Она опять села в поезд. В полдень приехала в Шахтную. На перроне она встретила Ивана Критского.

— Вы чего здесь, Харитина Григорьевна?

— Еду. А что знаете о нем?

— Да кинул в Шахтной маленькую записочку: «Жив, здоров, бронепоезд веду к Новочеркасску». Раз ведет туда, значит, приведет и обратно.

Харитина Григорьевна не поверила. Решила все-таки ехать в Новочеркасск. Иван хотел ее сопровождать, но получил приказ — помочь отогнать подальше от Дебальцева есаула Чернецова.

Выходит она в Новочеркасске из вагона. Снег выпал уже крупный и в раннем утреннем свете бутылочно-зеленоватый. Убитые лежат на снегу рядом,

как гуси. Харитина Григорьевна опять начала искать Пархоменко. Нет, не похожи. Все это лежат совсем молодые, с чубами, а он уже полысел. Пошла она к коменданту и спрашивает:

— Где еще мертвые?

— А мертвые у нас всюду, — говорит комендант, продолжая что-то писать. — Вам, собственно, кого?

— Мне Пархоменко.

— Пархоменко, кажись, еще не мертвый, — говорит комендант. — Он офицеров с бронепоезда громит. Впрочем, пойдемте, может быть, найдете кого знакомого.

Он провел ее к водокачке. Здесь, тоже рядком, лежали трупы. Комендант сказал:

— Простите, ваше имя-отчество?

— Харитина Григорьевна.

— Вы побудьте здесь, Харитина Григорьевна, а я отойду немного.

Ушел. Нет его часа полтора. Глядит, идут от станции двое. Один, высокий такой, идет, заложив руки за спину. Подошел и, как всегда, когда думал, что жена заплачет, спросил сурово:

— Ты что? Ты зачем сюда приехала?

— Да за тобой, — растерянно ответила она.

— Зачем же?

— У нас такие страшные слухи были, что дальше ждать я уж не могла.

Пархоменко ухмыльнулся, протянул было руку, чтобы похлопать жену по плечу, но подумал — расплачется. Он пригладил усы и сказал коменданту:

— Могли бы ведь убить ее, а я остался бы жив. Благодарю вас, товарищ комендант.

Идут вдоль рельс к бронепоезду. В канаве, подле трупов лошади и собаки, лежит, оскалив зубы, мертвый офицер.

— Я бы тебя, жена, повел город показать, да нельзя — офицеров разгоняем. Вот этот стрелял в нас из дома, а убил только лошадь да собаку. Мы его пристукнули и бросили в канаву.

Возле бронепоезда суетились люди в черном с красными лентами на фуражках. Пархоменко сказал им, громко смеясь:

— Видите, что наделали? Жена приехала меня искать. Ну, как офицеры?

— Да еще там, возле церкви, шумят. Прикажете возле церкви расчистить?

— Огонь!

— Есть огонь, товарищ начальник!

Попозже плосколицый, чтобы Харитина Григорьевна не обижалась на несознательность их, подарил ей маленький, весь в перламутре, револьвер и шесть пачек патронов к нему.

— Прежний наш начальник дурак был,— сказал он.— Он духи, видишь ли ты, дарил. А теперешний умница: он, кроме оружия, никаких подарков не признает.

Должно быть, анархисты по-настоящему считали, что теперешний их начальник действительно умница, потому что на обратном пути в Луганск они исчезли из бронепоезда по одному, по двое. Первым исчез плосколицый, вторым — завхоз, а затем спрыгнули «убийцы», за которыми слезли «нейтральные». В Дебальцево бронепоезд привели только машинист да кочегар и то, наверное, потому, что возле них стоял бессменно на карауле Лешка Максимов.

Поехали с вокзала на извозчике. Едва Пархоменко увидали луганчане, как кинулись за ним. Откуда-то из переулка выскочил Вася Гайворон. Стоя на подножке пролетки, он рапортовал начальнику, но что именно, нельзя было разобрать из-за криков народа. Нельзя было разобрать также, что кричит крутолобый, с бороденкой, уже в солдатской шинели, макаровоярский парень Кирилл Рыбалка. Народ кричал:

— Пархоменко жив! Жив Пархоменко! Ура-а!

Пархоменко встал, поднял руку. Извозчик натянул вожжи, и Кирилл Рыбалка схватил лошадь под уздцы.

— Зачем кричать? — сказал Пархоменко.— Будем дело делать. Это ничего, что я привел бронепоезд, важней его отремонтировать. И вообще я скажу, товарищи, если мы в тысяча девятьсот пятом году сделали кое-что, так каких же дел натворим теперь, когда получили полную жизнь и будем защищать ее!

Донецкие рабочие отряды шли через Зверево — Новочеркасск на Ростов-на-Дону. С юга же на Ростов наступали части кавказского фронта. Белые оказа-

лись отрезанными и только с большими потерями, совершенно расстроенные, прорвались через станицу Ольгинскую на Кубань. Но и там их ждала нерадостная встреча! В станицах собирались крестьянские партизанские отряды из иногородних. К ним присоединялись части казаков-фронтовиков. Добровольческая армия распадалась. Но в помощь ей, и вообще всей контрреволюции, двинулась армия германского империализма.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Ступая на носки, секретарь, чтобы не тревожить соседей, ловко согнулся и через два стула сказал Пархоменко, товарищу председателя мобилизационного штаба Красной социалистической армии Луганского района:

— Комиссар казацкого эшелона казак Ламычев хочет доложить штабу.

Пархоменко оглядел собравшихся и кивнул головой:

— Зови.— Он взглянул на оратора, костлявого, с узкой бородкой и ядовито прищуренными припухшими глазами. Оратор ждал и даже не опускал вытянутой руки.— Да ты, Запасов, кажись, не окончил?

— Я далеко не окончил,— шевеля вытянутой рукой, ответил Запасов.— Но раз ты торопишься...

— Мы все торопимся. Немец не ждет.

— Но раз мы торопимся, я ограничусь выводом, что в эпоху империализма и пролетарских революций лозунг защиты отечества должен быть снят как реакционный.

И он сел.

Секретарь, мягко ступая, приоткрыл дверь. Вошли казаки и сели вдоль стены. Когда они усаживались, глаза у них часто моргали. Видимо, они опешили от духоты и дыма. Пархоменко перебросил кисет с табаком Ламычеву, засучил почти до локтей длинные рукава гимнастерки и сердито сказал:

— Так. Защита социалистического отечества — лозунг реакционный? Стало быть, наше собрание штаба о том, как бы побольше собрать добровольцев в Красную Армию, тоже реакционное? Стало быть, решение Центрального Комитета партии о том, что все члены ее должны записаться в Красную Армию, тоже реакцион-

ное? Слова Ленина о том, что Советская Россия — отечество трудящихся и угнетенных всего мира, тоже? — Он глубоко вздохнул. — Противный ты, Запасов! Вот такие, вроде тебя, сорвали нам мир с немцами, подсунули Брест и привели немцев на Украину, когда старая армия демобилизовалась. Такие, вроде тебя, отдали весь фронтовой транспорт, оружие, припасы, продовольствие...

Запасов вскочил бледный. Губы его вздрагивали. Он крепко вытер ладонью рот и крикнул:

— На что ты намекаешь? На измену?

— Ты пойми! По-другому жить надо. Некоторые товарищи говорят мне, что Красная гвардия не в состоянии справиться с интервентами и внутренней контрреволюцией. Мне-то каково? Я Красную гвардию люблю, работал в ней, был начальником. А — понял! Понял, что Красная гвардия больше похожа на дружины тысяча девятьсот пятого года. Сейчас время другое, и армия должна быть другой!

— А как же с обучением армии? — ехидно спросил уже оправившийся Запасов. — Спецов вы всех считаете политически неблагонадежными?

— Не всех. Есть на нашей стороне честные люди. А главная школа — война.

Собрание переглядывается, шумит. Кто-то требует, чтобы Запасов с его контрреволюционными бреднями покинул комнату. Кто-то, зажав кисет с табаком, кричит:

— А как же, товарищ Пархоменко, с транспортом? Надо наладить. Мне поручили рабочие сказать о транспорте. Прошу слова!

— И мне слова!

— Тише, тише!

За окном сквозь резкий мартовский ветер слышны гудки заводов. Это начались митинги записи добровольцев в Красную Армию, митинги защиты социалистического отечества. Многим из собравшихся здесь надо на них выступать. Запасов, пытаясь затянуть собрание, хотел, должно быть, сорвать эти выступления. Ораторы, посмеиваясь, выходят. Они все-таки успеют. Война научила торопиться.

— Война!

На столе пачки газет. Делегаты совещания берут длинные хрустящие листы, свертывают их и, размахивая свертками, бегут по лестнице. Хлопает дверь, наполняя штаб гулом гудков. Война!

Гинденбург и Людендорф считаются в Германии людьми дальновидными. Пятнадцать лет спустя, то есть в 1933 году, фельдмаршал Гинденбург все еще будет считаться дальновидным: он в надежде, что все-таки завоевание немцами России и Украины должно быть осуществлено, подсадит Гитлера и его фашистских молодчиков на германский трон! Сейчас, в 1918 году, Гинденбург, с помощью Людендорфа, предполагает осуществить следующее: организовать в Киеве центральное немецкое бюро по вывозу из Украины хлеба, мяса, корма для скота, угля и железа; кормить до отвала оккупационную армию, с тем чтобы резервами ее питать убыль в войсках западного фронта; создать непроходимый идеологический ров от Хельсинки до Одессы, с тем чтобы через это заграждение совершенно не проникала «большевистская зараза» в Германию и далее. И, наконец, прочно укрепившись на Украине, повести войска на Кавказ, к нефти, а напившись досыта «черного золота», захватив Россию и Кавказ, устремиться дальше на восток.

В Киеве есть некое правительство — Центральная Рада, смертельно боящаяся большевиков. Рада, разумеется, с огромным удовольствием начинает переговоры с немцами: кроме немцев, ей надеяться не на кого — украинский народ ненавидит ее. Переговоры Рады с немцами прерваны. Дело в том, что украинские рабочие и крестьяне сами желают есть свой хлеб, для себя выкармливать скот, сами жарить лепешки и пироги на масле своих коров, а главное, они сами хотят управлять своей страной и не зависеть от каких-то там германских генералов или капиталистов. Эти-то вот здравомыслящие мужики и рабочие гонят Раду из Киева! Рада бежит. Но, задерживаясь на различных перекрестках, она всячески помогала немцам.

Опираясь на Раду, надеясь окончить операции в месячный срок, германское командование бросило на Украину трехсоттысячную первоклассно вооруженную армию. 18 февраля 1918 года немцы начали оккупацию

Украины. Месяц с небольшим спустя началось генеральное наступление немцев на франко-британском западном фронте.

Украинские рабочие и крестьяне, весь украинский народ с помощью великого своего брата — русского народа — сорвали план германского нашествия на Украину, тем самым сорвав весь эффект наступления немцев на западном фронте!

Война. Бронепоезда противника показываются на рельсах Украины. Триста тысяч тяжелых сапог интервентов стучат по дорогам Украины.

— Враг идет!

— Горе идет!

На перекрестках останавливаются брички. Помещики жмут друг другу руки, поздравляют с разгромом большевиков. Каждая бричка въезжает в свое поместье. Ее встречают причт в полном облачении, звон колоколов, хлеб-соль, шитые полотенца и немецкая продовольственная база, куда немедленно приглашают помещика, чтобы он помог вывозить хлеб, мясо, кожу, жиры.

— Помещик идет!— стонет Украина.

— Горе идет!

На левом берегу Днепра организовалась Донецко-Криворожская республика, предсовнаркомом которой избран товарищ Артем. Эта республика объявила войну немцам. По шахтам и рудникам собирают добровольцев. Ворошилов, командир республиканских донецко-криворожских отрядов, разбивая их на роты и батальоны, не скрывает от них, что враг — немец — очень силен: у него самолеты, броневики, дальнобойная артиллерия, единое командование и сплоченность, созданная четырехлетней войной и надеждой на ее окончание, когда солдаты насытятся, наберутся сил на Украине. Только едва ли удастся это! Штыком в революционной стране не много соберешь хлеба. По всей Украине быстро формируются армии — 1-я Украинская, 2-я, 3-я... Эти армии пока невелики, едва ли можно насчитать во всех них тридцать тысяч человек, но время их увеличит, укрепит, вооружит, и то же грозное время разоружит германские армии.

Шестьсот бойцов 1-го Луганского социалистического отряда идут к вокзалу. Здесь их встречают две бронеплощадки, сооруженные гартмановскими рабочими. Март. Оттепель, слякоть. Как тяжелы поля, по которым

им надо шагать навстречу немцам, какой суровый ветер дует в лицо! Бойцы хмурятся, поправляют ремни, которыми подпоясаны их пальто или ватные куртки, обнимают жен, детей.

Вдоль бронеплощадки идет Ворошилов.

— Все исправно, можно трогать,— говорит он и протягивает руку.— До свидания, Лавруша. Присылай пополнения. Помни — война!

Война. Еще бы не помнить! Пархоменко, подперев голову рукой, сидит за столом в штабе. Комнаты опустели, а в голове все еще шум разговоров, и глаза слипаются. Он уже давно не спит, а изредка подопрет голову рукой — накатится что-то сиреневое,— и опять за работу. Иногда задремлет в тарантасе, иногда верхом на коне. Самое тяжелое — это не заснуть после заседания, когда на некоторое время в комнате никого нет. Вот и сейчас приближается сиреневая дымка, и сейчас... задремлешь... Но где там дремать?

Интервенция! Германские империалисты идут на Украину. Военные представители США, Франции, Англии, Италии в Верховном совете Антанты 18 февраля 1918 года предлагают осуществить оккупацию Транссибирской железной дороги (а стало быть, и всей Сибири) силами Японии. Это, видите ли, вызовет объединение антибольшевистских сил против Советской России! Нет ли где-нибудь в архивах Антанты предложения германским империалистам оккупировать Украину?! Важно оккупировать, захватить, а чьими силами — не так уж важно! Важно задушить молодую советскую республику, а кто накинет петлю... кто накинет, все равно, лишь бы быстрей накинуть! Войска США, Англии и Франции высаживаются на севере России, дабы овладеть Мурманском и Архангельском как плацдармами, откуда можно будет направиться в центр России — к Петербургу и Москве...

— Товарищ комиссар, как же мы?

Пархоменко встряхнул головой. Задремал-таки!.. Но ведь и дрема-то какая ясная — не разберешь, где явь, где сон, а скорее всего — все явь. Ну, не явь ли интервенция? Явь! И какая злая, подлая явь!

Пархоменко поспешно убрал руку, откинул голову на спинку стула и посмотрел на дверь. Возле нее сидят три казака. Они не подают виду, они сидят так, как будто только что пришли.

— После разгрома Каледина,— говорит Пархоменко,— на Дону наступило некоторое затишье, а теперь генерал Краснов сговаривается с немцами. Мы перехватили одно из его писем к Вильгельму. Он хочет устроить «независимый Дон» со включением Таганрога, Царицына и Камышина. О своих законах он говорит кратко. Это, говорит, почти весь кодекс основных законов Российской империи. Копия в немецком переводе. А у вас как, в эшелоне?

Ламычев берет кисет со стола, свертывает цигарку и отходит к окну. Ему всегда нужен в разговоре разбег. И сейчас, зажигая спичку, он бормочет.

— Будучи председателем полкового комитета с Октябрьского переворота я повел тридцать второй полк на Дон, чтобы поставить его против богача.

Пархоменко видит его третий раз, но уже знает, что прерывать его не стоит — вспылит, начнет кричать. Он и сейчас с натуги весь побагровел.

— А полковник Семенов возле самого Миллерова говорит мне, что надо свертывать на Лихую, а не на Луганск, чтобы представиться правительству Донецко-Криворожской республики. Хорошо. Я беру карандаш и ставлю на его приказе крест, потому что возле Лихой, знаю, его ждут красновские офицеры. После митинга поворачиваем на Луганск, к донецкой власти. Офицеры с нами. «Почему бы? Думаю. Для агитации, что ли?» Так что — среди казаков разговор, что Ламычев продался буржуям и едет к дочери. «Она у него, говорят, в Луганске». Это правильно — дочь у меня в Луганске. Но дочь и в станицу могла приехать. Я вел эшелон не к дочери, а к правительству.

Он закурил опять и сел на стул, положив ногу на ногу.

— Кто она такая?

— Дочь-то?— спрашивает он недовольно.— Дочь на учительницу училась.

— Лиза Ламычева?

— Она. Неужели в исполком прошла?— спрашивает он словно бы небрежно, но по глазам его видно, что ему чрезвычайно польстило бы, если б Лизу избрали в исполком. И тогда Пархоменко становится понятным многое в поведении Ламычева — и некоторая его заносчивость, и щеголеватость, совсем сейчас ненужная, и торопливость. Видно, Ламычева много обижали в

жизни, а сейчас он поверил в пришедшее счастье для себя и для других и все опасается, как бы его опять не обманули и не обидели.

В общем, напрасно не сразу поверили Ламычеву и приняли его с малым почетом. Пархоменко поманил к себе секретарь, шевеля толстыми губами.

— Фамилии какие-то, товарищ Пархоменко.

— Это за сегодняшнюю ночь буржуазии убежало.

— Куда?

— К генералу Краснову.

Казак подумал.

— Бежали-то какие,— смелые али так?— Он поболтал в воздухе кистью руки.

— Трусы.

— Выходит, на верное дело бегут.— Он посмотрел на соседнего молоденького казака, должно быть писаря эшелона, и тот достал из-за голенища узкий конверт и передал его Пархоменко. — А это вот наша буржуазия убежала, офицеры.

— Ну вот, а вы еще с правительством хотите видеться. А что вы правительству скажете? «Где,— спросит правительство,— ваши офицеры?» Убежали. Придется их вам на Дону поискать. Упустили.

— Упустили!— Казак наклонил голову.— Приходится ехать на Дон.

— Приходится, товарищ Ламычев.

— Табачку бы!

— Табачку? Вот жалко, под рукой нету отношения таврической продовольственной управы. Пишет, что все, дескать, табачные фабрики взяты на учет. Табак будет выдаваться тем, кто поставит населению Таврии мануфактуру и обувь... Что же, нам брюки снимать или сапоги? Откуда у нас мануфактура? В Москве разве? Ты через Москву проезжал...

Казак пошевелил губами и потупился.

— Десятую часть, чего следует для питания, и то Москва не получает. Пассажирское движение остановили, чтобы хоть как-нибудь с продовольствием справиться.

— Чего и говорить — враг идет. Большая мýка народу.

Казак вздохнул и встал. За ним поднялись и остальные. Он крепко пожал руку Пархоменко и пригласил его на прощальный митинг казаков и луганских рабо-

чих. На митинге выступит Иван Критский. «Отборный оратор»,— добавил казак и широко улыбнулся. Казак сделал под козырек и щеголевато повернулся. В дверях стояла Лиза. Казак гулко переступил с ноги на ногу. Лицо у него стало торжественное и в то же время встревоженное. Он так долго думал о свидании с дочерью, так хотел ей показаться хорошим со всех сторон, так боялся, что она не разглядит отца, не поймет... Левая, очень широкая в кисти, рука его дрожала, толстые губы как бы покрылись пеплом.

— Ученье-то окончила?— спросил он.

Лиза упала ему на грудь и зарыдала.

Он гладил ее по спине, по выдающимся худым лопаткам и, морща сразу ставшее мокрым лицо, говорил:

— Здравствуй, дочка, здравствуй, сердешная. Светушка ты моя!

Спутники Ламычева вышли. Пархоменко потрогал раму. Скоро выставлять, двойная. Замазка уже наполовину высыпалась, а стаканы с какой-то бурой жидкостью, поставленные между рамами, были густо покрыты седой пылью, похожей на паутину. «Пыль, как враг, всюду пролезет»,— думал Пархоменко, и одновременно с тем он думал о Ламычеве и его дочери, которые счастливыми голосами разговаривали в противоположном углу этой длинной желтой комнаты. Схожи они разве только глазами — синими, широкими и близко поставленными друг к другу.

Год назад Лиза Ламычева удивила конфликтную комиссию бойким говором, злостью на хозяев и явным влиянием на рабочих. Пархоменко расспросил ее. Она из «верхних» казачек, отец ее служил приказчиком на мельнице и с большим трудом отправил ее «сдавать на учительшу». А тут — война. Отца угнали, мать простудилась, работая на огороде, за право учения платить нечем — и пошла Лиза на шахты. Машины она кое-как понимала, ее определили на «подъемную». После февраля стали работать только те шахты, которые приносили доход, а подготовительные были хозяевами брошены. Лиза служила как раз на подготовительной. Пришлось переехать в Луганск. Здесь она поступила на весовую фабрику Карзона механиком по освещению. Она записалась в союз металлистов, ее вскоре выбрали старостой. Карзон, отговариваясь тяжелым временем, задерживал зарплату. По предложению Лизы фабрика

объявила забастовку. И фабрикант и представители рабочих обратились в конфликтно-примирительную комиссию. Требования рабочих были удовлетворены. После этого Пархоменко часто встречал Лизу в совете профсоюзов выступающей на митингах, спорящей с меньшевиками. Недавно вместе с рабочими Гартмана она организовала лазарет и приходила в штаб, требуя национализации дома, где некогда находились учительские курсы. Вскоре после ее прихода прибежал и директор курсов. Он, между прочим, сказал, что Ламычева настаивает на национализации потому, что сама плохо училась и теперь мстит. У Лизы на глазах показались слезы. Пархоменко остро взглянул на директора и сказал: «Не балуй, кадет».

— Через Донец раненых везут из степи,— услышал он подле себя голос Лизы.— Казаки опять обстреляли... за хлебом шли... московские, что ли, голодающие...

Ламычев развел руками.

— Голова от мыслей, как улей!

— Сколько у вас пулеметов?— спросил Пархоменко.

— Шесть.

— А винтовок?

— При каждом. Разоружать будешь?

— А что?

— Да если велит правительство, разоружимся.

— А разве тридцать второй полк в Луганск послали разоружаться?

— Послали на Дон.

— Туда и поезжайте.

— Слушаюсь, товарищ комиссар. А с табаком уж как-нибудь потерпим. Может быть, дома найдется.

Он накрыл голову широкой фуражкой, сдвинув ее слегка на ухо.

— Дочь бы хорошо на митинге выпустить, да не знаю, как у ней слова-то.

— Слова правильные.

— Стало быть, советуешь? На казаков, знаешь, знакомый голос действует.

Лиза рассмеялась. Смех у нее был короткий, сдержанный, и смеялась она потому, что не могла никак совладать с радостью. Но тотчас же она обратилась к Пархоменко, жалуясь, что, помимо лазарета, поручили ей заведовать пятью школами. Когда она успеет? Здесь, чтобы сто метров бинта найти, нужно бегать по скла-

дам три дня. Отец прервал ее. Он выдаст хоть тысячу метров бинта и прочих медикаментов. Из этого разговора было ясно: ни у отца, ни у дочери и в мыслях нет, что Лиза покинет сейчас город. Помимо того, что Пархоменко было жаль отпускать из города каждого умелого работника, приятно было сознание, что люди остаются в городе, где жизнь течет правильно и целесообразно. Он, прощаясь, сказал, шевеля в улыбке черные усы:

— А к концу дня, гляди, и папирос где-нибудь достанем. Не унывай, Ламычев. Точка.

Едва казак и его дочь ушли, как ворвались меньшевики. Длинноногий молодой человек в коротком сером пиджаке требовал или денег, или оружия. Какое оружие? Какие деньги? Оказалось, что под видом бумаги в адрес меньшевистского комитета привезен из Харькова состав винтовок и пулеметов.

— Если у вас, граждане, нету плохого мнения о советской власти,— сказал Пархоменко,— зачем вам баловаться с пулеметами? А если есть плохое мнение, то зачем мы будем выдавать вам оружие?

— Следовательно, отбираете?

— А как же?

— Тогда платите стоимость.

— У вас есть счета?

— Есть.

— Оружие, насколько я знаю, казенное имущество. Торговать им никто не имеет права. А если у вас есть счета, если вы купили, то надо искать тех, кто вас обманул. Вы ведь знали, что казенным имуществом торговать нельзя.

Порешили созвать Совет. Совет депутатов собрался в тот же день. Сообщение о найденном оружии сделал Пархоменко. Совет постановил исключить меньшевиков из своего состава, отдать их под суд и отправить в Харьков. Пархоменко должен был доставить их туда. Признаться, он был доволен. Ему хотелось в Харьков. К тому же готовы и пополнения для луганского отряда, да и надо добыть для него в Харькове снарядов. Спецы, конечно, отвиливают, и теперь можно им сказать: «Ага, у вас нет снарядов и пулеметов? Удивительно. А как же меньшевики могли получить? Для Ворошилова у вас нет, а для меньшевиков есть». А самое главное, чего не говорил даже самому себе, но что улавливали и пони-

мали все, он мучительно и трепетно жаждал попасть на фронт, стоять в первом ряду и видеть перед собой мокрое и блестящее весеннее поле, серые цепи врага и яростно вздрагивать от гула его орудий.

Войска германских империалистов вместе с украинскими предателями-националистами, отметив на карте города и села, прибывают туда минута в минуту. Сгоревших сел, опустошенных дворов, трупов убитых людей они не замечают. Они думают небось, что помещик, их обнимающий,— это и есть Украина. Они думают небось, что колокольный звон, их встречающий,— это и есть песни Украины. Они думают небось, что, протащив свой кровавый приклад и штык над этими обширными полями, они покорили Украину. Они думают небось, что через Дон и Кавказ соединятся они с Турцией и протянут туда большой путь Германской империи. Нет, другие мысли навеет вам, интервенты, ветер Украины! Ямиста здесь дорога, ямиста здесь река, темны здесь балки, часта здесь смерть врагу!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Солнце светит особенно, как бы пронзая насквозь дома. Двери хлопают гулко, на полу трепещут листки бумаг, и ничто и никто не бросает живой тени в этих опустевших домах. Войдешь в комнату, а она словно радуется, что появился спокойный, знающий свою дорогу человек. Изредка по городу проскачет патруль, и о чем ни спроси, он крикнет: «Уехали! Интервенты близко, товарищ!»

Эвакуация шла торопливо, скачками.

— Кто прикрывает отступление и эвакуацию? — спросил Пархоменко у какого-то юноши, наблюдавшего за эвакуацией.

— На линии Ворожбы стоит Луганский отряд Ворошилова,— ответил тот.

— А если я немцами подослан? — вдруг спросил Пархоменко.

Но юноша только мотнул головой, показывая этим, что он-то поймет, кто немец, а кто нет. Пархоменко рассвирепел:

— Теперь мне ясно, как меньшевики получили у вас

состав с оружием. Город у вас получить можно, не только что состав.

И Пархоменко сказал меньшевикам, которых привез из Луганска:

— Идите.

— Куда?

— Куда хотите, но не в Луганск и не на фронт. Я туда еду. А вам второй раз со мной неприятно будет встречаться.

Бронепоезд и отряд Ворошилова он встретил возле станции Дубовязка. Вдоль полотна странничьим шагом, опираясь на недавно вырезанные палки, шли с вещевыми мешками солдаты старой армии. Они вяло просили табачку, никак не верили, что бронеплощадка хочет идти к фронту, и упрашивали взять если не их самих, то хотя бы письма домой. В движениях их чувствовалась небывалая усталость, и тянуло зевать при взгляде на их лица.

Пархоменко спросил о немцах.

— Мы его возле мельниц видали, ну и поторопились,— сказал сиплым голосом солдат, повязанный шалью.— У него орел-то на бронепоезде далеко виден. А ты, земляк, откуда?

— Из Луганска.

— Свое место, стало, защищаешь. А наше место — в Сибири, далеко... Пока враг до нас дойдет, мы три посева снимем. Счастливо оставаться, братцы!

Ворошилов, пожимая крепко руку Пархоменко, сказал:

— Вот так и воюем. Разведки нет,— отступающие солдаты да беженцы говорят, где немец. Связи нет. Штаб не то в Харькове, не то еще дальше...

— Нет его в Харькове,— сказал Пархоменко.— Харьков пуст.

— А нам как велено действовать?

— Я взял четыре вагона со снарядами да паровоз и приехал.

Ворошилов стукнул кулаком по орудию.

— А Украину все-таки будем отстаивать. Ты, Лавруша, принимаешь командование пехотой, я — у орудий.

— Слушаюсь, товарищ командир. Прикажете двигать вперед?

— Вперед!

Состав двинулся.

Перед ними понуро лежало коричневое поле. Пятна еще не стаявшего снега, покрытого желтоватой коркой, кое-где поблескивали в низинах. Солнце ушло в громадные весенние тучи. По непаханому полю удивленно скакали грачи. На горизонте грузно стояли мельницы, их крылья походили на тряпки. Ближе виден был пустой разъезд. Дымок дрожал за ним.

Ворошилов передал бинокль Пархоменко.

— Противник.

В черту деления попал зеленоватый ствол орудия с медленно приближающимся к биноклю дулом. От жерла и от дула, которое сначала казалось полумесяцем, затем кружком, очень трудно было оторваться.

— Совсем ошалели от гордости. В упор бить хотят.

— Учат нас, учат,— сказал со злостью Ворошилов, засовывая бинокль в футляр и спеша к орудию.— Давай командуй, Лавруша.

Красноармейцы, изредка стуча сапогом о сапог, чтобы сбросить липнущую сырую землю, быстро скользнули в поле и залегли. То, что они стряхивали землю с ног, указывало на их решимость и спокойствие, а то, что маневр был совершен быстро, говорило, что ряды их, несмотря на привезенное пополнение, очень редки и против врага долго не продержатся.

С бронепоезда послышался блестящий треск, лязг, которым всегда сопровождается первый выстрел, как будто орудия устраиваются поудобнее. Затем один за другим, с очень ровными и какими-то ловкими промежутками, начались выстрелы. И даже чувствовалось, что враг у разъезда вздрогнул, остановился, смотрит ошеломленно назад к мельницам, где находятся резервы и откуда идут серые цепи противника. Большие белые клубы муки выскакивали из мельниц, застилая собой их крылья.

— Вот вам и украинский хлеб, буржуйское брюхо! — сказал пожилой рабочий со впалыми щеками, лежавший рядом с Пархоменко. На поясе у него висели четыре подсумка, набитых патронами, да еще и пазуха топорщилась от припасенных патронов. Фамилия этого рабочего была Сочета, а профессия — формовщик. Он провел всю войну на фронте, был отпущен вчистую из-за ранений, агитировал бешено против войны, а когда позвала партия, оставил четверых детей, мать, жену и немедленно уехал с Ворошиловым. И сейчас, когда он

увидел Пархоменко, он спросил не о своей семье, а о том, достаточно ли тот привез снарядов.

— Мука наша тучей уходит, — подхватил другой, в черной железнодорожной шинели и папахе, как видно из депо.

— Это вам не шарлотки жрать! — крикнул кто-то визгливо, и хотя вряд ли многие здесь знали, что шарлотка — это сладкое блюдо из черных сухарей с яблоками, но всем это показалось почему-то чрезвычайно метким, и все засмеялись, и при каждом удачном выстреле, когда мука взметывалась, отрядники, хохоча, говорили: «Опять шарлотки нету».

— Ворошилов сам бьет, — с уважением сказал пожилой рабочий и вдруг, схватив за плечо Пархоменко, кинул его на землю. Что он крикнул при этом, нельзя было разобрать. Рядом засвистело, шарахнуло, чвакнуло. Под ложечкой засосало, и над головой пронеслось что-то душное и тарарахающее. Когда Пархоменко протер глаза, забитые мокрой землей, пожилой рабочий стоял на корточках, харкая кровью, а другой, в черной шинели, лежал неподвижно, с раздробленной осколками головой.

— Враг тоже умеет бить, — сказал пожилой рабочий.

Из вагонов, которые откатили назад, бежали с носилками санитары. Пархоменко схватил винтовку. Пожилой рабочий вытер рукавом пиджака алый и мокрый рот, внимательно взглянул в сверкающие и жаждущие боя глаза Пархоменко и сказал:

— Ты обожди команду давать. Пускай он поближе подойдет, нам далеко бежать трудно: спали плохо, да и почва сыра. А как он подойдет ближе, мы его и заставим глаза выпучить.

Он тревожно перевел глаза на ворошиловский бронепоезд. Вначале вражеские снаряды ложились с недолетом, возле телеграфных столбов, затем пошли перелеты, а сейчас видно было, что враги нащупали бронепоезд и готовятся по нему ударить. Непродолжительное время была пауза, словно враги набирали в грудь воздуху и сил. Команда бронепоезда чувствовала это — она выпускала снаряды один за другим с точностью изумительной. Цепи остановились, мельницы пылали, что-то загудело и завизжало во вражеском бронепоезде,

по всей видимости взорвался вагон со снарядами, и одно мгновение казалось, что огромный бронепоезд поврежден. Но тут что-то словно разомкнулось возле нашего бронепоезда, острый клин ударил подле самых шпал, площадки приподняло — и мутное чернильное пятно закрыло орудие.

Пархоменко скорчило от ужаса. Снаряд ударил как раз в ту платформу, на которой стоял Ворошилов.

Пожилой рабочий сказал:

— Передай мне команду, а сам иди туда. Ребята думают, что Ворошилова убило.

Пархоменко побежал к бронепоезду. Назад Пархоменко не смотрел, но он чувствовал, что отряд пятится, слышал, что пожилой рабочий кого-то бранит чрезвычайно звонким голосом; какие слова он говорит, разобрать было нельзя.

Пархоменко поскользнулся возле самой насыпи и упал лицом в щебень. Только что он упал, совсем рядом пушисто вздрогнула земля, и в ногу ударило чем-то скользким и свистящим. Затем наступила большая тишина. Она тянулась долго, хотя Пархоменко успел только опереться на ладонь...

Знакомый голос, наполненный скорбью, послышался с насыпи:

— Убили? Лаврушу убили?

Пархоменко вскочил.

В серой воронке от снаряда, словно выложенной паклей, стоял Ворошилов. Лицо у него было наскоро перевязано, сквозь вату и бинт сочилась кровь. Всплеснув руками, он крикнул радостно:

— Ну и учат! Моя рожа хороша, да и твоя, Лавруша, не лучше. Видишь?

Он указал пальцем назад. Вагон со снарядами был взорван, он встал на дыбы поперек пути.

Ворошилов спрыгнул с насыпи. Подняв револьвер, он бежал по полю, легко перепрыгивая через лужицы. Пархоменко и вся уцелевшая команда бронепоезда бежали за ним, крича то же самое, что и он. Отряд, начавший было пятиться с холма, остановился. Те, кто стоял ближе, узнали Ворошилова. Штыки повернулись в сторону противника. Отчетливо и повелительно слышалось вдоль цепи:

— В атаку!.. За Советскую Украину!..

— А-а-а-а... Ура-а-у-у-а-а! — ответила цепь, и тут Пархоменко понял, что это-то и был тот крик и тот ответ, которого он ждал и ради которого ехал. Он чувствовал, как отвердели его ладони и как ловко лежит в них винтовка, как искусно и дельно действуют ноги и как отчетливо видят глаза. Они видят приближающихся сутулых врагов, идущих как-то странно, вприпрыжку, так, что у них мотаются головы. Весь он натянулся, напружинился, и то же самое чувствует вся цепь, которая кричит и думает вместе с ним, и каждый в отдельности. «Только бы ты не повернул, только бы нам скрестить штыки. Мы тебе покажем!»

«К оружию!» — вот клич, который раздался по городам и селам Украины. «К оружию, революционные рабочие, солдаты и крестьяне! Организованные шайки германских империалистов, ставящие себе задачей наживу и грабеж, устремились на Украину!»

Украинские рабочие и крестьяне понимали, что с этими разбойниками и налетчиками может быть только беспощадная расправа, истребление их вместе и в отдельности! Страна уже начала было заниматься своими внутренними делами, налаживала свое хозяйство, разоренное войною, — и в этот час немецкие налетчики, организовав множество разноцветных русских и украинских банд из бывших помещиков и купцов, начали занимать города, села и деревни. В таком наглом и неприкрытом виде грабеж уже давно не производился.

— Что это такое происходит? Что немцы делают? — спрашивал Пархоменко. — Они нашу кровь льют, как воду.

— Борьба, — отвечал Ворошилов, — борьба между двумя мирами: пролетарским и буржуазным. Когда буржуа видит, что опасность грозит самой основе его существования, он оставляет в стороне все разговоры о справедливости, культуре и свободе. Эти слова говорятся ими только для того, чтобы покрепче держать в кабале народ, чтобы основательней его обманывать, убедить его, что капиталистические цепи на нем бренчат во имя высших общечеловеческих задач! Ничего, рабочие скоро поймут все!..

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Штрауб приехал в Конотоп, в расположение 27-го германского корпуса, ранним утром. Крупная нарядная роса лежала на молодой траве и узких листьях. Поеживаясь и от весеннего холодка, и от еще не совсем исчезнувшей лихорадки, Эрнст долго, пока не высохла роса, ходил по деревянному перрону вокзала.

Но в штабе корпуса, оказалось, работа не утихала всю ночь, а корпусный генерал, с которым непременно нужно было встретиться Эрнсту, уехал в штаб дивизии, в село — километрах в пятнадцати — двадцати.

— Его превосходительство ездит на позиции ежедневно, — сказал розовый адъютант, блестя выбритым, словно эмалевым, подбородком и явно наслаждаясь своим, как ему казалось, строптивым видом и голосом. — Кроме того, господин Штрауб, вы должны были явиться сюда три дня назад.

— Я мучился малярией.

— Генерал на позиции,— повторил адъютант. — Если угодно, я напишу вам пропуск.

— У меня есть пропуск,— сказал Штрауб и вышел.

На вязкой, пахнущей сеном и грязью площади перед зданием штаба стояло несколько извозчиков. Штрауб выбрал парного, сел и приказал ехать в село, где находился штаб дивизии. Низенький извозчик с длинным носом, утиным и желтым, и с громадными желтыми бровями, пересекавшими всю площадь его лба, попробовал, щелкая, крепость бича и влез на козлы.

Они миновали закрытые лавки, переезд через линии железной дороги, какое-то пожарище, от которого почему-то сильно пахло карболкой, и выехали в поле.

— Из чиновников будете? — спросил, не оборачиваясь возница.

Штрауб, глядя в его тощую, покрытую выцветшими заплатами спину, нехотя сказал:

— Чиновник.

— То-то смотрю, что чиновник. Плохо вам нынче будет. И чиновники, сказывают, будут у немцев свои. А сами виноваты!

Штраубу, несмотря на легкий озноб и неудовольствие по поводу отсутствия корпусного, все же было приятно, что из-за отменного выговора его принимают за русского. Забавляясь этим, он спросил:

— А чем же мы виноваты?

— Виноваты, виноваты. Была земля русская как русская. Очень хорошо. Теперь вы, украинцы, говорите: отдайте нам землю, мы, украинцы, сами будем управлять. Ладно. Берите. Взяли. И тут же отдали немцам. Спасибо, порадовали. А все оттого, что чиновники сидели, не говоря уже о барах, и к простому народу не прислушивались.

— Выходит, простой народ не отдал бы землю немцам.

— Полено есть — поленом бей. Берданка имеется — гвоздями заряжай берданку. Угаром удушить можешь — души. А вот, сказывают, на позициях огнеметы такие были...

Он подобрал вожжи, перекинул ногу к седоку. Лицо у него горело злобой. Толстая стеганая фуражка, из днища которой лезла маслянистая пакля, была сдвинута назад, показывая потную красную черту там, где кончался лоб. И эти две черты — желтая, прикрывающая узенькие глаза, и красная — особенно неприятны были Эрнсту. Неприятны были и широкие, с клочками зелени, поля, и мягкая дорога, по которой почти неслышно бежали дрожки. «А что, если он меня к повстанцам увозит?» — вдруг подумал Эрнст, и хотя мысль эта казалась ему вздорной, все же он передернулся, хотел было лезть за портсигаром, но вспомнил, что тот серебряный, и сидел, держа руки так, чтобы в случае, если мужик кинется, можно было схватить его за горло.

— Огнеметы, — хрипел мужик, — огонь адский мечут, и прямо керосином горящим, а? Я полагаю, что хорошо бы буржуям зад керосином — да и поджечь. Пускай бегут с огнем. Во-о!

Он захохотал, повернулся, ударил коней сначала вожжами, а затем бичом.

Эрнст сказал сдержанно:

— Весьма странное отношение к немцам.

— А? — спросил, не поняв, возница.— Чего?

— Плохо, говорю, думаешь о немцах.

— Плохо? А чего мне о них хорошо думать? Грабители и есть грабители. Гляди-ка!

Он указал вперед на дорогу. Шоссе пересекал проселок. Трое немецких солдат, жуя хлеб, гнали большое стадо свиней. Лица у них были довольные, они помахивали хворостинами и с таким рвением не давали свинье оторваться от стада, словно она решала войну.

— Вот пригонят на станцию, погрузят, увезут. Все так. И ты понадобишься — и тебя погрузят, увезут. А то еще посылки шлют шлюхам своим. Я бы послал им тоже посылку.

— Какую?

— А голов бы десять офицерских да буржуйских засолил бы в ящик, да к ихним командирам, в Берлин: ешьте, сволочи!

Эрнст даже тряхнул головой, удивленный этой злобой. А мужик с желтым утиным носом, двигая острыми лопатками и шевеля вожжами, продолжал:

— А как же иначе? Вот везу я тебя на паре. Паре-то цена всего пятьдесят целковых вместе с дрожками. А копил я деньги на эту пару десять почти лет. Теперь, дай бог, если до вечера она будет при мне.

Показались село, зеленовато-стальной пруд, белая церковь в саду густого черепахового цвета. Тонко, почти неуловимо, благовестили в церкви. Мужик снял фуражку, перекрестился. Тогда Эрнст достал портсигар. Поднялись на холм. За селом, влево, видны были мельницы, а за ними, черные с белой каймой по подолу, овраги. Эрнсту подумалось, что пора бы выпить водки, закусить, и он про себя улыбнулся, сказав: «Час, похоже, адмиральский». Он протянул портсигар вознице и тотчас подумал: «Ах, напрасно». И точно — это было напрасно. Возница взял сигару, подул на нее, понюхал и сказал:

— А табак-то наш!

— Да нет, табак голландский.

— Ну, я-то знаю свой табак. Наш.

По склону он подкатил к длинному кирпичному зданию школы, стоявшей на берегу пруда. Несколько стекольщиков с ящиками, туго набитыми голубоватым стеклом, суетились с замазкой, царапали алмазом. Солдаты вели куда-то телефонные провода. Опрятные автомобили стояли на лужайке. В сарае гукала передвижная электростанция. Даже пруд казался чистым. Возница с неудовольствием осмотрел все это и, сплюнув, спросил:

— Здесь обождать, что ли?

— Здесь.

Корпусный генерал, по общему мнению очень дальновидный и умный, беседовал с офицерами дивизии в учительской. Сквозь тонкие белые двери доносился чей-то пронзительный, чрезмерно чеканящий слова го-

лос, а в коридоре приятно пахло краской и мелом, полы были наскоблены, вымыты и посыпаны маленькими сосновыми веточками, — от них шел отличный запах. Адъютант, пожилой, с двумя подбородками, выразил полное удовольствие видеть почтенного господина Штрауба и мерным шагом, широко расставляя толстые ноги, отправился доложить корпусному. Вернулся он быстро. Корпусный самое большее через полчаса примет его. А пока можно курить. Не угодно ли сигару? А, голландские? Голландцы — большие искусники. Адъютант любил в молодости путешествовать по Голландии и Дании, а под старость попал вот сюда, в восточные пустыни. Как доехал сюда господин Штрауб? Дороги здесь отвратительны. Его счастье, что мало дождей. Забавный возница?

Адъютант выслушал рассказ о яростном вознице. Молодой офицер с чрезвычайно короткими усиками, похожими на запятые, принес голубой пакет. Адъютант сказал ему что-то на ухо. Офицер кивнул головой и ушел. Легонько потрагивая усики цвета какао, адъютант внимательно изучал полученную бумагу и вдруг спросил:

— Извините, господин Штрауб, вы, кажется, сейчас из Харькова?

— Нет. Я был болен малярией и не смог попасть в Харьков.

— Извините.

Эрнст сидел на табурете, от которого тоже сильно пахло краской, смотрел в пол и думал. Озноб исчез. Значит, уже далеко за полдень. Сильно хотелось есть. Мимо прошел австрийский офицер, громко жуя. Он взглянул усталыми глазами на Эрнста, на его штатский костюм и подумал, наверное, о доме, семье. Эрнст вспомнил Ковно, дочь коменданта и свою первую любовь. Вспомнил он и свою поездку в Ковно сейчас же после разгрома крепости, которую разрушили в три дня по выкраденным им планам. Дом коменданта сгорел, сад вытоптали и сожгли, и никто в городе не смог сказать, куда уехал комендант, к тому же выяснилось, что тот комендант, отец его любви, покинул Ковно как раз перед войной, а куда уехал — неизвестно... «Но скажите хотя бы, вышла ли она замуж?» — допытывался Эрнст у владелицы номеров, которая помнила коменданта, так как покупала в крепостном огороде овощи. «Не знаю», —

ответила владелица. И Эрнсту было и тогда и сейчас приятно думать, что «она» еще, быть может, не вышла замуж, храня о нем память.

— Пожалуйте, — сказал адъютант.

Корпусный генерал, жилистый, длинный, с круглым черепом, похожим на чашу, завтракал. Учительская была уже пуста. Одно окно ее раскрыли, чтобы проветрить. Генерал, далеко высовывая широкий, как у коровы, язык, быстро ел парового цыпленка. Генерал мотнул локтем. Адъютант закрыл окно и вышел. Генерал молча, не приглашая Эрнста сесть, доел цыпленка, вытер рот шитым украинским полотенцем и, задумчиво разглядывая черно-красный узор на нем, спросил:

— Вы из Харькова, господин Штрауб?

— Нет, ваше превосходительство. Я был болен и не мог попасть...

— Чем вы были больны?

— Малярией.

— Вы болели малярией и не попали в Харьков?

— Так точно, ваше превосходительство.

— А те меры, которые по вашему предложению командование признало нужными?

— Мои агенты отправили оружие и в Луганск, и в...

— Отправить — одно. Использовать — другое. Как ваши агенты использовали немецкое оружие? Вы не знаете? А я знаю. Оно попало в руки большевиков!

Штрауб поднял глаза на генерала.

— Я освобожден от занимаемой должности, ваше превосходительство?

— Нет. Но в Харьков поедет другой наш представитель.— Корпусный взял карандаш и, зачеркивая строки доклада Штрауба, которых он касался в разговоре, сказал: — В вашем докладе есть знание обычаев украинцев и русских. Вы знаете и местности. Но у вас нет широты! Вы мало ищете людей, на которых, при колонизации этой страны, мы должны опираться... хотя бы первое время. Страна богатая, и в дальнейшем ее, конечно, заполнят немцы, но пока... Вы должны действовать более широко: организовывать пронемецкие партии, словом... А вы пишете в вашем докладе: в Путивле тридцать пять красногвардейцев с двумя орудиями бились против двух немецких полков! Херсон защищался несколько дней!.. Ха-ха! Одно мое слово — и в полчаса

мои орудия сметут и Херсон и Путивль! Вы что хотите сказать?

— Мой доклад упирается в то, ваше превосходительство, что чем серьезней война, тем больше должно быть у меня подчиненных, а стало быть, и средств. Путивль и Херсон — доказательство *некоторой* твердости духа русских и украинцев, а твердость надо учитывать...

— Я слушаю вас, господин Штрауб.

— Мне это очень приятно, ваше превосходительство. Ваши знания и авторитет чрезвычайно ценит высшее командование. Чрезвычайно! И если вы окажете любезность поддержать мои предложения, то, несомненно, высшее командование усилит ассигновки, расширит сеть агентов и, главное, бросит их в коммунистическую партию. Пример с Путивлем и Херсоном я привожу как знак огромных потенциальных сил народа, и стоит Ленину...

Корпусный взял тарелку с косточками цыпленка и сумрачно взглянул в середину ее. Эрнсту этот взгляд показался дурным предзнаменованием. Он прервал свою речь, сказав:

— Впрочем, все это написано в моем докладе.

— Да, я читал ваш доклад. Вы утверждаете, что Рим, Греция, даже Наполеон побеждали благодаря сети шпионов и диверсантов и что стратегия современной войны требует усиления этой сети, из нитяной превращая ее в проволочную, так сказать?

— Да.

Генерал со стуком поставил тарелку на стол и сказал:

— А не умаляете ли вы значение и силу германской армии?

Где-то справа послышались взрывы, упало что-то грузное. Эрнст уже привык определять расстояние. Чуть покусывая верхнюю губу, он мысленно вымерял его. Да, приблизительно километра три отсюда, не больше. Если это направо, то, значит... Он восстановил в памяти пейзаж, видный с пригорка. Пруд, церковь, ветлы, дома, выгон, поле, мельницы, опять бесконечное черное поле. Значит, русские бьют в мельницы. Он посмотрел на генерала. Тот тоже, видимо, высчитывал расстояние.

Мимо окна на рослых лошадях, не сгибаясь, проскакали всадники. Где-то загудел броневик. Вошел адъютант, подал три пакета, но было ясно, что приходил он

не с пакетами, а с успокоением, и Эрнсту было приятно узнать это. Генерал разорвал пакеты, прочитал, подумал и подошел к окну. Сквозь новые светлые стекла, почти не дрожавшие от выстрелов, виден был пруд, в котором покачивались низкие тучи и ветлы, светлые, с тонкими ветвями. Корпусный слегка потер правое плечо, словно оно мозжило. По ту сторону пруда шагало ровно и строго множество солдат, и через промежутки слышалась команда.

Корпусный вернулся к столу и опять вытер губы полотенцем. Эрнст почувствовал, что его губы тоже сухи. Корпусный взял пакет, вынул оттуда бумагу и, глядя поверх нее на Эрнста, сказал:

— Гусеница притворяется листом, чтобы ее не склевали. Но буре, которая ломает дерево и рвет листья, зачем притворяться тишиной? Вот почему мы считаем, что вы развиваете крайние теории, господин Штрауб.

— Следовательно, высшее командование считает...

— Высшее командование считает вас по-прежнему опытным и умелым, господин Штрауб. Вашу сеть на Украине оно очень ценит и потому-то полагает, что ваше пребывание на Дону необходимо командованию. Дон — это мост между Германией и Турцией.

— Я перехожу на этот мост?

— Надеюсь, он будет вашим мостом славы, — любезно заключил корпусный.— Но помните: надо действовать шире, шире!..

Когда Эрнст вышел на крыльцо, солнце чуть отклонилось от зенита. До вечера было еще далеко, а на козлах вместо утконосого возницы уже сидел германский солдат.

— А где мой возница? — спросил Штрауб.

— Его убрали, — делая многозначительный жест рукой, ответил адъютант.

«Это хорошо, что убирают болтунов, и вообще чем больше убить чужих людей, тем лучше: тем свободнее на земле. Но все-таки генерал преувеличивает силу армии и приуменьшает силу «комнатной войны», которую я веду, — подумал Штрауб, садясь в экипаж. — Германские власти — тупы и ограниченны. У них ничего не выйдет. Пора бы искать более деятельных хозяев...»

И, глядя в широкую спину возницы-солдата, он спросил сам себя: «Где искать?.. Что надо искать —это ясно. Но — где?..»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Германские захватчики жгли, взрывали города, калечили безжалостно всех, кто хоть взором пытался протестовать против грабежей и насилий. Белогвардейцы, буржуазные и помещичьи сынки помогали им. Убежал в немецкую армию торговец Чамуков со своим сыном, убежал сын помещика Ильенко, да и сам владелец Макарова Яра тоже служит немцу...

Немцы шли к Дону.

— Такова-то наша гражданская война,— говорил Пархоменко, глядя на горящие дома и затопленные шахты, мимо которых отступала слабая количеством, но сильная духом 5-я Украинская армия.— Эта война будет вестись до конца, пока всех налетчиков и грабителей не уничтожим. На каждой фабрике или шахте, в любом селе и хате вижу — написано наше решение: мы еще придем...

Мы еще придем!

Две тысячи рабочих с особенной четкой яростью отбивали непрерывно ползущих на них тридцать пять тысяч вражеской пехоты, артиллерии и кавалерии. Эти две тысячи рабочих, называемые 5-й Украинской армией товарища Ворошилова, пятясь к Донбассу, отстреливаясь, покрытые ранами, измученные бессонными ночами, злобой к врагу, все же находили время ободрять другие, менее стойкие отряды, переформировать их, найти в них крепких бойцов, взять их в свою часть.

По обеим сторонам дороги на Донбасс поднималась пыль от длинных обозов добровольцев-крестьян. Днем — дым, ночью — зарево непрерывно следовали за ними. Молодежь из этих обозов верхом подскакивала к бронепоездам, этим флагманским кораблям армии, и просила, чтобы их причислили к «шалонам» для «вооружения и защиты Украины». Надо было и из них кого-нибудь взять. Пархоменко садился на коня, объезжал обозы, расспрашивая об организации, учил, давал маршруты на Миллерово, успокаивал и возвращался к составам, окруженный несколькими деревенскими парнями, которые неотступно желали «быть в Пятой», защищать ее от врага.

«Пятую» обстреливали теперь не только идущие по следам, но и на ходу по ней пытались ударить из-за угла меньшевики и эсеры.

Возле городка Лисичанска стоит содовый завод с толстыми газовыми баками. Рабочие завода, обработанные эсерами, просили командование Пятой выдать им полевую артиллерию и винтовки — обороняться от идущего врага. По поручению штаба, Пархоменко выдал им оружие.

Когда отряд Пятой почти миновал станцию, раздались залпы, но не тяжелой вражеской, а полевой артиллерии. Руднев, начальник штаба, спросил с недоумением:

— Откуда немцы взяли полевую артиллерию?

Ворошилов ответил:

— Вперед нам будет наука! Это же эсеры стреляют по нас нашими же снарядами.

Головной бронепоезд вышел на подъем. Отсюда явственно видны были серый завод и баки, одна сторона которых казалась бронзовой от солнца. Командир бронепоезда, коренастый и ловкий, скомандовал: «Огонь!» Ворошилов поднял бинокль. Когда снаряды стали падать возле самых баков, Ворошилов велел прекратить огонь.

— Ударим в газ, и нам живыми не быть, все разворотит взрывом. Надо полагать, что там понимают это не хуже нас и сейчас пришлют парламентеров.

Минут через пятнадцать запыхавшаяся делегация эсеров, встреченная хмурым Пархоменко, показалась у бронепоезда. Держась рукой за дверцу, Ворошилов наклонился и сказал вниз:

— Что вы делаете, предатели? В нас стреляете, а немцев хлебом-солью встретите? Уходите и молчите, мерзавцы!

Пархоменко сказал:

— А что им остается, как не молчать? Я оружие и снаряды у них уже забрал.

Придавая большое значение операции под Лисичанском, Штрауб послал на содовый завод самых опытных своих агентов. Он назначил им крупную награду за уничтожение штаба Пятой армии.

Словно предчувствуя неудачу, Штрауб сам усиленно торопился под Лисичанск. Но его задержали дела. Немецкая армия приближалась к богатому Дону. Разрабатывали планы, как бы получше сблизиться с казаками. От Штрауба, хорошо знавшего Донбасс и Луганск, требовали сведения о заводах, о настроении рабочих.

Штрауб, как всегда, отвечал обстоятельно и сведения представлял длинные и точные. Оттого и опоздал он к Лисичанску.

Вся его так тщательно задуманная и разработанная операция провалилась. Отчего? От глупости. Испугались, что взорвутся газовые баки. А есть ли там газ, никому еще не известно. Главный инженер уехал в Харьков, техники разбежались — и никто ничего не знает.

Разозленный, встревоженный Штрауб, взяв с собой трех своих агентов, поскакал к поезду Пятой. Если уж не вышло с обстрелом штаба Пятой, то хотя бы узнать: сколько их там. Он решил выдать себя за «парламентера».

Привстав с тарантаса, он издали узнал «парламентеров» солового завода. Идиоты! Но, вглядевшись в кучу людей, он толкнул кучера в спину. Кони остановились.

— Поворачивай, — сказал он.— Нам там нечего делать.

Тарантас повернул. Штрауб опустился на сиденье. Сердце его ныло.

— Что с вами, Эрнст? — спросил один из агентов, глядя на бледное лицо Штрауба.

— Не повезло, — ответил, ухмыльнувшись, Штрауб.— Мы вовремя отъехали.

— А кто там?

— Там... там есть один человек... я его знаю давно... почти десять лет... хотя встречаемся редко... и он меня знает хорошо...

Штрауб преувеличивал, и он сам понимал, что преувеличивает. «Он меня знает хорошо...» И ему, этому самоуверенному и довольно удачливому шпиону, было стыдно перед самим собой. Конечно, на войне нельзя не струсить хотя бы однажды, всякий военный это понимает... и сейчас он струсил. Почему? Неужели он так испугался 1905 года и так помнит сильно те дни в Макаровом Яру?.. Неужели он все помнит?.. А чем иначе объяснить этот страх, когда он увидал высокую фигуру Пархоменко, разговаривающего с «парламентерами»? Ведь появление Пархоменко не было неожиданным: Штрауб знал, что Пархоменко в штабе Пятой армии. Страха этого нельзя забыть, и нельзя простить его ни самому себе, ни тому, кто причинил, кто вызвал этот страх. Нельзя, нельзя забыть!

И Штрауб не забыл.

Пятая армия остановилась на Меловой, последней станции перед Луганском. Две вражеские дивизии приближались к городу. Рабочие, контратаками захватывая батареи, пулеметы и пленных, сдерживали неприятеля. Луганск тем временем эвакуировался. На Миллерово уже уехали семьи, увезено заводское имущество.

Ворошилов на автомобиле приехал с фронта проверить эвакуацию. Здание исполкома, пустое и гулкое, напомнило ему Харьков. И все же Луганск эвакуировался планомернее. Ворошилов смотрел на сводку эвакуации, поданную ему Пархоменко.

— Север забит, — сказал Пархоменко.— При каждом эшелоне я поставил верных бойцов, чтобы проталкивали, а то ведь и главная армия не пробьется.

— Если не прорвемся на север, пойдем на юг к Волге.

— Степью?

— Степью.

— А эшелоны?

— И эшелоны с нами.

Пархоменко помолчал. Он мысленно провел черту от севера к югу, то есть от Миллерова к станции Лихой, откуда начинается путь к Волге, к Царицыну. Дорога эта уже от Миллерова представляла большие трудности. А как идти от Лихой, где на каждом шагу казачьи станицы? Пархоменко непоколебимо верил в умение и выдумку Ворошилова. Эта вдохновенная голова так влекла его, казалась такой близкой и дорогой, что он необычайно быстро свыкался с теми мыслями, которые высказывал Ворошилов. Он сказал:

— Бойцам я объявлял, что встреча будет в России. Путевки исполкому и семьям выдал до Самары.

— Патронный завод вывезти целиком.

— Слушаюсь, товарищ командарм.

Пархоменко поспешил на патронный. Завод был заперт. Пархоменко вместе с караулом обошел пустые цехи и направился на электростанцию. Войдя туда, он охнул и, немедленно покинув электростанцию, поскакал к брату Ивану, председателю комиссии по эвакуации. Была поздняя ночь. Иван Критский только что проводил семью, затем отправил два эшелона со школами и приютами. Долго спорил с Лизой Ламычевой, начальником эшелона, которая требовала продовольствия. Он устал,

был голоден, а всю еду отдал семье, — и лег вздремнуть. Брат долго тряс его за плечо. И когда Иван проснулся, то не узнал в этом худом человеке с ввалившимися щеками, с воспаленными, сверкающими глазами брата.

— Дай выспаться. Не могу, — сказал Иван.

Александр кричал:

— Почему дышла и подшипники с электрических машин не сняты? Ведь немцы могут пустить электростанцию!..

Он принес ковш холодной воды. Иван охал и вздыхал. Он умылся, и они отправились будить возчиков. По дороге Иван спросил:

— Домой заходил?

— Да ведь уехали. Не люблю я пустые квартиры.

— Харитина Григорьевна велела передать: может, сгодится в дороге.— И брат Иван подал ему зачитанную и хорошо знакомую книгу «Уход за лошадью». Александр свернул ее в трубочку и положил в карман. Ночь была темная. Домики — безмолвны. Возница раздражающе громко зевал. Александр спросил:

— Дети здоровы? Жена?

— Все здоровы. В Миллерове я твоих в свою теплушку перегружу, все вернее.

— Вернее, конечно. Мамина-Сибиряка, не видел, взяли?

— Вроде взяли.

Пархоменко уважал книги Мамина-Сибиряка, мечтал побывать когда-либо в лесистых Уральских горах, воображал беседы со старателями, видел себя то на шахте, то идущим со взведенными курками, рядом с собакой, по пушистым темно-зеленым склонам. Он сам переплел Полное собрание сочинений, присланное вместе с «Нивой», и сделал для него резную полочку. Одно только огорчало его — в коне Мамин-Сибиряк разбирался плохо.

Эшелоны 5-й армии, покинув Луганск, подошли к Миллерову. 29 апреля Миллерово бомбили вражеские самолеты. Часть эшелонов с семьями и имуществом проскользнула вперед, а противник подступал к ближайшей с севера станции Чертково. Рабочие беспокоились за семьи и эшелоны. Все это наполняло сердца тревогой.

Враги перерезали дорогу. В Черткове стоит тяжелая артиллерия и множество вражеских войск.

Пятая армия вздрагивает, останавливается. Куда теперь? Все пути забиты эшелонами, маневрировать почти нельзя. Гайдамаки подсылают шпионов, чтобы части ссорились из-за исправных паровозов и подвижного состава, красноармейцам говорят, что железнодорожники подкуплены немцами. Кое-где паровозы спустили пар. Машинисты скрылись.

Командование Пятой решает идти к Лихой, чтобы через Дон пробираться к Царицыну. Доносят, что казаки взрывают позади мосты. Тогда, сняв продовольствие — муку и масло, — последний, концевой эшелон армии нагружают всем необходимым для исправления железной дороги и мостов — рельсами, шпалами, гайками, шанцевым инструментом. Бронепоезд «Черепаха», с трудом пробиваясь по путям, выходит из головных эшелонов, ставших теперь хвостовыми, в хвостовые, ставшие теперь головными. Три тысячи вагонов где послушно, где с ропотом звякнули буферами. Свыше ста паровозов загудело. Штаб, красноармейцы, рабочие и крестьяне, их жены, дети, машинисты и механики, слесари и токари, вооружение, снаряды, одежда, пища, станки и машины с заводов, деньги и золото из банков, медикаменты — все это медленно двинулось к Лихой.

В купе к Пархоменко вошел Вася Гайворон.

— Навел всюду точные справки, — сказал он. — Точно выяснилось, что Иван Критский и его семья, а также ваша, Александр Яковлевич, отрезаны от Миллерова. А удалось ли им проскользнуть к Воронежу, или они у немцев, такой справки нет.

— И точка, — горестно сказал Пархоменко.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Некогда в Лихую из Царицына везли керосин и нефть, а в Царицын — донецкий каменный уголь, потому что между Лихой и Замчаловом целая улица каменноугольных копей. В двадцати трех километрах от Лихой, там, где впадает речка Калитва в Донец, где стоит станица Усть-Калитвенская, где в меловом песчанике, хрупком, красивом, находим древние пещеры, есть шахты Южнорусского металлургического общества, где добывали некогда свыше миллиона пудов угля.

Теперь на Лихую стремится совсем иной груз — эшелон за эшелоном, обоз за обозом, отряд за отрядом. Затем появляются грузные бронепоезда, штабы, канцелярии. Вначале приходит 3-я Украинская армия. Она отступает от Зверева. Едва ее разместили кое-как, вдруг хлынула 5-я Украинская. Все требуют воды, угля, нефти, а главное — свободных путей. А где их возьмешь? К тому же разъезды сообщают, что у Калитвы казаки взорвали мост.

По эшелонам несется панический слух, что путь на Царицын, так же как и на Воронеж, отрезан.

Враги наступают. Они подвезли к фронту много самолетов. Расчеты их правильны: степь гола, разве в балках встретишь деревья; летит над тобой железная птица, грозит взрывом — куда спрятаться? А если в эшелоны попадет? Ведь в каждом эшелоне имеются снаряды, патроны, да и цепь сама очень заметна в степи. И поневоле дрогнет сердце...

Четвертого мая с фронта на станцию прискакал Ворошилов. Он заявил, что приехал за подкреплениями, потому что враги вводят в бой свежие силы. Это видно из того, что над станцией беспрерывно летают и бомбят самолеты. Но были у него, по всей видимости, и другие мысли. 3-я Украинская армия совершенно расхлябалась, небольшие отряды ее снялись с фронта по собственной инициативе, а те, которые остались, тоже того и гляди обнажат фронт, и ежеминутно терзаешься опасением, что враги обойдут тебя, а тогда могут заколебаться и самые надежные луганчане. Мысли эти можно было уловить по тому, что, когда Пархоменко сказал, указывая на станционную суматоху: «Каша», — Ворошилов ответил, не желая углубляться в причины этой суматохи: «Ничего. И не такую кашу переварим».

В комнате у начальника станции, полного человека, страдавшего одышкой и испугом, собралось объединенное совещание начполитсостава 3-й и 5-й армий. Председательствовал товарищ Артем — глава Донецко-Криворожского правительства. Ворошилов выступил с докладом о положении на фронте и обороне станции Лихой. За окнами раздались крики, затем затрещал самолет, упала бомба и застонал кто-то. Мимо пыльного окна, в котором бились три большие сизые мухи, пронесли раненого. Ворошилов говорил, поглядывая на представителя 3-й армии:

— Необходимо выгрузить из эшелонов все части. Необходимо, чтобы все приняли бой с врагом. Враги дальше Лихой не пойдут, если мы окончательно убедим их, что для полного нашего уничтожения необходимы крупные силы. Они уже поняли это, потому и кинули самолеты. И так как у них нет пока крупных сил, то они спешно помогают формироваться находящимся впереди нас бандам генерала Краснова.

Он опять посмотрел на представителей 3-й армии. Лица их говорили, что 3-я армия в этом замысле вряд ли будет полезна, что доказательством тому служат те отряды, которые покинули самовольно фронт. Надо полагать, что Ворошилов догадался, о чем говорили эти лица, потому что без дальних слов сказал:

— И мы предлагаем: Пятой армии прикрывать отступление. Третьей — громить впереди банды Краснова, очищая путь, и немедленно восстановить взорванный мост. Особо беречь мосты. Особо беречь путь, товарищи!

Объединенное совещание приняло предложение Ворошилова. Представители 3-й армии пошли к своим эшелонам. В ремонтную группу по восстановлению моста послали луганчан. Пархоменко направил туда Васю Гайворона. Тот шел с руганью, не понимая всей важности восстановления моста.

— Верные ребята возле тебя, Лавруша, — сказал Ворошилов.

— В твою верную армию собираем, — ответил, улыбаясь, Пархоменко.

Сотни три усталых людей шли за ними. Это было все, что удалось собрать по эшелонам. Эти три сотни, по десятку, по пять человек, они разослали в отряды, чтобы поднять дух, чтобы сказать, что эшелоны уходят спокойно, что надо продержать немца еще часов десять.

Был канун пасхи. Ночь стояла темная. По небу торопливо неслись тучи. Ворошилов, Пархоменко и несколько командиров отрядов сидели на холме. Внизу, в темноте, изредка вспыхивала спичка, освещая заросшее волосами лицо, закуривалась папироска, и огонек ее шел от бойца к бойцу. Чей-то простуженный, часто покашливающий голос говорил:

— А нынче ведь, братцы, канун пасхи.

— То-то враги нам яички посылают.

И словно в подтверждение этих слов где-то в тем-

ноте пронесся и разорвался, осветив на мгновение степь сине-багровым пламенем, большой немецкий снаряд.

Шмыгая носом, нежный тенорок сказал:

— Это они нам пасху готовят.

— А по мне, все одно, что пасха, что рождество, — говорил все тот же простуженный голос.— Мне бы, братцы, Софку повидать. Вот девка! Три года ждала.

Издали кто-то крикнул:

— Три года ждала — пятерых принесла!

Вокруг холма и далеко в степи разнесся хохот. Хохотали не потому, что уж очень смешно сказано было, а чтобы почувствовать себя увереннее, проще. И это помогло. Голоса стали громче, кто-то взял чайник и заявил, что выроет ямку и вскипятит чай и что направо, в балочке, течет ручей и даже остался еще снег. Простуженный, нимало не огорчаясь смехом, продолжал рассказывать о верности Софки.

Откуда-то совсем издалека спросили:

— А ты ее погрузил?

— Как же, в седьмом эшелоне, второй вагон, — ответил простуженный.

— Ну, завтра я к ней иду. Проверим.

И вокруг опять широко и свободно захохотали.

С рассветом канонада усилилась. Враги подтянули новые силы и новые батареи. В восемь часов утра Ворошилов узнал, что и на правом и на левом фланге отряды покидают свои позиции. Первыми, как он и предполагал, ушли отряды 3-й армии. Со станции прискакал крутолобый Рыбалка из Макарова Яра. Конь под ним был в пене. Когда он остановился против Ворошилова, конь опустил голову и весь задрожал, как бы не веря, что бег окончен. Рыбалка махал плетью, рот у него был черный, запекшийся, а глаза словно готовы были выскочить.

— Товарищ командующий! — кричал он. — Товарищ командующий! Весь фронт на станции! Не иначе — восстание будет, товарищ командующий.

Ворошилов повернул серого, с черным пятном на лбу коня, описал легкий круг, посмотрел в степь, над которой рвались немецкие снаряды, и сказал:

— Пархоменко, прими командование частями. Попробую остановить их на Лихой. А ты прикроешь отступление.

И он стегнул серого.

— Докудова стоять, товарищ командующий? — спросил Пархоменко.

— До последнего вздоха, — ответил Ворошилов.— Приведешь непременно бронепоезд.

— Будет!

Чем ближе к станции, тем сильнее была забита дорога. Уже прямо по степи скакали группами кавалеристы. Орудия увязали то в песке, то на перекрестках, в грязи. Артиллеристы рубили постромки, с бранью вскакивали на коней, и тогда пехотинцы ругали их вслед предателями и подлецами, но у орудий никто не останавливался. Горел стог сена, затем запылал сарай, где стояли сельскохозяйственные машины. На станции послышались выстрелы, и кто-то закричал:

— Враги!..

Ворошилов понял, что части уже нельзя остановить. Он пошел к начальнику станции. Полный начальник — без куртки, в калошах на босу ногу — узнал его только тогда, когда командующий пригрозил ему немедленным и верным расстрелом. Призвали телеграфиста, какого-то бухгалтера из горевшего склада и стали искать машинистов, освобождать пути, сажать бойцов, отправлять эшелоны. Бегущих с фронта ловили возле станции и наскоро из них составляли отряды.

— А мост у Белой Калитвы исправлен?

— Исправлен, исправлен, — спокойно говорили командиры.— Зря в эшелоны сажать не будем.

Выяснилось, что многие вагоны надо оставить: части 3-й армии увели не принадлежащие им паровозы, и эти вагоны нечем тянуть. Ворошилов велел отодвинуть вагоны в ту сторону, с которой шли враги, и зажечь их. В некоторых вагонах были снаряды. Такие вагоны поставили в середину.

Над станцией пронеслись вражеские самолеты, торопливо сбрасывая бомбы.

— А если Пархоменко не приведет бронепоезд, открывать нам путь врагу, что ли? — сказал Ворошилов.— Зажигай!

Вагоны запылали.

Эшелоны двинулись к Дону.

Из степи к станции подходили теперь только раненые-одиночки, все главные силы армии удалось увезти.

В эшелонах спрашивали:

— А где Ворошилов?

— Едет.

— В каком эшелоне?

Но никто не знал, в какой эшелон сел Ворошилов.

Над Лихой колебались пахучие облака дыма и гудела канонада. Пархоменко вел к станции свой бронепоезд, который действительно отступал последним. Уже километрах в пяти видны были цепи врага, а чуть подальше осторожно, словно ощупывая дорогу, приближался густо-зеленый вражеский бронепоезд.

Возле стрелки путь немцам преграждал свалившийся паровоз. Кроме того, здесь же стояли наскочившие друг на друга вагоны, они пылали. Подальше горел еще эшелон, в середине которого вдруг начали взрываться вагоны.

Пархоменко было немножко обидно, что не дождались его, не поверили, что он приведет бронепоезд. Правда, бронепоезд враг расколол в щепы, и остались в нем целыми только три орудия, несколько пулеметов, оси да колеса. И сейчас враг продолжал долбить бронепоезд, и Пархоменко чрезвычайно гордился тем, что довел его до Лихой.

— Прикажете, товарищ командующий? — спросил командир бронепоезда, молодой матрос, указывая на пылающую преграду.

— Что приказать?

— Прикажете взорвать и удалить с путей?

Пархоменко слегка подивился такой самоуверенности матроса, причем видно было, что молодой матрос подлинно верит в возможность взорвать без вреда для путей пылающие вагоны.

— Снимай пулеметы, замки с орудий! — сказал Пархоменко.

Бойцы положили на траву, рядом с Пархоменко, пять пулеметов и замки с трех орудий. Пархоменко снял фуражку, записал мелом на обороте козырька, служившем ему памятной книжкой: «Принято 5 пул и 3 замка», — надел фуражку и спросил матроса:

— Противника видишь?

— Три с половиной километра, — с абсолютной уверенностью, что не ошибся, ответил молодой круглолицый матрос.

— Полный ход на противника!

— Есть полный ход на противника! — сказал матрос, вспрыгивая на бронепоезд.

— Сам соскочишь.

— Ясно. Через пятьдесят метров.

Бронепоезд полным ходом пошел обратно.

Матрос, опять-таки с полной уверенностью, что проехал пятьдесят метров, соскочил с бронепоезда, перекувырнулся по откосу несколько раз, не теряя достоинства и фуражки, и догнал Пархоменко, волоча пулемет, который оставили на его долю.

Когда Пархоменко подошел к станции, поезда шли за стрелкой, подталкивая друг друга. По другую сторону станции, за другой стрелкой, раздался грохот — это бронепоезд Пархоменко наскочил и смял вражеский.

Матрос спросил, указывая па последний эшелон:

— Догоним и сядем?

— Ворошилов приказал мне прикрывать отступление.

К станции подъехал на двуколке раненый. Голова его была обмотана шалью, длинные босые ноги свисали к земле. Из кабинета начальника станции вышел раненный в руку. Первый раненый, мыча, указал на место рядом с собой.

— Перевяжи ты его бинтом, — сказал Пархоменко матросу, указывая на раненого, закутанного шалью.

Матрос достал бинт и быстро сделал перевязку. Тогда раненый предложил положить рядом с ним пулеметы.

— Ворошилова не видал? — спросил Пархоменко у второго раненого.

— Ворошилов? Ворошилов эшелоны грузил. А пока грузил... Конь-то у него серый?

— Серый.

— Копя-то и увели.— Раненый ткнул пальцем в тощую клячу двуколки.— Ускакал на таком вроде... Конец нам будет, ребята. Сейчас немцы кавалерию пустят, раз бронепоезду не пролезть.

— Кавалерию! — рассмеялся молодой матрос.— Вот и видно даже по словам пехоту-матушку. Ночью — кавалерию! Да ты хоть на солнце взгляни!

Матрос хотел сказать, что солнце уходило. Багровое, в узких и рваных, похожих на рогожки, облаках, оно низко повисло над степью. Но и сам матрос, и тот боец, над которым он подсмеивался, глядя на солнце, былинное и страшное, думали совсем о другом, а не о том, что оно скрывается и наступает вечер.

Весь отряд — командир, пять пехотинцев и двое раненых в тележке — чувствовали себя непомерно усталыми, они не могли и не должны были отдыхать: они действительно были убеждены, что прикрывают отступление армии. Дуло пулемета с двуколки было обращено назад, и, как ни больно было лежать раненым, как ни толкал их пулемет, словно чувствовавший, что он здесь хозяин, они никак не согласились бы убрать его отсюда. Изредка они окликали уснувших от утомления бойцов, и оклик их был такой властный, что бойцы немедленно вставали и, шатаясь, подходили к ним и молча шли рядом. Так собралось уже человек тридцать.

По обеим сторонам дороги лежали трупы коней. Пархоменко смотрел на них, стараясь прямо ставить ногу, и ему казалось при каждом шаге, что перед ним какая-то длинная серая пропасть, отчего и дрожит его нога. Кони все лежали, вытянув головы вперед, раскинув ноги, будто и мертвыми продолжали скачку. Пархоменко думал: «Как могли украсть у командарма коня? Неужели способна дойти до этого наша армия?» И он оглядывался на свой отряд. Особенно прекрасны были бледно-синеватые лица раненых. Всем было понятно, что люди страдают неимоверно, но раненые переносили молча свои страдания, изредка как бы выкидывая их вместе с бранью. И Пархоменко вдруг вспомнил: а ведь пленных-то враги не получили, ведь в плен-то к ним никто не попал. Есть трупы, но в сводках враги не смогут написать, что взяли столько-то пленных.

Одна из раненых лошадей застонала, видимо почуяв проходивших людей. Матрос свернул с дороги и пристрелил ее. Пархоменко подумал: «Захочет Ворошилов объехать фронт, чтобы успокоить товарищей, а далеко ли проскачешь на плохоньком? Нет, нехорошее дело, нехорошее...» И Пархоменко представил себе, как скачет, махая плетью, Ворошилов, на горбатеньком, лохматеньком конике, и коник напрягается, искренне хочет поскакать, но нет сил, и он только дрыгает ногами.

Вдруг впереди, на пригорочке с прозрачной прошлогодней сухой травой, он увидал кавалериста на сером коне командарма. Один бок коня был багров, и особенно багрово горело стремя, а другой бок был совсем темен. Пархоменко задрожал от злобы и крикнул:

— Кавалерист, стой!

Кавалерист остановился.

Отряд, хотя ему Пархоменко не сказал ни слова, схватил винтовки наперевес, бежал к серому коню.

— Кто такой? — послышался голос кавалериста.— Это ты, Лавруша?

Пархоменко круто повернулся к отряду.

— А вы куда? — закричал он.— Вам сопровождать двуколку. Не видите — командарм?

Отряд охотно остановился, заговорил. Голоса повеселели. Пархоменко тоже мучительно хотел бы остановиться, потому что не было совсем сил, чтобы бежать, но он понимал, что надо бежать, надо показать свою силу. И когда он добежал, дотронулся до серого, когда взглянул в это прозрачное и огромное небо, на которое уже густо, словно танцуя, выбежали звезды, голова его закружилась и ноги ослабели. Ворошилов сдержал коня, понимая, видимо, что это необходимо его другу. Эта задержка продолжалась едва ли одну минуту, затем конь опять пошел медленным, но широким шагом.

— Видал? — спросил Ворошилов.

— Видал! — ответил Пархоменко.— Шестью бойцами прикрываю отступление.

Губы у него пересохли. Он хотел сказать, что шести бойцов было достаточно для того, чтобы сдержать ошеломленных невиданным сопротивлением немцев, но он понимал, что Ворошилову хотелось не этого. Ворошилову было больно покидать Украину, и его нельзя было утешить тем, что наша Пятая дралась хорошо, и Пархоменко понимал его, да и сам чувствовал то же самое, когда Ворошилов горестно воскликнул:

— Какой позор!

Да, позор в отступлении всегда наличествует, но ведь план сопротивления был выработан правильно, все, какие можно, меры приняты, врага били. Да, план сопротивления был правилен, армия выведена целиком! Значит, самый главный позор будет тогда, если они не реорганизуют армию, если им помешают белоказаки. Теперь мы не только прикрываем отступление армии, но мысленно делаем объезд ее, осматриваем все эшелоны. Кто в авангарде? Части Третьей. Анархисты. Кликуши. Не годится. Кто в арьергарде? Кто ведет обозы? Кто их охраняет? Кто восстанавливает мост на Донце? Что там сделало бестолковое командование Третьей?

Сумерки сгустились.

Отряд уходил в степь. Впереди ехал командарм. Его серый конь ступал так уверенно, что, казалось, уже на один этот топот выходили из степи, из балок отставшие от армии. Из степи навстречу отряду неслись таинственные и нежные запахи. Засвистала рядом птица, устало, будто сонно, протягивая мотив, который то пропускала струйкой, то цедила по капелькам. Иногда из степи просачивалась горячая струя воздуха, напоминая о пересохших просторах, которые таятся вдали. Бойцы напряженно глядели в эту все более пахучую и все более напряженную плещущую тьму. Что их там ждет? С кем они встретятся? Каков этот Дон? Куда они пробьются? К жизни или к смерти? Куда они переправятся? К счастью или к страданию?

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Еще весна, но ветер дует уже совсем легкий, горячий, кичливый, так, что обмирает сердце и сохнут глаза. Люди смотрят в степь и день, и два, и три... и месяц! Все дует ветер, все колышется уже покрытая летней пылью трава, и кажется, сколько ни надсаживайся ветер, не смести ему пыли с травы, не одолеть ему этой сухости и бесконечных пространств!..

Эшелонам тяжело. Хотя и идет весь металлургический и шахтерский Донбасс, хотя он и шутит, смеется и даже поет песни, хотя печатает газеты на пишущей машинке, но он понимает, что эти эшелоны совсем не похожи на прежние, сильные, быстрые эшелоны, да и сама железная дорога должна теперь носить какое-то другое название. Вагоны проходят в день не больше пяти километров, столько же, сколько обозы на волах. Водокачки взорваны. Воды нет. И вот выстраивается цепь людей на несколько километров, и в солдатских котелках, изредка разве в ведрах, передают воду из родников в паровозы. Ведер и тех нет! Вагоны не ремонтируют, а если который повредился, его просто сбрасывают под откос, а имущество перекладывают в другой. Случается, что от тревоги и тяжести на душе шахтеры начинают палить по врагу из винтовок, когда тот еле виден.

— Чего вы стреляете? — спросит, смеясь, Пархоменко.

— А враг.

— Где? Обожди палить, подпустим поближе.

Подпустят, вглядятся — казаки.

— Как у вас с продовольствием, товарищи? — переводит он разговор на более спокойную тему.

— С продовольствием ничего, а вот обува плоха.

— Насчет обувы, прямо скажу, обещать нельзя. Желающие могут переходить в кавалерию: казаки от пролетарской кавалерии не только сапоги, а и штаны сбрасывают!

Оставив позади себя повеселевшие лица и хохот, Пархоменко направляется к обозам.

Обозам еще тяжелей, чем эшелонам: совсем ослабели мужики, попав в казачьи земли. И понятно: когда идешь родной землей, среди крестьянства, то одно, а когда перед тобой нескончаемая степь и слышишь разговоры, что идти так вплоть до китайской границы, то совсем другое. К тому же по обозам передают слова руководителей 3-й армии (боявшихся больше всего реорганизации своих отрядов), что, мол, ворошиловцы хотят перегрузить с эшелонов пушки на воза, перебить несогласных крестьян и уйти с волами, степью, в Царицын. Меж возов бродят хулиганы с ножами и бомбами, играют ночь напролет в «очко». Появились заболевания. Выборные, низко надвинув бараньи шапки, наводят разговоры на то, что, мол, нельзя ли повернуть обратно, что даже волы — и те тоскуют. Пархоменко в ответ спрашивает о знакомых коммунистах и комсомольцах. Ему отвечают хмуро:

— Полегли за Украину.

Пархоменко передал рассуждения стариков Ворошилову. Тот сказал:

— Обратно пускать их никак нельзя. Это будет лучшая агитация против большевиков. Волы пусть останутся при них. А кроме вола, надо дать им коня, Лавруша. А на коне — коммуниста, инструктора! Через недельку доложи о результате.

Штаб Пятой выделил несколько коммунистов-инструкторов. Обозы разделили на отряды, выбрали командиров, а те разбили свои обозы на роты и взводы. Тревога немного улеглась, к тому же выдали в обозы и вооружение.

Однажды утром эшелоны, как-то особенно резко лязгнув буферами, остановились.

Насыпь впереди была совершенно гола: ни рельсов, ни шпал. В бурой земле, еще влажной, барахтались длинные черви мясного цвета. Эта голая и бурая насыпь уходила далеко в степь, залитую лиловыми колокольчиками.

Подъехал Ворошилов.

Кавалеристы нашли возле ручья огромные клубы рельсов и обгорелых шпал. Оказалось, что белоказаки впрягали множество пар волов и коней в рельсы, как в сани, и тянули в стороны. Рельсы сгибались с грохотом и треском, шпалы выскакивали.

— Хорошо колечко,— сказал Пархоменко, указывая на клубок,— сильно хочется атаману Краснову обручить нас со смертью.

— Рельсу могут согнуть, а большевистскую волю — не выйдет,— сказал Ворошилов. Он оглядел степь. Неподалеку от насыпи росли зеленые шары перекати-поля. — Помяните мое слово, товарищи, что откатятся белоказаки от Дона вместе с этими перекати-поле.

Подошла ремонтная группа. Длинноусый слесарь, размахивая шведским ключом, недоумевающе смотрел на бешеный клубок рельсов.

— Выпрямишь? — спросил Ворошилов.

— А как же иначе.

— А иначе надо так, что снимите позади нас рельсы,— сказал Ворошилов. — Нам они сейчас не нужны, а когда вернемся, враги к тому времени новые настелют.

— Им уж некогда будет снимать,— подхватил Пархоменко.

Застучали молотки, замелькали лопаты. Ворошилов направился к сгоревшему разъезду. В поле встретил гонца от командира дивизии, организованной Щаденко в лежащей впереди станице Морозовской. Белоказаки оттеснили ее в степь.

Гонец, командир 32-го полка, Терентий Ламычев, курчавый, щеголеватый, нисколько не изменился с того времени, как встречался с Пархоменко в Луганске, когда вел свой полк на Дон. Отводя в сторону Пархоменко, он сказал тихо:

— Казак! По-твоему, с Ворошиловым-то как надо разговаривать: сердито али в ласке?

— Сердито с ним разве только мог бы бог поговорить, да и того отменили.

— Ишь вы какие гордые,— сказал, смеясь, Ламычев. — А вот почему ты мою Лизу в Расею отправил?

— Я и свою семью отправил, так вышло. Жизнь — не сахар лизать, не наверняка сладко...

Увидев, что Пархоменко огорчился, Ламычев стиснул ему руку и сказал:

— Ну, ничего, наша кровь, ламычевская, не пропадет. Еще и твоих с собой приведет. А ты вот скажи, правда ли, тут командиры кой-какие рассуждают, что к Царицыну надо идти отдельными отрядами, что, мол, шалоны громоздки, двигаемся медленно, через Донец мост поправляли неделю, а сколько их еще, мостов-то?

— Такие разговоры есть. Только мы такие разговоры в Морозовской реорганизуем,— ответил сухо Пархоменко, которому не нравились щеголеватость и лихость Ламычева, его высокий вороной дончак, его пятьдесят ординарцев.

Ламычев чуть слышно рассмеялся.

— Надо их, чертей, реорганизовать, верно. «Казаки, говорят, не позволят пересечь великую казачью реку Дон!» А я вот казак и разрешаю рабочим: пересекайте. Это эсеры путают головы.

— А ты-то кто?

— Я сочувствующий.

— Кому?

— Ленину.

Ворошилов, читая письмо Щаденко, стоял возле будки разъезда. Ламычев, оставив своих ординарцев в поле, направился к будке, размахивая руками. На ходу он рассказал Пархоменко, как ему удалось провести на родину в село Чернышково свой 32-й полк, как вместо своей хаты нашел он пожарище, как в это время в станице Нижне-Чирской производили баллотировку наказного атамана и как он, Ламычев, захватил эту баллотировку, устроил митинг, кого нужно арестовал, кого нужно призвал к оружию и как затем соединился с Щаденко. В дивизии Щаденко есть много деповских рабочих, а без мастеров какая же теперь война? И он вдруг хвастливо добавил:

— Говорят, Емеля Пугачев произошел из станицы Потемкинской. Мы все думаем — из нашего Чернышкова!

Ворошилов круто повернулся на это восклицание. Они как раз стояли против обгорелых вагонов, уткнувшихся в разъезд. Ворошилов перечитал письмо, Щаденко писал: «Идет на соединение с вами наша Донецко-Морозовская дивизия, большинством из иногородних. Есть три тысячи отважных и верных бойцов, но нет оружия. Как у вас?»

Ворошилов задумчиво и лукаво посмотрел на Ламычева. Тот провел рукой по волосам и достал

из бокового кармана еще бумагу. Это было требование от штаба 32-го полка в штаб 5-й армии. 32-му полку до зарезу нужно пятнадцать пудов гвоздей разного размера!

— Какая же без гвоздей война? — сказал важно Ламычев. — Какие же без гвоздей подводы?

Опять в глазах у Ворошилова мелькнула лукавая усмешка. Он спросил:

— У тебя, говорят, много подвод с мукой?

— Да, кое-что могу обменять на гвозди,— ответил Ламычев со сдержанностью крестьянина, которого спрашивают об его имуществе.

— И скот есть в полку?

— Да так себе, плохонький,— уж совсем сдержанно, сквозь зубы, ответил Ламычев. — Какой у нас скот, мы пролетарии. А в чем дело?

— В том, что зачем тебе подводы, когда муку можешь погрузить в вагоны.

— В твои?

— Зачем? Вагоны будут твоими. — И он указал на обгорелые вагоны. — Я хочу предложить штабу, чтобы тебе поручили прикрывать отступление армии, быть ее арьергардом. Раз ты пролетарий — отремонтируешь.

Ламычев, видимо чрезвычайно польщенный, покрылся румянцем и легкими каплями пота. Пот капал с его густых выцветших бровей на длинные ресницы, и он уже упорно, как собственность, разглядывал эти полусгнившие, уткнувшиеся в разъезд, бурые вагоны. Мысленно он уже красил их в небесно-голубою краску и писал на них полукругом суриком: «Смерть врагам народа! Смерть генералам и империализму!» Но вслух он сказал вяло:

— Арьергард — задача ответственная. Надо с полком посоветоваться: у меня сплошь выборное начало. Да и Щаденко отпустит ли?

Когда он, весь раздувшись от гордости, поскакал в степь, Пархоменко спросил:

— Зачем он тебе нужен?

— А что, три тысячи вагонов народного имущества так и бросить? — горячась, спросил Ворошилов. — На обозы сесть?

Он продолжал более спокойно:

— Для арьергарда необходима кавалерия. У Ламычева в полку больше, чем в каком другом, рабочих.

Рабочие не дадут ему султанствовать. Да и Щаденко — большевик, наш парень, чует, кого выбрать.

— Как бы обозы не испугались, что в арьергарде у нас казаки.

Ворошилов как-то наискось, лукаво, оглядел Пархоменко.

— А тебе, что ль, хочется в арьергард?

Пархоменко рассмеялся.

— Не откажусь. По деду мы тоже из казаков, да и в конс понимаем.

— Пока еще рано. Пока еще поезди возле меня...

— Арьергард тоже возле...

— Нет, ты рядышком побудь. Ты мне нужен, Лавруша, здесь, у руки. А что касается обозов, так обозы будут довольны и Ламычевым. Ребята, охраняющие обоз, перейдут попозже к нему. Они разглядят, что в арьергарде батраки и безземельные. А та малость, которая хочет повернуть оглобли, та подумает, прежде чем это делать, вспомнит Ламычева. Изменников он не пощадит. Я прошу тебя, Лавруша, поддержи меня, не ошибешься.

Пархоменко посмотрел на него растроганными глазами и сказал:

— Считай, что я возле тебя, как, скажем, кора на дереве. Чего меня просить? Точка!..

ГЛАВА ВТОРАЯ

В Морозовской 19 мая было устроено совещание командования Третьей и Пятой армий для объединения отрядов. Накануне был смотр подошедшей Донецко-Морозовской дивизии Щаденко, насчитывавшей уже около двенадцати тысяч бойцов. На смотру растрепанное командование Третьей получило справедливое наказание. Вишневский, командарм Третьей, приветствуя Донецко-Морозовскую, запутался, сконфузился, не докончил речи и покинул трибуну. Его проводил смех всех собравшихся. Ночью он подал заявление об отставке. Впрочем, это мало чему научило командиров Третьей. На совещании 19 мая армейские советы выставили восемь кандидатов на звание командарма Объединенной армии, и семь из этих кандидатов были командиры Третьей.

— Нельзя и обижать командиров, но нельзя и зря выбирать командарма,— сказал Щаденко, глядя на список кандидатов. — Командармом должен быть тот, кто выработал и провел лучший план прихода в Морозовку и кто доведет до Царицына. Вот тут, на бумажке, первой стоит фамилия Ворошилов. Товарищ Ворошилов только что говорил, вы его слышали, видели, хотя кое-какие начдивы и делают вид, что не знакомы с ним. Я хочу только от имени дивизии подтвердить, что Ворошилов — старый партиец, с большим революционным прошлым, и если он выработал план и привел нас сюда, так этому его научила партия большевиков и Ленин.

Во время голосования кандидатуры Ворошилова на звание командарма Объединенной армии на станции работала комиссия по учету эшелонов. Она подошла к бронепоезду, в котором находились золото, банковские сейфы и ценные бумаги. Матросы, из бывших анархистов, понимая, что совещание, созванное Ворошиловым, закрепляет подлинную революционную дисциплину, решили бежать и увезти ценности. Они арестовали, избили комиссию. Совещанию пришлось прервать выборы и разоружить матросов. Разоружение это убедило и последних своенравных честолюбцев — кандидатура Ворошилова была принята всем совещанием.

Так началась в Морозовской реорганизация армии.

Какой надо иметь чуткий слух, какой взгляд, какой ум, чтобы найти подлинные причины успеха и неуспеха! Например, собирают пулеметный отряд. Казалось бы, только и быть шахтеру возле этой ловкой машины, а молодой и удалой шахтер хочет, чтобы его направили в кавалерию. Почему? В чем дело? Наконец шахтер смущенно признается: дождей много, слякоть, а идет он в рудничных черевиках, а они от воды раскисают, портянки вылазят, мотаются — стыдно за армию. А в кавалерии есть надежда, что можно добыть сапоги. Из кавалерии он может перейти в пулеметный отряд — это верно.

Но мало собрать пулеметный отряд, обучить его, надо и разместить его половчей. Штаб армии, восхищаясь выдумкой, слушает предложение Ворошилова:

— В царскую войну войска перевозили в теплушках, а в классных вагонах ехал или штаб, или лазарет.

Сорок пулеметчиков сядут в лучшие классные вагоны. Казаки, увидав вагоны с трубами, пойдут на них не цепью, а лавой. Задача командира — проверить, насколько он завоевал авторитет, на какую дистанцию бойцы позволят ему подпустить врага!

Наиболее опытных пулеметчиков командарм сажает на коня. Он шутит, что шахтеры и в кавалерию попали, и пулеметы сберегли. Конно-пулеметную команду ведет гончар Егорушкин, белокурый, высокий и очень ловкий парень, сказочник и плясун. Пулемет он поставил в тарантас и все никак не может простить шарабарму, что с сиденья кто-то срезал кожу. «Хлам, шарабара, а не шарабарм это»,— говорит он. Да и действительно становится обидно, когда посмотришь на тройку гнедых коней, впряженных в этот тарантас. Кони, едва на них наденешь хомуты, уже нагрелись, а когда они чувствуют, что позади, за оглоблями, между колес, стоит этот подрагивающий грохот, кони напрягаются неимоверно, и надо иметь железные руки, чтобы удержать их. На облучке — губастый кожевник, которого вся армия зовет Осей. Этот Ося — лучший борец. Грудь у него четырехугольная и так выпукла, что кажется, начинается от носа, а воздуха он может набрать так много, что хватит на целый взвод. Садясь на облучок, Ося говорит:

— Ну, будет жара! — Затем, посмотрев на крепкие спины коней, добавляет: — У свиньи двадцать восемь коренных зубов, а у лошади двадцать четыре, так не поскачешь же на свинье?

Первые результаты реорганизации армии показали пулеметчики.

Накануне выхода из Морозовской пришел в конно-пулеметную команду Пархоменко.

На дворе, возле навеса, в душистой тени которого кони неторопливо жуют овес, а воробьи бешено дерутся из-за оброненных зерен, Пархоменко коротко рассказывал бойцам, почему он пришел к ним. Кавалерийский отряд Волошина захватил богатый казачий хутор, где шла свадьба. Вошли в дом. На столе угощенье. Выпили — и начался грабеж. Мимо проезжал политком Малицкий. Отряд уже возвращался с награбленным. Малицкий потребовал от Волошина, чтобы отряд вернулся на хутор и отдал обратно награбленное. Бандиты убили политкома. Сейчас они окопались на хуторе.

Красноармейцы стояли прямо, строго и в то же время нетерпеливо глядя вперед. Еще месяц назад на их лицах могло мелькнуть сочувствие — ну, мол, выпили ребята, ошалели, с непривычки ослабели, а теперь с какой гордостью, веря в их твердость, мог Пархоменко добавить:

— Приказано разоружить бандитов! Будем судить беспощадно, чтобы этой же ночью все прочие бандиты, если такие окажутся, бежали из армии.

Тачанки выкатили к крыльцу. Кони затопали копытами по сухой земле. Егорушкин тихо объяснил Пархоменко, почему так нетерпеливы красноармейцы:

— Ну, ясно, хочется приказание исполнить. А еще то, что вмазать тем пулеметчикам, которые в классные вагоны сели. А то они, похоже, загордились!

И верно, в тот же час из Морозовской вышли классные вагоны с пулеметами. Километрах в пяти от станции пулеметчики увидали в степи вооруженных всадников. Белоказаки, заметив вагоны с трубами, пошли лавой. Пулеметчиками командовал Руднев, начальник штаба армии. Уже слышались голоса офицеров. Можно было различить околыши. Бойцы, вслушиваясь в топот атаки, смотрели на командира, а он смотрел на них. Поезд остановился. Паровоз мерно дышал. Было безветренно и жарко. Казаки выхватили шашки, офицеры неистово завизжали. Командир всматривается в лица бойцов. Он как бы молча говорит им: «Надо еще обождать, еще не пора». Они доверяют командиру, и хотя руки их слегка вздрагивают на пулеметах, лица их как бы молча говорят: «Ну что ж, раз не пора — обождем». Осталось едва ли полтораста метров. Руднев командует: «Огонь!» Сорок пулеметов со всем хранимым до сей поры нетерпением выкидывают бесчисленные пули. Первый ряд коней падает вперед, второй подскакивает и топчет всадников, чтобы самому упасть мертвым. Из всей лавины вырываются только два казака, но вырываются они не от смерти, а из облака пыли, поднятой упавшими. Едва окончилось облако, как винтовка пулеметчика прерывает навсегда их скачку. Пулеметчик, тонконогий рязанский парень, сын тех косцов, которые каждое лето приходили косить донские луга, кладет рядом с собой винтовку и говорит:

— Зачем бы им по начальству докладывать, в каких вагонах советские пулеметчики ездят?

Вечером в штабе Руднев показывает Ворошилову мундир с казачьего полковника и саблю с рукояткой, осыпанной алмазами. Бойцы поднесли это Рудневу.

— А ты что покажешь? — спросил Ворошилов у вошедшего Пархоменко.

Тот молча ткнул большим пальцем, указывая назад. Открылась дверь. Конно-пулеметчики ввели Волошина и его бандитов.

— Мне преподнесли анархию,— сказал Пархоменко. — Атака хутора продолжалась пять минут. Предлагаю открыть заседание суда. Представители дивизий сидят в зале. Ждут.

Через час представители дивизий и члены суда разошлись по вагонам. Трупы бандитов скатились под насыпь. Утром, при перекличке, в армии недосчитались полутораста человек, да из обозов ушло приблизительно столько же.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пархоменко любил бывать у Ламычева и разговаривать с ним. Вначале он относился к Ламычеву несколько ревниво; казалось, хотя тот делает в арьергарде как раз то самое, что собирался делать Пархоменко, хотя Ламычев и казаков хорошо знает, и сам большой выдумщик, и не последней смелости человек, но выйдет у него хуже. Это чувство исчезло у Пархоменко: Ламычев хотя и делал по-другому, а по существу делал то же и так же.

Были они совсем разные люди, даже в росте Ламычев был чуть ли не по плечо Пархоменко, волосат, курчав, говорил с расстановкой и плохо понимал шутку, хотя из уважения к Пархоменко смеялся чуть ли не каждому его слову. К машинам Ламычев относился с уважением, но землю пахать, он считал, лучше всего на волах, и когда Пархоменко рассказывал ему о тракторах, он только поводил бровью и хмыкал носом. К пролетариату он всегда был исполнен какого-то кипучего почтения и себя всегда называл пролетарием, но про Октябрьскую революцию говорил, что она вышла из крестьянства и казачества.

— Да откуда же? — кричал на него, горячась, Пархоменко. — Откуда? Вместе мы делали, вместе!

— Вместе, да не вместе,— уклончиво говорил Ламычев,— ведь Разин-то да Пугачев раньше пролетариата были?

— При чем тут Разин! Страдания от войны нас объединили!..

Пархоменко вскакивал, но Ламычев хватал его за руку.

Ламычев клал ему бурку, клал в изголовье мешок с травой, которая именно у него испускала какой-то особенно приятный и нежный запах, ставил чайник, и опять начиналось. Он то говорил о фронте, то яростно выспрашивал о программе большевиков, то бранил офицеров — и все это необычайно ловко, умело, хотя неясно. Если он и метался, то метался, как тронувшийся лед. Да и не только его слова, все поступки его были ловки и умелы. Приняв командование арьергардом, Ламычев взял на станции Морозовской пятьдесят поломанных вагонов, паровоз и привез откуда-то из соседнего хутора старенького машиниста, уже ушедшего в отставку, которого он соблазнил тем, что одарил всю его семью великолепными сапогами. Пока шло общее обучение, Ламычев чинил вагоны, выпросил в снабарме шестьдесят испорченных пулеметов и с помощью своих слесарей сделал из них двадцать. Какие это были пулеметы, можно было судить по тому, что из-за отсутствия сварочного материала он соединял части железными кольцами. Выторговав где-то два сломанных орудия, из которых сделал одно, он возмечтал о бронепоезде. Он сделал в вагонах вторые стенки, пространство между стенок заполнил крупным песком и поставил пулеметы. В соседний вагон он поставил орудие. Восемь лошадей, необходимых для запряжки в это орудие, шли рядом с вагоном, потому что эшелоны двигались со скоростью не более шести километров в час. Если надо было снять орудие, он спускал его по толстым плахам на землю, впрягал лошадей и вез, куда требовалось. Если же необходимо было послать бронепоезд, он отцеплял вагон с пулеметами, и седенький машинист, в канотье и высоких болотных сапогах, вел свой задыхающийся паровоз, куда требовалось. Бойцы в поезде спали у него на мешках с мукой, а по степи гнали собранное им стадо в полторы тысячи голов. Если он получал требование из снабарма на скот, он рвал его и кричал:

— Арьергард ночей не спит, он должен питаться, ничего не дам!

Когда таких требований уничтожалось много, в арьергард приезжал Пархоменко. Он клал на стол распоряжение штаба, адресованное в снабарм: выдать комбригу Ламычеву столько-то тысяч патронов и снарядов. Ламычев смотрел недоверчиво на бумагу, затем размягчался и спрашивал:

— А в обмен чего хочешь?

Пархоменко перечислял как раз те требования, которые изорвал Ламычев. Комбриг, поглаживая кудрявые свои волосы, говорил адъютанту:

— Выдать!

Ровно через день он приезжал в снабарм. Снабарм отказывал ему. Ламычев бежал к Пархоменко.

— Какой ты, черт, особоуполномоченный армии? Тебя, как девчонку, не слушают. Ухожу в обозы! Какой арьергард без снарядов?

— А ты плюнь на снабарм,— спокойно говорил Пархоменко,— ты сам достань патроны.

— И достану!

— У казаков?

— У казаков достану. Очень мне нужен ваш снабарм!

— Вот и я то же самое говорю. Давай мне обратно требование.

Ламычев ошеломленно смотрел на него и возвращал требование. Пархоменко говорил:

— Ты, надеюсь, не думаешь, что я тебя обманываю? У меня этого в обычае нет. Просто ты еще всех своих сил, всех своих возможностей толком не знаешь, а я тебе на них указываю. Если ты не можешь у казаков достать, я выдам требуемое.

— Раз я вернул требование, значит, я знаю, что делать! — кричал, раздельно выговаривая слова, весь багровый, Ламычев.

А вернувшись к себе, он на все вопросы отвечал:

— Эти люди умеют создавать авторитет! Надо нам, товарищи, вдарить на белых, как давеча... — А «как давеча» назывался на его языке бой, когда он однажды почти со всем своим полком спрятался в балке, а арьергарду велел изобразить бегство. Белоказаки кинулись за арьергардом. Ламычев пропустил их, а затем ударил им в тыл из всех своих двадцати пулеметов. В тот

день все его бойцы получили сапоги и казачью форму, а патроны таскали в поезд мешками.

Нравилось Пархоменко в Ламычеве и то, что он с огромной гордостью думал о своей дочери. Когда он говорил о Лизе,— какая она ученая и какая она смелая,— он надувался и смотрел чрезвычайно надменно. Он верил беспредельно, что она не может погибнуть и, мало того, непременно найдет своего отца.

— У нас такой уговор был,— говорил он и спрашивал: — А твои как?

— Думаю, в Самаре.

— Зря думаешь. Тоже приедут.

— Приедут, коли эшелон немцы не отрезали.

— Проберутся сквозь немца. Я так полагаю, что Лиза вместе с ними придет. Ей для этого и сил натруждать не надо...

Пархоменко чувствовал себя очень хорошо, так было все удачно и такие все вокруг были замечательные люди, едва ли не лучшие на Украине, и только мешала эта щемящая и неотступная мысль об оставленной семье. Он мало верил тому, что семье удалось ускользнуть от немцев. И когда он так думал,— а эти думы большей частью приходили ночью,— то сердце у него холодело, он вскакивал, выходил на площадку вагона и долго смотрел на степь. Степь лежала безмолвная, намаявшаяся. Изредка проезжал патруль, где-то в стороне судорожными пятнами горел костер из бурьяна, ржал конь, пахло влагой. Пархоменко возвращался в купе. Наверху спали ординарцы, напротив — начальник штаба. Пархоменко ложился, пробовал заснуть, но не мог и опять выходил па площадку. Возле пулемета, положив голову на ленты, спал широкоплечий белокурый парень. Услышав шаги, он поднимал голову и говорил:

— Пока хорошо, товарищ Пархоменко, да вот только табачку бы-ы... — И это «бы» он выговаривал так, как будто стучал зубами от холода.

Все шестьдесят эшелонов спали уверенно и крепко, надеясь на свою силу и на караулы. И было приятно сознавать эту уверенность, эту непоколебимую, без трещин, силу. И хотелось совершить что-то большое, что и не смыть и не принизить!

Светало. Кое-где появились уже атласно-шафранные полосы, хотя края неба были еще густо-фиолето-

вые. Пархоменко чувствовал, что он весь пылает, словно луч солнца ударил в него, как в облако, и осветил!

— Ой, Лавруша, не горячись, не надсаживайся,— сказал Ворошилов за утренним чаем, разглядывая его лицо.— Саблю и ту при закалке можно перемягчить.

— Что касается надсады,— сказал Пархоменко,— так я работаю в силу, как раз. А если краснота в щеке, так это от цели. Цель горяча, жар от нее далеко пышет.

Неподалеку от железнодорожной насыпи, упирающейся в Дон, через который здесь перекинут мост, стоит курган, высокий, древний. С этого кургана штаб армии рассматривал взорванный белоказаками мост.

И здесь же Пархоменко узнал, что на позицию пришла девушка, которая назвала себя Лизой, дочерью Ламычева. Сердце у Пархоменко забилось от радости. Неподвижно смотрел он на мост и думал: «Неужели моих, семейных, привела?»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Было раннее утро. В камышах еще плавали обрывки тумана. С вершины холма отчетливо видны были погруженные в воду средние пролеты моста. Над ними бурлила река. Начальник дороги, по рассказам на линии, считал первейшей своей обязанностью следить за окраской сооружений. И мост был так тщательно окрашен в серое, что взорванные пролеты его сквозь воду отливали тусклым серебром.

— Ну что ж,— сказал Ворошилов,— придется еще раз кадетов побить. Давайте, товарищи, вырабатывать план кольцевой обороны моста.

Среди штабных стоял будочник с тихим, заросшим рыжим волосом лицом, босой, в подштанниках. Он сказал:

— Какой же это мост? Это только название. Мост — он тогда мост, когда по нему ездют, когда он цельный.

— Будет цельный,— сказал Ворошилов,— забутим Дон, протянем рельсы.

— Дон? — вяло спросил будочник.— Дон забутишь? Да в нем и дна нету. Унесет вас аж в Ростов.

— А как же быки ставили?

— То инженеры ставили. Они какаву из медных кастрюль пили, а у вас что — пулеметы одни.

Ворошилов повернулся к инженеру дистанции, белокурому, с тусклыми маленькими глазами, похожими на чернику. Этот инженер, вместе с другими, уже письменно доложил, что для «поднятия поверхности и укладывания рельсов с целью восстановления движения через Дон» необходимо работать полтора месяца. Он явно сочувствовал словам будочника. Ворошилов, слегка притопывая каблуками о землю, как бы пробуя ее твердость, спросил:

— Достаточно ли будет этого кургана, чтобы забутить Дон?

Инженер посмотрел вниз, затем на реку.

— Полагаю, достаточно, товарищ командарм.

— Приказываю перенести курган в Дон.

— Слушаюсь, товарищ командарм.

— Засыпать камнями, землей. Если в окрестностях есть каменные дома — свалить их в реку. Когда поверхность выйдет над водой метра в полтора, постелите на этот ярус деревянные клетки...

— Разрешите доложить, деревянные откуда?..

— Деревянные клетки, на которые употребить разобранные дома, сараи, амбары — все, что можно разобрать. По этим клеткам поведем эшелоны.

Ворошилов поддернул будочнику свисавшие подштанники и сказал:

— И тебя покатаем, старик!

Он опять повернулся к инженеру.

— Какой срок?

— Ме-еся-ца... два... полтора... — растерянно сказал инженер, про себя думая, что эти трудности вряд ли и в три месяца удастся преодолеть. Но, с другой стороны, ему хотелось думать, что упорная воля этих удивительных людей преодолеет трудности. И, подумав, он сказал: — Да, меньше полутора никак не выйдет. Инструмента мало, река быстрая.

— А если постараемся?

Инженер пожал плечами, как бы говоря: я знаю, что будем стараться, но природа есть природа. Ворошилов молча посмотрел на него, как бы возражая ему: да, природа есть природа, но человек есть человек, а это могучее существо. И он сказал твердо:

— Трудностей много, сразу видно. Но надо постараться и выстроить мост недели в две, от силы — три.

Энтузиазм большевиков и донецких шахтеров преодолеет и не такие трудности.

И, оглядев всех, он добавил:

— Итак, товарищи, начинаем кольцевую оборону и строительство моста.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пархоменко скакал по степи. Он торопил обозы, которые, казалось ему, шли как-то нехотя в кольцевую оборону моста. Он говорил короткие речи о том, что для успеха «бута» Дона нужны люди, телеги, волы, все свободные силы армии, и, наконец, он подъехал к последнему обозу, за которым начинались уже вражеские поля.

Он увидал большой костер, парней с пиками вокруг него. У пламени стоял политком Волков — человек болезненный, бледный и раздражительный, по-видимому, но, как все передавали, отличавшийся редким умением владеть собой. Прислонившись к телеге, он неторопливо отвечал на вопросы крестьян, а узнав Пархоменко, сделал под козырек.

— Рассчитываем, товарищ уполномоченный,— сказал он низким грудным голосом,— к завтраму дать еще триста подвод.

Поодаль от обоза лежал на траве Терентий Ламычев.

— Заворачивай, заворачивай, Александр Яковлевич! — закричал он, махая фуражкой. — Дочь встретил! Празднуем.

Пархоменко осадил коня. С бурки поднялась угловатая девушка.

— Моих не встречали? — крикнул он, оглядывая Лизу.

— Нарочно прошла по станциям, Александр Яковлевич. И в Миллерове была и дальше. Не слышно про ваших. На станциях передавали, что проскользнул поезд сквозь немца в Россию.

— Я же говорил, проскользнут! — крикнул Ламычев. — Они-то еще бы не проскользнули.

Пархоменко вздохнул, слез с коня.

— Рассказывайте,— сказал он, глядя на Лизу. — Как там люди живут, чего слышно?

— На вас шла, как на эхо,— сказала Лиза, смущенно улыбаясь. — А люди живут совсем плохо.

Еще щелкали бичи, еще кое-где раздавалось хриплое «цоб, цобе», еще падали на землю ярма. Но уже пахло дымом, серовато-зеленым, ничем не отличаемым от цвета травы, уже телеги стали тесным кругом, уже на окрестные холмы залегли «секреты» с берданками, а в балку, мимо только что срубленного мостика, пробирался обозный патруль. Крестьянские парни в солдатских фуражках, выпятив грудь и поджав губы, ловко держа у бедра пики, рысили с большой важностью.

Пархоменко, стоя у высокого пня, слушал, как в глубине балки чуть живой, задыхаясь среди высокой и сочной травы, пробирался ручей.

— Спуск-то к воде нашли? — спросил Пархоменко того парня, что вел патруль, гордясь своей неимоверно много раз простреленной фуражкой.

— А как же! Пристроились, Александр Яковлевич.

— Быков, стало быть, на коней сменяли?

— А чего же, — ответил тот, с шипением раздвигая грудью коня заросли орешника. — Пристроились, доложено...

Голоса людей и конский топот почти мгновенно утонули в орешнике. К ручью вынырнул из травы Вася Гайворон с чайником. Придерживая кольт левой рукой, он осторожно опустил белый жестяной чайник в жестяно блестевшую струю. Послышалось вкусное чмоканье Ламычева, пившего чай, и он сказал Лизе:

— Кроме кофты, начальник снабжения выдал фунт карамели. Получай, дочка, получай.

Он широким жестом, как и все, что он делал, подал ей пакет из газетной бумаги. Она достала конфетку и бережно положила в рот. Едва ли хотелось есть, но ей нужно было сделать возможно больше приятного всем встретившим ее. Обсасывая конфетку, она громко сказала, угадывая грусть Пархоменко:

— А ваши-то, Александр Яковлевич, на Самару прямо пошли.

— Спасибо, Лиза, за слово,— сказал Пархоменко глухо. Он полуобернулся к возам, откуда, подминая густо-лиловые соцветья шалфея и белые лапки чистеца, шел к ним старшина обоза, пожилой крестьянин с теплыми седыми усами, чуть розовеющими под широкой соломенной шляпой.

— Прошу в круг, товарищи начальники,— сказал старшине, указывая на возы.— На почетное место... беседу по международному делу и так, пониже, побеседовать.

— Некогда, отец,— сказал Пархоменко.— Дон зовет. Сюда мы свернули дочку ламычевскую встретить. Вот у нас в обозе небось жалуются?

— Да не так, чтобы горько,— уклончиво ответил старик.

— Детишки животами мучаются? Бабы стонут? И ниток нет, и соли мало, а на Дону мост взорван?

— Это есть. Разговор бабий имеется.

— А которым оплечьями котомки грудь сильно натерло... надо вот ее повидать да порасспросить,— сказал Пархоменко, указывая на Лизу.

Лиза стояла возле своего плечистого отца. Подле нее, босые и пыльные, лежали, засыпая, пять мальчишек, покинувших поезд вместе с нею. Это были дети шахтеров, ушедших с колонной Ворошилова. Лица их морщились от напряжения, словно они стояли на краю высоченного обрыва и край этот пошатывался под их ногами. Опасности дороги, страх грозы, побои, лай станичных овчарок будут преследовать их и во сне еще долго-долго...

Вася Гайворон разжег костер в ямке и подвесил чайник. Возле мостика тихо перебирали железными путами кони. Кузнечики изредка прыгали в костер и умирали неслышной смертью. Вася подкладывал сухие ветки и смотрел на Лизу. Брови у него ходили напряженно, словно не могли еще освоиться с новым упорным взглядом глаз. Изредка поднимая голову, кто-нибудь из мальчиков тоже смотрел на Лизу, и взгляды их походили на взгляды Васи. «Да они все влюблены в нее»,— подумал Пархоменко, и ему было приятно и видеть это, и подумать об этом.

Жизнь идет — и быстро идет! Месяца полтора назад, когда начали отступление и шли долиной реки Калитвы, тучной, черноземной, этот же Вася Гайворон, смотря на сумятицу в передвижном лазарете, сказал: «Эх, Лизу бы Ламычеву сюда, она бы показала обращение планет и луны». Слыша это восклицание, Пархоменко подумал, что жалеет Вася не столько о Лизе, сколько о том, что оставил Луганск. Пархоменко резко оборвал его. Вася смолчал. А теперь Пархоменко понял,

что Вася тосковал о ней, как бы звал ее сюда, и неизвестно еще, чей призыв ближе ей: отца или Васи.

В огонь прыгнула кобылка. Пархоменко поймал ее на лету. Еще утром Вася сказал бы, что раз здесь кобылки много, то много и розовых скворцов, и непременно нашел бы гнезда. А сейчас он и видит кобылку в руке Пархоменко и не видит ее!

Лиза тихо рассказывала о том, как они шли станицами, как прятались в овинах, как она притворялась слепой и мальчишки вели ее на палке. Вышли они однажды на Хайер, и возле Аржановской перегнали их коляски с немецкими офицерами. Коляски остановились. Ну, думает Лиза, узнали. Нет, оказывается, немцы просто пожелали сфотографировать нищих.

— Да, было, значит, туго,— сказал Ламычев, весь сияя.

Вася налил Пархоменко чаю в большую жестяную кружку и выдал одну конфетку. Пархоменко положил ее в рот. А Лиза — так чмокала губами от удовольствия, щурилась и посмеивалась. Розовая ситцевая кофта, подарок отца, лежала у нее на коленях, и Лиза время от времени трогала ее пальцами. Проснулись парнишки. Вася и им налил чаю. Он не удержался и похвастался, что на обед они завтра получат дрофу. Конопатый широкоскулый мальчишка, лет шестнадцати, Алеша, носящий странную фамилию Увалка, сказал ядовито, что дрофу застрелить легко, а ты застрели сайгака! Видно было, что он ревновал Васю к Лизе. Но тот не замечал этого и говорил:

— Дрофа, верно, не диво. А вот что завтра увидите вы у Дона, вот это — у-у-у!.. Шли, не шутоломили, а дошли — у-у-у!..

Пархоменко встал, потянулся. Коновод побежал распутывать лошадей. Ламычев легонько похлопал дочь по спине и сказал ласково:

— Всего не расскажешь, сердечушко. Отдохнула? Пойдем Дон смотреть. Шли мы к нему, шли, казаков от линии отгоняли, отгоняли, а вышли — смотрим, мост пополам разорван.

Короткими и сильными своими руками он показал, как разорван пополам мост над Доном. Но Лиза не поняла слов отца. Она все еще была окружена теми картинами, сквозь которые только что прошла. И, спеша окончить рассказ, Лиза сказала:

— Ну, говорили еще, что Ленин прислал в Царицын для управления боем верного начальника...

Пархоменко спросил резко и быстро, так что девушка вздрогнула:

— Ленин прислал? Кого?

— Наркома Сталина.

— Кто говорил? Где? В какой станице?

— В Еруслановской, вчера говорили...

Пархоменко подбежал к ней.

— Кто?

— Не то казак с плену бежал, не то офицеры перекликаются, — смущенно ответила девушка.

Лиза смущенно улыбалась. Она глядела на отца. Челюсти его были крепко сжаты. Его обижало, что Пархоменко так резко спрашивает уставшую девушку, но в то же время он понимал, какую огромную силу для армии привез бы в Царицын человек, верный Ленину, крепкий большевик.

Однако девушка быстро пришла в себя и при помощи мальчонок точно припомнила, кто и где говорил о приезде в Царицын наркома Сталина.

Пархоменко внимательно выслушал Лизу, а затем крепко пожал ей руку.

Девушка пробормотала что-то растроганным голосом. И Пархоменко представил себе, как шла она степными дорогами, шла долгие дни и ночи, как подходила к богатым домам, как просила кусок хлеба и как слушала грубые отказы. Пархоменко хорошо знал этих жирных и жадных псов, сидевших в своих трехоконных домах с крылечками, окрашенными желтой краской. И тут же он с удовольствием припомнил, сколько раз в течение месяца этим жирным и жадным псам били наотмашь в зубы.

Возле одной из телег красный отсвет костра падает на белую холщовую рубаху, на худую сутулую спину. Взмахивает рука, делающая крестное знамение. При последних словах политкома седобородый молящийся оборачивается.

— Хоть бы молебен отслужил перед началом. Ведь такое дело — Дон бутить!..

Покосившись на молящегося и натягивая повод, чтобы конь шел тише, Пархоменко говорит:

— Попы вон твердили, что люди равны, мол, потому, что в них одинаково волей божьей вложен дух

его, а теперь, я полагаю, что даже этот старикашка — и то понимает, что бог-то работал грязно. А народ не любит плохой работы. Забутит он Дон и скажет: «Чего мне отдаваться на божью волю, на плохую работу? Ведь божьего-то равенства не исправишь, наше вернее. Лучше-ка я отдамся на свою волю, человечью, а?..»

Ламычев как-то по-своему понял его и засмеялся.

— Приди ты ко мне сватом, Александр Яковлевич, я в любого твоего жениха поверю!

Он придвинул своего коня к нему и положил на колено Пархоменко свою широкую, крепкую и теплую руку. Так, шагом, не торопясь, не желая расстаться, широко вдыхая молодой запах полыни, всадники ехали не менее двух часов. Небо сильно посинело. На юге что-то замелькало, похожее на зарницы, должно быть отблески костров у моста. Из балок стали окликать чаще. Приближался Дон.

— Нам сюда, влево, — сказал Ламычев. — Стало быть, Александр Яковлевич, пятьсот двадцать рабочих я посылаю.

— Двадцать еще наскреб?

— Порассчитал в арьергарде, обойдемся и без них. — В темноте послышалось шлепанье его толстых губ, словно он про себя еще пересчитывал что-то, и он сказал: — А скот-то я весь отдаю. Пускай принимают. Что я, приданое из него дочери делать буду? Мне мост надо, а не скот.

Он помолчал и добавил с явной застенчивостью:

— Дочь-то куда думаешь мою определить?

— В лазарет, — сказал Пархоменко.

— С ребятами послать камни бросать в Дон, думаешь, не стоит?

— У койки она будет ловчей. Приехала, рада, да и заботливая она, вроде тебя.

— Без заботы не проживешь, — скромно вздохнув, сказал Ламычев. — Счастливо оставаться.

Он отъехал, но вдруг остановил коня и крикнул издали:

— А правда, есть предложение — отыскав брод, бросить эшелоны и двигаться к Царицыну походным порядком? Чего ждать два месяца, когда выстроят мост?

— Этого не будет, — сказал резко Пархоменко. — Выстроим.

— И я думаю, что выстроим, — так же резко отозвался Ламычев. — Счастливо, Александр Яковлевич!

— Счастливо, Терентий Саввич.

Поскакали, но Ламычев опять осадил коня.

— А третьеводни я чеснок видел во сне, а чеснок, говорят, к одиночеству. Вот так предсказанье, а?

— Не верь снам, а верь сабле! — крикнул ему Пархоменко.

— И то правда! Голова от мыслей прямо как улей.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Обгоняя телеги, груженные бревнами, тщательно выскобленными досками, еще недавно служившими полом, кирпичом со следами известки, грубым камнем, отвечая на жалобы и обещая прислать лопаты, топоры и пилы, Пархоменко подъехал к палатке командарма. Палатка, окруженная утоптанным репейником, стояла метрах в ста от наполовину срытого кургана, понурого, цвета обожженной пробки. Множество костров освещало курган. Мелькали лопаты, падала в тачки земля, бранились десятники.

Крыло палатки было поднято к кургану. У входа, возле колышка, положив голову прямо на землю, спал с широко открытым ртом ординарец. Ворошилов сидел на мешке с землей и, недовольно морщась, читал сводку проделанных за день работ. У ног его горел фонарь. Возле фонаря, изредка царапая карандашом лоб, полулежал Руднев, начальник штаба. Он составлял диспозицию решенного на завтра наступления в сторону станицы Нижне-Чирской, к центру белоказачьих формирований.

Ворошилов узнал шаги Пархоменко. Не поднимая головы, он спросил:

— Сколько сегодня выдал людей, Лавруша, к мосту?

— Девятьсот двадцать шесть, — ответил Пархоменко.

— А голос чего, как у сироты?

Пархоменко промолчал.

Ворошилов опустился на мешок. Положив диспозицию на колено и слегка постукивая по ней пальцами, он сказал:

— Поутру пойдем в сторону Нижне-Чирской. Надо кадетам урок дать. Чего они мост мешают строить?

Он хлопнул сильнее по бумаге и сказал, улыбаясь:

— Придется тебе, Лавруша, в Царицын поехать. Доложишь там товарищу Сталину...

Он слегка откинулся назад, снизу вверх посмотрел Пархоменко в глаза и добавил:

— Так и доложишь: утром, мол, воюем, а вечером Дон бутим. Надо полагать, встретимся.

— Слушаюсь, товарищ командарм, — сказал Пархоменко. — Прикажете идти?

— Куда? — смеясь, спросил Ворошилов.

— Куда приказано.

— А куда приказано?

— В Царицын, — ответил Пархоменко.

— А дойдешь?

— Раз приказано, дойду.

— Кадеты поймают, ремней нарежут из кожи.

— О смерти прошу сообщить семье, в Самару, — просто сказал Пархоменко, и простота эта и мужество были так удивительны даже для этих людей, видавших самое необычайное мужество, что в палатке опять наступило молчание, и только минут пять спустя Руднев сказал:

— Красивый ты у нас, Лавруша.

Пархоменко покинул палатку первым, ординарцы его и коновод, пока он был в палатке, спали возле коней. Около костра сидела группа людей, разговаривающих о Царицыне.

Коротенький мужчина говорил:

— Царицын, у! Царицын, брат, транзит!

— Во как! — с уважением отозвался темно-бронзовый голый человек, сушивший возле пламени только что выстиранное белье. — Транзит он, да-а, я знаю!

— Сюда, брат, и уголь с Донбасса и хлеб. Сюда, брат, и лес с севера прут. А в Нобелевском городке керосину столько припасено, что всю степь залить можно и кадетов, как клопов, выжечь.

— Дай-то бог, — сказал голый, видимо теряя уважение к голосу говорящего, но не теряя уважения к Царицыну. — А ты мне скажи, сколько там рабочих?

— Тысяч, полагаю, до пятидесяти.

— Вот это сила! Вот это гроза! А ты мне — кара-

син! На черта мне твой карасин, если лампу делать некому.

Подле другого костра толпа рабочих, опиравшихся упорно на лопаты, как бы не желая выпустить их, столь напряженно слушала оратора, что и не заметила, как подъехал Пархоменко. Оратор, мясистый, густоголосый, в форменной учительской тужурке и кавалерийских штанах, говорил с тачки. Баба в зеленой кофте держала над его головой фонарь. От оратора, должно быть, требовали истории Царицына, а он, судя по всему, был преподавателем физики и вспоминал историю, как мог.

— Там, где теперь высится церковь святого Иоанна Крестителя, — говорил он, — существовал дворец Батыя...

— Ишь куда влез, сволочь! — сказал кто-то из толпы.

— В моменты народных восстаний, товарищи, Степан Разин овладевал Царицыном. Он разбил царские войска в семи верстах выше города. Кроме того, Царицын посещал Петр Великий. Город ему понравился, и он, в знак благоволения, подарил городу свой картуз и трость, а супруге своей весь город. Кроме того, Царицын осаждал Пугачев.

— Знаем! Дальше!

— Что же касается памятников старины, то, кроме картуза и трости Петра, ничего там нету... И вот, товарищи, переходя к текущему моменту, скажу, что нам надо биться упорно!

— Дело!..

— Давай говори!..

В передвижной кузнице плоский мальчонка нехотя дергал веревку горна. Угли вспыхивали и погасали, то освещая, то теряя фигуру кузнеца с тяжелым, словно из железа, лицом. Кузнец в продранной рубахе, в лаптях, картинно играя молотом, говорил слушателям, до которых свет горна не достигал и которые выдавали себя только вздохами:

— Работал я, братцы, и во французской сталелитейной компании, и переливал из баржей нефть в цистерны, и деготь таскал, и арбузы, и хлеб, и рыбу — и скажу вам, нет дружней царицынского народу.

— Луганчане дружней, — сказал кто-то из темноты.

— Луганск обижать не желаю, но царицынцы, захворай ты, сейчас помогут...

— А ты хворал? — спросил все тот же задорный голос.

— Случалось... На лесопилке раз рукой в машину попал...

— Машина-то и — трах, пополам!

В темноте громко рассмеялись. Мальчонка перестал качать мехи. Огонь осветил всего кузнеца и чьи-то длинные рыжие сапоги. Свет упал на морду коня, поднялся выше. Пархоменко узнали, и задорный голос крикнул:

— Товарищ особоуполномоченный, правда в Царицын приехал посланный товарищем Лениным народный комиссар товарищ Сталин?

— Точных сведений еще нет, — ответил Пархоменко.

— А когда будут?

— Полагаю, дней через пять.

— Эх, табачку бы, товарищ особоуполномоченный!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Штаб выехал на позиции еще до рассвета. Ночью пала сильная роса, и от полупотухших широких костров несло дымом. Люди спали, где попало и как попало, — на телегах, у телег, положив головы на тачки, на носилках.

Километрах в десяти от лагеря штаб обогнал группу лазаретных линеек. С передней линейки окликнули Пархоменко, а кроме того, ему что-то шептал задыхающимся голосом Вася Гайворон. Недоумевая, Пархоменко поравнялся с линейкой. Из-под полотняного навеса сверкнули знакомые синие глаза. Верх навеса был матово-розов от поднимающегося солнца.

— Это вы когда же успели в линейку пересесть? — спросил Пархоменко у Лизы. — Небось не спали?

— Нет, и спала, — ответила Лиза с гордостью и ласково, всем лицом улыбаясь Васе Гайворону. — Неужели до самой Нижне-Чирской пойдем?

— И дальше, — сказал шутя Пархоменко, шевеля повод. Конь взял в крупную рысь. Штаб скрылся.

Лиза и сама знала, что наступление пойдет только в сторону Нижне-Чирской. Для полного охвата кадетской резиденции нужно прервать «бут» Дона. Это никак нельзя было сделать. Но виденное и слышанное ею в казачьих станицах встало перед нею теперь таким

отвратительным и ужасным воспоминанием, что она страстно желала полного уничтожения подлой, низкой, собственнической жизни. Ей нестерпимо хотелось рассказать, что она видела, но ей все время казалось, что она выбирает не те слова и не те картины, какие надобно, и было странно думать, что ей преподавали, как надо учить людей, но никто не преподал ей, какими же словами рассказать о самом важном — об унижении и надругательстве над человеком, о жестокости и рабстве.

Она бывала года два назад в станице Нижне-Чирской. Богатые сады и виноградники перерезаются двумя речками, впадающими в Дон. Жизнь здесь течет, как бы питаясь густым отваром. Три грузные церкви выстроены из большого и необычайно крепкого кирпича, так что, когда с верхних лесов упала как-то груда кирпича, она не разбилась, а только зазвенела, как металл. Лавки и склады набиты хлебом, шерстью, а пиво на заводе такое, что с одного стакана опьянеет и битюг!.. Богатые казаки с Нижне-Чирской презирают всех, по своей станице они ходят с широко открытыми глазами, а стоит им выехать на сторону, как они начинают щуриться. Батракам они выбивают зубы, а насилиями хозяев над батрачками хвастаются даже их бабы.

Едва только части, перейдя балку, вышли на равнину, заворачивая правым флангом к виднеющейся вдали речке и болоту возле нее, как в траве, громадной, почти в рост человека, замелькали цепи кадетской пехоты. И без бинокля их можно было насчитать семь. Старший врач лазарета — со ртом, похожим на воронку, и в пенсне с черным шнурком, выехавший вместе с линейками на передовые позиции,— опытным взглядом окинул поле и сказал:

— Сегодня много приказных казаков окончат службу. Вам, Ламычева, подвинуться к речке. Там будет полное выражение. Партийная? — вдруг спросил он.

— Нет,— смутившись, ответила Лиза.

— Надо в партию. И вам и вашему отцу. Геройство и партия — явления однозначащие,— сказал он громко, и Лизе вдруг стали приятны и пенсне с черным шнурком, и рот его, похожий на воронку, окруженный тыном давно не бритых волос, и вообще вся его манера говорить громко и повелительно.

— Гнать, что ли? — спросил мальчик.

— Гони,— сказала она,— гони.

И линейки, подпрыгивая на бугорках, нарытых сусликами, поскакали прямо степью. Одна линейка стала сильно забирать влево, вскочила на курган — и тотчас же возница привстал и опрокинулся. Пуля пробила ему голову. Фельдшер пощупал пульс, хотел было сказать «мертв», но сам, изжелта-бледный, склонился из линейки и, падая на траву, проговорил:

— Передаю вам распоряжение... перевязку... — Он хотел сказать, как всегда, чтобы берегли бинты и вату, но вместо этого сказал «перевязку». К нему подбежали. Он стал ругаться, указывая направо: — Сам перевяжу, сам! Не видите?..

Лиза все же успела забинтовать ему плечо. Фельдшер все указывал вправо. На дороге, за курганом, стояли какие-то тарантасы. Оттуда махали фуражкой. Лиза погнала туда линейку.

— Вы на правый фланг? — спросил ее загорелый до черноты командир, что-то двигая в тарантасе ногой. — Порожние? Возьмите патроны. Мы идем влево, не по пути.

И он, не дожидаясь ответа, начал перебрасывать к ним ящики с патронами. Бросал он их с поразительной легкостью и умением — и как раз столько, сколько могла увезти линейка. Бросив последний ящик, он хлопнул в ладоши, и тачанки унеслись влево.

Лиза с радостью взяла патроны, но ей казалось, что она все-таки как-то нарушала то, что она называла «взаимодействием частей». Ей казалось также, что линейки скачут теперь на правый фланг недостаточно быстро, и она теперь все свое внимание направляла на быстроту движения линеек, не замечая, что семь рядов казачьей пехоты приближаются и пространство перед нею и пехотой, как сетью, накрыто полетом пуль. Дальше, за болотцем и холмами, в том месте, где разливалась речка, образуя броды, как передают, линии сошлись уже врукопашную. Здесь же, возле болотца, первая схватка окончилась, видимо, но понять, кто кого потеснил — казаки ли наших, наши ли казаков,— было трудно. Наши бойцы, числом около роты, стояли беспорядочной толпой на краю луга, возле реки. Рослый боец, без шапки и пояса, что-то кричал, размахивая руками.

Направо, ближе к болотцу, с холма, заросшего чертополохом, Лиза увидала первого раненого. Он приподнимался, не то услыша стук линейки, не то почувствовав себя лучше.

Приподнявшись, раненый заметил другого, который заматывал бинтом окровавленную голову. Когда тот опустил левую руку, раненый разглядел на плече его офицерский погон. Впереди этого офицера полз к линейке третий раненый, рабочий в темно-рыжей, промасленной куртке, рваной шляпе и ботинках. Он стонал и плевался большими сгустками крови, повисающими на траве. Так как началась кочковатая, а местами и топкая почва, Лиза, остановив линейки, бежала впереди всех, размахивая санитарной сумкой. Но раненые не слышали ее. Офицер, лица которого еще нельзя было увидеть, но злоба, наполнявшая его, давала полное представление о его лице — наглом, жестоком, пустом,— офицер, склонившись влево, бранясь, поднял револьвер. Но тут почти рядом с Лизой раздался выстрел. Он раздался одновременно с выстрелом офицера, сразившим рабочего в темно-рыжей куртке. Офицер упал. Его пристрелил раненый рабочий, лежавший неподалеку от Лизы. После выстрела рабочий свалился. Винтовка лежала у него на груди. Широко раскрыв черный запекшийся рот, в котором почти не было передних зубов, он повернул к Лизе морщинистое седое лицо. Он понимал, что напряжение, с которым он выстрелил, стоило ему жизни; он уже почти ничего не видел, но все же он собрал достаточно сил, чтобы спросить, спас ли он жизнь товарищу. Лиза рыдала, не отвечая. Тогда он спросил:

— Кадета-то я кончил? Офицера-то?..

— Убил, убил! — кричала Лиза, и слезы текли у нее по лицу.

Санитар, серый, неопределенного возраста сибиряк, пришепетывая, сказал, касаясь слегка ее плеча:

— Этак, девонька, мы немного раненых соберем, коли над каждым плакать. Правей нам или назад ехать?

— Почему назад? — удивилась Лиза.

Санитар указал на изумрудно-зеленое болотце. Так как линейки всегда искали тени, то они остановились под легкими, почти прозрачными ивами, и казаки, вылезавшие по камышу из болота, против солнца, бьющего

им в глаза со стороны ив, не замечали линеек, окрашенных в защитный цвет. Казаки шли медленно, осторожно, все облитые медно-красной болотной водой, с фуражек у них свисала осока.

Лиза вскочила в линейку. Коновод хлестнул по лошадям. Линейка поскакала к бойцам, все еще рассуждавшим возле речки. Все это произошло быстро и чрезвычайно ловко. Взяли самую крайнюю линейку, которой не могли ни увидеть, ни услышать казаки; скакали почти неслышно, самой высокой травой; когда линейка остановилась возле бойцов на белом и ровном поле, они вздрогнули и обернулись к ней.

— Куда? К эшелонам бежите? — вдруг наполнившись той язвительностью к трусам, которой славился ее отец, закричала Лиза. — Чай пить? В эшелонах никого нету! Все в бою! Назад!

— Будя величаться, — осиплым голосом сказал рослый и головастый боец со шрамом на лбу. — Комиссаров кадеты побили, патронов нету... Слезай, девка, с линейки, я еду.

— Не поедешь, кобель! — вся дрожа и топая ногами, завопила Лиза. — Что ты кричишь? Кому? Патронов нету? Получай патроны! Комиссаров нету? Я комиссар! Казаки идут сквозь болото, береза ты кустовая, рязань ты кривобокая!!!

И с той же легкостью и силой, с какой бросал ей загорелый командир ящики патронов, Лиза бросила ящик прямо к ногам рослого, ошеломленного ее бранью бойца. Ящик, сосновый, новенький, с отметками черной краской, грузно упал на белый песок, и этот ящик, брошенный тоненькими и худенькими ручонками, и эта почти детская брань худенькой и угловатой девушки с глубокими и синими глазами поразили и умилили не только этого рослого бойца со шрамом на лбу.

Рослый боец схватил жадно патроны. Отталкивая его руки, к ящику бросились другие. Лиза что-то кричала о раненых, которых добивают кадеты, санитар-сибпряк твердил о болоте. Коновод сдерживал лошадей, которые только одни, пожалуй, по-настоящему чувствовали, какая стоит жара и как тяжело дышать всему живому.

— Враг приближается! — крикнула Лиза. — В атаку, вперед, товарищи!

И не кричать это было невозможно. По-иному Лиза не могла бы передать свое возбуждение. Бойцы стояли

уже рядами. Ящики с патронами дошли до самого конца, патроны переваливались в подсумки. Рослый боец, как-то естественно превратившись в командира, уже понял положение. Мягко и радушно улыбнувшись Лизе, он сказал осиплым своим голосом:

— Зачем нам, голубка, через болото в атаку бежать? Мы их здесь встретим так, что они не вернутся никуда. То есть ложись, товарищи!

И все послушно, и стройно даже, легли. Легла и Лиза. Пустая линейка скрылась в кустах. Земля показалась удобной и ласковой. Лиза пристроилась в складки почвы с чрезвычайным искусством, только не хватало еще чего-то. Это что-то скоро очутилось в ее руках: востроносый потный боец передал ей винтовку. Впереди стояла высокая и густая трава с острыми и как бы гранеными концами. Кое-где над неподвижной травой пролетали бархатистые бабочки. Могло показаться, что и казаков-то нет никаких. Но рослый боец со шрамом на лбу знал свое дело. Он понюхал воздух, прислушался, приложив ладонь к уху, затем он вдруг сжал руку в кулак, поднял ее и что-то крикнул. Раздался залп. Совсем неподалеку, шагах в пятидесяти, из острой травы выпрыгнул и упал казак, за ним второй, похожий на его отражение, еще, еще... Наконец это мелькание прекратилось. Рослый боец побежал. Лиза устремилась было за ним, но он крикнул:

— Куда? Раненых убирать ваше дело, сестра!..

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

То, что происходило на этом, в сущности, крошечном участке боя и свидетелем чего была Лиза, происходило и на других флангах. Семь густых цепей белоказачьей пехоты, сытой, сильной, отлично выспавшейся, смяли передовую линию наших войск, утомленных бессонницей и непрерывными схватками. Бойцы отошли, кое-где даже оставив раненых. Тогда из-за далеких холмов, где голубоватые телеграфные столбы походили на стебли каких-то странных растений, выскочила конница. Вначале она приближалась рысью, оставляя позади себя тонкий розовый след пыли, затем пыль пошла клубами — это значит, конница перешла в галоп, торопясь врубиться, оглушить грохотом скачки, криками. Но как раз это-то ее

стремление вызвало во всех бойцах те чувства, которые появились в душе рослого бойца и его товарищей после возгласа Лизы, — и напрасно так уверенно скакали казаки, уже заранее щурясь по-нижнечирскому, заранее глумясь над этими усталыми, оборванными и босыми людьми.

Впереди мчался полковник в белом кителе, столь старательно выстиранном, что, казалось, складки на нем были видны за километр. Он мчался, стоя в седле, высоко держа над головой шашку, с которой словно струился яркий луч света. Почти голубой конь его, вытянув шею, развевая гриву, выкидывал ноги мерно, как бы играючи.

Наша конница и тачанки прятались еще за курганом. Его плоский щебнистый гребень позволял наблюдать за врагом, не показывая своей силы.

— Пора, товарищи, — сказал Ворошилов. — Только предупреждаю: прежде всего следить за точностью разворота! Вперед!

Курган был огромный. Когда всадники и тачанки ринулись с него вниз на равнину, люди, и без того наполненные волнением, здесь, при этом бурном течении, почувствовали себя еще горячей и глубоко оценили это требование командарма: следить за точностью разворота. На полном карьере, любуясь и восхищаясь собою, осуществляя крутой поворот, пулеметчики прильнули к пулеметам. Пот заливал им глаза, и хотя тачанки выбирали густую траву, все же весна давно кончилась — из-под колес из травы лилась в глаза едкая пыль. Пулеметчики вели свои машины верно: первые ряды белоказаков уже переселились с коней на землю. Задние ряды их повернули.

Кадеты бежали. Косые звенья расстроенных рядов кое-где образовали опасные устья. Пулеметчики устремлялись к этим устьям, не всегда находя их. Наша конница, опередив тачанки, стремилась к этим устьям, откуда вновь могла возникнуть атака. Полковник в белом кителе, от шашки которого по-прежнему лилась возбудительная струя света, тоже разыскивал эти устья — и вот, найдя самое крупное, поскакал туда.

— Первый по мастерству! — крикнул Ворошилов, показывая шашкой на полковника.

Он поскакал за полковником.

— Убежит! Конь у него лучше! — сказал Пархоменко.

— Чтобы его конь был лучше? Кто сказал?

Он скакал, раскаленный бегом коня, солнцем, ожиданьем за курганом, а больше всего радостью: тачанки лихо «съели» врага, удар вышел удачным, ловким; не помогли врагу ни пулеметы, ни ученые инструкторы!

— Заманивают, Климент, заманивают! — кричал сзади Пархоменко. — Остановись!

Около полковника в белом уже собралось с десяток белоказаков. Полковник круто повернул голубого коня.

— Ишь ты, не хочешь в догоняшки, — сказал, смеясь, Ворошилов и уверенно поднял револьвер. Полковник в белом упал. Едкая щелочь страха мгновенно заплеснула глаза казаков, окруживших было полковника, и они спрыгнули с коней, подняв руки. Голубой конь тоже остановился, косясь на белый труп полковника, что, скорчившись, лежал на зеленой траве.

Ворошилов повернул к Пархоменко свое счастливое лицо.

— Кто сказал, что убежит? Заставили мы их вложить саблю в ножны!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И в этой острой и жгучей скачке с кургана, и в этом столкновении, жажда которого уже с вечера обжигала сердце, самым удивительным, пожалуй, было то, что ни бойцы, ни командиры не находили в своих поступках ничего поражающего, удивительного. Происходило простое, обычное и необходимое дело, так же как простым и необходимым делом было это движение громадного, перворожденного кургана в Дон.

Так же, как и на равнине, где происходило столкновение белоказаков с красноармейцами, здесь, возле Дона, происходило столкновение работников со стремительной водой, солнцем, упрямой землей. И тогда, когда тень от солнца была смутная, свежая и длинная, и тогда, когда она лежала у ног, кургану не давали покоя. С него давно исчезла трава, скатилась в Дон вершина, песчаная, обрадовавшая рабочих запахами пыли, полыни. Окончился песок. За мокрым и скользким

щебнем встали пласты тяжелой голубой глины, чем-то напоминающей осенние тучи. И глину, и песок, и щебень кидали в реку то с уцелевших ферм моста, то с берега, то везли на лодках и бросали прямо туда, где уже больше не видно было утонувших пролетов и где вода крутилась теперь мутно-желтая, похожая на раннюю весеннюю. И было странно смотреть на мост, будто пролеты упали в воду только что и падением своим подняли такую огромную муть.

Скрипели брички; качались носилки, на которых таскали землю женщины; подпрыгивали тачки; волы волокли камни; кони везли плетни, к которым прикрепляли камни, чтобы как-нибудь задержать землю возле пролетов; раздавалась ругань; люди требовали лопаты.

К полудню, издалека, с того берега, мост начали обстреливать тяжелые орудия. Те немногие раненые, которые совсем не могли работать, определяли, каким снарядом бьет враг, этим как бы участвуя еще и в работе и в битве. Работавшие возле моста поняли, что там, далеко в степи, начал наступать на белоказаков Ворошилов и орудия помогают белоказакам, стремясь вызвать панику у моста. Но то ли белые артиллеристы плохо знали свои обязанности, то ли мешал им кто, — как бы то ни было, снаряды делали то перелет, то недолет, и скоро работавшие перестали обращать на них внимание. Зато на берегу показались в белых колпаках, с корзинами в руках повара. Они возбужденно указывали на реку, туда, где падали снаряды.

— Товарищи, что же это за недосмотр, товарищи!

На поверхности воды после падения снарядов всплывали двухметровые сомы. Они лежали на спине, вода перекатывалась через их белое атласное брюхо, словно покрытое жилетом. Они плыли, распустив длинные усы, и повара кричали:

— Товарищи, уха уплывает! Давайте лодку!

Лодку не давали, а когда повара стали жаловаться начальнику работ, тот сказал сухо:

— Кадет наводит панику, не помогайте ему, товарищи, не мешайте графику.

Тогда повара положили на землю колпаки, вооружились веревками и бросились в Дон. Этими веревками они арканили сомов под жабры и волокли к берегу. Затем сомов положили в санитарные носилки и пово-

локли к котлам. К вечеру, когда канонада уже утихла, прискакал на строительство Вася Гайворон. Нюхая воздух, он на вопросы работавших ответил:

— Кадет отступил, все в порядке. А это у вас почему так ухой пахнет?

— Рыбу в кургане нашли, — ответил ему кузнец, хохоча.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В то время как повара тащили сомов в котлы, над равниной, где утром происходило столкновение, уже показались орлы. Носились они высоко, возле самых облаков, пушистых и круглых, еще не смея опуститься. Бойцы — кто спал, кто собирал оружие, кто искал патроны.

Штаб искупался в речке, неподалеку от перевязочного пункта, который так и расположился возле болотца. Ворошилов обошел раненых. Нужно было уговорить их, чтобы они согласились на лечение в эшелоне-госпитале, так как большинство их желало остаться и лечить раны при частях. Рослый боец со шрамом на лбу, раненный в ногу, приподнялся на локте, увидав командарма.

— Товарищ командарм, разрешите рапорт, — сказал он, тяжело дыша, — потому что всех командиров в третьей роте перебило.

На лице у него было такое душевное волнение, что Ворошилов согласился.

— Только коротко, товарищ. Выздоровеешь — скажешь подробно.

— Наша третья рота кинулась в бегство, товарищ командарм, теперь она, может быть, не сознается, а я не могу... Отступаем мы через болото, выходим к речке и думаем переправляться... выбегает тут товарищ Лиза, из лазарета, стыдит и поворачивает роту...

— А ты?

— Я принял после этого командование и выбил врага.

— Вы оба — герои, — сказал Ворошилов и протянул ему руку. Боец искал глазами Лизу, как бы спеша поскорее передать ей пожатие руки командарма. — От Конотопа идешь?

— Я луганчанин.

— А сам-то откуда? — спросил Ворошилов, уже привыкший к тому, что все в эшелонах называли себя луганчанами.

— А я из Москвы, «Гужон».

— Назначаю тебя ротным, — сказал Ворошилов.

Комдив сообщает, что в его распоряжение пришла с белым флагом делегация от генерала Краснова. Ворошилов возвращается к речке, где к ивам привязаны кони. Ворошилов спускается к воде, еще раз умывается, причесывается коротеньким гребешком, поглядывая в небо, щупает подбородок и говорит Пархоменко:

— Скажи ты, пожалуйста: это от жары, что ли, волос растет? Утром брился, а сейчас опять щетина.

Подходят пять офицеров с белыми шелковыми повязками на руках и трое рядовых. Ворошилов стоит у дерева. Сияние вокруг такое, как будто над головой зеленая кисея или как будто листья сами испускают из себя свет и жару. Офицеры идут медленно, расчетливо. Ворошилов срывает листик, пристраивает его на кулаке, где оставлена маленькая щелка, и хлопает по кулаку ладонью. Листик лопается с легким звуком.

Офицеры будто нарочно подобраны красавец к красавцу, особенно хорош старший есаул. Талия у него осиная, плечи широкие и расположены в виде лука, так что, когда он подбоченивается (а делает он это очень часто), то руки у него похожи на тетиву. Офицеры тщательно затянуты и в материю и в кожу, на них множество ремней и блях, причем бляхи эти расположены так искусно, что подчеркивают телесные совершенства. Рядовые грузны, с какими-то сопревшими лицами, от них несет водочным перегаром. Один из рядовых, широкий внизу, в длинной рубахе, похож на треугольник, верхний угол которого наполнен такой исконной глушью, совершенной необитаемостью, что в его мшистые глаза и смотреть тяжко.

Офицер, верхняя часть туловища которого похожа на арбалет, делает под козырек и отчетливо говорит:

— Есаул Черепов.

Он оглядывается. По-видимому, он ожидал встретить толпу, митинг, может быть, пир по случаю победы, а перед ним — штаб, ординарцы, невдалеке палатка лазарета, речка, тальник, по ветке которого какая-то синяя птичка скатывается, как на салазках.

— Ну, что у вас за дело? — говорит Ворошилов скучным голосом и смотрит офицеру в лицо. Взгляд этот говорит, что командарму все известно, что слова офицера заранее определены, и офицеру кажется, что внутри у него стараются что-то согнуть. Но он все же находит силы сказать ласковым голосом:

— Зачем мы проливаем братскую кровь, господин командующий? Известно ли вам, что советской власти нет нигде в России?

— А разве вас сегодня не советская власть гнала? — спрашивает Ворошилов.

Офицер проводит рукой по губам. Он говорит теперь уже без ласки:

— Мы предлагаем вам сдать оружие.

— Еще что?

— Если вы сдадите его через два часа, то мы гарантируем вам жизнь.

— Еще?

Вопросы эти, задаваемые скучающим, наполненным презрения голосом, чрезвычайно раздражают есаула Черепова. Он торопится:

— Иначе вся ваша армия будет потоплена в Дону.

— Еще?

— Так как на Украине советская власть и Киев взят красными, то мы разрешаем вам вернуться на Украину, но без оружия.

Пархоменко нагнулся и спросил ласково и ехидно:

— Как же это так выходит, господин есаул: советской власти нигде нету, а на Украине советская власть?

— Я говорю про Россию, — отвечал есаул.

— Не будем человеку мешать, пусть себе врет, — говорит Ворошилов. — Ну, а еще что?

— Все, — поспешно отвечает есаул таким голосом, будто свалил тюк с плеч.

Молчание. Чуть шевельнулась ива. С верхних ее листьев свет, отражаясь, падает в серебро на груди есаула, серебро отливает зеленью. Ворошилов поправляет волосы на висках и спрашивает:

— Разговор-то не получается, а ведь вы небось готовились.

Офицер передает ультиматум Краснова. Ворошилов, сделав чрезвычайно серьезное лицо, читает его, а затем смеется.

Есаул говорит:

— Мы разговариваем искренне.— Но как он ни старается сказать это просто, в голосе его чувствуется ненависть, озлобление.

Ворошилов говорит:

— Так я, пожалуй, вам ответ напишу.

Пархоменко, согнув руки, упирает ладонь в бедро. Ворошилов кладет ему на руку планшетку и химическим карандашом пишет, диктуя сам себе. Пишет он раздельно, ловко, бросая слова, как снаряды:

— Красная Армия борется за власть Советов, власть пролетариата, и она непобедима, генерал Краснов. Будут прокляты и беспощадно уничтожены те, кто посягнет на завоевания великого Октября. Нами руководит могущественная партия большевиков-коммунистов во главе с товарищем Лениным — и мы победим. Тобой руководит смерть, и ведет она тебя в могилу. Обманутое тобой, предателем родины, бедное казачество вернется к защите отечества, вернется к нам. Дон будет советским!

Офицеры стоят, вытянув руки по швам. Им кажется до крайности бессмысленным, что они надеялись перетянуть к себе этих упорных и смелых людей. Офицеры моргают, стараясь сделать лицо вольным, даже насмешливым, но чем они больше стараются, тем сильнее обвисают и обессмысливаются их лица. Под конец чтения раздается вдруг голос рядового, того, что похож на треугольник. Он кричит, с усилием стягивая с тела ремни, поддерживавшие шашку:

— Опять генералы нас завожжать хотят? Верно, товарищ командующий? Чего мне к генералам ехать? Здесь мне житья нету, что ли?

Мшистые глаза его раскрыты на мир, он даже в движениях своих приобретает некоторую ловкость; в этом дремучем лесу, в непроходимой тайге, вдруг обнаруживается золотая россыпь. Его заливает радость свободы. Он бросает шашку под ноги офицеру и кричит:

— Остаюсь я, ваше благородие, при бедном казачестве для его защиты! Прокляты вы и людьми и богом! Не желаю я носить народного проклятия!

Офицеры молча берут бумагу из рук Ворошилова и идут к коням. Неприветливый ответ везут они генералу Краснову!

— И все-таки наш Пархоменко красивей, — говорит Ворошилов, глядя им вслед.

Когда штаб возвращался к месту, заметили, что огромный курган уменьшился сильно, почти наполовину.

В лагере пахнет рыбой. За полкилометра можно различить сияющие лица поваров.

Из палатки тоже несет запахом рыбы. Посредине палатки сколочен стол из теса. Он накрыт великолепно вышитой украинской скатертью: ее сегодня преподнесли командарму крестьяне — строители моста. На скатерти длинное отливающее серебром блюдо: кузнецы, увидав, что повара несут свой дар в миске, возмутились и тут же выгнули блюдо из белой жести. На блюде — голова сома, части из середины, боков, словно повара и сами не знают, откуда бы взять лучше.

Но командарм и его штаб смотрят не в палатку. Они смотрят на Дон и на курган, будто согнувшийся. И небо и вода как бы покрыты легким серебром, и кажется, что ночь хочет перебелить весь мир заново. Если чуть отвести глаза от кургана, прямо перед тобой встанет мост. Мост обращен к ним прямо въездом, так что пролома не видно, и мост кажется целым — на минуту можно подумать, что паровозы уже разводят пары, чтобы двинуться вперед. Всем очень хорошо.

Седоусый старик в соломенной шляпе, тот старшина обоза, что разговаривал с Пархоменко у балочки, когда Ламычев встречал Лизу, уловил настроение штаба и, чтобы не потревожить их, тихо шепчет на ухо Пархоменко:

— Как же это так, товарищ уполномоченный? Мой обоз-то меньше всех кургана сдвинул. А почему? А потому, что колесной мази мало дают из снабарма. А мой обоз самый революционный из всех обозов, вот возьми меня сатана, товарищ уполномоченный!..

В ту же ночь на рассвете Пархоменко в сопровождении двух своих ординарцев переплыл, держась за гриву коня, через Дон и углубился в степь. Обходным путем он скакал к Царицыну.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Богатый казак, торговец скотом Летков, свирепый и крепкий мужчина лет сорока, прихотливый объедало и бабник, догнал свои стада неподалеку от Голубиной, возле речки Калибы. Старший приказчик, сопровождавший

стада, Никита Орешкин, по прозвищу Хлебоня, доложил, что стада идут отлично, что пастухи ласковы, что травы сочны и высоки. Летков медленно объехал стада, изредка выскакивая из брички и тыкая кулаком в бок какому-нибудь задумчивому волу или гоня перед собой баранов, чей колыхающийся бег всегда смешил его.

Ужинать он решил вместе с пастухами. Бричка его подъехала к костру. Пастухи сидели кружком. Вправо у речки темнел лес, и возле него медленно и спокойно дышало стадо. Вечер был жаркий, неподвижный и такой, что, кажется, переломи соломинку, — и будет слышно за километр. Появился было месяц, но, увидав, какую душную темноту ему надо преодолевать, чуть поиграл в пыли, мягкой, пуховой, осветил лохматых собак, бродивших по дороге, и скрылся.

Пожилой благообразный чабан Семен Душевик, то ли подыгрываясь к хозяину, то ли действительно так думая, сказал, глядя на дорогу:

— Раньше-то тройки мчались по дороге, божжь ты мой! Когда егеря ехали с приказами из Питера, так, не поверишь, божжь ты мой, со всех станиц выбегали на дорогу смотреть, как это царское послание везут! А он мчится, мчится, божжь ты мой, от ампиратора прямо к тальянскому королю. А теперь одни пушки!

Полагая, видимо, что присказка окончена, он спросил уже деловито:

— Немцы-то сами будут скот принимать аль есть у них маклеры, Григорий Петрович?

— Не твое дело, — сказал Летков, ложась на бекешу.

Душевик вздохнул смущенно, подбросил хворосту в костер и сказал:

— Конечно, божжь ты мой, не мое дело. Эх, косить бы пора, Петрович, косарей бы выпустить али, лучше того, косилки. А теперь, смотри-ка ты, одна смерть косит.

— И опять не твое дело, — сказал Летков, которого раздражали и благообразие чабана, и ласковый его голос, и то, что чабан весьма внимательно посматривал на поставец, явно набиваясь на выпивку. Летков любил, чтоб выпивка была всегда неожиданной, поражающей.

— Конечно же, божжь ты мой, не мое дело, Григорий Петрович. Мое дело овец гонять. Сказано мне —

паси, я и пасу. Сказано мне — гони к немцу, будем продавать, я и гоню.— Он присел возле поставца и, погладив медную его ручку, добавил: — Отличная работа, дорогая вещь. Многие деньги стоит?

Один из пастухов, потирая ладонями заспанное и злое лицо, встал, пошел в темноту, должно быть, почувствовал в ней что-то неладное, но быстро вернулся.

— Чего там? — спросил Летков.

— Да так, почудилось — топочут. А собаки дремлют, значит, ничего.

— Вы посматривайте, — свирепо выкатывая глаза, сказал Летков.— Недобрых людей сейчас вылупилось, что птенцов.

— Это верно, божжь ты мой, — подхватил Душевик.— Стоит, сказывают, в степи триста ашалонов с рабочими, золото-серебро везут, пушками окружились, и ни проезду, ни подступу — прямо соловьи-разбойники. А вот как выморят да заберут их в плен...

— Перевешают их раньше еще плену, — сказал Летков.

— И перевесить отличное дело, божжь ты мой, — подхватил Душевик, обрадовавшись, что хозяин наконец что-то одобрил в его речи.— А всего лучше пустить их на косьбу, Григорий Петрович. Пускай скосят, а там и перебить и имущество поделить поровну, как делят меж собой реку казаки, когда надо рыбачить. И пастухам надо долю выделить, Григорий Петрович, ведь пастухи мясо воинам поставляют. Пускай и пастухи счастливо, вольно живут. Вот я, например, никогда счастливой жизнью не жил, батраков у меня не было, хозяйства не было.

— А рабочие-то, которые в степи стоят, — сказал пастух со злым и заспанным лицом, — сказывают, богачей ограбили, а ты богачом хочешь быть. Как же так?

— Богачей грабить нельзя, — ответил наставительно Душевик и погладил благообразную свою бороду.— Грешно!

— Грешно и опасно, — сказал Летков, и всем показалось, что он даже зубами скрипнул.— Повешу!..

Все помолчали. Душевик мотнул головой и продолжал:

— Прямо спать я не могу, божжь ты мой. Стоит триста ашалонов в степи, и, может быть, счастье меня

ждет, штаны атласные, рубахи шелковые, ах, божжь ты мой! Али вот, Григорий Петрович, в ашалонах заводы целые, сказывают, везут. Ведь если такой завод да выхватить, да поставить, скажем, в нашей станице...

Пастух с заспанным лицом сказал:

— Заводы все на сто лет немцам проданы.

— Молчи, — сердито сказал Летков, — не распространяй злостные слухи, повешу!

Он явно разгорячился от бестолковой речи Душевика. «Старик брешет, — подумал он, — а ведь и в брехотне бывает правда. Что да на самом деле можно завод у есаулов выторговать?» И он сказал вслух:

— Заводы можешь строить, никто тебе мешать не будет. Вот я имею, скажем, мельницу. Что это, не завод? А поставлю рядом с нею снаряжение, скажем, косилки выделывать. Вот и завод будет у меня...

— А если не будет? — послышался из тьмы басистый голос.

Летков вздрогнул, обернулся, а пастухи привстали. Появление этого высокого офицера в барашковой шапке, сдвинутой лихо на затылок, в орденах и с богатым оружием, украшенным тихо мерцающими каменьями, встревожило и напугало их. Тревожил уверенный его бас, а пугало то, что на него не залаяла ни одна собака. И Семен Душевик немедленно подумал радостно: «Оборотень, тени-то, наверное, нету, божжь ты мой. Случая б не упустить, рассмотреть, божжь ты мой, архангел». В темноте за офицером стояли два казака, и тот, что поменьше, держал в поводу белую лошадь.

— Дай-ка огонька, дед, — сказал высокий, и Душевик поспешно поднес ему головню. Высокий разжег трубку и спросил: — Чьи стада?

— Коммерсанта Леткова, — поспешно ответил Душевик.

Трубка разгорелась. Высокий последний раз притронулся трубкой к головне и бросил головню в костер.

— Вот сволочь этот Летков, — сказал он спокойно.

Летков вскочил, ударил себя по ляжкам и свирепо закричал:

— А почему, с каких причин сволочь?

— С таких, что тебя ждут, сволочь ты этакая, — еще более спокойно сказал высокий, — купцы крупные приехали, ветеринары, приемщики. А нам за скот надо

снаряды получить. Понял? Ну, разве не сволочь? Лежишь у костра, дрыхнешь!

Летков лег на бекешу и сказал хмуро:

— Хочу — лежу, хочу — нет.

— Лежишь на бекеше, висеть будешь на дубе. Твое дело выбирать.

— Куда путь держите? — спросил Летков.

— А мимо.

Душевик не удержался и спросил:

— Собаки-то как же на тебя не лают, ваше благородие?

— С цыганами воспитывался, вот и не лают.

— Подкидыш, стало быть?

— Подкинули в тюрьму, учить уму! — громко смеясь, ответил высокий.

Он выпустил клуб дыма прямо в лицо Душевику и сказал:

— А еще хотите эшелоны ограбить да ограбленные заводы получить? Нет, дохлые вы, куда вам эшелонами владеть, дай бог последние дни как-нибудь прошататься! Промышленники, стадоводы, тьфу!

Он плюнул в костер. И пастухи и сам Летков смотрели на него во все глаза. Счастливое сияние давно уже покинуло их лица. Костер теперь горел слабо, и оттого высокий человек казался еще выше, еще страшней, а голос его гудел, как колокол. Шапку он сдвинул совсем на затылок, обнажилась лысая голова, и повислые черные усы как бы подчеркивали мрачное сияние его глаз. Черт его знает что за человек и чего ждать от него...

— А ты сам-то откуда? — спросил Душевик виновато. — Какой станицы казак?

— Пугачевской, — хмуро ответил высокий и вдруг яростно повысил голос: — Летков!

Летков вскочил.

— Слушаюсь, — сказал он, сам не узнавая себя. — Будет исполнено.

— Стада повернешь на восток. Возле Побеленной балки встретишь отряд, спросишь есаула Ламычева. Скажешь, полковник Лавруша послал. Там тебя и приемщики и ветеринары встретят, платить будут чистым золотом. Да чтоб к утру быть там!

Высокий вскочил на коня. Конь сразу взял в галоп. Ординарцы, пригнув к шеям коней головы, свистя

плетьми, понеслись за ним. Словно получив разрешение, залаяли собаки и забормотал Душевик:

— Пугачевской станицы? Да ведь она нонче, кажись, Потемкинской называется, божжь ты мой!

Рано утром боец разбудил Ламычева. Ламычев, потягиваясь и позевывая, встал с бурки и медленно вышел на холм. Синяя, влажная равнина лежала перед ним. На дороге дышало стадо, а ближе, у тощего и неподвижного куста, стоял человек. Человек этот, коммерсант Летков, увидав Ламычева, быстро подбежал к нему и закричал:

— Ваше благородие господин есаул, господин Ламычев?

— От полковника Лавруши? — спросил, смеясь, Ламычев.— Вот они какие, наши полковники-то, второе стадо за ночь даром получаю. Кабы Дон не мешал, так бы он все ваши стада небось к эшелонам подогнал. А ты, старик, не пугайся, мы у тебя только стадо возьмем, а тебя к немцам отпустим. Кто знает, может, они тебе еще закажут стадо для нас... пригнать!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Эрнст Штрауб уже свыше двух месяцев находился при казачьем правительстве «всевеликого войска Донского». Впрочем, нельзя сказать, что он постоянно находился при этом правительстве: эмиссары постарше все время старались отправить его в экспедицию поответственней, как бы опасаясь, что он перехватит их замыслы и поймет интриги. Так, например, он побывал два раза в Царицыне, а как ни слабы были там органы советской власти, все же с пойманными агентами они обращались достаточно сурово, чтобы Эрнст Штрауб мог прекратить свое существование. Последний раз он провел в Царицыне десять дней.

Вначале он жил на квартире у лютеранского пастора возле кирки, а затем, когда в Царицын приехал нарком Сталин, революционная бдительность в городе усилилась, начались аресты спекулянтов, саботажников и заговорщиков, Штрауб переехал в «Московские номера», что возле пристани.

За свою жизнь Штрауб видел множество гостиниц и постоялых дворов, но такой духоты, такого количества клопов, как в «Московских», он не встречал никогда. И все же здесь было очень удобно. В окно своего номера он любовался пристанью, баржами, пустыми цистернами. На барже «Мария 17» водоливом служил его агент, тот, который переводил его через фронт. Баржа была гружена железным ломом и стояла здесь с незапамятных времен. Вся пристань знала, что Иван Сергеич, водолив «Марии 17», страстный поклонник преферанса и что к вечеру он уже стоит на сходнях и ловит «перекинуться» всех проходящих мимо баржи знакомых.

С баржи видны нефтяные резервуары, серые и круглые, к ним деревянный переход над цистернами и над зданием железнодорожной станции, покрытым ржавой жестью, которую надо давно сменить. Видны также мрачные здания сталелитейного завода, да и весь город перед тобой. Приятно сознавать, что знаешь, как, почему, где и кто живет.

В будку водолива собрались почти все, ожидали только «ответственнейшего». Водолив, с багровым длинным носом и узкими губами, сморкаясь в цветной платок, сказал:

— Не спуститься ли нам, господа, в трюм?

Гуськом прошли в трюм. На реке, сияющей так, что непременно надо было поднести козырьком руку к глазам, разворачивалась волжская флотилия. Матросы, синие, коренастые, перекликались могучими голосами.

В трюме пахло илом, неподалеку от трапа были настланы доски, и на них стояли стулья, стол, покрытый голубой клеенкой, на которой играли отсветы солнца. Возле стола стоял бочонок со льдом, грязным и тающим так быстро, как будто он только и ждал того, чтобы показаться людям и исчезнуть. В воде, окруженные кусочками льда, лежали бутылки нарзана.

— Роскошь-то какая! — сказал водолив, хлопая рукой по бочонку и поглядывая на Эрнста.— Это по случаю вашего отъезда.

По трапу спустился низенький истомленный человек в военном кителе. Несмотря на то что у него стало такое худое лицо, от которого, казалось, уцелело только одно название, несмотря на то что резко изменились походка и голос, все же Эрнст сразу узнал его. Это был Овцев, комендант крепости в Ковно, отец Веры. Овцев же не

узнал Эрнста. Он небрежно пожал ему руку и хотел было отойти, Эрнст спросил:

— Вы не узнаете, генерал?

— Кажется, из Сибири? — спросил, моргая серыми веками, Овцев. Эрнст понял, что это не насмешка. А просто Овцев видел такое количество людей, так устал, так ему трудно вспоминать, что на минуту даже Эрнсту показались мелочными вся эта воскресшая внезапная любовь к Вере, все эти думы о ней и мечты о том, что она до сих пор не вышла замуж. Какое там не вышла. Вышла преотличнейшим образом и страшно заботится о толстом муже, страдающем одышкой и завистью к более удачливым коллегам.

— А Вера Николаевна?

— И Вера здесь, — устало ответил Овцев.

— А зять?

— О зяте я доложу особо, — так же устало добавил он. И не мог удержаться, чтобы не повторить остроты, которой, видимо, сильно гордился: — Овцу на быка переменила.

Фамилия зятя — Быков, он служит во Всероссийском главном штабе. Советскую власть, так же как и его тесть, он считает явлением временным. Овцев служит в артиллерийском управлении комиссариата Северокавказского военного округа, отступавшем и недавно прибывшем в Царицын.

Овцев достает из кармана листки разграфленной чистой бумаги и кладет перед собой — во время прений он привык рисовать барашков. Он сидит вялый, пустой и слегка раздраженный, в коротеньких худых пальцах его — карандаш.

— Так как значение Царицына после недавних успехов антибольшевиков возрастает, — без всякого вступления начинает Штрауб, — то возрастает и необходимость борьбы с большевиками внутри города. Я попрошу Николая Григорьевича доложить нам, что сделано в сферах Северокавказского военного округа.

Овцев, глядя на листки белой бумаги, заговорил ровным и усталым голосом:

— Приезд Сталина несколько осложнил обстановку. Но это преодолимо. У него большой партийный авторитет, и это имело бы значение, если бы партийные организации в городе обладали какими-либо силами, а вам известно, наверное, что в городе всего полторы тысячи

партийцев и мало, как говорится, «испытанных товарищей». Сталин — глубоко штатский человек и, как всякий штатский, попадающий в армию, начнет с переформирований. На этот предмет... — он заметно улыбнулся, стукнув средним пальцем по столу, что означало насмешку, — на этот предмет у нас создан проект переформирований, посланный на утверждение во Всероссийский главный штаб. Я имею все основания думать, что проект этот будет утвержден. Сущность этих мероприятий заключается в том, что мы берем за основу штаты сибирского стрелкового корпуса старой армии и формируем на основе этих штатов дивизии пехоты. Штаты создают громоздкость, малоподвижность, расширяют тыл, и в тылу можно спасаться, как в кустарнике.

— Конкретно, что это даст? — спросил Штрауб.

— Дивизия будет иметь шестьдесят тысяч стрелков и тридцать тысяч лошадей — вот что это даст, — ответил Овцев не без гордости.

— Вы, значит, создаете позиционную дивизию?

— Да.

— Превосходно. Но этого мало.

— Вот как?

— Да. Сталин, кажется, будет настаивать на создании бронеавтомашин, а в особенности бронепоездов. Вы вот забыли, что у Царицына существует круговая железная дорога, вращаясь по которой бронепоезда могут создать стальное непроницаемое кольцо...

Он подчеркнул слово «стальное» и пристально посмотрел на Овцева. Тот сидел, бесстрастно моргая и постукивая средним пальцем по столу. Остальные слушали внимательно.

— Вы все, господа, надеетесь на внутренние восстания, а тем временем армия врага крепнет...

— Где же это? — спросил Овцев.

Штрауб, не слушая его, продолжал:

— Носович, мне известно, связался с представителем добровольческой армии Савинковым и с Лаверни — представителем французского штаба. От обоих он получил и привез сюда деньги на заговор. Инженер Алексеев, «специалист-организатор по транспортированию нефтетоплива», тоже приехал с заговором и с деньгами...

— А вы без денег разве? — спросил его сидевший за водоливом толстый и потный офицер.

— ...Заговорщики думают опереться на сербские отряды, находящиеся в городе, — продолжал было Штрауб.

— Сталин ввел карточную систему, это вам известно? — сказал, вставая, толстый и потный офицер.— Город на пайке. А город привык сытно есть и пить. Это вам не почва для восстания? Город трепещет от жажды битвы!

И он вытер мокрую шею рукавом. Рядом с ним вскочил другой офицер, посуше и позвонче голосом.

— Да, город желает драться, город готов.

— Сейчас готов? — спросил Штрауб сухо.

— Почти, — с некоторой заминкой ответил офицер.

Штрауб спросил:

— Почему же вы не подняли восстания, не арестовали Сталина и его сподвижников?

Молчание. Штрауб продолжал:

— Вы, господа, склонны преувеличивать свои силы и вырабатывать собственные инструкции, а мы требуем выполнения наших инструкций. А инструкции таковы: мешать всеми силами созданию боеспособной армии.

Он посмотрел на толстого, побледневшего и обсохшего уже офицера.

— Каково ваше мнение об отрядах Ворошилова, пробивающихся сейчас через Дон? — спросил Штрауб.

— Бандиты, шайка.

— А я говорю, что это очень цельная и очень закаленная армия с громадным ядром из рабочих. Такая армия в умелых руках может оказаться чрезвычайно полезной. Я неоднократно высказывал и рад повторить свое мнение перед вами, что не надо приуменьшать возможностей и силы рабочих. Оттуда могут появиться крепкие люди — и важно этих крепких людей уничтожать при самом их появлении. Поэтому я считаю, что армия Ворошилова не должна появиться в Царицыне.

— Штаб южного фронта нам поможет, — сказал Овцев.— Носович, Снесарев...

— Мало. Вы приложите все силы, соберете все факты, чтобы соответственно тому, как размышляет этот господин...—Штрауб указал на толстого офицера.

«А старик не дурак», — одобрительно подумал Штрауб. Он оглядел присутствующих. Строгий тон эмиссара, видимо, подействовал на них. Они сидели, протянув руки по швам. Подполковник Звенко, тоже,

как и Овцев, из артиллерийского управления СКВО, подал ему записку. Он просил рассказать побольше об армии Ворошилова. Эрнст сказал:

— Меня просят рассказать об армии Ворошилова. Скажу коротко, что она все время бьет казаков. Вот печатный меморандум, составленный нами. Он отправлен в Киев. Я привез копию.

Офицеры склонились к узенькому листку с печатными буквами. Толстый офицер читал текст, слегка задерживаясь на тех местах, где приводились названия урочищ, речек, поселков. Офицеры про себя вспоминали очертания карты.

К запахам ила и плесени в трюме присоединились откуда-то запахи протухшей рыбы. Время от времени хлопала пробка, и вода, испещренная пузырьками газа, лилась в жестяные кружки. Лед давно растаял, вода в бочонке была совсем теплая, но нарзан был все-таки приятен. В люк мимо полуоткрытой двери, на которой плавилась смола, текли широкие лучи солнца.

— Здорово, — сказал толстый офицер, дочитав меморандум.

Штрауб вопросительно поднял черные брови.

— Здорово, говорю, работаете. В степях ухитрились напечатать?

Звенко вдруг сказал:

— Целесообразнее просто убить Сталина, уполномоченного ЦК.

Ввинчивая штопор в пробку, Штрауб возразил:

— А зачем? Я всецело склоняюсь к мнению господина Овцева, что Сталин глубоко штатский человек, никогда не бывший на войне, но человек с партийным авторитетом. И если создавать неразбериху, путаницу и в результате панику и бегство, то полезно создавать ее, опираясь на его авторитет.

Эрнст допил кружку и, со стуком ставя ее на стол, добавил:

— Представьте, что, опираясь на свой авторитет, Сталин будет взывать о помощи к Ленину. Представьте, что Москва обещанное не присылает, и тогда Сталин пытается мобилизовать силы внутри, а в это время приближается Краснов...— Он снисходительно посмотрел на толстого офицера.— Частые мобилизации в городе — это завтрашние восстания, милостивый государь. Понятно? А это значит, что нам надо организовать саботаж не

только внутри Царицына, но и со стороны Высшего Военного совета...

— То есть? — спросил Овцев.

— То есть со стороны Москвы.

— Вот тебе и на! — сказал Овцев, разводя руками.— Это что же, действительность или предположения?

— Пока предположения.

— Ага! Все-таки — предположения? Это печально.

Он схватил только что откупоренную толстым пальцем бутылку нарзана и стал пить из горлышка. Шея у него морщинистая, тощая, а когда он делает глотки, кадык подпрыгивает с усилием, словно боится оторваться. «Нужно сегодня же непременно повидать Веру», — подумал Эрнст. Держа опорожненную бутылку у колена и не замечая, что оставшиеся капли льются ему на брюки, Овцев сказал:

— Видите ли, муж моей дочери служит в Главном штабе в Москве. Да нет, Быков глубоко честный и порядочный человек, и если у него есть ориентация, он ее и держится.

— Какая ориентация?

— Союзническая, — ответил, пожимая плечами, Овцев.

— Что за пустяки! — воскликнул толстый.

— Именно — пустяки, — сказал одобрительно Штрауб. — Мы уничтожаем коммунизм, а какими силами: силами ли Антанты или силами германцев — это именно пустяки. Лишь бы была сила в самом настоящем смысле! Между прочим, Быков учился в Киевском кадетском корпусе?.. Ну, я его тогда знаю давно! Мы еще с ним в тысяча девятьсот пятом году встречались! Превосходно! Это очень превосходно...— повторил он, потирая руки, — Быков — умнейший человек, и я рад, что наконец нашел его. Впрочем, я давно встречал его имя, но никак не мог поверить, что это он! Быков, Быков...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Вышел Эрнст вместе с Овцевым. Подняв ладонь, Овцев пробовал жару, как пробуют температуру воды. Затем он вынул газовый шарфик и вправил его под фуражку, чтобы защитить затылок от солнца. В тени каменных домов генерал непременно останавливался,

чтобы подышать прохладой, так как считал, что каменный дом имеет тень более густую, чем деревянный.

— Ваш зять Быков очень любит Веру Николаевну?

— Безумно, — дыша с хрипотой, ответил Овцев.

— А вы меня помните, Николай Григорьевич?

— Нет.

— Ковно. Офицерское собрание, казачий офицер из Сибири.

— Васька? Очень рад! Очень рад! — воскликнул без малейшей радости Овцев, и Эрнст не мог понять, почему тот его называет Васькой, словно кота сибирского. Но глаза Овцева быстро увлажнились, когда он прокричал: — Ох, какие были у меня сливы! Вы помните сливы, сразу же за окном начинались? А пришлось бросить, перевестись.

«Эх, шляпа ты был, шляпа и остался, — подумал Эрнст.— Ему не жалко украденных планов, а жалко слив».

— Так, значит, ко мне? — предложил Овцев.

— С удовольствием, — ответил Эрнст.

— Спаситель, сколько же всего произошло! — И Овцев толкнул Эрнста в бок, словно не веря, что тот цел, потому что тут же воскликнул: — Но позвольте? Ведь говорили, да и в газетах было даже тиснуто, что вы в Немане потонули. А тут возьми да и вынырни на Волге... — Он рассмеялся, очень довольный своей шуткой. — То казак, то эмиссар... «то мореплаватель, то плотник...» — Он вздохнул. — А какой здесь был отличный белый хлеб. Верите ли, в булку ткнешь пальцем, а она взвизгнет, как пятнадцатилетняя девушка, и сожмется, ах! Но, к сожалению, Сталин все прекратил, посадил весь город на черный, и кишки у нас вместо бледнолицых стали неграми. — Он рассмеялся. — Но мы добываем. Через штаб. И каким нас сегодня борщом Верочка угостит, голубчик вы мой! — И он ткнул пальцем себя в губы. — Вкушаете?

— Слегка, — ответил Эрнст. — И вишневку достаете через штаб?

— Тоже.

Вера, увидав Эрнста, тихо охнула и даже качнулась к нему, как бы желая поцеловать. Она узнала его сразу, несмотря на то, что он был в штатском, сильно загорел и переменил прическу. Она же пополнела, особенно сильно в плечах, и, оглядывая ее, Эрнст подумал: «А как

великолепно вздремнуть около такой груди после обеда». Да и она явно любовалась его обтянутым, пригнанным лицом, где все разложено как следует и все в меру. Так шорник — даже если и не сам сработал — любуется хомутом и сбруей на коне: нигде не жмет, не тянет, и краски и кожи отпущено как раз, а куда идет конь и что он волочит, не все ли равно...

Домик, в котором жили Овцевы, стоял на берегу Царицы. По склону спускались яблони, крохотную беседку обвивал хмель. Но и яблони, и хмель, и беседка — все это имело жалкий и чрезвычайно поношенный вид, и не удивительно, что, вернувшись домой, Овцев перестал зевать и оживился, увидав свежие огурчики и борщ. После обеда, как все русские генералы, он решил вздремнуть, разостлал коврик в какой-то ямке и, громко вздыхая, лег на него и немедленно заснул.

— Вы удивились, что я жив, что я такой? — тихо спросил Эрнст.

— Какой? — спросила она низким грудным голосом, искоса оглядывая его лицо.

Он мужским чутьем понял, что если говорить о самом важном и нужном, то надо говорить сейчас же. Он, только проверяя себя, повторил:

— Такой.

— Какой? — переспросила она все тем же голосом, и он сказал:

— Мое настоящее имя — Штрауб. Я приехал в Ковно со специальными поручениями, полюбил вас, но вынужден был уехать! Теперь я вернулся к вам. Моя любовь мучила меня...

Он схватил ее руки и сильно сжал их. Глаза ее широко глядели на него. По всей видимости, она осталась той же Верой, горячей, решительной, и Эрнст почувствовал беспокойство. Он говорил ей слова любви, и он верил себе, но одновременно он думал, что если увести ее сейчас к себе в гостиницу, то обратно она уже не вернется, а ведь ее муж и отец необходимы ему и всей его дальнейшей высокой карьере, у порога которой, несомненно, он сейчас находится.

Он поцеловал ее руки, отшатнулся и сказал:

— Нам необходимо бежать в Америку!

— Почему в Америку? — тихо спросила Вера.

— Только там тишина и спокойствие, только там любовь.

— Можно и здесь добиться спокойствия, если желаешь, — возразила она.

— Здесь спокойствие, Вера Николаевна?

Через два часа, счастливый и довольный своей сдержанностью и тем, что угадал и целесообразно направил характер Веры, он шел по кислому и тесному коридору «Московских номеров». Навстречу ему шагал высокий мужчина с бритой головой и черными усами. На нем щеголевато сидели зеленая гимнастерка и черные галифе. Эрнст посторонился.

Высокий мужчина вдруг остановился.

Эрнст остановился тоже.

— А, господин студент Штрауб, — сказал высокий.

— Вы мне? — спросил Штрауб, чувствуя, что внутри повисла какая-то мешкообразная холодноватая слизь. — Вы мне, гражданин?

— Вам.

— Так я не Штрауб, а Свечкин, Григорий Моисеич, из Славяносербска.

— И в Берлине не учились?

— А чего мне в Берлине учиться, господин хороший? Учился я в двухклассном, в Славяносербске. С меня и этого хватит...

— И в Макаровом Яру не бывали?

— Где это такой?

— А чего ж побледнели, раз не бывали? — сказал Пархоменко.

— Да, может, вам документы показать?

Эрнст торопливо полез в карман. Пархоменко стоял против него, упираясь слегка рукой в стену, и глядел, как черноволосый роется в карманах, доставая какие-то истрепанные записные книжки и показывая их... В книжках записаны размер и количество леса — он, видите ли, специалист по лесному делу, приказчик... Показал он и маленькие носовые платки, которые везет ребятам в подарок, и письма к какой-то бабушке в Чернигов, которые никак не удается отправить, потому что, видите ли, нет сообщения...

— Родственников, значит, много?

— Да, есть родственники.

— И в Луганске водятся?

— Двоюродный брат есть в Луганске.

— Как фамилия?

— Сысоев.

— Ну ладно, — сказал Пархоменко. — Извиняюсь. Точка.

Эрнст повернулся и пошел.

— А почему вы обратно в номер идете? — спросил его Пархоменко. — Ведь вы мне навстречу шли. Или боитесь, что я к вам в номер загляну?

Эрнст взмахнул руками.

— Да, пожалуйста, заглядывайте. Что мне от вас скрывать! Иду, потому что надо денег взять побольше, может быть, ребятам какой еще подарочек куплю. Трое их у меня...

— А говорили только что — двое?

— Трое! Ослышались, гражданин комиссар.

— Три — это бабушки, а детей двое, — сказал, смеясь, Пархоменко, идя следом за Штраубом. — Один двоюродный брат в Луганске, а двое в Славяносербске, а жена в Камышине...

— В Камышине и есть, — подхватил, останавливаясь в дверях, Штрауб. — В тринадцатом годе женился, тамошнего протоиерея дочь. Оладьи печет — о-ох!.. — Он зажмурил глаза и откинул назад голову. — Да кабы да к этим оладьям, господин хороший, да еще и сорокаградусной, так я считаю, что лучше жизни и быть не может... — Он внезапно понизил голос: — А если нам самогону дернуть для знакомства? Зачем вам тратить зря на меня время? Наши ребята, лесовые, подарили мне бутылочку первачу... не скажу, чтобы запах хорош, но в сердце отдает — ух! — Он легонько дотронулся до локтя Пархоменко и сказал: — Тут я вам и все про родственников расскажу...

— Времени нет.

Пархоменко обернулся и крикнул:

— Вася!

Выскочил из соседнего номера Вася Гайворон.

— Своди-ка этого черного лебедя для начала в милицию...

В милиции подтвердилось — да и свидетели нашлись, — что перед лицом властей стоит действительно приказчик лесного склада № 8 Григорий Моисеич Свечкин из Славяносербска. Допрашивали коротко, небрежно, уж очень много спекулянтов попадало в руки.

Прямо из милиции Штрауб отправился на вокзал и сел в поезд, направляющийся в Сарепту, а водолив бар-

жи «Мария 17» на другой день принес записку Вере Николаевне об отъезде Штрауба.

— Удочкой много не поймаешь, — сказал Пархоменко, узнав, что Г. М. Свечкин не вернулся в свой номер. — Сетью их надо ловить. Упустили! Не-ет, надо на кадета крепкие сети!

— А похоже, что сети-то развертывают, — сказал Вася Гайворон. — Без сетей, Александр Яковлевич, нельзя.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Вошел Сталин. Кипы газет возвышались на площадке вагона, загромождали узкий проход, лезли па столы. Газеты выгрузил сегодня ранним утром московский поезд. Памятны были лица кондукторов, истомленные, фисташково-серые от голода, команды рабочих в одежде, как бы сшитой на вырост, их суровые ищущие взгляды, выдававшие неукротимое стремление — доставить в Москву поезд любого тоннажа, только бы был в нем хлеб, хлеб, хлеб... Кипы глухо падали на землю у вагонов. Это были «Правда», «Известия», «Деревенская беднота», плакаты, стихи, даже ноты, все то, что как-либо могло передать дыхание и силу революции, ее напряженность, упорство — все то, чем жил и владел великий город.

Сталин осторожно, стараясь не задеть газет пыльными сапогами, боком пробрался в умывальную. Теплая бурая вода полилась из крана, смывая заводскую копоть, следы нефти и крошечные кусочки угля. В двери показалось лицо проводника. Он протягивал из-за газет тоненький кусочек мыла. Сталин несколько удивленно приподнял брови, похожие на распахнутые крылья птицы, и заложил за уши черные пряди волос. Проводник сипло сказал:

— Такой у нас посетитель — пищи не берет, а мыла не напасешься. И моется и моется, будто с рожденья не умывался.

Сталин, слегка покачиваясь, крепко вытер полотенцем руки, подобранное, исхудавшее лицо.

— Читает? — спросил он, указывая глазами на Пархоменко.

— Этот? Этот посетитель с утра читает, — ответил проводник. — Я ему и мыла посулил — не встает.

Пархоменко сидел к Сталину спиной. Видны были загорелый и широкий затылок, мощная шея с туго натянутыми мускулами, часть щеки, тщательно выбритой, и кончик черного уса, прикасавшийся к полотняной рубашке. Подле локтя его лежали ломоть черного хлеба, соль на бумажке, коротенькие перья молодого лука. На стене, против него, висела карта, страшная карта 1918 года!

Сталин, изредка поглядывая в телеграммы, вынутые из кармана френча, передвинул назад нанизанные на булавочку красные лепестки бумаги, уже слегка выцветшей, потому что на карту обильно падало солнце.

— Весь наш фронт теперь свыше шести тысяч километров, — спокойно сказал Сталин, этим беспощадным спокойствием своим как бы испытывая мужество Пархоменко. — Моря отняты. У нас почти нет соленой воды. — Он указал рукой на Петроград. — Здесь? Здесь тоже нет соленой воды. Здесь блокада.

Странная рука истории, чертя границы фронтов, создала профиль изможденной женской головы. Линия лица была повернута к Украине, узел волос — к Сибири. Надбровная дуга начиналась у Петрограда, лицо лежало вдоль немецкой границы на Украине, подбородок упирался в Воронеж. От Саратова до Астрахани — горло этой головы, и так как Волга на карте была изображена широкой синей чертой, то это создавало полное впечатление жилы, снабжающей гортань кровью, силой, дыханьем жизни. Царицын стоял как раз возле кадыка, так что казалось: ткни кадет ножом — и смерть!

Сталин вел рукой по карте. Дойдя до Царицына, он опустил руку и, беря трубку, чуть щурясь, спросил:

— Страшно?

— Даже пескарей ловить, и то возле омута ходить, — сказал Пархоменко. — Не дети — знаем, за что брались.

Он сидел на табурете, твердо расставив ноги и положив ладони на прочитанные газеты.

— Ваши дети где?

— Отправил в Самару.

— В Самаре чехословаки, — строго сказал Сталин. — На Урале и Сибири может быть плохо.

— А если плохо там, то и у нас?..

— Надо держаться, как вы думаете?

— Надо, — ответил Пархоменко.

— Постараемся держаться, хотя здесь в Царицыне чертовски трудно. А где легко? Война, — и притом гражданская. Вот здесь — карта фронта, казалось бы: все ясно, и, однако,—все приблизительно. Обстановка, линия фронта, меняется каждый час.

Сталин говорил тихо, не спеша.

— Читайте, пожалуйста. Вам.

И он придвинул Пархоменко еду, еще ломоть хлеба, лук и соль.

Сталин ушел исполнять обычную свою работу. Этим он как бы говорил Пархоменко, что тот должен понять самое главное, а понять это самое главное можно, только ознакомившись с жизнью всего мира, всей нашей страны, с мыслями об этом нашего учителя Ленина.

Пока Пархоменко читал, Сталин приходил в вагон несколько раз. Он расспрашивал товарищей, спорил, убеждал и все-таки успевал следить за чтением Пархоменко. Время от времени он клал перед ним особо важные номера газет или статьи. И все это не спеша, просто, точно и ловко. Он и весь длинный синий вагон, в котором Сталин приехал из Москвы, казалось, тщательнейше хранил в себе простоту, ловкость, смелость. У входа висели солдатские шинели, рядом стояла пишущая машинка, на столах всюду чернильницы из синего стекла, с воронкой: опрокинешь — не прольется, деревянные ручки и множество брошюр и журналов, действие которых как бы приравнивалось к снарядам. Когда человек покидал вагон, ему выдавали пачку брошюр. Все соседние вагоны поезда были оклеены плакатами, только один, этот синий, возле которого всегда ходил рабочий во френче с ружьем за плечами, не был оклеен, а люди, к нему подходившие, сразу приобретали то напряженное выражение лиц, которое свойственно плакату, а выходили с лицами, которых никогда не выразит плакат и которые передает только великий художник.

Когда солнце светило уже с запада, синий вагон попадал в тень пакгауза. Пакгауз весь день стоял с широко распахнутыми дверьми как в сторону путей, так и в сторону шоссе. По шоссе к нему влекли фуры, кони — телеги, подскакивали грузовики, испуская густые клубы черного вонючего дыма, так что волы и кони долго мотали головой. Грузчики перетаскивали в пак-

гауз пшеницу, рыбу, хлопок, соль и никак не могли наполнить его, потому что немедленно мешки и тюки перекидывались на платформы и в вагоны. Иногда охрана, поставив винтовки в козлы, таскала мешки вместе с грузчиками, а иногда, чтобы поскорее освободить путь, приходили красноармейцы и служащие. Тогда Сталин подходил к окну, и видно было, что ему самому хотелось схватить тяжелый, вкусно пахнущий мешок, легко взбросить его на плечо и внести его в товарный вагон, пока еще прохладный, но вместе с мешками наполнявшийся светом и теплом. Но появлялись ждущие ответа люди, и через одно мгновение Сталин отходил к ним от окна.

А как трудно нагрузить эти пакгаузы! Вместе со статьями в газетах Сталин показывал Пархоменко сводки районных уполномоченных. В одном поселке коммуниста, собиравшего зерно, кулаки повесили на крыльях мельницы; в другом — связав рабочего, воткнули его головой в закром с мукой и держали так, пока рабочий не задохся.

— Питерский рабочий, — сказал Сталин, — по фамилии Гущин. И тоже семья, трое детей.

Изредка раздавался гудок паровоза. Вагон обдавало паром. Крытые рыжие и некрытые платформы, с которых на линию падали тени рабочих, державших винтовки, выстраивались возле пакгауза. Рабочий, дежуривший у синего вагона, узнав знакомых, махал фуражкой, слегка приподняв винтовку, а затем опять начинал кружить, и хруст его шагов смешивался с шорохом отбрасываемых его ногой блестящих кусочков угля и шлака. Глухо звякали, словно утопая в жаре, буфера, и вдруг — надо полагать, идучи на обед, — запели грузчики что-то веселое.

— Поют, — сказал Пархоменко, не отрываясь от чтения.

Сталину тоже было приятно слушать пение, и он сказал:

— Сейчас они чаще ругаются, чем поют. Но будет время, скажем: «Теперь они чаще поют, чем ругаются». — И он добавил, указывая карандашом на карту: — Капиталисты чертят границы. Думают, карандаш вечен, не сотрется. Сотрется!

— Все прочли?

— Все, товарищ народный комиссар.

— А это внимательно прочли?

И он указал на письмо Ленина к питерским рабочим о голоде. Палец упирался в узкий газетный столбец.

— «Катастрофа перед нами, — читал он вполголоса, словно опасаясь, что Пархоменко побоится это прочесть, — она придвинулась совсем, совсем близко. За непомерно тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август». Так пишет наш учитель Ленин.

И от этих слов как-то особенно ярко выделилось и встало перед Пархоменко все то важное и значительное, о чем говорили газеты, сводки, приказы: и решение партии учить поголовно всех коммунистов военному делу; и решение немедленно обезоружить деревенскую и городскую буржуазию и вооружить бедноту; и то, что Москва и Питер на военном положении; и что рабочие там получают в день одну шестнадцатую фунта хлеба, да и то со жмыхами; и что поезда наполнены спекулянтами; и что враги лезут в Красную Армию.

Сталин отломил крошечный кусочек хлеба и положил его на газету.

— Вот это одна шестнадцатая, — сказал он. — А здесь еще нет жмыхов. А это прочитал?

Он показывает еще поволжскую газету. Там в статье «Долой обувь!» с подзаголовком «Открытое письмо к молодежи» редакция писала: «Некоторые говорят, что без привычки трудно ходить босиком, особенно в городе по камням. Это верно, но ведь привыкнуть к этому нетрудно и недолго, достаточно два-три дня походить босиком, и уже на третий, на четвертый не захочется надевать обувь».

— А это?

В другой газете предлагается «в целях наиболее успешной заготовки лаптей для нужд Красной Армии освободить от мобилизации кустарей-лапотников».

— Все читал, — ответил Пархоменко.

— Я скажу, чтобы для вашей армии всех газет отобрали сколько надо, — сказал Сталин. — По сотне экземпляров провезете?

— Провезу, — ответил Пархоменко.

Сталин пристально взглянул на него и указал на сердце:

— Здесь все в порядке?

Он сел верхом на стул. Пархоменко сел напротив.

— Хватит ли у вас смелости раздать украинским бойцам «Правду»? Бойцы думают сапоги получить, а им газеты предлагают и лапти.

— Мы идем босиком.

— Из центра спрашивают: что за украинцы? Первого мая украинские банды Петренко начали банки грабить в Царицыне.

Он показал телеграмму.

— Из центра приказывают разоружать все отряды с Украины. «Банды», говорят.

— Почему Троцкий может так приказывать? — Пархоменко побагровел и стукнул кулаком по столу. — Мы сюда все донецко-криворожское свое правительство послали. Что ж оно молчит?

— Все, что оно способно сказать, сказало.

Пархоменко вскочил.

— Тут мало места для беготни, — не спеша проговорил Сталин, разжигая трубку, и, явно любуясь ловкими движениями Пархоменко, добавил: — Зачем сердиться?

Пархоменко хотел сказать: «Да как же не сердиться», но тотчас же понял, что сердиться действительно не на что и что если из центра не велят пускать в Царицын украинскую армию, то, прежде чем нарушить этот приказ, надо хорошо знать, почему ты его нарушаешь.

И Пархоменко, чувствуя легкий стыд за свою горячность, сел на табурет и сказал тихо:

— Но ведь у нас Ворошилов, старый большевик, донецкий рабочий...

Сталин, сделав легкий жест рукой, как бы отодвигая в сторонку попытку Пархоменко спрятаться за авторитет Ворошилова, сказал:

— Посланы вы, товарищ Пархоменко, а это значит, вы знаете массы, с которыми идете, не правда ли? И, зная народ, вы утверждаете, что покажете ему все эти газеты, иначе говоря, покажете ему всю правду?

— Покажу.

— Значит, украинцы доверяют большевикам? Значит, не испугаются трудностей, не убегут, не сдадутся белоказакам?

— Совершенно верно.

Сталин слегка откинулся назад и рассмеялся тихим гортанным смехом:

— Очень хорошо. В Царицыне созывается общегородская партийная конференция. Полагаю, что нам удастся ввести и на конференцию и в общегородской партийный комитет представителей вашей армии. В первую очередь товарища Ворошилова. Сколько у вас членов партии?

Пархоменко ответил.

— Приходите скорее, — сказал Сталин.

Пархоменко рассмеялся.

— Но ведь штаб СКВО протестует против нашего прихода?

— А мы СКВО пройдем с огнем насквозь... — И, улыбаясь, Сталин сделал резкое движение ладонью, как бы прорезал насквозь штаб.

Он заглянул в глаза Пархоменко и добавил:

— А в Самару пробирается один товарищ. Напишите письмо вашей семье, товарищ Пархоменко, постараемся доставить.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Ворошилов, весь усыпанный землей, точно рядом с ним произошел взрыв, взмахнул широкой лопатой, радостно крикнул:

— Лавруша вернулся, Лавруша! Здравствуй, Лавруша!

И он воткнул лопату в землю. И тотчас же тысячи людей, сгрудившихся у моста и на мосту, до того не замечавших Пархоменко и его спутников, заговорили, закричали, обернулись к нему. Пыль быстро оседала, и чем быстрее оседала она, тем больше взволнованных лиц открывалось за ее занавесом. Пархоменко, отталкивая особенно взволнованных и заглядывавших в его глаза, пробирался сквозь тяжело дышавшую толпу.

— Лавруша, смотри-ка, остров видишь? — слышал он издали радостный и удивительно родной голос.

— Вижу, вижу, Климент! — крикнул Пархоменко.

И тогда Ворошилов, видимо не имея сил по-иному передать свое удовольствие и восхищение, вонзил яростно лопату в землю и выбросил в тачку такой ком земли, под которым тачка только крякнула.

Ранним утром прошел сильный, хотя и короткий дождь, поэтому травы берегов были особенно зелены, и на краю берега еще лежала тоненькая пухлая полоска тумана, незаметно сливавшаяся с водой, синей-пресиней.

Среди Дона, там, где утонули фермы моста, возвышался остров. Он был великолепного оливково-бурого цвета, крепкий, длинный, и на его только что случившееся рождение указывали и пузырьки воды, которые охватывали его со всех сторон, и желтый фланг уносимых частиц глины, который развевался за ним. Конус острова украшали изжелта-яркие клети. К острову отовсюду плыли на лодках люди, сыпали землю, подвозили бревна клетей, укрепляли его берега.

Кургана возле моста уже не было. Многочисленные следы колес свидетельствовали, что здесь недавно происходила жаркая работа. Ворошилов, показывая на эти следы, сказал:

— Была гора, а осталась колея, Лавруша. Делегация к нам сегодня с позиции явилась. «Товарищи копающие, говорит, давайте сроки, а то казаки напирают». Я привел их сюда, а они — качать. Чуть спину не вывихнули.

Он рассмеялся. Глубоко всаживая лопату в землю, бросая эти последние комья земли, он говорил:

— Подбавь, подбавь силы, товарищи! А я по лицу твоему вижу, что хорошо, Лавруша. Ведь хорошо, а?

— Очень хорошо! — закричал Пархоменко, тоже яростно работая лопатой.

Подмыло большую глыбу земли. Она, шатаясь и как бы дразня, отделилась от острова, слегка приподнялась даже, а затем ухнула в синие воды. Падение ее болезненно отозвалось у всех на лицах, словно глыба эта выпала из сердца.

— Товарищи, Пархоменко приехал из Царицына! — крикнул Ворошилов так громко, что его было слышно на всем пространстве работ. — Пархоменко говорит, что все хорошо, подбавь жару!

В Дон посыпалась земля, дерн, щебень; грохот и пыль взвились над строительством так, что стало трудно дышать. Громадная, выкованная походной кузницей лопата была удивительно по руке Пархоменко, и, когда он выбрасывал этой лопатой землю, ему казалось, что он отталкивает от себя горячий воздух.

Но это было очень кратковременное впечатление: жара, запахи коней и волов, треск и пыль стояли так неподвижно, что не видно было ни Ворошилова, ни его штаба, и телеги, возившие землю, пробирались в этой светлой и яростной темноте почти ощупью, и сквозь мглу доносился откуда-то голос:

— Сталина, значит, видал?

— Много раз! — крикнул Пархоменко.

— Ну и как?

— Очень хорошо! — ответил Пархоменко.

— Я же говорил — хорошо! — кричал Ворошилов, и тут земля так кидалась к воде, что даже кони начинали перебирать ногами, как бы опасаясь, что и их закидают; слышались плески воды, дико стучали молоты, готовящие последние скрепы. До Пархоменко донеслось:

— А как слышно: товарищ Ленин здоров?

— Все в порядке!

— Так я же вам, чертям, говорил, что все в порядке! — раздавался голос Ворошилова, и тут грохот опять увеличивался, хотя до того казалось, что куда ему увеличиваться. Мимо проходила, именно проходила, земля! И Пархоменко не мог понять, то ли это слезы текут у него по щекам, то ли это пот, а земля шла мимо не только в телегах, но и в санитарных носилках, в ведрах, в передниках женщин, в подолах рубашонок у ребятишек.

— Несут, видишь. Ребятишкам по приезде в Царицын надо бы штаны из кумача сшить.

— Будет сделано,— ответил Пархоменко.

Изредка в воду что-то тяжело падает, и звук этого падения похож на то, как будто где-то близко катают бревна. Это артиллеристы-кадеты обстреливают мост из тяжелых орудий. Артиллеристы стоят километрах в пятнадцати от моста. Бьют они не спеша, потому что совершенно уверены в успехе белоказаков и снаряды приберегают для Царицына. Они зевают: жара, раннее утро, обильная пища, зеленая, так и манящая уснуть степь — все это не располагает к бодрствованию.

Приблизительно к полудню, когда жара особенно сухая и кажется, что дело не двигается, инженеры определяют, что остров закончен. Курган поднялся над водой почти столь же широкий и крепкий, каким он был в степи. На острове суетятся укладчики клетей. На берегу свистят пилы — это пилят бревна разобранных

домов. От прикосновения пил с бревен летит рыхлая пакля. Голые по пояс мужчины, облитые потом, сверкая боками и спинами, наклоняются, как будто ныряя. Козлы крепко уперлись в землю. По железу стучат топоры: это сшивают клети железными скобами.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Ворошилов и его штаб слушают представителей донецко-криворожского правительства, перешедших фронт вместе с Пархоменко. Возле представителей лежат связки газет, и все жадно, стараясь не показать этой жадности, смотрят на газеты. Товарищ Артем развертывает карту России. Шесть тысяч километров фронта проведены жирной красной чертой — почерком суровым и беспощадным. Командиры вздрагивают, взглянув на эту страшную карту.

— Такова-то Россия теперь,— говорит кто-то сдавленным голосом.

— Такова пролетарская Россия,— кашлянув, говорит товарищ Артем. — Эту Россию призывает нас защищать коммунистическая партия большевиков. Кто за?.. Трусам разрешено руки не поднимать.

Край палатки приподнят. От берега идут возы, наполненные лопатами. К походным кузням гонят быков. Ворошилов улыбается и показывает глазами на медленно шагающих палевых быков. Пархоменко не понимает, и тогда Ворошилов шлет ему записку: «Щаденко прислал пять тысяч подвод, спасибо, помог. А мы ему ламычевских быков в награду. Быки те, которых ты направил». Пархоменко представляет себе, каковы были лица у гуртовщиков, когда они узнали, кто такой Ламычев. Он улыбается. Ворошилов кивает головой и сжимает свои ладони: мысленно жмет руку Пархоменко, благодарит его.

В середине доклада входит запыленный Ламычев. Палатка набита битком. Ламычев упорно пробирается вперед. На него ворчат. Он подходит к Ворошилову и шепчет ему на ухо. Когда он снимает фуражку, нижняя часть лица особенно резко отделяется от верхней, как будто на нем серая маска. Докладчик недовольно оглядывается на него.

— Ничего, продолжай,— говорит Ворошилов.— Ламычев сообщил, что возле Суровикина попробовал пробиться полк белых казаков и что его уничтожили целиком.

Совещание продолжается. К вечеру у палатки собираются представители политотделов и командиры—те, которые не слышали доклада товарища Артема. Ворошилов сообщает им о положении в России. Они бережно, как будто газеты стеклянные, берут желтоватые листы бумаги и возвращаются на фронт. Ночью начнутся митинги.

К вечеру стук топоров особенно яростен, а ночью он уже походит на треск пулеметов. Работают в полутьме, при свете жалких фонарей. Свет этот еле отражается в Дону и чуть сильнее мерцающих звезд. Клети напоминают теперь высокие старинные сторожевые башни. Утром они уже упираются в пролеты моста, и рядом с серым железом видны обтесанные бревна, на которых сизо поблескивают только что сделанные скобы.

Тем же утром весь фронт узнает, какова собой та Россия, к которой они шли. Они узнают о голоде, о множестве врагов, о бесчисленных километрах фронта, которые почти и представить себе невозможно. И на рассвете, как бы для того, чтобы испытать их мужество, белоказаки переходят в наступление. Предварительно несколько самолетов разбрасывают листовки. Краснов опять предлагает сдаться. Из листовок крутят папироски, и так как табака нет, то употребляют смесь из сушеного вишневого листа и конского навоза. Аэроплан подпускают близко, затем начинают его обстреливать из винтовок. Аэроплан поворачивается, и ему кричат вслед с хохотом:

— А бумажки, бумажки-то давай!

И точно послушавшись, самолет выбрасывает листовки. Хохот усиливается.

Самолеты уходят. Появляются казачьи цепи. Их подпускают близко-близко и выскакивают. Белоказаки поворачивают, бегут, и вслед им — опять хохот и крики:

— В швальню побежали, штаны чинить. Смотри-ка, гурду[1] потерял.

---

[1] Особое название сабли по клейму ее. *(Здесь и далее прим. автора.)*

— Эй, швабра, стой, давай знакомиться, мы из Луганска, тихие!

А на мосту рабочие уже толкают бронеплощадку к концу пролета, туда, где начинаются клети. Клети и пролеты моста соединены рельсами, и приятно стоять на пути и видеть при блеске солнца длинные и прямые рельсы, которые тянутся по ту сторону Дона.

Площадка катится медленно. Штаб идет позади. Рядом с Ворошиловым — машинист, молодой, с узенькими упорными глазами и длинными зубами. Он поведет первый паровоз через мост. Он волнуется, бледен, а ему хочется быть спокойнее, и поэтому он убеждает и себя и Ворошилова, что испытал и не такое.

— Мурманская дорога, например, так она вся на гати. Там однажды весь состав в болото, честное слово, ушел. Машинист еле выплыл.

— Из болота-то? — ухмыляясь, спрашивает Пархоменко.

— Иль вот на фронте тоже приходилось. Западные дороги перегружены, а поручают мне — веди, Сергей Максимов, состав в сто вагонов...

На берегу толпа. Она неподвижна и дышит так тяжело, как не дышала ни при какой трудной работе. Площадка вкатывается на клети. Весь берег единодушно вздыхает. Возле моста падает снаряд — это кадеты обстреливают по холодку. Поднимается высокий и переливающийся радугой столб воды, но на него никто не смотрит, а все смотрят на площадку. Слышен треск, как от пулемета. Площадка начинает оседать, и ее поспешно выкатывают.

— Ой, мамоньки, уйдет в Дон! — слышен громкий женский голос с берега.

— Молчи ты, баба, — гулко увещевает кто-то басом. — Не понимаешь, техника!

Пути разбирают. Работают так быстро, что гайки выкидываются, словно их не ввинчивали. Клети опять укладывают до уровня.

— Пускай! — говорит клетовой, седой и сутулый плотник из Воронежа.

Бронеплощадка ползет снова.

Опять треск, опять оседание, и опять выкатывают площадку, и опять разбирают пути.

Солнце уже высоко, кадеты уже прекратили обстрел,

а клети все трещат, а народ на берегу все стоит неподвижно и ждет.

Но вот треска нет. Бронеплощадка проходит клети, выкатывается и скользит в пролетах моста. Клетовой потирает усы и радостно говорит:

— Сейчас бы папироску, братцы, с устатку.

Пархоменко протягивает ему свой кисет. Клетовой нюхает. Сквозь вишневую швару он улавливает запах махорки, очень слабый. Но этого ему достаточно. Папироску он свертывает чуть ли не толщиной в руку, и, когда дым попадает ему внутрь, у клетового такое счастливое лицо, что все вокруг смеются. Смех этот бежит на берег, и тот же женский голос кричит:

— Ой, мамонька, прошла! Дон-то тощий стал со злости, смотри-ка.

И с берега слышен смех.

— Где будочник? — смеясь, спрашивает Ворошилов.

— А я здеся. — Поддергивая подштанники, выскакивает будочник. — Что прикажете, товарищ командующий?

— Обещали катать. Готовься!

И Ворошилов спрашивает машиниста, того, что бледен и с длинными зубами:

— Готов? Пускай бронепоезд.

— Есть,— отвечает машинист и бежит к бронепоезду, и ноги у него от волнения дрожат и подгибаются. Ему кажется, что все видят его позорную и трусливую походку, но походки этой никто не замечает. Машинист сгибается возле рычагов, дает гудок, и тяжелый бронепоезд двигается. Не дойдя шагов пятнадцати до клети, машинист останавливает бронепоезд, слезает и, заложив руки за спину, идет по путям. Почему-то он решает, что нужно еще раз самому проверить путь, и его поступок никого не удивляет. Он возвращается, сжав губы, бледный и решительный. Взглянув на командира узкими и темными глазами, говорит:

— Под бронепоездом клеть до пяти раз осядет.

— Фу, черт,— говорит Ворошилов,— а меньше нельзя?

— Меньше не выйдет,— кричит машинист. — Двигаю!

Он дает еще гудок, надвигает фуражку на лоб и скупо бросает помощнику:

— Пар!

Пар кидается на рельсы так бешено, как будто хочет запугать их.

Сквозь шип, свист, гуденье слышен мучительный треск клетей.

Ворошилов протягивает вперед руки, и, словно его ведут на чумбуре, повинуясь этому невидимому движению руки, бронепоезд чуть двигается вперед. Ворошилов делает движение рукой назад — и опять-таки, как будто конь на чумбуре, бронепоезд пятится. Народ на берегу колышется, и сильнее всего колышутся знамена делегаций, пришедших с боевой линии.

Рельсы ушли вниз, как будто в яму, и удивительно, как только мог оттуда выйти бронепоезд. Клетовой бледен и зол. Он ругает машиниста.

— Ты что же, сукин сын, тяжести своей не знаешь? Ты докуда влез?

— Докуда надо, дотуда и влез,— хмуро отвечает машинист. — Накладывай клети.

— Я-то докладу, а вот ты потопишь себя.

— Па-ар! — кричит машинист, и голос у него такой напряженный, как будто в самом машинисте давление не меньше пятидесяти атмосфер. — Па-ар!..

Клети докладывают, и они трещат четыре раза. Машинист ведет пятый раз с тем же выражением смелости, тоски и стыда, с каким он водил машину и те прошлые четыре раза. Но на этот ожидаемый пятый раз клети не трещат. Ворошилов уже, незаметно для машиниста, влез на паровоз и стоит рядом. Ворошилов спрашивает:

— А ведь четыре раза трещало?

— Четыре,— как будто разговаривая сам с собой, говорит машинист.

— А говорил — пять.

Машинист с удивлением разглядывает неизвестно откуда появившегося командарма. Ворошилов слегка конфузится, что так неожиданно для самого себя влез к машинисту. Машинист говорит строго:

— И вы, Климент Ефремович, один раз можете ошибиться.

Бронепоезд прошел сквозь пролеты, по клетям, опять сквозь пролеты. Он вышел на левый берег Дона, погудел. С противоположного берега неслась песня и махали флажками. Возвращался бронепоезд уже весь облепленный народом, и впереди всех сидел будочник

в тиковых подштанниках, с опухшей счастливой физиономией. Когда бронепоезд поравнялся с делегациями на этом берегу и Ворошилов готовился спрыгнуть, будочник дотронулся до его руки и сказал:

— Прошу, товарищ командующий, принять меня в действующую армию. Никогда не верил, что такие крепкие люди могут существовать.

В паровозах уже разжигали топки. У берега сооружали паромы, чтобы под прикрытием бронепоездов могли переправиться обозы. Всю ночь лагерь не спал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Позади остаются станции, домики в три окна, балкончики, выкрашенные в желтую краску, и синий-синий Дон, который плещет с такой лаской и любовью, что, кажется, целует каждого бойца. А затем, последний раз, изголуба-серый воздух открывает берега Дона, и можно разглядеть, как где-то далеко-далеко плывет, колышется лодка. Кто это — рыбак или вражий разведчик?

Пархоменко стоял у окна вагона, и ему вспомнилось, как последний раз переплывал он этот Дон и как неприятно было сердцу, когда скрипели уключины, хотя они и были обернуты войлоком. Греб Вася Гайворон, тот, что высунулся сейчас из следующего окна и смотрит назад. От берега, покрытого розовым туманом, шел пар. В лодку просачивалась вода, на бревешках лежали газеты, которые получил он в вагоне Сталина. С винтовками на коленях, напряженно согнувшись, сидели товарищи, перешедшие вместе с ним фронт. Неясные, непонятные звуки доносились с берегов. Кто-то где-то далеко скакал; где-то крикнули: «Оси-и-ип!» И звук внезапно и болезненно прервался, словно кричавшего убили. И все взглянули на Гайворона, который греб.

— Это птица,— сказал он тихо, чуть шевеля губами,— по-нашему называется челуга...

Хотя Гайворон и не спал две ночи, но у него удивительно круглое и счастливое лицо, так что хочется сделать его еще более счастливым. Пархоменко сказал:

— Нешто в Царицыне женить мне тебя, Вася?

— Слушаюсь, товарищ начальник,— совершенно серьезно ответил Вася, верящий в то, что начальник

умеет делать всех счастливыми.— Я так полагаю, что вы всех людей и все науки изучили, товарищ начальник.

— Выучить можно и со стог, а знать надо хотя бы нужную соломинку,— говорит задумчиво Пархоменко.

Возле станции Калач стоит «плывучка» — длинная баржа. Там салон с пианино, десятка два номеров и кругом застекленная галерея. И пианино, и постели в номерах, и галерея — все так бессмысленно и глупо загажено бежавшими казаками, как будто с ними внезапно случилась медвежья болезнь. Рядом с «плывучкой» полузатонувший буксир вздернул вверх корму. С нее уже прыгают в воду ребятишки. Рубашонки, выцветшие, латаные, лежат в беспорядке на корме.

Пархоменко, пожимая руку представителю Царицынского исполкома, рослому и плотному мужчине в длинной гимнастерке, сказал:

— Сколько вы мне кумачу можете отпустить?

— Сколько? — недоуменно переспрашивает представитель. — Чего?

— Приказано ребятишкам в честь победы кумачовые штаны сшить. — И, увидав Лизу Ламычеву, он крикнул ей: — Прими, Лиза, кумач и распорядись. А я нонче и к тебе и к твоему отцу по личному крупному делу прибуду.

Лиза вспыхнула и осмотрелась, как бы ища глазами Гайворона. Его нет. Он уже отправлен в Царицын, чтобы приготовить здание, в котором будет находиться управление армии, пришедшей с Украины.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Пархоменко, помощник контролера СКВО, встречал одну из многочисленных комиссий, посылаемых из центра в Царицын. Поезд пришел поздно вечером. Электричество в городе давно уже погасло, и поезд, подошедший в полном мраке, встречали с прикрытыми фонарями. От мрака ли, от тишины ли вокзала, но пассажиры говорили вполголоса и даже шагать старались потише. Все уже знали, что в сумерки над городом летали немецкие самолеты, обстреливая очереди, и всем казалось, что они совершили страшно смелый поступок, приехав на этом поезде.

Комиссия — шесть пожилых людей с большими и толстыми портфелями, в пальто внакидку,— видимо, истомленная духотой и страхом, быстро поздоровавшись с Пархоменко, спросила:

— Нельзя ли тут достать холодной воды? — И, словно кроме холодной воды ее ничто не интересовало, с обидной поспешностью направилась к подводам.

Пархоменко, весь внутренне неистовствуя, наружно все же старался быть любезным хозяином. Особенно любезно, чувствуя в нем самого вредного и важного члена комиссии, говорил он с Быковым, секретарем, человеком в сером, с серым лицом, с длинным узким подбородком и ртом, похожим на ковш. Быков постоянно глотал слюну: отчаянная военная выправка его выказывала чин штабной, а штатский костюм — желание скрыть этот чин. Его встречали жена, Вера Овцева, и тесть — военспец Овцев, которого недавно еще арестовал Пархоменко со всем артиллерийским управлением СКВО, но которого выпустил по настоянию штаба Троцкого. Сам Овцев поздоровался с Пархоменко чрезвычайно ласково и спросил:

— Жара-с, Александр Яковлевич? А дом штаба ведь совсем жаркий.

Намекал он на «жару», создаваемую комиссиями, или просто болтал по глупости, но Пархоменко на всякий случай люто пробурчал:

— Ничего, охладим.

— Конечно-с, охладите! — воскликнул Овцев, и в тоне его голоса, как и в голосах и движениях приехавших, было нечто общее, еле уловимое сознание своего превосходства, гордости этим превосходством, какой-то внутренний, с трудом приглушаемый крик: «Куда вам, дуракам, понять и разгадать нас».

Быков, должно быть угадывая мысли Пархоменко и желая смять и уничтожить их, поспешно поцеловал жену в щеку, взял у нее цветы, подержал их полминуты, вернул их жене, давая тем понять, что семейная встреча окончена и надо переходить к общественному делу. Он протер пенсне.

— Вы, товарищ Пархоменко, помощник контролера СКВО?

— Да,— сказал Пархоменко, подвигая за плечи Гайворона так, чтобы свет фонаря, который держал тот, падал на лицо Быкова.

— Что же вы тут делаете? — сказал Быков скорбным голосом, глотая слюну. — Эпидемия арестов какая-то! За то, что некоторые спецы СКВО сопротивляются созданию маневровых дивизий в три-четыре тысячи винтовок — мысли по существу правильной,— вы арестовываете и тем отталкиваете от нас самые лучшие круги военной интеллигенции.

— Лучшим кругам хотелось бы,— хмуро ответил Пархоменко,— чтобы у нас в дивизиях были штаты корпусов.

И он указал на Овцева. Тот повел бровями, как бы говоря: «Сам понимаю, что важность разговора не в штатах дивизий, а вот найти это важное попробуй-ка».

— Что происходит, что происходит! — повторил скорбно Быков, беря жену под руку.

— Происходит то, что готовимся к решительному бою.

— Не такими же способами? От вашей жестокости вся Москва в ужасе.

— Если буржуазная, то хорошо, что в ужасе. Пролетариат и армия понимают ответственность за судьбу страны: удар по Царицыну — это удар по социализму. Нас раньше пугали: здесь волжские рабочие не такие сознательные, не трогайте их, восстанут. А рабочих мы посадили на полуфунтовый паек. А раньше они ели белый хлеб и ворчали. Сегодня на французском заводе старики шумели, потому что их вернули с фронта к станкам, чтобы не остановить работы над снарядами и орудиями.

— Все это хорошо для плаката, а в жизни другое. А в жизни так, что умного и преданного специалиста Снесарева отстранили. Коврова и Овцева арестовывают за саботаж. Военный комиссариат разогнали — и тем подготовляется анархия...

— Анархия? — вскричал с негодованием Пархоменко. — Вот я сейчас покажу, где она, анархия.

И, уже не владея собой, весь охваченный жгучей ненавистью, он, схватив Быкова за тощую руку, шагнул в темноту. Подводчики — со страху, должно быть — хлестнули коней. Вера Николаевна вскочила на последнюю подводу и торопила подводчика догнать комиссию, чтобы вернуть ее: Вере Николаевне казалось, что Пархоменко сейчас расстреляет Быкова. Возле горячих ку-

чек конского навоза остался один Овцев. Он то крестился, то посмеивался, а в общем чувствовал себя крайне плохо, потому что в городе было осадное положение, а пропуск его увезла Вера.

Гайворон с фонарем убежал куда-то. В темноте по булыжнику стучали копыта. Пархоменко молча и быстро вел в темноте Быкова. Вначале тот растерялся, но затем, споткнувшись раза два о что-то мягкое и скользкое, пахнущее нефтью, сказал:

— Да отпустите же руку. Я, наконец, и сам пойду.

Пархоменко прыгал где-то впереди в темноте, проворно подлезал под вагоны, и Быков послушно шел на звук его шагов. То ли Пархоменко так великолепно знал дорогу, то ли он видел в темноте, но все движения его были удивительно ловки и умелы, так что Быков невольно подумал: «Знают, кого в контролеры назначить».

Свет фонарей, отражаясь от белых бочек с известкой, на которых они стояли, падал на темно-рыжие, исписанные мелом вагоны и на фигуры нехотя бродивших людей. К Пархоменко подбежала молодая женщина с накладными в руках. Она со злостью воскликнула:

— То же самое!

И Быков увидал слезы в ее больших голубых глазах.

— То же? А вагоны с пломбами?

— С пломбами, товарищ Пархоменко.

— Покажите секретарю комиссии.

Три фонаря осветили пломбы. Пархоменко сорвал пломбы.

Открылась внутренность вагона. Пахло гнилью. Длинные тюки в рогоже с отметками охрой заполняли вагон. Рабочие сбросили несколько тюков на землю. Пархоменко сказал:

— Распорите, Лиза.

Лиза, лязгая длинными ножницами, распорола ближайший тюк. Оттуда вывалились какие-то листки, а затем множество рваных и длинных шапок с медными орлами. Лиза подала несколько шапок и листки. Шапки были старинные гвардейские кивера, а листки бумаги — «жития святых» из той литературы, которая когда-то называлась «почаевской», по названию лавры, где она печаталась.

— Возмутительно! Наглость! — сказал Быков, отбрасывая листки.

Он действительно возмущался. Но возмущался, боясь, как бы не узнали, что и он участвовал в посылке этого поезда. Три месяца назад на выпивке с бывшими гвардейскими офицерами он познакомился с одним заинтересовавшим его лицом. Отсюда все и пошло. И случилось так, что в Царицын он уехал уже с контрреволюционным поручением.

— А в накладной? — спросил Быков.

— В накладной медикаменты и амуниция,— сказала женщина, протягивая ему бумажонки, и хотя Быкову было страшно, но при взгляде на это решительное и какое-то вдохновенное и полное гнева лицо он не мог не подумать: «Хороша девка»,— и, подумав так, на мгновение забыв обо всем, что он испытал, посчитал себя бесстрашным. Впрочем, он тотчас же добавил, доставая блокнот:

— Я немедленно сообщу об этом безобразии Главному штабу. Я устраню повторение подобных предательств.

— Кабы да,— сказал недоверчиво Пархоменко, вспрыгивая на коня, которого подвел появившийся из темноты Гайворон.

— Как это понять? — крикнул Быков.

— А так! — громко закричал Пархоменко и указал нагайкой на Лизу Ламычеву: — А так, что ее отец ведет красных казаков! Вот она передаст отцу, а отец казакам, какие лекарства и амуницию получили мы из Главного штаба. «То-то,— подумают казаки,— прекрасно помогает нам московский рабочий».

Лиза всплеснула руками.

— Разве наши казаки могут так подумать, Александр Яковлевич!

— Враги к тому ведут,— люто ответил Пархоменко. Он снял фуражку и, облокотившись о седло, смотрел вниз на Лизу. Лицо ее было все еще мокро от слез. Слезы эти появились еще утром, когда раскрыли первый вагон и когда груз его показался подозрительно легким и решили распаковать тут же первый попавшийся под руку тюк. Узнав о предательстве, она побежала тогда к помощнику контролера СКВО...

Пархоменко круто повернул коня.

— А я? — услышал он позади голос Быкова.

— Ну тебя к черту! — крикнул Пархоменко. — Осмотри все тюки.

Он скакал сквозь неподвижный и темный город. Изредка встречались патрули, спрашивали пароль, некоторые, узнав Пархоменко, говорили, что с окраины слышна далекая канонада. На площади, возле собора, в котором хранилась трость Петра Великого, его остановил пехотный патруль из пяти человек.

— Серянок нету цигарку зажечь? — спросил старший.

Пархоменко дал спички. Огонек осветил седое старческое лицо, ремень винтовки и рядом фигуру в темной шали. В руках она держала чугунок и узелочек.

— Со старухой ходишь, что ли?

— А как же? Ужинать принесла да увязалась. Мне, говорит, страшно за тебя, сон видела, предзнаменование. Да и то сказать, фронт-то нонче везде. Давеча идем мимо подвала, смотрим — огонек. Мы подкрадываемся, приловчаемся, а там офицеры, что ли, пулемет чинят. Ну, мы главного в башку.

— Зря. Стрелять не надо. Языка надо ловить!

— А где его поймать? Он молодой, военный, а мы все старики.

— Старики, — подтвердил старческий голос из тьмы. — Рабочая охрана предупреждена партией и профсоюзами, что в городе возможно белое восстание, ждем гудка.

— С какого завода?

— А мы не с завода. Мы строительные. Егор Елисеич, старший-то, будет плотник. Ну, а я каменщик да штукатур. Пятьдесят седьмой годок работаю по этому делу, парень.

— Самому-то сколько?

— Самому мне, дай бог не соврать, семьдесят два года...

«Как удивительно, — думал Пархоменко, — что этот человек, которому уже нечего ждать от будущего и который умрет не сегодня-завтра, идет с винтовкой на фронт во имя будущего, а ученый офицер Быков, отец которого был известным адвокатом, писал в газетах, уча народ, — этот ученый человек Быков, молодой, тридцатилетний, находит возможным и нужным продавать родину интервентам во имя гнусного и подлого прошлого капитализма. Удивительно!»

Откуда-то сверху, должно быть с крыши, послышался детский голосок:

— Егор Елисеич, а в церкви чегой-то шу-ум...

— Тоже следят,— сказал любовно старик.— Внуки. Пойти посмотреть. Счастливо оставаться, товарищ командир, даст бог, встретимся.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

С хорошим, живительным чувством вернулся Пархоменко в свою комнату в штабе СКВО. «Чему-то быть отличнейшему»,— думал он, весело садясь к столу и весело берясь за бумаги. Окна длинной и высокой комнаты были завешаны солдатским одеялом, чтобы не выдавать горевшей в ней лампы «молнии». Духота. Пархоменко налил воды, выпил три стакана и сказал ординарцам:

— Спать. Встаем на рассвете. К восьми часам чтобы быть на конференции.

В комнате стояли три кровати. Ординарцы, Гайворон и Увалка, не раздеваясь, упали в постели и тотчас же заснули.

Наверху большой груды лежало приказание штаба СКВО. Нужно достать во что бы то ни стало дополнительно еще двадцать грузовиков, вывезти обмундирование, винтовки и припасы на фронт.

Пархоменко, стараясь не торопиться, стал мучительно искать в памяти, где бы могли сохраниться грузовики. Он закрыл глаза. Шея его покрылась потом. Перед глазами мелькали машины — избитые, с разными шинами, с черными вонючими облаками дыма позади, и чем сильнее избита машина, тем гуще ее облако. Вдруг он вспомнил синий сарай, низенький, крытый железом, с большим замком на воротах. Когда они переписывали имущество, ключа к этому сараю не нашлось, обещали завтра... а из сарая несло знакомым автомобильным дымком.

— Увалка!

Тот немедленно проснулся и вскочил.

— Сейчас же скачи в склады «Грузолес». Там вправо, возле сторожки, увидишь синий сарай с большим замком. Сбей замок. В сарае, чую, машины. А за со-

крытие народных ценностей конфискуешь и другие. Возьмешь с собой команду.

Типография газеты просила у СКВО бумаги.

— Откуда у нас бумага? Где ее контролеру искать? Это не снаряды,— говорил типографщикам Пархоменко.

Но, читая просьбу рабочих, похожую на воззвание, нельзя было не согласиться, что бумага важна не меньше, чем снаряды. И Пархоменко придумал, у кого найти бумагу.

«...Необходимо добыть крепкого коня для формирующихся частей...» А где? За коней держатся, как за жизнь, и овес и сено чуть ли не дороже хлеба. «Где ходят кони? Где? Где ходят кони?» — думал непрерывно Пархоменко.

Одеяло, серое, пробитое молью так, что в дыры видны были звезды, висело неподвижно. На балкон, не то выше, не то ниже окна, вышли двое. Это заведующий оперативным отделом луганчанин Чугунов — молодой, очень красивый, лихой песенник. К нему с тем же поездом, что и комиссия, приехала жена. Оба они счастливо воркуют, целуются. «Прекрасно, пускай целуются,— думает Пархоменко,— но где же ходят кони?» Он откладывает бумагу с требованием коней и читает другую.

Отдел гражданского управления жалуется, что поступает много заявлений на разрешение спиртных напитков от разных ответственных товарищей, в том числе от работников штаба СКВО. Задержана бывшая гимназистка царицынской гимназии Казакова и ее подруга Аркатова. Они пытались получить несколько бутылок коньяку для чествования приезжающей комиссии...

...в больнице зарегистрировано два случая холеры у прибывших с низовьев Волги в штаб СКВО...

...директор эвакуированного из Ковно епархиального женского училища, намереваясь возобновить его деятельность, спрашивает мнение СКВО о г-не Н. Г. Овцеве, предлагающем свои услуги в качестве преподавателя истории...

— Историю? Это он может,— рассмеялся Пархоменко, и вдруг он вспомнил огромный луг, пастухов с котомками. Это было возле Волги, недавно. Пастухи спрашивали, как пройти на Царицын. Их рассчитали богатые немецкие колонисты, которые хотят перегнать

табуны своих коней на Дон: там, как говорят, платят чистым золотом.

Пархоменко стало весело. Он знал, как ответить на требование. Конь найдется! А чтобы колонисты не переправили табунов на этот берег Волги, хорошо бы сжечь паромы. Вплавь переплывут?

Пусть-ка попробуют!

И Пархоменко с удовольствием прочел резолюцию, неизвестно зачем попавшую к нему:

«Царицынский совет делегатов увечных воинов, представителей Волги, Камы, Урала и Сибири, являясь выразителем воли обездоленных и искалеченных правительствами Романова и Керенского и иже с ним, алчным, полным ненависти капиталом, заявляет, что лучше умрет, чем будет холуем и приспешником буржуазии, и поэтому кричит врагам народной власти: «Прочь с дороги, прочь от Волги!»

— Правильно написана,— сказал Пархоменко и положил резолюцию в папку с надписью: «В газету».

Под утро, так и не досмотрев до конца груды бумаг, он подвернул лампу и подошел к окну, чтобы посмотреть, нельзя ли уже работать при утреннем свете. Едва он откинул одеяло, как на него пахнуло такой оглушительной и емкой свежестью, что зарябило и защемило в глазах. Стена противоположного дома, деревья возле нее, медные ручки дверей, ставни — все было покрыто прохладной, пронимающей розовой росой. Пархоменко вернулся к столу. Свет лампы казался теперь каким-то сонным. Пархоменко закрутил фитиль, дунул и, сейчас же опустившись на стул, уронив руки на бумаги, заснул.

Ему то снился Дон, омуты, течение, дающее колено; то лежащее под его рукой сообщение о том, что в здании гимназии состоялось заседание совета распорядителей кружка четырехклассников, постановившее свергнуть советскую власть в Царицыне, и он видел ремни гимназистов с бляхами, широкие их фуражки с белыми значками; то перед ним вставали часовщики и ювелиры, желающие работать в коммунистических мастерских, но при одном условии: им непременно надо выдать пулемет и патроны, иначе они боятся грабителей, потому что из камеры мирового судьи убежал грабитель и убийца Пашка Беженец; то он видел этого Пашку, которого поймали грузчики на пристани, тут же судили, приговорили к потоплению, и двое темных несознатель-

ных людей даже уже привязали ему камень на шею, и, не будь здесь двух командиров из СКВО, конец бы этому Пашке... зеленой рубашке... дети играют в догоняшки... тоже в зеленых рубашках...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Вошли ординарцы: Вася Гайворон и Алеша Увалка. Этот Алеша, которого Пархоменко увидел впервые, когда Ламычев встречал свою дочь у ручья, как увязался с ним тогда, так и не отставал, пока Пархоменко не взял его к себе. Он и у вагона стоял, и у коня, и у седла, и все говорил: «Возьмите, Александр Яковлевич, в ординарцы, не пожалеете. Ничего, что шестнадцать лет, и в шестьдесят человек дураком может быть». Эти ординарцы, которых теперь было уже человек двадцать, слегка утомляли Пархоменко. Как-то получилось, что парни все выбрались один горячей другого, и если в степи можно было это терпеть, то в городе они иногда поднимали такой шум и крик, что Пархоменко вылетал к ним и кричал:

— Распущу! Обозами заставлю командовать!

— Ваши же приказания исполняем, Александр Яковлевич,— говорил, сияя юными глазами, Алеша, которого теперь из почтения все уже называли не Увалка, а Сувалки, почему-то по имени местности, где в империалистическую войну происходили горячие бои. — Машина — и та скрипит, а мы ведь люди. Вы посмотрите, город мы защищаем с такой яростью, а они еще не хотят исполнять наших приказаний...

Этот шестнадцатилетний конопатый и широкоскулый Алеша обладал большим запасом язвительности, так что все слушавшие его говорили: «Ну, и черт же из тебя вырастет к тридцати годам». Даже на гармонике он играл язвительно и плясал так, как будто хотел просверлить землю, а в ту атмосферу обожания и влюбленности в Пархоменко, которая была среди его ординарцев, он вносил какую-то удивительно свежую морозную нотку мужества. За это ему прощалось многое, и даже Вася Гайворон, который не любил пляски, называл Алешу «тетеревом»: сравнение с птицей было в устах его высшей похвалой.

Несколько дней тому назад Вася Гайворон женился на Лизе Ламычевой. Так как была сильная жара, то свадьбу справляли во дворе, и любопытные висели на заборах, никак не веря, что красные командиры удивительной Ворошиловской армии пьют на свадьбе морковный чай, а не водку.

— Дай-ка мне из этого стакана попробовать,— стонал на заборе какой-то сизый старик пьяница, и когда ему подносили стакан чаю, он отхлебывал и плевался: — И верно, чай! Нет, ты вон дай из того. — И когда давали и из того, то он говорил: — Да вы что, не люди? Да вы, наверно, и не большевики? Я так понимаю: большевик должен быть человек компанейский!

Васе Гайворону всегда казалось, что люди мало торопятся, что живут они чересчур медленно, он и птиц-то, наверно, любил потому, что те спят не больше трех часов в сутки и все летают. Он полагал, что люди многое забывают, и поэтому он любил напоминать людям о том, что они и без него великолепно помнили, и так как Лиза собиралась, закончив свои лазаретные дела в городе, уехать к отцу на фронт, то он затосковал, пришел к ней и сказал: «Забудешь ты меня, Лиза. И не только я, и Александр Яковлевич так думает». Лиза рассмеялась и ответила, что тогда надо венчаться...

Сейчас и Вася Гайворон и Алеша Увалка вернулись с «ламычевского фронта» (каждый отряд тогда свое местопребывание называл не иначе как «фронт»). Лица у них были напряженные, видимо, они нюхом узнали, что Ворошилов, находящийся на южной стороне, вызывает к себе Пархоменко, и Вася уже боялся, что Пархоменко забудет их взять с собой. Он так и начал:

— Пришел напомнить, Александр Яковлевич: нам тоже надо на южной стороне побывать...

— Без тебя не обойдешься,— сказал, смеясь, Пархоменко,— но вот меня что смущает, Вася: ведь ты теперь муж, дети пойдут, а как же я тобой рисковать буду?

— До свадьбы была у него голова сплошь глиняная, а после свадьбы сожглась, вроде руды, и получилась сплошь чугунная. Теперь не разобьешь, сколько ни бей,— проговорил Увалка, щуря язвительные свои глаза.

Но счастливого Васю трудно было расшевелить. Он посмотрел на Алешу и сказал:

— Эх ты, тетерев. — И важно, уже как человек семейный, обратился к Пархоменко: — Медленно думает

народ. И из всего народа, Александр Яковлевич, как я заметил, быстрее всех думает рабочий класс. Ездил я сейчас и по южным нашим частям, был и на севере, был в центре. И скажу вам, что где центр, то там думают лучше. Почему? Потому что там ворошиловские части, рабочие, Донбасс. Ведь сидели они сиднем на шахтах да на заводах и, кроме копоти, никакого горизонта не видели. А сейчас лучше любого казака видят, когда на них кадет крадется. Почему?

Алеша Увалка прервал его:

— Потому что ты к Шевкоплясову в отряд хочешь проситься.

— Хочу,— мужественно сказал Вася и, побледнев, взглянул на Пархоменко.— Извиняюсь, Александр Яковлевич, мне бы в часть хотелось.

— Почему к Шевкоплясову?

— А потому что я из рабочего класса и вижу быстрее, и словом обладаю.

— Направил бы я тебя, да не возьмут шевкоплясовцы.

Эти шевкоплясовцы стояли на юге, а общее расположение всех частей было следующее.

Если стать спиной к Волге, а лицом к степи, то по правую сторону, мимо вашей руки, пойдет железная дорога на север, к Москве, против вашего лица будет Дон и пересекающая его линия, на которой прорвалась «Ворошиловская колонна», а налево, вдоль течения Волги, пойдет дорога к Кавказу, к Тихорецкой.

Центр, то есть дорогу к Дону, защищали части Ворошиловской армии: Первая Донецкая дивизия, Первая Коммунистическая дивизия и другие.

Север, то есть дорогу на Москву, защищали отряды Межевых, Киквидзе, Миронова. Против северных, яростно дравшихся, но малочисленных отрядов двигались прекрасно вооруженные части генерала Фицхелаурова.

Вдоль южной железной дороги от Царицына к Тихорецкой стояли отряды Кругликова, Васильева и так называемая «Сальская группа Шевкоплясова». Группу эту составляли отряды, пришедшие из Сальских степей. В противоположность «Ворошиловской колонне», основное ядро которой составляли донецкие рабочие, сальские отряды формировались преимущественно из крестьян, казаков и пастухов-калмыков с весьма незначительной рабочей прослойкой. Отряды эти ненавидели

кадетов и дрались великолепно, но почти наравне с ненавистью ими владело то чувство недоверия и затаенной робости, которое овладевает крестьянином, когда он попадает в чужие места, а в особенности, когда приближается к большому городу.

Отряды эти привели с собой свыше тридцати тысяч семейств. На одиннадцать железнодорожных составов, которые шли вместе с ними, был только один бронепоезд с паровозом, а остальные составы были совсем без паровозов, так что вагоны двигали, впрягая в них лошадей и быков. Среди этих отрядов был полк Семена Буденного, крестьянина, который в феврале 1918 года с отрядом в три человека, с четырьмя патронами на бойца, захватив станицу Платовскую, взял там у белых два орудия, четыреста винтовок и сто пятьдесят лошадей, а к началу июня имел уже две тысячи людей в полном воинском снаряжении.

На Сальскую группу наступал со станции Великокняжеской полковник Попов, а со стороны Дона шли части генерала Мамонтова. Как раз посредине, между этими наступавшими войсками, в тылу их, в деревне Мартыновке, уже тридцать пять дней держался против белых трехтысячный отряд Ковалева.

Военный совет уже несколько раз предлагал Шевкоплясову освободить мартыновцев.

Под разными предлогами Шевкоплясов отказывался исполнить это приказание, и наконец Военный совет, рассердившись, направил туда Ворошилова. С дороги Ворошилов, чувствуя настроение шевкоплясовцев, вызвал к себе Пархоменко и небольшой отряд рабочих из резервов.

Как раз в тот момент, когда Ворошилов приехал в штаб Сальской группы, с верховьев реки, по камышам, добрался сюда всадник-мартыновец. Он докладывал о положении мартыновцев. От всадника шел запах тины, лицо у него было землистое, и дышал он тяжело, как будто в горячке.

— Товарищи, за что же это наказанье? — кричал он, ударяя себя ладонями по щекам. — Товарищи, за что же такое наказанье?

— Мысли-то у сельчан какие? — спросил Ворошилов.

— Да ведь тридцать пять суток мучаемся. Невыносимый жар, товарищи. Мысли появились такие, что хотят сдаваться. Пистон есть, а пороху нету, вот что...

Штаб группы сидел в кружок, по-казачьи, вокруг небольшого костра, в который ординарцы непрерывно подбрасывали навоз, чтобы хоть немного отогнать бесчисленных комаров. Но дым шел прямым столбом вверх, а комары пищали, стонали, клубились. За штабом так же кру́гом стояли телеги с поднятыми оглоблями. От телег пахло дегтем и сеном. За телегами виднелось соленое озерко и синевато поблескивали солончаки. Вокруг телег ходили толпы бойцов с женщинами и детьми, ходили молча, стараясь уловить, о чем говорят командиры. Шевкоплясов, играя саблей, сидел отдельно от прочих — на телеге, свесив ноги, обутые в тонкие рыжие сапоги с длинными шпорами. Сальская группа только что выбила кадетов со станции Куберле, и Шевкоплясов — видимо, чрезвычайно гордясь этой операцией,— чтобы не потерять приобретенного достоинства, даже не отмахивался от комаров.

Пархоменко догнал поезд Ворошилова уже за станцией Котельниково. Он привез сообщение о том, что накануне, 3 августа, белоказаки сильно потеснили, почти обратили в бегство северные отряды Миронова и Киквидзе. Штаб СКВО требовал освобождения трех тысяч мартыновцев и просил Ворошилова проявить особенную настойчивость в достижении этой цели. В дальнейшем предполагалось эти три тысячи мартыновцев влить в Сальскую группу, с тем чтобы мартыновцы воздействовали на нее, разбили те настроения, которые назывались тогда «местничеством».

Но по всему было видно: или командиры Сальской группы догадывались о плане Военного совета, или же, что проще, «доброжелатели», а может быть и просто шпионы из города, успели по телеграфу сообщить им об этом. Как бы то ни было, сколько Пархоменко ни расспрашивал бойцов, сколько ни шутил с командирами помельче, он не мог узнать, откуда поступают эти сведения и слухи, стремящиеся во что бы то ни стало отколоть Сальскую группу от основных сил фронта.

Ворошилов, выслушав мартыновца, сказал:

— Надо выручать товарищей!

Шевкоплясов, лениво поглаживая подбородок эфесом сабли, ответил:

— Мартыновцев? Лишние потери. Эта затея ничего не принесет. Если бить, так надо бить вперед, как мы

сегодня. А то выдумывают тоже — в степь тащиться. Да ну к черту этих мартыновцев. Кто они такие?

Седоусый казак, вороша кнутовищем костер, проговорил:

— Бандиты какие-нибудь.

— Мы? Мы бандиты? — вскричал возмущенный мартыновец и весь посерел. — Полковой командир Тинков — бандит? Военный комиссар Потин — бандит? Бойцы — бандиты? Товарищи, эти обидные слова о бойцах нашей группы нельзя больше переносить!..

Думенко, командир одного из отрядов, прервал:

— Будет, помитинговали, надо слушаться распоряжений штаба. А наступать к Мартыновке трудно.

— Отказываешься? — спросил Пархоменко. — Трусишь?

— Я? Я трушу? Нет, не трушу, а не желаю, чтобы меня Ворошилов, куда ему хочется, бросал. Сегодня он меня бросает мартыновцев выручать, а завтра скажет: иди на север к Миронову и Киквидзе.

Думенко проговорился или по горячности, или по ограниченности ума, но теперь стало совершенно ясно: и Думенко, и Шевкоплясов, и Васильев знали, что север ослабел, а на помощь туда они идти не желают.

Шевкоплясов, пытаясь скрыть обмолвку Думенко, поспешно сказал:

— Жалко упускать территориальные преимущества, которые в руках Сальской группы... озера там, балки... Вот мы и идем вперед.

— По существу, не слушаясь нас,— сказал Ворошилов.

— Это как же?

— А так же. Раз вы не желаете действовать согласованно, то мысль о наступлении на Тихорецкую придется оставить.

— Мы желаем действовать согласованно.

— Тогда надо выручать мартыновцев.

— Лишние потери,— повторил Шевкоплясов.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

За телегами было слышно дыхание большой толпы, и то, что она стояла безмолвно, указывало: командиры еще считаются углядчивыми, зоркими. Шевкоплясов

щелкнул портсигаром и протянул его Ворошилову. Тот хмуро потупился. Шевкоплясов, ухмыляясь, постучал портсигаром об эфес, свернул папироску и вытянул руку. Думенко вложил в нее головню. Шевкоплясов закурил.

Ворошилов обвел командиров глазами. Взор его остановился на Буденном. Ворошилов сказал:

— Тогда я один, со своими ребятами, пойду выручать мартыновцев. Прощайте.

Буденный проговорил, вставая:

— Предположим, что товарищ Ворошилов приглашает меня. Мой полк пойдет.

— Да и твой полк не пойдет, чего трепаться,— сказал Шевкоплясов, играя саблей. — Раз все оглобли вверх, значит, все. Говорю вам, что противник будет бить в нашу сторону, в сторону юга.

— А он уже ударил на север,— еле сдерживая себя, сказал Ворошилов.

— Говори! Еще нам придется помогать, а не северу.

Пархоменко спросил:

— Тебе, видно, очень хочется, Шевкоплясов, север как есть оставить?

Шевкоплясов побагровел, залился пóтом и, ударяя кулаками о телегу, закричал:

— А вам как с Ворошиловым хочется в подчиненные нас взять? Фронтом завладеть хочется? Получай!

И он сунул Пархоменко кукиш.

Буденный рассердился, плюнул, выскочил из круга и побежал к своему полку с криком:

— Стройся! К выручке мартыновцев готовсь!..

Полк буденновцев да сотни полторы рабочих, которые приехали в поезде вместе с Ворошиловым, шли сначала берегом реки, а когда стемнело, повернули в степь мимо тех соленых озерец, наполовину высохших уже от зноя, которые Шевкоплясов считал территориальным преимуществом против царицынских окрестностей. Небо было прозрачное, высокое и жаркое. Где-то далеко слышался гром, но дождя не выпало ни днем, ни ночью.

Буденный, Ворошилов и Пархоменко ехали впереди отряда. Несколько поодаль ехал мартыновец. Лицо

у него было счастливое, сияющее, и даже лежащие на пути балки, ложбины и впадины, по которым должен был пробираться отряд, он называл ласкательно: ложбиночка, впадинка, влуминка, руслице.

— Похоже, что от обороны переходим к наступлению? — спросил Ворошилов.

— По сальцам это незаметно,— проговорил Буденный. И он опять, как там, возле телег, громко, со свистом, сплюнул, повторяя с горечью слова Шевкоплясова, которые казались ему наиболее глупыми: — «Территориальных преимуществ, говорит, возле Царицына нету. Ни гор, говорит, ни воды, ни лесу». А ты откуда, из какой тайги вышел, мерин? Тьфу!

Ворошилов рассмеялся.

— Ну и живем. «Здравствуй» да «прощай» еле успеешь сказать. Ведь ты на орудийном заводе тоже контролируешь, Лавруша? Как там техника?

— На орудийном? — переспросил Пархоменко, и обычной своей скороговоркой он с упоением стал рассказывать, как рабочие ремонтируют бронепоезда и как за месяц отделали — «есть на что поглядеть» — девять старых бронепоездов и создают новые.

— Боеприпасов бы нам еще, боеприпасов! — прервал его Ворошилов.

На рассвете возле темно-зеленой глубокой балки разглядели костры белоказаков.

Пархоменко повел своих ординарцев снимать секреты.

Когда сняли секреты, поползли к кострам и, подкравшись ближе чем на сто шагов, открыли по кострам пулеметный огонь. Сражение было короткое.

Освобожденных мартыновцев направили на станцию Куберле. Ворошилов со своим отрядом рабочих вернулся в Царицын. Докладывая Военному совету о положении на юге, он решительно заключил:

— Наступать Сальской группой нельзя. Из двенадцати тысяч бойцов мы предлагали оставить там три с тем, чтобы девять перебросить на север. Теперь ясно, что едва ли перебросим и две тысячи.

— Если кулак сжать, он крепче бьет,— сказал Сталин. — Предлагаю Военному совету укоротить фронт, чтобы лучше маневрировать оставшимися силами.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Когда Ламычев распахнул дверь и, стуча сапогами и шашкой, остановился на пороге, то в потрескавшиеся ставни вошел рассвет. Посапывая, чем-то недовольный, Ламычев стоял, выпятив грудь и вытянув вперед руки, на которых лежал матовый арбуз, полосатый, как узбекский халат.

С улицы доносилась песня. Пел ее хороший мужской и сильно тоскующий голос. В песне упоминались белые лебеди, обезглавленные любовники, последнее рукопожатие, безумно скачущие тройки; и чем дальше тянулась эта песня, тем очевидней становилось, что певцу страстно хочется поделиться с кем-нибудь своим горем.

На табурете перед Пархоменко стояли зеркальце, кружка с кипятком и лежал длинный, плоский, как язык, кусок шершавого и темного мыла. Пархоменко водил бритвой по ремню, едва ли замечая и бритву и ремень. Прошедшую ночь спал он мало и дурно, и оттого во рту чувствовал вязкий вкус солода, да и песня бередила, как рана. Но чем хуже чувствовал себя Пархоменко, тем веселее и общительнее старался он быть для других. И теперь, помахивая рукой в такт песне, он протяжно прошептал, широко и радостно улыбаясь:

— Очень хорошо, Терентий Саввич, что ты приехал.

Ламычев, балансируя арбузом, на цыпочках прошел к креслу, которое стояло у окна. Это было узкое и длинное, когда-то обитое бархатом кресло, из которого теперь судорожно во все стороны стремилась мочала. Когда Ламычев опустился в кресло, мочала взъерошилась и встала вокруг него, как воротник.

— Ты от сальцев? — спросил Ламычев, чихая.

— Был вчера,— ответил Пархоменко шепотом.

Здесь певец взял особенно высоко и тоскливо, и Пархоменко в знак внимания поднял кверху палец. Ламычев кивнул головой и замолчал. Певец пел про лунный вечер, и тотчас Пархоменко вспомнил вчерашний вечер с таким особенно душным и низким небом, что до него, казалось, можно было достать рукой. Шипящий, весь излатанный, простреленный паровоз мчал к Царицыну. Машинисту было сказано, что Пархоменко должен прибыть к Сталину в одиннадцать часов ночи.

По линии все уже знали, что Ворошилов освободил мартыновцев, и машинист паровоза радость свою выразил весьма кратко: «Мартыновцев мы доставим, а вот Шевкоплясов пусть рядом бежит». Поминутно, беспокоясь за жизнь своего пассажира, машинист выглядывал из будки и смотрел на путь, тревожно восклицая: «А там не враг ли стоит?» — и в Царицын приехали точно в одиннадцать. Но Сталина в Военном совете застать не удалось — он уехал в арсенал. Однако и в арсенале его не было — оказалось, он только что уехал на фортификационные работы, или, попросту говоря, в окопы. Приехал товарищ из Военного совета, передал Пархоменко, что устраненные вчера и позавчера специалисты из ликвидированного СКВО желают — и с подозрительной торопливостью — попасть на северные участки царицынского фронта.

А по мнению Военного совета, специалистам этим нечего делать ни в Царицыне, ни на северных участках, и так как нет пока оснований привлекать их к суду, то Пархоменко поручается устроить им безопасное местожительство где-нибудь по его усмотрению.

Пархоменко вернулся в Военный совет. Он собрал специалистов, сказал им краткое напутственное слово о пользе проживания в Нижнем Новгороде, подписал им пропуска и сам поехал на пристань посмотреть, как их будут грузить на буксирный пароход, увозивший баржу с хлебом. Он испытал большое удовольствие, когда пароход подал последний свисток. «Не вся болезнь, а все-таки здоровью прибыль», — подумал он, слушая удаляющиеся возгласы вахтенного, мерившего глубину переката...

Ламычев, видимо, думал о другом. Сквозь ставни на него ложились розовые полосы света, похожие на те длинные бахромистые конфеты, которые продают на ярмарках по копейке штука. Ароматная степная пыль зыбкими леопардовыми пятнами вставала с его плеч, когда он шевелился. Он слушал песню, широко раскрыв голубые ясные глаза, должно быть сильно растроганный. Когда певец оборвал песню, Ламычев внимательно поглядел на своего друга. Пархоменко всегда стеснялся, когда при нем кто-либо говорил о своих семейных делах. Он краснел, глядя куда-то в сторону, и старался перевести разговор на что-нибудь другое. Так и тут: он взял в руки нож и стал резать арбуз.

— Лишняя тяжесть. Какая ни есть жара, а все-таки созреть ему в это время не положено.

И арбуз точно оказался недозрелым. Тем не менее Пархоменко отрезал большой ломоть и стал его пробовать. Ламычев сидел, поставив ногу на какое-то дело «о скрывшемся старшем писаре Ромашкове», и от вздохов нога его мерно раскачивалась. Будильник показывал седьмой час утра. По лицу Ламычева видно было, что разговора о семейных делах не избежать, и тогда Пархоменко начал разговор с того предполагаемого конца, к которому мог прийти Ламычев.

— Как воюет Гайворон?

— Зятек-то?

— Зятек.

— Бойцы его держат,— сказал, скупо улыбаясь, Ламычев.— Вчерась балочками да холмиками прокрался и прямо, друже, к батарее.

— Сколько оружия взял?

— Орудие взял одно, другую гаубицу прислуга поломать успела.

Он встал и подошел к окну. Несколько дней назад, когда отряд Ламычева был переброшен на левый фланг, ближе к Волге, в Тундутовские горы возле Бекетовки, Ламычева взяло беспокойство, причину которого он и сам толком не понимал: то ли это было от близости сальцев, то ли участок казался ему ответственным, то ли, наконец, он сам утомился, но, как бы то ни было, он категорически потребовал через Пархоменко пролетаризации своей части, которой, как писал он, «требуются разборчивые и достойные моего доверия рабочие». Политотдел его части пополнили несколькими коммунистами, а от себя Пархоменко направил четырех своих ординарцев и в том числе Василия Гайворона, которого Ламычев не особенно долюбливал: не потому, что он был плох в бою, а потому, что был мало почтителен к тестю. Сейчас Ламычеву хотелось пожаловаться на Гайворона. После захвата батареи произошел у Ламычева с ним сильный спор. Царицын присылал мало снарядов, и Ламычев утверждал, что снарядов не присылают на его участок из-за малого к нему уважения, а Гайворон говорил, что раз не шлют снарядов, то уважение тут ни при чем, просто снаряды, а может быть, и батареи даже, понадобятся в другом месте. Ламычев рассвирепел. Он не понимал, как его зять мог допу-

стить мысль, что батарея когда-либо могла бы быть отделена от ламычевской части. А еще хуже было то, что Лиза оказалась на стороне мужа. И тогда Ламычев написал в Военный совет то, что показалось ему ясным с первого же дня, как он приехал к Тундутовским горам, а в особенности было ясно теперь. Пехотинцев, по его мнению, можно оставить возле Тундутовских гор, а кавалеристов вместе с батареей и под командой его, Ламычева, необходимо послать вдоль левого берега Дона в тыл генералу Мамонтову, который наступает на центр советских войск. Получалось очень ловко: он и Гайворона, зятя своего, не обижал, оставляя его с пехотой, а с другой стороны, когда бы он сам двинулся вперед с артиллерией, то, естественно, ему дали бы снаряды. Ехал ли он по полю, шагал ли он по комнате, пил ли за столом чай, он все время с большой гордостью твердил про себя начальные строки письма: «Глубокоуважаемые товарищи! Во-первых, считаю долгом своим доложить, что какой мне толк стоять возле Тундутовских гор, когда я могу с успехом идти вдоль левого берега Дона...» И сейчас, стоя у окна, он читал эти начальные строки письма.

— А у тебя, Терентий Саввич, в Военном совете дела нету?

— Как нету? — сказал Ламычев, с удовольствием предвкушая свой ответ, и, прищурив глаза, посмотрел на Пархоменко.

— За снарядами приехал? — спросил тот.

И Ламычев сказал то, что он приготовился сказать уже давно:

— И не за снарядами, а Военный совет вызвал меня по моему предложению. Имею план, голова работает. Только вот что ты мне ответь, Александр Яковлевич: какой фронт важнее?

— Не понимаю тебя, Ламычев,— сказал Пархоменко.

— Да вчера приезжал агитатор из Царицынского Совета и так сказал, что Восточный фронт самый важный.

— Какой это Восточный? — все еще не понимая Ламычева, спросил Пархоменко.

— Да Урал, Сибирь!

— А, Сибирь...

И Пархоменко задумался.

— По-моему, каждый фронт важен.

— Важен-то важен, сам по себе. А если с точки зрения всего государства, то — Восточный. Дескать, вы воюйте с полным геройством, но больно-то Москву не теребите: она Восточным фронтом занята, он главнее.

— Поди, какой-нибудь военспец.

— Да нет: большевик. И хороший большевик. Сам из Москвы недавно. Вот оно как!

— Да-а... — протянул Пархоменко и опять задумался. — Но я так считаю, Ламычев: лезет ли бандит с парадного или с черного, бить его надо одинаково.

— Это верно, Александр Яковлевич!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Тот же товарищ, который ночью передавал Пархоменко поручение Военного совета о ненужных военспецах, успел сообщить ему начало письма, отправленного накануне Сталиным к Ленину. В письме говорилось о том, что военное руководство СКВО совершенно расстроило хозяйство армии и вновь созданному Военному совету пришлось все налаживать сначала, отменять нелепые приказы и, кое-как исправив фронт, повести наступление от центра на станцию Калач. Наступление повели, полагая, что северные участки фронта хотя и негодны для наступления, но могут быть обеспечены от разгрома. Однако оказалось, что когда кадеты перешли ответно в наступление, то они смогли довольно быстро отодвинуть северные участки назад, а отдельные белоказачьи части уже пытаются пробиться к Волге, чтобы прервать сообщение Царицына с центром, — одновременно и по железной дороге и по Волге...

И, шагая теперь по улице, Пархоменко пытался угадать, какой же принят план из тех многочисленных вариантов отражения врага, которые были предложены Военному совету. Ламычев же шел, совсем не думая о плане, будучи убежден, что осуществится наилучший план и что для исполнения той части задач этого плана, которая предназначена ему, необходимы и снаряды его батареи.

А по главной улице двигался длинный обоз со снарядами. Из переулков с трех сторон в этот обоз одно-

временно врезались пехотинцы, кавалеристы и лазарет, спешивший на позицию. Над улицей заклубилась, прикрывая спорящих, желтая пыль. Звенело оружие, слышались ругань и понукание коней, что-то трещало, а так как уже началась жара, то ко всему этому шуму прибавились раздражающие испарения людей и животных, одинаково голодных и усталых.

Ламычев взял под руку Пархоменко и сошел с кирпичного тротуара. Пересечь улицу было невозможно. Из пыльного тумана время от времени выбегали бойцы, так обвешанные оружием и патронами, словно они не верили, что им его выдадут на позиции. Ламычев смеялся. Пархоменко сначала покоробило, что Ламычев как будто радуется этой перебранке, но, прислушавшись, он понял смех Ламычева: эти мужественные люди издевались не друг над другом, а издевались над голодом, жарой, страданиями, в которые их старались окунуть белоказаки, смеялись чуть ли не над самой смертью!

— Ну и конь у тебя! — слышался голос пехотинца.

А второй подхватывал:

— Такой конь, по благодарности хозяину, разве на кладбище довезет!..

И тотчас же им отвечали кавалеристы:

— Пехота, тяжелая работа! Лапти-то ваксой почистил?

— Не, они на ваксе блины пекут!..

— Из опилок! — крикнул кто-то далеко впереди.

Пехотинцы отвечали с хохотом:

— Опилок-то нету. Опилки, сказывают, кавалеристы все на корм коням израсходовали...

— И песочком сверху присыпали!

— И смертью посолили.

— Хо-хо-хо!..

По улице пронесся ветер. Пыль отбросилась за дома. Ветер словно распутал постромки, развел зацепившиеся друг за друга оси телег.

У круглой афишной тумбы, полузасыпанной песком, несколько бойцов, опершись на ружья, слушали, как большегубый, тонколицый красноармеец, по выговору, должно быть, вятич, читал воззвание Военного совета. Темно-желтый лист бумаги был густо забит буквами, от которых пахло керосином. Боец вел пальцем мед-

ленно по воззванию, как пароход ведут через перекат. Ветер попытался шатнуть тумбу, рванул воззвание, и плохо приклеенная бумага подалась, взвившись кверху. Тогда боец достал кусок сырого хлеба размером не больше и не толще ладони — голодный свой паек на сегодняшний день — и, продолжая читать, отломил кусок сырого хлеба и приклеил воззвание. На лицах слушавших не выразилось ничего, да они, прислушиваясь к словам воззвания, пожалуй, и не заметили благородного движения чтеца.

— Такие люди Царицын не отдадут,— сказал Ламычев и, сняв для чего-то с головы фуражку, пошел дальше, гладя себе волосы и смотря, как двинулись загрохотавшие по мостовой кованые телеги, которым каждый камешек как бы служил военным барабаном.

Несмотря на раннее утро, в Военном совете было шумно, и по всему чувствовалось: происходит нечто большое и крайне ответственное. Уже на лестнице стало известно: только что подписан приказ, по которому третьим членом Военного совета вместо военспеца Ковалевского назначен Ворошилов. От другого товарища узнали, что ликвидировано Окружное хозяйственное управление СКВО, ликвидированы все многочисленные продовольственные организации и что создается общая база снабжения...

— Быть тебе в этой базе, Александр Яковлевич,— сказал проходящий.

— Однако ты у нас интендантом становишься,— сказал, улыбаясь, Ламычев.— Небось в девятьсот пятом не туда метил, а?

— Куда метил, туда и попал,— тоже улыбаясь, с удовольствием ответил Пархоменко. — А вот куда ты в девятьсот пятом метил?

— На клиросе петь. Я пение любил,— громко смеясь, сказал Ламычев.

Газетный работник, чернобровый и черноглазый мужчина в длинных сапогах, на ходу сказал им:

— Сейчас только что закрыта газета «Известия СКВО», и вместо нее будет выходить простая и доступная народу газета «Солдат революции».

— Солдат революции есть солдат,— сказал вдруг

Ламычев, приосаниваясь, разглаживая усы и важно входя в кабинет Сталина.

— Вы не правы! — услышал рядом Пархоменко. Пархоменко повернулся к газетчику. Оказалось, газетчик поймал какого-то крайне спешившего товарища и, считая необходимым убедить его, что в газету обязаны писать все, указал этому товарищу на Пархоменко, который будто бы уже согласился писать ежедневно. Пархоменко развел руками.

— Да где мне писать, тут телеграммы — и то составлять некогда.

Газетчик, махая руками, кричал о том, что среди товарищей наблюдается малое уважение к печатному слову, и видно было, что кричал он это, только чтобы как-нибудь выразить радостное чувство, которое овладело им.

Из кабинета выскочил Ламычев. Притворив за собой тщательно дверь, багровый и радостный, он схватил Пархоменко за руки и повел его в конец коридора, где у двери стоял бак с кипяченой водой.

— Забрал! Все, друже, забрал! Все орудия мои и всю прислугу при них. — Он налил в кружку воды, выпил ее и сказал: — Прощаюсь, друг Лавруша, со своей батареей!..

Пархоменко с удивлением смотрел на него и думал, какая же это сила заставила этого человека отдать свою любимую батарею безропотно и даже как бы с удовольствием. А Ламычев продолжал говорить:

— Я ему говорю: «Обнажаем фронт, если увозим орудия к Царицыну». А он мне: «Вы их так запугали, товарищ Ламычев, что если поставить бревна, то они один вид их примут за выстрелы». И дарит мне за отвагу часы. — Он показал большие серебряные с толстыми крышками часы, посмотрел, сколько времени, и сказал: — Видишь, как долго беседа продолжалась. «Ваш план, говорит, ударить по тылу Мамонтова — считаю правильным. Но вам пока стоять на месте».

И Ламычев добавил:

— И буду стоять на месте. Что касается тебя, друже, то ходатайствую назвать мой отряд именем Ленина. Похлопочи!

Ламычев вдруг обнял Пархоменко и раз за разом поцеловал его.

— Жалко с тобой расставаться, но что поделаешь!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Взглянув в лицо Пархоменко, Сталин, видимо, подумал о Ламычеве, об его батарее, и в глазах его мелькнуло то же самое умиление, которое овладело Пархоменко. Но, как бы давая знать, что на кавалерийский рейд, о котором говорил Ламычев, сейчас особенно рассчитывать не приходится, он сказал:

— Удар придется принять Царицыну. Мы, посовещавшись, решили, что вам, товарищ Пархоменко, нужно отложить некоторые дела и съездить за снарядами.

Так как разговор шел чрезвычайно спокойно и Сталин, когда говорил, вынул из чернильницы ручку, накрыв чернильницу бумажкой, то Пархоменко подумал: разговор идет о том, что нужно ехать за снарядами в соседние армии. И, зная «местничество» этих армий, он убежденно сказал:

— Снарядов не дадут.

— Почему не дадут? Нужно убедить, поговорить. Кроме того, я написал письмо одному товарищу. — И Сталин взял заготовленное письмо.

Пархоменко махнул рукой.

— И с письмом не дадут! Разве они понимают...

— Мне кажется, есть все основания думать, что этот товарищ,— и Сталин слегка взмахнул письмом,— поймет вас. И поймет и поможет.

— И снарядов даст?

— Полагаю, и снарядов даст.

Так как на лице собеседника все еще видно было недоверие, то Сталин указал на стул. Пархоменко сел и продолжал:

— Вы наших соседей знаете, товарищ Сталин. Ну, хорошо, допустим, берут они к себе тех военспецов, которых мы выгоняем. Брать — бери, но зачем же верить им? Я не могу даже поверить, чтобы из среды этих людей выходили когда-то умные люди.

— Мне тоже кажется, что не оттуда вышли Белинский, Добролюбов, Чернышевский. — Он, улыбнувшись и чуть приподняв брови, колыхнул письмом. — Поезжайте, товарищ Пархоменко. Уверяю вас, что вы столкуетесь с этим товарищем.

— Да кто он?

— Ленин.

Наступило молчание. Сталин, переложив письмо в левую руку, правой оперся о стол и внимательно глядел в чуть побледневшее, взволнованное лицо Пархоменко.

— И я должен везти это письмо?

— Да.

— К товарищу Ленину?

— Да.

Пархоменко шумно вздохнул:

— Опасаюсь, что не справлюсь.

— Почему? — Сталин прочел письмо. В письме было только четыре фразы, настаивавшие на срочном порядке удовлетворения требований Царицына о вооружении. Затем он взял мандат Пархоменко и спросил: — Разрешите подписать ваш мандат?

— Но письмо-то очень короткое, товарищ Сталин.

— А вы разъясните, что будет непонятно. Вы едете не как передатчик письма, а как человек, знающий нужды фронта и умеющий рассказать об этих нуждах. Мы посылаем вас не стучать кулаком по столу в канцеляриях, для этого можно найти кулаки гораздо тяжелее ваших. Здесь в мандате написано, что вы должны разыскивать и направлять военные грузы на имя Военного совета СКВО, получать вооружение и снаряжение. При вас команда в сорок человек. Достаточно?

— Достаточно.

— Я тоже думаю, достаточно. Вот здесь напечатано: «Командируется по особо важным делам» — это простая формальность. Вы уже давно командированы рабочим классом по особо важным делам. В один день соберетесь?

— А почему не собраться!

— Команду себе советую выбрать покрепче — и таких людей, которые могли бы быть вам полезны в Москве.

Собраться в один день оказалось действительно трудно. Особенно трудно было выбрать людей, потому что все люди, полезные в Москве, были также полезны и необходимы в Царицыне. Отдел снабжения был беден работниками, и Пархоменко с трудом отобрал в нем пять писарей, которые много ездили по железным дорогам и знали порядки на них. Кроме того, Пархоменко взял всех своих ординарцев. В разгар сборов пришел большой плечистый человек с перевязанной рукой. Он

оказался молотобойцем с орудийного завода. Указав на руку, он сказал:

— Ходатайствую про Москву. Фамилия моя Петр Чесноков. Рука, похоже, прострелена. Но другая в порядке.

Он стал позади Пархоменко, взял его левой рукой за пояс и поднял. Пархоменко рассмеялся:

— Чего же ты хочешь из Москвы?

— Сам хочу в Москву поехать.

— Зачем?

— Вшей кормил в окопах до того, что загнуло меня в комок глины. Пока стрелял, азарт, конечно: про жизнь не думал. Вышел, ну и просто изболелся сердцем: существует такой человек — Ленин, а я его и не видал. Пока свободен, не съездить ли, думаю?..

Пархоменко захохотал. Чесноков тоже захохотал.

— Суматоха у тебя в голове, Чесноков.

— Это верно, что суматоха. Отчего и прошусь. Кабы меньше суматохи было, я бы спокойно себе выздоравливал. Берешь, что ли?

— Не могу я тебя взять. Мешать только будешь.

— Ну, я-то не помешаю...

И Чесноков, верно, не помешал, а, наоборот, оказался очень удачным помощником. Он сразу посоветовал взять побольше многосемейных: «Таких, у которых на лице есть тоска». Они, по мнению Чеснокова, тоскуя по семье, скорее и вернее привезут в Царицын составы со снарядами. Посоветовал он также взять нескольких железнодорожников и сам рекомендовал трех очень степенных и знающих людей. Когда сборы были окончены, он отвел Пархоменко в сторону и сказал:

— Кадеты, слышь, свозят артиллерию к станции Лог. Хотят отрезать. Мой совет такой, что надо торопить железнодорожников, а теплушку изнутри заложить тюками хлопка. Хлопок — он пулю хорошо глотает.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Станцию Лог уже обстреливали. А когда белые разглядели, что идет большой маршрутный состав, то обстрел усилился. Рядом со станцией горел сарай, в котором хранилось что-то смолистое: дым над сараем поднимался необычайно толстым черным столбом.

На перроне кричали железнодорожники. Теплушка Пархоменко остановилась как раз против станционного колокола. Пархоменко сидел на пороге теплушки, свесив ноги. Подбежал железнодорожник, видимо узнавший его.

— Кажись, впереди линию взорвали. Прикажете попятиться, товарищ Пархоменко?

— Никуда мы не попятимся,— сказал Пархоменко. — Гони дальше. Я жду. — Он вынул часы. Они стояли. — Я жду десять минут. А взрыв — это позади нас.

Железнодорожник посмотрел в его сухие строгие глаза и вдруг сказал:

— Ценность изъятия не компенсируется душевными качествами индивида, потому что она обусловлена внутренней инспекцией. — И, очень довольный своей бессмысленной фразой, подошел к колоколу и ударил в него три раза.

По дороге к следующей станции они увидали разъезд белоказаков. Разъезд, думая, что это беженцы из Царицына, развернулся. Лежа за тюками хлопка, Пархоменко с удовольствием глядел, как приближаются всадники.

— Сейчас заскучаете!

Но при первых же выстрелах всадники повернули и поскакали к станции, которую только что оставил Пархоменко. Скакали они так спокойно, как будто станция ими уже захвачена. Когда поезд подошел к следующей станции, комендант, бледный, с взъерошенными волосами, подбежал к теплушке и заговорил:

— Ведь там же Василий Васильевич: вместе рыбу ловили, отличный человек. Неужели убили? Последние слова его к нам были, что кадеты конницей идут в атаку! Неужели убили? — И комендант вытирал слезы скомканной фуражкой.

— Значит, кадеты отрезали Царицын? — спросил Пархоменко.

Комендант никак не мог понять, что Царицын отрезан, и все твердил про Василия Васильевича.

...Подолгу простаивал Пархоменко у раскрытой двери теплушки возле серого тюка хлопка. Перед ним бежали нивы, где вместо хлебов росли бурьян и полынь, а кое-где уже колыхался ковыль. У громадного села пастух бережно пас стадо,— и все-то оно состояло из пяти коров, тощих, унылых, несмотря на лето, как будто

и скот уже не верил, что можно пополнеть, и готовился к смерти. Иногда к поезду выходили мужики, одетые в защитное. Они выносили менять на соль какие-то темные кружки, которые называли лепешками, и видно было, что выходили они не менять, а просто им тоскливо было работать, и все ждали каких-то больших перемен. Станции покрупнее были полны мешочников. Мешочники лезли в теплушки, и, видя, что никаким криком их ос:лить было нельзя, Чесноков, накинув на плечи бурку Пархоменко, брал винтовку наперевес и ходил около теплушек.

Трудно было назвать то чувство, которое испытывал в эти дни Пархоменко, но, во всяком случае, это было такое чувство, которое он не испытывал никогда прежде. Пархоменко не страшили обстрелы, которые начинались сразу же, если поезд почему-либо останавливался на разъезде. Его страшили те узкие полоски бумаги, которые он добывал с телеграфа на узловых станциях. Он понимал, что, как бы ни напирали шестьдесят тысяч белоказачьих войск при их орудиях и пулеметах, как бы ни закрепляли они свое наступление колючей проволокой и бетонными блиндажами, все равно они должны откатиться. Но, понимая это, он все же чего-то боялся. Иногда среди ночи он вдруг просыпался и вспоминал, что забыл рассказать точно, где хранятся стальные щиты, необходимые для бронепоездов. Холодный пот покрывал его тело. Но тотчас же он вспоминал, что уже добрая половина этих щитов израсходована. Тогда он открывал дверь и долго стоял на пороге.

Одиннадцатого августа день был сумрачный, собирался дождь и с востока дул сырой, пронизывающий по-осеннему ветер. Остановились на большой станции. Пархоменко пробился сквозь толпу мешочников в комендантскую. На ленте были обрывки приказа Военного совета о том, что территория Царицынской губернии находится под непосредственной угрозой противника и что объявлена вторая мобилизация: еще пять возрастов... Тут сообщение прерывалось, и затем кто-то кому-то телеграфировал, что в городе слышна канонада, что войска непрерывно при помощи бронированных поездов отражают кадетов, которые подводят пехоту непрерывно... Пархоменко так и не дождался конца приказа Военного совета.

Когда он вошел в теплушку, Чесноков, перевязывавший руку, спросил:

— Ну, как Царицын?

— В кольце,— сухо ответил Пархоменко.

Завязывая узелок при помощи зубов, Чесноков сказал:

— У кольца нет конца.

Подошел телеграфист и на ходу поезда передал ленту. Куда-то неизвестный корреспондент передавал текст экстренного выпуска газеты «Солдат революции»: «Верные сыны социалистического отечества, тревожными ударами созывает вас красный набат! Все к оружию! Грабитель-капитал гниет на трупах убитых им рабочих. Не дайте задушить ему росток нового мира. Красноармейцы! Рабочие! Вся беднота! На исходе четырехлетней мировой бойни, вы, свергшие власть капитала, не дайте задушить себя красновским бандам!..»

На этом текст экстренного выпуска обрывался. Пархоменко прочел его своей команде. Чесноков, жевавший сухарь, сказал, поглядывая в темное вечернее поле:

— Ну что ж, по-моему, написали правильно. Я так понимаю, что сейчас из города против кадета пойдут большие рабочие полки. Надо им снарядов подбросить, Александр Яковлевич.

Он обмакнул сухари в воду и, как всегда неожиданно, спросил о том, что, казалось на первый взгляд, почти не имело связи с тем разговором, который велся, но что на самом деле имело к этому прямое и точное отношение:

— Теперь ты мне скажи, Александр Яковлевич, как вот меньшевик и анархист: в какой он должности при нашем социализме состоит? Как он — дурак или мошенник, или что в нем есть другое?

Пархоменко вспомнил, что это было продолжением разговора, который они вели вчера, и начался этот разговор с того, что Чесноков спрашивал, почему так много рабочих ушло из Донбасса за большевиками в Царицын. И так же, как вчера, Пархоменко было чрезвычайно приятно и как-то удобно и ловко отвечать на этот вопрос. И сейчас он ответил на него подробно, длинно, приведя примеры о предательстве меньшевиков и анархистов в Донбассе и Луганске и в девятьсот пятом, и девятьсот семнадцатом году.

— Так-с, выходит, предполагают взять обманом,— истолковывая по-своему, сказал Чесноков, и видно было, что это истолкование нравилось ему и всей окружающей команде. — Скажем, тоже и лавочник в деревне. Ведь из него, из лавочника, тоже встречается честный человек, который говорит, что, мол, накладываю немного и раз уж я честный, то лучше мне торговать, чем другому, нечестному. А выходит, что оба они жулики. Я так полагаю, Александр Яковлевич, что теперь большинство народа не хочет признавать подлости...

— Это правильно, не признаем,— отозвался кто-то с конца вагона, переворачиваясь на соломе.

Тринадцатого августа поезд пришел в Москву. Когда Пархоменко явился в бюро снабжения СКВО — в эти шесть комнат, расположенных на трех этажах с железными и стертыми лестницами, ему подали копии телеграмм Военного совета. В телеграммах говорилось, что Царицын объявлен на осадном положении, что фронт приближается к городу, что войска отходят с боем и что городу грозит прямая опасность.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Пархоменко не было времени осматривать столицу, он весь был поглощен стремлением добыть, отправить и гнать быстрее составы со снарядами и оружием. Но все же, если бы его спросили, что его удивляет в Москве, то он бы сказал, что она удивляет его своим цветом. В столице преобладал черный цвет, как будто бы кто-то поднял гигантским плугом непаханую землю и пласты ее обрушились на эти улицы и дома. Штукатурка с домов осыпалась, обнажив кроваво-черные кирпичи. Трамваи, очень редкие, с выбитыми окнами, тоже всюду, где могли, обнажали и черное железо и потемневшее дерево. Все магазины были заколочены, и золото на черных вывесках, как-то необычайно быстро потускневшее, еще более подчеркивало черноту. Люди были в защитном, но тоже почерневшем, грязные и небритые, как бы покрытые копотью, так что слезы на лицах прокладывали себе отчетливую дорогу, как две колеи хорошо объезженных рельсов.

Когда Пархоменко спросил, какие грузы не получены и какие не отправлены, бюро снабжения ответило ему почти в один голос:

— Все, что получено, отправлено, а больше не дают.

— Почему?

— Говорят, что по норме отпущено.

— По норме чего?

— По норме фронта.

— А какая же норма может существовать для фронта, где такое положение?

Заведующий бюро, рыхлый человек с тоненьким носом, опасливо посмотрел на команду, которая расположилась прямо на полу. Заведующий боялся тифа. Он с неудовольствием пожал плечами и сказал:

— Вот вы их и убедите, товарищ Пархоменко.

Пархоменко, просматривавший бумаги бюро, вдруг спросил с удивлением:

— А с чего это вы велели выгрузить вагоны и отказались от состава?

— Состав был загружен наполовину. Дорога не имела права отправлять его, и он все равно бы числился у нас зря на балансе.

— Зря? А почему вы не добились, чтобы загрузили вторую половину состава?

— Это было бы не по нашей норме.

— Вы, я вижу, большой знаток нормы?

Заведующий не без гордости сказал:

— А как же? Мы, штабные, иногда смотрим односторонне...

— Так вот, чтобы не быть односторонним, вы с этой минуты не штабной. Вы уволены.

— Меня назначило СКВО.

— Его уже нет. Вот посмотрите на мой мандат и убирайтесь поскорее...

Когда заведующий ушел, Пархоменко сказал Максимову, старому железнодорожнику, которого он привез с собой в команде, чтобы тот принимался за дела бюро, а сам он пошел в Центральное управление снабжения, которое находилось тогда на Сретенском бульваре в доме № 6. Письмо Сталина было передано еще утром в Кремль, в секретариат Ленина.

Все Центральное управление было наполнено ругающимися, кричащими и толкающимися людьми, сквозь толпы которых пробивались курьеры, высоко держа над

головой листы бумаги. И комната человека, заведовавшего снабжением СКВО и вообще всего юга, была также заполнена людьми. Только благодаря своему высокому росту мог рассмотреть Пархоменко желтый дубовый стол и сверкание стекол пенсне заведующего. Пархоменко громко попросил пропустить его, и не успел он закончить фразу, как заведующий вскочил и сам кинулся раздвигать толпу. Это был тот самый Быков, который приезжал в Царицын с особой комиссией из Москвы. Теперь, казалось, он забыл все обиды, нанесенные ему Пархоменко, и закричал с крайне любезным видом:

— Пожалуйте! Проходите! — И он сказал всей толпе: — Сегодня приема не будет. Видите, особоуполномоченный от товарища Сталина приехал. Прошу очистить помещение. Закрытое тайное совещание!

Толпа вышла. Он усадил Пархоменко рядом с собой, положив ему руки на колени, и, мягко и ласково глядя в глаза, спросил:

— Как доехали, товарищ особоуполномоченный?

— Откуда вам известно, что я особоуполномоченный?

— А телеграф на что? Мы вас уже сколько дней ждем.

Он протер пенсне кусочком замши, достал серую папку и стал перелистывать бумаги.

— Ну-с, извольте смотреть, что нами проделано и что нам предстоит сделать. Отправлено наравне с чехословацким фронтом...

— Это не общая сводка, а отправлено наравне только в один день! В один день, для отчета, вы можете отправить и наравне с чехословацким фронтом, а вот каждый день сколько вы отправляете? Вот эту сводку дайте мне!

— Общая сводка составляется,— сказал благожелательно и даже нежно Быков.

— Вот и покажите мне эту общую сводку.

— Завтра покажем.

— А почему вы согласились с этим дураком на отгрузку половины состава, когда надо было погрузить другую половину?

— Нормы.

— А кто их составлял, эти нормы?

— Раз вы мне не верите, обратитесь в более высокую инстанцию,— сказал Быков серьезно и с самым полным

достоинством, сбрасывая пенсне в верхний карман френча.

Быков за последние недели сильно изменился. Ирония, которой в начале его деятельности в Красной Армии, казалось, было пропитано даже пенсне, теперь значительно уменьшилась. По всему ходу событий он понимал, что предстоит долгое, опасное и тяжелое состязание с тем новым строем, который пришел. Он давно уже решил состязаться с этим строем, но только теперь, как казалось ему, нашел наиболее удачные способы этого состязания. Когда два дня тому назад он получил телеграмму от Веры Николаевны, что арестован опять Овцев, он по тексту телеграммы понял, что генералу теперь не вывернуться. И тогда Быков послал ответную телеграмму, по которой Вера должна была понять, что он, Быков, не возражает против перехода ею фронта для встречи со Штраубом. Это решение причинило ему большую боль, с особенным злорадством в душе он слушал свой вежливый и сдержанный голос, отвечавший Пархоменко. «Так вам и надо, — думал он, — так вам и надо за все мои страдания».

Выйдя из управления снабжения, Пархоменко долго стоял и смотрел на бульвар. На бульваре играло несколько детей. Они пускали «змея»; он, как всегда, застрял в проводах, и ребята, став на решетку бульвара, тянули его за рогожий хвост. Было больно и очень горько глядеть на этих детей. Пархоменко вспоминал ласковый голос человека в пенсне, и он понимал, что в этом человеке лжет каждое его движение и в то же время ложь почти неуловима. Неуловима! И за каждую букву этой длинной лжи приходится расплачиваться, быть может, жизнью одного вот такого веселого ребенка, пускающего «змея».

Пархоменко тряхнул головой и направился, как говорил Быков, в более высокую инстанцию.

Встретили его здесь еще более вежливо. Секретарь высокого специалиста по южным операциям отправил его к секретарю другого, еще более высокого специалиста. Перед этим высоким специалистом, сидящим в большой комнате с антресолями и с двумя колоннами, от потолка до полу висела громадная карта южного фронта. У карты, похожие на те пушечные башни, что стоят на дредноутах, высились дубовые лестницы.

Специалист, коротконогий человек в длинном темно-зеленом френче, сидел на жестком дубовом стуле. Пархоменко он усадил в мягкое зеленое кожаное кресло и сказал нежным и протяжным голосом:

— Да-с, мне звонили.

— Кто это вам звонил?

— А товарищ Быков. Просил оказать вам возможное содействие.

Он подвинул к Пархоменко несколько экстрапроводок Военного совета, взял одну наудачу и прочел многозначительно:

— «Борьба за Царицын упорная, с переменным успехом. Сейчас нами ведется некоторое наступление...» Извольте проверить по карте.

— Чего мне проверять по карте! Я наизусть помню. Вы вот проверьте, почему не хотят давать снарядов и вообще никакого нет снабжения. Вам известно, например, что мне в аптеках пришлось конфисковать всю касторку для самолетов?

Высокий специалист развел руками, как бы показывая, что такому человеку, — и как это жаль, как жаль! — такому человеку, как Пархоменко, приходится заниматься такими пустяками, как касторка. Он спросил:

— Но самолеты есть?

— Какие там самолеты — спичечные коробки.

— Но в крайнем случае Военный совет и руководство смогут вылететь из окружения? Вы об этом позаботились?

Пархоменко посмотрел в его тусклое лицо и резко сказал:

— Мы не думаем об отступлении.

Высокий специалист кивнул головой, одобряя эти крепкие слова, и Пархоменко понял, что в этом учреждении ему стены не пробить.

Однако, стиснув зубы, он пошел от этого высокого специалиста к другому, еще более высокому специалисту. От этого более высокого специалиста он попал к такому, у которого в приемном кабинете было уже не четыре колонны, как у предыдущего специалиста, а чуть ли не восемь. И одно можно было заметить на всех этих лицах: ожидание, когда закричит Пархоменко, устроит скандал и можно будет пожаловаться на этого бурливого партизана, который ничего не понимает.

А Пархоменко шел молча, мерно и только твердил про себя: «Не дождетесь, не выйдет реву».

Он вышел в вестибюль и так стукнул толстым медным номерком по прилавку, что швейцар подбежал к нему, вытаращив глаза и выпятив губы.

— Фуражку, — сказал раздельно и мерно Пархоменко.

Взяв фуражку, он увидал чистый оборот ее козырька, и тут он не утерпел. Он положил фуражку на прилавок, достал карандаш и уже совсем было хотел написать то слово, которое было у него последние минуты неотступно в голове, — «предатели». Но когда он совсем было поднес карандаш к козырьку, ему поступок этот показался и ребяческим и наивным. Вовсе не так нужно действовать, вовсе не так!

И он пошел в Кремль.

— Запишите на прием к товарищу Ленину, — сказал он секретарю. — Пархоменко.

Секретарь, высокий худощавый рабочий в синей рубашке и в черном суконном пиджаке, посмотрел на листок и сказал:

— Чего же вас во второй раз записывать? Вы уже значитесь, товарищ Пархоменко.

— Кем я записан?

— Мной.

— Почему?

— Потому что вас разыскивает товарищ Ленин. Пойдемте.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Несколько человек, остановившись у дверей кабинета, оживленно и торопливо досказывали, как им казалось, чрезвычайно ценные слова, которые почему-то не пришли им в голову на заседании и не высказав которые нельзя уйти.

Владимир Ильич стоял, закинув назад руки и слегка опираясь ими о край стола, как бы отталкиваясь от него. Он слушал седого краснолицего журналиста, передававшего содержание задуманной им антирелигиозной книги. Владимир Ильич время от времени наклонялся вперед, и в движении его корпуса и в сверкавших глазах чувствовалось желание возможно лучше понять собеседника и помочь ему. Иногда он выбрасывал из-за спины руку и называл труд, с которым автору необходимо познакомиться, и этот острый взмах руки как бы подавал и раскрывал необходимую книгу.

Расслышав две-три фразы, Пархоменко сразу же ощутил себя вдвинутым в новую и крайне интересную для него атмосферу стремительного движения простой и в то же время сложной мысли, и сразу же он понял: здесь можно и должно высказать то важное и горькое, что копилось в нем последние часы. Увидав его, Ленин оставил собеседника, быстро подошел, пожал руку и сказал:

— Прекрасно, что вы здесь. Прекрасно. — И он спросил уходящего широкоплечего человека с глазами навыкат: — Сколько же в этом месяце, Петр Анисимыч, ваша фабрика носков выпустит? А чулок?

Петр Анисимович подкатился и, мягко крутя короткими руками, начал снова доказывать, что в этом месяце фабрику трикотажа пустить невозможно. Ленин строго взглянул на него и резко, по-военному, оборвал:

— Если вам приказано пустить фабрику, потрудитесь подчиниться. И вообще работать нужно лучше, быстрее, тщательней.

Сразу же в кабинете стало тише, и беседовавшие у дверей ушли.

— Анисимов, военный комиссар Астрахани, телеграфирует, что «положение с Царицыном безвыходное. Вопрос стоит об эвакуации...» — прочел он взятую со стола телеграмму, с досадой поглядывая на дверь, как бы читая эту телеграмму не Пархоменко, а ушедшему болтливому текстильщику. Затем, нахмурив лоб и поведя плечом, он как бы оттолкнул текстильщика и внимательно поглядел на Пархоменко.

— Мы так вопроса не ставим, — тихо сказал Пархоменко. — Царицын не падет.

— Кто «мы»?

— Царицынский фронт, Владимир Ильич.

— А категоричность-то какая у астраханцев, категоричность? Может быть, вы не знаете того, что они о вас знают? Гм-гм. Например то, что у вас партизанщина встречается, своевольство, то есть отсутствие дисциплины и сознательности. Встречается?

— Были случаи, — сдержанно ответил Пархоменко.

— Ну, и вы не совсем сдержанно обращались с партизанщиной, то есть — самовольно? Было это?

— Было, Владимир Ильич.

Лицо Ленина построжало.

— И спецеедство наблюдалось, не правда ли? Недостаток доверия к приглашенным военным специалистам...

— Были случаи, — поспешно сказал Пархоменко, — каюсь. Сам иногда впадал в спецеедство, Владимир Ильич. Злость с войны осталась к офицерам...

— Но ведь они перешли к нам?

— Да, я ж каюсь, Владимир Ильич!

— Ну, раз каетесь... — улыбнулся Ленин. — Теперь вот что скажите мне: какой фронт из всех фронтов важнее сейчас для советской России?

Пархоменко хотел сказать «наш», но тут ему вдруг вспомнился разговор с Ламычевым, и он, подумав, медленно выговорил:

— Вроде восточный, сибирский.

— А точнее?

— Восточный.

— А ваш, царицынский?

— Наш,— с усилием сказал Пархоменко,— тоже важный, но... не то чтоб второстепенный...

Ленин пристально взглянул на Пархоменко.

— А вы — мужественный. Давно в партии?

Пархоменко ответил.

— Хорошо. Однако прошу не думать, что из-за «второстепенности», слово, которое вы еле-еле выговорили, мы Царицыну не поможем.

— Я и не думаю, Владимир Ильич.

— Отлично!

Ленин, закинув руки за спину, пересек комнату. Сквозь окна слышно было, как прошла какая-то часть, кто-то отдал команду, затем пробежал автомобиль и неподалеку от окна, шелково трепеща крыльями, пролетела стая голубей. Ленин проводил их взором. Несмотря на надпись «Не курить», в комнате ощущался легкий запах табачного дыма. Возле чернильницы, у лампы, Пархоменко разглядел тлеющий окурок, — наверное, уходивший закурил в дверях, затем вернулся и, увидав надпись, спрятал его здесь. Пархоменко придавил окурок пальцем. Ленин быстро обернулся.

— Здесь не курят.

— Я — убрать, — сказал Пархоменко.

Ленин стремительно махнул рукой и шутливо сказал:

— И вообще вы не слушаетесь, Пархоменко! Гм. Вы первый раз в Москве, так? Почему же вы сразу не пришли ко мне? Неужели вы один думаете справиться со всеми этими прохвостами, которых довольно много сохранилось еще в наших учреждениях? — Он улыбнулся. — Хорошо, что значительное число их убежало, а то было б еще трудней.

— Это я чувствую, Владимир Ильич, — сказал Пархоменко и тоже улыбнулся.

— Следовательно, вам надо быть чрезвычайно настойчивым. — Ленин оглядел его сверху донизу и снизу доверху и, видимо довольный им, сказал: — И хорошо, что прислали вас.

Он взглянул искоса на его широкие плечи и добавил:

— Садитесь, пожалуйста. И можете курить!

С острым выражением внимания Ленин стал выспрашивать, как организована защита Царицына и в точности ли выполняются все указания центрального командования.

Когда Пархоменко окончил рассказ, Ленин быстро снял руки со стола и проговорил:

— У вас все предпосылки победы. В Царицыне много рабочих, командование, по-видимому, умелое, недостатки обещаете изжить, — что же касается техники, то крепостная стена из бронепоездов позволяет успешно сжать фронт и на этом выиграть.

— Снаряжение... — начал было Пархоменко.

— Снаряжение лежит в Москве, ждет вас.

— Оно может ждать долго.

— С вашими-то плечами да не вывезти снаряжения?!

Ленин рассмеялся, еще раз оглядев его. Смех у него был удивительно объемный, и видно было: смеялся он от удовольствия видеть, что именно вот такого упорного и настойчивого рабочего послали царицынцы в Москву. Свет, уже вечерний, падал из узкого окна на его голову, золотя ее. Его смеющиеся глаза так и играли под этим светом, как бы говоря: «А ведь это замечательно, совершенно замечательно!»

— Вы срочно получите все необходимое!

Он быстро вышел за дверь, сказал что-то и, вернувшись, повторил:

— Срочно получите, безотлагательно, немедленно!

Вошел секретарь. Ленин тем строгим, военным голосом, которым он говорил с текстильщиком, сказал:

— Если товарищ Пархоменко будет мне звонить по телефону, соединяйте со мной немедленно. Есть у вас свободная машина?

— Нет, Владимир Ильич.

— Тогда дайте ему мою машину. А если мне куда понадобится ехать, то пусть то учреждение, которому я необходим, везет меня. — Он повернулся к Пархоменко: — Вообще, вы требуйте больше, Москву не жалейте! Если вас будут упрекать в грубости или чрезмерной настойчивости, пускай позвонят ко мне, я докажу, что это не так. Ну-с, садитесь и расскажите еще.

Среди бесчисленных делегаций фронтов и тыла, среди теплого запаха крестьянских зипунов, шинелей, леса, земли, среди рослых и крепких, сохранивших эту крепость как бы назло голоду и холоду, которые так уверенно шли по стране, среди красивых и некрасивых, среди смелых и робких, говорливых, безмолвных или восхищенно вздыхающих этот худощавый рабочий в темной гимнастерке, сильно потрепанной на обшлагах, этот

высокий человек с уверенно поднятой головой нес в себе что-то такое пленительное и бодрое, что сразу останавливало и заставляло смотреть на него. Он был очень родствен многим, но в то же время и отличен от них, и слушать его было радостно.

Несколько раз в кабинет входил секретарь. Он клал бумаги на стол и хотя не смотрел на беседовавших, но все его движения говорили, что Пархоменко задерживает крепко налаженное и точно идущее дело. Да и сам Пархоменко давно понимал, что ему пора уйти. Но он не находил сил уйти.

Ленин продолжал расспрашивать о царицынском фронте, о работе заводов, о царицынских рабочих. Некоторых рабочих он знал по имени и фамилии, на его лице отображалось большое удовольствие, когда Пархоменко говорил, что рабочие эти живы, здоровы, работают и воюют отлично.

Наконец Пархоменко пересилил себя и встал.

— Вы где остановились, Александр Яковлевич?

— В «Метрополе», у знакомых, Владимир Ильич.

— А еда у вас есть? Вы знакомых не обижаете едой? Теперь ведь голодно. Знакомые постесняются сказать, а вы сами не заметите. Вы мне говорите прямо!

Тогда Пархоменко заговорил чрезвычайно быстро, чувствуя, что больше задерживать Владимира Ильича невозможно:

— С пищей так, Владимир Ильич. Впереди нас сходит маршрутный поезд с рельсов: это кадеты пироксилиновые шашки подложили! Отстреливался я семь часов, защищал маршрутный поезд, ну и свой тоже. У меня команда — сорок человек... думаем: дудки нас взять вам! Кадетам то есть...

— И что же, отбили кадет? — улыбаясь, спросил Ленин.

— Отбили, Владимир Ильич. Проехали мы еще три станции: опять бой, опять кадеты. Тьфу! Отстреливались девять часов... Прогнали! Едем дальше. Вокзал станции Филоново: путь разобран на пять километров. Тут уж мы пришли совсем в ярость. Перешли мы в наступление. Разбили! Догрузились казачьим обозом и поехали. Так до Москвы казачьего обоза и хватило. И здесь еще питаемся, Москву объедать не будем.

Ленин весело рассмеялся:

— Хороший обоз?

— Богатый обоз, Владимир Ильич.

Ленин выбежал из-за стола и, заложив пальцы за борта жилета, прошел мимо Пархоменко, любуясь его загорелым лицом. Он остановился возле окна, сжал руки в кулаки и ударил ими по воздуху.

— Великолепно дерутся за Царицын! Великолепно! Чудесно!

Он широко развел руки.

— По-волжски дерутся. А вы, товарищ Пархоменко, будете докладывать мне каждый вечер о том, что сделали для Царицына.

В дверях Пархоменко вспомнил о просьбе Ламычева и сказал:

— Командир казачьего отряда Ламычев, хороший боец, хочет назвать свой отряд вашим именем и просил на то ваше разрешение.

— Если им другим нечем заняться, то я не возражаю, — сказал, смеясь, Ленин.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Пархоменко сначала было хотел ехать в «Метрополь», но раздумал. На машине Владимира Ильича он направился по адресам и лицам, к которым советовал ему съездить Ленин.

Да и лица другие, чем те, к которым он обращался прежде, и прием другой. Сразу видно, что этим людям царицынский фронт люб и дорог и они сделают для помощи фронту все, что возможно. Видно и то, что разные «дельцы» вроде Быкова, ловящие рыбку в мутной воде снабженческих организаций, будут скоро изловлены, если уже не изловлены.

«Вот это — человек! — думал Пархоменко. — Это — высокий человек. Одно слово тебе скажет, а ты будто университет прошел».

Машина пересекла Театральную площадь. Пархоменко сидел в ней счастливый, довольный. Время от времени он незаметно ощупывал обтянутое кожей сиденье и спрашивал мысленно: «Неужели это машина Ильича? И я в ней? Вот бы рассказать луганчанам, вот бы обрадовались!»

Через площадь торопливо, почти бегом, двигалась толпа с мешками. Лица были встревоженные, словно

все эти люди опасались опоздать на поезд. «Метрополь» был в следах пуль, и казалось, что сражение не окончено, а в крошечное затишье, когда артиллеристы заряжают орудие, все стараются перебежать через площадь.

У гостиницы машину остановила коротенькая женщина, смуглая, с большими бровями, знакомая луганчанка, Мария Егоровна. Она крикнула:

— Вот вы в машине разъезжаете, Александр Яковлевич, а жена ваша умирает в холерном бараке.

Пархоменко посмотрел на нее так спокойно, что луганчанка испугалась. Она знала, что Пархоменко любит жену и детей, знала его твердый и верный характер и теперь думала, глядя на него, что или он помешался, или же она приняла другого человека за Пархоменко. Но спокойствие его длилось едва ли несколько секунд. Минуя подножку одним рывком, он вымахнул на булыжник и, наклоняясь над ней, положил ей на плечи с такой силой тяжелые руки, что плечам стало больно.

— Помирает, где?

— В бараке же, говорю.

— Садитесь, скорей!..

Он распахнул дверку. Луганчанка села в машину.

— Давно больна? А детишки где?

Он по-прежнему, как и на родине, сыпал словами, но лицо у него было сильно постаревшее, и луганчанке стало жаль его.

— А я думал, они или в Самаре, или на Украине. Поехал в Самару товарищ, дал ему письма, да, сказывают, утонул... кадеты пароход потопили... Как она сюда попала?

— С украинскими беженцами. Она, ищучи вас, Александр Яковлевич, все учреждения московские обошла.

Луганчанка жила тоже в «Метрополе», дети Пархоменко жили с ней. И так как автомобиль был тогда в редкость, то все дети выбежали из гостиницы. Выбежали и сыновья Пархоменко. Они устремились к Марии Егоровне, но отца не узнали. Слезы показались у него на глазах. Пересиливая дрожь в голосе, он спросил:

— А где мама, ребятки?

Тогда они узнали его голос и бросились к нему. Обнимая и целуя их, он показал им автомобиль и сказал:

— Смотрите, ребятки, это машина Ильича.

И было в его голосе и в его словах что-то такое торжественное и огромное, что дети, глядя на машину, которая и без того казалась им прекрасной, видели в ней нечто еще более замечательное и оттого чувствовали себя такими же высокими и сильными, как и отец. Но чтобы уже не было никаких сомнений в чувстве, испытываемом ими, они влезли в машину и сели рядом с Марией Егоровной.

Пархоменко, подумав, оперся на борт машины и, смущенно глядя на опухшее от голода лицо и синеватые веки луганчанки, сказал:

— Вот вы попрекнули меня машиной, Мария Егоровна. А машина тут ни при чем. Мне машину дал Ильич, чтобы я мог с фронтовыми делами справиться.

Он сел рядом с шофером.

— Поезжайте вокруг площади и — к гостинице.

Объехали площадь.

Он сказал:

— Тысячи народа, миллионы, вся страна погибнет, Мария Егоровна, если не достать снарядов для Царицына! Жена моя, Харитина Григорьевна, из рабочего класса, она революцию понимает. Она простит, если я к ней сейчас не приеду. Прошу вас, Мария Егоровна, съездите к ней, если можете, сказать, что я здесь.

— Я пойду, — сказал старший сын Ваня.

— И ты пойди, помогай отцу, — проговорил растроганно Пархоменко. — Но только прошу вас, Мария Егоровна, не входить в барак, а передать записку через сторожа. Холера, насколько мне известно, очень заразительна.

Написав записку жене, поцеловав детей, он поехал на Сретенский бульвар. Быков встретил его в передней, узнав о приезде по стуку машины. В руках он держал требование Пархоменко на снаряды. Поперек всего требования было написано: «Выдать немедленно». Передавая требование, он спросил:

— Как это вас пропустили к Ленину?

— Так, как вас не пропустят, — отвечал Пархоменко.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Штрауб ехал из станицы Нижне-Чирской на фронт к Царицыну. Он должен был попасть к Бекетовке, где была необходимость встретиться с представителями бывшего левого эсера Сухачева, командовавшего советским отрядом в Бекетовке и давно уже связанного с Штраубом. Кроме того, в окрестностях Сарепты торговцы согнали табуны коней, чтобы переправить их через фронт на Украину. Торговцам уже было послано золото, и надо было помочь перевести коней через фронт, что, в сущности, было легко сделать, так как Сухачев дал свое согласие на помощь. Но прежде чем попасть к Бекетовке, Штрауб поехал к станции Калач, куда должна была приехать пробиравшаяся через фронт Вера Николаевна Быкова.

Пара каурых, легко дышащих, несмотря на жару, коней, бойко везла его тарантас. Перед ним мелькали уже знакомые — и уже неупоительные — картины. Балка, бугры, покрытые полынью, изредка мельница. Возле одной балки под кустами он увидал раненых казаков, которых везли с фронта. В балке бродили спутанные лошади. Санитары варили пищу, и далеко было слышно, как один из санитаров кричал на раненого:

— Обождешь, куда жрать торопишься, все равно тебе на костылях ходить!

Увидав бричку, санитар сделал под козырек и, поддерживая рукой штаны, выбежал на дорогу.

— Соли нет ли, ваше благородие? — сказал он. — Сольца пропала, сальцы стоят на соли, будь они прокляты!

И он захохотал над своей шуткой.

— Соль, наверное, сюда через фронт пробивается? — спросил Штрауб, глядя на синий мешок из рядна, туго набитый солью.

— Никак нет, — сказал презрительно и лениво ямщик, подавая санитару щепотку соли. — Из старых запасов. Конь соль любит.

И ямщик незаметно подмигнул санитару. Санитар смотрел строго на Штрауба, на его гладко выбритые щеки, на черные волосы, которые даже степная пыль не могла припудрить, и лицо у санитара медленно покрывалось — до этого сильно затаенной — злостью. И этот взгляд, да и вообще все, что происходило вокруг,

чрезвычайно не нравилось Штраубу. Он откинулся на подушку и, обругав и ямщика и санитара, приказал быстро ехать вперед. Ямщик стегнул по коням. Санитар сделал под козырек, и откуда-то издалека послышался голос раненого:

— Они, шпионы-то, страсть теперь злы-ы-и!..

Пахло полынью. Запах был едкий, раздражающий, и мысли были тоже едкие. Куда это девались и куда деваются, думал Штрауб, его важные, казалось, мысли о войне и империализме? Где подвиги, о которых он мечтал? Почему он никогда не вспомнит о своей жене, недавно умершей в Луганске? Почему он думает о Вере Николаевне, о жалованье, о спекулянтах, а мысли о служении родине так же второстепенны, как подкладка на платье?

Бричка качалась среди однообразных и скучных бугров. Запах полыни усиливался. Вспомнилось, что недавно попробовал у знакомого адъютанта полынной водки и она показалась удивительно вкусной. И теперь вот во рту было именно это ощущение водки. А там позади где-то стучали колеса: «По-по-лы-лынь». Он встряхнул головой. Ямщик обернулся и улыбнулся. Может быть, Штрауб даже сказал что-нибудь вслух. Он нахмурился и проговорил:

— Гони, гони!

Движение казаков на Царицын очень медленно. Генерал Краснов, по всем признакам, заигрывает с французами, и тот адъютант, что угощал водкой, рыженький юноша с толстым, как бечевка, пробором, сказал:

— Французы послали нам будто бы триста танков.

— С тремя сотнями танков, — возразил Штрауб, — можно пройти всю Францию.

С ним спорить не стали, но посмотрели на него язвительно. Должно быть, положение на западном фронте сильно изменилось в пользу Франции. Но Штрауб не изменил ни своей манеры разговора с казачьими офицерами, ни тех неустанных приказов о посылке скота на Украину, за которые он часто слышал позади свое прозвище: «скотский эмиссар». Ему доставляло особенное удовольствие подъезжать к станциям железных дорог, когда в поезда грузили скот. Вокзалы походили на скотные дворы, пахло навозом, сеном, слышался голос стада. Сам Штрауб через своего отца в Умани тоже занимается теперь торговлей — спекуля-

цией — и везет на Дон сахар, шоколад, шелковые чулки. Бобы, какао и шелковые чулки привезли к нему вместе с книгами Кропоткина, Реклю и Прудона. И помнится, Штрауб чрезвычайно рассердился, когда какой-то дурак там, в Главном штабе, прислал ему вместе с трудами анархиста двадцать или больше томов — с атласом на французском языке — сочинения Реклю «Человек и земля».

Дело в том, что положение в Царицыне крайне угнетало его. Он понимал, что в эсерах и меньшевиках народ уже изверился окончательно, в Царицыне, например, они не имели никакой силы, так что и деньги им было жалко пересылать, хотя за горсть золота можно было приобрести пятипудовый мешок этих денег и купить за него штук пятьсот эсеров и меньшевиков. Нужно было разыскивать другую партию. И тогда Штрауб подумал об анархистах. Так как крестьянам, видимо, война уже надоела и они желают жить спокойно, то должно, естественно, появиться некоторое стремление к распадению на своеобразные племена и роды. Каждое село с удовольствием захочет иметь своего министра, президента и быть самостоятельной республикой в пределах именно этого села. Вот почему Штрауб и потребовал книжки анархистов и, прочтя их, решил, что анархия действительно является матерью порядка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Возле станции Калач, у самого Дона, красновские инженеры под руководством специалистов-саперов сооружали окопы с блиндажами и замаскированными бойницами. Бетонные серые тона окопов весьма удачно сливались с тоном степи. Молодой инженер — немец, с розовым лицом, длинноногий и длиннорукий, — краснея от смущения, все время забегал вперед и весьма искательно заглядывал в глаза Штрауба, словно тот был инспектором. Окопы были крепкие, но они раздражали Штрауба, и он грубо спросил:

— Почему же газеты кричат, что казаки подступили к самым стенам «Красного Вердена»? Если у стен, то зачем же бетонные окопы в пятидесяти километрах от этих стен?

Инженер безмолвно пожал плечами. Штрауб понял, что спрашивал он так только для того, дабы высказать свое раздражение.

Когда Штрауб приблизился почти к самой линии боев, и он там тоже увидел глубокие окопы с гигантской сетью колючей проволоки, мрачно отливающей синим, ему стало понятным настроение донского командования. Царицынцев теснили, но они еще не бежали, да и вообще, видимо, заставить их бежать будет довольно затруднительно. Мрачный поступок красных солдат, случившийся перед самым приездом Штрауба на линию огня, служил тому подтверждением. Казаки окружили село, на окраине которого рабочие молотили хлеб, чтобы, обмолотив его, отвезти в Царицын. Оставшиеся в живых отстреливались от казаков до последнего патрона и затем бросились в огромный скирд хлеба и зажгли его. Когда Штрауб подъехал к селу, скирд еще горел. Вокруг лежали громадные кипы серого пепла, воздух был неподвижен и жарок. Штрауб стоял и молча смотрел на огонь. Рябой, кривоногий, увешанный орденами казачий офицер Квасницкий, сопровождавший его, сказал:

— Они фанатики, господин эмиссар. При расколе, иначе говоря — при патриархе Никоне, было нечто подобное. Кроме того, большевики придают Царицыну крупное значение.

— А вы какое значение придаете Царицыну?

— Мы, без сомнения, разобьем и уничтожим любое его значение,— ответил Квасницкий.

Весь следующий день Штрауб ожидал Веру Николаевну. Он ходил по селу. Впереди лежали окопы. С той стороны должна появиться Вера Николаевна. Село заполняла офицерская бригада в две тысячи человек, недавно сформированная на Украине. Офицеры носили белые повязки на рукавах и белые околыши. Эта бригада готовилась к штурму железнодорожной ветки, окружающей Царицын, той ветки, по которой непрерывно курсировали красные бронепоезда. Со всей Донецкой дороги в помощь этой офицерской бригаде тоже стягивались бронепоезда.

Вечером Квасницкий приехал к нему. Казак вел двух запасных коней. Квасницкий, улыбаясь, сказал, что «агент пройдет в другом месте, а Калач указан для отвода глаз». Ехали долго по степи. Встречались разъезды,

возы со снарядами и ранеными. Наконец при слабом свете неполной луны они увидели, что наперерез им, справа, скачут всадники. Один из всадников как-то особенно и пронзительно свистал.

Вера Николаевна была в одежде сестры милосердия. Увидав Штрауба, она неестественно громко вскрикнула. В ушах ее сверкнули серьги, и к лицу Штрауба прижалась ее мокрая и маленькая щека.

— Зачем плакать, милая? — сказал он. — Мы ведь встретились.

— Мой отец арестован, и все вообще арестованы! Я должна была поступить на курсы, сдать на сестру милосердия, вступить в профессиональный союз, и тогда только... — Она всхлипнула.

Штрауб не мог не рассмеяться тому, что она считала большим падением свое вступление в профессиональный союз. Но тут же он вспомнил об арестованных его агентах в Царицыне, и злость охватила его.

— Ничего, исправим, — намеренно громко сказал Штрауб, понимая, что вряд ли многое можно будет исправить, и что вся сложная система разведки и связей, придуманная им для Царицына, провалилась, и что все надо начинать сначала. И как начнешь и как теперь попадешь в Царицын? И хотя он твердил себе, что должна торжествовать любовь, которую он столько лет напрасно питал к Вере Николаевне, и что сейчас глупо злиться, он все же злился и не мог не сказать:

— А ваш муж, Вера?

— Мой бывший муж, — сказала она, подчеркивая слово «бывший», — мой бывший муж в Москве и на днях переходит опять в штаб Троцкого. Он, знаете ли, некоторое время работал по снабжению.

— А то, что вы бежали ко мне?

— В Царицыне думают, что я уехала жаловаться в Москву. Я поссорилась, сказала, что буду жаловаться... Ах, об этом долго и тяжело рассказывать!..

— Нет, я говорю о том, что думает ваш муж по поводу вашего приезда ко мне?

— Он согласился. В конце концов он меня понял. Да и он считает, — сказала она, неизвестно чему смеясь, — что только Германия держит руки по швам перед цивилизацией. Он иногда забавно выражается.

— Несмотря на забавные выражения, ваш муж — большой патриот и фанатик, — сказал Штрауб

с достоинством, и ему было приятно понять, что эта похвала нравится Вере.

Вера ответила ему крепким рукопожатием. С этой минуты она уже не думала о том, что могла когда-то ошибаться в Быкове. С нежностью растягивая слова, она сказала:

— Но любила всегда, Эрнст, я только вас.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ехали другой дорогой. Верст через пять их встретил Квасницкий, ускакавший вперед, как только показалась Вера Николаевна. Уже светало. Квасницкий переменил коня. Он сидел теперь на рослой гнедой длинноголовой лошади и, поравнявшись с ними, сказал:

— Пожалуйста, в экипаж.

На дороге стояла та самая бричка, в которой приехал Штрауб. Вера Николаевна пересела в бричку, и так как к утру посвежело, то она прикрылась одеялом и, прикрывшись, тотчас же задремала. Бричка опять помчалась. Квасницкий скакал рядом. Должно быть, он слегка выпил, потому что без нужды повторял ямщику:

— Держи на костры!

— На какие костры? — спросил Штрауб.

— А это вертеп приехал.

— Какой вертеп?

— Да так табор называют. По всем станицам объявили, что после взятия Царицына славные казачьи традиции велят отдать город на три дня в грабеж. Вот и съехались — кто пограбить, кто купить награбленное.

— Гунны!

— Чего?

— Вообще-то, говорю, это — варварство, но, несомненно, это воодушевляет наступающих и служит наглядным примером того, чего ждут казаки от этих наступлений.

— Да, мы так и думали. Пьянство будет богатое.

Солнце взошло, когда они подъехали к табору. Они увидали множество бричек, таких же, в какой ехал Штрауб; длинные телеги, в которые были впряжены волы, стояли тут же. И волы и кони жевали сено, потому что табор не знал, когда будет взят город, и не хотел пускать в степь пастись: не хотели терять ни ми-

нуты. В сене на возах стояли длинные широкие пустые сундуки. Богатые казачки, с толстыми и лоснящимися щеками, сидели на этих сундуках, а старые казаки, уже седые, одетые по-праздничному, ходили с кнутами в руках между возов и посматривали на горизонт, где уже виднелись утренние дымы царицынских заводов.

Какой-то низенький пьяный казак, размахивая дымящейся головней, от которой он тщетно старался прикурить трубку, побежал к бричке Штрауба, пересекавшей шагом табор.

— Это карисподент, — неизвестно почему заключил он. — Карисподент, ей-богу, приехал смотреть, как крепость берут!..

Он сделал головешкой непристойный жест и, приплясывая у голов коней, кричал:

— Донской круг заседает, господи-сусе! Требуется в подарок поднести ему взятие Измаила. Смотри-ка на Суворовых, их!..

На большом возу стояла вывеска: «Покупка и продажа. Сергучева». Какой-то торговец приехал сюда даже со своей вывеской. Он укрепил ее на возу веревками, а сам сидел позади, спустив с обитого жестью ларя ноги в длинных сапогах с лакированными голенищами. Он тоже неустанно глядел в ту сторону, где был расположен Царицын. Он ждал богатства, славы — и кто знает, чего еще ждал он!

Сразу же за табором увидали офицерскую бригаду, которая подошла сюда из села. Офицеры в парадной форме, присев на корточки, чтобы не запачкать брюк землей, брились по двое, по трое у одного зеркала. Слышались шутки, и кто-то, разглядев лицо Веры, крикнул:

— Барышней везут!

Впереди бригады что-то пели протяжное и непонятное. Пение часто прерывалось, и около певчих можно было разглядеть какие-то квадратные и круглые предметы, ослепительно блестевшие. И это пение и медный блеск этих предметов явно требовали от Штрауба высоких мыслей. Но так как высоких мыслей не было, то он прочел вслух какие-то стихи.

— Снимите фуражку, — сказала проснувшаяся Вера, — не видите: хоругви.

Они поравнялись с архиерейской каретой. За каретой стояла украшенная лентами чудотворная икона в на-

ланкине. Перед иконой горели свечи. Старичок архиерей, в неимоверно длинной и дорогой розовой ризе, стоял возле кареты и разговаривал с плечистым офицером. Плечистый офицер был адъютантом генерала Мамонтова, начальник контрразведки, хорунжий Гдыш. Гдыш, почтительно склонив прыщеватое лицо и сделав руки корабликом, чтобы получить благословение, внимательно слушал, что говорит ему архиерей.

— Степану Ермоланчу не войско вести, а в кабаке сидельцем быть, — сердито шамкая, говорил архиерей.— В рестораны вы идете или в первопрестольную священную Москву? Дух нужно поднимать на подвиги деяниями, словами, а не водкой, господин Гдыш! А вы даже монахов и тех стремитесь напоить. Нехорошо-с, ох, как нехорошо-с, государь мой!

Увидав Штрауба, хорунжий потряс руками, сложенными для благословения, и сказал:

— Благословите, отче, с немцем поругаться.

Архиерей благословил его и, сердито пыхтя, отвернулся.

Гдыш, разглядев Веру, охнул и пошатнулся, изображая страдание и испуг, а затем подскочил к бричке и, положив руки на кузов, уставился в глаза Веры. Ямщик, знавший нрав Гдыша, остановил коней. Теперь можно было разглядеть, что Гдыш был мертвецки пьян. Не скрывая своего вожделения, облизывая мокрые губы и весь изгибаясь, он сказал:

— Его преосвященство желает идти впереди донского войска под хоругвями... Хотите посмотреть на результат? — И вдруг он положил руку на колено Веры. — Вам что прикажете привезти из города, барышня?

— Это моя жена,— сказал, весь трясясь, Штрауб.

Гдыш, не убирая руки, не изменяя глупой улыбки, сказал:

— Что же прикажете, сударыня, привезти из Царицына?

Тон его речи был какой-то намеренно приказчичий, и, как ни странно, именно этот тон понравился Вере. Штраубу было чрезвычайно обидно видеть, что усталость у нее исчезла и она, с каким-то отвратительным и наглым удальством шевельнув плечами, ответила:

— Духов! Я забыла их на квартире, они в спальном столике.

— Скажите адрес квартиры, и она вместе с кроватью будет у ваших ног, сударыня!

Штрауб толкнул в спину ямщика и сердито проговорил:

— Гони!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Но оказалось, что мало было получить подписанное требование на снаряды, а надо было еще действительно получить их. Пархоменко надо было, долго размахивая требованием, кричать на складах, пробиваясь сквозь безразличие, надо было класть руку на телефон, угрожать, что позвонит в Кремль, указывать на машину Ильича. И было легко разговаривать только тогда, когда он разговаривал не с заведующим, а с рабочими склада, но обращаться к рабочим или даже за помощью к ячейке он считал неудобным. Когда его спутники предлагали ему поднять скандал «против канцелярии», он говорил:

— Я должен внушать дисциплину самостоятельно.

Наконец он составил поезд, посадил охрану из тех «семейных», которые больше всего скучали по дому, и долго стоял на перроне, махая фуражкой уходящему поезду. Сивачев, сопровождавший поезд, должен был перегрузить снаряды на баржи или на пароход и немедленно водой доставить их в Царицын. Сивачев, по работе его в Москве, показал себя «ходовым парнем», и Пархоменко верил, что тот доставит снаряды в самый короткий срок, в какой только можно их доставить.

Пархоменко отпустил машину Ильича и присматривался уже к трамваю, на котором можно было бы доехать до холерного барака, чтобы наконец увидать Харитину Григорьевну, но тут подбежал заведующий бюро и, вытирая лоб и шею рукавом, сказал:

— Опять отказываются, Александр Яковлевич.

— Чего?

— Подсумки не дают. А рубах скостили пятьсот штук как одну.

— Пятьсот штук?!

Надо было бежать в пошивочные мастерские, затем к тому, кто ими ведает, а тот уже успел отпустить рубахи для чехословацкого фронта. Когда вырвали пятьсот рубах, оказалось, что нужно бежать на завод. Так

он не спал две ночи, а на третью уснул на полчаса в какой-то приемной и только на четвертый день утром попал в холерный барак.

Холерный барак находился на Ордынке. Это было длинное кирпичное здание, расположенное подковой. В нем совсем еще недавно стояли лошади, и весь двор принадлежал какой-то извозной компании. Наверху, над конюшнями, в низеньких, без окон, комнатах жили извозчики-ломовики. Теперь и конюшни и комнаты ломовиков были наполнены больными.

Часовой, поставив между ног винтовку, спал на бочонке у калитки. Часовой спал так крепко, что, казалось, унеси его — он и то не услышит. Во дворе пахло навозом и карболкой.

Доктор, длиннобородый, крутолобый человек, тоже спал, положив голову на рецепты: одна рука его лежала на узенькой тетрадке с приклеенным сбоку алфавитом. Пархоменко понял, что это список больных. Так как было очень рано, то ему не хотелось будить доктора, и он осторожно достал из-под его руки журнал и стал по алфавиту отыскивать фамилию своей жены. Но Харитины Пархоменко в списке не было. Тогда он решил разбудить доктора. Долго тряс он его, пока наконец на возгласы не пришел санитар.

— А вы не будите его, — сказал санитар. — У него третьего дня сын помер, тоже от холеры. Вот он и мучился, не спал...

— В какой палате Харитина Пархоменко?

— Не Пархоменко, а Пахомова, — сказал санитар, глядя на него усталыми и воспаленными глазами.

— Не Пахомова, а Пархоменко.

— Кто ее разберет: ее к нам без памяти привезли. Идите в одиннадцатую палату. Там мелом на дверях номера проставлены. — Он вздохнул, потер себе голову и сплюнул. — Ну и народу валит, не успевают помирать. Всякие я видал фронты, а тяжелей холерного нет.

Дверь одиннадцатой палаты находилась наверху и была обита войлоком. Когда Пархоменко раскрыл дверь, на него пахнуло густым запахом йодоформа и в глубине палаты послышались стоны. Кто-то просил воды. Пархоменко зачерпнул кружкой воду из ведра, стоявшего у порога, и понес. Старуха с длинными буро-седыми волосами схватила кружку. Она пила, широко раскрывая горячий темный рот. Пархоменко оглядывал

все восемь коек и в полумгле не мог узнать Харитины Григорьевны.

— Харитина! — тихо позвал он. — Тина!

Женщина, лежавшая на соседней со старухой койке, сняла мокрое полотенце со лба и открыла глаза. Сразу осветилось это милое, худое и близкое лицо. Он сел на койку и, поглаживая ее руки, сказал:

— Держись, Тина... Скоро, сказывают, тебя выпишут...

— Конем пахнет, а так ничего, — проговорила она, медленно шевеля губами, так что надо было наклониться, чтобы услышать ее.— Как начну бредить, так и кажется, что я под казачьими копытами. А как ребята?

— На машине Ильича катались. Довольны. Сегодня я их вымою, а то грязны, как цыганята.

— Еще бы! — Она вздохнула и с усилием скрестила руки на одеяле. — А как мне полегче, все о белой булочке думаю. Мы ведь в Самаре привыкли. А здесь пища тяжелая. Как ты-то? Ты ведь привык быстро жевать! Как теперь управляешься?

— Стараюсь жевать, но бывает и некогда, тогда глотаю, как волк. — И он, чтобы утешить ее, тихо рассмеялся.

Она поняла его и сказала:

— Ты меня не утешай, Саша.

Она закрыла глаза.

— Спасибо, что приехал. Снаряды достаешь? Врага-то отгоните?

— Отгоним.

— Себя береги. Умру — дети на тебя.

Тогда он достал и показал ей свою телеграмму, только что отправленную в Царицын. В этой телеграмме он сообщал, что сверх выданных двадцати миллионов патронов ему удалось достать и послать вне очереди еще десять миллионов.

— Рассчитываю не сегодня-завтра миллиончиков двадцать еще добыть!

— Кабы да каждая пуля в цель, — сказала она с трудом, видимо стараясь войти в его интересы. Делать ей это было тяжело, и на висках ее показалась испарина. Но она повторила: — Кабы да каждая пуля в цель, так и полмиллиона хватило бы. Ты б их учил стрелять, курсы бы какие-нибудь открыл, что ли...

— Окопы — лучшие курсы.

— Ну-ну..

И она закрыла глаза.

Он положил ей под подушку несколько кусочков сахару, завязанных в носовой платок, и вышел.

У крыльца, поливая водой себе темя, умывался доктор.

— Что же это вы, батенька, без халата ходите? — спросил он, отбрасывая со лба мокрые волосы, на которых играло солнце. — Впрочем, халатов нет. Вы здешний?

— Из Царицына.

— Ну, тогда к вам и чума не пристанет, не только что холера. Как фамилия больной?

— Пархоменко.

— Выжила! Поздравляю!

И, вспомнив, должно быть, о своем умершем сыне, он посмотрел в землю, отвернулся, подошел опять к бочке и побрызгал на волосы водой. Пархоменко пожал ему руку и перевел разговор:

— Мне бы еще миллиончиков десять патронов!

— Чего?

— Патронов.

— Сейчас рецепт напишу.

— А вы веселый, — сказал Пархоменко, глядя на него с уважением и слегка улыбаясь, чтобы показать, что он ценит самообладание доктора.

Доктор улыбнулся и еще пошутил:

— В холерные бараки назначают холериков. Через пять дней приезжайте за женой. До свиданья!

В тот же день Пархоменко направил в Царицын поезд со снарядами. Хотя этот поезд и не был полностью загружен, но Пархоменко очень гордился им. И снаряжение было получено вне всякой волокиты, и отправлен он был вне очереди.

А секретная экстрапроводка Военного совета сообщала, что 18 августа в Царицыне раскрыт контрреволюционный заговор и что фронт, разбитый для удобства на три участка, подведен к самой линии круговой железной дороги. 19 августа экстрапроводка сообщала, что враги наступают на Бекетовку, что там пожар, и что телеграфисты все же остались на местах, и что в Астрахани восстали белогвардейцы во главе с полковником Макеевым. Восстали как раз те самые части, которые хотели послать на помощь в Царицын, и хотя штаб восставших

расстрелян, но неизвестно, можно ли посылать теперь на помощь эти части, да и велика ли будет от них помощь? 21 августа экстрапроводка сообщала, что в Царицыне снова раскрыт заговор. Восстание предполагалось начать в два часа ночи во время смены караулов. Пойманы руководители, имевшие связь с иностранными эмиссарами. В земле найдены в мешках приготовленные и посланные немцами девять миллионов рублей. 22 августа экстрапроводка сообщала, что вспыхнуло восстание в Бекетовке. Восстанием руководил бывший командир отряда эсер Суханов. Восстание подавлено. Руководители уничтожены.

И в тот же день была получена телеграмма от Сивачева. Сивачев перегрузил снаряды с поезда на пароход. Телеграмма его кончалась так:

«Пароход под парами. Плывем на Царицын. Сивачев, уполномоченный».

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Девятнадцатого августа на царицынской конференции представителей районных организаций партии коммунистов можно было ясно понять, что в Бекетовке и ее окрестностях происходит что-то неладное, хотя сейчас и неуловимое. Одно уже было странно: что командир отряда эсер Суханов, никогда не выражавший особенной симпатии к коммунистам, вдруг пожелал перейти в большевистскую партию.

Сообщили вскоре, что белоказаки бросились на юг, дабы отрезать Сальскую группу и пробиться через Бекетовку к Сарепте. Бекетовку прикрывают Тундутовские возвышенности. Возле них стоял Терентий Ламычев. От дивизионного командира он получил приказание: взять Тундутовские горы.

Как и большинство частей на фронте, отряд Ламычева с первых дней своего формирования не знал отдыха, а, кроме того, два дня назад он вынес тяжелый бой с юнкерскими батальонами. Все селения, в районе которых стоял отряд, были заполнены ранеными бойцами, и даже на площадях селений раскинули лазареты. Лазаретами заведовала Лиза, и, когда Ламычеву говорили: «Бойцы не желают идти в тыл», — он был убежден: они не желают идти в тыл потому, что их лечит

Лиза. И Ламычев старался даже скрыть количество раненых, и, хотя ему чрезвычайно нужны были пополнения, он молчал.

Дивизионный был удивлен, что Ламычев приказание о наступлении принял сдержанно, тогда как раньше он чрезвычайно радовался всякому приказу о наступлении. Кроме того, дивизионного раздражило и то обстоятельство, что Ламычев обещал отдать Царицыну все свои орудия, а теперь оказалось, что двух он еще не отдал. Правда, орудия эти были в очень плохом состоянии, но все-таки о поступке Ламычева и его сдержанности дивизионный счел необходимым сообщить Ворошилову.

Вечером в поповском доме с геранью и ситцевыми занавесками, где жил Ламычев со своей дочерью и зятем Гайвороном, раздалось шипение полевого телефона, и Ламычев услышал голос Ворошилова:

— Тундутовские горы должны быть взяты во что бы то ни стало, каких бы это усилий ни стоило. Вы ведете части под своей командой. Вы поняли мой приказ, товарищ Ламычев?

— Понял, — протяжно и нехотя ответил Ламычев.

Хотя телефон был плох и не приходилось думать об оттенках голоса, а хорошо, что хоть голос-то разобрать можно, все же Ворошилов уловил, что Ламычев чем-то недоволен. И Ворошилов повторил:

— Приведете приказ точно в исполнение?

— Примем меры.

— Да не «примем меры», а я вас спрашиваю: выполните ли вы до завтра мой приказ?

— К завтраму? Это значит сегодня?

— Да, это значит сегодня.

— Сейчас из участка орудийная перестрелка, так что если вы думаете насчет моих двух орудий, то я их отправить сегодня к вам не могу, потому что...

— Отвечайте, Ламычев, не виляя: выполните вы мой приказ или нет?

— Да, выполним.

— За выполнение приказа отвечаете головой?

— Отвечаем.

— До свидания, Ламычев.

По улицам ходили выздоравливающие, в избах стонали тяжелораненые. Ламычев вышел на улицу, посмотрел и вздохнул. Теребя курчавые волосы, он сел на

траву. На лавочке у забора сидели, куря, командиры, запыленные, усталые. Ламычев повторил приказ Ворошилова и посмотрел на своих командиров.

— Не выдержим, особенно — правый фланг, — сказал длинноволосый, с коротенькими усиками полковой командир. — На правом фланге сплошь пехота.

— Да и на левом тоже, — сказал другой. — Кадета идет такая сила, что черту с ней не справиться.

Гайворон, комиссар участка, остро взглянул на говорившего командира и сказал:

— А завтра сюда товарищ Сталин уполномоченного по хлебу посылает. Ссыпные пункты должны сдать ему пятнадцать тысяч пудов.

— Какой здесь хлеб? — несколько растерянно сказал командир.

— Брось, Петя. Всем известно, что склады хлеба — за Тундутовыми горами. Впрочем, ваше дело, товарищи, желаете вы отдать хлеб голодающей бедноте, или его пусть сожгут кадеты. Только тогда не надо и петь соловьем! Тогда не надо называть себя большевиком!

— Пленные говорят: против нас стоит одиннадцать полков, и половина из них — офицерских, — сказал второй командир, в то время как первый, о чем-то сосредоточенно думая, постукивал ногой по крепкой сухой земле.

— Врага хорошо считать, когда ты его в плен забрал, — сказал Гайворон.

Длинноволосый командир встал и решительно заявил:

— Берусь на свой полк сдать прибывшему уполномоченному шесть тысяч пудов хлеба.

Ламычев с гордостью указал на длинноволосого:

— Он у нас настойчивый! По его примеру другие отряды пойдут. Зови-ка письмоводителя, Вася, будем составлять приказ.

Пришел низенький и лысый письмоводитель. Лихо вертя пером и со стуком макая его в чернильницу, он записал приказ Ламычева. В этом приказе предлагалось кавалерийскому полку и батальону пехоты с батареей пробраться в тыл к кадетам. Как только взойдет солнце, пробравшиеся обязаны открыть стрельбу залпами.

Писарь прочел приказ. Ламычев достал часы, открыл толстую серебряную крышку и посмотрел на стрелки. После этого он захлопнул крышку и сказал:

— Пальба будет условным моментом. Последний раз, Вася, тешусь я своей батареей! После того посылаю я ее в Царицын. Так вот, товарищи командиры и комиссары, как только услышите залпы, так, значит, наши у врага в тылу и пора переходить к наступлению. Впрочем, я увижу сам, как вы будете переходить в наступление! — И он громко добавил: — Приказ прочесть во всех частях, не медля, как залп!..

Держа руку на талии Гайворона, он сказал:

— Пойдем в хату, у меня чай есть: у кадетов отбил. Хватим самоварчик — и в дело!

Когда они остались в избе вдвоем, Гайворон спросил:

— Неужели наши ребята в тыл к кадетам проберутся?

— Где пробраться! Такие, брат, у них заслоны, такая мощь — прямо как на западном фронте. Очень сильный враг.

— А как же твой приказ, Терентий Саввич?

— Я приказ мой создаю для духа бойцов. А перед делом выпущу второй приказ, которым поход в тыл отменяется. Постреляют ребята где-нибудь залпами в сторонке и повезут орудия в Царицын. Я от них мечтаю последнее удовольствие получить.

— Какое?

Ламычев налил чаю в блюдечко, подул на него с остервенелым наслаждением и сказал, хитро улыбаясь:

— Лавруша хорошего мужа моей дочери рекомендовал: тихий, водки не пьет. — Ламычев откусил крошечный кусочек сахару и с удовольствием рассосал его. — Одно плохо: соображает медленно, как через реку по льдинам идет. А удовольствие у меня такое, что врагу дам по морде. Зачем он в мой социализм лезет?

И Ламычев достал большие свои серебряные часы, раскрыл их с треском и сказал:

— Пора собираться.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Каждый день, как только обрывался рев гудка, весь город уходил на фронт. Останавливались заводы, учреждения, мастерские, магазины, пароходы, пустела железная дорога, дома. В городе оставались только дети

и старики, да и то старикам было велено присматривать, как роет буржуазия окопы на окраинах и смирны ли в тюрьмах заговорщики.

День был тусклый, небо плотно прикрывали тучи, и как только машина Ворошилова подошла к холму, с которого можно было увидеть передовой наблюдательный пункт, упали тяжелые, словно камни, струи дождя. Светло-фиолетовые кустарники, за которыми был командирский наблюдательный пункт, прикрыло дождем, так что горизонт совсем приблизился к холму.

Сквозь шум дождя послышались голоса и стук копыт по еще твердой земле. Показались кони, артиллеристы, головы которых были покрыты брезентовыми плащами, и темно-зеленый хобот орудия. Когда орудие остановилось, послышался голос артиллериста, который торопливо досказывал:

— ...Тут взял я дружок[1] веников и пошел в баню, а шапка у меня калмыцкой мерлушки, черно-бурая, волнистая. А хозяин был из маркитантов, повар из харчевни, дурашливый такой...

— Иному век прожить — все равно что пошутить! — сказал высокий бородатый артиллерист, должно быть знавший уже этот рассказ.

Ворошилов подошел к орудию.

— Чья батарея?

— Ламычева, товарищ командир.

— Взяли Тундутовские?

— Ничего не известно. Постояли мы сбоку, постреляли, а потом — на платформу и в Царицын.

Ворошилов сжал губы и сел в машину. Подошел начальник артиллерии, тот, который должен был поставить огневое заграждение, когда белые пойдут в главную и решительную атаку. Добродушное широкое лицо его было взволновано. Стараясь опустить капюшон плаща, чтобы вода не попадала на лицо, он сказал Ворошилову, не то спрашивая, не то утверждая:

— Цепи не те. Эти — крепки.

Ворошилов кивнул головой, и этот кивок начальник понял так, что приближающимся сегодня цепям закрывать отступление не нужно, чтобы не выдавать, где стоят наши орудия, сколько их, и чтобы сберечь снаряды.

---

[1] Пару.

— Поехали,— сказал Ворошилов шоферу.— В Бекетовку.

Машина шла вдоль линии железной дороги, проселком. Дождь несколько уменьшился. По линии, вздрагивая, пронесся блестящий от дождя бронепоезд. Вчера, 21 августа, узнали, что генерал Мамонтов направил четыре конных полка в сторону Бекетовки. Положение Бекетовки тревожило Ворошилова. Командир бекетовского отряда Суханов со странной болтливостью успокаивал спрашивающих и на все запросы отвечал: «Будет осуществлено в немедленный срок». Комиссар армии Щаденко находился в Громыславке, где оставались семь рот и кавалерия, составлявшие Громыславский полк; этот полк должен был охранять железную дорогу, идущую на юг. Ворошилов решил съездить сам в Бекетовку, чтобы проверить положение, а кстати и узнать, что происходит у Ламычева, потому что о Ламычеве не знали ни дивизионный, ни бригадный, а штаб его отвечал: «Товарищ Ламычев в горах, связь прервана».

— К вечеру вернемся?— спросил Ворошилов шофера.

— Бензину хватит, а не хватит — дольем керосином. Да там небось и квас найдется,— ответил, смеясь, шофер.

Дождь прекратился. Трещины, уже показавшиеся на земле от летней жары, зияли особенно мрачно. Тучи мчались стремительно, быстро подвертываясь под горизонт. Из долин несло сильным запахом полыни, а на пригорках качались ковыли, налитые, казалось, дополна тускло-серебряным светом. Стук мотора заглушал стрекотание кузнечиков, поднимая около дороги розовых скворцов и перепелов. Шофер в широких красных шароварах и в расстегнутой серой рубахе повернул лицо и указал в степь:

— Дрохва гуляет, Климент Ефремыч! В реке главная рыба — сазан, а в степи главная птица — дрохва, а среди движущихся людей — шофер.

Когда автомобиль подъехал к Бекетовке, к ним подскакало трое всадников с красными повязками на руках.

— Какая это часть? — спросил Ворошилов.

— Ламычевская,— ответил верховой.

— А повязки зачем?

— Так что некоторые восставшие бродят здесь с белыми повязками.

— Какие восставшие? Давай сюда командира.

Машина вышла на площадь. Из переулка выскочил на высоком игреневом своем жеребце Терентий Ламычев. Он был в красной рубахе, в простреленной фуражке и с обнаженной саблей.

— А ты почему не в Тундутовских горах? — закричал Ворошилов.

Ламычев отдал честь, вложил саблю в ножны и сказал:

— Интересно знать, товарищ Ворошилов, как бы поступили вы, если противник жгет у вас позади Бекетовку, поднимает мятежи, вешает комиссаров, палит пристани? Сомневаюсь, чтобы вы смотрели спокойно с Тундутовских гор...

— Значит, взял горы?

— Взял.

— А как они теперь?

— Отдал обратно.

Ворошилов встал в машине. На площадь выходила какая-то пехотная часть. Ламычев не смотрел на нее, из этого можно было понять, что это не его часть.

— А это кто?

— А это Щаденко громославцев привел.

— Выходит, тебе и незачем было спускаться с Тундутовских гор? Кто пришел раньше в Бекетовку?

— Им прийти легче, — ответил уклончиво Ламычев, — они сели в эшалоны на Абганерово, а мы шли степью.

Он снял фуражку, пригладил волосы и спросил:

— На севере, сказывают, тоже дело наладилось, товарищ командарм? И центр, чую, хорошо бьет?

Ворошилов посмотрел ему в глаза.

— Тундутовские горы обратно возьмешь?

— Конечно, займу.

— Когда?

— Завтра пойдем занимать.

— Не завтра, а сейчас!

— Все утро выбивали противника, товарищ Ворошилов, шли сюда с лишком двадцать верст...

— Побили мятежников, и хорошо. Пойдешь обратно. Если сомневаешься, я пойду с вами.

Ламычев посмотрел на него сбоку и промолчал. Шофер проговорил:

— Бензину до гор хватит, а обратно никак, товарищ командарм.

— Так, значит, вам коня надо, товарищ командарм, и ординарцев? — спросил задумчиво Ламычев.

— Могу и пешком, если нет коней.

— Кони наши, конечно, слабенькие,— сказал Ламычев, похлопывая по шее великолепного своего Беркута. — Не осудите. Прикажете о факте по фронту сообщить?

— Сообщи. Чудак ты, Ламычев, — сказал Ворошилов, улыбаясь. — Почему ты мне телеграмму не послал?

— Телеграф нонче тоже врет, — сказал Ламычев. — Вы бы послушали, какие дела происходили здесь у Суханова. Секретарь у него трухлявый, умирать не хочет, надвое раскалывается, прощенья просит! Готовили, вишь ты, подарок кадетам за наступление...

Он указал на откормленного, гладкого и веселого вороного коня, которого подвели к машине.

— Вот таких тут целый табун.

— Откуда?

— Торговец буржуй из-за Волги переправил. — И он сказал торопливо: — Разрешите коней причислить безусловно к моему отряду, товарищ командарм? Против меня конный генерал Мамонтов стоит.

— А сколько коней?

— Еще не успел сосчитать, — нехотя ответил Ламычев и, повернувшись к подскакавшему Гайворону, сказал: — Веди стрелков обратно. Скажи: кони есть, теперь для них проблема — седла достать. Да веселей смотри, зятек!

Он немножко сердился на Гайворона. Гайворону было поручено самому доставить батарею к станции Воропоново, а он взял погрузил батарею на платформу и вернулся. «Учи такого,— думал Ламычев,— он, вместо того чтобы оружие беречь, о славе мечтает. Нету в нем широты, нету».

Стрелки уже знали, что с ними едет Ворошилов, и первые пять километров они шли с песнями, на вторых пяти вспоминали боевые случаи — и как они гнали врага с Тундутовских гор и как били мятежников в Бекетовке. Дальше переносить зной, и эту уже к полудню воскресшую пыль, и это непрерывное стрекотание кузнечиков стало чрезвычайно трудно. Шли молча, преодо-

левая нестерпимое желание — спать, спать! Тяжелые ботинки казались налитыми раскаленным металлом, глаза резало от сухих и усталых слез.

— Это, парень, больно хорошо, что Ворошилов с нами, — говорил тихо Ламычев, слегка наклонившись к Гайворону.— Ребята с ним дойдут-таки до гор. А вот как мне его теперь от гор удалить — это штука!

— Зачем?

— А вдруг, не дай бог, парень, пуля да заденет командующего! Какой же позор падет на нашу бригаду, не говоря уже обо всей армии. Я прошу тебя, Вася, как пойдем в атаку, ты его ординарцами оцепи, а сам иди со мной рядом, я как-нибудь буду вперед его вырываться!

Показались Тундутовские возвышенности, голые, с редкими шапками перекати-поля, хилого брюквенного цвета. Кадеты уже укрепились там с пулеметами, а передовые части их оттеснили наш заслон почти к самому селу, где находились штаб и лазарет. Стрелки стояли молча. Послышался из рядов чей-то усталый голос:

— Страна здесь малолесная, а житель маломудрый! Бить его надо, пока не погниет аж до корня.

Вечерело. Бойцы выпили по кружке воды...

— Вы на них не смотрите, что они пыльные, — сказал Ламычев, выезжая вперед, — у них душа еще не прокисла!

И он закричал «ура» таким свежим и бодрым голосом, что даже раненые — и те подхватили этот пиршественный, великолепный и торжественный крик.

— При таком крике да не взять гор! — сказал Ворошилов, а Ламычев, закинув назад курчавую круглую голову с большими голубыми глазами, заливался:

— Вперед, товарищи, за красную родину! Вперед за дело Ленина!

— А-а!.. — понеслось по степи, вырвалось из села, погнало белоказаков, приблизилось к подножию возвышенностей и поднялось в высокое сильно посиневшее небо и, словно возвратясь оттуда стократным усилившимся эхом, ударило дергающим треском пулеметов, стонами раненых, восклицанием дерущихся, столкновением штыков и стуком камней, покрытых кровью, выскальзывающих из-под ног у побежденных, бегущих, скользя, по откосу.

Продолжая кричать «ура», Ламычев непрерывно показывал Гайворону на Ворошилова, который нет-нет да обгонял свою охрану и вырывался вперед.

Конь под командармом споткнулся: видно, подбили. Командарм быстро перескочил на другого коня, которого подвел к нему ординарец. Тогда Гайворон стегнул своего коня, чтобы теперь-то выскочить вперед. Но где там! Ворошилов опять впереди него! Стегая коня, Гайворон кричал, вспоминая любимые слова Пархоменко, своего командира и друга:

— Вперед и точка!

— И точка! — ответил ему Ворошилов, взмахивая шашкой и ставя точку в чьей-то белогвардейской жизни.

Гнутая сверкающая струна месяца перерезала и уничтожила последнее облако. Небо очистилось. Всадники огляделись, точно впервые увидав пространство под месяцем. При свете его было видно, как свозили захваченное оружие, коней, как считали пленных. И чей-то круглый, льстивый голос твердил: «Гражданин комиссар, запишите, что я с высшим образованием и могу быть полезным Советской республике».

— Как граблями вычистили, — сказал, тяжело и счастливо дыша, Ворошилов. — А ты, Ламычев, говорил, не взять сегодня. Что касается меня, так мне, брат, надо ехать обратно. Водицы нету испить?

— А у меня квас есть в баклажке... Я рассчитывал, до ночи будем рубиться, горло пересохнет, ну и... — начал было Ламычев, но в это время какая-то последняя шальная пуля ударила его коню в грудь, и Беркут, сделав несколько раз «свечку», тяжело рухнул на землю.

Ламычев, потрясенный, всхлипывая, щупал неподвижное сердце своего Беркута, которого он «нещадно любил».

Ворошилов подскочил к Ламычеву. Весь дрожа, он закричал:

— Ты что же, Терентий, не бережешь себя! Ты знаешь, как у нас мало командиров, и позволяешь, чтобы под тобой коней убивали?

Подавая баклажку и утирая слезы, Ламычев сказал:

— Разрешите заметить, товарищ командарм, что под вами сегодня уже три лошади убито.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Паек, который они привезли с собой, быстро исчез. То ли ели много, то ли дарили, но уже на шестой день оказалось, что надо хлопотать о пище. Тогда Пархоменко выдали талоны на обед в столовой при общежитии «Метрополя». Как ни мало замечал он это, все же ощущалось, что кормили очень плохо. А большое его тело настоятельно требовало еды. Он входил в столовую, подавал талон, съедал какую-то кашицу двух сортов, из которых один назывался супом, а второй «котлет-пюре», расписывался и каждый раз, ухмыляясь, говорил:

— Пищи-то меньше росчерку.

Большая комната общежития тоже была какая-то голодная, тусклая, неласковая. Железные койки так тесно заполняли ее, что проходить между ними приходилось боком, да и то брюки полировали железо коек, а так как брюки были только одни, то и проход между койками раздражал. Окна выходили под стеклянную крышу и постоянно были раскрыты, неподвижны, а из окон несло чем-то кислым и затхлым, и так как там под стеклянной крышей когда-то находился ресторан, то думалось, что буржуи бежали, забыв захватить свои кушанья, и они стоят теперь, воняя, протухшие.

По одну сторону койки соседом был какой-то черный человек с длинными, круто закрученными почти до бровей усами, а с другой — постоянно встревоженный крестьянин откуда-то из-под Уфы. Длинноусый человек обладал чрезвычайно язвительным взглядом. Ночью он долго кашлял, и когда Пархоменко, освещая дорогу зажигалкой, пробирался к себе, усталый человек приподнимался на локте и, стараясь сдержать кашель, спрашивал:

— Ну как, царицынец, кружит тебя пламень? — И, не дождавшись ответа, говорил: — А вот в Ашхабаде гораздо пламенней, там никаких покрывал нету от жары.

Когда Пархоменко услышал впервые этот вопрос, он спросил:

— Вы из Ашхабада?

— За каким дьяволом меня туда потянет, я человек больной дыханием. — И он продолжал, хватаясь за

грудь: — Мы из Архангельска, наша жара живительная...

Скоро стало заметно, что он называет все более и более дальние, но жаркие места, словно он плывет на каком-то невидимом пароходе к тропикам. Жару, тесноту и давку Москвы, суматоху ее и вообще весь пламень страны он расширил до пределов всего земного шара, и, наверное, во сне ему казалось, что он раздувает, как стеклодув, громадный пылающий шар, а наяву — так как он знал, что легких у него не хватит и дышать ему трудно,— он говорил о жаре, но без всякой зависти, наоборот, с любовью смотрел на широкую грудь Пархоменко, на его спокойное и сильное дыхание.

— Дуете? — спрашивал он.

Пархоменко, улыбаясь, отвечал:

— Дую в иерихонскую трубу. Кое-где стена уж упала!

Сосед садился на кровать, доставал кожаный портсигар и протягивал Пархоменко.

В комнате было такое ровное и дружное дыхание спящих, как будто где-то рядом работали сильные и большие мехи. Так спать, думал с удовольствием Пархоменко, могут только чрезвычайно утомленные, но нашедшие справедливость люди!

— Конечно, свинство — курить при таких спящих, — говорил усатый человек, улавливая мысль Пархоменко,— но мы ведь с вами по одной.

— По одной, не рассердятся, думаю.

Расширялся огонек папироски, и сосед с наслаждением говорил:

— Пламень!

— Пламень! — уже понимая, что он хочет сказать, подхватывал Пархоменко.

— Удаются хлопоты-то?

— Мало-помалу...

— Должны удаться. Ты стучи кулаком посильнее. Как ни хотят буржуи и ихние подкряхтельщики помешать нам, все равно, брат, социальная... — и он так глубоко втянул в себя дым, что осветились не только лицо, но и грудь его и перламутровые пуговицы на белой рубахе, — социальная революция шагает, как они ни хотят откупиться. Ведь вы получили по требованию номер семьсот двадцать четыре?

— Получил, — улыбнулся Пархоменко тому, что усатый человек уже запомнил даже все номера его требований.

Усатый человек тоже рассмеялся и затянулся в последний раз.

— Мне это приятно, хотя, если мыслить по-житейски, мне надо бы на все на это плевать.

— Почему же плевать?

— А я сегодня все-таки к доктору попал, к знатоку моих болезней. Ну-с, постукал он меня по груди и спрашивает: «Где вас это угораздило?» А на Печоре, отвечаю. «Как это?» А так, мол, что окружили нас белые, меня как комиссара схватили первого и, для науки другим, обмакнули в прорубь и бросили в сугроб, как рыбу. Спасибо, по голове слабо стукнули, наступила вдруг оттепель, и через полдня я ожил... Доктор еще раз выстукал, понюхал и так крепко говорит: «Усиленное питание, умеренная, лучше теплая морская полоса! Иначе — крышка-покрышка». А я ему и отвечаю: «И теплая и умеренная полоса покумилась с белыми, выдайте мне, пожалуйста, покрышку». Он только бородой шевельнул. Да и что сказать!

Уже светало. Резко виден был его сгорбившийся силуэт, и темнели руки на голубых подушках. Он покачал головой и прохрипел:

— А вы спите, царицынец. Мне лежать трудно, задыхаюсь. Как у нас говорят: был извоз, а теперь на возу одну смерть везу. Да о чем это я вам рассказывал? А! Размышляя по-деловому, мне бы плевать на ваши хлопоты, а вот не могу. Такая обязанность. Раз взялся лезть по лестнице, то как ни круто, а лезь! И вам круто будет, царицынец, но вы идите. В гололедицу и слон упадет, но слон — слон и есть, и будет он жить себе лет триста, а если измерить по-настоящему — и больше.

Он закашлялся, помолчал и продолжал:

— Это хорошо, что при большом вашем росте вы все-таки, должно быть, понимаете, что если даже мерить вашим ростом, как масштабом, скажем, одну к миллионной, то все же по отношению к Ленину вы будете не больше сантиметра всей площади занимать.

— И даже меньше, — проговорил, засыпая, Пархоменко.

— Может быть, и меньше. Я ведь самоуком учился на чертежника. Из мукомолов был, механик при машине. Не вышло ни чертежа, ни женитьбы даже. Война!.. Но, впрочем, замечу, что никакой малостью площади враги не побрезгают, где вы дышите, шагаете, стремясь уничтожить вас...

Долго, сквозь сон, Пархоменко слышал усатого. И Пархоменко казалось, что человек не засыпает не оттого, что он болен, а оттого, что ему скучно спать и хочется видеть возможно больше. Когда утром Пархоменко проснулся, усатый уже ушел, и Пархоменко было приятно, что этот человек может еще смотреть на великолепный мир, который они оба понимают так хорошо.

И день был хороший! Небо было простое, светлое, безоблачное, какое-то батистовое.

Во всех газетах были напечатаны объявления о митингах, которые должны были состояться 30 августа. Сообщалось, что тридцатого на заводе Михельсона выступит Владимир Ильич. Прочтя это, Пархоменко подумал, что надо так подравнять работу, чтобы непременно попасть в пятницу на завод Михельсона.

И работа спорилась. Удалось отправить состав, который предполагал отправить только к концу недели. С этим составом поехали опытные ребята, и можно было надеяться, что Царицыну удастся получить снаряды в срок.

После обеда Пархоменко поехал к Харитине Григорьевне. Раньше он ее видел все вечером, поздно, и при свете лампы как-то не особенно замечался ее изнуренный вид, желтизна ее кожи, желтизна, которая крайне резко была заметна сейчас, словно под кожей была не кровь, а что-то тяжелое, осевшее, при мысли о котором сжалось сердце. Вчера он получил жалованье, и луганчанка, у которой в передней на привезенных с Украины сундуках спали его дети, купила на все это жалованье полфунта леденцов и две детские коротенькие рыженькие рубашки.

— Живем не богато, а хорошо, — сказал Пархоменко, разделяя леденцы на две части: одну, побольше, детям, другую, поменьше, жене.

Он побрился, вымылся, взял ребят и пошел.

Харитина Григорьевна смогла уже выйти к воротам. Она стояла, держась за шатающуюся калитку. Дети прижались к ней. Она осмотрела их — и то, что пуго-

вицы все были на месте и что от детей пахло хорошим мылом, и то, что они подали ей конфеты, вызвало на щеках ее такой румянец, что Пархоменко показалось, словно и сердце его тоже покрылось румянцем. «Выживем»,— сказал он сам себе и погладил ребят по коротко остриженным мягким головкам.

— Как Царицын-то? — спросила Харитина Григорьевна, стараясь уловить наиболее хлопотливые мысли мужа.

— Держимся, — ответил, смеясь, Пархоменко. — Они нас шпиговальной иглой, а мы их вертелом! Они нас на сковородку, а мы их на противень.

Когда он вернулся в «Метрополь», ему передали телеграмму. Телеграмма была из Царицына: «Москва, начоперода, для царицынского уполномоченного Пархоменко. Положение на фронте улучшилось. Везите не медля все, что получили. *Сталин*». Пархоменко провел ребят к луганчанке, чтобы оставить их там и идти в бюро. Луганчанка ему сказала, что его уже три раза вызывал по телефону Кремль. Он спросил обеспокоенно:

— Кто звал-то? Кремль велик.

— Не сказали.

Вошел комендант.

— Из Кремля телефон. Пархоменкова. Ждут.

Пархоменко подбежал и схватил трубку.

— Кто это? — крикнул он, глубоко дыша.

— Это Ленин, — послышался в телефон слегка приглушенный расстоянием голос. — Не можете ли вы, товарищ Пархоменко, уделить мне сейчас пятнадцать минут и приехать в Кремль? Можете? Пожалуйста, я жду вас.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ленин был один. Когда Пархоменко вошел, он перелистывал какую-то толстую книгу. Увидав Пархоменко, он быстро закрыл книгу, поднял голову и спросил, похлопывая ладонью по книге:

— Опять они там со снарядами вас задерживают?

— Снаряды сегодня, Владимир Ильич, удалось отправить вне очереди...

Пархоменко хотел добавить: «Хотя и не в таком количестве, как для Восточного фронта», — но смолчал.

В последние дни он часто вспоминал слова Ленина о первостепенной важности Восточного фронта: разговоры с военными и многие другие факты подтверждали это. Но, разумеется, своего он не упускал — то, что нужно получить Царицыну, он старался получить: он только стал сдержаннее. И по глазам Ленина было заметно, что он понимал состояние духа Пархоменко и он одобрял его.

— А в Царицыне как?

Пархоменко хотел было сказать о телеграмме Сталина, но Ленин прервал его, вставая:

— Видите ли, у нас любят, чуть что — и сложить руки.

Он опять хлопнул рукой по книге.

— А руки складывать никак нельзя. Скуют! Кандалы наложат! — Он рассмеялся. — Я к ним звоню сегодня: в каком положении отправка снарядов? А они мне читают телеграмму Сталина к Пархоменко, что, мол, положение улучшено. По всей видимости, какой-то неопытный ваш помощник показал им эту телеграмму в ваше отсутствие, и они уже рады. Раз положение улучшилось, то зачем снабжать. По-моему, наоборот! Врага мы должны не только отражать, но главным образом гнать совершенно с лица земли. Как, по-вашему? Я решил с вами посоветоваться.

Пархоменко стоял, держа руки по швам, багровый и страдающий от стыда: только отвернулся — и все уже пропало, покатилось вниз! А самое главное: то, что должен был сделать он, Пархоменко, делает за него Ленин!

— Нехорошо, — сказал он.

— Что нехорошо?

— Да нехорошо я поступил. Отправил поезд и думаю — все уже налажено и все готово.

Ленин засмеялся.

— Гм! Но, знаете, все же ведь есть советская власть, не правда ли? Если советская власть по-настоящему будет настаивать, чтобы вы получили снаряжение, коечего добиться все-таки можно, а?

Зажглась красная лампочка. Ленин взял трубку телефона. Он послушал говорившего и сказал:

— Совершенно верно, товарищ, положение в Царицыне улучшилось, но врага приходится добивать. Таков закон истории. Я настаиваю, чтобы выдали все снаряжение, которое требует Пархоменко. Все! Вот он стоит

здесь, и кричит, и возмущается...— Ленин закрыл трубку ладонью и, улыбаясь, тихо сказал:— Это чтобы они не ссылались на то, что вы с ними тихо разговариваете.

Он кивнул головой, снял руку с телефона и продолжал:

— Да, да, я слышу ваши соображения. Что? Возражает? А вы пошлите его к черту, но только вежливо.

Он положил трубку, потер руки и прошелся по кабинету. Видимо, он был доволен ходом дела. Он посматривал на Пархоменко ясными, улыбчивыми глазами, и чувствовалось, что ему не хотелось расставаться с этим простым рабочим парнем в гимнастерке с обтертыми рукавами, с очень ловко заштопанной прорехой на локте. Огорчение у Пархоменко было такое простое, приятное. А как, наверное, человек этот ловок и быстр на природе, среди поля или в лесу! Наверное, он любит и знает рыбную ловлю, охоту, и как бесшумно шагает он, вероятно, среди самого сухого валежника. Приятна была и скороговорка его, напоминающая скороговорку сибирских мужиков. И Ленин спросил:

— А вы сегодня брились?

— Брился,— изумленно ответил Пархоменко.

— А я еще нет. Пойдемте в парикмахерскую, кстати прогуляемся.

Ленин шел быстро, раскланиваясь направо и налево, бросая тому или иному встречному несколько фраз.

Ленин поражал Пархоменко тем, что, будучи Лениным, то есть простым человеком, с которым Пархоменко разговаривал, шутил, который предупреждал встречных товарищей, что на заседании надо быть аккуратно в половине седьмого, или расспрашивал кого-то о здоровье, напоминая о необходимости лечения,— Ленин в то же время был тем величественным и вдохновенным вождем, чей образ дойдет до отдаленнейших наших потомков, чей образ постоянно будет стоять возвышенным примером перед нашими внуками, правнуками, миллионами, миллиардами людей! Если бы Пархоменко мог это выразить словами, он бы назвал это ощущение подлинным и неистребимым ощущением бессмертия. Но он не искал слов. Аристократы, купцы или просто обыватели подбирали для определения значения Ленина множество слов, которыми пытались передать его силу или внушаемый врагам ужас. Но никто, кроме трудящихся, именно

этих простых сердец, не мог так видеть и чувствовать в нем подлинно то, что было одновременно и настоящим и далеким прошлым, нашедшим свой смысл и оправдание, и раскрывшимся будущим.

Они шли по косогору, иногда останавливаясь. Ленин смотрел на Замоскворечье, на дымку — чуть розовеющую, потому что уже приближался закат. Среди домов, как поплавки, видны были купола церквей.

— Там, кажется, есть озера — пониже Царицына? Передавали, что там отличная охота? — спросил Ленин.

Пархоменко даже не сразу понял, о какой охоте идет речь, и он сказал невпопад:

— Озера все соленые.

— А разве возле солончаков нет дичи?

Пархоменко, который считал охоту малостоящим занятием, пренебрежительно ответил:

— Так, мальчишки ходят.

Ленин рассмеялся. «Пробовал охотиться, но, вероятно, неудачно», — подумал он о Пархоменко. И так как и эта дымка и эти крыши, расстилавшиеся перед ними и отливавшие бронзой, смутно напомнили ему какое-то стихотворение, которое сейчас сразу нельзя было и вспомнить, он спросил:

— А кого вы любите из писателей?

— Мамина-Сибиряка, — сказал Пархоменко.

Ленин оглядел его еще раз и сказал:

— Хороший писатель. — Он посмотрел опять на дымку, застилавшую Замоскворечье, и медленно сказал ему: — Но Толстой лучше. Рекомендую перечесть.

И он еще раз окинул Пархоменко пронизывающим взглядом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Часы постепенно скапливают в себе звук, отмечающий ту или иную сумму времени.

В Царицыне все шло по-заведенному: роты отправлялись на фронт, продовольственные и артиллерийские летучки подвозили к линии огня пищу и снаряды: к станции Воропоново, куда особенно напирал противник, стягивали артиллерию, и сюда уже привезена была

часть тех снарядов, которые послал Пархоменко с Сивачевым и которые были доставлены в Царицын водой, на пароходе, и которые, однако, все же не были ударом часов, отмечающим новую сумму времени, потому что в конце концов о получении снарядов знало только немного людей. Ударом часов, как ни странно, оказалось колыхание церковных хоругвий и пение, которым дирижировал регент с перевязанной щекой.

Было раннее утро. Земля еще не казалась опаленной, какой она бывала обычно в полдень. На вершинах бугров колебалось еще нечто неуловимое, словно уходили покровы ночи.

Бойцы уже привыкли к тому, что казаки, плеснув в ладони воды из бочек, омоют лицо, перекрестятся на восток и, пока еще прохладно, возьмут винтовки и пойдут в атаку. Ранним утром атаки всегда были наиболее яростны. Их ждали и на них злились, а в этот день злились по-особенному крепко, потому что казаки ели сытно и могли выспаться перед боем, а этим стоявшим против них длинным рядам рабочих не удавалось не только сытно поесть, но и выспаться удавалось не всякому, так как многие всю ночь работали — кто на заводе, а кто ходил в охране, а кто и просто мучился бессонницей от голода и нервного возбуждения.

Сталин, Ворошилов и сопровождавшие их командиры на длинной, подпрыгивающей машине подъехали к разбитой землянке. Спереди землянку огибали окопы. Обогнув землянку, окопы поднимались на холм. Колючей проволоки не хватило, и ее протянули только в тех местах, которые по чутью бойцов казались более всего опасными. Проволока отливала синим, и белые крапинки колючек ее были похожи на росу. Позади землянки стояло несколько деревьев. Кучи хвороста слегка прикрывали орудие. Толстогубый, с узенькими глазами артиллерист, неизвестно для чего, а скорее — чтобы показать свою расторопность и знание приказа, подбежал к машине и, придерживая двумя длинными пальцами фуражку, доложил, что орудия готовы бить врага с открытых позиций.

Из землянки вышел пожилой украинец в широких сапогах и расшитой рубашке. Он нес эмалированную миску с водой и такую же эмалированную синюю кружку. Это был Полищук, один из работников снабжения фронта.

— А вы зачем здесь, товарищ Полищук? — спросил Сталин, вытирая усы, выплескивая из кружки остатки воды и передавая кружку Ворошилову.

— Я, товарищ народный комиссар,— сказал Полищук с сильным украинским акцентом, — жду хлеб, чтобы вывезти его немедленно.

И он замолчал, понимая, что дальше и объяснять нечего. Вода в миске чуть колебалась, отражая деревья, землянку и наблюдающего с дальномером.

Сталин посмотрел на артиллериста.

— Отступление противнику будет закрыто? Как вы думаете?

— Могила, — ответил тот неожиданным дискантом, волнуясь, что могут быть сомнения. — Могила противнику! У врага только с виду тыл крепкий, а на самом деле такая легкость, что для понтона годится. Обещаю!

Сталин, на ходу чуть улыбнувшись отчаянному возгласу артиллериста, переспросил:

— Даже обещаете?

— Клятвенно обещаю, товарищ народный комиссар! — И, весь вздрагивая, артиллерист подбежал к орудиям, словно боясь, что они могут ударить без его приказания и в неуказанное время.

По окопу, который был здесь сильно углублен, поднялись на холм. Бруствер окопа был почти целиком из щебня и песка. Глина попадалась изредка, и мокрые куски ее еще хранили отпечаток лопат, следы ночной работы.

Холм был небольшой, но с него видно было далеко из-за чистоты воздуха. Судя по очертаниям поля, сражение происходило на бывших бахчах, но точно сказать едва ли бы кому удалось, — настолько измяли поле. Окопы были узкие, и, когда командиры проходили, бойцы прислонялись к стенкам. Один, улыбаясь, сказал:

— Однако, язви их, приличный коридор буржуи-то нам выкопали, товарищ народный комиссар?

— Из Сибири? — спросил, тоже улыбаясь, Сталин. — Как сюда попал?

— К счастью поближе! — ответил бойкий сибиряк и, вытянувшись, вдруг закричал: — Да здравствует мировая революция, ура!

И неожиданное это «ура» понеслось по степи, звуком своим отмечая длинную цепь раскопанной земли, скрывавшую вооруженный народ.

Наискось пролетели торопливо и шумно бьющие крыльями утки.

— Это они не от крика, а потому что кадеты идут, — сказал Ворошилов, указывая на уток.

И точно, подбежал ординарец и сказал, что, по сведениям передовых, белоказаки обнаруживают заметное движение.

Далеко, в сиреневой дымке, мелькало что-то широкое. Ворошилов спустился к землянке, и слышно было оттуда, как он кому-то настойчиво говорил:

— Ты приказал, что сегодня мы их подпускаем на триста шагов?

— Шагов или сажен, товарищ командарм?

— Шагов. Приказ помнишь? Написано: триста шагов. Никак не больше. А триста сажен — это будет шестьсот шагов. За шестьсот шагов у человека и у коня ты разглядишь голову, а за триста шагов различишь лицо и сгиб ноги.

— Дальномеры установлены, товарищ командарм.

Не поворачиваясь к бойцам и не разглядывая их, а по одному напряженному и взволнованному дыханию стоящих в окопе можно было понять, какую ненависть, непереносимую, тяжелую, возбуждало это движение кадетов, и красноармейцы переложили винтовки в левую руку, чтобы правой уже наверняка узнать, достаточное ли количество патронов в подсумке.

Уже можно было различить кое-где головы людей.

— Семьсот, семьсот,— считал вслух Ворошилов, словно опасаясь, что артиллеристы могут обсчитаться.

А внизу, возле землянки, кто-то могучим басом повторял за ним:

— Семьсот, семьсот! Не торопись, товарищи.

— Четыреста, четыреста,— уже говорил Ворошилов, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу и передавая кому-то бинокль.

Сталин взглянул на него. Ворошилов оглядывал окоп, чтобы взять свободную винтовку и успеть выпрыгнуть первым. По лицу Сталина видно было, что ему хотелось остановить Ворошилова. Но он понимал, что тут не только остановить, а и самому трудно удержаться. И он промолчал. Окопы молчали.

— Триста! — сказал громко Ворошилов и, неожиданно выхватив винтовку у стоявшего рядом бойца, выскочил

на бруствер и звонким голосом, покрывающим поповское пение, закричал:

— Отступать некуда! Позади нас бесчестье и Волга! За мной, сыны революции!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В то время как артиллерия разрушила взрывами дорогу бегства кадетов, а рабочие с ружьями наперевес гнали белоказаков от Царицына,— тогда же Терентий Ламычев, выполняя приказ о том, чтобы ни в коем случае не отступать, стоял на Тундутовских горах под обстрелом пулеметов и орудий.

Так как орудия свои он отправил в Царицын, то отвечать ему приходилось только из винтовок, изредка пуская в ход пулеметы. Белые же, думая, что это — хитрость противника, очень сдержанно ходили в атаку. Подождав до полудня, Ламычев пошел пешком вдоль своего фронта. Окопы были вырыты наспех, да и рыть-то было почти некому, так что идти приходилось, сильно пригнувшись. Ламычев шел и думал, что скоро должна быть крепкая рукопашная, и его волновало, что во время этой рукопашной случайно он может оказаться не в самом ответственном, а в самом спокойном месте своего фронта. И еще ему было жаль, что он не мог повести ребят в атаку, потому что ряды его частей сильно поредели, а три эскадрона конницы легли почти целиком, и назначенный только вчера командир конницы Василий Гайворон был ранен в грудь. Жаль ему было и свободных коней, которых недавно пригнали из Бекетовки и которых нельзя было использовать, потому что кони были мало объезжены, а оставшиеся стрелки должны были еще сами обучаться, как по-настоящему ездить и ходить за конем. Кони эти стояли в селе, позади Тундутовских гор, в том селе, где находились его штаб и лазареты.

Он посмотрел на солнце. Сейчас, наверное, коней подогнали к колодцу, и они наклонили большие и умные головы к длинным корытам... Это хорошо, если кадет не пойдет в атаку еще часа два: к тому времени отгонят коней подальше, а в случае чего не так уж будет горько отдать Тундутовские горы! Он достал часы, посмотрел на них и, щелкнув крышкой, сказал:

— Еще подождем часика два, глядишь, подойдет подмога с артиллерией.

И он и стрелки знали, что никакой подмоги не будет, что артиллерия рядом и вместе с другой сотней орудий отбивает врага от линии круговой железной дороги у самого Царицына. Но никто не говорил друг другу, что артиллерия не придет. Нельзя было портить настроение приятелю.

Кадеты пошли меньше чем через час. Ламычев плюнул и встал во весь рост. Солнце жгло плечи и голову. Он снял фуражку и, оглядев ряды своих стрелков, решил все-таки скомандовать контратаку. Он подозвал командира и не успел выговорить и двух слов, как что-то палящее обрушилось на его плечо и на мгновение и поле, и окопы, и приближающиеся всадники вздыбились и в то же время покрылись какой-то вишневой сыпью, а затем рыбами нырнули ему под ноги.

Он очнулся в телеге, почему-то необычайно высоко поставленной, как будто выше любого дома. Пахло мятой. Левая половина туловища горела, а правая была какая-то соленая и тяжелая. Закрывая крышу избы, перед ним появилось сильно изменившееся лицо Лизы. Как только он увидал ее, он понял, что ранен, и ранен серьезно, и тотчас подумал: «Лиза да не вылечит? Так склепает, что будет вровень с краями». Но додумать, с какими краями будет он вровень, он не мог. И все-таки он почувствовал себя очень спокойно, и если бы не слепившийся рот, то было бы совсем хорошо. Он попробовал скосить глаза в сторону, чтобы понять, почему это телега стоит так высоко, и ему стало больно: «А кажись, конец Ламычеву,— подумал он.— Без Ламычева, дьяволы, отдадут кадетам коней». Но ему трудно было даже представить, каковы те кони, о которых он сейчас думает, и, однако же, он не мог отпустить этого слова. Лицо Лизы розовело, делаясь то ближе, то дальше, словно оно качалось от телеги до крыши избы. Ламычев задвигал бровями. Лиза сразу уловила, о чем он думает, и сказала:

— Кони при нас. Выручил Щаденко, он мимо шел. Сейчас наши в тыл ударили. Коней взяли. На конях пошли.

Брови его стали неподвижны. Он словно исчислил все наиболее важное и теперь глядел строго, думая о другом. Лиза отодвинулась, и он увидел двор и, долж-

но быть, отбитую у белых длинную коляску с желтым кузовом, забрызганную грязью. У коляски были забавные низенькие колеса, и Ламычев подумал: «Чудаки!» В коляске играли ребятишки, и один в рубашонке с полуоторванными рукавами махал длинным веревочным бичом — это был, наверное, сын пастуха. Ламычев перевел глаза на Лизу. Он хотел спросить, который теперь час. Она страдающе смотрела на него и, не понимая его, плакала. Тогда он с трудом свел брови и прошептал:

— Ну, все равно пора,— и медленно опустил веки.

Пересекли поле. Санитары, уже убрав раненых, складывали трупы. Машина обогнула какого-то дьякона. Это был коренастый мужчина, и он лежал ничком, положив голову на фольговую ризу иконы и выпятив толстый, покрытый коричневым шелком зад.

— Плевка жалко на такого отшельника,— сказал шофер.

На подножке машины примостился уполномоченный Полищук. Поставив лопаточкой ладонь над глазами, он иногда вставал и оглядывал поле, и тогда недовольный шофер, которому казалось, что из-за уполномоченного машина дает крен в сторону, кричал:

— Не застите света, товарищ!

— Не свет ищу, а хлеб,— отвечал Полищук.

Ворошилов сидел, сложив руки на коленях, и, повернув к Сталину счастливое, с хорошими, веселыми складками лицо, еще вздрагивающее, как будто он слышал крики атаки, рассказывал отдельные случаи боя.

Хотя белоказаки отступали, но орудия их все еще продолжали обстреливать поле сражения. Время от времени возле дороги падали снаряды. Один снаряд разорвался возле телеграфного столба, и столб, перевернувшись раза три в воздухе, встал на свою верхушку и стоял так несколько секунд. Почему-то это страшно удивило и, должно быть, испугало шофера. Он дернул кверху голову и сказал:

— Ишь ты, скиталец.— И, повернувшись к пассажирам, добавил:— Опасаюсь, при такой дороге шина не выдержит.

— Это свой стреляет,— шутя сказал Сталин шоферу, уловив его мысли.— Недолет, перелет. Где в шину попасть. Давай прямо.

Шофер прибавил скорость. Машина подпрыгнула и побежала.

Шоссе шло вдоль фронта, иногда выходя далеко вперед, иногда прикрываясь пустыми теперь окопами. Всюду было одно и то же: трупы, брошенные повозки, оружие, санитары.

Въехали в село. Сразу же при въезде у третьего дома увидали возле ворот пять убитых офицеров, лежащих рядом. Позади, среди большого сада, горели два дома, зажженных снарядами. Через улицу связист вел проволоку. Машина остановилась. Связиста окликнули. Он подошел, положил у ног своих висевший на руке круглый моток проволоки и вытянулся.

— Когда восстановите связь с Царицыном?

Связист слегка наклонился вперед, плохо расслышав вопрос.

— С утра долбят,— сказал он,— а село заняли мы часа два назад.

— Когда, спрашиваю, свяжетесь с Царицыном?

— Через час.

И, узнав Сталина, он повернулся к нему и повторил:

— Через час, товарищ народный комиссар.

Положив книжку на борт машины, Сталин писал в ней.

— Обещаете?— спросил он, вырывая исписанный листок из книжки.

— Если обещать, так обещаю через полчаса,— сказал строго связист.

— Передайте телеграмму,— сказал Сталин.

Но едва он протянул руку, как шагах в двадцати, не более, в запертые ворота ударил снаряд. Ворота покачнулись, треснули, и щепы и осколки снаряда взвились в воздух. Машину качнуло.

Когда песок и пыль улеглись, Сталин стряхнул землю с листка, передал листок связисту, который стоял попрежнему вытянувшись и даже, казалось, не дрогнул от выстрела.

— Осмелюсь доложить,— проговорил связист,— там дальше противник такую поленницу снарядов укладывает, что на машине бродить трудно.

Сталин отдал ему честь и спросил:

— Значит, через полчаса?

— Через полчаса.

— Вернемся, проверим.

И добавил шоферу:

— Давай прямо.

Телеграмма, помеченная 26 августа, была как раз та, которую получил Пархоменко в гостинице и о которой говорил ему Ленин:

«Москва, начопереда, для царицынского уполномоченного Пархоменко. Положение на фронте улучшилось. Везите, не медля, все, что получили. *Сталин*».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Несколько раз пытался Штрауб пробраться в Сарепту, и каждый раз его, словно ветром, относило от того верного места, через которое можно было проехать. Контрразведчики говорили, происходит это оттого, что большевики сосредоточили у Бекетовки много войска. Но Штрауб не замечал численного преобладания советских войск. Не получал он и сообщений от эсера Суханова. И обиднее всего было то, что никак не удавалось — ни обходными путями, ни прямо через линию огня — получить пригнанных из-под Сарепты коней. Штрауб верил купцам, которым передал много денег, и, раз уж купцы не появлялись, значит, что-то было совсем неладное. Он решил вернуться к станции Калач, чтобы пожаловаться представителям главного командования донских войск.

Опять Штрауб сидел в бричке, и тот же кучер в той же полосатой карминной рубашке правил лошадьми. Штрауб сидел в бричке с прежним достоинством, тщательно одетый, бритый, подстриженный, с заметным запахом хорошего одеколона и даже с сигарой в руке. Он был, как всегда, аккуратен и точен и даже как-то заметно цеплялся за эту аккуратность, напоминающую ему о том превосходно продуманном плане жизни, с которым он вошел в европейскую войну. Он отнюдь не сознавал, что этот план сколько-нибудь поблек, ему только казалось, что если не выходило кое-где, то потому, что уж очень поганые и никудышные люди помогали ему в его деле. И поэтому, когда Вера Николаевна спросила его: «Ну, как же Америка?» — Штрауб не понял ее и переспросил.

— Да, Америка,— ответила она, делая такие движения рукой, как будто расплетала косу.

Штрауб промолчал. Бричка катилась плавно. Сопровождавший их конвой из трех пожилых казаков скакал

поодаль, пристально глядя влево, где опять виднелась поросшая тальником балка. Солнце шло к закату, и по дуновению ветра можно было думать, что наступит прохлада. Штрауб вглядывался вперед, ожидая увидеть дымки «табора», за которым — а может быть, и впереди него — должна была находиться офицерская бригада.

— Мысль об Америке необходимо отложить,— сказал он, глотая слюну, потому что ехали уже давно и хотелось есть.— Я должен, Вера, выполнить свой долг.

— А в чем он заключается?— спросила с каким-то не понятным ему глумлением Вера Николаевна.

Казаки вдруг поскакали к балке. В голосе Веры Николаевны появилось еще больше глумливости:

— Для выполнения своего национального долга, мне кажется, вы уже сделали достаточно много. Вы отдали нации лучшее время своей жизни. Хватит с нее.

— Откуда вы знаете, что я отдал лучшее?— спросил Штрауб, не имея сил оторвать встревоженного своего взора, устремленного на скакавших к балке казаков. Его раздражало то, что он находил какое-то удовлетворение в ее речах. Нравилась ему и эта дерзкая и в то же время строгая манера, так не похожая на то легкомыслие, с которым она говорила там, среди «табора» с Гдышем.

Казаки остановились у балочки и, став спиной к ветру и кустарнику, закурили. Видимо, в балке никого не было. Штрауб заметил, что Вера Николаевна наблюдает за ним, и ему показалось, что и в глазах ее мелькает какое-то новое, суровое и в то же время слегка испуганное выражение, точно она боялась, что не выдержит той тяжести и дерзости, которую брала на себя.

— Откуда я знаю, что вы отдали лучшее?— спросила она.— Откровенно говоря, мне это трудно сказать, но, видно, чего-то и я нагляделась.

Она играла кончиком синей ленты, удерживавшей шляпу. Пальцы у нее были тонкие, худые и на сгибах разрисованные мелкими и приятными морщинками. На левой руке она носила два кольца, одно из них с черным камнем.

— Интуиция?

— Да, если хотите, интуиция.

— Из-за этой же интуиции,— вдруг раздражаясь, спросил Штрауб,— вам хочется в Америку?

— Да, из-за этой,— по-прежнему перебирая края

ленты, но гораздо грубее выговорила Вера Николаевна.— Впрочем, это мечта. В Америку мы не попадем.

— Это что, тоже интуиция?

Вера Николаевна рассмеялась громким своим смехом.

— Нет, это уже факт.—Она тряхнула головой и спросила, чтобы переменить разговор: — Какие странные у вас книги! И почему взгромоздились вы на анархизм?

Штрауб был рад перемене разговора. Он охотно объяснил, почему он действительно взгромоздился на анархизм. Вера Николаевна выслушала его внимательно, помолчала и, достав из сумки горсть орешков и разгрызая их крупными и частыми зубами, сказала:

— Нам необходимо переехать в Киев. Я об этом напишу знакомым. Они близки гетману. Да они и Радзивиллов знают. А что вы думаете о польско-украинской унии?

— Но ваш отец?— спросил Штрауб.

— Я полагаю, его освободит Быков.

Она положила ему руку на плечо и, внимательно глядя в спину возницы, вдруг сказала на хорошем немецком языке:

— Знаете что? Нам горевать не нужно, а нужно понять, что ни мне, ни вам и, я полагаю, ни Быкову уже не освободить отца. Не здесь наш Тулон.

— Тулон?— изумленно переспросил Штрауб,. пораженный, что она отгадала и как-то даже взломала его далеко спрятанные мысли. Он и сам уже думал, хотя и страшился в этом себе признаться, что на помощь внутри Царицына надеяться не приходится и что тех людей, которых он так аккуратно разместил в городе, уже уничтожили, разоблачили, разбили, опустошили. И он с какой-то наглой радостью слушал грубый, почти не знакомый ему теперь голос Веры Николаевны:

— Да. Наш Тулон стоит где-то в другом месте. А эту веревку, узел ее, не нам разгрызть. Я полагаю, что и не нужно пытаться это делать. Изучение анархизма — это очень хорошо!— Она выбросила скорлупу орехов и рассмеялась.— Но, пожалуй, изучение быстрой езды на конях для нас сейчас более необходимо.

— Вы настаиваете на отъезде?

— Да, если не хотите получить бегство. Вам случалось бродить по лесу, Эрнст? И вы видели, наверное, такие пни, про которые кажется, что они от только что

срубленного дерева. Но стоит только ударить ногой, как нога ваша тонет в трухе! Вот вам и донское казачество. Это труха.

— Мне кажется, что вам все-таки хочется или, вернее сказать, вы еще надеетесь на отъезд в Америку? — проговорил Штрауб с вновь возникшим неудовольствием, потому что он чувствовал себя поддающимся этой властной и сильной логике.

— Бросьте, Штрауб, — сказала строго Вера Николаевна. — Вы только меняете один участок войны на другой. Это более или менее выгодно для вас, а я оставляю здесь своего отца. И оставляю на смерть.

Она сжала челюсти, и рука ее, державшая ленту, дрогнула. И Штрауб почувствовал, что в его жизнь навсегда вошло что-то сложное и им доселе по-настоящему не осмотренное и — он боялся признаться — умное, такое умное, которое он не всегда и понимал и которому поэтому подчиняться было в высшей степени неприятно.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

И это неприятное до чрезвычайности чувство все росло и росло в нем, а когда на дороге он встретил трех веселых и самоуверенных ремонтеров, ехавших принимать коней, которых должен был передать им Штрауб, это чувство совсем почти захлестнуло его. Ремонтеры были удивлены, что он возвращается от Бекетовки без лошадей, но, увидав красивую даму, ничем не показали своего удивления и насмешки. Они угощали Веру печеньем и французскими ликерами, по их словам — необычайно драгоценными. Высокий бритый и румяный ремонтер с седыми бровями всякий раз, поднимая крошечную рюмочку с желтым вином, говорил с таким уважением: «Пью расплавленное золото за ваше здоровье, Вера Николаевна!» — что нельзя было не согласиться: вино, несомненно, приобретено на вес золота. И когда, совершенно внезапно, где-то поблизости начались выстрелы, то седой ремонтер в первую очередь схватил эту пузатую желтую бутылку, с трудом всунул ее в карман и только потом побежал к винтовкам.

Бричку гнали краем широкой ухабистой дороги, там, где было поменьше ухабов, и все же качало страшно. Поодаль скакали офицеры и конвой: как сказал седой

ремонтер, чтобы «убедиться в отступлении». В долине они увидали табор. Но как он изменился! Куда девалась его торговая стройность, с которой он готовился — целыми рядами, ярмаркой — войти в Царицын. Сквозь пыль, клубящуюся над табором, с трудом можно было разглядеть, что он вертится водоворотом, не находя себе дороги и не веря ей. Где-то на востоке слышалась сильная артиллерийская стрельба, а из-за бугров в долину неслись далекие и неразборчивые крики.

— Хоть побожись, не поверю!— сказал кучер, вставая на ноги и крепко натягивая вожжи. Он повернулся к Вере Николаевне, как бы признавая в ней сейчас главного распорядителя и совсем не глядя на докучливого немца.— Прикажете стороной объехать, Вера Николаевна?

— А если они на нас наскочат, Василий? Как бы не затоптали.

— И я то же говорю, Вера Николаевна: затопчут.

— Кто затопчет? — спросил Штрауб, встревоженный их голосами и тоже вставая на ноги.

— Не вербное воскресенье!— пробормотал кучер, садясь и крепко упираясь ногами.— Думаю, Вера Николаевна, пойти вместе с рекой, а там уж как-нибудь выберемся. Как у вас с обворужением?

— Идите в реку,— проговорила Вера Николаевна, понимая, что казак лучше сумеет разобраться в том, что предстоит им теперь. Она даже не посмотрела на Штрауба, а, достав из-под чемоданов винтовку, проверила затвор и вложила патроны.

Бричка въезжала в табор. Артиллерийский обстрел был по-прежнему далек, но выстрелы, а самое главное крики, приближались, и в тот момент, когда бричка въехала в табор, послышались частая пулеметная стрельба, какой-то топот, и на бугры, господствовавшие над равниной, выскочили казаки с пиками. И тотчас же Василий повернул к Вере Николаевне плоское свое лицо, побледневшее, напряженное, перекрестился и сказал:

— Держись, хозяйка!

Их охватило пылью, запахом коней, дегтя, глухим ревом толпы — какой-то щетиной колющим сердце, и они почувствовали, что не скачут, а несутся, плывут в страшной и непонятной реке. Течение этой реки понимали только кучер Василий и Вера Николаевна, которая стояла, держась рукой за плечо Василия и раз-

махивая другой рукой, зажавшей винтовку. Шляпа у нее слетела, и на шее осталась только синяя лента, ставшая мокрой. Грохот, который слышался вокруг них, теперь уже заполнял все их тело, и Штраубу казалось, что горизонт как-то завернулся над ним, как завертывается бумага, и он опустился перед этим приближающимся горизонтом, сполз на дно брички. Он чувствовал, что длинный с коричневыми пуговицами ботинок Веры Николаевны уперся в его лицо. И Штраубу не было стыдно, как не было стыдно и чувствовать невыносимо удушливый запах, исходящий от всего того, что бежит рядом с ним, и от того, что поднимается в нем самом. Голова его кружилась, он чувствовал себя дурно и на короткое время, должно быть, даже потерял сознание; когда он раскрыл глаза, то увидал подол мокрого шерстяного платья, покрытый слизью и пережеванной пищей. На его щеке лежала тонкая рука, и неподалеку он увидал другую руку, сжимавшую затвор винтовки. Вера Николаевна сидела уже на корточках. Затвор щелкнул. Выстрела Штрауб не услышал, но в лоб ему попал выкинутый пустой патрон. Бричка свернула куда-то в сторону.

Мимо с воплями и криками, теперь уже отчетливыми, скакали в телегах и верхом мужики, бабы, и что-то падало, визжало. Горизонт был сужен до размеров каморки, и, как нельзя вдвинуть в каморку телегу, так и тут видны были то оглобля, то колесо, то грива коня, то бок толстой бабы в синей юбке, то сундук, падающий с телеги. Изредка раздавался треск,— должно быть, у какой-то телеги сломались оси,— кто-то падал, и слышались такие крики, от которых если не убежать через секунду, то уже не убежать никогда!

Над головой Штрауба изредка, блестя, проносился бич. Это хлестал коней кучер. Вера, когда бич особенно быстро кружил над головами, прикладывала к плечу винтовку, и тогда бричку бросало вбок,— должно быть, объезжали кого-то... «Боже мой, боже мой,— твердил Штрауб,— что же это такое? Куда это все бежит?» И хотя он понимал, что это бежит табор от Царицына, что это бегут казаки, и что случилось ужасное, непоправимое, и что он испытывает страх, которого, как ему казалось, он не испытывал никогда, и что от страха этого он цепляется за платье Веры, и что от страха его тошнит,— все же он, не желая признаваться в том, что понимает происходящее, кричал:

— Что это? Что это? Кто это?

Вера погладила его по голове и сказала, как ребенку:

— Лежи, дурачок!

Но он не мог остановиться и неустанно повторял все те же два слова, и тогда она быстро обернулась к нему, поднесла губы к самым его глазам и сухо сказала:

— Это гонится за нами твой Тулон. Ха-ха! Америка!..

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Тридцатого августа, прямо к началу занятий, Пархоменко пришел в Центральное управление снабжения на Сретенский бульвар, в большой серый дом. Пархоменко хотелось освободиться пораньше, потому что 23 августа, когда был митинг в Городском и Пресненском районах, где выступал Ленин, ему попасть туда не удалось, а сегодня он хотел попасть во что бы то ни стало на митинг завода б. Михельсона. Вместо Быкова сидел уже другой начальник. Это был угловатый и крайне волосатый человек. Борода у него была сивая, в завитках. Несмотря на жару, он сидел в барашковой шапке, положив на стол бурку, и она, свесившись, образовала ковер у его ног.

— Здравствуйте, товарищ Пархоменко,— сказал он, с трудом дыша.— Мне уже из Кремля звонили, напоминали о вас.

Он откинулся назад и, упираясь концом бороды в бумагу, поданную Пархоменко, стал возвышенным голосом и с явным наслаждением читать:

— «По личному распоряжению предсовнаркома товарища Ленина...— Он кивнул головой, как бы выражая одобрение такому началу бумаги, и продолжал читать, все возвышая и возвышая голос:— Бюро снабжения Северокавказского военного округа просит отпустить для Военного совета СКВО...— Голос его, все густея, казалось, потрясал потолок. Сам он раскачивался и махал рукой, как бы помогая читать:— Одну горную батарею... четыре орудия... шесть тысяч шрапнелей, три тысячи гранат... десять тысяч русских винтовок... сто пулеметов «максим», тысячу лент к ним...»

Он бросил бумагу на стол, прикрыл ее рукой и решительно сказал:

— Отпускаю!

И, глядя на свою мохнатую руку, побелевшую от напряжения, он вдруг сильно понизившимся голосом добавил:

— Но несмотря на то, что оно по личному распоряжению товарища Ленина и тут дописано многозначительно в отношении нашего брата, что, мол, в случае чего повыскребем. — Он снял руку с бумаги, прочел последние слова требования:— «Настоящее требование ни в коем случае не подлежит сокращению...»

— И несмотря на то?— спросил Пархоменко.

— И несмотря на то,— сказал спабженец,— нам придется проникнуть во многое, пролететь, так сказать, навылет, и вам, товарищ Пархоменко, быть при мне.

— А почему же и не быть?— сказал Пархоменко.

Тогда Расписной-Просветов встал, положил бурку на руку и зашагал крупными шагами, то поднимая, то опуская бурку. До войны он был актером и играл благородных отцов, в войну сделался прапорщиком и пошел по снабжению. Он был честен, но умом мелок и даже когда хотел сделать что-нибудь полезное, то редко по мелкости своего ума делал это. Царицыну искренне хотел помочь, потому что, много путешествуя по Волге, полюбил волжские города, а в Царицыне пользовался большим успехом, играя там старого Миллера в «Коварстве и любви».

Когда они объезжали склады, Пархоменко увидал, что волосатый действительно наполнен искренним желанием помочь, но, как выяснилось уже после двух посещений складов, он мало что понимает, а самое главное, необычайно доверчив. Все заведующие складами и на заводах и в арсенале показали им, что снаряжение или увезено, или что его нет совсем, и снабженец со слезами на глазах спрашивал:

— Как же нет? Ведь этак, выходит, вы не можете удовлетворить личное распоряжение товарища Ленина?

Почему-то всех заведующих, и в особенности одного, седенького, с большой бородавкой на плоском утином носу, больше всего возмущало требование о горной батарее.

— Откуда же горная батарея? Будь бы у нас горные батареи, мы бы Кавказа не отдали. И затем — сто пуле-

метов! С сотней пулеметов можно так дородно жить, что...— И он разводил руками, как бы не находя слов, чтобы высказать, как хорошо можно жить, имея сто пулеметов.

Тогда Пархоменко сам лез в сараи и в склады. Возле каждого сарая и чуть ли не возле каждого ящика стояла охрана. В большинстве это были красногвардейцы, и, как только подходил Пархоменко, они вытаскивали из карманов курток самые убедительные бумаги. Пархоменко читал бумагу, смотрел с сожалением в лицо рабочего и говорил:

— Голубчик мой, и все-таки придется мне твое снабжение забрать.

Подходил снабженец, столь взволнованный, что у него был мокр даже верх его барашковой шапки, а с бороды быстро одна за другой ползли капли. Он брал Пархоменко под руку и отводил в сторону.

— У них взять? Но вы посмотрите на лица! Какая здесь страсть!

— А вы подчиняетесь распоряжению предсовнаркома?

— Подчиняюсь.

— И можете здесь распоряжаться?

— Могу.

— Прикажите им отойти от этих ящиков и сдать мне пулеметные ленты и прочее. Скажите им очень коротко, но здорово, чтобы у них на сердце шов остался, а сами отходите к воротам. Я уже погружу и довезу до ворот.

Расписной-Просветов говорил несколько слов и поспешно шел к воротам. Там он стелил бурку и садился, положив волосатую голову на сложенные руки. В затылок ему пекло солнце, и он думал, как это было хорошо раньше, когда он плыл по Волге и вез в Царицын Шиллера и не думал, что Царицыну нужны снаряды. И как это плохо теперь, когда он не может повезти ни Шиллера, ни снарядов. А в сущности, приятно было бы повезти и то и другое вместе! Когда минут через пятнадцать он поднял голову, то с удивлением увидал, что телегу грузят как раз те рабочие, которые не хотели отдавать пулеметные ленты, и погрузкой распоряжается Пархоменко.

— Вам бы ко мне в помощники,— сказал Расписной-Просветов, когда Пархоменко подошел к нему.— Мы бы с вами и Шиллера поставили, и снаряды у нас были бы.

— Когда-нибудь все поставим,— ответил Пархоменко.

— Ну вот, горные батареи нам на платформу не поставить.

— А может быть, и поставим.

К концу дня снабженец уже понимал темп мерного марша, в котором они шли. Он уже говорил скороговоркой и громко, и даже движениями своими подражал Пархоменко, так что заведующим складами временами казалось, что идут два Пархоменко: один — постарше, с бритыми усами, другой — черноусый, помоложе. К ночи достали и горную батарею, которая нашлась почему-то в подвалах Андроньевского монастыря, заставленная школьными партами и классными досками. Снабженец уже сам залез теперь в подвал и выкидывал оттуда с огромной силой парты, так что они мгновенно превращались в доски, и, когда выкатили орудие, он, почесывая затылок и разминая ноги, с азартом посмотрел в список.

— Ну, что у нас там еще? Каков маршрут? Заряды к пушкам? Четырнадцать тысяч зарядов? Найдем! Пошли!

Но была уже ночь, и, кроме того, совсем устали и кони и возчики.

— До завтра,— сказал Расписной-Просветов, горячо пожимая руки Пархоменко.

Шагая по широкой лестнице гостиницы, Пархоменко, глядя на свои руки, покрытые краской, дегтем, ржавчиной, думал с удовольствием, что сейчас умоется до пояса, поужинает картошкой с луком и попытается пробраться на завод Михельсона. Не будь бы он так испачкан, он бы прямо из Андроньевского монастыря направился туда, но Пархоменко не мог, да особенно в Москве, появиться на людях в таком виде.

У лифта его остановил знакомый из Московского комитета партии, пожилой горбоносый человек, без трех передних зубов. Он тихо и встревоженно сказал Пархоменко:

— В Московском комитете только что получено сообщение из Петрограда, что убили Урицкого.

— А Ленин? Ведь Ленин должен сегодня выступать?

— Предупредить поздно. Он, говорят, уже давно уехал из Кремля.

— Как — поздно? Что такое?

Но знакомый, увлеченный волной беспокойства и тревоги, которая чувствовалась во всем доме, уже ушел

куда-то в сторону. Захлопали двери, одна за другой к подъезду стали подходить машины. Подергивая плечами, точно его знобило, пробежал мимо комендант. В «Метрополе» тогда жило много членов правительства. Чтобы узнать подробности и выяснить, сделано ли что для охраны Ленина, Пархоменко побежал по квартирам. Но ни одного из членов правительства не было дома. Он позвонил в Чека. Секретарь Дзержинского, видимо принимая Пархоменко за коменданта гостиницы, сказал:

— Организуйте охрану дома. Город сейчас объявят на осадном положении. Ильич ранен при выходе из завода.

Когда Пархоменко отошел от телефона, по лестнице вниз бежала толпа людей с такими лицами, точно они сами были ранены. Но толком добиться ничего было нельзя. Кто-то сказал, что, когда Владимир Ильич выходил из цеха, какой-то матрос споткнулся, упал и задержал идущих за Ильичем рабочих, так что Ленин вышел на заводской двор почти один. Здесь в него и выстрелили, в упор, несколько раз... И дальше, уже второй товарищ рассказал, что, когда Ленин приехал в Кремль, он не разрешил рабочим внести его на руках, потому что очень боялся встревожить Надежду Константиновну и Марью Ильиничну, и сам поднялся на третий этаж...

— Да ведь у него же кровоизлияние может быть!— крикнул Пархоменко.— Что же вы смотрите?

Сквозь стеклянную вертушку дверей, не обращая внимания на больную руку, Чесноков, тот самый молотобоец, который приехал в Москву посмотреть на Ленина, с каким-то слинявшим и тусклым лицом протаскивал пулемет.

Пархоменко тут же мобилизовал коммунистов дома, расставил караулы и стал возле пулемета у входа.

Когда Пархоменко с трудом пробрался в Кремль, в секретариат Ленина, чтобы узнать о здоровье Ильича, круглолицый секретарь, подавая ему листок бумаги, сказал со свежей, хорошей улыбкой, по которой можно было понять, что положение улучшается.

— Передаю вам для сведения экстрапроводку.

— Владимиру Ильичу легче?

— Ночь была тяжелая, сейчас легче.

В комнате стало тихо, словно все хотели послушать, какую телеграмму получил этот товарищ. И почерк теле-

графиста был крепкий и ясный, и слов было немного, но Пархоменко от дрожи рук и мелькания каких-то мокрых соринок в глазах еле-еле мог разбирать слова телеграммы к Ленину:

«...Противник разбит наголову и отброшен за Дон. Положение Царицына прочное. Наступление продолжается».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

После августовского разгрома противника, наступавшего на Царицын, Сталин вернулся в Москву. Но пробыл он тут недолго и уже 18 сентября поехал обратно в Царицын. Этот приезд Сталина в Москву значительно помог Пархоменко: ему удалось получить необходимое снаряжение, добиться того, что руководители военного ведомства обещали усилить выдачу оружия. Но едва Сталин отъехал от столицы, как Троцкий под разными предлогами аннулировал все уже подписанные требования, и получение оружия и снарядов почти совершенно прекратилось. Центральное управление снабжения и все эти артиллерийские, военно-хозяйственные, военно-инженерные управления и управление военных сообщений вместе с Всероглавштабом занимались только кляузами и клеветой на работу Военного совета в Царицыне. Клеветали и на Пархоменко. Тщетно показывал Пархоменко телеграммы, посылавшиеся тогда командармом-10 Ворошиловым в Москву и категорически требовавшие немедленной посылки оружия. Но что такое отказ в оружии, когда происходило издевательство более мерзкое: в самый разгар второго наступления белоказаков на Царицын Троцкий потребовал перевода Революционного совета южного фронта в Козлов, то есть в пункт, лежащий от Царицына в 550 километрах!

В ноябре, когда Сталин опять приехал в Москву, Пархоменко смог возвратиться в Царицын. Он приехал туда вместе с детьми и женой, уже давно выздоровевшей.

На Царицын атаманом Красновым были направлены все лучшие его силы. Лавы казаков и цепи пехоты под барабан батарей наступали непрерывно. Но чем сильнее сжатие, тем больше рождается теплоты, а «в тепель», как говорит народ, все трогается в рост. И Пархоменко,

работавший теперь с официальным званием «для поручений при командарме-10», а неофициально — в должности человека, который никогда не спит и готов ехать, куда угодно, и сделать, что нужно, видел, как теперь двинуло в рост все, что жило в городе или было освещено лучами города: чем чаще били белые орудия, тем больше было у защитников Царицына душевного огня. Так сила искры зависит от силы удара кремнем по стали. Уже изменились сальцы, потеряв многое из того, что прежде царицынцы называли «овинной душой». И многие из них уже тянулись к городу, как к родному очагу и дыму. «Живем не сытно, а улежно», — говорили они. И какая теплота в речах и какая быстрота и уверенность движений!

И Терентий Саввич Ламычев выжил. Его, летом еще, с бесчисленными ранами перевезли в Царицын. Почти месяц он лежал в беспамятстве, приходя в себя на несколько минут в день. В конце ноября он мог уже сидеть, а когда Пархоменко пришел к нему, чтобы рассказать подробно о победоносных боях, то Ламычев сказал:

— И мои орудия там были.

Здесь Пархоменко понял, что хотел сказать Ламычев, и у него от умиления и радости даже слезы стали пробиваться, но он сдержал себя, потому что на такое проявление радости Ламычев бы обиделся. Он не любил, когда «мужик жидкость льет». Пархоменко передал ему свой подарок — пачку табаку в густо-желтой укупорке.

— Покури. Из Москвы, Ленин бойцам послал...

— Не врешь? — осторожно беря щепоть табаку, спросил Ламычев и, затянувшись, сказал, щуря глаза: — Да нет, таким табаком не шутят.

И он проговорил со вздохом:

— Какие времена отчаянные! Разве бы в другое время такой табачок стали курить? Его бы под стеклышко, чтобы смотреть. А тут!..

И он с каким-то свистом даже выпустил дым и глядел мечтательно вслед ему. Дым этот, видимо, напоминал ему весну, плодоносные ее туманы, уходящие в бесконечность, ее разливы, и он проговорил:

— На Дон хочется, право слово... И тужурку эвон какую дали! — Он потрогал новую кожаную тужурку и слабым, редким голосом сказал: — А все тянет. Сколько

весен, парень, я пропускал! И все — пахота пропадала. Перелил я лемех на пулю...

Ламычев, кажется, впервые так тоскующе говорил о земле. Пархоменко слушал его молча. Он понимал Ламычева. Так как Ламычев не участвовал теперь в боях, то ему, при его большом тщеславии, трудно было поверить в победу, но, видя трофеи Красной Армии и отступление кадетов, нельзя было не верить. И это раздвоение мыслей и волновало, и злило его, и тянуло его домой, к земле. Было и еще другое, что он стеснялся высказать: Лиза была беременна, и Ламычев опасался, что она не только родит в городе, но и не поедет вообще на Дон, а Терентию Саввичу страстно хотелось, и в особенности теперь, после выздоровления, чтобы внук рос на земле, на пахоте, которую отвоевал он — Терентий Ламычев. И когда он представлял себе, как мальчишка бежит вдоль межи за плугом, который ведет его отец, Василий Гайворон, и как грачи с криком летят в разные стороны от этого шустрого мальчишки, во рту у Ламычева делалось солоно.

Покуривая табачок, Ламычев гладил свои курчавые, сильно поседевшие на висках волосы и говорил о немцах, уже заметно ослабевших, и о белоказаках, которые тоже вряд ли долго смогут воевать.

— Скоро тебе, Александр Яковлевич, тоже на родину возвращаться.

— Придется,— сказал Пархоменко.

— Все-то мы Спиридоны-повороты, —сказал, смеясь, Ламычев.— А тебя на землю не поворачивает?

— Я как-то на завод повернул, такой у меня поворот.

— Завод, он, как переметина на стогу удерживает сено, тоже держит крепко человека. Но я вот присмотрелся к народу здесь, в Царицыне, и к нашим украинским выходцам и должен сказать: хлопот у вас на Украине будет с мужиком много.

Пархоменко покоробило его сравнение.

— Ты не морщись, Александр Яковлевич, правда — она не в шелку спрятана, а в грубом холсте лежит. Гетман, верно, мужика к нам толкнул, хлеб у него греб, землю не давал забирать у помещика, а если ты засеял самосильно, говорит, так опять: отдай половину помещику, а с будущего года изволь сеять только свои или арендованные земли! Ну, и мужик сеял.

— Со злым человеком иногда легче толковать.

— Понять его легче, это верно. Мужик зол, гетман его толкнул, и куда еще некоторый мужик пойдет, мне, например, неизвестно. Российского мужика, я вижу, тут с теркой протерли и на этих самых, на комбедах, показали, что уж если голодать, так всем народом равномерно голодать. Нет, украинский мужик еще до ижицы не дошел. Я так понимаю, что он в середине букваря находится.

Постукивая рукой по стене и глядя в потолок, он сказал:

— И Васька, зятек-то мой чертов, к Буденному ушел. Прельстился эскадроном командовать!

— Парень удалой!

— Завеет его куда-нибудь далеко буйным ветром. И ревнив к тому же — тьфу! Да и горяч. Жена беременна, а он ей говорит: иди в наш передвижной лазарет. Я ему говорю: «Эх, ты, дублон, кто пересаживает яблоню, если она почку завязала?» А он мне: «Ничего, папаша, новорожденный все равно казаком, лыцарем будет». И еще хохочет. Вот какую мы пружину закрутили.

Он вздохнул.

— И выходит, нашел ему я немецких этих коней в Бекетовке, да и на свою голову.

Он посмотрел на Пархоменко, и лицо его вдруг засияло.

— Выкатывают орудия, которые везут на этих откормленных конях. Врага подпустить, приказывает, на дистанцию пулеметного огня. А пулеметы все на тачанках, а кони в них мои впряжены. Трах, трах, тах! И вылетает тут конница! Азарт этот Буденный такой употребляет, что даже пулеметчики и артиллеристы орудия бросят, схватят шашки и тоже в окончательную атаку.

И, качая головой, он проговорил:

— Хорошая, красивая штука — конь! Когда на хорошем коне сидишь, как будто у тебя два сердца в груди.

...Зимой Пархоменко вместе с другими украинцами вернулся на родину.

Ламычев отказался ехать на Украину, он взял только адрес Пархоменко и сказал, что будет исправно писать. И точно, он писал ему довольно часто. Все его письма, как обычно у крестьян, начинались с многочисленных поклонов, а о себе он писал очень коротко: «К сему подписуюсь жив и здоров, награжденный командир Терен-

тий Ламычев». Но смутно можно было уловить, что он чем-то недоволен. Работал он теперь по снабжению дивизии Буденного, и как будто работа ему нравилась: с восторгом, например, он сообщал, что им даже обозы, этот бич армии, удалось использовать на роли службы снабжения и в то же время как походные лазареты и как базу, откуда черпают пополнения!..

В Харькове Пархоменко занимал сразу несколько должностей не оттого, что он гнался за этими должностями, а оттого, что не хватало людей. Был он одновременно и харьковским губернским военным комиссаром, и чрезвычайным уполномоченным по снабжению Красной Армии Харьковского военного округа, и помощником окружного военного комиссара. Поэтому трудно было найти время отвечать Ламычеву, и он смог написать Терентию Саввичу только один раз. В этом письме, полагая, что Ламычев по-прежнему любит коня, он написал ему, как пришлось однажды защищать харьковский ипподром. На ипподроме содержалось двести пятьдесят племенных рысаков. Прослышав об этом, в Харьков из деревень хлынули, под видом крестьян, махновцы. Они остановились у знакомых в соседних с ипподромом домах, словно бы для того, чтобы погостить, попировать. Охранявшие ипподром красноармейцы-кавалеристы устроили секретное совещание и, поговорив, решили сами ускакать на рысаках, потому что, мол, махновцы все равно непременно их утащат, и чем давать чужому человеку коня, лучше пусть он останется при своем. Один из красноармейцев, знавший Пархоменко по Луганску и помнивший историю с анархистским бронепоездом, пришел к нему и сказал: «Вы можете, товарищ Пархоменко, еще одну неприятность устроить анархистам». И передал о секретном совещании охраны. Пархоменко прискакал на ипподром, кинул свою бурку на стол в красном уголке и сказал охране:

— У меня такая перегрузка, что имею сразу четыре кабинета. И все-таки пускай этот уголок будет пятым кабинетом, пока мы не спасем коней от махновцев. Есть среди вас коммунисты?

Коммунистов не оказалось. Но к утру, после того как все окрестные дома были очищены от махновцев, в партию записалось пятнадцать человек, а в полдень охрана выгоняла за город последних махновцев.

На это письмо Пархоменко Ламычев ответил неожиданной телеграммой. «Еду. Прошу зачислить меня должность коменданта ипподрома. Награжденный командир Ламычев».

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Благодаря хлопотам Веры Николаевны и ее знакомствам Штраубу удалось переехать в Киев. Вначале это обрадовало его, но вскоре он увидал, что то дело, которым он раньше так усердно занимался, теперь уже ведут другие люди и, как ему казалось, менее сведущие. А над его увлечением анархизмом подсмеиваются. И это положение уже нельзя было улучшить никакими знакомствами среди гетманского окружения, никакими хлопотами Веры Николаевны. Жили они состоятельно: чем хуже и неудачнее вел он шпионаж, тем лучше выходило дело со спекуляцией, так что иногда, когда он вспоминал свою молодость и свои мечты, ему даже хотелось, чтобы дела со спекуляцией не приносили такого значительного дохода, авось тогда бы было удачнее кое-что другое. Они занимали небольшую, но прекрасно обставленную и удобную квартирку во втором этаже на спуске от храма Софии к Крещатику.

Как только бежал гетман Скоропадский, дела со спекуляцией ухудшились, а дела со шпионажем улучшились, и Штрауб с удовольствием подумал, что двойное упорство полезнее одинарного Штрауб по-прежнему изучал — и практически и теоретически — труды анархистов. Для теории он перелистывал книги, а практически ездил разговаривать с Махно, Григорьевым и другими анархистскими «батьками». Штрауб написал даже брошюрку со своими соображениями о пользе анархизма и тиснул ее в каком-то селе, где стояла анархистская типография, и со странным чувством злорадства и торжества он послал ее своим начальникам за границу. Ему не ответили.

При петлюровской директории Штрауб уже выступал на митингах как анархист, «стоящий на платформе Махно». Его спутники по анархистскому движению одобряли эти выступления. Но насколько ему удавалось, хотя и без поддержки извне, вести теперь свою линию и посылать за границу подробные и весьма полезные сводки о том, что здесь происходит и что происходит в Советской

России, и даже вербовать новых агентов, настолько же его личные дела были плохи. Вера Николаевна явно переменила к нему свое отношение, и временами ему даже казалось странным, что она живет с ним, настолько взгляд ее был холоден и резок, лицо каменно, и настолько редко мелькали в их жизни те ее заботы о нем, которые раньше казались ему обычными.

Штрауб привык к определенности. Он думал, что ему тоже мало нравится теперь профессия разведчика, и кто знает: не поступить ли ему так, как поступили многие из знакомых генералов, которые, как носовой платок перекладывают из одного кармана в другой, переметнулись из кармана Германии в карман Франции? Но он, по определенности и прямой направленности своего характера, не мог долго оставаться при таких мыслях. Пока он выбрал одну страну и будет ей служить! И раз Вера Николаевна выбрала его, Штрауба, то она и должна служить ему! И что же тогда значит этот непонятный сверлящий взгляд, которым смотрит она даже тогда, когда гладит его теперь сильно поредевшие на темени черные волосы?

Четвертого февраля 1919 года он возвращался с секретного собрания киевского бюро анархистов. Он пересекал площадь возле памятника Хмельницкому. Утром была оттепель, но к вечеру дунуло холодом, и памятник, как и деревья, покрылся легким кисейным пологом инея. Когда Штрауб перешагивал через канавки, по краям их подламывались от движения воздуха легкие льдинки, падавшие со звоном в воду, которая подхватывала их и медленно, еще по-зимнему, волокла дальше.

В последнее время у него часто болела голова и быстро уставали ноги. А в этот день он особенно плохо себя чувствовал, и недомогание увеличивалось еще оттого, что на секретном совещании сказали: не сегодня-завтра украинская Красная Армия войдет в Киев, так как под Дарницей петлюровские сечевые стрельцы, гайдамаки и запорожцы потерпели полное поражение. Не утешало и то, что десант союзников высадился на берега Черного моря и занял Херсон и Николаев и что вчера другой десант союзников занял Владивосток. Когда-то там свяжешься с ними! А вот тут анархист и головной атаман Запорожья Григорьев, утвержденный Петлюрой, говорят, переходит на платформу Советов. Что теперь делать?

На крыльце под навесом у дверей его квартиры стояла Вера Николаевна. Она была в синей шубе с лисьим воротником, в синей шляпке, и лицо у нее было оживленное и такое раздражающе бодрое, что Штраубу стало вдруг совсем холодно и он поднял барашковый воротник пальто. С крыши падали на потемневший снег крупные и редкие капли, и это тоже раздражало.

— Петлюра бежал в Винницу!— воскликнула Вера Николаевна.

— Чему же радоваться?— спросил Штрауб.

— Но мы присоединимся к украинской Красной Армии!

— Кто мы?

— Атаман Запорожья и Александрии!

Она рассмеялась, лицо у нее стало совсем розовое, и что-то защемило в сердце Штрауба. Он спросил, глядя на падающие капли:

— Григорьев?

— Да. Он говорит, и я согласна с ним, что мы вместе с Красной Армией ненавидим авантюриста Петлюру и согласны бороться против интервентов, если Советы оставят в неприкосновенности нашу организацию, оружие, снаряжение, должности...

Штрауб вздохнул и ступил на крыльцо. Вера Николаевна, весело улыбаясь, пропустила его, а сама шагнула вниз.

— Разве ты уходишь, Вера?

— Да. Надо запастись сладким. Боюсь, что завтра его в городе уже не будет.

— Значит, мы остаемся?

— У меня есть основание думать, что предложение Григорьева будет принято. Я полагаю... Впрочем, хочешь — уезжай. Я остаюсь.

Она подобрала и без того короткую юбку и прыгнула со второй ступеньки. Как всегда, ножки ее были в длинных замшевых гетрах с бесчисленными пуговицами, и три крайние пуговицы снизу были сейчас покрыты снегом. С тяжелой неприязнью Штрауб подумал, что у него тоже нет желания уезжать, а в особенности одному.

— Кроме того, у нас гости,— проговорила она, обернувшись.

— Кто?

— Твой отец. Почему он приехал?

— У него есть дела.

В последнее время он несколько раз встречал отца, и хотя встречи всегда были холодные, но все же с ним приятно встречаться. Отец не знал, чем занимается сын, и тем не менее всегда при встрече просил денег. Деньги не были ему нужны, но он считал, что сын обязан помогать отцу. Последний раз Штрауб, чтобы прекратить эти разговоры о деньгах и чтобы отец признал его окончательно непутевым, подарил ему свою брошюру об анархизме. И теперь ему даже стало любопытно узнать, зачем это мог приехать отец. «За покупками, наверное,— вяло думал он, снимая калоши и вяло одергивая костюм,— думает, что я комиссионер, и хочет через меня купить подешевле».

Отец поливал из стакана цветы на подоконнике. Увидав сына, он поспешно поставил стакан на стол, вытер лежащим на столе полотенцем руки и засеменил навстречу. Лицо у него было радостное, такое, какое едва ли когда видел Эрнст. Лицо его сильно постарело, но сейчас было совсем свежее и все лоснилось приятным серебром после недавнего бритья. От него пахло одеколоном.

— Жена — красавица. Красавица!— оценил отец, тряся ему руки и заглядывая в рот, словно изучая его зубы.— Поздравляю!

— Мы не венчаны,— сказал Штрауб, не понимая его и сопротивляясь его радости.

— Ничего! Анархия — мать порядка,— вдруг произнес он неожиданно серьезно.— Вначале не венчаны, а потом повенчаетесь, и будет еще крепче.

Он подвел сына к окну и, приблизив свое лицо к его лицу, спросил:

— Так, значит, анархизм?

— Анархизм,— хмуро ответил Штрауб.

Отец потряс ему руку выше локтя.

— Превосходно!

— Что превосходно?

— Превосходное слово. Помещик, всем понятно, никому не нужен.

Штрауб заинтересовался горячностью отца.

— Кто же вам нужен?

Отец стукнул себя кулаком в грудь, и лицо его так побагровело, что седые усы и брови выделились особенно ярко.

— Кто нужен? Собственник нужен! А собственнику нужна земля.

— Помещик тоже собственник.

— Из помещика армии не составишь. А все понимают, что только армия защитит собственность. Помещиком не хотят быть!.. То есть сейчас,— поправился он. — Но каждому хочется иметь собственное поле. Собственное! Свое! Навсегда. На веки вечные, в собственность!

Слово «собственность» он произносил, свертывая рот в трубочку и словно выпуская изо рта какой-то золотой и звонкий шар. И казалось, что шар этот катится откуда-то, катится неудержимо и катится так вкусно и приятно, что во рту у Эрнста появились слюни. Эрнст вышел к дверям столовой и крикнул через коридор.

— А что у нас на обед сегодня?

Отец воскликнул:

— Какой там обед! Именно сейчас надо выяснить самое главное.

— Что же?

— Главное в анархизме. Ведь Советы мне земли не дадут? В собственность?

— Вам, я думаю, ни в собственность, ни даже в пользование не дадут.

— Но отдохнуть-то мне от войны хочется?

— Много вы воевали,— сказал, улыбаясь, Штрауб.— Лучше нам, папаша, пообедать. Шура! Накрывайте на стол.

Прислуга, откормленная, грудастая, с веселыми черными глазами, изредка поглядывала на хозяина как-то особенно ласково, стучала тарелками и бесшумно раскладывала ножи. Штрауб слушал отца и в то же время смотрел на столь огромные плечи прислуги, словно та после войны тоже собиралась отдыхать, и родить, и кормить сразу чуть ли не пятерых. Она слушала внимательно разговоры о земле, и Штрауб вспомнил, как недавно, ночью, когда Вера Николаевна ушла к подруге, он вернулся домой один, и Шура открывала ему дверь, и он вцепился в нее, а она ответила только одно: «Поздно, поди жена сейчас придет». И было странно, что этот поступок не имел никакого значения и ничего не изменил в его отношениях с женой.

Он повернулся к отцу и спросил:

— И беднякам надо земли?
— Конечно.
— В собственность?
— Предпочитаю — в собственность.
— Но если большевики обещают им земли не в собственность, а обещают для пользования, и много, и потом еще добавят землю, отнятую у кулаков, у собственников, вряд ли мужики будут бороться вместе с анархистами за их довольно сомнительную собственность?
— Не будут бороться.
— Так в чем же дело?
Отец сказал решительно:
— Вот и нужно советскую власть спутать с анархизмом! Чтобы сам черт не разобрался. А затем: анархия — мать порядка, и крышка, всяк имеет свой кусок!
Отец указал на прислугу:
— Тоже красивая! Вообще вся жизнь у тебя красивая.
— Всей жизнью не буду хвастаться.
— А что?
Эрнст помолчал. Немного погодя он спросил:
— Значит, вы анархист?
— Угадал! — широко раскрывая большой рот с бурыми остатками зубов, прокричал отец.
— Удивительно!
— А чему удивляться? Мне надо землю и землю навсегда, в собственность. Вот почему мне не удивительно, что весной прошлого года у Махно было двадцать человек, в сентябре — четыреста, а сейчас, я думаю, тысяч сорок!
— Ну?
— Ей-богу. К половине года и до полумиллиона развернет! — сказал отец и беспокойно захохотал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Стукнула входная дверь. В коридоре послышались голоса: возбужденный и в то же время тревожный голос Веры Николаевны и тоже возбужденный, но уверенный мужской голос. Этот голос был знаком Штраубу, но трудно было припомнить, кому он принадлежит. Штрауб встал.

Не успел он обойти стол, как в дверях, задев серые балаболки портьер, показалась Вера Николаевна. В руках она держала большой торт в зеленой коробке.

Торт изображал нечто расплывчатое, весеннее, а сверху был украшен большой красной розой из сахара.

— Красиво!— воскликнул отец, всплеснув руками.

Вообще в движениях отца чувствовались сильнейшее беспокойство и азарт, как будто он ставил какую-то большую ставку, не очень-то надеясь сорвать банк. Штрауб ухмыльнулся и спросил:

— А вы, папаша, в карты играете?

— Никогда!

— Обожаю — в три листика,— послышался уверенный голос из-за спины Веры Николаевны, и теперь Штрауб узнал его.— Три листика, да, знаете ли, в минуты ожидания, да если время от времени по рюмочке пропускать, не знаю, существует ли что-либо более божественное.

Вера Николаевна поставила торт на буфет. В дверях стоял Быков. Он был в серой, доходившей почти до колен гимнастерке, туго перехваченной узеньким пояском. На носу его вместо пенсне лежали золотые очки. Лицо у него было румяное, в особенности румяны были крылья носа и мочки ушей, и Штрауб неизвестно почему подумал: «Значит, опять морозит»,— и затем ему стало крайне противно смотреть на круглую голову Быкова. Он вяло пожал ему руку и сказал:

— Устраивайтесь.

Быков сел, оглядев комнату так, как он всегда все оглядывал,— хозяйственно, деловито, с таким лицом, что, мол, где тут можно лечь спать и где кушать. Найдя себе место на диване, он прошел туда, сел и так же деловито оглядел Штрауба-отца, затем перевел взор на лицо сына и спросил:

— Это родитель? — И, подняв палец, строго сказал:— А вы, родитель, крендельков нам не родите ль? То есть за крендельками не сходите ль?

Штрауб-отец даже побледнел от негодования. Быков, кивнув головой на отца, сказал Штраубу-сыну:

— Серьезный у вас родитель, наверно, в детстве зверски порол.— И он все так же небрежно, но строго проговорил:— Право, пошли бы. Это в ваших интересах. Легко может случиться, что меня завтра комендантом города назначат, и тогда как вам пропуск получать?

Тогда Штрауб-отец повернулся круто, по-военному быстро оделся и, стараясь не хлопнуть дверью, вышел. Быков пожевал губами, потер очки и, вздернув их на нос, сказал Вере Николаевне:

— А ты, Верочка, ушли куда-нибудь прислужницу. У кого большой бюст, у того и язык длинен, как утверждает Шопенгауэр.

Когда хлопнула дверь в кухне, Быков насмешливо посмотрел на Штрауба и, чуть скривив губы, проговорил:

— Вы на меня, господин Штрауб, не обижайтесь. Отношения у нас, как говорится в письмах, совершенно служебные.

И, постукивая каблуком о каблук и глядя в землю, а в то же время слушая, что происходит в кухне, где Вера Николаевна переставляла какую-то посуду, он продолжал:

— Уголь Советская Россия имеет теперь только в подмосковном районе, да и всего угля этого миллионов десять пудов. Пишут, что в прошлом году добыли двадцать. Не верьте, враки. Нефти совершенно нет, так что врать об ней даже и чернил не нужно. Металлу в декабре добыто только шесть процентов, да и то как добыто-то? Разыскивали забытый на складах...

— Я все знаю. Вы мне можете не докладывать,— сказал Штрауб.— Как вы сюда попали? И зачем?

Вошла Вера Николаевна и остановилась в дверях. Вид у нее теперь был слегка виноватый,— должно быть, возбуждение схлынуло, и только глаза блестели остатками задора. Она как-то дергала плечом и поэтому накинула на плечи шаль, стояла, кутаясь в нее, положив руку на голубенькие обои, точно рука ее горела. Быков взглянул на нее, кивнул головой и продолжал:

— Как я попал сюда? Не стоит рассказывать, такая дребедень. А вот *зачем* я попал сюда, это уже дело более серьезное. Попал я сюда затем,— и он, поглядывая на Веру Николаевну, стал откладывать на пальцах; пальцы у него были толстые, короткие, и Штрауб вдруг со стыдом поймал себя на мысли, что Вера Николаевна могла и целовать эти пальцы, — ...затем, что желал вам помочь,— первое. И отчасти Верочке. Вы не обижайтесь, что я ее называю так по старой памяти.

— Я не обижаюсь, с чего вы взяли?— грубо сказал Штрауб.— Но вы же сами обещали говорить совершенно служебно. Кроме того, извините, но в хорошее семейное

чувство русского офицерства я уже давно перестал верить.

Штрауб понимал, что все это дурно и грубо, но остановиться он не мог и даже каким-то фальцетом прокричал:

— И в чувства ваши к родине не верю! И вообще вам не верю!

Быков, не поднимая глаз, снял очки, протер их:

— Да, я полагаю, мы покончили с психологией и перешли к психотерапии. Следовательно, вам известно, что происходит в Советской России?

— Хорошо.

— Даже хорошо? Следовательно, вам известно, что Шестой съезд Советов принял решение об отказе от комитетов бедноты, то есть что большевики склонны договориться с середняком или, говоря точнее, средний мужичок нашел более выгодным для себя поддерживать советскую власть?

— Да.

— Просто превосходно. — Он быстро повернулся к Вере Николаевне и сказал: — Нельзя ли, Верочка, устроить чайку, пока мы занимаемся тут теорией?

Вера Николаевна повела было плечом, чтобы выйти, но Штрауб проговорил:

— Чай подает прислуга. Вера Николаевна — моя жена, а не подавальщица в трактире!

Быков посмотрел ему в глаза нехорошим взглядом. Взгляд этот и злил Штрауба и в то же время радовал. Штрауб понимал, что необходим Быкову и что Быков все снесет.

— Странный шпион нонче пошел,— сказал раздельно Быков.

— Да, шпионаж сейчас принимает заметно иные формы, — таким же вызывающим тоном ответил ему Штрауб.

— Какие же такие иные формы?

— Раньше шпионаж занимался кражей военных сведений, теперь же одновременно он организатор заговоров в самом широком смысле.

— Раскройте этот смысл.

— Организация заговоров — это значит организация и поддержка определенных политических партий, выгодных нам.

— Не исключая и анархистов?

— Не исключая.

Быков не спеша достал из кармана крошечную коробочку из папье-маше. Он медленно раскрыл ее. В ней лежали маленькие таблетки. Штрауб отвернулся.

— Извините,— с легким смешком сказал Быков,— это не кокаин. Просто иногда я люблю пососать мятные лепешки.

Он положил на кончик широкого языка таблетку и весь, казалось, погрузился в это несложное наслаждение.

— Мне кажется, они помогают от хрипоты. Я ведь шел через Днепр. Ветер, сырость, полынья, вообще рвет и теребит тебя. Тьфу, гадость! Одно из несчастий революции — это то, что она вас на каждом шагу сталкивает с грубостью природы, лицом к лицу с первобытностью, с голодом, холодом, с ветром.

К столу подошла Вера Николаевна. Она взяла таблетку и положила ее в рот.

— И верно, мятная,— сказала она, удивленно раскрыв глаза.— Вот чудеса!

Дососав лепешку, Быков вытер губы платком.

— Так на чем же мы, сударик, остановились? Ага, на анархизме. Между прочим, вам известно, как уже подписывается Григорьев? «Командир первой бригады заднепровской советской дивизии, атаман партизанов Херсонщины и Таврии».

Он взглянул на Штрауба и рассмеялся.

— Едва ли вы сюда пришли для намеков.

— Конечно, не для намеков. Я пришел сюда, собственно, за тем, за чем бы мне и не нужно приходить.

— А именно?

— Я пришел предложить вам вступить в связь с анархистами, в частности с Григорьевым и дальше с Махно. Но, судя по признаниям Верочки, вы, по всей вероятности, получили инструкции раньше меня.

— Я получил гораздо ранее,— сказал Штрауб и добавил больше для указания Вере Николаевне:— Гораздо ранее, но я не хотел раскрывать этого Вере Николаевне. Каковы же ваши предложения?

Быков подумал, видимо выбирая слова, но затем быстро заговорил, чтобы показать, что и он немало знает.

— Через месяц приблизительно откроется Первый конгресс Коммунистического интернационала. Вам не нужно объяснять, что это штаб мировой революции, ветер, который должен соединить отдельные огни в один

большой пожар. «Мы на горе всем буржуям мировой пожар раздуем». И раздуют, будьте уверены-с. У этого Ленина легкие довольно сильные. Ну-с, вам не нужно также объяснять, что наша роль — быть, так сказать, теми бациллами, которые вызывают воспаление легких, чтобы дыхание не было столь мощным. Это — первое. А второе — каждый работает для своей родины, но интересы наших стран взаимно соединяются.

— Не всегда.

— Очень часто. Например, вы не русский?

— Несомненно.

— А я русский. Но я тружусь для заграницы. Почему?

— Хорошо платят.

— Да прекратите вы ваши изречения! Хорошо, допустим, что платят. А что получаете вы, когда сейчас инфляция?

— Хороший шпион получает всегда золотом.

— Вы думаете? — спросил, прищурив глаза, Быков. В этом прищуривании Штрауб уловил зависть, и она порадовала его. Штрауб сказал:

— Не лучше ли от условных понятий перейти к делу?

— Я только и говорю, что зову вас к делу. Итак, я русский, но служу иностранцам...

— Говорите лучше о наших задачах. Организуется Третий интернационал. Есть уже штаб. Значит, близко и наступление?

— Наступление уже идет: Советы в Германии, забастовки... Но у наступающих часто нет оружия, а иногда не хватает и командиров. Можно обучить командиров, достать оружие. Это если идет нормальное развитие движения. Ну, а если мы считаем необходимым несколько по-иному рассматривать это движение? Тогда выгоднее двинуть Западу на помощь войска. Или, во всяком случае, убедить Запад, что на него идут войска.

— Войска? — спросил с удивлением Штрауб.

— А почему нет? Революция у вас кое-где, несомненно, начнет переходить и в советскую революцию...

Он поднялся и, видимо сам взволнованный, прошелся по комнате. Штрауб наблюдал за его движениями. То, что сказал ему Быков, не приходило ему в голову, и от этого он почувствовал и уважение к нему и даже нечто похожее на симпатию. Он с удовольствием слушал голос Быкова.

— На Запад! Если даже Запад будет наступать на Украину, все равно нужно кричать, что мы, Советская Россия, идем на Запад! Вам ясен наш план?

— То есть в иной обстановке, но опять непринятие Бреста?

— Вы намекаете на Троцкого?

— Да.

— А я и не говорю, что это моя мысль.

— Следовательно?..— спросил, задыхаясь, Штрауб.— Следовательно, если Ленин не задержит, мы...— И он воскликнул: — Но почему вы не уберете Ленина?

— А вы бы поехали — убрали,— сказал ехидно Быков.— Вы думаете, что если существуют пули, то они непременно могут попасть в Ленина? Это не так-то легко.

— А вдруг не выйдет — на Запад!

— Почему?

— Да потому же, почему сорвался Брест!

Быков посмотрел на Штрауба.

— Это зависит от вас.

— От меня?

— Да. Хотите, я назову вам ваш Тулон?— Он улыбнулся сдержанно.— Верочка рассказывала мне, что вы его ищете. Так вот этот Тулон носит древнее название — Александрия! Столица атамана Григорьева.

— То есть какова моя задача?

— Махно и Григорьев сейчас признают Советы. Прекрасно. К ним посылают комиссаров. И это ничего. Но когда советские войска приблизятся к Западу, то, чтобы их сбросить в яму, разбить морально,— потому что физически разбить — это, милостивый государь, теперь уже вздор,— то необходимо, чтобы мужик, украинский мужик то есть, воткнул им в спину нож! Вот мы и поручаем вам, Штрауб, передать этот нож. Кроме того, в центре мы ручаемся за забастовки, в частности в Петрограде эту миссию берут на себя левые эсеры.

Он встал, потянулся и, зевая, сказал:

— Почивать пора. Как же, Верочка, насчет кушаньев? И все-таки, Верочка, я должен тебе сказать, что тебе везет: каких мужей подцепила,— ведь оба будут генералами. Под старость есть что вспомнить!

Вернулся отец. Попили чаю, и Быков лег на диване. Отец лег на полу. Штрауб долго сидел у обеденного стола. Удивительное дело, но, испытывая теперь уважение и даже некоторую благодарность к рассудительности

и изворотливости Быкова, он как-то стеснялся идти в спальню. И он сидел, поправляя свет в лампе, слушал дыхание спящих, пока не раздался голос Веры Николаевны:

— Что ты там сидишь и когда ты придешь спать?

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

1919 год с его вдохновенным лицом, как бы заслушавшимся музыки будущего, являет зрелище удивительное, заслоняющее собой многие годы многих веков. Весы истории грозно колебались. В чаши их бросали громадные тяжести, так что чаши с грохотом то взлетали вверх, то уходили вниз. Вот брошена гиря: 21 марта провозглашена Венгерская советская республика! Через пять дней в захваченной союзниками Одессе происходит восстание рабочих, и союзники, чуя беду, начинают эвакуацию. Одновременно происходит всеобщая забастовка в Руре с требованием социализации угольной промышленности. Через шесть дней Одесса занята советскими войсками. Брошена еще гиря на весы истории: тотчас же в Мюнхене восстают рабочие, а в Баварии поднимается знамя Советов!

Адмирал Колчак упорно ведет наступление по всему восточному фронту, особенно напирая на север, чтобы соединиться с англичанами, которые мечтают создать там северную английскую империю. На юге Румыния превращается в тот перрон, к которому подъезжают поезда с войсками и припасами для захвата Советской России, причем на словах происходит все как будто наоборот, и все газетчики мира громко повторяют четырнадцать пунктов программы будущего, изложенные президентом Вильсоном в послании к Конгрессу США 8 января 1918 года; в этом послании шестой пункт требует «освобождения всей русской территории от немцев и полнейшей свободы для России устраивать свои дела и свою политику, как ей будет угодно». А 1 мая под давлением империалистов погибла Баварская советская республика.

Первого мая в крупных промышленных городах Франции происходит всеобщая забастовка. Париж объявлен на военном положении.

Приближается Версаль. Победители должны показать, что мир на фронтах приходит совместно с социаль-

ным миром внутри их стран. А для этого полезно притушить огни Советов. 2 мая финская добровольческая армия вторгается в пределы Советской России. Румыны на юге помогают им. Двинут Деникин. И мало того, в тылу советских войск готовятся восстание и измена. В день, когда германская делегация впервые села в Версале за один стол с Клемансо, чтобы выслушать условия мира, то есть 7 мая 1919 года, в тот же день атаман Григорьев поднимает восстание против советской власти.

За месяц-полтора до этого восстания Штрауб был в Одессе. В Одессе, перед эвакуацией, ему довелось беседовать с видным представителем французского командования.

Мысль о необходимости этой встречи возникла в нем давно. Германия валится в пропасть. В Германии, славящейся крепкой и, казалось бы, несокрушимой собственностью, скоро не будет ни собственности, ни порядка! К черту Германию! Продавать ее остатки и, в частности, остатки тех военных и стратегических тайн, которые знает Штрауб!.. Кому продать? Кто в них сейчас больше всего заинтересован? Кому они нужны?.. Ну, разумеется, французам. С ними легче сговориться, они легче поймут. А там можно шагать и дальше. Однажды Вера Николаевна сказала полушутя: «Ну, если нам не удастся попасть в Америку, Америка-то, во всяком случае, попадет к нам». Шутка шуткой, а сколько в ней правды!.. В связи с успехами войск адмирала Колчака в Сибири в начале 1919 года американское правительство начало проявлять усиленную активность, готовя гигантское вооруженное нападение на Советскую Россию. По плану Герберта Гувера, старинного врага России, создан был «комитет помощи» России, который должен был так «помогать», что Штрауб извивался от зависти, думая об этой помощи. Ах, если б удалось, через французов, попасть в этот комитет! Ах, какие умники эти американцы! Подумать только, предлагают советскому правительству пшеницу, масло и сахар, а просят взамен (конечно, «из чувств гуманности и жалости к бедному русскому народу, обессиленному войной!») только прекращения военных действий с Колчаком и Деникиным. Советская Россия прекратит войну, а тем временем можно будет, во-первых, спокойно приготовить интервенцию, а во-вторых, при помощи аппарата комитета заслать в Россию огромное количество разведчиков и диверсантов. Ну,

разве Штрауб не нужен тут? Именно он-то и поможет своими «кадрами»: Быковым, Чамуковым, Ильенко и другими... Поэтому-то Штрауб чрезвычайно обрадовался, когда Вера Николаевна через каких-то офицеров устроила ему свидание с видным представителем французского командования. Штрауб шел к нему, очень волнуясь. Но все обошлось хорошо и быстро, даже чересчур быстро.

Представитель, пожилой мужчина с пепельными мешками около глаз, сказал:

— Пускай не разговаривают и не кланяются там, в Версале, но здесь нам следует поговорить. Согласны ли вы потрудиться для меня?

— Я давно этого хотел, ваше превосходительство...

Штрауб вернулся в штаб Григорьева. Здесь он оказался полезным в анархистской газете, где его статьи считались красноречивыми и убедительными. И надо сказать по правде, этот полицейско-кулацкий анархизм, чрезвычайно смахивающий на кровную месть, очень нравился ему. Он понимал довольный вид Веры Николаевны, которая, накрывшись шалью, в больших сапогах, шагала по украинскому селу, отгоняя плетью лаявших собак. Не нравилось ему только крайне незначительное, хотя и длинное по размерам лицо атамана Григорьева, бывшего акцизного чиновника, и не нравилось потому, что атаман Григорьев, как казалось Штраубу, неспособен был пойти особенно далеко, а Штраубу уже надоело менять хозяев. В особенности был ему противен батько Максюта, коренастый мужик с длинными сальными волосами, с серьгой в ухе, похожей на запонку, бывший конокрад и вор. Максюте же не то нравилась Вера Николаевна, не то статьи Штрауба, но, как бы то ни было, когда Штрауб вернулся из Одессы, батько даже пришел его встречать на перрон. Загорелый, с лицом, покрытым ссадинами, и с глазами, похожими на капли дегтя, он, точно хлеща взглядом, смотрел на Штрауба.

— Ну как, обворужил своих? — спросил он, обдавая Штрауба запахом нового полушубка, накинутого на плечи.

Вера Николаевна, в белой блузке и черной бархатной юбке и, как всегда, в сапогах, стояла несколько поодаль от Максюты. Глаза ее потеряли обычный здоровый, правда несколько возбужденный, блеск, и было в ее лице что-то поношенное, как в хорошей материи, потерявшей свой ворс. Сегодня, когда узнали, что на завтра

назначено восстание, Максюта пригласил ее к своему штабу, который стоял в полусгоревшем помещичьем доме на берегу пруда. То ли он хотел похвастаться своей властью, то ли испытывал ее нервы, но, когда она с несколькими своими знакомыми подошла к штабу, она увидала на крутом берегу пятерых связанных в рваной военной одежде. «Для упражнения — евреев топить будем, — сказал Максюта, заглядывая в глаза Веры Николаевны. — Боишься, царица?» Вера Николаевна пожала плечами. Все пятеро были молодые люди, истощенные побоями и голодом и, видимо, мало понимавшие, что с ними происходит. Они медленно, стараясь не упасть в грязь, так как берег был глинистый и рано на рассвете прошел дождь, спускались за конвоем к воде, к деревянным мосткам, возле которых плескалось несколько уток. Трое ребят, стороживших, должно быть, этих уток, с ужасом смотрели на конвой и на рваных людей, а главное — на страшного разбойника Максюту, который подходил, окруженный какими-то помощниками, увешанными бомбами и оружием. Ребята лезли глубже в кусты, и свежие мокрые ветки торопливо трепетали вокруг них.

Вере Николаевне было противно смотреть на эти посиневшие тела арестованных, на эти тусклые, впавшие глаза, и в то же время где-то под ложечкой томяще ныло: приятно было видеть такую власть, и Вера Николаевна видела, что опытный Максюта понимает ее. Он самодовольно погладил хорошо побритый подбородок и сказал помощнику: «Надевай кирпичи!» Пятерым арестованным надели на шеи кирпичи, привязанные тоненькой бечевкой к большой толстой веревке так, что три кирпича ложились на грудь, а пять на спину. Почувствовав холодное прикосновение кирпичей, арестованные поняли, что происходит, закричали, забились. Вере Николаевне мучительно захотелось закрыть глаза, но она сдержалась и крикнула: «Погубили Россию, голодом морите! Половите-ка рыбу». — «Молодец, царица, — сказал Максюта и добавил: — Толкай». Один из пятерых, должно быть посильнее прочих, на мгновение вырвался из рук конвоиров, или, вернее сказать, освободил туловище, посмотрел на Максюту и его спутников и раздельно сказал: «Будьте вы прокляты в семени вашем». Это древнее проклятие, необычность его, спокойствие, с которым оно было сказано, видимо, смутило Максюту. Он оскалил зубы и

сказал громко: «Толкай». Пятерых толкнули с мостков. Утки, колотя по воде крыльями, побежали по голубой поверхности пруда. Дети устремились, вопя, в село.

И сейчас, возвращаясь вместе с Верой Николаевной домой, слушая ее рассказ о пяти утопленных, Штрауб и восхищался Максютой и в то же время слегка чувствовал ревность к нему. Он не мог найти в себе слов, которые бы можно было сказать и которые хоть как-нибудь определили бы его отношение к Максюте. Он оглядывал Веру Николаевну, и ему казалось, что за эти три недели его отсутствия она заметно раздобрела и голос у нее стал крикливее и наглей, а главное, в чем он даже боялся и сознаться, он уже опасался ее. Он знал, что она не причинит ему вреда. Даже если бы он покинул ее или покинул бы даже григорьевский лагерь. Но все же Вера Николаевна казалась ему чем-то опасной.

— А тебя к Максюте назначили, — вдруг сказала Вера Николаевна.

— Куда?

— Редактором газеты, — раздельно произнесла Вера Николаевна. — Ты иди к Григорьеву.

Атамана он нашел возле церкви. Григорьев стоял в лакированных сапогах, в длинной шелковой рубахе, блестящей и желтой, на которую падал отсвет недавно выбеленной церкви, так что вокруг атамана было пышное сияние. Он стоял на бочке и, должно быть, только что окончил свою речь к толпе, стоявшей на площади; он кидал в толпу крестьян награбленные товары. Позади него была громадная бочка, доходившая чуть ли не до плеч атаману. Из этой бочки адъютант, бывший урядник так называемой корчемной стражи, подавал ему куски мануфактуры, чулки, пачки мыла. Особенно далеко летели пачки мыла. Толпа закружилась, закричала, заклубилась пыль, и чем дальше и сильнее кидал товар атаман, тем тяжелее было дышать из-за пыли. Голос у него был слабый, и потому нельзя было разобрать, что он выкрикивал. Пара ботинок упала у ног Веры Николаевны. Из толпы выскочила баба. Цепкими пальцами она схватила за бечевку, которой были связаны ботинки, и, торжествующе взмахнув ими у лица Веры Николаевны, провопила какую-то замысловатую ругань. Но Вера Николаевна не слышала этой ругани, она восторженно смотрела на батьку Максюту, который

стоял теперь рядом с атаманом Григорьевым и кричал своим сиплым голосом:

—Обещаем еще больше добра! Набирай ватагу, громи города, сметай власть! Сейчас пойдем на Херсон, на Одессу, на Екатеринослав!..

Штрауб и Вера Николаевна с трудом пробились сквозь толпу и догнали атамана уже возле дома попа, где он жил. Он шел, слегка прихрамывая, потому что надел узкие сапоги, которые натрудили ему мозоль, и, вытирая шею, покрытую белесым волосом, говорил кому-то, видимо разъясняя роль акциза и явно гордясь своим ученым прошлым:

— Ныне под акцизом разумеют косвенный налог на предметы внутреннего производства, выделываемые частными лицами, и взимают этот налог с его потребителей. Слово это латинское и значит accedere — налагать, устанавливать приращение...

— А Гришку опять рвет! — крикнул кто-то со двора. Гришка был любимый сеттер, которому атаман не постеснялся из-за любви к нему дать кличку по своей высокочтимой атаманом фамилии. Этот сеттер отличался страшным обжорством, и поэтому Григорьев никому не позволял кормить его; другие, казалось атаману, только зря перекармливали собаку.

Услышав это, Григорьев прекратил разговор и, положив полотенце, которым он вытирал шею, на левую руку, как половой, побежал к своему псу той иноходью, которой бегают половые, чтобы не разбить посуду.

Штрауб догнал его.

— Разрешите доложить, атаман... — начал было он.

— После, после! — дискантом прокричал Григорьев, взмахнув полотенцем. — Готовьтесь, вы назначены в Екатеринослав!

...Уже около Екатеринослава Штрауб узнал, что организованный при его помощи заговор барона Бема был раскрыт советскими органами и что полк, переарестовавший было коммунистов и двинувшийся на соединение с григорьевцами, был остановлен догнавшим этот полк комиссаром Щаденко. После речи Щаденко полк, признав свою ошибку, вернулся в Одессу, чтобы предстать перед судом.

Двенадцатого мая отряды григорьевцев ворвались в Екатеринослав и свергли советскую власть. Максюта

ограбил все склады, квартиры и магазины, вытащил товары на площадь и разбросал их гарнизону города, чтобы привлечь его на свою сторону. Штрауб выпустил уже два номера газеты «Анархист», на первой странице которой жирным шрифтом был напечатан лозунг григорьевщины: «Бей жидов и грабь буржуев».

— А как же Махно? Что он думает? — спрашивал тревожно Штрауб.

— И без Махны справимся,— сказал Максюта и добавил, смеясь:— Власть, как бабу, делить ни с кем не надо. Куда тебе Махна? Сиди! Хочешь свои сочинения печатать — печатай, мне бумаги не жалко.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Ламычев быстро устал комендантствовать на ипподроме.

— Жеребца я люблю степного, — сказал он Пархоменко,— и чтобы при нем табун находился; а тут что же: по талонам силу отпускать. Да провались оно пропадом! Кроме того, я себе заместителя нашел, из часовых. Очень любит талоны эти самые писать, должно быть, у баб отвергнут.

— Куда же теперь тебя?

— Куда хочешь. Я думал, на ипподроме больше событий будет. А ремесленников я не люблю...

— Зря ты с Дону уехал.

— Почему зря? Я так думаю, что на Украине я могу быть сильно полезным человеком. На Дону я всю свою силу получил. Почетное знамя ВЦИКа привезли из Москвы? Привезли. Кому было передано, в чьи руки? В мои. И часы тоже. — Он достал часы, щелкнул крышкой и медленно положил в карман. — Теперь хочу посмотреть, как юг будет сеять.

— Самому сеять не хочется?

— Да вот пока не тянет.

Он подсел ближе к Пархоменко и быстро, словно боясь, что постесняется дальше говорить и остановится, заговорил:

— Рука у меня отрезанная по земле тоскует, хоть и нет ее. Семейные меня почитают. Внука назвали в мою честь Терентием. А все-таки мне кажется, Александр

Яковлевич, что я в калеки ухожу. Как же так? Какой же я ремесленник?

— Ты что ремеслом-то называешь?

— Рукомеслом-то? Это кто кусочки собирает и в окна стучит.

— Может быть, тебе по снабжению пойти? — понимая его тоску, спросил Пархоменко.

Ламычев ответил сдержанно, но по тону его ответа чувствовалось, что Пархоменко угадал его желание.

— Снабжение?.. Я тут приглядываюсь, оно трудное. Мужик на селе к работе не тянется, запуган, думает, что мы, как махновцы, денег платить не будем, а только плеть в зубы.

— Возьми съезди, достань хлеба.

Пархоменко нарочно дал Ламычеву самый отдаленный и трудный участок, в большинстве своем заселенный богатыми хуторянами. Ламычев взял паровоз и один классный вагон — он не мог не удержаться, чтобы не повеличаться, — и так поехал в большое село Берестку. Заплатив за грехи и проступки своего предшественника-заготовителя и монетами и товарами, Ламычев сразу же, неподалеку от мельницы, нашел бетонный погреб — яму с дубовой дверью, а на двери — большую печать с знаком трезубца.

— Кто печати наложил? — спросил он в сельсовете.

— А Махна.

— Сколько же тут зерна запечатано?

— А вагонов сорок.

— Добре. — И он сковырнул печать.

Подвод до этого не было, и найти их казалось невозможным, но как только он сорвал печати, получилось так, что будто бы он сорвал печати и с подвод. Привели коней, впряженных в телеги. Тогда Ламычев «двинул элеватор», то есть пустил трансмиссию, поставив под желоб огромное корыто, сколоченное из теса, — и зерно потекло в это корыто. С приятным, теплым чувством смотрел Ламычев на золотистый поток, уже давно не виданный, на солнце, заливавшее сквозь тополь этот поток светло-желтыми лучами, похожими на сыромятные ремни, и смотрел на мужиков, которые стояли хмуро, держа шапки под мышками. Они ничего не говорили комиссару, но в глазах их улавливалась жалость к нему, и Ламычев понимал, что кулаки уже поскакали к Махно.

Подали состав. Стали грузить вагоны зерном. Ламычев зашел в вагон посмотреть, не осталось ли там свободного места, тщательно ли идет погрузка. Когда он вылез из вагона, ему показалось, что грузчиков стало меньше, а главное, исчезли и председатель сельсовета и секретарь. «Эх, не успеем, пожалуй, увезти вагоны»,— подумал Ламычев.

К станции подъехало несколько верховых.

Молодой мордатый парень с таким ярким румянцем на щеках, что на него без смеха и смотреть нельзя было, спросил, наставляя винтовку и не слезая с коня:

— Откуда?

— Из Харькова, — ответил, смеясь, Ламычев.

— Кто?

— Уполномоченный по снабжению округа.

— Фамилия?

— Ламычев.

— А!..

— Что «а»?

— Поехали в штаб Селезнева.

Селезнев, как уже слышал Ламычев, был начальником штаба Махно: «Видать, и Махну поглядим», — подумал Ламычев с удовольствием, ощущая, что вся его тоска прошла и что в конце концов даже приятно идти среди верховых. Когда его вели мимо почты, он вдруг сказал конвойным:

— Мне телеграммы надо с почты взять. Будут допрашивать — для вас же сгодятся доказательства, что я комиссар.

— А бери! — сказал мордатый, и как и предполагал Ламычев, не слез с коня, а только велел своему подручному стать во дворе, чтобы арестованный не мог убежать с черного хода. Ламычев вошел в почтовое отделение и написал телеграмму в Харьков к Пархоменко: «Если погибну, ищи у Махны». Вернувшись, он показал мордатому своему конвойному квитанцию на телеграмму и тот удовлетворенно кивнул головой.

В комендантской, длинном и сыром сарае, где пахло крепко свиньями, на щелистых нарах лежали избитые мужики. Он сел на край нар. Какой-то голос спросил из темноты:

— Дядя, день-то нынче как называется?

— Пятница, — отвечал Ламычев. — А чего?

— Обещали в среду вешать, а все бьют. Ноги ноют. Весна, что ли, ветреная...

Был конец апреля. Как раз самое время говорить о посевах. Мужики жаловались, что нет зерна, а махновцы, как ошалелые, все зерно стараются обменять на спирт.

Ламычев в комендантской просидел недолго. К вечеру его бросили в теплушку. В теплушке тоже были нары, только на нарах здесь лежали махновцы. У железной печки стояла бочка, на ней бочонок поменьше, а вокруг бочонка жестяные кружки. Вошел махновец в свитке, с двумя револьверами за поясом и с длинной саблей. Он повернул кран бочонка. В вагоне запахло водкой.

— Ламычев?

— Он самый.

— Слышали.

— Откуда?

— А я Селезнев. Мне все известно: кто и как.

Махновец поставил на нару ногу и, подтянув голенище, сплюнул.

— Кто тебе разрешил хлеб брать? Тебе известно, кто здесь хозяин?

— Оттого и взял, что известно, кто хозяин.

— Кто?

— Советская власть.

Махновец рассмеялся, опять выпил, крякнул и понюхал корку хлеба. Затем, видимо чувствуя внутри приятную теплоту, доброжелательно сказал:

— Ну, и дурак. Заколем тебя.

— И ты от смерти не уйдешь. Мне-то что, черт с ней, с жизнью, только вот вагоны мои непременно надо направить в Харьков. Заводы останавливаются.

— И пускай останавливаются.— Он налил вина, но тоненькой струйкой и едва на донышке, в другую кружку, подал ее Ламычеву. — Пей.

— Комиссары не пьют.

— Ну, все мы из одной деревни, — сказал махновец и лег на нары.

Ламычев думал: «Сонного рубить, что ли, будут?» — и он гадал, удастся ли Пархоменко вывезти хлеб, погруженный в вагоны. Как всегда, теперь он лежал на спине, и, как всегда, стоило только лечь, начинало ныть плечо, у которого отняли руку, и болело темя.

Проснулся он под утро, когда все уже посерело. Поезд стоял. Продрогшие караульные топтались у две-

рей теплушки. Когда Ламычев поднял голову, караульные перестали топтаться.

— Куда приехали?

— Не велено говорить,— ответил караульный.

Завизжали на разные голоса двери теплушки. Вошел в темной своей свитке Селезнев. Должно быть, он плохо спал, потому что все еще потягивался, зевал, сплевывал и приказывал караульным принести воды постуденее. Собирая в портфель бумаги, он сказал:

— Приехали в Гуляй-поле.

— К Махну пойдем? — спросил Ламычев.

— Пойдем, раз ты рвешься.

От станции до штаба Махно было никак не меньше пяти километров, но всю дорогу они почему-то шли пешком. Впереди шел Селезнев, крепко прижав к боку портфель. За ним шел Ламычев, а позади — конвойные. Селезнев молчал, изредка густо сплевывая и останавливаясь, чтобы из вежливости растереть плевок.

Вошли в большой помещичий двор. Ламычев увидел длинные выбеленные конюшни и посреди двора — выкрашенный блестящей краской, похожий на бляху, трехэтажный дом, перед которым стояла беседка, украшенная высохшими прошлогодними стеблями садового винограда. Конвойные проводили Ламычева в эту беседку, а Селезнев пошел в дом.

Открылись двери конюшни. Заржали кони. Вывели гладкого серого жеребца. Ламычев посмотрел на него и подумал: «На ипподроме наши хоть голодней, а статями лучше». За конюшней, надо полагать, находилась кузница, потому что оттуда слышались неровные удары по наковальне. «С похмелья бьет, черт,— подумал Ламычев,— в женихи вам идти, а не в кузню». Кто-то выкатил телегу и, подперев ее жердью, поставленной на дугу, снял колесо и стал мазать ось. Обмакнув мазилку, он поднял голову и крикнул:

— Семен! Иди сапоги смажу. Деготь нонче жидок, как вода, мигом впитается.

Семен, должно быть, коваль, потому что удары прекратились, когда он спросил:

— А у тебя покурить есть?

— Нету.

— Ну и мазать не буду,— ответил практичный Семен, по-видимому желавший соединить в один два приятных запаха: табака и дегтя.

Из дома вышел головастый лохматый маленький человечек в кавалерийских штанах, не завязанных внизу, так что тесемки их постоянно попадали ему то в калоши, то под калоши. Шлепая калошами, он прошел мимо беседки, а затем направился влево, по всей вероятности в кухню, потому что, как только он вошел в большую дверь, тотчас же оттуда выбежала старуха в цветном фартуке и закричала:

— Жра-ать!..

Из раскрытой двери кухни несло чем-то мясным, пахло горячим хлебом, и у Ламычева засосало под ложечкой. Ламычев повернулся спиной к кухне и стал смотреть на того парня, который мазал телегу. Но парень, облизываясь, жадно глядел в дверь кухни, и не было сомнений, что ему тоже крайне хотелось есть. Ламычев перевел глаза на конвойных. Они тоже смотрели на дверь кухни. «Ну и сторона!» — подумал Ламычев.

Выбежала опять старуха в цветном фартуке и крикнула караульным, указывая на Ламычева:

— Велено и ему жрать. И вы ступайте в казарму.

Посреди кухни стоял стол топорной работы с такими же стульями по бокам. Пол у кухни был земляной, но чистый. Возле очага, вроде свечей, стояли, освещая его отраженным светом солнца, винтовки и два пулемета. На столе были миски с борщом, крупно нарезанные ломти хлеба; старуха ждала дальнейших приказаний, скрестив руки над фартуком.

Ламычев сел с краю стола.

По ту сторону стола, в конце его, сидел давешний лохматый человек в кавалерийских штанах, в очках, и рядом с ним какой-то пузатый мужчина с длинными усами, касающимися стола. По левую сторону лохматого восседал на большом высоком табурете батько Правда́. Ламычев узнал его по описаниям: ноги у батьки Правды́ отрублены до колен, собой сед, багров и ругатель. Тотчас же, как только вошел Ламычев, Правда́ обрушился на него с такими длинными, торопливыми и егозливыми ругательствами, что Ламычев с удивлением подумал: «Ну, этот в матерщине никому ремиза не даст».

Лохматый, положив локти на стол и упираясь подбородком в ладони, спросил:

— Так ты и есть чрезвычайный комиссар?

— Ну, не совсем чрезвычайный, — ответил Ламычев, — а комиссар, это верно.

— Как же не чрезвычайный? Ведь ты со своим составом.

Ламычев промолчал. «А пущай я буду чрезвычайным, — подумал он, — другой чрезвычайный, пожалуй, по-настоящему-то и помереть не сумеет, только советское звание огорчит».

— Расскажи, зачем приехал?

— А кто ты такой, что мне рассказывать?

— Я батько Махно, — ответил лохматый.

Ламычев уже давно, еще в беседке, догадался, что возле него прошел Махно, но Ламычеву хотелось выиграть побольше времени, чтобы оправиться и разобраться в обстановке. И сейчас, делая вид, что он очень удивлен, сказал:

— А ну, коли ты батько Махно, так дай же хоть позавтракать.

Махно повел пальцем в сторону старухи, и старуха подвинула миску к Ламычеву.

— Зачем ты приихав, чрезвычайный?

— Я приихав за хлибом. Рабочим нужда.

— Хиба ты не знав, хто тут хозяин?

— Гыде? — как будто недоуменно спросил Ламычев.— Гыде? Разве ты по одному уезду хозяин? У нас идэ разговор, шо тоби дают повышение — чи комбрига, чи другой высший чин. Чего тебе об уезде заботиться?

Нелепая эта лесть, однако, нравилась Махно. С ним происходило то же, что с пьяницей: вначале хмелеет и от одной рюмки, а чем дальше, тем крепче должен быть заряд опьянения. Ламычев попал к нему как раз в такое время, когда заряды эти требовались большие. И, почувствовав свою ловкость и наслаждаясь ею, Ламычев продолжал:

— Мы, казаки, так думаем: надо помозговать, как так: батько — батько, а только на один уезд. Что же, в остальных уездах его дети помирают, выходит?

Махно даже тряхнул головой, как бы отмахиваясь от этой неожиданной и усыпляющей лести. Но тут с высокого стула закричал вдруг батько Правда́:

— А ты зачем наши печати сорвал, чрезвычайный?

— Добро не печати хранят, а хозяева. Яки ж вы хозяева, коли у вас в вашем двори хлиб забрал! Где

вы? Искать вас по фронту? Печать должна быть не сургучна, а железная.

— Какая?

— Винтовочная, — сказал Ламычев.

Подали яичницу с колбасой.

Опять заворчал Прáвда. Махно слушал его, слушал, а затем, оттолкнув тарелку, закричал Ламычеву:

— Вы только — хлеб давай, хлеб! А мне треба пули, снаряды, блюза защитного цвету. Вон вы вси в блюзы оделись!

Ламычев пожал плечами:

— Вы же мне заявку не даете. Хиба нам из-за тряпок скандал поднимать. Блюзки. Да блюзок я могу вам привезти за день пятьсот штук. И пуль дам и патрон.

Ламычев, говоря это, чувствовал себя немножко неловко. Он хотел разговориться с махновцами, чтобы перейти к осуществлению второй части своего замысла — вести большой политический спор, чтобы узнать настроение махновцев. «Наобещаешь, а потом вдруг не убьют. И политического спору не выйдет, и получится чепуха», — подумал он. Но сам Махно уже вел разговор в политическую сторону.

— Подожди, ты сказывал, что казак?

— С Дону.

— Это добре. Мы комиссаров не любим, — сказал строго Махно.

— Я же комиссар, хоть и казак.— И Ламычев так же строго проговорил: — И что ты на меня кричишь? Что ты меня пугаешь? Я умру, а деревня наша по-моему жить будет. Думаешь, я не понимаю народной политики?

— Политику ты понимаешь.

— Я пришел сюда пешком с вокзала. Надо тебе хоть до дому довести железную дорогу. А с такой политикой где ты возьмешь рельс? Откуда?

— На хлеб выменяю.

— А керосин? А спички? А шелк? А детей надо учить? Где у тебя бумага, карандаши?

Батько Прáвда закричал, стуча обрубками своих ног о табурет и махая ложкой:

— Чего он брешет, диктатура эта! Бросьте с ним калякать.

Ламычев посмотрел на него и сказал:

— Тебе, батько, порубили ноги, а мне руку. Мы соседи. Не будем орать друг на друга, убеди меня словами. Может, я в Харьков не вернусь, а здесь останусь.

Зазвонил телефон. Адъютант в офицерской шинели со срезанными до подкладки погонами передал трубку Махно, и Махно, послушав говорившего, закричал:

— Какие вы махны, идите, сказано, налево, или постреляем!

— Комиссары диктуют, — сказал, ухмыляясь, Ламычев, — а батько тоже, оказывается, ругает своих детей. А ведь у них небось кровь льется. Если наши комиссары ругают, так они сами впереди своих ребят идут. А батько сидит на кухне.

— Вот заноза, — сказал, тряся головой, Махно, опять садясь за стол.— Ты чего дашь за те двадцать вагонов хлеба, чрезвычайный?

— Пулю в сердце он тебе даст! — закричал, разбавляя свою речь ругательствами, батько Правда́.

«Махну-то, пожалуй, можно обвести, — подумал Ламычев, — а вот батько Правда́ дюже хитрый человек». И он сказал деловито:

— Много дать не можем. Хлеб-то, боюсь, пророс, как бы шашели не завелись...

И Ламычев обещал дать патронов и «блюзки». После завтрака Махно написал ему записку в Берестку, чтобы отпустили ему те двадцать вагонов с хлебом. Всю дорогу до Харькова Ламычев мотал головой и, хотя он был доволен, что цел и что везет двадцать вагонов зерна, но, догадываясь, что накрутил в своем районе весьма неладное, он с опаской избегал мысли об этом, а если мысли все ж подходили, он становился у окна. Мелькал берег, покрытый прошлогодним камышом, сквозь который пробивалась молодая острая зелень; иногда старая лодка, вытащенная на берег, или топкий двор, покрытый лужами, в которых отражалось развешанное на веревке белье и полоскались веселые гуси. Ламычев напевал:

На берегу сидит девица,
Она платок шелками шьет,
Работа чудная такая,
А шелку ей недостает.

Навстречу белый парус вьется,
На брег скользнул в сиянье дня...
«Моряк любезный, нет ли шелку
Хотя немного для меня...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

— ...Касаясь материальной части у восставшего атамана, надо сказать, она немаловата. У него свыше пятидесяти орудий, семьсот пулеметов, тридцать тысяч винтовок, три бронепоезда, еще вдобавок танки с иностранными инструкторами. Когда румыну плохо, то француз превращается в анархиста, — так, что ли? — спросил Ворошилов, намекая на недавнее поражение румынских захватчиков, понесенное от советских войск.

Сквозь закрытые окна вагона доносился порывистый шум дождя, заливавшего харьковский вокзал. Когда раскрывалась дверь, в вагон командующего влетал запах воды, мокрой земли и весеннего ветра. Подальше на перроне, отливавшем слабым фисташковым светом, суетился народ с мешками, узлами, ящиками. Возле бочки, в которую падала вода с таким звуком, как будто хлопали в ладоши, стоял Ламычев. У него болела голова, и он вышел проветриться. Лицо у него, как всегда, было самоуверенное, но все же где-то в губах и в глазах чувствовалась некоторая растерянность. Пархоменко опустил окно и помахал рукой. Ламычев бросился к вагону.

— Всем теперь ясно, что нужны не уговоры и переговоры, а решительные действия, проводимые неколебимой волей и тяжелой рукой, — заключил свою речь Ворошилов.

— Ламычев здесь? — спросил начальник штаба.

Ламычев распахнул дверь и вошел.

— Доложите, товарищ Ламычев, — сказал ему Ворошилов.

Ламычев, сразу ставя на пол плашмя всю ступню, размашисто подошел к столу и, показывая по карте свой путь, сообщил о том, как он ездил к Махно. Кое-кто в вагоне рассмеялся, но большинство ждало дальнейшего, не понимая, к чему бы рассказывать эту поездку.

— Махно на дурачка нас ловит, — проговорил Ворошилов, — «блюзки», вишь ты, ему понадобились. А сам он будет куда половчее Григорьева. К нему уже приехали харьковские и даже ивановознесенские анархисты, он имеет анархистские политотделы и выпускает три газеты. Еще в апреле на седьмом районном съезде махновцев по его предложению вынесена резолюция:

«Замена существующей продовольственной политики правильной системой товарообмена», то есть пусть, мол, торгует опять кулак. Вы ему что-то пообещали?

Ламычев смущенно и безмолвно шевелил губами. Ему трудно было поверить, что не он обвел Махно, а что Махно хотел его обвести и, может быть, даже обвел.

— Да так... надо же хлеб вывезти... патроны обещал и кое-какую одежонку.

— Придется обещание выполнить, — сказал Ворошилов, подумав.— Пусть он полагает, что мы такие глупенькие. Может быть, денька на два, на три отсрочим его выступление, а в это время смажем по роже Григорьева. Махно, должно быть, ждет: закрепим ли мы наши успехи на румынском фронте и в Галиции. Чуть мы поослабнем, он и ударит.

Он повернулся к Пархоменко:

— Патроны дай с пулями «Гра». Они широки и в махновские винтовки не влезают. И барахло дай. А вы, товарищ Ламычев, увезете это и постараетесь заговорить ему зубы. Если по-настоящему события рассматривать, то скорее всего Махно ждет инструкций от французов.

Когда Ламычев вышел, началось обсуждение, сколько же сил способен выставить Харьковский военный округ против григорьевщины. Выходило немного, потому что все время требовались пополнения на румынский и галицийский фронты, да и внутри город еще требовал охранения. Решили объявить временную мобилизацию коммунистов и рабочих. Так как лица харьковских общественных деятелей вытянулись, — деятели опасались, что Ворошилов уведет с собой много народа, а главное, надолго, и предприятия остановятся, — то Ворошилов сказал, что из курсантов арткурсов и пехотных курсов сформирует сводный курсантский батальон, возьмет сотен шесть рабочих да коммунистов сотни четыре.

Вагон опустел. Все ушедшие получили подробные и большие задания: кто — привести и погрузить войска, кто — осмотреть броневики, кто — бронепоезда, а особенно тщательно требовалось снабдить и отремонтировать знаменитый бронепоезд «Коля Руднев». Говоря о бронепоезде, Ворошилов добавил:

— Требуется действовать, как в Царицыне!

Пархоменко не получил никаких заданий. Он решил, что, видимо, Ворошилов хочет взять его с собой, а мо-

жет быть, даже оставит охранять город. Когда все из вагона вышли, он сказал:

— А мне, вижу, придется Харьков охранять.

— Прикажем — и будешь охранять, — сказал Ворошилов, смеясь.

— Если прикажете, спорить не буду.

Ворошилов ходил по вагону, потирая поясницу, затекшую, пока рассматривали карту на столе.

— А тебе, Лавруша, придется действовать с еще большей решимостью, чем другим. Мы думаем направить тебя на Екатеринослав. В городе пьянство, дебоши, неразбериха, и к тому же Махно имеет там кое-каких сторонников: в декабре прошлого года, еще при Петлюре, Махно выступал там и забрал такую власть, что екатеринославский ревком не сладил с ним и наше восстание провалилось. Советую тебе пробраться в город как-нибудь, посмотреть, выведать, найти какое-нибудь место послабей и тогда уж бить.

— Разведку послать?

— Разведку.

— Я сам пойду.

Ворошилов, складывая карту, улыбнулся тому, что хотел сказать и что уже много раз было говорено, но мало помогало:

— Горяч ты очень. Разведка требует осторожности.

— Ну, вроде пора бы и охладиться, — сказал Пархоменко несколько обиженно, — уже не тот возраст.

Когда Ворошилов убрал карту, под ней оказалась книга в серо-голубой обложке. Из маленького квадратика выглядывал жестяной силуэт старика с длинной бородой. Пархоменко откинул переплет и прочел про себя: «Война и мир».

— Да, — сказал он, вздохнув, — им, дворянам, было легче, у них хоть мир случался, а у нас сплошь война. Хорошо бы почитать.

— Разве не читал?

— Читал, да давно. Тогда другое понимание было.— И, перелистывая книгу, заранее наслаждаясь теми встречами с хорошими людьми и мыслями, которые предстояли ему, он продолжал: — Удивляюсь я на людей, Климент. Ну Григорьев — так, акцизная наклейка.

А ведь есть же люди умней, сообразительней. Почему им изменять? Ведь мы-то от времени, как бетон: только крепнем да крепнем.

— Потому и изменяют, что мы крепнем.

— Раньше у меня, кажись, никогда такой язвительности к людям не было.

— Была.

— Может быть, это она усилилась, Климент, от нервности?

Ворошилов рассмеялся.

— Честное слово, я даже у врача был.

— Ну, и врач как, Лавруша?

— Он мне бром прописал, а потом говорит: «Хотите — принимайте, хотите — нет, я, в общем, к таким комплекциям, как ваша, не привык».

— И многие еще привыкнуть не могут.

Пархоменко, держа в руке раскрытую книгу, водил над нею ладонью, как будто кого-то гладя по голове, и говорил:

— Умный человек был Лев Толстой, а мужика понимал не до конца.

— Чем же не до конца?

— Он мужика, по всей видимости, повести за собой хотел. Очень был гордый человек, не меньше Христа себя понимал, а уж что касается не меньше Магомета, то во всяком случае. А чем поднимешь мужика? Тем поднимешь, что мысли его поймешь, желания. Ну, Лев Толстой решил: самое главное у мужика религия. Дам ему, мол, понятную религию, он за мной и пойдет. Дал.

— А мужик?

— А мужик говорит: мало. Оказывается, самое главное-то у мужика — горе, безземелье, голод. Другой человек понял мужика.

— Кто?

Пархоменко захлопнул книгу и сказал, улыбаясь:

— А вот Владимир Ильич не гордый. Я своими глазами видел, как он графу Льву Толстому уважение оказывал. Пишешь, мол, хорошо, гордись, а мужик-то пойдет с нами. Вот поэтому-то мы не то что Григорьева, а и Махну, а и других псов размечем и листьями не прикроем, пускай вороны клюют.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Ламычев решил взять с собой приятеля своего Илью Ивановича Табаля, заведующего заготовительным пунктом где-то поблизости от Харькова. По фамилии Илью Ивановича никто не знал, а все называли его «кум», потому что он, здороваясь и прощаясь, всем говорил: «Кум». Кум этот был рябоват, маленького роста, лохмат и вообще походкой и «ряжкой» походил на Махно. Ламычев подумал, что если привезти с собой такого, да еще одеть его в кавалерийские штаны, да еще сделать секретарем, то получится довольно ядовитая насмешка и даже презрение. Он и сказал:

— Надо тебе, кум, поехать с дальнейшими окрестностями знакомиться. А то живем мы, как аист, на одном пункте.

— Что же не проехаться! Должен же я свое заготовительное дело понять до дна.

— Вот и поедем.

— Поедем.

— И начнем мы, кум, с Махна.

Кум от изумления и испуга повернулся кругом и стал, развернув ступни в стороны. Длинная фуфайка его вздернулась на живот, и Ламычев подумал: «Ну, и дутик же ты» — и, не давая ему опомниться, строго сказал:

— Раз тебе говорят, надо ехать. Снаряды везем.

— Кому?

— Махну.

Кум вздохнул.

— Ну, еду.

Опять взяли тот же паровоз, но теперь уже с двумя классными вагонами. В один вагон погрузили снабжение, а в другой — пятнадцать бойцов и себя. День был теплый, изредка вагон охватывало мелким дождиком, и тогда вагон казался островом. По обеим сторонам дороги играла радуга. Колеи проселка ослепительно блестели, а над встречными рощами клубились, уходя ввысь, облака тумана, как бы ворча, что им еще не удалось превратиться в тучи.

Кум сидел на площадке вагона, спустив ноги на ступеньку, курил и, не замечая того, напевал песенку, которую только что перед тем пел Ламычев: «Морячку». Иногда, неизвестно почему, он спрашивал:

— А тебе, Терентий Саввич, не доводилось слышать эти самые валдайские колокольцы?

— Не доводилось.

— И мне не доводилось, а ведь, скажи пожалуйста, все заготовительные пункты поют: «И колокольчик, дар Валдая».

У Федоровки почувствовалось, что махновцы знают о поездке комиссаров. Перед Федоровкой комиссары увидели цепь солдат и красный флажок на пути. Паровоз пошел тихим ходом и остановился вровень с красным флажком. Подошел махновец с черной лентой на фуражке.

— Комиссары, вылазь.

Ламычев поставил красноармейцев с винтовками возле окон и вышел.

— Чего это ты, — сказал он человеку с черной лентой, — целую цепь растянул на меня одного?

— Иди к нам, — сказал человек с черной лентой.

— Зачем? У меня чин выше. Хочешь говорить — иди ко мне.

Человек с черной лентой обернулся к своей цепи и дал команду:

— Пулемет по окнам!

Тогда Ламычев повернулся к вагону и тоже дал команду:

— Товарищи, пулеметы в действие не приводить вплоть до особого моего распоряжения!

Так, около получаса они стояли друг против друга, эти два человека, один с красной лентой на шапке, другой с черной, стояли молча, надувшись от важности. Наконец человек с черной лентой сказал:

— Снимай револьвер!

— Лишнее кровопролитие, — ответил Ламычев, делая два шага назад и кладя руку на кобуру.

— Куда едешь?

— Поворачиваю на Гуляй-поле.

— Так вот нам и велено тебя разоружить.

— А чем разоружишь? Пулеметов у тебя нету. Солдаты твои лежат с лопатками.

— Зайдем на станцию.

— Зайду.— И Ламычев, обернувшись к вагонам, скомандовал: — Ухожу на станцию. Смирно! При малейшем промедлении давать полный бой...

На станции человек с черной лентой пробормотал что-то невнятное коменданту, и тот вынес две чарки водки. Выпили. Ламычев закусил огурцом и сказал еще более важно:

— Мог бы я, парень, взять с собой и трех сопровождающих, но чин мой не позволяет. И без того конвой уменьшен до невероятия.

Вступив на территорию махновцев, Ламычев, припомнив разговоры в вагоне командующего, решил, что махновцы действительно хотели обмануть его, Терентия Саввича Ламычева! И, решив так, он почувствовал к ним крайнее презрение. «Разве это казаки! — думал он.— Эти только играют в казаков. Так, бурьян. С ними я могу как угодно разговаривать. Вот разве только батько Правда́ достоин изучения. Про него можно сказать, что он из продуманных людей». И это крайнее презрение и важность, с которой держался Ламычев, подействовали. Человек с черной лентой говорил с ним почтительно, и почтение почувствовалось даже в том, что к станции Гуляй-поле подали три экипажа.

Войдя в кухню, он увидел тот же очаг, тот же топорный стол, то же угощение, и только «батькив» прибавилось, да лица их стали более хмурыми, а батько Правда́ был совсем возбужден. Увидав Ламычева, он стал так ругаться, что Ламычев пощупал себе нижнюю челюсть и сказал:

— От такого напряжения чембары[1] свалятся. Пожалей себя, батько Правда́!

Он снял фуражку, положил ее со стуком на стол и проговорил как только мог раздельно и важно:

— Ну вот, сказал я, что не надую, и не надул. Привез тебе, Махно, снаряжение. Посмотрим, какое у тебя есть чувство к народу.

Махно сидел в белой, словно из каолина, глянцевитой рубахе под громадным черным знаменем, на котором был начертан такой нелепый лозунг, что Ламычев только усмехнулся. Но лицо у Махно было уже другое, встревоженное и, казалось, не такое просторное, как прежде, на которое можно было чуть ли не армяк бросить — и то не накроешь. Он молчал, зорко посматривая на «кума», видимо, понимая эту привезенную насмешку. Ламычев теперь уже не думал, что умнее всех здесь

[1] Шаровары.

батько Правда, и решил поскорее послать Пархоменко ту телеграмму условным языком, о которой они сговорились.

Пообедали. Ламычев попросил бумаги, чтобы показать, что мысль о телеграмме пришла к нему внезапно. Он написал Пархоменко, что снаряжение вручено и что он ждет дальнейших инструкций, а это означало, что на успех переговоров надежд мало. Маруся Никифорова сзади, через его плечо, читала телеграмму. Подписав телеграмму, Ламычев также через плечо небрежно подал ее Марусе и сказал:

— Вели отнести на почту.— И обратился к Махно: — А почему тебе коммунистов к себе не пускать, если ты признал советскую власть и отряды даже переименовал в армии?

— Я пускаю, да они не идут,— ответил Махно, ухмыляясь, — вот ты первый пришел. Посмотрим, что из этого выйдет.

Делая удлиненные шаги, вошел адъютант в ярко-изумрудной гимнастерке, расшитой пунцовыми шнурами. Он подал Махно телеграмму. Махно прочел и перебросил ее Ламычеву. В телеграмме было написано: «Батько Махно. Чего ждешь. Чего не бьешь большевиков. Чего не выступаешь. Григорьев».

— А кто это? — спросил спокойно Ламычев, как будто и не зная о восстании Григорьева.

— Атаман Григорьев. Он восстал против вас.

— Так он сошел с ума. Он и раньше был белый и сумасшедший. Он нас обманул.

Ламычев встал как бы крайне взволнованный.

— Зачем же я это тебе привез снаряжение? Да ты меня тоже обманешь. Или ты ждешь откудава-нибудь инструкций?

Махно, давая понять, что он не ждет инструкций, что он не ждет французских винтовок и пушек, не боится проникновения коммунистов в свои отряды и не имеет ничего общего с Григорьевым, схватил телеграмму атамана, изорвал ее и, бранясь теми тюремными ругательствами, которые были в такой моде среди анархистов, закричал:

— Он и мне изменит! Не желаю я с ним разговаривать.

И затем сказал Ламычеву:

— Ступай отдохни, а вечером начнем переговоры.

Ламычев пошел отдохнуть в отведенную ему комнату. Пообедал он плотно, и вообще в последнее время он чувствовал «возвышенный аппетит», — поэтому он быстро заснул. Когда он проснулся и подошел к дверям, чтобы поискать умывальник, он увидал часового, сидящего на табурете перед его дверью. «Нет, ничего не скажу про Махно, — подумал Ламычев, — видно, и он из продуманных людей».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Свой отряд в шестьсот штыков, собранный с трудом и больше из конвойных команд, так как все основные харьковские вооруженные силы были направлены против деникинцев под Луганск, Пархоменко выстроил перед своим бронепоездом и с подножки вагона сказал:

— В нашем распоряжении, товарищи, нету других сил и средств, кроме!.. — Он стукнул кулаком по броне вагона, а затем указал на отряд: — Все, что есть, так это вот мы сами. Будем крепки — победим, не будем крепки — прощайтесь с жизнью и родиной. У врага армия в пятьдесят, а может быть, в сто раз больше нашего полка. Ну, нашим настроением я хвастаться не буду. Вы его знаете лучше меня, а про врага скажу только, что нет армии трусливей, которая знает только грабеж да погром. Такая армия не держит охранение в походе, не ведет гарнизонной службы, а разведка ее в тысячу раз хуже нашей. Я считаю, что таких дураков надо учить. Товарищи учителя, садись по вагонам. И чтобы действовать, как в Царицыне!

В пути недалеко от Екатеринослава бронепоезд встретил вагоны командарма-2 Скачко. Командарм был не только растерян, но и явно ошеломлен. Он тупо рассматривал мандат Пархоменко, которому поручалось, — если он найдет нужным, — принять под свое командование все войска, находящиеся на фронте.

— Где фронт? — спросил Пархоменко.

— Точно очертания его неизвестны, — ответил Скачко.

— Где части?

— Части разбежались.

— Так и вас прошу, Скачко, скакнуть в степь.

Очистите вагоны, они нам нужны под то, что отнимем у григорьевцев.

Поздней ночью бронепоезд остановился возле днепровского моста. Пархоменко снял охрану григорьевцев и пустил в город свою разведку: троих ординарцев, одетых мужиками, на подводе с пустой бочкой из-под керосина. Во всех дворах окраины валялся лес,— видимо, обыватели растащили лесные склады. Колоды, болванки, брусья, тес — все это лежало в беспорядке.

С бронепоезда спустили батарею и выгрузили два броневика. Светало. Среди голубой мглы, покрывавшей город, мелькали огоньки: бабы уже затопили печи. Пархоменко выбрал позицию для батареи и в волнении ходил перед мостом. Ждали разведку. Разведка вернулась быстро.

— Ночью штаб найти трудно, товарищ командующий.

— По караулам надо узнавать.

— Караулы чуть ли не у каждого дома, товарищ командующий.

— А где их батареи?

— На горке возле тюрьмы. Поди, и батька Максюта там. Вот они тут пишут что-то.— И разведчик подал найденную анархистскую газету.

Пархоменко велел колонне двигаться через мост. На востоке пробивалась сквозь облака ярко-красная лента приближающегося солнца. Внизу, под мостом, река лежала фиолетовая, почти черная, без всплесков. Пархоменко, на броневике, обгонял ряды бойцов и каждой роте говорил коротенькую речь минуты на две.

Засаду на станции Багаузов удалось окружить и захватить целиком. Получалось так, что город не знал ничего о том, что происходит. Пархоменко оставил броневик у моста и, взяв с собою пять ординарцев, вышел на большой проспект вдоль течения Днепра. Вдали возвышалась громада потемкинского дворца; из общественного сада, разбитого по спуску от дворца, несло запахом цветов. Проспект был гол, парадные все заперты, и окна занавешены.

Далеко где-то, из переулка, послышался стук машины. На проспект, шагах в трехстах от Пархоменко, выскочил мотоциклет. Пархоменко поднял бинокль. Мотоциклет подкатил к парадному, и оттуда вышел человек с большим портфелем и сел позади мотоциклиста.

Затем показалась легковая машина. Мотоциклет направился к ней, сделал круг около нее и пошел рядом. Шесть вооруженных людей сидели в машине, а возле шофера торчал ручной пулемет.

— Максюта из себя каков? — спросил Пархоменко у ординарцев.

— А он всегда при пулемете и в машине.

Пархоменко коротко и сухо рассмеялся.

— Примета верная.— И, подталкивая ординарцев к ближайшему дому, он сказал: — Вы, ребята, прячьтесь в воротах и наблюдайте за мной. А когда крикну, бейте их по головам, но и мою умейте отличить. Точка!

Максюта накануне выпустил арестантов из тюрьмы и роздал им много товаров. Среди арестантов оказались знакомые. Они устроили пирушку и вполне резонно заявили, что качаются с батькой на одной перекладине: если ты уж выпустил из тюрьмы, то давай пировать вместе. Попировали хорошо, так что, когда Максюте сообщили о выстрелах, слышимых со стороны моста, он встал с гудящей и ноющей головной болью. «Совсем не очищенную водку пьем, — подумал он скорбно, — а еще атаман у нас акцизный чиновник». Он вышел к машине недовольный, думая, что на окраинах города началось восстание рабочих. Максюта сидел в машине, держа на коленях револьвер, и хмуро смотрел в широкую спину шофера. С машиной поравнялся мотоциклет. Максюта увидал редактора Штрауба, его черную голову и услышал его самоуверенную речь. Только что присланные телеграммы Григорьева требовали усиленных действий. Кроме того, Григорьев вызывал к себе Штрауба, видимо, для того, чтобы отправить его к Махно. Максюта смотрел в лицо редактора и думал, под каким бы предлогом оставить в Екатеринославе его жену. И так как не мог выдумать предлога, то сердито сказал:

— Следуй за мной.— И добавил шоферу: — Полный!

Тем временем Пархоменко, заложив руки за спину и держа там револьвер, посвистывая, вышел на середину проспекта. Машина, пыхтя, крайне торопясь, приближалась. Кузов ее, цвета светлой охры, поднявшееся солнце превращало в оранжевый. Мотоциклет несколько отстал. «Хорошо, — подумал Пархоменко, — после машины поговорим и с мотоциклетом». Он вообразил, каков собой должен быть Максюта, и тут ему вспомнилось, что Максюта когда-то был конокрадом. Тотчас

же в памяти мелькнула тюрьма: одноглазый цыган, топивший печи у «политических» и рассказывавший — и даже показывавший — жаргон конокрадов. Цыган любил жаловаться и, жалуясь, поднимал широкий, весь в морщинах, с обкусанным ногтем палец. Он привык, по его словам, кусать палец всегда, когда его били. А били его много. Отсюда и запомнил Пархоменко этот жест поднятой руки с отставленным указательным пальцем, что значило: «Я один».

И Пархоменко поднял высоко руку с отставленным указательным пальцем.

Сидевший с краю мужчина толкнул шофера рукояткой маузера. «Максюта», — подумал Пархоменко. Машина остановилась. На него направили дула револьверов.

Пархоменко, слегка наклонив вперед корпус, короткими шагами, сильно сгибая колени, приблизился к машине.

— Чего это вы, — сказал он, смеясь, — одного человека уничтожаете бомбами, револьверами и пулеметами?

Поравнявшись с машиной, он сплюнул и вдруг, вытянувшись, откинулся назад, а затем внезапно прыгнул на подножку. Он схватил Максюту за руку, в которой тот держал револьвер, и так сжал ее, что револьвер упал на подножку, к ногам Пархоменко.

Пархоменко подвел кобальтовое дуло револьвера к виску Максюты и не спеша и не громко спросил:

— Ты из каких? Духовный, что ли, волос-то сколько?

Максюта, как и все в машине, думавший, что происходит какое-то недоразумение или что перед ними стоит бежавший из больницы душевнобольной, сказал возможно более вразумительно:

— Я батько Максюта, командующий войсками анархии. А ты кто?

И Максюта, с тревогой глядя в странно смеющиеся и сверкающие глаза человека, державшего револьвер, толкнул шофера ногой. Шофер стал было поворачивать пулемет к Пархоменко, но тут Пархоменко сказал:

— Да и я командующий войсками. Только советскими.

И он спустил курок.

Тело Максюты быстро, словно по блоку, поползло на дно машины. От выстрела, от брызнувшей крови

у четырех сидевших в машине окаменели руки. Откинув назад головы и стараясь втиснуть их возможно глубже в плечи, вытаращив налитые кровью глаза, они могли следить только за длинным, рельефно выделяющимся дулом револьвера, и только один пулеметчик, рыжий и рябой парень, дернулся наставить пулемет свой на Пархоменко. Получив удар наотмашь в лоб, он выпал из машины, но и тут не успокоился. Крича, что умрет с пулеметом, и стирая рукавом кровь со лба, он лез к своей машине.

Проспект пересекали, с винтовками наперевес, ординарцы. Отталкивая ногой пулеметчика и водя револьвером перед лицом четырех, Пархоменко крикнул подбегавшим ординарцам:

— Мне и одинокому хорошо! А вы мотоциклет упустите, дьяволы! В шину бейте. Языка берите, уедут!

Мотоциклет, сделав крутой поворот, уходил. Сидящий позади мотоциклиста беспрерывно оглядывался, не замечая, что у него из портфеля сыплются бумаги. Когда раздались выстрелы, мотоциклет на мгновение остановился и мотоциклист поднял было руки, но сидящий позади него взмахнул револьвером, и мотоциклет свернул в боковую улицу...

Пять часов спустя весь Екатеринослав можно было считать очищенным от григорьевских банд. Произошло это 13 мая 1919 года. И в тот же день советские войска прорвали фронт румынской армии, и через день в противоположной стороне фронта советские войска отбили Луганск у наступавшего генерала Деникина.

Пятнадцатого мая в харьковской газете «Коммунар» напечатали разговор по прямому проводу с особоуполномоченным обороны, командующим екатеринославским фронтом А. Пархоменко. Командующий сообщил подробности о взятии Екатеринослава, об уличных боях, о разгромленных засадах, о пленных, о трофеях — орудиях, пулеметах, винтовках — и коротко закончил свое интервью словами:

«Уничтоженных бандитов — громадное количество. Между прочим, убит называвшийся командующим армией Максюта».

Но в газете не были напечатаны другие скромные слова Пархоменко, которые он сказал после занятия города:

«Это что! Самый серьезный фронт — за городом».

И Пархоменко, взяв с собой два орудия, пятьдесят курсантов и сорок сабель, той же ночью отправился в глубокий обход григорьевцев. Всю ночь скакали на тачанках проселками, изредка помогая артиллеристам вытаскивать застревающие в песке орудия, и рано утром увидали перед собой на холме белые квадраты хат в ало-синих утренних рощах. Здесь стояли главные силы григорьевцев.

Пархоменко, дав залп из двух своих орудий, повел в атаку девяносто своих бойцов. Возле школы, на краю села, он увидал артиллерийский обоз с четырьмя орудиями в полной запряжке. Пархоменко с обнаженной саблей, с шапкой, сдвинутой на затылок, подскакал к артиллеристам и, не объясняя ничего, крикнул:

— Поворачивать орудия и бить вдоль улицы! Бегло!

Одному из артиллеристов, показавшемуся самым смышленым, он приказал:

— А ты командуй!

Артиллеристы повиновались. Опустив саблю и поглаживая потную гриву коня, наклонившись вперед и сощурив глаза, Пархоменко наблюдал, как бьют шесть его орудий. Бывший пулеметчик Максюты, тот самый рыжий парень Сенька Макагон, что яростно защищал свой пулемет и был за смелость не только помилован, но и присоединен к бойцам, уничтожающим бандитов, подскакал к Пархоменко и сообщил, что пленных насчитывается уже две роты и что григорьевцы босиком, в нижнем белье, побросав оружие, бегут из села.

Когда Пархоменко вернулся к своему бронепоезду, телеграф сообщил, что Ворошилов взял Кременчуг, что возле Користовки бронепоезд «Коля Руднев» гонит, уничтожая, бронепоезда григорьевцев в их «столицу» — городок Александрию и что от напряженной и бешеной стрельбы у артиллеристов бронепоезда течет из ушей кровь.

Двадцать третьего мая Ворошилов согнал атамана Григорьева с линии железной дороги на проселок, заняв Александрию.

Черные и сине-бело-красные знамена григорьевцев свернутыми лежали в бричках. Атаман с небольшим отрядом бежал спасаться в «махновские республики». В одной из бричек, раненный, лежал Штрауб. Он ранен был в бедро, но больше всего болела голова. Вера Николаевна держала эту голову — уже второй раз — на ко-

ленях. Скакали молча. Вера Николаевна сидела, стиснув зубы, и с ненавистью думала о том, что́ ей скажет, очнувшись, Штрауб. Она знала, что́ он скажет, и ей было скучно. Оттого ли, что убили Максюту, или оттого, что она чувствовала себя одинокой, она велела свернуть к редакции газеты «Набат», где у них были знакомые.

Григорьев же въехал во двор к Махно.

Махно встретил его на крыльце. Он стоял, расслабленно выставив вперед живот, прогнув поясницу и склонив набок голову с длинными волосами, мелкими глазками и зубами. Стараясь не глядеть в лицо Махно, атаман Григорьев вылез из брички и, схлопывая пыль с сапог, подошел к крыльцу.

— Кто против вас шел? — спросил Махно.

— Ворошилов.

Махно, накручивая волосы на палец, спросил:

— А на Екатеринослав кто наступал?

— Наступал Пархоменко, — ответил Григорьев.

— Большой волк вырос, — сказал Махно и, посторонившись, добавил: — Пожалуйте, атаман, в хату, будем совещаться.

Совещание было краткое. Восстановить разговор двух друзей вряд ли кому удастся, — Махно считал вредным давать кому-либо объяснения своих поступков. Только когда на звук выстрела в комнату его вбежал адъютант, он сказал, указывая на труп Григорьева:

— Поспорили, — и пошел к Ламычеву.

Ламычев со дня второго своего приезда в Гуляйполе, после того как пообедал с Махно, больше его не видал. Терентия Саввича перевели в какую-то кладовую, где хранилась сбруя, и постель его стояла под длинными жердями, на которых висели хомуты. Окон в кладовой не было, но дверь весь день не закрывали, и так как она выходила во двор, то Ламычев видел многое. Видел он и запыленную бричку, из которой вылезал Григорьев, и слышал обрывки рассказов григорьевцев об отступлении. «Кажись, уцелею, — подумал Ламычев, — теперь непременно начнет этот кот заигрывать». И хотя презрение в нем к махновцам не уменьшилось, но с самим Махно теперь ему было даже любопытно побеседовать.

Ламычев сидел на пороге и курил, глядя, как сквозь редкий вечерний туман просвечивали червленые лучи солнца. Зелень в саду тускло блестела, и над зеленью,

высоко в небе, стремительно неслись серые тучи с ярко-красными краями, и Ламычев думал, что тучи эти небось несутся аж от самого Черного моря.

Подошел Махно. Закручивая на пальцы волосы, он сказал:

— Мятежник, атаман Григорьев, мною казнен. Есть доказательства, что я подчиняюсь советской власти? Передай, на каких условиях я получу оружие.

И ушел. Адъютант передал Ламычеву список необходимого Махно оружия, и в тот же день Ламычев вместе со своей командой и кумом Ильей Ивановичем поехал обратно в Харьков.

— Возьми с собой, когда до ветру пойдешь, — сказал Ворошилов, возвращая Ламычеву требование Махно.— От Антанты, видишь, еще не получил оружия, так хочет нас провести. Эх, мне бы на него крепкую бригаду, тогда бы от этого ворона черный пух полетел!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Май и особенно июнь изобиловали изменами. Не говоря уже об атамане Григорьеве, от которого ничего иного и не ждали, — происходили открытые восстания военных частей. Восстала 8-я запасная бригада, ушла к врагу 1-я бригада 5-й Украинской армии, изменил командующий 9-й армии. В июне наконец Махно двинул свои орды против советских войск.

Выступлению Махно предшествовали весьма любопытные события. Штрауб, оправившийся от раны, но прихрамывающий и весь покрытый непрерывно зудящими болячками, 2 июня был вызван к Махно. В анархистских газетах шла агитация в связи с предстоявшим съездом крестьян и «всех желающих» из четырех захваченных махновцами уездов. Выдвигалось два основных лозунга — первый, уже известный: «Замена существующей продовольственной политики правильной системой товарообмена», и второй: «Гарантия полной свободы и неприкосновенности всем левым течениям». В тот же день Штрауб, теперь уже редактор газеты «Путь к свободе», напечатал передовую, требующую свержения «комиссародержавия и однобоких большевистских Советов». Написана была статья резко, с погромными выпадами против евреев, и Штрауб немного

опасался, как бы Махно не рассердился, что он призывает к восстанию раньше времени. Последнее время Махно, в особенности после убийства Григорьева, внушал Штраубу очень тяжелое и гнетущее чувство.

Махно сидел, положив локти на стол и склонив голову на руки так, что длинные липкие волосы его почти лежали на белой скатерти. Он спросил, не здороваясь:

— Ты знаком с Быковым?

— Знаком, — крайне удивленный этим вопросом, ответил Штрауб.

— Пошли ему телеграмму, что шестого июня мы открываем наш четвертый съезд.

Он взял клок волос, потер их в пальцах, и на всю комнату послышался шелест, будто волосы у него были толстые, как проволока. Помолчав, он сказал:

— Вот и все. Уходи.

Из этого разговора Штрауб понял, что он отброшен куда-то в угол поля, откуда трудно разглядеть игру, происходящую на поле. Он не считал себя виновным, просто — ослабело государство, которое им владело, а не ослабей оно, ему довелось бы участвовать в схватке посредине поля. Но оттого, что он был отброшен к стороне, интерес игры не уменьшался, а, наоборот, увеличивался, и с чрезвычайно томительным чувством любопытства и ожидания Штрауб послал телеграмму Быкову. Два дня ответа не было. Видимо, игроки совещались, летели во все стороны шифры, скакали курьеры, запрашивались столицы. И чем дольше это тянулось, тем сильнейшее отвращение чувствовал Штрауб к этой мазанке, в которой он жил, к этим огаркам, при свете которых он вынужден был писать статьи о прелестях анархии, к этим бесчисленным клопам и тараканам и даже к Вере Николаевне, которая в последнее время усвоила чрезвычайно пренебрежительный тон по отношению к нему.

Четвертого ночью пришел ответ. Быков телеграфировал кратко: «Распоряжение отдано». — «А какое распоряжение, кому?» — думал Штрауб. Но он вскоре узнал все. Пришел встревоженный сотрудник газеты и сказал:

— Получено распоряжение от власти, связанной с Быковым: четвертый съезд анархистов категорически запрещается. Как это понять?

— Наверное, сейчас Махно вырабатывает директивы, — ответил Штрауб, продолжая писать статью и думая, что этим распоряжением Быков дает сигнал к

выступлению махновцев, намекая, что развал, осуществляемый им и его помощниками в советской армии на румынском и галицийском фронтах, завершен и что, если ударить сейчас этим армиям в спину, они стремительно покатятся обратно.

Так оно и случилось. Махно выступил 6 июня, и почти одновременно с ним на Одессу и Екатеринослав кинулся генерал Шкуро. Под Одессой восстали немецкие колонисты.

На другой день, после того как было получено сообщение о восстании немецких колонистов, Вере Николаевне принесли торт от Махно, а Штрауб получил в подарок желтый кожаный чемодан, в котором лежало два отреза тонкого сукна защитного цвета, несколько отрезов шелку и кольт с патронами. Штрауб, потирая руки, ходил по комнате и, смеясь, поглядывал на торт. Это был обыкновенный, белый, с розовым, торт, мягкий, квадратный, и руки у Веры Николаевны были уже липкие. Липкие были и губы. Она сидела, сузив глаза, причмокивая губами от удовольствия, и все эти сладкие ее движения и взгляды уже казались не столь противными.

— Все-таки странно получить в подарок торт от анархистов, — проговорил, улыбаясь, Штрауб. — Ты не находишь, Вера?

— И анархисты — люди, — ответила наставительно Вера Николаевна.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Войска Деникина приближались к Харькову. Уже передавали, что по Белгородскому шоссе белогвардейцы пытались проскочить на Сумскую улицу.

Пархоменко, чрезвычайный комендант и начальник гарнизона Харькова, формировал и отправлял на фронт один батальон за другим. Когда он узнал, что белые лезут в город, он составил особый батальон исключительно из стойких и испытанных донецких рабочих. Прикрывая батальон двумя броневиками и сам строча из пулемета с легковой машины, он вывел бойцов на Белгородское шоссе и погнал белых. Темнота помешала дальнейшему наступлению. Разведке же мешало то, что у Пархоменко было мало кавалерии.

— Главное, вредят нам по части коня, — сказал он, возвращаясь со своим батальоном в город. — Заметьте, что все прорывы в последнее время в наших войсках белые сделали конницей.

На другой день Пархоменко был назначен командующим всеми харьковскими войсками. Начальником штаба к нему прислали маститого военспеца, бывшего генерала Чернякова. Когда Пархоменко увидал эту степенную походку человека, никуда не спешащего и оттого весьма уважающего себя, он сказал:

— Коня мне надо, а не начальника штаба!

К вечеру начальник штаба уже перебежал к белым. Это произошло 24 июня, а утром на следующий день, обогнув фланги сопротивлявшихся, две дивизии деникинцев ворвались в Харьков. Пархоменко выстроил свой батальон и уцелевших курсантов из школы червонных старшин и сказал:

— Кругом измена, товарищи. Кто-то бьет нас под самое сердце. Караулил внутри наш город один полк, а сегодня ночью заявляет, что не только на фронт, но даже и в караулы не пойдет. У меня язык, товарищи, не поворачивается сказать название этого полка...

Он помолчал, теребя пальцами фуражку. Он уже давно не брился, у него отросла борода, а глаза его глубоко ввалились. Батальон и курсанты молчали. Всем было известно, что Пархоменко утром приехал в этот полк со своим маленьким сыном Ваней, выстроил полк перед казармами, вышел к нему вместе с сыном и сказал: «Не боюсь я вас, трусов, и вот сына с собой не побоялся привезти. Я один и, однако, приказываю вам разоружиться». Полк стоял растерянно, тогда он велел полку сложить оружие, погрузил оружие на подводы и, уходя, сказал: «Полк с этого дня расформирован, а вы подохнете, предатели».

Пархоменко продолжал говорить:

— Белые почти на соседнем дворе, товарищи. Кто хочет со мной сделать большой марш по тылам, прошу поднять руку. — Он сосчитал руки и добавил с удовольствием: — Предложение товарища Пархоменко принято единогласно.

А к моменту выхода из Харькова вокруг Пархоменко стоял отряд вооруженных партийных и профсоюзных работников, 1-й Мелитопольский полк, отряд моряков,

отряд харьковского саперного батальона, а из арткурсантов были сформированы две легкие и одна гаубичная батареи — всего около двух тысяч бойцов.

Части шли поселками среди бархатисто-матовых золотых хлебов. Хлеба стояли неубранные. Они уныло звенели колосьями, и, казалось, слышно было, как сыплется с них зерно. На втором переходе разведчики сообщили, что наперерез батальону, в котором находился Пархоменко, движется большой отряд белоказаков, чуть ли не полк.

— Надо их встретить организованно, — сказал Пархоменко.

И он указал на хлеба:

— Залегайте, товарищи.

Он залег по одну сторону дороги с тремя пулеметами, а по другую сторону дороги тоже с пулеметами и с другой половиной батальона залег Ламычев.

Белоказаки ехали осторожно, часто приподнимаясь на стременах и поглядывая по сторонам. Но перед ними лежала ровная мирная нива, чуть колеблемая ветром. Узкие тени облаков бежали по ней, и когда тень набегала на отряд, сильно пахло созревшей травой.

Когда, по мнению Пархоменко, перед его глазами показалась середина отряда, то есть когда он увидал штаб, он кинул вверх фуражку.

Сначала ударил один пулемет, затем подхватили другие. Всадники заметались, кони их вздыбились и кинулись в хлеба. Встречая выпрыгивающих из пшеницы людей, кони пугались еще больше. Всадники падали, не пытаясь бежать. Отряд был уничтожен целиком. Пархоменко захватил обозы, снаряды, пулеметы, а главное — коней.

— Мы у коня сейчас самые покорные слуги должны быть, — сказал он.

Слава — как знамя. Когда соседние, тоже идущие по тылам части узнали о разгроме дроздовцев, они немедленно повернули к Пархоменко. Всех подошедших он свел в две бригады, организовал особый пехотный полк и кавалерийскую бригаду, командование которой передал Ламычеву.

— Да я же больной человек, — сказал Ламычев, чрезвычайно довольный назначением, — у меня не иначе как мигрень.

— Доведешь до Богодухова.

— До Богодухова, конечно, доведу. Только политкомов надо назначить, у теперешнего бойца техника войны заскорузлая.

Богодухов заняли после короткого боя, но уже во время боя стало известно, что к Богодухову идут лучшие корниловские и дроздовские полки. После боя, когда отогнали дроздовцев — пехотные офицерские полки, Пархоменко созвал командиров.

В избе было душно, стаями летали мухи. Пархоменко косился на простенок, где висело исцарапанное зеркало, по краям оклеенное бумажками от конфет. Это зеркало отражало — видимо, с возможной добросовестностью — коричневую бороду и запухшие от недосыпанья глаза. Пархоменко говорил:

— Что же, товарищи, фронт открывать? Распоряжений от командующего группой нет. У него самого, как я сейчас узнал, начштаба и командир артиллерийского дивизиона сбежали. Хвастаться не будем, из нашей сводной части тоже кое-какие спецы убежали.

— Выдадут наше расположение, — сказал Ламычев. — Ясно, зачем бегут. Надо белых бить по черепу.

— По-моему, тоже: надо ударить. Ударить, а потом выйти из Богодухова. У белых почтение к нам возникнет, а мы тем временем силы соберем. Подписываю наступление под полную свою ответственность.

Дрались яростно. Когда деникинцы подтянули свежие резервы и пустили их в бой, прикрывая аэропланами и тремя бронепоездами, Пархоменко начал пятиться. Пятился он медленно, упорно, наблюдая с удовольствием, что по всем дорогам лежат убитые белогвардейцы. И в сообщении командующему группой он написал: «Таковых офицеров встретили много, и даже столкнули в канаву двух дохлых полковников».

Отступали медленно; где было нужно, части умело останавливали противника на достаточное время. Так дошли до станции Кириковка, где выровняли фронт. Здесь оборонялись больше месяца и отступили только тогда, когда белые подвели подавляющие силы и много бронепоездов.

Неподалеку от Сум есть станция Басы. Части уже отступили, покинув эту станцию. Пархоменко, прикрывавший отход на легковой машине, с пулеметом, поравнялся с домиками станции. Был он в брезентовом плаще, запыленный — и не разглядишь толком, кто такой.

Начальник станции выскочил на крыльцо, вытянулся и начал рапорт:

— Ваше высокоблагородие! Красные только что прошли, тут остались...

Пархоменко легонько ударил его саблей по голове плашмя и сказал:

— Во дура, и радоваться-то не умеет вовремя.

В Сумах ему сообщили, что к станции подходит поезд Троцкого.

— Ну, этот половчей, — хмуро в усы пробормотал Пархоменко, — этот, кажись, рапортует другим способом.

И он не пошел встречать поезд, а явился, когда салон-вагоны и подтянутые раскормленные адъютанты уже час стояли на станции Сумы.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пархоменко, перебирая в памяти все случившееся на фронтах в последние два месяца, со злобою смотрел на салон-вагоны, выскобленные, подчищенные, цвета слабого ультрамарина, на снующих военспецов. «Одно то, что вагоны такие, — безобразие! — думал Пархоменко. — Страна голодает, холодает, люди не емши в поход идут, возле станков с голоду валятся, а он!.. Безобразие!»

Повар, высунувшись из окна вагона-ресторана в своем белом колпаке, кричал коменданту станции:

— Вам же заказана на три часа рыба!

Комендант, седой, только что выписавшийся из лазарета и назначенный несколько дней назад, стоял перед окном вытянувшись и, не имея сил перекричать повара, только шевелил губами. Пархоменко дотронулся до его плеча и сказал:

— Ступай в комендантскую. А с этим я сам поговорю. — И, поднеся к лицу повара кулак, сказал: — Вот тебе осетер!

Из вагона вышел в сопровождении адъютантов Троцкий. Так как было жарко, то по ступенькам вслед за свитой какой-то канцелярист нес стаканы на подносе и несколько бутылок нарзана. На площадке мелькнуло лицо Быкова и при виде Пархоменко скрылось. «Только этого тут не хватало», — подумал Пархоменко.

Пархоменко, как и во все последние дни, и сейчас думал о коне. Он хотел начать с того, что армия идет, держась за линию железной дороги, как слепой за забор. Армии необходим конь! Но, увидав бутылку нарзана, из которой поднимались пузырьки, и молодого розового канцеляриста, который подобострастно подавал бутылку и стакан, Пархоменко подумал, что говорить о коне бесполезно.

Троцкий стал бранить беспорядки на фронте, в особенности напирая на роль комиссаров-коммунистов, которые будто бы больше всего виноваты были в этих беспорядках.

— Подобных комиссаров нужно расстреливать на месте!

Пархоменко посмотрел хмуро ему в лицо и раздельно сказал:

— Какой же может быть порядок, если поминутно меняют командиров и шлют к нам в начальники штабов изменников?

В глазах Пархоменко сверкало такое озорное презрение, что Троцкий, под каким-то предлогом прервав Пархоменко, ушел в вагон. Высокий, в запыленном плаще человек со сверкающими едкими глазами остался на перроне. Вышел адъютант и потребовал, чтобы прибывших везли на ахтырский участок.

— Место опасное, дорога песчаная, — сказал с еле уловимой усмешкой Пархоменко.

Адъютант повторил свое требование.

Пархоменко подал две машины. Машины эти он велел загрузить посильнее, и, когда машины приближались к Ахтырке и поднимались, почти буксуя, по песчаному яру, он на крутом повороте, где линия твердой глины и слой рыхлого песку почти сливались, спокойно сказал:

— Я ж говорил, что место опасное. А вон и белые скачут, — добавил он, увидав разъезд своих кавалеристов.

От испуга у шофера дрогнула рука, он чуть повернул машину, и с твердого грунта она скатилась в песок, как и ожидал Пархоменко, и глубоко застряла. Пассажиры выскочили и с редкой энергией стали помогать шоферу.

Пархоменко поднялся на бугор. Разъезд удалялся. Пархоменко посмотрел вниз, туда, где, помогая стара-

тельно своей свите, выталкивал из песка машину Троцкий. Подумав: «Черт вас разберет, кто из вас не прочь дождаться здесь белых, а кому еще рано!» — Пархоменко подошел и с такой злостью толкнул плечом машину, что она мгновенно выскочила из песка.

Вернувшись в салон-вагон, прибывшие тотчас же отдали приказ: «Поезду идти обратно». О Пархоменко было сказано:

— Он болен. Жалко, если пропадет такая сила.

И этого было достаточно. Кто-то записал, кто-то куда-то доложил, чтобы внесли в протокол, кто-то подыскал болезнь, и так как над болезнью долго не задумывались, то написали: «По малярии и переутомлению отправить на излечение в далекий тыл».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Штаб Пархоменко находился в селе Тростянец, ближе к Ахтырке, чем к Сумам. Выехал Пархоменко из Сум поздно ночью, злой, обиженный. Никогда не жаловавшийся, он все же сказал Ламычеву:

— Кажись, повоевали мы, Терентий Саввич. Сдавай оружие.

Свет фар показал группу вооруженных людей, которая поспешно свернула с дороги. Пархоменко остановил машину против вооруженных и спросил:

— Куда идете?

Вооруженные стояли молча. Пархоменко узнал их и стал называть каждого красноармейца по фамилии, а затем насмешливо спросил:

— Может быть, вы на зайцев охотиться пошли? Или винтовки нужны заместо удилища? Или вы думаете, что деникинцы к нам в тыл пролезли, и вам геройства на фронте не хватает, вы и пошли нас спасать?

— Выходит нехорошо, — сказал с усилием один из красноармейцев.

— Зачем нехорошо? Я вас дезертирами, заметьте, не назвал. Дайте-ка винтовки. — Он сложил винтовки возле машины, вынул из них затворы и сказал: — Ну, так вот, чтобы через два часа быть у меня, в Тростянце. А патроны и винтовки сами несите, я вам не дурак в машине их возить.

Машина прошла метров пятьсот и остановилась:

лопнула камера. Шофер заклеил камеру и стал ее накачивать. Дезертиры догнали машину. Тот, который говорил «нехорошо», изъявил желание покачать — и качал он усердно. Пархоменко достал затвор и, передавая ему, сказал:

— Даю один на всех. До свиданья, ребята.

Сотни через три метров опять машина остановилась. Дезертиры подбежали уже рысью, и качало посменно несколько человек. Пархоменко дал им теперь еще два затвора и отъехал, хохоча:

— Этак до Тростянца вы у меня не только все затворы, и остальное оружие выработаете.

Утром доложили, что все дезертиры явились в полк. Пархоменко сказал:

— Ребята, в сущности, хорошие, воевать стремятся, но какая их смелости мера, если командование — сплошной салон-вагон! Не хочешь, да побежишь. Сумятица, толкотня, тьфу!

И огорчал Ламычев. На станциях и в селах уже начался тиф. А Ламычев подошел к кадке, чтобы напиться, зачерпнул и затем, тревожно глядя на Пархоменко, сказал:

— У меня что-то вода противная, Александр Яковлевич.

К обеду, когда приехали в Сумы, один из красноармейцев, в тифозном бреду, с протянутыми вперед руками кинулся на паровоз: его зарезало. Часа через два слег Ламычев, причем слег он не в вагон поезда, куда грузились штаб и орудия, а лег в пшеницу, недалеко от насыпи. Пархоменко с трудом нашел его.

— Душно?

— Говорить не могу, Александр Яковлевич, во всем теле какой-то сквозняк. Не меси тесто, Александр Яковлевич, все равно из меня калача не испечешь...

Пархоменко положил его себе на плечи и внес в свою теплушку. Здесь ординарец вручил телеграмму. Троцкий приказывал, по болезни Пархоменко, сдать командование такому-то и получить путевку в глубокий тыл. «Вот Терентию легче, — подумал Пархоменко, глядя на Ламычева, — он за бред все это принять может, а я-то здоров».

В одной из теплушек, среди семей, эвакуированных из Харькова, находились его дети и Харитина Григорьевна. Пархоменко пошел к ним.

— Прибыли, а теперь отбывать придется.

— Да, прибыли, — ответила Харитина Григорьевна. — Думали у тебя отдохнуть, а тут и тебя жмут.

— Когда-нибудь и мы будем жать.

Он улыбнулся.

— А пока крепче держись за стенки, я с вами тоже отступаю. Ехать будем быстро.

Дали второй звонок. Пархоменко, еще раньше предупредивший машиниста, чтобы эшелон с семьями шел в порядке, направился узнать, все ли на паровозе готово. Оказалось, что машинист от испуга перед канонадой, которая приближалась к Сумам, забыл набрать воды. Тогда Пархоменко, взяв запасный паровоз, сам сделал прицепку, посадил на него машиниста, налил воды и только собрался идти давать третий звонок, как послышался вязкий и долгий взрыв. Это взорвали мост перед Сумами, чтобы задержать белых. Прежде о подобных взрывах всегда предупреждали, а сейчас не только не были предупреждены части, но не был предупрежден и командующий. На вокзале поднялась паника. Толпа металась из стороны в сторону, боясь даже садиться в вагоны. Пархоменко вскочил на подножку вагона и крикнул, покрывая могучим своим голосом вопли толпы:

— Товарищи, да вы вглядитесь: белые-то мимо бьют! Они хуже вас растерялись. А потом послушайте-ка, что в вагоне ребятишки поют.

Снаряды действительно падали то налево от станции, то направо. В промежутке между взрывами снарядов из вагонов доносилось пение ребятишек:

Это недолет!
Это перелет!
Это недолет!
Это перелет!

С большим трудом удалось выпустить эшелоны по порядку. Последним уходил тот, в котором ехала семья Пархоменко. Перед отходом эшелона Пархоменко прицепил вагон к оставшемуся без состава паровозу и пустил этот паровоз в упор на неприятеля. Паровоз, так же как год с лишним на Лихой, ударился в развороченную взрывом ферму и упал набок, заградив собою и вагоном всю линию.

Пархоменко сдал командование на станции Ворожба.

Сердитый, вернулся он в теплушку.

— А ты на самом деле не болен? — сказала ему Харитина Григорьевна.— Смотри, какой темный и тощий. Почки у тебя не ноют?

— Болен? — сказал Пархоменко.— Я еще покажу, как я болен.

Через два-три пролета от Ворожбы остановились они на станции Коренево, чтобы взять путевку для дальнейшего следования. Вся станция и даже площадь перед ней битком были набиты красноармейцами.

— Что-то войска чересчур много, — сказал Пархоменко и, сняв свою кожаную тужурку, надел дождевичок и кепку, пошел проверять «народное состояние».

Вернулся он скоро.

— Дезертиры. Не меньше тысячи, и все с оружием.

Помолчав, он сказал ординарцу:

— Знаешь что, Лукьян? Это они с нашего сумского направления убежали. Требуется их всех разоружить.

— Да как же это мы сделаем? — сказал ординарец.— Ординарцев трое осталось, да больной Ламычев, да ты, да жена твоя, да парнишки.

Пархоменко встал.

— Пойду пощупаю, что тут за Чека и какая тут местная власть. Уговорю ее навстречу нам пойти.

И точно: уговорил. Вокруг станции кое-где поставили караулы. Пархоменко пришел в вагон и сказал своим ординарцам-шоферам:

— Вам придется сражаться.

— Давай, — ответили ординарцы.

— Выходите на станцию. Я надену тужурку, прицеплю револьвер и пойду по перрону. А вы, как только увидите меня, отдайте честь да вытягивайтесь почтительней.

Шоферы вышли на перрон и стали прогуливаться. Пархоменко идет к ним навстречу.

Шоферы щелкнули каблуками и отдали честь.

Дезертиры лежат на полу, положив головы на шинели, а шинели на винтовки. Смотрят: один честь отдал, другой, третий. Пробежал красноармеец из Чека и тоже вытянулся. Идет начальник станции — и тоже во фронт. «Фу ты, леший, — думают дезертиры, — здоровое начальство какое-то приехало».

А начальство, высокое и худое, с выцветшими на солнце бровями, с загорелым темным лицом, подходит и спрашивает:

— Что это за народ?

Дезертиры для почтения сели. Но молчат.

— Это что за войско? — более строгим голосом говорит начальство.

Дезертиры теперь уже встали. Но молчат они попрежнему.

Пархоменко подзывает шоферов-ординарцев:

— Документы у присутствующих на станции проверены?

— Никак нет, — громко отвечает ординарец.

— Что такое? Идут части, и с непроверенными документами. Проверить!

— Так точно.

Толпа дезертиров медленно плывет со станции на площадь. А переулки возле площади уже оцеплены охраной Чека, хотя охраны этой всего пять человек. Дезертиры встревожились: охрана, честь отдают, ясно — большое начальство.

Пархоменко вышел на площадь и взлез на первое попавшееся возвышение.

— Открываю митинг, — сказал он.— Прошу подойти поближе. Будем выяснять положение, а с теми, кто не желает выяснить положение, поступлю как с контрреволюционерами.

И он стал объяснять, что напрасно они губят и свое будущее и будущее народа, покидая фронт в такой опасный момент. Если они топчут, так прежде всего топчут самих себя в грязь. Топтать себя в грязь в такое героическое, славное время? Неужели никто никогда не назовет их истинными борцами за народ? Неужели не вернутся они домой с чистой и опрятной совестью, неужели не будет ими гордиться родина? Нет, никак не оправдаться в будущем, а нужно оправдываться только в настоящем, а для этого искупить немедленно свой глупый поступок!

— Идущие в подлость пусть положат оружие налево от меня, а сами станут вправо. Я сумею передать оружие истинным бойцам! — И он крикнул: — Оружие влево! Самим — вправо!

Дезертиры переглядывались, топтались, мялись.

Тогда шоферы-ординарцы и еще трое из харьковского вагона, — предварительно смешавшись с толпой дезертиров, как было уговорено с Пархоменко, — по-

дошли и положили свое оружие возле него. Он строго взглянул на толпу:

— Быстрее кладите! Надо еще успеть опись составить.

Дезертиры стали класть винтовки и отходить вправо. Один из дезертиров сказал:

— Лександр Яклич, а я тебя знаю.

— Знаешь? А чего же с фронта ушел?

— А мы от своей части отстали.

К этому дезертиру подошло еще несколько человек, знавших Пархоменко. Пархоменко поручил им вместе с шоферами-ординарцами охранять оружие, а сам стал продолжать митинг. Теперь он говорил о том, что, сдав оружие, дезертиры признали: они считают советскую власть своею; а раз они считают ее своей, то ее надо защищать, чтобы жить в дальнейшем со славой и со спокойным сердцем. На митинге после него выступили те несколько дезертиров, которые узнали его в лицо. Они требовали возвращения на фронт. И в конце митинга Пархоменко сказал дезертиру, который подошел к нему первым сдавать оружие после шоферов:

— Ты, голубок, инициативный и народный человек. Принимай команду, делай посадку, вези их на фронт. Начальству скажи, что, мол, видели Пархоменко и везем резерв по его поручению.

Станция опустела. Эшелон с красноармейцами, готовыми к бою, ушел в сумском направлении.

«Нет, — думал Пархоменко, — с этим народом воевать еще долго можно». Тому командующему, который сменил его, он хотел послать телеграмму чрезвычайно ехидную, но ничего не получилось, и телеграмма вышла самой простой: «Примите резерв. Сообщите результаты. Пархоменко».

За героическую оборону Харькова ВЦИК наградил Пархоменко орденом Красного Знамени.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

— Конечно, солдаты мы с тобой не последние, — говорил Пархоменко Ламычеву, — и надо б нам с тобой на восточный фронт. Там винтовка да шашка решают судьбу пролетариата!

— Подадим заявление. А не пустят, сами уедем.

Пархоменко сокрушенно покачал головой:

— Ах, Ламычев, Ламычев! Чем силен наш народ в тылу белых? Партизанами. А чем слаб на фронте перед белыми? Партизанщиной. Это я, брат, из собственных уст Ленина понял.

— Да ведь хочется, Александр Яковлевич, в главную битву!

— Попадем в свое время. Жди.

Таких разговоров между бойцами и командирами Красной Армии было немало.

Весной 1919 года восточный фронт привлекал все внимание партии и народа. Многочисленная колчаковская армия, снабженная новейшей военной техникой, упорно двигалась к Волге.

Десятого апреля Ленин обратился с письмом к петроградскому пролетариату о помощи Красной Армии. На другой день после письма Ленина Совнарком призвал в армию пять возрастов рабочих и крестьян центральных губерний России. Началась новая партийная мобилизация. И, — через день после письма Ленина, — в Москве состоялся первый коммунистический субботник.

Советская страна поднялась на борьбу!

Двадцать восьмого апреля войска южной группы армий восточного фронта перешли в контрнаступление. Заняты Бугуруслан, Бугульма; Красная Армия приближалась к Уфе. Падение Уфы вызвало общее наступление всего восточного фронта. Советские войска вступили на Урал. 13 июля был освобожден Златоуст, 14-го — Екатеринбург, а через десять дней — Челябинск. К началу августа весь Урал стал советским. Красная Армия начала освобождение Сибири.

Воспользовавшись тем, что главные советские вооруженные силы были направлены против колчаковской армии, летом 1919 года на Москву и Петроград двинулись полчища Деникина и Юденича.

С юга к суровым городам севера шли войска Деникина.

Оркестры генерала Мамонтова пели уже на улицах Тамбова. 21 сентября уцелевшие колокола трезвонили в Курске, встречая деникинские погоны. Спустя полмесяца офицеры, подбоченясь, рассматривали с коней ампирные домики Воронежа. Передовые отряды деникинцев расставляли виселицы в Тульской губернии.

В серых и дождливых городах севера дети, женщины, старики умирали от голода. Мужчины все были на войне. Промышленность почти остановилась. Сугробы снега свисали с замысловатых станков. Жалкие железные печки давали в день столько же тепла, сколько выстрел способен дать впечатлений о музыкальной гармонии звуков. Швейных машинок никто не покупал. Нитки шли только на починку, материя — на заплаты.

А на юге — роскошные разноцветные города, неугомонное солнце — и обогревающее и обнадеживающее! Купцы распевают песни, коляски мчатся, рестораны постоянно наполнены разряженными людьми, и эти люди с ужасом и омерзением смотрят на тех, кто способен сочувствовать северу, дыхание которого кажется им более страшным, чем дыхание чумы. И, чтобы подчеркнуть эту роскошь юга — как бы подсинить и без того синее небо, — буржуазия Запада, капиталистические его властители, привыкшие вкладывать капитал в русские предприятия, везут в Ростов и Новороссийск шелк, духи, шоколад, цветное белье, бархат, блестящие позументы, яркие сукна, румяна, — и не для балласта, конечно, на дне корабельных трюмов лежат огромные пушки, начищенные, смазанные, красуются снаряды и свежевыкрашенные, под осенние цвета севера, громадные танки. Вложение денег в хорошие предприятия, впрочем, всегда требует подобного равновесия.

И хотя деникинцы подходили к Туле, хотя голод, холод и мор терзали север, хотя торгаши уже собрали в Ростове миллион рублей в подарок тому полку, который первым ворвется в красную Москву, — по-прежнему душой страны и ее сердцем — от Москвы до Черного моря — руководила Коммунистическая партия, гений Ленина, которые, как никто, чувствовали и понимали потребности народа и руководили им так, чтобы возможно полней и скорей удовлетворить эти потребности, желания и мечты его. Потребностями же этими были: жизнь народа без помещиков и капиталистов, то есть чтобы сам народ через своих избранных управлял делами своей земли.

Двадцать первого и двадцать шестого сентября 1919 года состоялся Пленум ЦК партии, который обсудил чрезвычайно тяжелое положение южного фронта. Согласно решению Пленума ЦК на южный фронт были переброшены Латышская дивизия, стрелковая бригада,

Кавалерийская бригада червонного казачества, конный корпус Буденного, Эстонская дивизия. Пополнения шли непрерывно. Улучшилось и снабжение оружием. 15 октября Политбюро ЦК РКП(б) определило южный фронт как главный фронт Советской республики.

И Цека разрабатывает план наступления вдоль железной дороги к Донбассу — сердцу юга. Здесь есть и рабочие и крестьяне, которые любят Красную Армию и будут ей помогать. Здесь есть дороги. А кроме того, деникинская армия этим ударом будет расколота надвое, как раскалывают толстое сучковатое полено, чтобы оно скорее сгорело. Половина армии отлетит к Днепру на съедение к Махно, а другая половина — казаки — окажется под угрозой захода красных частей им в тыл. Страна получит уголь, чтобы пустить заводы, уже залитые лавой льда.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Одиннадцатого ноября 1919 года в село Большая Михайловка по укатанной бурой дороге въехала большая группа всадников и несколько саней, запряженных парами. Из села часа четыре тому назад выгнали деникинцев. Кое-где из снега торчат поломанные сани и, опрокинув церковную ограду, грустно склонилась на могилу протоиерея короткая и толстая гаубица.

Сталин — в ушастой шапке, края которой слегка закуржевели, — отрясая снег с валенок, поднялся на крыльцо дома. За ним шли Ворошилов, Буденный, Щаденко. Когда они уже вошли в дом, к крыльцу подъехал Пархоменко, вызванный Сталиным из Самары, где Пархоменко лечился от малярии и «переутомления». Войдя в дом, он сел у порога па скамью возле рукомойника и, сбрасывая ледышки с усов, внимательно прислушивался к тому, что говорилось на совещании.

Сталин и па примере недавних боев, разгрома корпуса Шкуро буденновцами, победы под Касторной, а также и на примере Царицына — приходил к выводу, что в гражданской войне могущество конных масс для сокрушительного маневра неоспоримо. Опыт доказал это. Уже сейчас плоскости Российской равнины превратились для белых в откос. Надо сделать этот откос еще круче, чтобы если уж падать белым в море, так падать

с хорошей вышины. И затем Сталин предлагает создать конную армию.

— Это будет первый опыт сведения кавалерийских дивизий в такое крупное соединение, как армия, — опираясь концами пальцев о стол, говорит он не спеша.— Такого кавалерийского соединения, как армия, в прошлом ни у кого не было, в ученых трудах об этом ничего не написано. Но что ж, в ученых трудах господ военных мало написано и о возможности существования Советской республики.

И он медленно оглядывает присутствующих.

— История есть развитие, — говорит он, — и теперь развитие общества и науки перешло к рабочему классу. Ученые книги суждено писать рабочему классу. Мы это доказывали, и чем дальше, тем сильнее будем это доказывать.

Реввоенсовет южного фронта назначил Реввоенсовет Первой Конной: Буденный, Ворошилов, Щаденко.

Пархоменко был чрезвычайно доволен. Еще недавно в Самаре, когда он говорил о важной роли коня, ему возражали: почему и откуда возьмется конь в центре, когда там и человеку-то есть нечего? И, вспоминая возражавших, Пархоменко думал: «Вот Ламычев-то порадуется».

Заседание продолжается. Идут разговоры о том, как устроить и как лучше организовать войска, как устранить нехватки и неполадки и каких лучших командиров и бойцов куда назначить.

Уходя, Сталин остановился возле Пархоменко и, слегка дотрагиваясь до его груди, мягко сказал:

— Напоминаю: не останавливайтесь ни перед какими препятствиями, товарищ Пархоменко, чтобы снабдить Конармию, сделать ее более сильной и стойкой. Вас мы поставили на очень ответственную работу, хотя, быть может, и не эффектную на первый взгляд.

Пархоменко стоял выпрямившись, с широко раскрытыми глазами. Он хотел сказать очень многое, но от смущения мог только проговорить обычной своей скороговоркой:

— Постараюсь справиться.

Так Пархоменко был назначен особоуполномоченным при командарме Первой Конной.

Станции Донбасса были загружены захваченными эшелонами, водокачки взорваны, технический персонал

убежал с белыми, не было ни продовольствия, ни угля. Пархоменко сортировал эшелоны, доставал хлеб, отправлял уголь в центр. Надо напомнить, что на другой день после создания Первой Конной появилось циркулярное письмо ЦК РКП(б) к партийным организациям о борьбе с топливным голодом. А добывать уголь было очень трудно. Много рабочих ушло в Красную Армию, много погибло от эпидемии сыпняка, много было убито деникинцами, а многие, скрываясь от голода, ушли в деревню. Пархоменко организовал на узловых станциях, например, Лопасне и Дебальцеве, бригады рабочих, открывал депо и помогал бригадам ремонтировать мертвые паровозы и вагоны, чтобы потом эти паровозы и вагоны могли везти снаряжение и пищу в Первую Конную. И как приходилось трудно, видно хоть бы из того, что на станции Дебальцево стояло сто двадцать паровозов, из них восемьдесят замерзло и за ремонтом этих восьмидесяти пришлось наблюдать все время самому. А тут сообщили кстати, что на ближайших станциях появились банды белых, и тогда Пархоменко мобилизовал рабочих и поехал разгонять эти банды.

Конармия стремительно приближалась к Ростову.

Возле Таганрога, на станции Матвеев Курган, когда уже стало ясно, что Ростов падет не сегодня-завтра, Пархоменко назначили комендантом и начальником гарнизона Ростова.

Нахичевань взяли в самое рождество. Ока Городовиков, комдив-4, ехал по пустынному городу, выбирая дом для ночлега. Один из домов на вид показался ему достаточно теплым. Городовиков постучался в дверь особняка.

— Чей дом? — спросил он у лакея, открывшего дверь.

— Коннозаводчика Мирошниченко.

«Э, постой, погоди, — думает Городовиков, — никак, старый знакомый? Когда-то в Сальских степях служил я у тебя табунщиком и пастухом».

Вошел. Электричество освещало большую столовую, громадный буфет красного дерева и белый стол, на котором играл хрусталь, розовым блестели поросята, багряно отливали окорока и в серебре струились большие рыбы.

— А где хозяин? — спросил Городовиков.

— Убежал.

— Не пропадать же столу, — сказал Городовиков и велел позвать гостей.

В час ночи пришли гости: Ворошилов, Буденный, Щаденко, Пархоменко. Гости с хохотом читали билетики из бристоля с фамилиями гостей, лежавшие поперек хрустальных бокалов. Как много знакомых фамилий! Где-то они, эти генералы, купцы, спекулянты, епископы? Где-то они встречают рождество?

Ворошилов шел вокруг стола и пальцем один за другим сшибал с бокалов белые квадратики. Обойдя стол, он сел на хозяйское место и сказал:

— Хотя в нашей программе и не значится встречать рождество, но все же отказать хозяину неудобно. Прошу садиться, товарищи.

Гости сели. Ворошилов, направляя в бокал густую багровую струю вина, сказал:

— Предлагаю следовать за мною.— Он поднял бокал. — Пью за Красную Армию! Пью за красный Ростов!

И, наливая второй бокал, проговорил:

— А теперь выпьем за красного коменданта города Ростова!

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Комендатура помещалась в пустом разгромленном доме, где не было ни столов, ни стульев. Телефон в городе бездействовал: часть служащих убежала. Так как в первые дни в городе не было никакой власти, кроме коменданта, то население приходило в комендатуру за всеми своими нуждами: здесь разыскивали потерянные вещи и акушерок, попы являлись сюда снимать свой сан, и сюда же приходили судиться поссорившиеся обыватели; здесь спрашивали, где и что можно продать и где приобрести продовольствие, сюда свозили книги и картины из пустых особняков, и здесь же, во дворе, стояли броневые машины и конники, которые по десятку раз в день выезжали усмирять беспорядки и попытки погромов, потому что белые, уходя, выпустили из тюрьмы всех уголовников, да и офицерья в городе осталось достаточно.

Пархоменко переписал бывших белых солдат, кого отпустил домой, а кого забрал в части. Попутно с этим

он сформировал и направил в распоряжение штаба Конармии Первый ростовский революционный полк в две с половиной тысячи штыков. После этого он начал собирать разбежавшихся уголовников и скрывавшихся офицеров. И так как тюрьма была разбита и сожжена, то он отремонтировал ее при помощи тех уголовников, которых успел собрать.

И только войдет в помещение комендатуры, как его уже зовут к столу. Надо писать и писать! Надо записывать бывших офицеров и чиновников, служивших в полиции и деникинской «государственной страже»; нужно выдавать пропуска, и это трудно, так как буржуазия хочет рассеяться по республике; надо выдать удостоверения лицам, которые пострадали от преследования белых; надо выдавать ордера, мандаты, охранные свидетельства, и когда пора спать, то оказывается, как раз время проверить, как охраняются угольные склады города, кто считает и принимает уголь, как восстанавливают водопровод и утепляют лазареты. А к утру во что бы то ни стало необходимо попробовать в пекарнях хлеб: хорошо ли он испечен, и тут же кстати проверить, как его развозят в магазины и в воинские части.

А в глубину степей, лютых, ветреных, где мороз непрестанно дергает тебя, торопя к смерти, где будь проворным, иначе свихнешь не только ноги, но и душу, — в бездонную глубину степей повернули белые войска, бросая запасы продовольствия, коней в упряжи и под седлом, новое английское обмундирование и новую французскую артиллерию. Тесно и холодно в степи! Сами собой опрокидываются повозки, уходят под снег, и сами собой ведут тебя ноги к зажженным скирдам соломы, чтобы хоть на минуту забыть о нестерпимых морозах. Гренадеры и казаки, кирасиры и пехотинцы греются у пылающих костров. А вдали, среди сверкания снегов, как зеркало, собирающее лучи, опять можно разглядеть поднятые высоко шашки. Приближается Первая Конная!

Все надежды белых положены в ранец приближающейся весны. Но ранец этот оказывается нищенской сумой. Мартовские дожди, отступающие повозки и кони размесили в кисель кубанские дороги. Увязая в этих реках грязи, тоскливо, по-вороньи, перекликаясь и вяло отстреливаясь, уходили белые, отдавая Екатеринодар,

Майкоп, Новороссийск. Остатки их скрылись в Крыму, где скоро суждено было вспыхнуть им последним выстрелом западной интервенции — Врангелем!

Наконец-то Конармия смогла остановиться на отдых. Она расположилась в Майкопе. Оттуда-то и получил Пархоменко приказ о том, что он назначен чрезвычайным уполномоченным кавказского фронта по добыче и снабжению углем центра, то есть главным образом Москвы. Он должен был непременно отправлять из Александровск-Грушевской не менее девяноста вагонов в день — цифра по тогдашним временам почти неисполнимая!

— Сделай работы в Донбассе на фунтик, она тебе в Ростове обернется пудом, — ухмыляясь, сказал Пархоменко, получив приказ и сдавая ростовскую комендатуру и ее дела.

— Такой пудик каждому бы получать, — проговорил Ламычев, намекая на только что полученные Пархоменко награды: золотые часы за недавние бои и орден Красного Знамени за оборону Харькова.

Ламычев сидел у него в гостях вместе с зятем своим Василием Гайвороном и Лизой, которые только вчера приехали из Майкопа. Да и сам Ламычев недавно появился в Ростове. Самара долго держала его. Болезнь оказалась упорной. И сейчас он еще не совсем освободился от нее.

Рассеянно слушал он горячий рассказ Пархоменко о том, как тот составлял сегодня поезд для рабочих, которые после долгого перерыва собрались спуститься в шахты и должны были часа через два отправиться в Александровск! А как трудно погрузить несколько вагонов с продовольствием: снабженцы понимают, что пища нужна армии, но совсем разучились понимать, что пища так же необходима рабочим!

Когда Пархоменко замолчал, Ламычев опять начал говорить о своей недавней болезни, о том, как он очнулся на печи и, свесив ноги, впервые осмысленно посмотрел вниз. Он увидал кадку около печи и в кадке такую веселую воду, в которой так хорошо отражалось полотенце, висевшее на гвозде, что ему стало совсем прекрасно и он сказал: «Хорошо бы курицу сварить». И, как всем больным после тифа, ему непрерывно хотелось есть и полюбились разговоры о еде. Сейчас, посматривая на дочь, которая ходила по комнате, укачи-

вая ребенка, он передавал сведения, полученные от зятя, о захваченном у белых продовольствии.

Ребенок освободил из-под одеяла толстую, пухлую ручонку и схватил мать за нос. Пархоменко подошел и, смеясь, дунул ребенку в лицо. Он чихнул. Мать встревожилась, а Ламычев, улыбаясь, сказал:

— Передают, что каждой рабочей делегации, которая из центра приезжала в Ростов, ты, Александр Яковлевич, по два вагона хлеба выхлопатывал?

— Чего тут выхлопатывать, надо было держать их за руки, чтобы они десять вагонов с собой не увели.

— Нет уж, мнение о тебе рабочие поддерживают. Я думаю, они и в шахте тебя поддержат. Что касается меня, так я чем владею, то и умею.

И Ламычев вынул из кармана бутылку водки, которую он привез сюда с Поволжья. Эта бутылка имела длинную историю, и Ламычев очень гордился ею. Давно когда-то, при уходе из Луганска, выдали уходящим по две бутылки водки с винных складов как лекарство на дорогу. Почтенная одна старушка хранила на всякий смертный случай бутылочку. Ламычев тогда владел двумя шапками: праздничной и будничной. Он и променял будничную свою шапку на эту старушечью бутылочку. «Я таким чудом уцелел, — сказал он, — что для меня теперь каждый день праздник».

— А что имею, — сказал он, вышибая ударом о колено пробку из бутылки, — то и кладу на стол. Мы, рабочий класс, должны выпить за окончание войны и за возобновление шахт.

Пришли двое ординарцев-шоферов, и все они, впятером, распили эту бутылку. После этого пели песни и попробовали даже разучить новую, которую привез Гайворон, но не вышло: Пархоменко очень торопился к поезду, а Ламычев, выпив, взволновался, какую теперь даст ему службу Пархоменко. «Смогу ли я быть полезным теперь, после болезни?» — думал Терентий Саввич. Уходя, Пархоменко сказáл ему:

— Я денька через четыре вернусь, потолкуем, а ты пока, Терентий Саввич, с домашними погуляй.

Пархоменко решил, перед тем как захватить свой багаж, сначала заехать на вокзал, чтобы проверить, погружен ли автомобиль, необходимый для успешной работы рудников. Но машины не оказалось ни на станции, ни в поезде. Поезд был собран, и паровоз уже

брал воду. Минут через сорок можно было отправляться. Пархоменко расспрашивал о машине, но никто ничего не знал, и наконец какой-то доброжелатель на телеграфе сказал ему:

— Машина стояла возле станции, только увели кому-то другому.

— Как другому? — удивленно спросил Пархоменко. — Такая зеленая машина, и на дверках медные ручки?

— Во-во! Я же ее знаю. Увели.

— Куда увели? Кому?

— Кому-то из ревкома, — сказал доброжелатель.— Девчат небось катать.

Пархоменко разозлился и, вскочив на тачанку, погнал ее к Реввоенсовету. Здесь он доложил, что машину, необходимую для обслуживания углем Москвы, передали кому-то другому.

— Безобразие, — сказали ему в Реввоенсовете.— Машину найти! Виновных арестовать!

Пархоменко направился к ревкому. У коричневого облупленного здания ревкома он нашел эту зеленую машину. Машина стояла у парадного подъезда. Часовой в прозодежде охранял ее. Пархоменко подумал про него, что это шофер из ревкомовского гаража. Пархоменко стремительно соскочил с тачанки и так быстро подбежал к часовому, что тот от неожиданности перенес всю тяжесть тела на правую ногу, а левую приподнял и как-то даже скрючил.

— Где начальник гаража? — спросил Пархоменко.

— Не знаю.

— Какой ты части?

Громкий голос, стремительность, а главное испуг, который испытал он и которого сейчас уже стыдился, заставили часового крикнуть:

— Да убирайся ты к чертям!

Эта неожиданная грубость ошарашила Пархоменко. Все еще думая, что начальник гаража защищает машину, дабы ее не угнал кто-нибудь другой, Пархоменко сказал:

— Машина предназначена для меня. И охранять ее буду я, а тебе приказываю немедленно сдать оружие и позвать ко мне начальника гаража.

Часовой подчинился. Пархоменко ждал начальника гаража. Но из дверей, куда скрылся часовой, выскочила вместо начальника гаража целая группа людей

в прозодежде, с винтовками наизготовку. Продолжая думать, что часовой его не понял и даже не знает, кто он, и по глупости своей позвал шоферов защищать машину от угона и что теперь, наверное, сам ее угонит куда-нибудь, Пархоменко закричал, выхватывая шашку:

— На месте стоять! Суду предам! Я Пархоменко.

Он слегка ударил плашмя одного шофера по плечу, а другому разрубил тулуп. Тогда команда успокоилась, поставила ружья к ноге, и Пархоменко начал ей разъяснять, что́ здесь происходит. Однако добиться толку, по чьему же распоряжению угнана машина, так и не удалось. В середине его разъяснений из дверей выскочил взбешенный штатский, без шапки, но в калошах, надетых на длинные, выше колен, сапоги. Он подскочил сзади к Пархоменко и схватил его за плечи, крикнув:

— Я председатель ростовского ревкома! Как вы смеете разоружать мою команду?

Пархоменко мотнул плечами, и хотя толчок был плавным и мягким, все же председатель ревкома упал. Пархоменко обернулся к нему и спросил:

— В чем дело? Что вы хватаетесь то за мою машину, то за мои плечи?

— Ворвался в парадное ревкома, чинит безобразия, разоружает команду и еще спрашивает, в чем дело. Именем ревкома — сдавайте оружие!

Пархоменко, недоумевая, сдал оружие. Его увели в комендатуру, а оттуда, к крайнему его удивлению, в тюрьму.

Пархоменко не знал, да и не мог знать, что зеленая машина была передана Быкову, только что приехавшему из Москвы со специальным поручением «раздела сферы влияний» между 8-й армией и Конармией, и так как Ворошилов, Буденный и Орджоникидзе уехали в Москву на Первую сессию ВЦИКа VII созыва, то надо было, воспользовавшись их отсутствием, торопиться так провести этот «раздел сфер», чтобы он был возможно более выгоден для троцкистов. Председатель ревкома был выдвинут на свой пост троцкистами и потому, зная хорошо Быкова, относился к нему с полным подобострастием.

Быков беседовал с председателем ревкома, когда увидал в окно, у которого он сидел, подлетевшую к парадной двери тачанку, выскочившего из нее Пархоменко и услышал крики. И так как у него не было ни-

каких оснований огорчаться этим скандалом, то он проговорил и весело и в то же время многозначительно, чтоб обобщить и тем самым довести до степени преступления факт этого скандала:

— Ну и нравы у вас, скажу я вам!

— Бандитизм, он заразителен, — проговорил охваченный негодованием председатель ревкома при виде многозначительного лица Быкова.

Когда он вернулся в свой кабинет, запыхавшись, утирая пот и от усталости и волнения шаркая ногами по полу, Быков слегка приподнялся со стула и спокойно спросил, кладя руки на стол, как бы составляя доклад о происшедшем:

— Какие же выводы?

Председатель посмотрел в его высоко вскинутое пенсне и слегка приподнятую верхнюю губу, перевел взор на носок быковского сапога, нервно шмыгавший по полу, и сказал:

— Под суд.

Начался суд. Он длился три дня. Весь Реввоенсовет южного фронта находился в Москве, и поэтому доклад о поступке Пархоменко некому в Реввоенсовете было рассмотреть, в Москву же ничего не сообщили. В докладе говорилось, что Пархоменко буянил пьяный и хотел угнать машину, принадлежащую ревкому. Следствие велось поспешно, один день.

На суде свидетели, так же как и при допросе у следователя, дали путаные показания, а когда попробовали свести двух свидетелей из той команды, что была в прозодежде, то один сказал про другого, что тот врет. Публику в ревтрибунал не допустили. С громадным трудом прорвался Ламычев, но его вывели в первый же день из зала суда, потому что он делал, как думалось суду, мало почтительные замечания.

Пархоменко подробно рассказал, как произошел весь скандал, и почему он торопился, и почему ему нужна была машина. Заканчивая свою речь, он повторил, что машина нужна была шахтерам, а не ему для личных целей, что же касается самовольных поступков, так увечья он никому не нанес, ругаться, верно, ругался, но, может быть, ругаться-то еще и не так надо.

— Я сколько раз писал ревкому, что они в свой гараж всякое офицерское охвостье собирают! — воскликнул он.

— Кто прохвосты? — шутя в манере Быкова, спросил председатель ревтрибунала.

В комнате суда, маленькой, тусклой, было холодно и сыро. Председатель суда все время склонял набок голову и выносил вперед руки, расставляя широко в сторону локти.

— Ну, не будем углублять вопроса, точка! — сказал Пархоменко. — Мне бы хотелось, чтобы вы поняли: надо дать уголь, надо к сессии ВЦИКа пригнать уголь в Москву и показать, как способен работать ростовский пролетариат.

— Вот вы и показали, — шутливо разводя локти, проговорил председатель. — Есть у вас вопросы?

— Нет.

— Дополнения, замечания?

— Нету.

К концу третьего дня председатель, все так же расставляя локти, прочел приговор:

— «...Революционный трибунал юго-восточного фронта, учитывая все эти самочинные, преступные действия А. Я. Пархоменко, приговорил отобрать у него все награды, орден Красного Знамени и присудил его к смертной казни...»

Председатель положил бумагу на стол и посмотрел в лицо Пархоменко. Оно было спокойно, и по-прежнему едко и прозрачно светились большие глаза, окруженные чуть припухшими веками под тонкими бровями, длинными и черными. «А пожалуй, влипнем мы с этим Быковым», — подумал председатель и, взяв бумагу, дочитал приговор:

— «...но ввиду заслуг А. Я. Пархоменко перед революцией и советской властью заменить ему смертную казнь годом тюрьмы».

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Пархоменко находился в камере-одиночке. Он сидел, охватив руками колени, и смотрел на свежие доски пола, настланные совсем недавно, чуть ли не по его приказанию, когда он был ростовским комендантом. Тупое чувство недоумения и скрытой гадливости мучило его. Обратив мысленный взор назад, он старался понять происшедшее. Но как бы медленно и неторопливо, будто в ростепель, ни вел он свою мысль за повод,

все же он многое не мог понять. Признавая всю важность и необходимость революционной справедливости, той справедливости, которую он неуклонно и неустанно проводил всю жизнь, он теперь, направляя весь свет этой справедливости на себя, осматривая свой поступок и примеряя этот поступок к другому товарищу, не Пархоменко, а предположим, к Матвееву или к Петрову, все же не находил в этом поступке ничего такого, за что следовало бы расстрелять Матвеева или Петрова, так как год тюрьмы был для него немногим лучше, а пожалуй, даже хуже расстрела.

«Я поступил справедливо,— думал Пархоменко.— Я исполняю приказание: беру машину, захваченную незаконно. Меня ругают, на меня кидаются с ружьями, ведь должен же я защищаться, граждане судьи! А может быть, это бандиты выскочили на меня? А теперь скажите, почему не обвиняют в нарушении революционной законности тех, кто велел угнать машину? Почему они не появились на суде? Почему не обвиняют тех, кто хочет, чтобы Москва была без топлива, без угля?»

Молоденький, хорошо знавший Пархоменко комендант тюрьмы часто приходил в камеру. Он рассказывал политические новости, приносил книги. В виновность Пархоменко он не верил и, смеясь, говорил: «Ламычев выхлопочет. Он с телеграфа не уходит. Адвокатом ему быть, а не снабженцем бы». Однажды Пархоменко попросил принести ему «Войну и мир».

Когда дня через три комендант вошел в камеру арестанта, Пархоменко сидел на табурете и хохотал над книгой.

— Чудные времена были, как я подумаю,— сказал он, повертывая к коменданту оживленное лицо.— Едет по Бородинскому сражению граф этот Безухов. Едет в штатском, даже шляпа белая. На коне держаться не умеет, даже читать противно. Едет он по всему фронту, и никто про него не подумает, что это, может быть, шпион скачет. Все-то он видит, все-то ему известно. Свободные времена! Нам приходится туго, у нас куда замысловатей, у нас повозишься, пока его откроешь. Он тебе в штатском по фронту не поедет, он в салон-вагоне, с адъютантами, да еще норовит тобой командовать.

Он подошел к окну. Была оттепель. По мокрому вязкому снегу около тюрьмы маршировала, обучаясь,

некрупная воинская часть. По звуку шагов можно было определить, что училось не больше роты. Юный свежий голос начальника отчетливо и с удовольствием командовал:

«Раз, два! Раз, два!» — И, послушные этой команде, отчетливо и тоже, видимо, с удовольствием шагали молодые ноги.

И Пархоменко вспомнил свой первый въезд в Ростов. Он ехал со стороны Дона на тачанке. Вечерело. В сгустившихся, но еще не темных, а прозрачно-фиолетовых сумерках видны были бесчисленные каменные дома, поднимавшиеся по высокому берегу. Ближе, в оранжевых отражениях заката, повис великолепный мост. Подле него льдины обнимали барки и карабкались на них. И все это — барки, мост, дома — как бы говорило: «Придется тебе поработать, Пархоменко, ничего не поделаешь». И Пархоменко отвечал им сам про себя: «И поработаю». А верно, сколько пришлось работать! Рыба, кожа, табачные фабрики, судостроительная верфь, макаронные фабрики, салотопенные, воскосвечные, типографии, газовое освещение, трамвай — какое большое и потушенное богатство! И постепенно это богатство разгоралось, поднималось. Одних учащихся пять тысяч, и даже есть целые музыкальные училища! Однажды Пархоменко нарочно поехал посмотреть это никогда не виданное им училище. Он ходил по холодным классам, видел множество роялей, скрипок и, несмотря на холод, слышал прекрасные поющие голоса. «Будем еще такие песни играть, что и черт зажмурится», — сказал он директору, осмотрев училище, и тут же приказал выдать музыкантам шесть возов угля. «Пускай ребята отогреются, хоть немножко легче петь будет»,— сказал он.

А посмотреть на Большую Садовую! Магазины, клубы, кредитные учреждения, библиотека, училища, театр! Великолепный, пышный город — Ростов, замечательный, теплый город.

Пархоменко повернулся к молодому коменданту, который молча стоял у порога и почтительно ждал, когда он заговорит:

— Умный человек был Лев Толстой. Но насчет предателей разбирался слабо.

«Раз, два! Раз, два!»— доносилось сквозь окно, и вдруг мерный топот утих. Пархоменко улыбнулся:

— Покурить захотелось. Хорошие ребята.

Рота действительно остановилась, чтобы передохнуть, покурить, посмотреть вокруг себя на сияющий влажный снег, в котором нога оставляет большие голубые следы, на мокрые водосточные трубы, блеском своим как бы очерчивающие весенний контур дома, тогда как весь дом еще хранит в себе угрюмость зимы. Рота как раз говорила о Пархоменко и о приговоре над ним. Все знали обстоятельства дела, и все недоумевали, и все чувствовали здесь что-то плохое, и всем приговор казался бессмысленным и жестоким.

— Ошибся, запарился мужик,— сказал рыжий и потный красноармеец, стоявший третьим с правого фланга первой шеренги. Он затянулся и выпустил тонкую струйку едкого голубого дыма. — В нашем малом деревенском хозяйстве и то запаришься, особенно в уборку али в посев, осенью али весной. Случается так, не поверишь ли, бабу ни с того ни с сего ударишь. А тут ведь государство!

— Бабу зачем же ударить? — послышался голос ротного певца, грудастого и большеглазого человека.— Бабу по весне не ударять, а качать.

Рота рассмеялась. Все тот же рыжий и блестевший от пота красноармеец проговорил:

— А все-таки Пархоменко жалко. На базаре вон торговцы брешут, что Пархоменко два с четвертью пуда золота украл, вот за это его посадили.

— Пархоменко жалко,— решила вся рота.— Сногсшибательный к неприятелю был командир.

Двадцать два дня спустя после приговора в камеру Пархоменко торопливо вошел молоденький комендант тюрьмы. Подняв брови, с влажным, радостно открытым ртом, махая фуражкой, он крикнул:

— Александр Яковлевич! Победа, Александр Яковлевич!

— Какая победа?

Но комендант, сверкая мокрыми глазами, продолжал восторженно смотреть на высокого лысого человека с густыми усами и никак не мог выговорить ничего дельного.

— Я горяч,— сказал, улыбаясь, Пархоменко,— но вы, гражданин начальник, куда горячей. Попробуйте фуражку надеть, может охладитесь.

Комендант пригладил волосы, надел фуражку и проговорил:

— Сейчас по телефону знакомый секретарь из ревкома тайно мне сообщил, что пришло вам из ВЦИКа помилование.

— По какой причине?

— Ходатайствовал, говорит, Реввоенсовет Первой Конной.

Пархоменко положил тяжелые свои руки на плечи коменданта. Комендант опустился на койку. Над ним возвышалось решительное и наполненное какой-то особой торжественностью лицо Пархоменко. И мало-помалу торжественность горевших этих глаз передавалась коменданту, и он весь затрепетал.

— Иначе и быть не могло,— слышался голос Пархоменко, медный, размеренный.— Как же иначе? Чем дольше воюем, тем площади со справедливостью больше. А чем площади больше, тем человеку вольней разобраться и понять друг друга. Я всегда верил, что иначе и быть не может.

Восемнадцатого апреля 1920 года Реввоенсовет Конармии вынес решение: назначить командиром 14-й кавалерийской дивизии А. Я. Пархоменко. Через три дня приказ по Конармии сообщал, что товарищ Пархоменко, начдив 14-й, приступил к исполнению своих обязанностей.

Исполнение обязанностей командира, равно как и солдата, требовало в эти дни особенно глубокого и проникновенного напряжения всех умственных и физических сил. Социалистическое отечество находилось в большой опасности.

Двадцать пятого апреля белая Польша объявила войну Советской России. 5 мая войска белополяков захватили Киев. Одновременно с этим подлым и внезапным походом польских панов заштопанный барон Врангель, собрав остатки разгромленных деникинских полков вылез из Крыма. Предполагалось, что неоднократно битое оружие русских белогвардейцев вскоре соединится на берегах Днепра с оружием польских панов, только что полученным ими со складов Антанты.

Этому третьему вторжению Антанты в пределы молодой Советской республики предшествовали некоторые весьма поучительные обстоятельства.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Поучительные обстоятельства, предшествовавшие третьему походу Антанты, заключались в следующем.

Генералы и дипломаты, руководившие политикой США, Англии и Франции, рассчитали, как им казалось, с той тщательностью и тайной, которыми славились военные расчеты Наполеона Первого, что сейчас именно наступило то время, когда Советская Россия может быть уничтожена и легко и быстро.

В расчеты американских, английских и французских империалистов, равно как и их подголосков, входило, во-первых, внушить польскому народу, что Советская Россия и Российская империя — одно и то же. Известно, что русские аристократы, буржуазия и чиновничество много лет подавляли польское самоуправление, культуру и язык. Англо-американо-французские империалисты, пришедшие в Польшу на смену русским помещикам, купцам и чиновникам, неся гнет еще более жестокий и беспощадный, тем не менее всячески доказывали, что не они, дескать, опасны польскому народу, а русские рабочие и крестьяне, свершившие Октябрьский переворот.

В расчеты англо-американо-французских империалистов входила, во-вторых, приманка польской буржуазии и помещиков на щедрые посулы прирезать им обширные украинские и белорусские территории, которые ни по какому праву, кроме «права» захватчика, не могли принадлежать Польше, потому что это были исконные украинские и белорусские земли и население этих территорий было не польское, а украинское и белорусское.

И, наконец, в-третьих, американские, английские и французские генералы и дипломаты рассчитывали,

что голодный и оборванный польский народ можно толкнуть на войну, обещав ему белую булку и отрезы американского сукна.

Вот почему, едва лишь в Польше появилось реакционное правительство, готовое продать польский народ оптом и в розницу, как правящие круги США, эти предводители и организаторы гнусной политики братоубийственной войны, послали сюда «продовольственную» миссию Келлога, которая ввозила столько же продовольствия, сколько и пулеметов. С февраля по сентябрь 1919 года в Польшу из США было отправлено продовольствия на пятьдесят один миллион шестьсот тысяч долларов, а вооружения на шестьдесят миллионов долларов. Одновременно с булками и пулеметами США приложили белополякам и землицы. В июне 1919 года Парижская мирная конференция по предложению государственного секретаря США Лансинга разрешила польским панам оккупировать Западную Украину, исконные украинские земли.

Американские булки и пулеметы, чужая украинская земля давались полякам не даром. Пароходы и поезда везли в Польшу многочисленных американских предпринимателей. Американские банки покупали дома и развертывали в них свои отделения. Польша быстро превращалась в колонию Америки. Американцы захватывали польские железные дороги, угольные копи, фабрики, заводы, покупали поместья, замки, скупали польские культурные ценности, а где нельзя было купить, отнимали и силой,— словом, вели себя не как союзники и друзья, а как захватчики и насильники. При переговорах, которые вело с кем-либо польское правительство, американцы уже не прикидывались «советниками», а выступали в качестве уполномоченных этого правительства. Американцы настойчиво требовали уплаты за полученный хлеб, вооружение и территорию. Эта уплата заключалась в нападении на Советскую Россию, в полном и беспощадном уничтожении коммунистов и всех, кто сочувствует коммунистам, кто хочет построения нового, социалистического общества.

Советская Россия несколько раз предлагала Польше переговоры и о прочном мире и о предотвращении войны вообще. Советский народ этими предложениями говорил, что социалистическое отечество, новая Россия, руководимая Коммунистической партией, никогда не

думало и не думает о завоевательной политике. Как и ныне, в 1920 году советский народ страстно желал мирного труда и восстановления разрушенных в предыдущей войне областей.

Желания американских капиталистов, главарей всей мировой буржуазии, были противоположны желаниям русских, украинских, белорусских и других народов, создавших первое в мире государство труда и социальной правды.

Капиталисты США желали, чтоб разрушены были посильнее как Россия, так и Польша. Разрушенное государство предпочтительнее разрушенной машины. Разрушенной и сломанной машиной нельзя и невыгодно управлять. Наоборот, капиталисту очень выгодно управлять разрушенным государством, и чем больше будет этих разрушенных государств, тем лучше. А того лучше, если все государства, кроме США, будут разрушенными государствами.

Синий автомобиль мистера Гибсона, американского посланника в Польше, непрестанно кружил по Варшаве. Посланник часто встречался с Пилсудским, с министром иностранных дел Патеком, с влиятельными членами польского сейма. Мистер Гибсон умел говорить и убедительно и ласково, тем более что часто подкреплял свою убедительность чеками в банк, а то и просто разнообразной и ценной монетой. В результате этой деятельности 8 февраля, за полтора месяца до войны, мистер Гибсон мог послать в госдепартамент США утешительную телеграмму о том, что польское министерство иностранных дел готовит ответ на предложение советского правительства о заключении мира и что, несомненно, «этот ответ до того, как он будет отправлен в Москву, будет представлен великим державам на согласование». И чтобы правительство США нисколько не сомневалось в продажности и подлости польских панов, посол добавлял: «Насколько я понимаю, руководящим мотивом в поведении представителей польского правительства в настоящее время является то, что желают великие державы».

А великие державы имели только одно великое желание вражды и ненависти: поскорее начать военные операции, руководя действиями польских войск.

Из США, Англии и Франции в Польшу хлынул поток военных инструкторов, вооружения, боеприпасов,

денег. Лишь только была развязана война, США предоставили польскому правительству заем в пятьдесят миллионов долларов. Трудящиеся Америки собрали денежные средства, чтобы помочь голодавшим детям Европы. Американские политики перебросили эти средства в Польшу на военные нужды. Конгресс ассигновал девяносто пять миллионов долларов «в помощь» пострадавшим от войны странам Центральной Европы. Вместо Центральной Европы эти деньги ушли в Восточную, чтобы разжечь там новую войну!

Все было сделано для того, чтобы польские крестьяне и рабочие, только что перенесшие бремя разрушительной мировой войны, вместо того чтобы отстраивать сгоревшие дома, работать на ниве или у станков, — взяли американские винтовки и шли сражаться за интересы американских банкиров против русских и украинских рабочих и крестьян, которые этим польским рабочим и крестьянам не желали никакого зла, а, наоборот, желали добра и счастливой жизни.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Конармия двинулась на польский фронт.

Иногда войска проходили широкой зеленой речной долиной. Правый берег, высокий и крутой, стоял перед ними, как двери в какой-то громадный мир. Яры этого берега, сверкающие, желтые, перерезаны глубокими оврагами, на дне которых, как серебряная проволока, лежат ручьи.

А низкий пологий левый берег уходит в такую даль, что если присматриваться, то кружится голова. Какая бесконечность, какие луга! Вода давно спала и стоит только в болотистых бархатных низинах, вокруг которых толпится ольха. На песчаном речном побережье, нежно обнявшись, качаются под слабым весенним ветром молодые ветлы, тополя, ивы.

По утрам в небо уходит туман нехотя, стараясь зацепиться за верхушки деревьев. Он скользит по этим верхушкам, похожий на ожерелье из янтаря, и когда к нему подходит ветер, то он, точно играя, переливается всеми цветами. Тогда ветер оставляет его, поднимается в небо, налетает на облака, гонит их, рвет, треплет, комкает, а солнце старается пробиться сквозь

дождь, оставляя позади себя радугу, всю влажную, серебристую, стоящую над землей неожиданно застывшим ударом света.

Иногда всадники встречают и переходят остатки старых рек или небольшие озерки. Берега заросли какой-то особо мощной травой с таким крепким запахом, что режет глаза.

Иногда за поворотом из-за лугов вдруг вставал перед ними приблизившийся левый берег. Он покрыт песчаными желто-оранжевыми дюнами. Ветер качает над дюнами кисейную пыль. Кое-где среди дюн стоят заросли красной вербы. Это указывает на жилье, а часто и на спрятавшихся бандитов. Если случалось встретить дюны к вечеру и уставшая армия не стремилась гнаться за бандитами, то она начинала петь. Услышав песни, бандиты убегали в глубь дюн.

Иногда всадники проезжали пышный лиственный лес, такой разросшийся, что он не только упирался в реку, но даже и входил в нее. И странно было видеть молодые узкие, похожие на звериный след листья дубков, которые ветер то и дело окунал в реку. А у дороги, расправив грудь, стояли грабы и ясени. Красноармейцы, в степях отвыкшие от лесов, въехав в тень граба, снимали фуражки и как бы чувствовали себя нырнувшими в воду,— такая была густая иссиня-зеленая тень. И лица делались зелеными, пятнистыми, глаза горели истомой. И все беспричинно вздыхали. Под зеленью грабов и ясеней вставал второй этаж растений,— словно природа желала похвастаться перед людьми всей своей плодородной силой, — и под ноги коней ползли ветви орешника, лохматый бересклет, алеющий шиповник. А еще ниже неподвижно и сладостно цвели цветы, и пение птиц, казалось, шло из этих цветов. Всадники ехали молча, изумленно прислушивались к поющему лесу. А когда наступал вечер и в песню вступали соловьи, это было так удивительно, что всю армию охватывал озноб, и сам командарм, усатый, загорелый мужчина, прикладывал руку к щеке и запевал старинную песню. В ней пелось про любовь, пашни, а чаще всего о том, как добрый казак покинул свою хату, простился с семьей, сел на коня и помчался гнать жадного ляха от стен высокого города Киева!

Часто, в особенности возле сожженных и взорванных мостов, встречались огромные обозы крестьян. Это

были или возвращающиеся беженцы, или «менялы», идущие с севера, где они меняли глиняную посуду на соль. Беженцы шли целыми волостями, иногда чуть ли не уездами, и с ужасом смотрели они теперь на бесчисленных всадников, на их оружие, пулеметы, тачанки. Если грохот движения чуть стихал или останавливались всадники на короткую передышку, беженцы спрашивали:

— Откуда так много солдат?

— Армия Буденного идет с Кавказа на польского пана.

— А как же говорили, что войны окончены?

— Войны только-только начались, дядько,— отвечал довольный своими знаниями красноармеец.

— Начались? Да, може, минуют наш уезд? Мы же едем до нашей волости. Мы же все, что есть, распродали, купили клячу да бричку.

Часто от обоза отделялись добровольцы, но уже со средины пути их стали принимать оглядчиво: Махно все засылал шпионов, да и белополяк старался. А если даже и были проверены добровольцы, то не хватало коней. Тогда добровольцев отправляли в «пешую часть», убеждая, что в коннице труднее: не только за винтовкой и собой придется следить, но еще и за конем. Они же говорили:

— А мы слышали — есть Ворошилов, справедливый человек. Разносит здорово, зато если даст дело, так уже тебе по силам — выполнишь. Как после этого в другую часть уходить?

Иногда всадники спускались с холма к пруду, наполненному древней водой. Видно было плотину, массивные створки на цепях. Колеистая дорога исполосована поперек тенями и светом. От пруда по дороге поднимается стадо. Остановилась собака и задумчиво смотрит на громаду приближающихся всадников. Пастух, за шумом стада, не слышит всадников и, плашмя улегшись на траву, пьет из пруда, затем, кряхтя, встает и идет вслед за стадом. Увидав всадников, он снимает шапку, спрашивает, кто, откуда, и говорит:

— Были, и здесь были паны...

— Да что ты, дед, откуда? До панов еще далеко!

— Были. Это — паны тоже, махновцы. Троих наших застрелили, семерых повесили, а за что, кто знает? Соли нет. Обуви, вишь, нету.— И он показывал свои ноги,

обутые в веревочные лапти.— А я и про вас знаю. Про вас сказывают — воюете, что не дают вам работать ни паны, ни махновцы. И верно, ничего делать не дают: ни сапог, ни хлеба. Да благословит господь ваше доброе дело!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Конармия шла на польский фронт.

Была весна.

Пройдя село, Пархоменко остановился у пруда.

Мельница, каменная и совсем темная от времени, треснула пополам. На плотине, у ворота, поднимающего заслонки, стояли три девушки, перебирая обрывки цепи. Высокое дуплистое дерево устремляло к ним свои тонкие весенние листья. Увидав военного, девушки замолчали и, испуганно переглянувшись, пошли.

— Куда бежите, девушки? — сказал Пархоменко.— Я не пан, не махновец.

— А вот перебей их сначала, а там и разговаривай,— ответила одна, побойчей.

Пархоменко потрогал рукой ворот, посмотрел на спущенный пруд, на дне которого, сквозь тину, пробивалась какая-то красновато-рыжая трава. Как грустно глядели эти вишневые садики, плетни, колодцы с высокими «журавлями», тополи!

Село большое, широкое, можно разместить чуть ли не всю дивизию, а конники принуждены остановиться на поле у входа в село. Ночи холодные, ветреные, часто идут дожди, а войти в село нельзя: почти в каждой хате лежит тифозный больной. Лекарства нет, врачей нет, бандиты затерзали террором... тьфу! И вот теперь, идя по селу, Пархоменко ловил себя на том, что заглядывает через плетни, не пробрался ли какой командир или боец тайком в хату, чтобы ночевать в тепле. Бойцы сердятся, ворчат, злость их понятна, а что поделаешь?..

— И все-таки — весна!

Тепло и на солнце, теплее и на душе. Времена другие. Глядишь на траву, ощущаешь лицом и руками солнечное тепло и думаешь, что такой суровой зимы, как прошедшая, уже не будет. Не будет!.. После того как разгромили два похода Антанты, буржуазные соседи Советской России начали глядеть на нее более

почтительно. Подписан мирный договор с Эстонией, то же самое намечается с Латвией и Литвой. Кольцо блокады оказалось в некоторых местах прорванным. Авторитет Советского государства на международной арене заметно вырос. Да и внутри страны куда лучше, чем прежде. После разгрома Деникина и Колчака появились надежды на получение хлеба, угля и железа. Раньше было шесть фронтов, а теперь только два... глядишь, сузим и до одного, а там, попозже, и ни одного не будет! Эх, хорошо будет жить на белом свете!.. Весна, весна...

Пархоменко обходил большую лужу. По ту сторону лужи резко скрипнула калитка. Хромой и усатый украинец в распахнутой шинели и праздничной рубахе, поверх которой болтался крестик, вынес что-то завернутое в полотенце. За ним шла женщина, на руках которой лежал ребенок. Личико ребенка прикрыто платком.

— Крестить? Кум? — улыбаясь, спросил Пархоменко.

Крестьяне вздрогнули и молча переглянулись. Как они, однако, запуганы махновской агитацией, как загнаны! Что ж это такое? Неужели они верят, что коммунист налетит на них сейчас с плетью потому лишь, что они направились в церковь?

— Крести, крести, служивый, никто купели не опрокинет,— сказал Пархоменко.

— А говорят за вас разное... — начала было кума, но мужчина строго посмотрел на нее, и она замолчала.

— Какого полка? — спросил Пархоменко.

— Да я ж по ранению демобилизован.

— Вижу. На фронте в каком полку был?

— Третьем Уманьском.

— На германском фронте?

— На германском.

— А слышал, что революция-то в Германии растет? Большевики крепнут.

— Дай бог,— сдержанно ответил крестьянин. — Да, и хорошо б окрепнуть им так, чтоб никаких других партий не было. А то нам от других партий опрометью приходится бегать. Ну, и задыхаемся от того бегу. И все сохи-бороны разладились.

— Не восемнадцатый год! — сказал Пархоменко. — В том году мы выдержали,— а год был куда слабже,—

поход Антанты, так теперь ли нам не выдержать? Теперь к нам отовсюду силы прибывают.

— Раз немец развалился, значит, наша сила берет. На мой взгляд, паны послабей немца будут. Товарищ командир! — сказал крестьянин ласково и тепло. — Не пойдете ли к нам в кумовья? А мы, от того, что имеем, на нашу Красную Армию пуд муки жертвуем. Дали б мешок, да у самих-то всего муки полмешка!

...А вчера вот конники въезжали в село!

Крестьяне на полотенцах несли к кладбищу три гроба.

Увидав кумачовое знамя конников, крестьяне поставили гробы на землю, и один, седой и старый, вышел вперед.

— Кланяюсь,— сказал он,— кланяюсь Красной Армии низко. И мертвецы, коли б могли, встали из гроба и поклонились.

— Кто они? — спросил Пархоменко.

— Селяне наши,— сказал старик, плача. — Махновцы порубили. Слышали, идете на панов? Не будем задерживать, раз приказ Ленина. Но просим, когда панов побьете, вернитесь на Махну. Разлакомился, собака, человечьей кровью! Ждем не дождемся, когда его добьют. Кто ведет-то вас на тех панов?

— Коммунистическая партия нас ведет,— сказал Пархоменко.

— Слышали, слышали. Справедливая партия, дай бог ей здоровья да силы!

...Уже смеркалось, когда Пархоменко, пройдя все село, вышел к полю, где расположилась его дивизия. Горели костры. Слышался звон котелков. Выдавали ужин. Воздух был неподвижен. Дымки селения тянулись вверх.

Пархоменко подошел к кузнице.

— А мы, товарищ начдив, беспокоились за вас,— услышал Пархоменко голос Гайворона.

— Чего?

— Да в село вы один ушли. Село, положим, мирное, но всякое бывает.

— Нет, у нас такого не бывает,— сказал кузнец. — Мы лучше всем селом умрем, чем махновца или шпиона впустим. Гуляйте себе спокойно.

Видна была закопченная, темная внутренность кузницы, и на фоне этой темноты особенно резко выделялась

и как-то искрилась большая серая лошадь Гайворона. Она стояла, повернув голову к кузнецу, который держал на коленях ее ногу и с треском выскребал из копыта струпья. Умный и преданный взгляд коня объяснял, почему его так любит Гайворон. Тощая собака то оглядывала коня, то смотрела на кузнеца, своего хозяина, то на отскакивающие струпья, и взгляд у нее был голодный и тоже преданный.

Оторвавшись от работы, кузнец погладил рукой собаку и счастливым голосом,— он, видимо, говорил это каждому проходящему,— сказал:

— Целый день вот кую и никак не накуюсь. С голоду голова кружится, как у этого пса, а я все кую да кую. Стосковался! Велико наше село, а коней осталось, дай бог, десяток.

— Попáдали?

— Где попадали, где неприятель поугонял. Не поверишь, добрый человек, на днях взял я с тоски у жены чеботы и наложил подковки...

Гайворон, смеясь, сказал Пархоменко:

— Удивительные люди, товарищ начдив! Был я у них в хате. Питаются картошкой, да и та проросла. А в хате — соловей. Ну поет, прямо скажу, Шаляпин!

— Поет хорошо,— качая головой, мечтательно сказал кузнец. — Запоет, и про все войны забываешь. Такого соловья выпускать жалко.

— Он заявленья не напишет, не пускай.

— Нельзя. У меня такой обычай, что соловей два года проживет, и я, на самый Георгиев день, двадцать второго апреля, выпускаю. Лети! А вот этого соловья мне особенно жалко. Я и имя ему дал — «Поощряй»!

— Как?

— Поощряй. У нас такая поговорка есть: песню поощряют простором, а не теснотой. Дескать, я тебя поощрять буду, выпущу на простор, помни, как я помню. Я помню... — сказал кузнец, опуская ногу лошади и берясь за другую. — А все равно мне его жалко. Особенно. Отписали меня зимой из-за слабости глаз, покинул я дивизион. Нам, артиллеристам, глаза требуются особые, точные, а я что-то за пять шагов не стал видеть, должно быть, немец газом тронул, случилось такое дело. Пишу домой: «Еду». И ехал долго. Приезжаю. Старший сынишка уже шестнадцати лет, молотом гре-

мит... да... Вводит он меня с почетом в хату, подводит к окну, а вокруг окна — четыре клетки и все с соловьями! Сам наловил. В подарок. Заслуженный сын был... теперь бы коней вместе ковали...

— Где он?

— Неприятель за дерзость убил,— глухо ответил кузнец.

— Какой неприятель?

— А махновцы. Такой неприятель, что тебе, друг, придется с ним еще биться да биться.

— Видно, и придется,— сказал Пархоменко. — Что-то много здесь о Махне говорят.

— Много говорят, что много зла наделал. Добрая слава лежит...

— Нет, и бежит иногда. И очень быстро.

Это сказал Рубинштейн. Слабый свет горна позволил разглядеть его неимоверно широкие плечи на коротком туловище, короткие, но крепкие ноги, оливковое лицо, клочковатые пятна коротких бровей, покатый упрямый лоб.

И он стал рассказывать о последнем собрании коммунистов полка, которым недавно командовал Некрасов и куда он, Рубинштейн, назначен комиссаром. Собрание говорило о том, что надо лучше учиться военному делу, что политобразование тоже надо подтянуть и что им редко рассказывают о международном положении. Собрание высказало пожелание, чтобы Рубинштейн, хорошо разбиравшийся в международных делах, почаще выступал перед бойцами. Комиссар Рубинштейн тут же назначил пять лекций.

Улыбаясь, Рубинштейн сказал Пархоменко:

— Командир одной из рот, где буду читать лекцию, подходит ко мне после собрания и говорит: «Григорий Николаич! Предвидится вам в ближайшем будущем хорошая слава как бойцу и руководителю. Но данная ваша фамилия, Рубинштейн, трудно запоминается простыми людьми. А это может помешать распространению славы о революционных деятелях нашего полка».

— Чепуха,— сказал Пархоменко. — Чего им фамилия далась? Человек из рабочего класса, и точка! Делами им нужно заниматься, а не фамилиями. Пятнадцать коней нынче в полку опоили, это что, фамилии?

— Я тоже думаю, чепуха,— сказал Рубинштейн. —

А, может быть, мне все-таки подписываться проще: Рубин?

— Подписывайся хоть бог отец, но только чтоб обязанность комиссара полка исполнять исправно.

Рубинштейну не было и двадцати пяти лет, но морщины, черная борода и оливковое лицо сильно старили его. Пархоменко увидал его первый раз, когда Буденный и Ворошилов принимали парад пришедших из Майкопа в Таганрог трех дивизий Конармии. На Иерусалимской площади, возле греческого монастыря, командиры вспомнили Чехова, так любившего Таганрог, вспомнили и то, что дед Чехова был крепостным.

— Чехов изобразил удивительный образ еврейского бедняка в «Скрипке Ротшильда»,— услышали они скрипучий голос.

Они обернулись и увидали молодого человека, широкоплечего, с оливковым лицом, таким напряженным, как будто оно никогда и не улыбалось. Он подал мелко исписанную бумагу Ворошилову.

— Рабочий? — спросил Ворошилов, читая бумагу.

— Рабочий. Слесарь. Был и хлебопеком, работал и в лаборатории взрывчатых веществ, а затем окончил курсы политсостава в Москве. По национальности — еврей.

— Нас национальность не касается,— сказал Пархоменко. — Нам важно классовое происхождение и храбрость. Саблей и конем владеешь?

— Пистолетом преимущественно. Но и саблей обучен. С коня не упаду.

— В данном случае и национальность играет роль,— сказал Ворошилов. — Особенно еврейская. Вы проситесь в Четырнадцатую? К Пархоменко? А известно вам, товарищ, что там много пришлых, из белых казаков? Казаки у Деникина и Краснова были затронуты антисемитской агитацией. К ним нужно подходить умеючи.

— Понимаю,— сказал молодой человек с оливковым лицом. — Вот я и желаю разъяснить и показать, что трудящиеся евреи так же смелы, как и трудящиеся русские. А паразитическая еврейская буржуазия так же подла и труслива, как и русская буржуазия!

— На польском фронте под влиянием панской агитации антисемитизм может усилиться! Подумайте. Малейший ваш слабый шаг будет только на руку панской агитации.

— Я считаю своим долгом,— еще более скрипучим голосом сказал Рубинштейн,— необходимость разъяснить трудящимся колоссальный смысл социальной революции. Я считаю особенно важным мое пребывание среди донских, бывших белых казаков. Во-первых, я могу показать свою смелость. Во-вторых, и они смогут показать свое перерождение. Мы вместе вырвем корни антисемитизма! И, кто знает, быть может, я вернусь с войны в станицу донским казаком?.. Нужно показать также угнетенным и забитым еврейским трудящимся Западной Украины, что их братья в России — равноправны и даже служат в лучших частях советской кавалерии!

— Скоро получите ответ,— сказал Ворошилов.

Через несколько дней Рубинштейна назначили политработником в 3-ю бригаду, поручив ему для начала чтение лекций на общеобразовательные темы. Он был недоволен.

Третья бригада была составлена почти сплошь из донцов и кубанцев, которые после поражения Деникина добровольно заявили, что желают служить в Конармии, так как все, что они слышали о большевиках плохого — «полная брехня». Отобрали тысячи три-четыре. Командного состава не хватало, пришлось взять кое-кого из офицеров бывшей царской армии, пропустив их предварительно через мандатную комиссию и напечатав фамилии их в газете: не будет ли отвода?

Седьмого мая Пархоменко вызвал Рубинштейна:

— Слышал, Киев паны взяли?

— Слышал. Горе.

— Белые теперь голову поднимут.

— У нас в дивизии не каждый белый — белый.

— Но и не каждый красный?

— Вы, товарищ начдив, о Некрасове?

Полк, которым командовал Некрасов, начали считать в дивизии трудным полком. О полковом командире ходили слухи — он спелся с худшими из «инструкторов-военспецов», как называли тогда добровольцев из офицеров царской армии; что коммунистов в полку мало, да и те, боясь самодура Некрасова, подчинились ему.

— Я слышал, ты недоволен, что лекции читаешь?

— Какой я лектор? Я по натуре казак и мечтаю о шашке.

Пархоменко помолчал.

— А что, если я тебя, Рубин, назначу комиссаром в полк Некрасова? На политическую работу? Не подведешь?

— Не подведу, товарищ начдив.

— Тут важно с первого разу не споткнуться. Споткнешься — налетит лава, задавят. Донца да кубанца вместе сложить — черт получится. Нужно чертовский пример дать. Как ты на это смотришь?

— На то, чтоб пример дать?

— Ну да!

— Пример будет.

— Значит, завтра вступаешь в исполнение обязанностей полкового комиссара. Однако помни Ворошилова: «Малейший ваш слабый шаг будет только на пользу панской агитации».

— Это-то я помню, товарищ начдив.

Рубинштейн вступил в исполнение своих обязанностей следующим образом. Ночью он ускакал далеко вперед и стал в кустах возле дороги, по которой предстояло пройти полку Некрасова. Утром он увидал вначале ординарца, который скакал впереди, втыкая в землю палки с привязанными к ним пустыми бутылками. Затем показался сам Некрасов. Он сидел на коне, заломив папаху, в красных штанах, сшитых из портьеры. В руке он держал большую стеклянную банку с вареньем. Поравнявшись с вешкой, он стрелял из револьвера, и если попадал, то съедал ложку варенья, а если бил мимо, то ждал следующего удачного выстрела. Рубинштейн стал рядом с вешкой. Некрасов, не поморщившись и даже не взглянув на Рубинштейна, выстрелил.

— Попал?

— Мимо,— ответил ординарец.

— Этот субъект морочит мои глаза. Хай он уйде!

— А ты стреляй, раз ты выискался такой Вильгельм Телль,— сказал с неподвижным лицом Рубинштейн, и слова эти показались Некрасову крайне обидными. Он стиснул зубы, выстрелил и после этого, хотя опять не попал, все же потянул ложку варенья в рот. Когда он подносил ложку ко рту, Рубинштейн положил на гриву его коня свой мандат. Некрасов прочитал мандат и от негодования бросил банку с вареньем на землю.

— У этого Пархоменко и социалистического-то осталось только что фамилия. Кого он ко мне назначает? Кого? — И он яростно добавил: — Дать ему коня, этому комиссару! Дать ему саблю!

Подвели коня. Конь был плохо объезженный и к тому же злой. Рубинштейн вскочил в седло, не касаясь стремени, и начал проделывать такие повороты, прыжки и так крутился возле полка, что даже Некрасов, посмотрев на все это, сказал:

— Прекрасную канцелярию может разнести этот субъект!

Через шесть дней Рубинштейн разоблачил Некрасова и офицеров и выгнал и того и других. Назначили нового командира из таганрогских рабочих, и о Рубинштейне все стали говорить с одобрением, так что, когда прислали в подарок из центра вещи, собранные в «неделю помощи фронту», то распределение этих вещей поручено было Рубину, как его теперь стали называть. Десять дней спустя он был назначен комиссаром 3-й бригады, а через месяц — комиссаром дивизии. Его уже прекрасно знали по всему широкому, стокилометровому фронту, каким шла Конармия.

Хвалили теперь и речи Рубинштейна и даже его скрипучий голос. Во время речи он мог умело указать и направо от армии — на Донбасс с его страстным желанием добывать уголь, зажечь домны, пустить станки, учиться для славы любимого своего государства, и налево — на свирепое Гуляй-поле предателей, на Махно, на петлюровцев, на белополяков, на пожары, на погромы, на то, что Антанта усиленно шлет в Польшу оружие и снаряжение, десять составов поездов в день с пулеметами, винтовками, орудиями, что, принимая эти составы, Пилсудский мечтает уже не только восстановить Польшу в границах 1772 года, но вместе с лордом Керзоном, пославшим на подмогу ему английский флот, хочет дать Польше новые границы 1920 года, которые оканчиваются у Курска. Однако не помогут Пилсудскому ни Керзон, ни Врангель, ни Махно, ни Петлюра, ни все иные бесчисленные предатели, потому что отечество социализма непобедимо...

— Что сказать о моем комиссаре? — говорил Пархоменко, разглаживая усы и самодовольно улыбаясь. — То скажу, что он лучше всех передает бойцам наше огромное преимущество перед панами: мы желаем

мира, мы не нападаем, мы защищаемся. Такого я встречал где-то у Льва Толстого.

И он добавлял:

— Хотя у нас в Конармии сто пятьдесят коммунистических ячеек и на шестнадцать тысяч бойцов членов партии три с половиной тысячи, нам все же надо укреплять и укреплять свою политическую твердость. Пусть все видят, что партийные билеты лежат в карманах у наших коммунистов не как украшение, а как надежная защита Советской России.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Чувствовалось, что белополяки знают о приближении Конармии. Чувствовалось, что они понимают, насколько Конармия способна испортить план наступления на юге — так называемую «киевскую операцию». По этому плану Пилсудский решил ударить так мощно по Волыни, чтобы навсегда удержать важнейшую узловую железнодорожную линию Коростень — Житомир — Казатин, откуда шли пути и на Киев, и на Чернигов, и на Гомель, а через Белую Церковь и на Екатеринослав. Если зажать этот узел в руке, то уже в тылу спокойно бы работала железная дорога Проскуров — Одесса, да и вся линия реки Днестра. Взяв Киев, белополяки рассчитывали уничтожить все советские силы на Украине, перекинуться в Белоруссию и там со славой закончить войну «в границах 1920 года»: у Курска.

Вот почему сам Пилсудский принял командование 3-й польской армией, расположив ее неподалеку от Житомира. Помогали ему опытные польские полководцы. Здесь находился генерал Рыдз-Смиглы с двумя пехотными дивизиями и кавалерийской бригадой. Здесь стояли две лучшие пехотные польские дивизии — 13-я и 18-я, сформированные во Франции генералом Галлером, обученные по французскому уставу, с французским вооружением и инструкторами. Здесь было пятнадцать тысяч украинских кулаков под командой атамана Куровского. Здесь был генерал Корницкий, командовавший кавалерией еще в царской армии. Этот генерал, когда в семнадцатом году начался мятеж Корнилова, повел свою дивизию на Петроград, но движению поме-

шал служивший в одном из кавалерийских полков крестьянин Семен Буденный. Буденный разагитировал и разоружил всю дивизию, и за это генерал Корницкий велел предать его полевому суду.

Рядом, готовая прийти на помощь 3-й армии белополяков, возле Казатина, стояла 2-я польская армия под командованием генерала Листовского. Ниже к Днестру стояла 6-я польская армия. Во всех этих армиях находилось свыше пятидесяти тысяч пехоты и шестнадцать тысяч кавалерии, стоявших на позициях глубиной до восьми километров, с тремя линиями окопов, прикрываемых «узлами сопротивления», то есть фортами, где были орудия и пулеметы, способные обстреливать перекрестным огнем как приближающихся к окопам, так и вступивших в окопы.

По некоторым данным можно было думать, что пунктом соединения 2-й и 6-й польских армий является деревня Самгородок. Деревня Самгородок стоит на шоссе, неподалеку от нее протекает река Березанка. Железная дорога, ветка на Умань, проходит километрах в тридцати от Самгородка. Казатин лежит в середине скрещения железнодорожных линий, как винт, скрепляющий перекладины. Здесь пересекается дорога из Киева к Днестру с дорогой от Умани на Бердичев и Житомир. Выдерни этот казатинский винт — и все перекладины упадут.

Двадцать четвертого мая командование юго-западным фронтом издало приказ Конармии. В этом приказе Конармии велено было: естественный разрыв, существующий между 2-й и 6-й польскими армиями, превратить в прорыв.

Конармия двинулась к Казатину.

Двадцать пятого мая, на другой день после получения Конармией директив о прорыве, в части ее приехал председатель ВЦИК Михаил Иванович Калинин, чтобы вручить боевые знамена. Буденный и Ворошилов сопровождали его.

Смотр только что окончился. Он происходил на огромной площади позади сахарного завода, там, где складывали некогда свеклу. За садом виден был розовый хозяйский дом с тонкими колоннами и рядом с ним — длинное мазаное здание под мокрой черепицей. В пруду отражался завод с высокой башней водяного

резервуара; с пыльными окнами машинной, которые, казалось, не пробьет никакое солнце, с высокой известковой печью. В ворота завода, низко натянув под ярмом шеи и выкатив большие добрые глаза, несколько пар волов везли фураж, добытый где-то Ламычевым. У ворот была глубокая канава, и правый вол каждой упряжки, кося взглядом в крутизну канавы, круто ставил раздвоенное копыто на скользкую землю.

По лицам бойцов было видно, что они довольны: отлично прошли перед всероссийским старостой. Глядя на эти молодые, сияющие лица, глядя на загорелых и радостных командиров, Михаил Иванович говорил с вышины боевой пулеметной тачанки:

— Я не хочу скрывать перед вами, товарищи, что борьба будет тяжелая. Быть может, случатся моменты неприятней, чем в борьбе с деникинскими войсками. Скрывать такую опасность перед рабочими и крестьянами советская власть не будет. Напротив, она определенно говорит: только огромная выдержка...

Вдруг над полем, пахнущим прелой травой, загудел польский самолет. Спустя полминуты с самолета послышались выстрелы. Это строчил пулемет. Кони шарахнулись, но коноводы натянули вожжи, и кони, вздрагивая мускулами, остановились. Несколько бойцов вскочили на тачанки и открыли по самолету встречный пулеметный огонь. Пархоменко тоже вспрыгнул на тачанку, стоявшую рядом с тачанкой Михаила Ивановича, и прильнул к пулемету. Он слышал, как кто-то крикнул Калинину:

— Наклонись, Михаил Иванович, присядь!

И слышал ответ Калинина.

Спокойно оглядывая свою тачанку, Михаил Иванович сказал:

— Еще хвастаться начнут: Калинин убежал. — И, глядя на вражеский самолет, добавил: — Жалко, что с нашей тачанки пулемет сняли: поговорили бы с паном.

Когда гул самолета затих и голос был слышен, как прежде, Калинин спокойно продолжал свою речь, закончив фразу, которую прервал при появлении польского самолета:

— ...Советская власть говорит: только огромная выдержка, огромная дисциплина и беззаветная самоотверженность рабочих и крестьян могут нас спасти и дать

нам победу в эту тяжелую минуту. Если в первый момент нашей задачей и было выдвигать отдельных героев и небольшие партизанские отряды, то в настоящую минуту, когда лицом к лицу сталкиваются сотни тысяч бойцов рабоче-крестьянской России с громадными армиями буржуазной Польши, здесь уже, товарищи, мало беззаветного геройства, отдельного партизанского геройства, здесь уже требуется, чтобы мы шли стройной шеренгой, нога в ногу, чтобы мы были дисциплинированы, чтобы из этого ряда ты не выступал ни на один шаг вперед, но чтобы в тяжелую минуту не отступал ни на один шаг назад...

Эти слова Калинина бойцы слушали с необычайным вниманием, тем более что им было и стыдно: некоторые из них, в задних рядах, позабыв о дисциплине, при появлении польского самолета вышли из рядов и побежали к окопам, а другие хоть и остались в рядах, но не остановили бегущих. Проступок был невелик, потому что убежавшие впервые видели самолет, но все же это был проступок против дисциплины, и каждый из бойцов твердил слова Калинина про себя, давая обещание не поддаваться впредь панике.

Для Пархоменко речь Калинина была новой и приятной по манере говорить, по доступности и какой-то удивительной задушевности, но мысли, которые он воспринимал, были близки ему и раньше. Мысли о крепкой, советской дисциплине давно уже владели всем сердцем Пархоменко, он жил ими все это время, и вся его деятельность теперь была направлена к полному и ясному воплощению этих мыслей.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Пархоменко, то и дело погоняя плеткой коня, ехал к станции крупной рысью, часто переходящей в галоп. Он чувствовал одновременно и радость, и огорчение, и смущение. Когда он, опершись о луку седла, оборачивался к своим спутникам, на лицах их он читал те же чувства, которые волновали его. И от этого он еще более взволновался.

В штабе Конармии он слышал, что на станции, куда он ехал, останавливался поезд, в котором прибыл в расположение фронта товарищ Сталин. «Останавли-

вался? А гляди, и по настоящее время поезд стоит? — думал Пархоменко. — Вдруг да удастся поговорить со Сталиным...»

Рядом с этой радостью бродило в сердце и огорчение. Там же, в штабе Конармии, ему сказали, что в его дивизию решено направить пополнение в четыреста сабель. Пархоменко засиял было, но через минуту потемнел и насупился, а еще через минуту начал браниться и отказываться от этого пополнения. Не нужны ему эти три эскадрона! Что он, на самом деле, нянька для белогвардейцев?.. Что ему все время суют казаков, еще совсем недавно служивших в деникинской армии? Другие комдивы получают замечательные кадры — рабочих с больших заводов, часто москвичей, питерцев или товарищей из Донбасса, а он, как окаянный, все беляков, все беляков!..

— Не могу я этого терпеть! Ворошилову пожалуюсь! — кричал он.

Замначштаба Конармии, худой, сутулый, с веселыми голубыми глазами донбасский рабочий, вместе с Пархоменко защищавший Харьков от деникинцев и очень любивший Пархоменко, сказал:

— Так это и есть предложение Ворошилова. Мы вам сильно доверяем, Александр Яковлевич. Вы быстрее других умеете перевоспитывать.

— Быстрее! Не может позволить Ворошилов наваливать такой груз на одного! — еще более возвышая голос, говорил Пархоменко. — Его неправильно информировали о моих силах!.. Нельзя всю белогвардейщину сваливать на меня! Как я дивизию в бой поведу, если у меня глаза будут бегать во все стороны?

— У вас, Александр Яковлевич, не будут.

Вспоминая эту ссору, Пархоменко чувствовал и смущение и огорчение. Ему неприятно было, что он кричал на человека, который его любит и уважает и которого он и любит и уважает. И он почувствовал себя смущенным, что хотел говорить товарищу Сталину обо всем этом. В 14-й дивизии за время тысячекилометрового марша от Ростова на польский фронт наблюдалось только одиннадцать случаев дезертирства, причем три случая сомнительны: ребята скорее всего отстали по болезни. Значит, политвоспитание и политучеба поставлены в дивизии сносно; значит, дивизия боеспособна... но тем более нужно при пополнении ее действовать

осмотрительно! Как в условиях фронта в короткое время перевоспитать четыреста человек? Почему бы не распределить их по всем дивизиям?.. Этот вопрос в конце концов не столь важен для настоящего, сколько для будущего, когда в результате несомненного разгрома белопанских войск на нашу сторону начнут переходить белые части...

Его сопровождали начштаба дивизии Колоколов, замкомполита Фома Бондарь, бывший рабочий харьковского завода Гельферик-Саде, комкавполка Гайворон и два ординарца. Пархоменко сказал, обращаясь к Бондарю:

— Ты впервые возле Киева, Фома Ильич?

— Не доводилось бывать,— хрипловатым басом ответил Бондарь.— А что?

— Пространства выбраны, товарищ дорогой, правильно. Они позволяют маневрировать большими соединениями конницы. А состав и дух конницы таков, что хоть и прошли мы походным порядком много, но не устали... хоть поляки и думают обратное.

Он начал было говорить о неправильных действиях замначштаба Конармии, но тут подъехали отставшие ординарцы, и один из них сказал:

— Разрешите обратиться, товарищ начдив?

— Говори.

— В нашу дивизию пришли беженцы из Западной Украины, из Львова... вот они...

— Кто их направил?

— А они сами. Есть, говорят, предложение для товарища Пархоменко.

Дул легкий и теплый ветерок, чуть колебля широкие и очень зеленые, еще не покрытые пылью листья деревьев. Солнце стояло высоко. Воздух был прозрачен, и даль видна была так далеко, словно ты стоял рядом с солнцем. За полями, речкой и лугом видна была станция с покосившейся водокачкой. За водокачкой можно было разглядеть несколько составов поездов и один из них — из классных вагонов. Быть может, это поезд Сталина?

По обочине, торопясь, но все же медленно переступая разбитыми от дальних дорог ногами, шли трое — двое мужчин и женщина. Мужчины, низенькие, с длинными волосами, небритые, в рваных и темных солдатских шинелях, когда подошли ближе, оказались совсем

юношами. Женщина в длинной ситцевой юбке, с палкой и с узелком, лет под тридцать, но выглядела значительно старше: такие у нее были впавшие, страдальческие глаза и такие сухие, сжатые губы. У Пархоменко, при взгляде на нее, заныло сердце, он подумал о своей жене, от которой давно не получал известий.

— Откуда? Кто такие? Почему ко мне? Кто послал?

Женщина заговорила:

— Идем мы, пан командир, от самого Львова, через все польские заграждения. Работали трое мы на сапожной фабрике во Львове: я — Августа Братосевич, закройщица, Мартин Тройовский — мой двоюродный брат, электромеханик, и Богдан Досолыго, чернорабочий, уголь на фабрику подвозил. Мы двое — поляки, он — украинец.

— Почему ушли?

— Были в тайной коммунистической ячейке. Ячейку предал изменник. Мужа моего убили, дети умерли от голода, нас искали, мы и — пошли...

— Удостоверения какие-нибудь есть?

Беженцы молча протянули вперед руки.

— А почему к Пархоменко? — спросил Бондарь.

— Пролетарий,— ответила женщина.— Мы тоже пролетарии. Мы подумали: как-нибудь да он нас поймет. А не поймет — укажет, кто понимает. Будьте милостивы, пан командир...

— Про панов-то пора бы и забыть,— сказал Бондарь.

— Привычка, добрый...

— Оставь ее,— сказал Пархоменко, доставая блокнот.— Вот, пойдете... к Ламычеву... он оденет, накормит, а там — поговорим.

И он тронул коня.

— Товарищ командир! — быстро заговорил один из юношей.— Мы на станции, возле водокачки, из склада известку выгружали. Так слышали, что в водокачке бочка смазочного масла зарыта. Не нуждается ли дивизия в смазочном?

— Не нуждается, — сказал Пархоменко хмуро.— Идите.

Он с силой стегнул коня. Опять на сердце поднялось раздражение. «Ну, зачем принял? А если шпионы?.. Руки рабочие? В два месяца можно такие рабочие руки выделать, что от рук забойщика не отличишь». И опять

вспомнилось длинное лицо замначштаба, его веселые голубые глаза и все подробности ссоры из-за четырехсот донских казаков...

Тем временем все четыре сотни пополнения выстроились возле кирпичного короткого здания железнодорожной станции со следами пыли по карнизу. Казаки стояли ладно, глядели прямо, дышали ровно, оружие у них было в исправности, и, однако, они не понравились Пархоменко. Слишком что-то много подобострастия, слишком суетятся два сотника, один рыжий, другой белобрысый, и слишком они, четко выговаривая слова, подробно рапортуют. «Брехня,— говорил сам себе Пархоменко, глядя в чистые большие глаза сотника.— Брешет от начала до конца, сукин сын». Но вслух он сказал:

— Поздравляю с приездом на фронт. Остальное проверим на деле. Вольно.

— Вольно-о! — высоким голосом, широко разевая большой рот с частыми желтыми зубами, закричал сотник.

Казаки потоптались, покурили и, вскочив на коней, поехали в 14-ю. Пархоменко посмотрел им вслед и спросил у Бондаря, а затем и у Колоколова.

— В какой полк? Есть предложение?

— В восемьдесят первый,— сказал Бондарь.— Полк — сознательный, умный.

— Не слишком ли много родственников они там найдут? — осторожно спросил Колоколов.

Пархоменко кивнул:

— Да, да. И по-моему, там белые хвосты еще имеются. Но вообще не возражаю, раз политком и его зам настаивают.

— Советуют,— сказал, улыбаясь, Бондарь.— Политком твердо уверен в восемьдесят первом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Всю ночь шел дождь. Воздух был влажный и мягкий, и ветряки за селом как бы плавали в тумане. Медленно шагая по лужам своими короткими ногами, показался политком дивизии Рубинштейн. Позади него шел стройный и сильно похудевший Гайворон. Подойдя вплотную к Пархоменко, Рубинштейн сказал:

— Виноват я, Александр Яковлевич, сильно виноват.

— Сегодня мне везет на извинения,— проговорил Пархоменко.— Ламычев пожаловался: смазочного нет. Я и вспомнил тех беженцев, которых мы у станции встретили. Эх, говорю, Ламычев, теряешь ты связь с массами — плохо беженцев расспросил. У тебя бы уже смазочное было. Не верит. Я ему и приказал проверить. Возвращается с водокачки — вся рожа в масле: «Нашел. Крепко извиняюсь». Нет, говорю, ты перед беженцами извинись. А у вас что случилось?

— Предвижу в третьей бригаде восстание.

Пархоменко изумленно поднял брови и положил руку на шашку.

— Все признаки,— сказал Рубинштейн.

— Какие?

— В бывшем некрасовском полку, в восемьдесят первом,— чуть ли не с рыданием выговорил Рубинштейн,— в том самом, где я начал боевую жизнь, арестовали бойца. Причина, по правде сказать, дурацкая. Боец захохотал. Увидали у него во рту золотую пломбу. А он — доброволец из батраков. И с ним пришли еще трое... Откуда быть у него золотой пломбе?

— Мало ли что бывает,— сказал Гайворон.— Это не причина заметать человека.

Пархоменко спросил:

— Фамилия бойца?

— Ющенко, Борис.

— Большегубый, с оттопыренными ушами, гнусит?

— Да.

— Я его раз в поле встретил, он лубяное лукошко нес с овсом — коней приманивал. Я его еще распек: что ты, мол, на овес коня ловишь? Ты его на уважение лови. А он хохочет. Но пломбы у него во рту я не разглядел.

Пархоменко помолчал, посмотрел на Гайворона, отстегнул свою кривую турецкую саблю, похожую на серп, и сказал:

— Самая завязчивая сабля, Вася. Обратись к Ламычеву. У него штук пять таких есть. Я ею учился рубить и на воде и на лозе; бог даст, и пана задену. Только помни, что рубить ею надо так, чтобы шашка твоя стояла поперек человека, а когда рубишь — еще оттяни ее немножко на себя. Обрати-ка внимание на эфес. Прямо всасывается в руку...

Долго рассматривали четырехгранный, немного суживающийся к переднему концу черный эфес. Рубинштейн ждал. Он уже привык к манере Пархоменко — думать, разговаривая о постороннем.

— Скажи пожалуйста, разное орудие, а способ бить — одинаковый, — продолжал Пархоменко. — Вот, скажем, молот. Когда я раньше крупным молотом бил, то замечал, что, если рукоятка хоть малую грань имеет, лучше бьешь. И скажу тебе, Вася, шашка тоже на молот похожа, у нее ведь металл-то сосредоточен к концу клинка. Верно?

И, повернувшись к Рубинштейну, сказал:

— Ну, золотая пломба? Ну, пусть у него вся челюсть золотая! При чем тут восстание? Чего порочить всю третью бригаду? Они там гордые, их обижать не нужно.

— Я с тем и говорю, чтоб, не обижая, найти нитки. Начали об этом Ющенке говорить, дошло до другого полка, пришли оттуда ребята: «Покажи его, у нас есть подозрение». Посмотрели и говорят: «А мы у этого помещика в экономии работали». А у него в бригаде уже дружки завелись... трое...

— И те, трое, его дружки, что говорят о нем?

— Просто он их самогоном угощал и вел разговоры. Они его прошлого не знали. Но, в общем, перекрестным допросом установлено, что он сын помещика Цветкова, офицер запаса, капитан. Отец его стоит на платформе создания польско-украинской федерации как буфера между Советской Россией и Польшей. С тем и удрал в Польшу.

Пархоменко пристегнул шашку.

— Арестованного в штаб. Ко мне позвать Колоколова. На арестованного не очень наседать. Пусть он думает пока, что мы дураки.

Приблизительно через час Пархоменко вошел в низенькую белую мазанку с цветами на подоконнике и с плакатом «Что ты сделал для фронта?» в простенке. Он сел у окна и, качая пальцем цветок, не глядя на арестованного, сказал Соколову, председателю ревтрибунала:

— А у тебя, Соколов, коня-то перековать надо; у него глаза грустные. Ты тут скоро? У меня совещание назначено, идем.

— Да вот допрос окончим.

— Кому?

— Помещик Цветков пошел к нам добровольцем, рядовым, фамилию скрыл, назвался Ющенкой, а сам, оказывается, капитан.

— Может быть, он из патриотизма? Россию хотел спасать от американского, английского, французского ига? Панов, может быть, ненавидит? К пролетариату хочет приблизиться? Как понять, гражданин Цветков?

Арестованный грустно сидел, держа на коленях большие, в трещинах, грязные руки. Вся его поза показывала, что перед вами сидит утомленный непосильной работой крестьянин. Он поднял глаза на Пархоменко и сказал:

— А я и есть тот Ющенко. Какой я помещик. Чего на меня брешут, псы?

Дальше он начал говорить по-украински, с множеством местных словечек, и притом так замысловато, что даже Пархоменко, прекрасно знавший украинский язык и все особенности крестьянского быта, с трудом понимал его, и чем больше он его не понимал, тем меньше верил, что это сын помещика Цветкова, капитан. Пархоменко с недоумением взглянул на Соколова. Тогда тот достал пакет, вынул из него фотографию и протянул ее к лицу Цветкова-Ющенко:

— А это кто?

Фотография была крупная, так называемая «кабинетная», снятая недавно. На ней был изображен бородатый мужчина в сюртуке, с орденами, и рядом с ним — офицер, лопоухий, большеротый, с тупым выражением лица, с большими руками, положенными устало на колени.

— Копия? — спросил Соколов. — Копия! Факт!

— Факт, — сказал Пархоменко и с изумлением взглянул на Цветкова. — Здоров притворяться!

Тот сидел в той же позе усталого крестьянина; на фотографию он и не взглянул. Пархоменко сказал:

— Слушайте, Цветков. Нам с вами возиться некогда: воевать надо. Поэтому прошу: отвечайте по-человечески.

Вошел начштаба Колоколов. Это был высокий пухлый человек, белокурый, с ярко-красными губами. Сын мелкопоместного дворянина, он сначала учился в гимназии, затем перешел в семинарию, а оттуда, когда началась война 1914 года, поступил в гусары. Через че-

тыре года он пошел инструктором в Красную Армию, влюбился в своих подчиненных, в свое дело и теперь изумлялся, что мог думать иначе, чем думает сейчас, что мог равнодушно смотреть на простой народ, в котором сейчас находил целые сокровища ума, таланта, вдохновения.

Колоколов остановился у порога, в тени, поставив ногу на сломанный ларь с вырванным замком. Допрашиваемый сидел на низеньком табурете, и лицо его было через открытое оконце залито светом. Свет падал дальше в сени, упираясь в паутину и пыль, заполнявшую угол и часть лестницы на чердак. Допрашиваемый продолжал говорить про свою семью, которая, дескать, ушла невесть куда:

— Дочку примай в дому, шой заплати кому, шоб взяв биду з дому...

Колоколов вдруг спросил у него по-французски:

— Et votre petite mignonne Clara, comment se porte-t-elle? [1]

Человек чуть заметно пошевелил пальцами. От висков к подбородку скатились две крупные капли пота.

Пархоменко махнул рукой:

— Э, брось! К нему ни втихомолку, ни с шумом не подойдешь. Я вас спрашиваю перед смертью, Цветков. Хотите сказать правду? Зачем пробрались? Кто подослал? С кем имеете связь? Покайтесь. Почувствуйте себя русским, который совершил ошибку.

Допрашиваемый помолчал, а затем сказал:

— Я — батрак, свидетели есть. Какой я Цветков?

— Увести! — сказал Пархоменко.

Когда допрашиваемого увели, Пархоменко встал, прошел в угол сеней, постоял там, и когда он вернулся, луч света, падавший из окна, осветил его плечо, покрытое мучной пылью. Должно быть, он стоял, прислонившись к высокому мучному ларю.

— Не обманываемся мы, други? Да нет, не обманываемся. По всем признакам — шпион. И ловкий...

— Плохого не пошлют в четырнадцатую,— сказал Рубинштейн. — Встанем на точку зрения поляков. Что такое для них четырнадцатая? Свежая, почти не проверенная в боях дивизия. Сформирована она наполовину

---

[1] А ваша маленькая дочка Клара, как ее здоровье?

из белых казаков. Командир — рабочий, старый революционер, друг Ворошилова. Разваливая посредством шпионов и диверсантов четырнадцатую, паны делают два выгодных им дела: первое — компрометируют задачу перевоспитания белых, сводя ее к нулю, второе — разваливают дивизию, которой командует пролетарий...

— Откуда известно панам, что я командую дивизией?

— А нам известно, кто у них какой дивизией командует? Известно. У них разведка в тылу противника поставлена лучше, чем у нас. На это дело нам еще придется обратить особое внимание. Чем мы чаще и сильней будем бить врага, тем больше он будет обращать внимание на формирование кадров шпионов и диверсантов. А нам вообще стоит помнить, что волков легче уничтожать, чем крыс.

— Он прав,— сказал Пархоменко. — Ваше предложение?

— Расстрел. И позвольте мотивировать это еще одним соображением. Помните, я вам говорил о восстании в третьей бригаде? Его не будет, если мы немедленно расстреляем этого шпиона. Наш поступок покажет заговорщикам, что мы наблюдаем за ними и кое-что видим.

— Если добавить к тому, что с правого фланга от восемьдесят первого полка я приказал стать полку Гайворона.

— Разрешите и мне, товарищ начдив, поехать в полк Гайворона,— сказал Рубинштейн, краснея. — Я виноват перед вами, переоценив свою воспитательную работу в восемьдесят первом полку.

— Не возражаю насчет вашей поездки в полк Гайворона. Но вы кидаетесь в другую крайность, Рубин. То вы кричали, что восемьдесят первый полк очень стойкий в политическом отношении, то вы теперь кричите, что восемьдесят первый полк не стойкий. А я ему верю.

— И верите тем белым саблям, которые мы влили в тот полк?

— Кабы нам дотянуть их до первого боя. Тут бы мы, верю, сдружились. После первого боя они бы думать перестали о восстании...

Пархоменко, подперев рукой голову, смотрел в ще-

лястый пол, сквозь который снизу несло сыростью и плесенью. Затем он сказал:

— Читай, Соколов, приговор.

Соколов прочел приговор. Подписали. Рубинштейн сказал:

— А перед тем, как ехать в полк Гайворона, не проверить ли мне политическую работу в третьей бригаде?

— Мысль верная,— сказал Пархоменко.— Только, работая, вы почаще смотрите во все стороны. А я проведу совещание и к вам вечером приеду.

Под вечер, когда Пархоменко в перерыве совещания обедал с Ламычевым, вбежал питерский матрос — следователь ревтрибунала, загорелый, бронзовый, в заношенном бушлате и громадных ботинках. Стукнув с грохотом ботинками, он доложил:

— Доказано: шпион, товарищ начдив. После исполнения приговора при осмотре отверстия в фуражке обнаружена бумага, порванная пулей. Шифровка.

— За небрежный и неряшливый обыск при аресте Цветкова — на две недели под арест! Будь бы у меня шифровка в руках тогда, а не сейчас, он бы по-другому с нами разговаривал. Эх, дурачье!.. Вы что, Колоколов?

Вошедший был бледен.

— Беда, товарищ начдив. В третьей бригаде восстание. Рубинштейн — убит.

— Убит? Рубинштейн? Господи! — вскричал Ламычев, и на глазах его показались слезы.

Утирая мокрые глаза, Пархоменко повернулся к матросу:

— Видите, что вы наделали своей небрежностью и отсутствием бдительности. Рубинштейна убили! Под суд!

— Есть под суд,— весь дрожа, проговорил матрос.

— Всем сюда! Ординарцы!.. Совещание, по коням! Пархоменко не успел застегнуть ремни, как уже подскакал дивизион, а через минуту рядом с дивизионом стоял броневик.

Они спустились в балку. Дивизион, смяв выставленную охрану, которая требовала пароля, подскакал к штабу 3-й бригады. Штаб находился в каком-то полуразрушенном хуторе на холме возле мелкой речки. Когда Пархоменко прискакал туда, с другой стороны хутора скакал к штабу полк Гайворона.

Командиры, работавшие вместе с Рубинштейном в штабе, отстреливались, и часть их успела убежать к Гайворону. При разгроме штаба были убиты Рубинштейн и делопроизводитель. Со своей стороны восставшие потеряли пятерых. Судя по ранам, Рубинштейн бился упорно и до последнего вздоха, и бился один, так как делопроизводитель умер сразу от пулевой раны в голову.

К панам ушло три эскадрона 81-го полка, всего около четырехсот сабель. Как и предчувствовалось, эти три эскадрона состояли главным образом из того пополнения донских белых казаков, которых недавно принимал на станции Пархоменко.

Обнимая труп Рубинштейна и утирая слезы, Пархоменко говорил:

— Ну вот, бедняга! Ну, как мы тебя не уберегли? И ведь по лицу вижу, что до самой смерти он каялся, что плохо воспитал восемьдесят первый полк!.. Прости нас, дорогой Рубин, прости, милый друг... И вот перед телом твоим говорю крепко: найду убийцу, отплачу!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Всю ночь Пархоменко ездил по расположению 3-й бригады. Никаких признаков восстания больше он не обнаружил. Бойцы бригады были подавлены случившимся и глядели на комдива виновато.

Через два дня в 14-ю приехал Реввоенсовет Конармии — Ворошилов и Буденный.

Третью бригаду выстроили на большом поле и окружили пулеметами на тачанках. С поля была видна речка, за которой бетонированные укрепления белополяков. Через эту речку перешли к панам изменники!

Бригаду повернули лицом к реке — к панам! Бойцы и командиры бригады смотрели в землю. Перед бригадой стоял новый командир, донецкий шахтер Моисеев, новые комиссары, начальник штаба и десять краскомов. Хотя они лишь всего сутки как прибыли в бригаду и, казалось бы, она им была чужда, они невыносимо тяжело переживали ее позор и очень боялись, что бригаду расформируют.

Вдоль фронта бригады медленно, на автомобиле, проехали Ворошилов и Буденный.

Не здороваясь и не глядя на бригаду, Ворошилов сказал Пархоменко:

— Начдив! Прикажите им сдать оружие.

И машина отошла.

Пархоменко, бледный, чувствуя, как его влажные ладони прыгают по теплой коже куртки, возвысив, как только можно, голос, приказал положить оружие.

В тишине зазвенели стремена, всадники сошли на землю и, сделав вперед три шага, молча положили оружие у своих ног. Команды «по коням» не последовало, и всадники стояли, сутулясь и как бы оседая под все возрастающим гнетом позора.

Пархоменко смотрел на это оружие — шашки, винтовки, револьверы, — и ему вспоминалось, с каким трудом добывалось оно, как хранилось оно. А теперь что?

— Подводы приготовлены для оружия? — спросил он нового командира бригады Моисеева.

— Приготовлены, — ответил Моисеев трясущимися губами и как-то странно, вбок, дергая головой. Пархоменко тоже дернул головой, сурово посмотрел на Моисеева и, тяжело становясь на всю ступню, будто осаживаясь на каждую ногу всем телом, пошел к хате, в которой заседал Реввоенсовет.

Секретарь, длинноголовый, с толстой верхней губой и красивыми синими глазами, читал приказ о расформировании 3-й бригады. Прочтя, он подал приказ Ворошилову, Ворошилов взял приказ, перечитал еще раз внимательно, обмакнул перо в чернильницу, поднес перо к приказу, задумался над ним. Медленно, одна за другой на приказ скользнули две фиолетовые капли. Ворошилов все в той же позе, чуть вытянув вперед голову и полузакрыв глаза, думал. Наконец он снова взял перо, обмакнул его, поднес к приказу и, опустив перо, спросил, пристально глядя в лицо Пархоменко:

— Товарищ Пархоменко, как революционер, как опытный пролетарский командир, скажи, можешь ли ты еще использовать в бою этих людей?

Пархоменко помолчал, как бы в уме строя и двигая в бой 3-ю бригаду, наблюдая за боем. Затем он проговорил:

— Будут использованы.

— А ваше мнение, товарищ Моисеев? — спросил Ворошилов нового комбрига-3, худощавого, седого и длинного человека. — Сможете использовать?

— Смогу.

Тогда Ворошилов стукнул кулаком по столу, и перо, как бы обрадовавшись, подпрыгнуло и скатилось на пол.

— Ваше мнение, товарищ Буденный?

— Попробуем в последний раз. Не будем разоружать,— сказал Буденный.

— Не будем! Пошли.

Вышли. Красноармейцы бригады, сутулясь, тяжело дыша, сухими глазами смотрели на ту сторону речки, на мельницы. Ворошилов стал на машину и проговорил:

— Что это у вас за привычка? Вы уже один раз были изменниками родины и успели уже забыть, как мы простили вас на Черноморском побережье. Теперь у границ Польши вы еще раз пытались изменить советской власти. Но все равно — так или иначе — советская власть непобедима. Советская власть еще раз прощает вас, надеясь, что вы все-таки исправитесь. Ведь по крови-то, по рабочему поту вы братья трудящихся.

Вышел седоусый, с высокой, крепкой грудью казак. Низко поклонившись, он выпрямился, откинул назад корпус и, глядя на солнце, сказал:

— От имени полка командира Гайворона говорю: красные кавалеристы дают клятву, что не знали про измену... Позор, конечно, пал на Дон! Два раза изменили, сволочи! К панам ушли!.. Просим молодому, отличившемуся в боях с белыми казаку третьей бригады дать слово.

Вышел казак, высокий, едва ли не выше Пархоменко. Лицо у него все было в слезах. Он протянул руки к сложенному оружию и сказал:

— Клянемся командованию Конармии, клянемся товарищу Ленину, клянемся всему русскому народу и тихому Дону, что как дадут нам обратно то оружие,— из рук не выпустим. А если умрем в бою, просим похоронить нас с тем оружием! А если враг подойдет к нашей могиле, клянемся,— из могилы встанем и будем биться!.. И еще клянемся, что, кроме других злодеев, которые хотят заковать в буржуазные цепи рабоче-крестьянскую Россию, уничтожим и тех четыреста мерзавцев, которые запятнали позором знамя нашей красной третьей дивизии!..

Шифровка, с которой был пойман капитан Дмитрий Цветков, послана была Быкову от Штрауба.

Штрауб по-прежнему писал статьи в анархистской газете, и по-прежнему эти статьи охотно печатали. Авторитет его, как теоретика анархизма, поднимался, но Штрауб считал это совершенно второстепенным и вздорным делом. Он чувствовал, что международная обстановка у Антанты усложняется, и сведущие люди ей нужны, и его скоро перебросят на какую-то другую, более важную деятельность. После того как Конармия сильно побила Махно под Павлоградом, и побила так, по пути, нельзя было придавать анархистскому движению большое значение и нельзя было держать при нем опытного и знающего разведчика.

Так оно и случилось.

В тот день, когда ему особенно надоела неопрятность анархической жизни и внутренняя неопрятность Веры Николаевны, встречавшей его каждое утро напряженным и, как ей казалось, радостным возгласом: «Пусть царит веселье, когда кота нет и когда мыши пляшут!» — пришел посланец, а вскоре и другой. Первый, для виду, выспросил о прочности анархистского движения и, уходя, сказал, что со вторым все согласовано. Второй предложил Штраубу переехать немедленно в Житомир. Оба, между прочим, вручили ему жалованье за несколько месяцев, и оба — от разных разведок — новенькими бумажками, долларами. «В пору инфляции и падения денег во всей Европе получить полноценные доллары — это проявление порядочности не только со стороны контрразведок, но и со стороны офицеров, которые привезли деньги. В конце концов что им стоило прокутить их?..» — подумал, а затем и сказал вслух Штрауб.

— Порядочность? Прокутить? А пе вернее ли предположение, что эти две европейские контрразведки влились в американскую? И эти два офицера передали деньги целиком не из-за порядочности, а оттого, что им велено следить друг за другом? И не боятся ли они еще, что за ними следит кто-то третий?

— Я не прочь, Верочка, пригласи меня контрразведка США. По общему мнению, доллар есть доллар. Ха-ха! — Говоря это, Штрауб крепко и любовно

держал пакет с деньгами, и рука его вздрагивала от благодарности к тем людям, которые так щедро платят ему. И, кроме того, почему ему не восхититься собой? Платят, ищут, стало быть, нужен?..

— А не думаешь ты,— продолжала она небрежно,— что контрразведка США, платя полноценные доллары, потребует более действенных поступков, чем те, которыми ты щеголял доныне?

— «Щеголял»? Не хочешь ли ты сказать, что я плохо действую?

— А ты хочешь скрыть, что плохо действуешь?

И вдруг только сейчас он понял, что и о чем она говорила. И как говорила! Каким многозначительным и важным внутренне тоном! Откуда? Почему? Да как она смеет?.. Но, по мере того как росло в нем негодование против нее, рос и страх. Минут через двадцать этот страх охватил его всего, и он смятенно думал: «А что, если она состоит чьим-нибудь агентом? А что, если она третий, который следит за привезшими доллары? А что, если она агент США и именно ей я буду должен отныне давать отчеты?.. И ведь, признаться, я чертовски плохо вел свое дело... Положим, обстоятельства, но все равно чертовски плохо!»

Сразу же многое в ее поступках показалось подозрительным. И сразу же он почувствовал к ней почтение. И, странным образом, почтение к ней не уменьшалось от растущей подозрительности, а, наоборот, увеличивалось.

Подозрительным стало то, что Вера Николаевна все свои разговоры теперь сводила к чулкам, подвязкам, пеньюарам, миндальному тесту, а во сне видела, как ее зубная паста выдохлась, а щетку для ногтей унес конь!.. Проснувшись ночью, она торопливо зажигала свечу и смотрелась в зеркало. Затем она начинала перебирать подол вышитой своей шелковой юбки, лежащей на скамье, и говорила, что от самого скромного, но хорошо сшитого наряда наружность много выигрывает, в особенности если удачно обрисована талия. Ах, если б можно было надеть вуаль!

Штрауб бормотал: «Вуаль? В такие дни? Когда на нас того и гляди наденут петлю... почему ты говоришь такие глупости, Вера?»

Но сейчас, держа пакет с деньгами и глядя на беленый потолок хаты, на котором странным пятном, похо-

жим на конверт, отражалась голова Веры Николаевны, он думал, что, пожалуй, был глуп-то он, а не она.

«Сказать? Не сказать? — напряженно думал он. — Скажешь — вряд ли признается. Не скажешь — подозрения замучают». На душе у него было отвратительно и мерзко.

С трудом он сделал многозначительное лицо и передал все порученные деньги Вере Николаевне.

— Почему мне?

— Но ты же сама сказала, что действуешь лучше меня.

Вера Николаевна подошла к нему, обняла и крепко поцеловала, как не целовала давно.

— За себя, за свои страдания. Они скоро кончатся. А это вот за твое сердце,— сказала она, еще раз целуя его.— Ты очень порадовал твою бедную растрепанную птичку.

И тотчас же добавила:

— Попадья продает батистовое белье... с баронскими метками. Купила бы, но кому здесь стирать его? Впрочем, купить?

— Купи,— сказал Штрауб, думая про себя со злостью: «Она!»

И всю дорогу до Житомира он продолжал думать: «Она! Она — американский агент. Несомненно! Боже мой, как могут быть подлы люди! Не сказать любимому мужу? Да, может быть, вовсе не любимый, а — необходимый? Подлость, подлость». Удивительнее всего в этих размышлениях было то, что ему и в голову не приходила мысль об его собственной подлости и низости.

Вместе с тем он с большой охотой покинул Гуляйполе и с удовольствием подставлял лицо под лучи солнца, сильно припекавшего извилистую и нескончаемо длинную дорогу. С недоумением смотрел он на закрытые — от жары — ставни хат и на пыль, поднимаемую бричкой. «Хлопоты, хлопоты! Скоро лето, а я и не заметил весны,— думал он. — И, однако, с ее стороны это большая подлость».

Он искоса смотрел на ее лицо. Житомир, окруженный глинистыми и каменистыми оврагами, с какими-то карманными заводиками, которые, несмотря на войну, ухитрялись выделывать табак, мыло и даже кирпичи,

радовал ее. «Общество будет, да?» Общество? А? Подлость, подлость!..

Обогнув аптеку и училище, бричка остановилась возле конторы дилижансов, которые, впрочем, не ходили ни на Киев, ни на Бердичев: дорогу пересекли буденновцы.

Встречать его вышел высокий, с пушистыми белокурыми усами польский офицер. Лицо у него было озабоченное, хотя он всячески хотел это скрыть. Он полушутливо вытянул руку над своей головой, широко улыбнулся, представился Вере Николаевне, а затем Штраубу:

— Ротмистр Барнацкий. По образованию — историк, а по специальности — теперь — исследователь тайн. Благополучно доехали? Встреч не было? По оврагам бродят шайки. Пожалуйте в дом.

Он опять вытянул, сколько мог, руку над головой и помахал ею:

— Мадам в гостиницу?

— Нет, со мной,— сказал Штрауб. — Она все знает. Быть может, даже больше нас.

— Дамы всегда больше знают,— галантно сказал Барнацкий, внимательно и многозначительно взглянув на Штрауба. — Просим пана.

Они прошли длинный, вонючий и темный коридор. За низенькими дверьми, от которых едко пахло олифой и клеенкой, слышались возбужденные голоса. При звуке шпор ротмистра голоса смолкли, и кто-то поспешно и с шумом задвинул ящик стола.

В комнате, поодаль от высокого роскошного письменного стола красного дерева, видимо попавшего сюда случайно, сидело несколько человек в штатском. При взгляде на их лица сердце у Штрауба екнуло. Он не то чтоб знал их, он видел их раньше и подозревал, что они сотрудники контрразведок, а сейчас он узнал это. И то, что сочли необходимым, чтоб он узнал это, и то, что они собраны сюда вместе, указывало на необыкновенную важность предстоящего собрания.

Шпионам, руководящим группами других шпионов, нет необходимости встречаться и знать друг друга; достаточно того, что они будут знать своего вышестоящего начальника. А раз их всех свели вместе, значит, решено кем-то чрезвычайно ответственным поставить на карту все! «Ага! Значит, Вера Николаевна знала об

этом собрании? И поэтому заговорила?» — подумал Штрауб, искоса взглядывая на Веру Николаевну.

Она поздоровалась со всеми кивком головы и села в кресло, которое ей подставил Фармиано. Валерио Фармиано был высокий полный красавец с подстриженными черными усами, с беспокойными и наглыми, как у заводского жеребца, глазами. Штрауб несколько раз встречался с ним: Фармиано выдавал себя за антиквара, собирающего картины. Родом он был итальянец, но учился в Германии и, по-видимому, служил в немецкой контрразведке чуть ли не с пеленок. Рядом с ним, в синей отутюженной паре, сидел маленький человечек с неимоверно крупной, угловатой желтой головой. Это был полковник Ганилович, как знал Штрауб, очень крупный австро-венгерский разведчик, теперь служивший в польской разведке. Против него сидел худой, небольшого роста, с темным, почти кирпичного цвета лицом и редкими подкрашенными волосами, пожилой человек, робко и завистливо поглядывавший на державшегося нахально немецко-итальянского красавца. Это был Илья Пивко, украинский националист, не то по глупости, не то по трусости проваливший несколько выгодных афер. Украинца все презирали, но он держался благодаря Скоропадскому, который считал его лучшим разведчиком. Сидело еще несколько лиц — независимых, строгих и важных.

Ротмистр Барнацкий сел за стол, посадил рядом с собой Штрауба и, глядя на Веру Николаевну, вынул длинную и тонкую сигару. Пока он обрезал ее, пока доставал зажигалку, он обдумывал речь. Свеженькое, слегка загоревшее от дороги, припудренное пылью у висков личико Веры Николаевны заставило его особенно внимательно вглядеться в эти фигуры долголетних шпионов и диверсантов, сидевшие перед ним и разглядывавшие его сигару. «Польша! Что этим разбойникам Польша и сам Пилсудский? — подумал ротмистр, который был отдаленным родственником Пилсудского. — С этими разбойниками нужно и говорить по-разбойничьи».

— Господа! Некоторые из вас думают, что получают деньги за то, чтобы спасать Польшу. Не Польшу! Польша и без вашего внимания вышла бы из любого затруднения! — сказал он с силой и даже слегка стукнул по столу. — Вас пригласили вытаскивать всю цивилиза-

цию, которой грозит гибель от большевиков. Мы знаем ваши биографии и не преувеличиваем ваших положительных качеств. Но мы, мы, говоря в смысле всемирном,— мы считаем, что если человек тонет, то неважно, кто его тянет из воды: злодей или добродетельный человек. В данное время важно спасение.

— Чье? — развязно спросил чернобровый красавец Фармиано: ему не нравился тон ротмистра.

— И ваше в том числе! — сказал ротмистр. — Чье?! Спасение мира! Бога! Католичества! Собственности! Семьи! Любви!..

Ротмистр устал от восклицаний, произносимых полным голосом. Понижая свой баритон, он сказал:

— Я новичок в вашем деле, господа. Я — строевой солдат, временно назначенный самим паном Пилсудским для проведения важнейших действий в тылу противника. И, как солдат, я не буду стесняться в выражениях. Пан Пилсудский сказал: «Руби по-моему!» И я буду рубить.

Он наклонился и, вытягивая руку над зеленым пространством огромного стола, сказал:

— Я должен рубить и ради цивилизации и ради собственного чувства мести! Большевики меня разорили. Мой отец имел некоторые средства, весьма солидные. Все отнято! Когда я стал говорить, что это безобразие и за это надо уничтожать, уничтожать!.. — меня в Москве арестовало Чека. Я вырвался, бежал, снабженный достаточным количеством ненависти, которая била так же, как моя пуля. Моя пуля била и русских, и украинских, и польских большевиков. Большевизм говорит, что он — интернационален. Моя пуля еще более интернациональна!..

— Пуля, обернутая в доллар? — спросил худой старик с длинными белыми волосами, с еще более седой бородой, темным лицом и узкими мутными глазками. Он похож был на богатого прасола, одет по-крестьянски, но несколько щегольски. Он говорил, слабым старческим жестом приложив ко лбу руку козырьком.

— Именно, в доллар! — подхватил Барнацкий. — Да, да!

— Следовательно, основное направление будет идти по линии коммунизма как наиболее для нас вредной?

— В свое время я скажу вам, куда тактически будут направлены силы агентуры,— сказал Барнацкий. — Се-

годня мы говорим об общем направлении. И о том, кто его направляет.

— Я уже сказал кто,— проговорил худой старик.— Есть ли необходимость уточнять это? Каждый из присутствующих здесь агентов получил обертку, которая довольно ясно говорит, кто в его пуле заинтересован. Он понимает, что в игру вступила «Великая Заокеанская Мать Польши»...

— Да, да! Мать,— растроганно сказал Барнацкий.— Вы хорошо говорите, Осип Григорьевич!

— Мать эта — добра. Но и строга. Она требует от нас не только хороших разговоров, но и хороших действий. Вы любите цивилизацию, хотите ее спасать? Пожалуйста. Вы хотите получить за это спасение деньги,— что ж, мы не безденежны и платим — пожалуйста! Но действуйте, помогайте друг другу,— мы для этого вас созвали всех,— знайте друг друга. Но действуйте же, черт возьми!

Глаза Веры Николаевны были устремлены на старика, губы ее, казалось, шептали его слова. И опять нехорошо стало Штраубу. Старик же продолжал говорить своим слабым голоском, многозначительно и хитро улыбаясь:

— Предполагается, что в ближайшее время Заокеанская Добрая Мать выступит с международной акцией, которая вполне исчерпывающе и ясно скажет всему миру, что отныне Добрая Мать, продолжая свое снабжение вашей страны оружием и продовольствием, превращается в неутомимого руководителя ваших идей, замыслов, всего вашего воображения. Дело в том, господа, что Европа, после того как большевики разгромили Колчака и Деникина, несколько охладела, оружие ее стало тупиться. Англия скрытно ведет переговоры о торговле с Советской Россией. Италия — тоже. Германия давно бы торговала, будь у ней чем торговать!.. Только одна Заокеанская Добрая Мать остается и останется Мстящей Матерью. Месть ее будет безжалостна, многолетня,— и горе тем, кто не будет послушен этой мести, господа!

Старик, устав, замолчал.

Барнацкий кивнул ему головой и сказал:

— А сейчас, господа, я изложу вам, в чем заключается наша программа и почему мы считаем этот участок фронта — важнейшим. И будем считать его

важнейшим, даже если большевики на другом участке двинутся к Варшаве!..

И, помолчав, добавил:

— На эти слова у меня есть санкция самого глубокоуважаемого пана Пилсудского!

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Когда ротмистр Барнацкий истощил все свое красноречие, раз десять упомянув имя Пилсудского, и еще раз подробно описал свой арест в Москве, собравшиеся начали расходиться. Лица у них были встревоженные. Худой и седоволосый старик переходил от одного к другому, раздавая какие-то пакетики из толстой серой бумаги. Последним он подошел к Штраубу.

— Будем знакомы, господин Штрауб. Здравствуйте, госпожа Быкова. Осип Григорьевич Ривелен, по кличке «Таган».

И он сказал, ласково глядя на Штрауба своими мутными глазами:

— Завидую. Сам бы с вами поехал в Конармию, кабы не старость...

— Но я не уверен, ехать ли мне? — сказал Штрауб. — Меня на Украине знают. Я долго жил у анархистов. Вдруг какой-нибудь знакомый перейдет к красным?

— А вы, голубчик, потрудитесь. Можно так изменить себя, что и мать родная не узнает.

— Узнала бы лишь Заокеанская,— проговорила, улыбаясь, Вера Николаевна.

Старик продолжал:

— Очень завидую. Почетно. Подумайте,— уничтожить одного-двух большевиков-командиров, ближайших помощников Ленина! Это половина советской власти. А там, глядишь, и до второй половины доберетесь. Я за вами давно наблюдаю, господин Штрауб. Вы — многообещающий. Вы медленно и долго собираетесь, но зато — удар, и все кончено! Вы более, чем кто-либо, поняли смысл и практику «комнатной войны».

— Какая же это «комнатная»! — сказал с раздражением Штрауб. — Восстание организовывать! Вести войска самому вперед! Напасть на штаб юго-западного фронта!..

— Но ведь в этом и заключается вся философия жизни, как вы утверждаете, дорогой! Нажать, как на кнопку, в важнейший момент на важнейший пункт истории. Нажали — и для вас распахиваются двери славы! Нет, нельзя вам не позавидовать, дорогой. Так, Вера Николаевна?

— Сам того не зная, он сам себе завидует,— ответила, широко улыбаясь, Вера Николаевна.

Старика ждал у подъезда одетый в мужицкую свитку лопоухий, обросший бородой, которая, однако, не прикрывала большого рта, помощник. И хотя было светло, у ног его стоял фонарь с толстой свежей свечой.

— Еще познакомьтесь,— сказал старик. — Цветков, дворянин, офицер. Его отец — виднейший деятель польско-украинской федерации, удостаивающий меня дружбой. А сынок — тоскует по дочкам. Так?

Цветков со злостью поднял на старика глаза, но ничего не сказал.

— Господин Цветков будет держать связь между мной и вами. И здесь и преимущественно в тылу Красной Армии. Я, знаете, все-таки поеду через фронт. Очень уж завидую вам, господин Штрауб. И хочу посмотреть ваш козырной удар. Прощайте-ка покамест.

Старик приподнял шапку и свернул в переулок.

Цветков шел, опустив голову и глядя в землю.

— Я укажу вам гостиницу,— сказал он, вздыхая. — Могли бы, конечно, и без меня найти, но уж больно я рад свежему человеку. Как там, у большевиков?

— Я от Махно сейчас,— сказал Штрауб.

Цветков шумно вздохнул, махая перед собой фонарем:

— Кому смех, кому слезы. И он и отец мой смеются, что я люблю своих дочек, а мне непонятно — как не любить? Вот объясните вы мне, как можно не любить, когда народил семерых? А нас ведь у отца-то семеро!

— Неужели семеро? — спросила Вера Николаевна и подошла поближе к Цветкову. Но от него сильно разило самогоном, и она отодвинулась.

— Семеро! И не любит ни одного. А у меня — две дочки, и младшую Кларой зовут... и у него — главный козырь они...

Сделав несколько шагов и думая все об одном и том же, Цветков продолжал, взмахивая фонарем:

— Главный козырь!.. Наследство и дочки. «Наследства лишу, говорит, а этот мой друг, Таган, дочек твоих, как мышей, таганом раздавит». И раздавит! Никакой жалости. Не удивительно ли, господа? Мы, люди, учившиеся в университетах, толкаем, как в средневековье, друг друга на самые кошмарные убийства! Меня, например, толкают, грозя убийством моих дочерей. И кто толкает? Кто хочет убить этих крошек? Их дед. Во имя чего? Во имя преуспевания таких мошенников, вроде этого Тагана! А я, культурный человек, любивший Чехова, Бунина, Художественный театр, должен подчиняться этому деду. Защиты нет. Этот худощавый старикашка, не моргнув глазом, удушит их... и не руками, а у него есть такие усовершенствованные ампулы с газом, из Америки привез. Э-эх, господи!

Штраубу неприятны были откровения Цветкова, но он не мог удержаться и спросил:

— А, кстати, кто этот Ривелен? Русский? Поляк?

— Русский? Поляк? Просто американская сволочь! И какая крупная, какая хладнокровная!.. Я много подлецов на своем веку видывал и сам стал немалым подлецом, но этот всех хлеще. Официально это представитель «Питсбергского общества по экспорту машин и орудий Америка — Польша», а вообще — убийца и организатор убийств. Классический убийца! Безжалостен, как пожар, и сентиментален, как шестнадцатилетняя девица, выросшая в глубокой провинции. Маки у себя в имении, во Флориде, разводит, и притом махровые, розовые, негодяй! Ботаник! Вы с ним как-нибудь о цветах поговорите. Боже мой, какие изумительные мысли! Академику впору. И я после разговоров с ним на цветы теперь и смотреть не могу. В глубочайшей степени противно. Все кажется, что они на моей могиле выросли.

И, указывая фонарем на одноэтажный домик гостиницы с тенистыми низенькими сенями, Цветков сказал:

— Ваш номер — четырнадцатый. Не намек на дивизию, куда я еду, а просто вам хотели дать тринадцатый. Не знаю, как вы, а я суеверен. До свиданья. Вечером зайду с Барнацким. Тоже редкая каналья! Ну, этот хоть лошадник. Простительно. Страсть обожаю коней! У нас весь род — кавалеристы. Все кони, как я заметил, аристократы.

Вера Николаевна посмотрела ему вслед и сказала:
— Опасный тип. Большевики пообещают ему спасти его детей — он нас и предаст. Нужно Барнацкому этот разговор передать.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Барнацкий выслушал внимательно Штрауба.
— Видите ли, капитан Цветков — ценная для нас личность. Воля. Умение разговаривать с кавалеристами. Очень похож на мужика. Но, выпивши, он болтун. Он нам все уши прожужжал своим плохим отношением к отцу. Проверили. Оказалось, многое преувеличено. Вы его болтовне не особенно верьте. Но в общем, если за ним хорошо наблюдать, он поручение выполнит. Вы когда, господин Штрауб, выезжаете в тыл Конармии?
«Что-то вы очень спешите переправить меня через фронт? — подумал Штрауб. — И Цветков болтлив не для того ли, чтоб укрепить во мне необходимость этой поездки?» Вслух он сказал неопределенно:
— Готовлюсь. Время еще, кажется, есть?
— Некоторое. Конармия устала. Она не в состоянии с ходу атаковать нас. В этом мы, кавалеристы, глубоко убеждены. Но, разумеется, командование юго-западного фронта будет торопить ее, и ваша задача — умерить этот торопливый пыл. Вы уже передали Цветкову адреса?
— Нет еще. Думаю связать его с Быковым. Слышали о таком? Крупный военспец, для нас действует давно и умело.
— Он — одна из основных фигур в нашей борьбе, — сказала Вера Николаевна.
— Превосходно. Тогда разрешите перейти к деталям второго пункта программы? Первое. Таган привез склянки. Неприятно травить коней, даже и у врага... Но война есть война. По первому вашему требованию вы получите склянки. Но, разумеется, дело это настолько ответственное, что вам самому придется их везти. Мы не можем их доверить даже и Цветкову.
«Опять торопят! — подумал Штрауб. — Почему? И кто?»
— Второе. Большевикам трудно снабжать свою Красную Армию. Необходимо увеличить эти трудности. Порча машин и трубопроводов, поджоги заводов и

складов, взрывы и повреждения станций и паровозов — вот что вам необходимо организовать в самых широких масштабах.

Штрауб, не желая сознаваться, что множество его агентов поймано и казнено советской властью, сказал уклончиво:

— Оттого, что не принимали мои планы, а каждый начальник из-за границы диктовал мне свои, нереальные, я потерял много ценных сотрудников.

— Восстановим!

— Каким образом?

Барнацкий хлопнул себя по карману:

— Заокеанская Добрая Мать! Уверенность в победе, если Заокеанская Добрая Мать берет все дело в свои руки. Раз! И деньги. Неограниченный кредит! Два. Что еще вам нужно, дорогой пан Штрауб?

Барнацкий взял Штрауба под руку и, водя его по комнате, продолжал:

— Будем вербовать! Будем посылать в тыл противника не десятки и сотни, как это было прежде, а тысячи! Десятки тысяч! И не просто шпионов, которые ходят с бумажкой и, как идиоты, записывают количество железнодорожных составов или штыков в каком-нибудь полку,— нет! Мы наших сотрудников превратим в специалистов,— в военных, технических, политических, даже музыкальных, черт возьми! Мы сделаем из них коммунистов, анархистов, меньшевиков или эсеров, смотря по надобности... Добрая Мать приказывает действовать широко, в американских масштабах! Вы думаете, Осип Ривелен сюда для шутки приехал?

— Вот этого уж никак нельзя подумать.

— Именно!

И, сделав несколько шагов по комнате, Барнацкий сказал:

— В житомирских бараках находится пять тысяч пленных. В тюрьме сидят две тысячи командиров и политработников. Туда же я велел посадить всех инженеров, ученых и врачей, которые работали с советской властью. Припугнуть их надо! Тогда легче вербовать, да?

— Да.

— Попозже идем туда?

— И Ривелен тоже?

— Не знаю. Возможно. Он очень любопытен.

Барнацкий ушел. Штрауб возвратился в свою комнату, выпил стакан сахарной воды и лег в постель.

Через полчаса он встал, опять выпил воды и опять лег. Он не спал, но нападала какая-то дремота и все чудилось лицо седого старика с сухими беспокойными глазами, с воспаленными веками. Когда он открывал глаза, он видел в кресле Веру Николаевну, которая записывала на крошечном розовом листке свои будущие покупки: палевый зонтик, перчатки в цвет, мыло с запахом мускуса, банку кольдкрема, французские духи...— Она морщила лоб, зачеркивала, вид у нее был озабоченный: Барнацкий обещал достать все товары, но на определенную сумму, в которую и нужно непременно уложиться. Штрауб в раздражении закрывал глаза. Опять мерещился старичок с воспаленными глазами. Из-за его спины показывался Пилсудский, такой, каким он видел его давно когда-то в Перемышле вместе с доктором Иодко. Пилсудский угощал бенедиктином, говорил грубо, острил плоско... Говорить или не говорить Барнацкому, что знаком с самим паном Пилсудским? Нет, пожалуй, не стоит. Вряд ли пан Пилсудский испытает удовольствие от этого воспоминания. Но то, что ему, Штраубу, поручают эту важнейшую операцию по ликвидации командования юго-западного фронта, не доказательство ли того, что Пилсудский помнит его?

Вечером пришел Барнацкий. Штрауб умылся, выпил стакан водки — и словно бы полегчало. Барнацкий по дороге в школу подрывников и в тюрьму рассказал историю Нины Заведовой, которой суждено, по-видимому, сделать большую карьеру. Штрауб может направить ее в самые ответственные места!.. У этой девушки русские, уходя, расстреляли жениха-офицера. Жених этот, вообще-то говоря, негодяй. Больной из-за него девушка оказалась. Зла и по первой причине и по второй.

— Ученица у вас будет усердная, Вера Николаевна. Чертовски хорошенькая! Отпускать жалко, но что поделаешь?

Девушка точно оказалась очень хорошенькой хохотушкой со светлыми глазами, в глубине которых Штрауб не обнаружил никакого испуга. «Девица, по-видимому, с характером и со злобой,— подумал Штрауб. — Для

Веры Николаевны специально приготовлена. Кем?» Он оглянулся. Позади хмуро шагал со своим фонарем капитан Цветков. Ривелена не было. Что-то он поделывает? Какую он готовит каверзу?..

После девушки посетили двух белогвардейских офицеров, работавших кочегарами на Данишевском заводе, который использует житомирские железные руды. Молодые люди показались Штраубу смышлеными, а их кочегарская работа — очень нужной: можно будет в тылу противника поставить их кочегарами на какой-нибудь паровоз...

Штрауб оживился. Вялость исчезла...

— А вот это наша знаменитая школа подрывников,— сказал Барнацкий. — Ривелен осмотрел ее подробно и одобрил.

Школу окружал большой заросший бурьяном пустырь. Инструктор, инженер-подрывник, показал многие весьма любопытные вещи, в том числе подрывные трубки, сделанные в виде хлебных лепешек, небольшие мины, вделанные в колеса для телег или в самовары. Все эти взрывчатые снаряды имитировали крестьянскую или мещанскую утварь и казались такими простыми и скромными. Под конец инженер показал склянки с бактериями, привезенные Ривеленом. Цветков, морщась и махая крупными, потрескавшимися от земли руками, начал убеждать вдруг Барнацкого, что напрасно подрывников учат вместе. Нужно учить поодиночке!

— Вас вот учили в одиночку, а что толку? — грубо сказал Барнацкий. — Пошли в тюрьму. Нас ждут.

Тюрьма была переполнена так, что не нашлось ни одной одиночной камеры, где бы можно было вести разговор с арестованными. Даже квартира смотрителя была занята, и он жил в городе. Поэтому решили осмотреть арестованных бегло, с тем чтобы выбрать тех, с которыми следовало говорить отдельно.

В обычное время тюрьма вмещала триста — четыреста арестантов. Сейчас в ней сидело не менее двух с половиной тысяч. Заключенные лежали, тесно прижавшись друг к другу, заполняя двойные и тройные нары и пол. Те, которые считались менее важными преступниками, лежали связанные или скованные на соломе, прямо под открытым небом, заполняя весь двор тюрьмы. Пахло грязным человеческим телом и еще какой-то ост-

рой и отвратительной вонью, от которой мутило в голове.

— Тут и гулять негде,— сказал Штрауб смотрителю тюрьмы.

— А зачем им гулять, пане? Они уже нагулялись. Остается последняя прогулка, так они на нее не спешат, пане.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Пробравшись сквозь коридор, наполненный больными, которые стонали на полу, Штрауб остановился на пороге и осмотрел тюрьму. Она была такая же, как и остальные,— тусклая и вонючая. «Очень интересно»,— услышал он за собой шепот Веры Николаевны. И он подумал: «Эта женщина начинает действовать мне на нервы. Что она начала изображать из себя какую-то Марию Медичи?»

Смотритель тюрьмы громко спросил:

— Пришла комиссия. Есть претензии?

Штрауб тех, кто говорил смело или жаловался, выслушивал нехотя, прерывая на середине фразы: «Подайте письменное заявление», но тех, кто низко кланялся или у кого можно было заметить испуг, он записывал.

Так отобрали человек сто. Пока в канцелярии пили чай, отобранных, по списку Штрауба, под разными предлогами, повели в город. Понурые фигуры шли, как-то особенно болезненно ступая на пятки, должно быть уже отвыкнув ходить.

Смотритель бормотал Барнацкому:

— Плохо, пане Барнацкий! Надо их стрелять, а вы не распоряжаетесь. Врачей у нас нет, а они могут тиф перенести в армию. Вы сами из «Шляхты смерти», и знаете, что иногда смерть надо и поторопить.

— Поторопим, пан смотритель.

— Поторопим, но когда?

— Когда, когда? Вот этих, которых увели, просмотрим, а остальных можно и... в общем, даю слово, что не задержу, пан смотритель.

Первый разговор произошел с маленьким пареньком — видимо, больным чахоткой, с ввалившимися серыми глазами и большим узким ртом. Паренек служил писарем в житомирском военном комиссариате.

— Партийный? — спросил его Штрауб.

— Партийный,— ответил тот жиденьким тенорком, явно робея и больше всего, пожалуй, трепеща, что дальше совсем оробеет.

— Хочешь искупить свою вину?

— Да никакой и вины-то нет. — И он пожал худенькими плечами. Рубаха под мышкой рваная, и сквозь прореху видно грязное, изъеденное насекомыми тело.

Барнацкий коротко, насколько он мог вразумительно, изложил пареньку, чего от него хотят. Паренек научится взрывать, его выпустят, переведут через фронт, и он опять будет состоять в партии, а затем, когда ему укажут, в нужный момент он взорвет нужный объект. Только и всего. Паренек дал договорить Барнацкому до конца, вздохнул и сказал, разводя руками:

— Никак это невозможно, гражданин.

— Почему?

— Характер у меня неподходящий.

— Характер укрепим.

Паренек помотал головой и, как бы ища мысленно какой-нибудь лазейки и так и не найдя ее, замолчал. Штрауб глядел на его острый, выдающийся вперед костлявый подбородок, и ему казалось, что из этого паренька, если его подначравить как следует, выйдет приличный подрывник. Паренек сплюнул, растер босой ногой плевок, в котором отчетливо видны были кровавые жилки, и застенчиво проговорил:

— Никак не получится.

— Семья есть?

— Мамаша, две сестры. Из себя я холост,— добавил паренек. — Девки не гонятся, а мне за ними гоняться дыхание не позволяет.

— В случае отказа расстреляем не только тебя, но и семье твоей грозит опасность,— сказал Барнацкий.

На щеках паренька показались два розовых пятна. Они постепенно росли, поднимаясь к скулам. Он опять сплюнул и сказал:

— Никак невозможно. Да и присягу я давал все-таки. — Он вытянул вперед бледную тощую руку и сказал: — Не волнуйте вы себя, гражданин, не уговаривайте. Ну что поделаешь, если не получается!

Барнацкий постучал карандашом о стол. Бережно отодвинув зеленую с помпошками портьеру, вошел рослый жандарм, моргая напряженными глазами и вытя-

нув вперед губы. Барнацкий велел увести арестанта и привести следующего.

Следующий — медленно шагавший крестьянин в длинном измятом пиджаке домашней работы — вошел, подозрительно оглядываясь. Он председательствовал когда-то в сельисполкоме поблизости от Житомира и в списках контрразведки числился коммунистом, хотя и отрицал это. Сейчас его, видимо, заботило, поймут ли его допрашивающие, так как допрашивали редко и прошлый раз его не поняли, и еще его заботило, что у него нет гребешка причесать волосы, а он считал, что в присутственных местах нужно ходить причесанным. Мужик он был хозяйственный и в председатели пошел лишь потому, что думал получить лучший земельный участок и вспахать пашню машиной, какие он видел в Германии, где был в плену и откуда бежал, тоскуя по земле и семье. Сидя в тюрьме, он узнал, что поляки возвращают землю помещикам, что работают такие комиссии, и сейчас, думая о допросе, он надеялся узнать что-нибудь о работе этих комиссий. Особенно ему хотелось узнать, какую же часть урожая с поля, которое он вспахал, удастся ему получить.

Внимательно выслушав вопрос Барнацкого и ничего не поняв, он обратил к Штраубу свое лицо. Худая, покрытая редкими волосами голова Штрауба внушала ему доверие, и он подумал: «Адвокат, должно, и сообразный, вон как прямо сидит, все замечает». И он сказал:

— Никого силой участок свой пахать я не заставлял. Поступал по справедливости. Своей семьей пахал. Мой пот на нем взошел, и от своего пота отделять помещику мы не согласны. — И он торжествующе и задорно оглядел комнату, как бы выжидая, что выйдет кто-то и будет с ним торговаться.

— Вопрос тоже идет о земле, но совсем по-другому,— сказал Штрауб. — Ты грамотный?

— Подпишем, если что понадобится,— ответил мужик и, видя, что его плохо понимают, повторил Штраубу, что он засеял поле своим зерном, которое выменял на последние тряпки, оставив жену с одной юбкой и отдав дедовские еще две подушки и перину. — Ничего в доме не осталось, а тут на тебе: отдавай землю помещику.

Он сжал руку в кулак и вежливо добавил, чтобы не сердить господ:

— Землю взяли, отдать никак нельзя.

Тогда, подлаживаясь под мысли мужика, Штрауб сказал:

— Ты эту землю навсегда получить сможешь.

— Как же так? — подозрительно глядя на Штрауба, спросил мужик.

— Заработать ее.

— Работали века, а все снег да веха,— сказал, ухмыляясь, мужик.

— Ты ведь был в саперах?

— На германской-то? Был. «Георгию» имею да за бегство из плена медаль, — сказал мужик, выпячивая грудь.

— Так вот, теперь ты берешься за то же самое дело, только мы тебя подучим немного... — И Штрауб объяснил мужику, сколько он проучится, какое ему положат жалованье и что от него потребуется.

Мужик, переминаясь с ноги на ногу, посмотрел на портьеру, которая слегка покачивалась от движения его тела.

— Через восемь месяцев, выходит, выкуплю участок, ваше благородие?

— Если отличишься, то и раньше выкупишь.

— Как же отличиться-то?

— Или мост взорвешь, или завод, например. За отличие заплатим особо.

— Лихо,— сказал мужик, хлопнув себя руками по ляжкам. — Лихой, прямо скажу, заработок. Ведь если я в бурмистры поступлю, так и то не столько заработаю.

— Где заработать,— рассмеялся Барнацкий, радуясь оживлению мужика.

— Лихо, лихо. — Мужик подумал и добавил: — Баба-то довольнешенька останется: сел хозяин в тюрьму мужиком, а вернулся помещиком. Ишь ты, лихая жизнь.

Но тут лицо его остыло. Он посмотрел подозрительно на сидевших за столом и, взяв руки по швам, безразлично, по-солдатски сказал:

— Лихая жизнь.

— Стало быть, согласен? — спросил Штрауб.

Мужик сощурил глаза, усмехнулся и спросил:

— На что согласен?

— На учение.

— Учиться, как родину продавать ляху? — Он покачал головой. — На это моего согласия не будет.

— Да ведь радовался же, дурак! — крикнул Штрауб.

— Забавлялся, верно. На то мы и мужики, глупые, значит. Пока там в точности разглядишь да поймешь! А чтобы кругом сказать, то есть родину продавать, на это мы согласиться не можем.

— Помирать, значит, согласны? — фыркая от раздражения, спросил Барнацкий.

— На все бог, ваше благородие. Выйдет — помрем, а только ни земли, ни родины нашей, слава тебе господи, — и мужик перекрестился, — помещику больше не иметь. Оружие-то в наших руках.

— Да где оно? Покажи!

Мужик прищурился и сказал:

— Чего показывать, хвастаться. И сам видишь.

Барнацкий постучал карандашом. Мужика увели. Барнацкий, видимо сконфуженный, чертил какие-то завитушки на бумаге и третьему заключенному, пожилому рабочему с каменоломен, вытесывавшему там плиты для лестниц, вопросов не задавал, предоставив это Штраубу. Допрос рабочего оказался очень коротким. Когда Штрауб, как и всем, рассказал, в чем дело и что от него требуется, рабочий побледнел и, хромая (ему при аресте вывихнули ногу), подошел к Штраубу и сказал в лицо:

— Сволочи вы. Суки! — добавил он громко и нетерпеливо, словно боясь, что не поймут его.

Окно канцелярии выходило во двор. Несколько кустов жасмина у забора пахли так сильно, что запах, перейдя двор, казалось, только увеличивался от этого, заполняя комнату. Штрауб закрыл окно. Когда он вернулся от окна, ввели четвертого заключенного.

К ночи из сотни допрошенных удалось записать в школу только троих, да и те, как думал Штрауб, записались потому, что испугались ругани Барнацкого и, сделав вид, будто согласились, на самом деле решили при первом случае бежать из школы. Штрауб устал и чувствовал себя разбитым. Он с раздражением думал о посещении тюрьмы, и мысли, которыми он был занят в тюрьме, что эти две с половиной тысячи слабых и замученных людей быстро перейдут к нему и будут ему крайне преданны, приписывал теперь Барнацкому. Злили размашистые движения Барнацкого и кислый запах из его рта.

Когда вывели последнего заключенного и Барнацкий молча взглянул на Штрауба, вопросительно вскинув брови, Штрауб сердито сказал:

— Конечно. Нельзя же им возвращаться. Передадут.

Барнацкий плюнул в платок каким-то особо густым, сладострастным и отвратительным плевком.

— Несомненно, передадут...

И добавил:

— Неудобно, что нет одиночных камер. Передадут. И тогда — не будет ни малейшей надежды, что кого-то завербуем.

И, глядя в лицо Штрауба, сказал многозначительно:

— А ведь Добрая Мать будет недовольна.

— И очень.

— Что же делать?

— Будем думать.

— Пытки?

Барнацкий, помолчав, сказал:

— Будем думать. Время, как я говорил, у нас есть.

— Я не тороплюсь. Меня жена торопит.

— Ваша супруга — умная женщина. Она — предвидела и не пошла в канцелярию. Ей бы пришлось увидеть, что не подобает видеть женщине.

— В этом деле, пожалуй, она потверже любого мужчины.

— Вы думаете? Да, случается,— вздохнув, сказал Барнацкий. — Но у меня супруга совсем иной духовной комплекции. Однако займемся этими дураками.

Он позвал жандарма и стал подробно рассказывать, как нужно умертвить заключенных. Он говорил, чертя карандашом по бумаге, и жандарм — вахмистр, служивший вместе с Барнацким в полку «Шляхта смерти»,— слегка склонив корпус, смотрел на бумажку. Барнацкий советовал закрыть ворота, поставить на улице караул, чтобы отогнать толпу, если почему-либо она соберется. А лучше, чтобы толпа не собиралась, заключенных переколоть штыками, не тревожить население выстрелами, и он показал, как следует правильно колоть штыком.

Вахмистр, молча выслушав приказание, вытер тылом ладони рот и вышел, а спустя четверть часа всех заключенных — с завязанными глазами и ртом и стянутыми назад руками — выстроили двумя рядами через двор так, что край шеренги как раз упирался в цветущий жасмин, а другой край стоял возле крыльца канцелярии, у которого была разбита наполненная черной зем-

лей клумба, из которой пробивались наружу поздние весенние тюльпаны.

Вахмистр быстро что-то скомандовал по-польски, и сотня рослых широкогрудых людей с желтыми выпушками на груди беззвучно подняла винтовки, и так как разбежаться было нельзя, то солдаты подскочили на месте и, широко размахнувшись, всадили штыки между лопаток как раз там, где стянутые назад руки образовали складку рубахи. Заключенные упали. Лица у солдат стали потные и багровые. Кое у кого из заключенных сдвинулись повязки, у кого с глаз, у кого со рта, и заключенные, вскидываясь, как рыбы, ползли к воротам, что-то видя и что-то мыча. Таких выбивающихся из шеренги вахмистр бил по голове прикладом.

Штрауб стоял у окна, пока не подъехали телеги. Те же солдаты, которые кололи заключенных, стали бросать трупы один за другим. Волы, изредка скрипя ярмами, стояли неподвижно. Наполнили пять больших телег. Две из них скоро вернулись,— должно быть, могила была близко, где-нибудь на пустыре возле канцелярии. Теперь телеги привезли песок, который солдаты стали разбрасывать по двору узенькими железными лопатками. Штрауб сказал:

— Следующие будут сговорчивее.

— Надеюсь. Но нам пора думать и о завтраке. Смотрите, светает.

Вошел вахмистр. Он доложил, что Барнацкого спрашивает господин Ривелен. По выражению лица вахмистра можно было понять, что он отлично знает, кто такой Ривелен, и что боится он его не меньше, чем сам Барнацкий. Барнацкий побледнел и тихо сказал Штраубу:

— Пришел. Он уже узнал, что мы занимались вербовкой.

— В этом тайны нет.

— Но тайна в том, что из вербовки ничего не получилось!

— Один раз не получилось, другой — получится.

— Ему нужно, и он сумеет потребовать, чтоб выходило с одного раза. Слышите? Сумеет! Он сегодня получил пачку телеграмм из Варшавы.

— От Доброй Матери? — улыбаясь, спросил Штрауб.

Барнацкого разозлила эта улыбка. «Этим не шутят!» — хотел крикнуть он Штраубу, но затем подумал:

«А черт его знает, для чего он улыбается? Может быть, его тот же Ривелен инструктировал!» Однако, как ни хотелось Барнацкому сдержаться, он не вытерпел:

— От Доброй Матери, будь она проклята! Я чувствую, что это знакомство с Доброй Матерью кончится для меня недобро. И знаете, что он спросит? «Почему вы сначала закололи людей, а затем подумали, что их хорошо было б пытать?»

Штрауб нарочито громко сказал:

— Штык тоже не пирожное. Увидя его, допрашиваемые могли согласиться на наше предложение.

Ривелен расслышал слова Штрауба. Остановившись в дверях, он сказал:

— Колоть нужно было по одному, по два, постепенно увеличивая число заколотых. И делать перерыв. А в перерыв — спрашивать: «Остальные согласны? Нет. Заколоть еще столько-то!» Вот это я называю политикой. А у вас получилась бессмысленная бойня с дурными последствиями.

— У нас есть еще время исправить... — побледнев, сказал Барнацкий.

— Время? Время, положим, есть,— медленно и чуть слышно проговорил старичок. — Но почему вы его так неумеючи расходуете? Время — драгоценно.

Через час капитан Цветков пробирался в сопровождении трех польских кавалеристов житомирскими оврагами к линии фронта. Он вез шифровку к Быкову. В этой шифровке Штрауб предлагал Быкову умело принять польских подрывников, всеми силами помочь капитану Цветкову в его опасном предприятии и немедленно сообщить польскому командованию план наступления Конармии. И главное — сроки, сроки! В конце шифровки Штрауб добавлял, что скоро и он и еще кое-кто приедут в гости к Быкову. Цветков при вручении ему шифровки получил и соответствующие адреса тех агентов Штрауба, которых он имел основание считать неарестованными.

Однако Цветкову не удалось увидеть адресатов Штрауба. По дороге в Конармию он познакомился с тремя крестьянами, которые шли туда же добровольцами. Он не казался крестьянам подозрительным, он показался им очень знающим, и они, чтоб скорей попасть в Конармию, ни на шаг не отпускали его от себя. Волей-неволей ему пришлось идти с ними. Документы

их оказались в порядке. Их приняли. Цветков начал «нащупывать почву», но в тот самый момент, когда он сговорившись с двумя сотниками, обратился к казакам, только что пришедшим в 81-й полк, его дернула нелегкая спросить у бывшего рабочего цветковской экономии: «Где и как живут дети молодого Цветкова?» Рабочий, вспоминая детей, вспомнил и самого молодого Цветкова, пригляделся... золотая пломба... и Цветкова арестовали.

Он сидел в сарае, связанный, чутко прислушиваясь к возбужденному говору конармейцев. Он не был убежден в своих силах, да и большевики времени не дали применить ему силы, но он был глубоко убежден в огромной силе Ривелена и Штрауба. «Эти-то добьются! — думал он и с минуты на минуту ждал восстания в Конармии, которое должно было освободить его. — Не одного же меня послали сюда? Одна житомирская тюрьма сколько агентов даст. Ух, как она задрожала, когда узнали, что столько перекололи у Барнацкого!..»

Житомирская тюрьма действительно узнала о смерти своих замученных товарищей, и действительно она задрожала, но задрожала не от испуга, а от гнева! Через день после истязаний и мучительств во дворе канцелярии Барнацкого из тюрьмы, несмотря на строгие меры предупреждения бегства, убежало несколько заключенных. Среди командования белопольской армии пронесся слух, что убежавшие большевики спрятались в городе и готовят переброску оружия в тюрьму. Барнацкий получил приказание отвезти заключенных в другое место. По дороге, во время перевозки, убежало из поезда свыше пятидесяти заключенных. Эти люди, едва оправившись от недугов, начали организацию партизанских отрядов в тылу белополяков, а некоторые были отправлены в Красную Армию, чтобы рассказать о зверствах интервентов.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

После обеда Пархоменко не отдыхал. И не потому, что нельзя было урвать пятнадцать минут на сон, а потому, что в эти минуты он привык учиться. Началось это с того, что вскоре как-то после начала похода, после обеда, лежа в постели в одной комнате с Пархоменко и Фо-

мой Бондарем, после смерти Рубинштейна назначенным политкомом дивизии, начштаба Колоколов предался воспоминаниям о преподавании кавалерийской тактики в офицерской школе, где он когда-то учился. Преподавали, между прочим, неплохо, и особенно знающим был один полковник, участник русско-японской войны. Одна лекция, например, так хорошо была им прочитана, что он помнит ее наизусть.

— Какая? — спросил Пархоменко.

— Военная верховая езда.

— Сколько ж минут он ее говорил?

— Академический час: сорок пять минут. — И Колоколов объяснил, что такое академический час и почему в нем сорок пять минут.

Пархоменко выслушал и спросил:

— И неужели всю лекцию помнишь?

— От слова до слова.

В комнату вошел Ламычев. Пархоменко сказал:

— Подай-ка, казак, ковш с квасом вон там, в углу. Устал я, трудно встать. — Он выпил квасу, шумно вздохнул и, опершись на локоть, спросил у Ламычева: — Часы с тобой? Положи их сюда, на стул. — Он посмотрел на часы и затем, обернувшись к Колоколову, сказал: — Через час нам как раз учение ехать смотреть, значит, сорок пять минут в твоем распоряжении, Дмитрий Иваныч. Начинай.

— Что начинай?

— А лекцию. Ты ж сказал, что наизусть помнишь. Начинай.

Глаза его построжали. Колоколов вспыхнул: «Неужели он думает: я врал?» И он начал читать лекцию своим обыкновенным голосом. Пархоменко лежал на кровати, закинув за голову руки и глядя упорно на свои ноги в белых носках, много раз заштопанных женой. Лицо у него было грустное. У порога, покуривая трубку и наблюдая за лицом Пархоменко, которое становилось все грустней и грустней, стоял неподвижно Фома Бондарь. На пороге сидел Ламычев.

Когда Колоколов окончил лекцию, Пархоменко, по-прежнему не двигаясь и по-прежнему с грустным лицом, сказал:

— Такую умную лекцию нельзя не запомнить. Обратно всю тебе, Дмитрий Иваныч, ее слушать некогда. А вот слушай со средины.

И неожиданно он начал слово в слово повторять лекцию начштаба. Колоколов слушал, буквально разинув рот, и Фома Бондарь, приосаниваясь все больше и больше, с огромной гордостью смотрел на этот разинутый рот Колоколова. «И можно ж до такой степени разевать!» — думал Фома Бондарь, и ему рисовались харьковские улицы и завод Гельферик-Саде, где он, вернувшись с войны, будет рассказывать об удивительной памяти необыкновенного начдива революционера. Ламычев старался казаться бесстрастным: «Так это ж Александр Яковлевич! С ним и не такое может случиться».

На середине какой-то длинной фразы Пархоменко поднял голову. Удивление, которое он увидал на лицах своих спутников, видимо, обрадовало его. Лицо у него настолько же повеселело, насколько оно перед тем было грустным. Он вскочил, выпрямился во весь свой огромный рост и, засмеявшись, сказал:

— Пора! По коням, товарищи слушатели. Часы не забудь, Ламычев.

Фома Бондарь скакал рядом с Колоколовым. Впереди их мчались Пархоменко и Ламычев.

— Ну и голова у Александра Яковлевича! — сказал с восхищением Колоколов. — Такому бы человеку да в университет.

— Для того и революцию сделали. Он, что же, опираясь на Суворова, говорил?

— Кто?

— Да ваш этот полковник с русско-японской войны.

— На Суворова, на Кутузова...

— Пугачева и Разина он, конечно, по своему положению прибавить не мог, — сказал Фома Бондарь. — А кабы прибавил, тут и ночь бы нам не заснуть. А вы вот, Дмитрий Иваныч, можете прибавить. Вы — революционерный офицер.

Колоколов обратил к Фоме Бондарю свое сиявшее благодарностью лицо. Бондарь продолжал:

— И прибавляйте. Теперь вы после каждого обеда и будете нам читать по лекции. Уговорились?

— Мне кое-какую литературу бы достать.

— Это я достану, Дмитрий Иваныч. За многое не обещаю, но томов десять — двадцать достану.

И так повелось, что почти каждый день после обеда они шли в комнату Пархоменко. Вечера были обычно

заняты совещаниями и докладами в частях, утром вставали рано и шли походом,— оставалось только время после обеда, когда вся армия, с обозами и лошадьми, ложилась на короткий отдых. Колоколов садился за стол, Пархоменко ложился на кровать. Фома Бондарь стоял у дверей, Ламычев сидел на пороге, время от времени грозя кулаком какому-нибудь чересчур шумливому конармейцу, который шел мимо.

Но в этот день Пархоменко опоздал и на обед и на лекцию.

Он долго принимал коней. Кони были полукровки, их нужно раздать командирам, но, боже мой, как истощены эти кони! Пархоменко бранил коноводов, упрекал их, что они отнимали у коней корм. Коноводы, сердясь, доказывали ему вполне убедительно, что коней никто не обкрадывал, а что просто нет корму и не было. Пархоменко перевел коней на усиленный корм, достал ветеринарам лекарство, которое они никак не могли достать, кстати переодел и коноводов, которые пришли на передовую какими-то оборванцами... и когда взглянул на часы, обед давным-давно прошел! Он поскакал к столовой.

— Накрываю, накрываю, товарищ начдив! — закричал завстоловой, зная, что Пархоменко всегда торопится. — Все уже готово!

Пархоменко хотел спрыгнуть с коня, но, вспомнив о лекции, сказал:

— Давай сюда суп... не надо супа! Жаркое давай. Да мою порцию хлеба. Соли, соли сыпь крупной! Кавалерист, как и конь, любит соль.

Не слезая с коня, он торопливо съел кусок пережаренной говядины, разломив свой хлебный паек пополам, и бóльшую половину, стараясь не просыпать с нее соль, отдал коню. Он послушал, как конь с удовольствием жует хлеб, потрепал его по шее, тронул коня и теперь, уже сам жуя хлеб, шагом направился к своему дому. «Полчаса еще у нас есть»,— думал он с радостью и мысленно слушал медленный и веский голос Колоколова.

Возле крыльца занимаемой им хаты к нему подскакал ординарец Буденного. Ординарец, молодой и веселый казак, весело и молча улыбаясь, откозырял ему. Пакет с приказом Реввоенсовета Конармии, переданный ординарцем, был настолько же строг и серьезен,

насколько беспечно и легкомысленно было лицо молодого казака. Но эту уверенность молодости так же приятно было видеть, как приятно было читать строгие строки приказа.

Пархоменко шумно вошел в хату. Было жарко, и, ожидая его, Колоколов, Бондарь и Ламычев задремали. Он бросил бурку в угол, выпил квасу прямо из крынки и, держа ее в руках, стал ходить по комнате. Комната была мала — всего лишь четыре шага,— Пархоменко хотел умерить свои шаги, но ничего не получалось. Он сел на кровать и сказал:

— Категорически приказывается, чтоб первого июня Конармия захватила у белополяков район от станции Казатин до Бердичева. Армию Пилсудского, находящуюся в Киеве, отрежем от ее тыла и снабжения — и разгромим! Почетный прорыв приказано совершить двум дивизиям: четвертой, товарища Оки Городовикова, и четырнадцатой, под моим командованием. Что, страшно, Дмитрий Иваныч?

— Страшно, когда не выполним приказа. А мы все приказы выполняли, нам не страшно,— ответил Колоколов, заметно бледнея.

— Страшно, что пропустил что-то, не учел чего-то. Это — хороший страх, и он в сражении помогает. А такого страха, чтоб и у всадника и у коня ноги деревенели, я не признаю. Это уже подлость! Казак такого страха не знает. Начинай лекцию, Дмитрий Иваныч.

— Ливни вот мне не нравятся,— сказал Ламычев.— Казаку пыль глаза не съест, он ее любит. А вот ливень... Сегодня всю ночь лило и лило...

— Всю ночь,— добавил Бондарь, разжигая трубку.— Я ее, окаянную, не спал. Я этот приказ предчувствовал. А как же ливни? Помешают?..

— Начинай лекцию, Дмитрий Иваныч.

Колоколов развернул лист бумаги, заглянул в него и начал:

— Прошлый раз мы остановились перед полевыми укреплениями и окопами, которые штурмуют пехотные колонны. В этом случае кавалерию стараются скрыть, чтоб она была в полной готовности. Зачем ее скрывают и к чему она должна быть готова? Она должна быть готова кинуться на вылазку, чтоб разгромить зарвавшегося противника, который теснит наших. И она должна ворваться в укрепление, если эту возможность подготовит

для нее пехота. Функции кавалерии редко бывают самостоятельными, в большинстве ограничиваясь функциями содействия другим войскам. Самостоятельные же действия кавалерии редко бывают удачными. Приведу примеры. Дивизия французских кирасир в сражении под Ваграмом пыталась было захватить австрийские укрепления, но потерпела неудачу и почти полностью была уничтожена.

— Ваграм? Ваграм? — припоминая, сказал Пархоменко. — А! Шестнадцать с лишком километров от Вены. Тысяча восемьсот девятый год? Там Наполеон одержал победу над герцогом Карлом? Верно?.. А у нас нынче, стало быть, тысяча девятьсот двадцатый годок? И, по словам вашего профессора, с тех пор в кавалерии ничего не произошло? Пехота, дескать, это крупный гвоздь, а кавалерия — маленький, тоненький, которым планочки прибивают? Осада укреплений? Кавалерия облагает атакуемые пункты, занимает дороги, окружающие села и все ждет помощи от пехоты... А что, если пехоты нет?

— Как нет?

— А вот так и нет! Вот нам вредители на юго-западный фронт такую пехоту подсунули, что ее вроде и нет. Осталась одна кавалерия, Конармия. А у нас перед глазами бетонированные укрепления, обширные проволочные заграждения, окопы! Да еще вдобавок ливни. Конь в грязи вязнет. Пехоту ждать? Как тут твой профессор думает?

— Без пехоты здесь ему обойтись трудно, — сказал Колоколов.

— Ему? А вам?

— И мне трудно.

— Да ведь вы, Дмитрий Иваныч, начштаба кавалерийской дивизии, которой приказано первого июня во что бы то ни стало прорвать фронт противника? По-вашему, не прорвать?

— По словам профессора — не прорвать.

— А по приказу революционного народа, как думаешь, прорвем?

— Прорвем!

— Вот за это люблю. Выходит, ты, Дмитрий Иваныч, дальше своего профессора пошел?

— С коня видней, чем с кафедры, Александр Яковлевич.

Пархоменко улыбнулся. Глаза его хоть и сузились, но стали еще ярче. Усы поднялись к глазам. Обнажились зубы — белые, крупные. Все лицо его источало доброту и ласковость.

— Люблю, люблю! — И он еще раз повторил: — Люблю смелых людей. Смел не только тот, кто шашкой хорошо рубит, а кто умеет и головой работать. У пана, не спорю, в бою, может быть, и смелая голова, но в думе он слаб. Он думает, прости меня, Дмитрий Иваныч, как тот ваш профессор. Ваграм, Ваграм! А тут тебе не Ваграм, а советская власть. Изменения! Пан твердит про себя: «Ваграм...»

— А конноармеец: «Страху дам!» — вставил Ламычев и громко захохотал.

— Вот, вот! По их опыту полагается коннице после тысячекилометрового похода отдыхать чуть ли не тысячу дней, а уж две недели во всяком случае. Что думают командиры? Даже из бывших аристократов, вроде тебя, Дмитрий Иваныч?

— Ну, какой я аристократ, Александр Яковлевич?

— Все-таки другого класса. Даже такие аристократы, которые с пролетариатом пошли, научились думать, как пролетариат. Они думают — вперед, в атаку!

— Верно.

— Несмотря на то, что у нас пехоты мало и ливни?

— Несмотря.

— Все ли командиры думают так? Теперь перейдем к солдату. Чем побеждает солдат? Верой, повиновением, порядком. Веруй не в бога, а в себя! Повинуйся не страху, а командиру. Держись не дурости, а дисциплины. В себя наш солдат верит, потому что верит в советскую власть и Коммунистическую партию. Повинуется приказаниям потому, что верит своим командирам. Что касается порядка...

— Эй! Конноармеец! — закричал он, вдруг распахивая окно. — Не видишь, туча идет? Что приказывает порядок? Овес под дождем — прикрой. Привезешь мокрый, сгноишь.

— Сгноим,— послышался голос возницы.

— Ну так прикрой.

— Да нечем. Разве шинелью? Да ведь сам будешь ругаться: скажешь, дали тебе тело прикрывать, а ты — овес...

— Не буду,— сказал, смеясь, Пархоменко, захлопывая окно.— Беда, братцы, с овсом. Кулак не только овес держит — скупает и прячет. Значит, паны и Махно инструкции ему соответствующие перебросили. Спасибо, беднота деревенская не зевает, следит за кулаком...

— Вчера опять семнадцать ям с зерном открыли,— сказал Ламычев.— Что, товарищ комдив, лекция окончена? Там бежавшие из житомирской тюрьмы пришли записываться в дивизию. Может, поговорите?

Командиры вышли на крыльцо, закурили. С юга шла темная охватывающая полнеба туча. Ветра еще не было. Верхние ветви деревьев стряхивали на высокую траву и остатки костра большие капли недавно прошедшего дождя. Кони мотали головами, тонко звякая уздечками.

— Идет, окаянная! — глядя сердито на тучу, сказал Ламычев.— С подвозом плохо, с атакой плохо...

— Только то хорошо,— проговорил Пархоменко, вскакивая в седло,— что польские самолеты летать не могут, а то бы они давно разглядели, куда мы пробрались, сорвали бы, пожалуй, и внезапность нашей атаки. Патроны бойцам розданы, Ламычев?

— Норма. И сверх нормы! Такая «сверх», что ни в одной дивизии нету,— самодовольно ответил Ламычев.— Ты, Александр Яковлевич, с Ламычевым не пропадешь.

Не успели всадники тронуть коней, как увидели, что из лесу выходят беженцы. Их окружали конармейцы, комиссары, ординарцы, санитары. Много они встречали лохмотьев и горя, но эти полосатые тиковые рубища, забрызганные кровью убитых, с засохшими следами панских сапог, эти впавшие глаза с белками неподвижными, точно латунными,— все это кричало о небывалых муках, о злобе чудовищной.

Пархоменко спрыгнул с коня.

— Прошу, кто сможет, расскажите: откуда и как вырвались от панов? Что думает народ на Западной Украине, если кто там был?

— Ждут, ждут! — раздались голоса.— Я был, я!.. Не польская там земля! Народ ждет друзей с России и Украины!..

Худой, высокий, с русыми мокрыми волосами кричал торопливо:

— Отправляют нас они в тыл. Погрузили в теплушки. Били, били, будто мы стадо, которое дверей не понимает. Потом привесили замки. Ну, тогда и говорим мы между собой...

Он протянул вперед неумело забинтованную грязной тряпкой руку, точно показывая на этой руке всем то горе, о котором не говорили тогда между собой. Сосед его, широкоплечий, с лицом, покрытым заматерелыми складками страданий, разъяснил:

— Решили мы: пора пленным бежать.

И он вздохнул, принимая в себя запах родных полей и родного войска, окружавшего его.

— Бежать решили,— подтвердил русый и опять взмахнул рукой. — Сорвали мы доски у пола в вагоне, товарищи, и на ходу кинулись между колесами. Навсегда — так навсегда расставаться с Маланьей, а войну будем продолжать.

Многие при прыжке получили ушибы, а русому покалечило пальцы. Тогда приятель его, тот, что с обширными ноздрями, ампутировал ему пальцы осколком косы.

Закончив рассказ о бегстве, русый заявил от имени всех, что они желают вступить добровольцами в Конармию.

— Коней не хватает, хлопцы,— сказал растроганно Пархоменко. — Придется обождать, пока коня у пана отобьем. А твоя как фамилия, забинтованный? Тебя в лазарет надо.

Забинтованный, не веря, что для его стремления не найдется седла, закричал:

— Левую-то не отрезало, товарищ командующий! Левой буду стрелять пана! А фамилия моя Снегирев! И во многих армиях укажу знакомых коммунистов, которые считают меня на полной платформе.

Лекпом подошел к русому. Тот сел на влажную мягкую землю. Пока лекпом перевязывал ему рану, русый, не обращая внимания на боль, кричал в хмурившееся все больше и больше лицо Пархоменко:

— В Житомире капиталисты все собрались! Из Америки, Германии, Франции, Англии, не считая Польшу!.. Товарищ комдив! Прошу пустить меня в передних рядах на тех международных грабителей!..

Пархоменко сказал Ламычеву:

— Его направить в восемьдесят первый полк. И выдать коня. Остальных — по другим частям. Кто не в состоянии обнажить шашку, пусть выступает на митинге. За все мучения пролетариата плохо скоро будет пану!

Пархоменко поехал дальше. Фома Бондарь задержался. Он подозвал журналиста из газеты и, указывая на беженцев, сказал:

— Митинг митингом, но пригласите их в «Красный кавалерист»: пусть расскажут бойцам, что испытывают пленные красноармейцы, которые с голода едят траву на грязном дворе житомирской тюрьмы! Пусть опишет газета, как прикалывает штыками защитников нашей родины ротмистр Барнацкий! Пусть опишут, как устраивают заговоры и как мучают наших людей съехавшиеся отовсюду контрразведчики, шпионы и жандармы, вся эта сволочь, ополчившаяся против нас в третьем походе Антанты!..

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Целые реки грязи, переливаясь через шоссе, заполняли и выравнивали придорожные канавы. Деревья, под непрерывным ливнем, хлестали ветвями по этим потокам, и казалось, что никогда теперь не выпрямятся эти ветви! Жутко было глядеть на бесконечные то холодные, то теплые ливни...

«Глядеть? А каково-то стоять под ними ночью да перед рассветом, когда подует ветер?.. У-у...» — думал Пархоменко, проезжая через какой-то брошенный населением городок. По городку шел обоз со снарядами и пулеметами, а перегоняя его, спешил на передовую 81-й полк. В передних рядах полка, подтянутый и веселый, ехал вчерашний беженец. И, глядя на него, Пархоменко подумал с удовольствием: «Этот и до эскадронного выслужится. А пожалуй, и дальше».

На площади маршировали спешенные бойцы. Пархоменко остановил коня и, глядя на них, задумался. «Грязь, а как отлично идут! Ага, атаку в пешем строю показывают? Хорошо, ребятки, хорошо!.. Ведь плоскости лесостепи позволяют здесь широко маневрировать коннице, возможен и спешенный бой. Эту возможность диктуют хорошо укрепленные панские окопы, прикрытые сильными проволочными заграждениями. Вот по-

чему нужно уметь атаковывать врага комбинированно: и в конном и в пешем строю. Молодцы, ребята!»

Увидав начдива, обучающий дал команду, и бойцы подтянулись. Они пошли через площадь, прямо на Пархоменко, парадно растягивая шаг. Одетые с той щегольской бедностью, которой отличались те времена, они маршировали превосходно, выпячивая грудь и хмуря бурые, выцветшие в походе брови.

— Молодцы! Неплохо идете,— сказал Пархоменко.— Вижу, и биться будете хорошо. Бой близок, товарищи.

* * *

И бой наступил.

Двум кавдивизиям, 14-й Пархоменко и 4-й Городовикова, ведущим авангардные стычки на правом фланге Конармии, было приказано прорвать фронт белополяков северо-восточнее Ново-Хвастова и, уничтожая живую силу противника, выйти на линию Марьяновка — Молчановка, с тем чтобы двигаться дальше на местечко Сквира, сильно укрепленное панами. В этой задаче первый удар должен был быть направлен на долину речки Березанки, очень разлившейся от дождей.

4-я и 14-я стояли рядом, но видеть друг друга не видели. Их разделяли развалины села и кладбище с приземистыми соснами.

Перед дивизией Городовикова лежал луг, за лугом виднелась сгоревшая роща и в ней остатки барского дома с пятью уцелевшими колоннами и ярко блестевшим прудом, по которому плавал небольшой плот. За рощей начиналась широкая и ровная долина реки Березанки. Трава в долине, скошенная местами, была сметана в копны.

Разведчики сообщили Городовикову, что по этой долине, направляясь к местоположению дивизии Пархоменко, двигается бесчисленная польская пехота. Ночь была туманная, и солнце вышло, как в промерзшем фонаре. Городовиков спросил:

— А не от тумана пехота показалась бесчисленной?

— Туман и позволил нам подползти близко, товарищ начдив. Девять полков разворачиваются по всем правилам сомкнутого строя.

— Ого!

И, чтобы задержать вражескую пехоту, начдив-4 направил против нее две свои бригады, оставив при себе только одну. Одновременно с этим Городовиков послал к Пархоменко связистов, чтобы сообщить о создавшемся положении.

Едва лишь скрылись связисты и две бригады, обогнув пруд слева, начали спускаться в долину реки Березанки, как к Городовикову приблизился раненый всадник.

— Дивизия генерала Корницкого смяла наши заставы и близится сюда!

— Где она идет?

— Справа от пруда, товарищ начдив,— ответил всадник, падая с коня.

По-видимому, бригады, обходившие пруд слева, не заметили панских кавалеристов. Это плохо. Корницкий может ударить им с тыла как раз в тот момент, когда бригады должны встретить белопольскую пехоту. И Городовиков приказал оставшейся при нем бригаде приготовиться к атаке. Белополяки остановились возле пруда, видимо намереваясь встретить эту атаку. Послышалась команда... Но тут начдив-4 с изумлением узнал, что дивизия Корницкого неожиданно всей своей массой повернула на запад, в тыл его двум бригадам. Сердце у Городовикова похолодело. «Соображают паны. Сейчас Корницкий так по моим конникам ударит, что конец дивизии... А моих сомнут — и Пархоменко несдобровать».

Бригада стояла недвижно, словно прислушиваясь к мыслям своего командира. И, однако, Городовиков слышал приближающийся топот огромной конной массы. Он с трепетом оглянулся назад.

Высокий вороной конь, рассекая лужи и топча склоняющуюся рожь, скакал впереди дивизии.

— Пархоменко?

— Ока, друг! Какое тут беспокойство?

— А такое беспокойство, что ты снялся, вижу, целой дивизией, а на тебя там девять полков пехоты идут. Прорыв образуют!

— Прорыв образуем мы у них, а не они у нас.

И громадный плечистый всадник, стянутый желтыми ремнями, размахивая кривой саблей, захохотал.

— Они идут на восток, а мы им ударим в тыл, с запада. Огибай, Ока, пруд слева, а я обогну его справа. До свиданья!

Пархоменко рысью повел свою 14-ю вокруг пруда в долину.

Начало накрапывать. Туч много, и темные они: сулят ливень.

— Что ж, значит, с атакой надо торопиться,— сказал он, разглядывая пруд, на котором по-прежнему качался легкий плотик, сколоченный из плах. «Ребятишки, наверное, плавали... где-то они... все сожжено...» — Быстрей, быстрей, товарищи!

За прудом, по холмикам, раскинулся большой вишневый сад, спускавшийся в долину. С холмиков дивизия увидала все огромное пространство долины. В глубине долины, по-прежнему двигаясь на восток, шла белопольская пехота. Арьергарды ее, прикрываясь бронемашинами, вели перестрелку с приближающимися бригадами Городовикова. К этим бригадам, по всей видимости настроенным очень нервно, скакала дивизия Корницкого.

— Картина! — сказал Пархоменко, разглядывая в бинокль движение конницы. — Сначала мы им намереваемся ударить в тыл, а затем они нам...

Подскочил комбриг-3 Моисеев, белоусый, с большими золотистыми глазами шахтер. Пархоменко очень ценил его и всегда прислушивался к его мнению. И теперь он повернул к нему взволнованное лицо:

— В чем дело, товарищ Моисеев?

— Товарищ начдив! Вверенной мне третьей бригаде прикажете начать атаку?

— Хм. А чего я жду, как ты думаешь?

— Меня,— улыбаясь веселой и несколько балованной улыбкой, ответил красавец шахтер.

— Нет, не тебя,— хмуро сказал Пархоменко. — Я жду, когда наши броневики пройдут краем сада и встанут во фланге кавалерии Корницкого. Вернись и стой на своем чистеньком месте, Моисеев.

— Разрешите доложить,— продолжал нетерпеливый комбриг, вздрагивая от жажды боя и обшлагом рукава вытирая сухие губы,— что Городовиков опередит нас и ударит своей бригадой на Корницкого. Городовикову надо выручать свои зарвавшиеся бригады!

— А ты вглядись. Паны увидали нас с тобой.

И действительно, кавалерия Корницкого, двигавшаяся было за бригадами Городовикова, внезапно остановилась, перестроилась и повернула к западу, навстречу Пархоменко. Корницкий, по-видимому, не желал,

во-первых, чтобы его били в тыл, а, во-вторых, узнав, что на него идет Пархоменко, желал атакой своей задержать его дивизию, с тем чтобы девять полков белопольской пехоты могли свершить прорыв, заняв позиции, оставленные конниками Пархоменко. Пархоменко, как ему казалось, понял соображения Корницкого; также понял их и побледневший комбриг Моисеев.

— Картина,— сказал сквозь зубы Пархоменко. — На вторую бригаду хотят обрушить удар?

— На вторую,— сказал, отъезжая, Моисеев.

— Не нравится мне, как стоит вторая. Моя бригада, а не нравится.

Белопольские кавалеристы стремительно мчались прямо на 2-ю. Видно было, что белополяки имеют великолепный конский состав, хорошо вооружены и снабжены пиками.

Вторая стояла недвижно, полувытянув шашки. Напряжение невольно заставляло кавалеристов приподниматься на стременах.

— Чересчур что-то они вытянулись к панам,— сказал Пархоменко, передавая бинокль Фоме Бондарю.— Ну, не нравится мне это! Что они вытянулись, как невеста на свадьбе? А, Бондарь?

— Согласен,— ответил Бондарь. — Прикажете мне поехать к ним?

— Обожди.

Белопольские всадники, хотя мчались на русских отчаянным галопом, чувствовали себя, однако, не совсем хорошо. Крупные и мелкие шляхтичи, торговцы и сыновья торговцев, шинкари, рестораншики, владельцы и пайщики заводских и фабричных предприятий, домовладельцы и хозяева сапожных, слесарных, часовых и других мастерских, просто бездельники, шатавшиеся по краковским и варшавским улицам, украшенные золотыми и серебряными галунами, обвешанные медалями, которые они получили невесть за что, но только не за военные подвиги,— спали эту ночь плохо. Они верили и не верили в слабость советской конницы. Верили потому, что им хотелось и нужно было верить, а не верили потому, что те, кто прививал им эту веру, сами не внушали никакого доверия. И в эти минуты полного неверия им чудилось, что, прежде чем они двинут своего коня с места, их отрубленные казацкой саблей головы упадут, глухо стукнув о мокрую землю! Холодный пот

выступил на шее. Они требовали водки. Им ее выдавали. И сейчас, скача на всадников Конной, белополяки были сильно пьяны.

И они атаковали 2-ю бригаду стремительно, с дикими криками, пьяными голосами, внушая ужас и себе и другим.

— Э-эх, орут! Никогда такого рева не слышал. Ну, дрогнут мои хлопцы, честное слово, дрогнут,— сказал Пархоменко. — Пожалуй, верно, попридержать их надо, Фома. Пойдем-ка ко второй!

Тем временем 2-я бригада, опешив, опустила клинки...

И повернула было коней...

— Моисеев, чего смотришь? Броневики подошли. В атаку пора. Третья, вперед — и смелее! — подскакивая к 3-й, крикнул Пархоменко.

Третья выхватила шашки и рванула с места. И тотчас же все вокруг загремело, загрохотало, завопило. Пархоменко не то чтобы услышал это движение бригады,— он почувствовал его всем телом. На галопе, вытянув голову вперед, глядя на панов зоркими и острыми глазами, видя и разбираясь здраво во всем свершавшемся, он вместе с тем ощущал какой-то необыкновенный подъем, какое-то странное и прозрачное чувство, будто и он и все его окружающие бойцы глядели куда-то далеко в будущее.

— За Ленина! За партию! За землю! За советский народ! — кричал он. — Вперед!

— Ура-а-а!..— нескончаемо охватывая его с боков, сверху, гремело и звенело вокруг.— За Ленина, ура-а!..

И сквозь крики, топот, звон он слышал молодой и задорный голос комбрига Моисеева:

— Товарищ Пархоменко! Почему вы впереди комбрига скачете?!

— После боя ори! — смеясь во весь рот, отвечал Пархоменко. — После боя считайся, кто был впереди, Моисеев.

На всем скаку оборачиваясь назад, крикнул:

— Смотри! Ты пример показал. Вторая-то... не побежала... стоит...

— Постоит и пойдет вперед.

Высоко подняв саблю, Пархоменко закричал мощным голосом, который сразу заглушил панскую

команду, раздававшуюся на французском, польском и английском языках:

— Покажем пример, товарищи! Рубить панов до гроба!..

И тут-то панские кавалеристы разглядели то, что они боялись разглядеть. Они рассчитывали увидеть задыхающихся от слабости, изнуренных лошадей и еще более изнуренных, оборванных и бородатых «мужиков», бессмысленно размахивающих дубинами и казачьими пиками. Однако все оказалось по-другому. Не было ни пик, ни дубин, а было перед ними — стройное войско, великолепное, сгруппированное, воодушевленное, мчащееся — неуклонно и неустрашимо — по тому направлению, которое им указывали их командиры. Этот стройный порядок навел на врага ужас. Приказчики, купцы, коммивояжеры, помещики, кулаки, приехавшие из своих имений, магазинов, хуторов Польши, Франции или Америки, долго обучавшиеся военным эволюциям у английских, американских и французских инструкторов,— замерли,— и «виват» застыло у них на губах.

— Ура-а-а!

— Ура-а-а!..

— Слышишь! — крикнул Пархоменко Моисееву. — Это уже вторая за нами двинулась.

Вторая бригада действительно остановилась, пришла в себя.

И вот она повернула коней.

И вот — двинулась на панов!

— Я ж сказал, наши ребята не любят отступать! — проговорил сам себе Пархоменко, ударяя на всем скаку саблей по голове нарядного и громко кричащего команду польского офицера. — Я второй верю! Она добьется своего.

— Совсем плохо отступает вторая! — сказал он, рубя наискось другого офицера, который устремил было на него свой длинный и тонкий палаш. — А куда второй отступать? — крикнул он, проткнув грудь и топча конем третьего офицера, наскочившего на него. — Куда нам отступать, товарищи? К буржуазной власти? Не видали мы такой дряни?

— Впе-е-ред, за-а Ленина-а!.. — неслось отовсюду.

Он привстал на стременах и оглядел поле боя.

Польская пехота, увидав, что кавалеристы генерала Корницкого бегут, повернула обратно и кинулась за

реку Березанку. Пехоту преследовали конники Городовикова. Дивизия Пархоменко, добив остатки кавалерии Корницкого, присоединилась к Городовикову. К вечеру вся линия реки от деревни Березна до деревни Токаревка была в руках 14-й и 4-й дивизий. Однако разгромленные остатки наступавших белопольских войск спасли себя, уйдя за бетонированные, обтянутые колючей проволокой укрепления, перед которыми дивизии остановились. Враг не бросил укреплений, а прочно сидел за ними.

И тогда Пархоменко выстроил 2-ю бригаду.

Бойцы стояли на лугу, между кочек. Высокая болотная трава доходила им почти до плеч.

Пархоменко, сдвинув фуражку на затылок и обнажив влажный лоб, густым, нисколько не уставшим голосом громко сказал:

— Что же это, товарищи из второй бригады? Что, у вас штаны такие хорошие, что понадобилось их сзаду показывать панам? Или домой торопитесь? Думаете, поцелуи вас ждут? Дворовый пес, и тот вас не поцелует, не говоря уже о ваших детях.

Молоденький, даже и теперь, после перенесенных тревог, румяный нежный парень плакал. Слезы струились у него по щекам, попадая в рот, который этот простой и наивный деревенский парень, видимо, не мог закрыть от стыда и горя.

Пархоменко повел взглядом по рядам. У многих он увидал такие же, как у этого парня, страдающие и огорченные лица.

Пархоменко продолжал:

— Это — верно. Надо стыдиться трусости. Думать, что дело революции, которое мы с вами выполняем, сделает за нас кто-то другой, посмелее, — глупо. Глупо и постыдно! Партия и правительство послали нас спасать родину. Народ нас послал! Так что ж, думаете, народ нам простит трусость? Забудутся голод, холод, нужда, болезни, а вот трусость наша никогда не забудется, потому что только благодаря ей могут овладеть нами паны и буржуи! И вот почему я понимаю ваши слезы...

Конники переглянулись. Пархоменко продолжал:

— Горько и мне до слез, и не столько оттого, что вы струсили... трусость ваша была временная, и вы в битве избавились от нее... горько оттого, что мы не выполнили приказа...

Он помолчал, как бы вслушиваясь в то, проникают ли в сердца конников его слова, а затем продолжал:

— ...приказа партии не выполнили!

Слова звучали грозно и громко, во всю ширь поля. Бригада, не шелохнувшись, слушала.

Солнце стояло уже высоко. Своими прямыми лучами оно освещало трупы людей и коней, в различных позах лежавших среди кустарников и кочек. Среди трупов ходили санитары и врачи в окровавленных халатах. Время от времени они останавливались и прислушивались к словам Пархоменко:

— С кем мы бьемся, конноармейцы? С польскими рабочими и крестьянами? Не с ними! Трудовому польскому народу не нужна наша Правобережная Украина и наша Белоруссия. Буржуазии она нужна! Зачем? Зачем нужна буржуазии наша красивая Украина, хорошая Белоруссия, дорогая наша Россия? А чтоб украсить их. Чем? Виселицами, конноармейцы! Виселицами, на которых будут висеть ваши братья, сестры, отцы, дети, все, кто борется с международным капитализмом за мир и за мирный труд! Смотрите туда, на эти бетонные укрепления, бойцы! Видите, мелькают там столбы и колышутся веревки? Это — виселицы...

Он наклонился, вытянув корпус вперед. Конь его нетерпеливо перебирал тонкими и мускулистыми ногами. Глядя в бледное, разгневанное лицо красноармейца, который недавно плакал, Пархоменко крикнул:

— И когда ты рубишь, боец, голову пану, ты рубишь всеобщую виселицу! Выполняя приказ о разгроме панов, мы выполняем мировую задачу. Поэтому все приказы высшего командования мы должны выполнять беспрекословно и полностью. А мы их выполняем частично. Да, мы разгромили дивизию пана Корницкого, но народ, партия приказали нам свершить прорыв и именно нашей дивизии открыть этот прорыв. Мы не свершили этого прорыва!

Вороной конь встал на дыбы. Пархоменко крикнул так сильно, что, казалось, и белопольские войска за полем, в своих блиндированных и бетонированных укреплениях, услышали его:

— Но не плакать нужно, а — биться! Завтра каждому биться в десять раз лучше, чем сегодня! Помните это, как я это помню.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Пархоменко положил на седло голову и, вытянув тело на бурке, лежал у самого окна. За редкими смятыми кустами сирени горел костер, разложенный не столько для тепла, сколько для веселья. Коновод-татарин прохаживал вороного коня начдива. Время от времени лоснящиеся бока коня попадали на свет костра, и тогда видно было узкое лицо коновода и его неизменную улыбку, открывающую, казалось, множество блестящих белых зубов.

— ...А вот у нас тоже было: на реке Маныч, хутор Весенний, — слышалось от костра, — шестая дивизия гонит белых, а мы думаем — это деникинцы наступают...

— И бежать?

— Мы? Угадал. Бежать! Верст десять так бежали, а вечером Буденный созывает нас и берет в оборот: «Вы, сукины дети, если не хотите защищать советскую власть и пролетарскую диктатуру, хоть бы шкурой своей дорожили. Сорвемся здесь, не разобьем Деникина, будем катиться аж до самой Москвы, прямо по шоссе, по камням, по ухабам, да не на коне, а на своей спине!»

— Ну, а вы? — спросил тот же тоненький голосок, спрашивавший ординарца раньше.

— Мы? Сознание тогда не было такое полное, как сейчас. Но все ж нам совестно. Начали драться. Теперь народ сознательней...

— Какое сравненье! — послышался голос Ламычева. Он шумно спрыгнул с коня, взял уголек, закурил. — Никакого сравненья! Прорыва не сделали, но и не отступили. Раз. А второе — каких коней нам, братцы, из резерва привели! Народ нажертвовал. С такими конями пинка пану дадим... А что, начдив здесь?

— Спит, кажись.

— Чего ж вы орете, черти, во все горло? — сказал Ламычев, на цыпочках направляясь в избу.

Он вошел, стараясь без скрипа закрыть за собой дверь, поискал по старой привычке икону, перекрестился в пустой угол и тогда только посмотрел на Пархоменко. Тот лежал, закрыв глаза, в пальцах у него торчала погасшая папироска. На краю стола, возле разорванной пополам пачки светлой пахучей махорки и клочков газетной бумаги, сидел Колоколов, положив

на колени трехверстку. Приближая к ней свечу, он наносил на карту какие-то отметки, иногда заглядывая в свою записную книжку.

Так как в комнате, кроме скамьи, на которой дремал Пархоменко, никаких сидений не было, Ламычев сел на стол, рядом с Колоколовым, и хриплым шепотом спросил начштаба:

— Давно спит?

— Через полчаса вставать. У командарма спешное совещание...

— А, раз совещание, надо подкрепиться. Александр Яковлевич! — сказал Ламычев так громко, что начштаба схватил его за руку. — Вставай-ка, дело есть.

Пархоменко раскрыл глаза.

— Да я и не сплю. Про семейных своих думал. Писем давно от них нету.

— Письмо есть, — сказал Ламычев, кладя измятый коричневый конверт на бурку, — читай. И вторая редкость тоже имеется.

Он достал из кармана шаровар полбутылки водки, стакан, завернутый в цветной платок сомнительной чистоты, и кусок темной колбасы. Налив стакан до краев и с сожалением поглядев на жалкие остатки в бутылке, он протянул стакан Пархоменко.

Пархоменко, читая письмо, не глядя взял стакан, пальцем, тоже не глядя, отметил на нем треть, выпил и вернул Ламычеву. Тот указал на стакан Колоколову. Колоколов тоже отмерил пальцем треть и выпил с мучительным выражением лица. Ламычев допил остальное. Так как колбасу никто не рискнул есть, он положил ее в мокрый стакан, завернул все в платок и сунул провизию свою опять в карман.

— Что пишут?

— Благополучно, — сказал Пархоменко. — Теперь я сосну.

Он лег навзничь, плотно закрыл рот и сразу захрапел. Колоколов взглянул на часы и сделал в записной книжке отметку: ему приказано было разбудить начдива через двадцать пять минут. Ламычев, бросив шинель на пол, тоже прилег отдохнуть. Свеча, потрескивая и распространяя запах плохого сала, горела тускло. Но ее неяркий свет нисколько не мешал работе Колоколова, наоборот, помогал: хотелось сделать больше, лучше, быстрей. Пархоменко прав, твердя постоянно, что в эти

великие дни надо и работать и сражаться с великим напором.

Совещание начдивов, комиссаров, начальников штабов и крупнейших политработников было созвано поздно ночью, почти на рассвете.

К белой хате, окруженной садом, в котором дышали кони и догорали костры, медленно съезжались усталые всадники. При виде белой хаты командарма усталость проходила, сменяясь каким-то едким и горьким чувством. Пархоменко, как и Фома Бондарь, как и Колоколов, весь наполнился этим чувством беспокойства.

В просторной, освещенной тремя большими лампами «молния» хате было тихо. Тимошенко не спеша чертил, едва касаясь углем, по белой, видимо сегодня побеленной печи; он показывал, как шла его дивизия. Ворошилов сидел в углу, у двери, ведущей в соседнюю горницу. Лицо у него было взволнованное и сердитое. Буденный раскрыл окно, морщась, посмотрел, не остался ли кто на дворе. Пропел срывающимся голосом петух, и из тьмы послышалось хлопанье крыльев. Буденный спросил:

— Все собрались? Начнем?

— Начнем, — сказал Ворошилов и встал.

Он прошелся по хате, заложив пальцы за широкий и толстый ременный пояс.

— Нужно говорить, товарищи комдивы, комбриги и политработники, почему вы не выполнили приказа. Посмотрите на карту, — что вам приказано и что вы сделали?

Комдивы и комбриги, избегая взглядов Ворошилова и Буденного, толпились у печи, не подходя к столу, покрытому белой скатертью с алыми вышивками по краям. Лампа, поставленная на крынку, освещала стол и карту, конец которой свисал до полу.

Ворошилов, подойдя к столу, приподнял край карты. Буденный сидел на табурете, положив саблю на колени, слегка покачивая ее и внимательно разглядывая командиров. За спиной его видно было лицо Городовикова с узкими пронзительными глазами и, на фоне белой стены, с неимоверно, казалось, черными усами.

Ворошилов, огласив порядок дня, сказал:

— Докладывают об обстоятельствах невыполнения приказа комдивы и военные комиссары. Просил бы говорить короче. Короче — всегда толковей.

Начдивы заговорили о потерях дивизий, о стойкости белопольской пехоты, о том, что панская пехота употребляет много ручных бомб, что у панов большие и мощные бронемашины, а окопы сильно укреплены.

— А что, перед наступлением это не было известно? — спросил Ворошилов. — Все и всем было известно. Продолжайте и объясняйте, почему вы не выполнили приказа.

Командиры молчали.

Ворошилов продолжал:

— Мы обещали нашей конницей смять ряды белополяков — и обещания своего не выполнили. Наиболее удачно бились сегодня четырнадцатая и четвертая. Операции белопольской конницы и пехоты ими были парализованы, и беда, угрожавшая флангам и тылу Конармии в результате возможного прорыва врага, была ликвидирована. Мы много выиграли...

— Отчасти благодаря случайности, — доложил Буденный. — Генерал Корницкий во время боя получил приказ идти в другую сторону. Он начал поворачивать, а тут неожиданно ударил на него Пархоменко всей дивизией. Корницкий хотел исправить положение, атаковал Пархоменко, но было поздно. Преувеличивать успехи Пархоменко не будем. Дрались хорошо, но надо драться еще лучше. Что вы скажете, товарищ Пархоменко?

— Я скажу, что прав товарищ Буденный и прав товарищ Ворошилов. Мой успех не развернут. Скажу больше того: стойкость некоторых частей падала. Приходилось ее поднимать. Говорить об этом нелегко... Не буду ссылаться на непрестанные дожди и грязь, мешающие атакам...

— И не нужно ссылаться, — сказал Буденный. — Разумеется, есть разница борьбы и на деникинском и на белопольском фронте! Война степная и война окопная, так как пан опирается на окоп, а мы плохо изучили, как нам брать эти окопы, — не одно и то же. Белополяки хорошо вооружены, потому что их вооружал весь капитализм. Весь! Об этом надо сильно подумать. Мне кажется, что сегодняшний отпор со стороны панов объясняется излишней горячностью наших бойцов и командиров, а также отсутствием большой и крепкой организованности. Гарцевать гарцевали. Кидаться в разные стороны кидались. А сделать самое главное — нащупать

слабое место противника — не смогли. И, надо сознаться, мы до сих пор не знаем этого слабого места. Плохо, что не знаем! Можем из-за этого потерять свои преимущества: внезапность и быстроту разворота конницы.

Он ударил крепкой ладонью по карте и проговорил:

— Реввоенсовет категорически требует выполнения приказа о прорыве!

Ворошилов заговорил короткими фразами, недовольно поглядывая на комдивов:

— Отпор показался вам неожиданным? Еще бы! Слишком вы, товарищи, самоуверенны. Противника вы и не считаете за серьезную силу. Это — плохо, безобразно плохо! Обращать на противника серьезное внимание — значит обращать на себя серьезное внимание, значит работать над собой! Ну, что вы еще скажете?

Разгорелся спор о частностях — как наступать.

Тимошенко настаивал, что комсостав должен усиленно учить кавалерию действиям в пешем строю.

Возражали Пархоменко и Городовиков. Комбинированный, пеший и конный, строй — очень хорошо, и мы его будем применять. Но это вовсе не значит, что мы должны спе́шить всю нашу конницу.

— Кто говорит о спешивании всей Конармии? Тогда надо ей и имя переменить! — вспылил Тимошенко.

Заговорили по двое, по трое сразу. Но по всему было видно, что договаривались уже мысли второстепенные, что требование командования о большей спаянности частей не только понятно, но и будет выполнено.

Ворошилов, поняв это настроение, улыбнувшись почти незаметно, взглянул на Буденного.

Буденный перехватил эту улыбку, и лицо его повеселело, хотя он и всячески старался скрыть это.

Быть может, одному Пархоменко, хорошо знавшему Ворошилова, стало целиком понятно изменившееся настроение Климента Ефремовича. Пархоменко еще раз взглянул на него. «Выйдет дело!» — подумал он. И, весь внутренне дрожа от восхищения пред событиями, которые развернутся через некоторое время и которым суждено будет сильно повлиять на исход войны с белополяками, начал внимательно слушать Буденного. И, слушая Буденного, он твердил про себя со все нарастающей и нарастающей силой: «Выйдет, выйдет дело!»

— Ясно, что белопольская армия дисциплинирована. И дисциплинирована неплохо. Есть кому ее дисциплинировать! От всех слышим, что со всего света дисциплинировщики съехались, — говорил тихим и внушительным голосом Буденный. — Ясно, что офицеры имеют у них опыт империалистической войны, что есть у них и бомбометы, и минометы, и траншейные орудия, и телефонная связь доходит у них вплоть до застав. Ясно, что у них есть все, чего у нас нет! Кроме техники, дерутся паны планомерно, постепенно закрепляя окопами и проволокой то, что отнимут у нас. С фланга их нашей конницей и не возьмешь: они короткие наши обходы способны выдержать. Трудно?

Он взглянул на Ворошилова и добавил:

— Трудно, конечно! Но это не значит, что трудность неодолимая. Мы — большевики, коммунисты, мы ведем народ, народ нам верит, как же мы можем признавать неодолимые трудности? Мы их не признаем и никогда не признаем!

Одобрительный и радостный гул пронесся по комнате.

— Революция приказала нам вселить в пана панику. Что это значит? Это значит, что пан должен подняться из окопов и должен бежать!

Буденный прошелся по хате, крепко стуча каблуками.

— Безобразие, если панская пехота, видя нашу приближающуюся конницу, лежит себе да постреливает. Не боится?

Он остановился перед Пархоменко:

— Должна бояться! У-ух, еще как будет бояться!.. Вот как поведем крепкую перестрелку перед фронтом и по флангам, чтоб пан кучками не собирался, а растянулся по всему фронту в ниточку, да ка-ак дернем в одном месте за эту ниточку, да ка-ак порвем ее...

— Худо будет пану! — сказал, широко улыбаясь, Пархоменко.

— Худо! Потому что тут ты, Пархоменко, выскакиваешь в тыл, а паника в тылу распространяется много раз быстрее, чем по фронту. Хорошо? Хорошо!..

Он сжал кулаки и вздохнул, набрав в грудь много воздуха, точно готовясь к длинной погоне.

Поднялся Ворошилов.

— Не будем отказываться и от спешенного строя, но не будем отказываться, товарищи, и от преимуществ действия кавалерии. На данном этапе войны, которую нас вынуждают вести, преимущества Конармии доказаны, слава ее велика, и не польским панам ее опровергать!

Затем он стал развивать мысли о спешивании, о значении огневого боя, о тачанках, о конной артиллерии, о строгом учете и запасе оружия и, заканчивая речь, перед тем как отпустить командиров, сказал:

— Наша боевая опытность и обязанность перед партией большевиков заставляют нас усиленно внушать бойцам, что противника, нами встреченного, надо бить не массой, не ордой, а организацией. Шапками тут никого не закидаешь! Храбрость Конармии, наводившая ужас на деникинскую пехоту и конницу, будет в десять раз действеннее на белополяков, если эта храбрость спаяется организацией. При хорошей организации каждый боец, даже в отдельности действующий, будет понимать, что выгоднее бить противника с той стороны, где тот слабее. Внушайте: бой заключается не в том, чтобы, увидев врага, броситься в атаку, а в том, чтобы перед боем заставить противника показать нам свою наиболее слабо защищенную часть фронта. И тогда — прорвать, бить, гнать вволю! Вот как учит нас партия побеждать! И вот чему мы должны учить наших товарищей!

Помолчав, он проговорил медленно и веско:

— Партия и народ верят, что приказ о прорыве будет выполнен, несмотря на самое яростное сопротивление противника.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Эти дни своей жизни Пархоменко считал самыми тяжелыми, но вместе с тем и самыми прекрасными.

Хотя дожди продолжались с прежним упорством, но при ссылках на трудности командиры уже на дожди не ссылались. Более того, говорили о дождях как о благоприятном факторе, который позволяет обозам со снарядами подходить к фронту беспрепятственно, потому что противник из-за дождя не имеет возможности производить воздушную разведку.

По вязким, осклизлым дорогам непрерывно шли обозы со снарядами, консервами, фуражом. Шли пополнения. Гнали табуны коней. Если в обозах лопалась сбруя, ломались ободья и оси, красноармейцы на себе вытаскивали телеги из грязи.

И тот, кто голодный и больной работал у станка в полупустых московских заводах; и тот, кто истощенный и усталый вел поезда со снарядами на фронт; и тот, кто на себе, сменив замученных коней, подтаскивал снаряды и орудия к линии огня; и тот, кто стрелял этими снарядами, готовя прорыв; и тот, кто ночей не спал, видя перед собой окопы врага и ожидая момента, когда командир скажет: «Вперед, товарищи!» — все и час от часу все больше и больше чувствовали и понимали, что не свершить прорыва нельзя, не погнать пана невозможно, а значит, совсем уже немыслимо допустить успех третьего похода Антанты!.. И каждый норовил сказать другому и повторить самому себе: «Велика вражья хмара, да и велик ветер в нашей стране. Отгоним».

Ударная группа из трех лучших дивизий Конармии сосредоточивалась на узком фронте в десять километров между тенистым, утопающим в садах местечком Самгородок и небольшой деревней Снежная. Местечко Самгородок расположено в пятидесяти километрах от Бердичева, при слиянии речек Десны и Десненки. От сильных и непрерывных дождей эти речки взбухли, овраги вдоль берегов их наполнились мутной водой, в кустарниках было сыро и тоскливо.

Сюда, на предназначенные им позиции в лесах, оврагах и кустарниках, тянулись дивизии.

Впереди всей группы войск приказано было стать 14-й.

14-я, полная гордости и тревоги, шла к своему боевому месту. Она гордилась, что ее ставят впереди всей Конармии. И она тревожилась, сумеет ли полностью и беззаветно оправдать это доверие командования, партии, народа?

В 14-й, равно как и в других дивизиях, во все свободное время, которое оставалось от переходов, происходили непрерывные учения, митинги, собеседования, чтения газет «Правда» и «Красный кавалерист». На еду и сон оставались в сутки едва четыре или пять часов.

Командиры же и комиссары почти совсем не спали. Они почти потеряли голос от непрестанных речей, но им все казалось, что они еще недостаточно глубоко объяснили бойцам решение совещания при Реввоенсовете Конармии.

Чувство страстной решимости и острое желание найти слабое место у противника, стремление во что бы то ни стало свершить прорыв, которые охватили собрание командиров и политработников в Реввоенсовете после речи Ворошилова и Буденного, целиком перекинулись в армию, во все ее подразделения, охватили каждого бойца.

Дожди мешали белополякам разглядеть передвижение дивизий к Самгородку. Была надежда, что появление из-за дождевой завесы красной конницы явится для панов полной неожиданностью. Это появление будет тем более неожиданным и ужасным для врага, что белополяки были уверены — сопротивление и отпор, оказанные ими несколько дней назад, поставили Конармию под угрозу разгрома. Основываясь на этом ошибочном мнении, подтвержденном к тому же шпионами контрразведки, которые бежали из расположения юго-западного фронта, боясь быть пойманными после ряда защитных мероприятий, проведенных командованием фронта и Конармии, высшие чины белопольских войск твердо решили 6 июня, на рассвете, подвезя пехотные и кавалерийские резервы, нанести сокрушительное поражение советской коннице.

За два дня до перехода в наступление белопольских войск, а именно 4 июня, Реввоенсовет Конармии издал подробный приказ, который подводил итоги минувшего совещания. В нем рассказывалось, какова организация и тактика белополяков, каковы приемы борьбы с этой тактикой и что нужно сделать, чтобы улучшить и укрепить силу наших войск.

Сразу же после этого приказа был получен новый:

«Так как ненастная погода и расползшиеся дороги вселяют в белополяков уверенность, что Конармия не двинется с места и не может перейти в наступление, приказывается: на рассвете 5 июня идти вперед на прорыв белопольского фронта».

Ночью, немедленно по получении этого приказа, все двадцать ординарцев Пархоменко поскакали в бригады

и полки, к начальнику автоброневого отряда, к командиру артиллерийского дивизиона с приказом комдива о том, что 14-я 5 июня, в 7 часов утра, выйдет боевым авангардом всей Конармии.

Дабы сохранить тайну и внезапность движения, приказ начдива, в противоположность приказу Реввоенсовета, ничего не сообщал о главной цели наступления — о прорыве. Как и в предыдущих приказах, и в этом говорилось о предполагаемом положении противника и о том, где стоят соседи: дивизия Котовского стоит справа, дивизия Городовикова — слева. Как и прежде, говорилось подробно, по каким дорогам и куда идти, где выставить сторожевое охранение, и только по тому требованию, которое предъявлялось к разведке, а именно, — не только узнавать силы противника, но и уничтожать всю его техническую часть, делать нападения, создавать панику, взрывать огнеприпасы, — опытные командиры и бойцы поняли, что предстоит опасное и большое дело. Эта опасность и важность дела, в котором могут быть осуществлены возможности, предоставляемые кавалерией, то есть внезапность и быстрота разворота, энергично подчеркивались в конце приказа:

«Пусть каждый командир и каждый боец проникнется сознанием, что малейшее упущение или несвоевременное выполнение возложенных на них задач грозит осложнениями не только для дивизии, но и для всей армии пролетариата!»

Ночью Пархоменко ложился на бурку, вставал, смотрел на часы, опять ложился, тушил и зажигал свечу, а под конец плюнул и сказал Ламычеву:

— Вели разогреть самовар. Да чаю покрепче!

— Чай, Александр Яковлевич, морковный. Настоящий чай еще при Деникине кончили. А морковный, что крепче, что слабже — одна гадость. Скажи, Александр Яковлевич, а вот когда гражданские войны кончатся, свой чай вырастить мы сумеем?

Пархоменко, свесив обутые ноги с высокой скамьи, молча глядел в пол. На полу валялась мелкая подсолнечная шелуха, и Ламычев подумал: «Поганые у него ординарцы, что бы подмести». Отбросив сапогом шелуху под стол, Ламычев повторил свой вопрос. Пархоменко сказал:

— Отстань! Что чай? Патроны меня беспокоят, а не чай! Невозможно много мне надо патронов на сегодня. А-ах, кабы было у нас патронов и снарядов безотказно, мы бы не только пана, мы бы всех международных буржуев распотрошили!

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Буденный, вспрыгнув на коня, посмотрел пристально вперед. Рассвет вставал в дымке и тучах, но алые лучи уже пробивались всюду, освещая и лес, и поле, и далекие холмы влево.

— Будет ясное небо!

— Отлетит панская гордость, — подтвердил Ворошилов, машинально пробуя, перед тем как вспрыгнуть на коня, крепко ли подтянута подпруга. — Кто возле командных высот стоит?

— Артиллеристы четвертой, — ответил ординарец.

Буденный и Ворошилов повели коней крупной рысью к командным высотам.

Они проскакали мимо пушек. Лысый, рыжеусый связист, скорчившись возле пустых снарядных ящиков, спорил по телефону с кем-то из штаба о том, что комплект снарядов не полный. Высокий, курчавый, с засученными рукавами командир батареи нетерпеливо ходил возле пушек. Увидав командарма, он засиял.

— Хватит, — прошептал он связисту. — Будем бить, чем можно.

С командных высот было видно, что лес еще не освободился от тумана и что за лесом туман покрывал и поля пшеницы. Не слезая с коней, Буденный и Ворошилов стали прислушиваться к хлюпающим и чавкающим звукам, которые шли из высокой полосы тумана.

— Кто там идет по пшенице?

— Восемьдесят первый полк, товарищ командарм, — послышался тихий ответ сзади.

И Буденный и Ворошилов знали, что именно в этот час и в этом месте должен двигаться в спешенном строю 81-й полк, знали они также, куда и как идут остальные полки или как они стоят, ожидая своего часа, но знать — это одно, а видеть и слышать, что полк медленно и верно продвигается вперед, — другое.

— Сколько до начала операции?

— Двадцать две минуты, товарищ командарм.

И это они знали, что до начала боя, — если, разумеется, паны не откроют раньше, что красные продвигаются, — осталось двадцать две минуты, но услышать — это одно, а видеть и слышать, что полк медленно и верно продвигается вперед, — другое. Лица их стали озабоченными. Кони, понимая настроение всадников, нетерпеливо переминали ногами.

Бледный, изнуренный начштаба, стоя у полевого телефона, улыбался уголками длинного прямого рта. Ворошилов и Буденный спрыгнули с коней и подошли к нему. Он сказал, что операция развертывается стройно.

В пшенице бойцы 81-го полка, пополненного донбасскими и харьковскими рабочими, шли именно в том настроении уверенности и силы, которое чувствовали в них Буденный и Ворошилов. Кое-кто жалел, что не на коне, но при этой мысли немедленно говорил себе: «Но ведь Пархоменко тоже не на коне?» — и глядел на огромную фигуру начдива, который в три раза согнись, но и то не спрячется в этой пшенице.

Пархоменко казалось, что и бойцы и командиры идут слишком медленно. Он торопил их движением рук и плеч.

До вражеских окопов оставалось недалеко. Послышались голоса поляков, которым, по-видимому, шум в пшенице был подозрительным. Пархоменко махнул рукой. Несколько бойцов с большими ножницами и топорами, чтобы резать и рубить колючую проволоку, поползли вперед. Остальные залегли. Стоял только один с поднятым прикладом. Командир махнул на него рукой, но он продолжал стоять, чего-то ждал. Чуть слышно лязгнули ножницы.

В тумане, едва видный, на бруствер окопа вылез белопольский офицер. Он спросил вполголоса, по-русски:

— Кто там?

Шум пшеницы очень тревожил офицера, но он не думал, что к окопам подползают советские солдаты, а что это ползет шпион, из тех, которые еще остались в тылу русских. Офицер, тонкий в талии и широкий в плечах, встал во весь рост. Туман поредел, и в этой редкой сетке офицер вдруг увидел в пшенице много солдат и впереди них командира в островерхой буденовке, заломленной на затылок.

Офицер обомлел, однако он, во всю силу своего молодого голоса, крикнул то, что учили кричать инструк-

торы, присланные Барнацким, Ривеленом и Штрабом:

— Русские! Братья славяне! Куда вы идете? На кого?

— На тебя, падаль! — ответил рабочий, который стоял в рост. Он быстро приложил винтовку к плечу и выстрелил. Офицер упал. Рабочий крикнул: «Бандиты тебе братья, а не мы!» — но слова его были заглушены вражескими пулеметами, которые ударили вдоль всей линии окопов.

Бойцы ползли к пулеметам, забрасывая их гранатами.

Позади, от командных высот, загромыхала артиллерия, а справа заговорили броневики 14-й.

Пожилой небритый рабочий, раненный в щеку, с топором за поясом, полз возле Пархоменко, крича во всю мочь на врага:

— Нет, я тебя добью!.. Я тебя под Царицыном не добил, утек!.. Под Ростовом ты из-под меня выскочил!.. Здесь я тебя кончу, контрреволюционная гадюка!..

Пархоменко приподнялся. Бойцы ворвались в окопы. Паны бежали по траншеям. Подскочил ординарец командира полка и, счастливый, не замечая того, что ухо его рассечено саблей, доложил:

— Весь восемьдесят первый по всем панским окопам громит!

— Вижу! — сказал Пархоменко, — неплохо восемьдесят первый бьется. Надо посмотреть, как остальные мои хлопцы себя чувствуют. Коня!..

...К полудню туман совсем растаял.

Солнце светило в глаза атакующим.

— Хоть солнце в глаза, а идут пархоменковцы неплохо, — сказал Буденный, садясь на коня.

— Да, и остальные идут, — отозвался Ворошилов, разговаривавший с начштаба. — Сведения поступают отличные. Вы куда, Семен Михайлович?

— Вы пока побудьте здесь, Климент Ефремович, а я слетаю на места. Я быстро.

Сопровождаемый ординарцами, связными и разведчиками, Буденный снялся с командных высот. Глубоко дыша всей грудью, он скакал туда, откуда меньше всего слышалось выстрелов, но откуда, по расчету, их должно было быть слышно больше всего.

По дороге, в лесочке, острые глаза командарма увидали замаскированный польский эскадрон.

Собственно, ему никак, по положению, нельзя было скакать к этому эскадрону, но он, именно потому, что этого нельзя было, выхватил шашку и направил своего буланого Казбека к лесочку.

— Без «языка» пропадем! «Языка» надо ловить! — крикнул он, найдя оправдание своему решению.

Увидав скачущих и размахивающих саблями казаков, белопольский офицер решил, что к нему приближается огромная часть. Лес был густой, разбежаться по нему можно было только спешенным, а какой кавалерист спешится, если перед ним есть хоть кусок поля? Офицер скомандовал, — и эскадрон, надеясь на своих отличных коней, рассеялся по полю. Паны уходили.

— От моего коня — никогда! — крикнул Буденный и поскакал вслед за офицером.

Ординарец из кубанцев, остановив своего коня, протер глаза, забитые мокрой землей, и прицелился. В кавалериста пуля не попала, упал конь. Пан освободил ногу, поставил ее на седло и раз за разом стал стрелять в Буденного. Ординарец тем временем стрелял в офицера.

Буденный, повернувшись на коне, крикнул:

— Брось! Еще меня подстрелишь. Не видишь, волнуется. Где ему попасть.

И, подскакав, взметнул саблю над головой офицера.

— Прошу жизни, — сказал тот, поднимая руки.

Буденный, не опуская сабли, спросил:

— Зачем здесь эскадрон стоял?

— Прикрываем, пане, стык между кавалерией генерала Савицкого и седьмой бригадой пехоты.

— Стык?

— Стык, пане. По эту сторону, пане, — Савицкий, по ту — пехота, а я стою в середине, и меня нет.

Он улыбнулся. Пан был с сединой на висках, плотный, говорил, по-видимому, искренне, потому что искренне хотел спасти себе жизнь. Буденный, все еще не веря своему счастью, вкладывая шашку в ножны, пристально посмотрел в лицо пану. Пан еще раз улыбнулся и сказал:

— Быть может, я, ради жизни, выдаю тайну, но здесь — стык, пане Буденный. Я узнал вас.

Буденный подозвал ординарца-кубанца и, задыхаясь от радости, сказал:

— Скачи, чтоб ног не было видно! Пархоменко скажешь: здесь — слабое место, здесь стык! Тащить сюда всю кавалерию, которая есть, все броневики!.. И солнце прямо в глаза пану будет бить!..

А второму ординарцу он сказал:

— Клади пана офицера через седло и вези его к Пархоменко!

Остальным он крикнул:

— Обратно, к командным высотам!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Хотя 81-й полк 3-й бригады ворвался и бился в окопах противника, хотя части 2-й бригады, ведя пулеметный и ружейный огонь, медленно и верно продвигались вперед, Пархоменко не только не был доволен, он даже гневался.

Весь багровый от напряжения мысли, он сердито смотрел на комбрига-2 и говорил:

— Двигаемся? Этак можно и три года двигаться! Но где здесь самое слабое место?

Комбриг-2 показывал плеткой влево, в направлении мельницы.

— Нет! Туда и не думайте идти! Запрещаю.

Приводили пленных, но и они ничего не могли сказать. Выходило, что противник всюду создал сплошную стену огня, бетона и колючей проволоки.

— Не может этого быть! — вскричал Пархоменко.— Да что они — ангелы, что ли? Должно у них быть слабое место!

— Настаиваю в направлении мельницы, — сказал комбриг-2, не обращая внимания на гнев начдива. — Здесь прорвемся!

— В смерть вы здесь прорветесь, а не в жизнь!

И Пархоменко, сев на коня, поскакал вдоль фронта дивизии.

С другой стороны лесочка, из которого Буденный выгнал эскадрон панской конницы, Пархоменко, с недоумением разглядывая брошенное имущество эскадрона, увидал комбрига-3 Моисеева, который приближался к нему с сияющим самодовольным лицом.

— Пленных наловили — ку-учу! — заикаясь от радости, прокричал он.— И, по общим показаниям, здесь

прорвем! Здесь пока — пу-усто, ни-и-кого нет! Прикажете сюда направить и первую бригаду?

Пархоменко выслушал пленных кавалеристов, отдал приказание, чтоб подтянули броневики и чтоб 1-я бригада и части 2-й «смотрели в данном направлении, чтоб, в случае успеха, — нажать на пана до треска его костей»!

Вся 3-я бригада устремилась в трещину между белопольскими частями. Пять броневиков сопровождали конников.

Они обогнули лесок. Пархоменко, веря и не веря в удачу, с неудовольствием смотрел на горевшее радостью лицо Моисеева. Но вот выехали к гречневому полю,— ни панов, ни их разведки, ни прикрытия. Бригада и броневики беспрепятственно углублялись во фланг вражеских позиций. Радость понемногу начала наполнять сердце Пархоменко!

— А ведь идем, Моисеев.

— Двигаемся, Александр Яковлевич, двигаемся!

— А, глядите — от Буденного!..

Через поле гречихи к ним приближались ординарцы Буденного. Один из них, на крепком высоком коне, о котором другие ординарцы всегда шутили, что на таком хорошо бревна возить, держал поперек седла белопольского офицера.

Увидав пожилого человека в хорошем американском мундире с множеством карманов, нелепо лежавшего поперек седла и уцепившегося за луку, Пархоменко захохотал.

— Вести, что ли?

— Вести, товарищ комдив! — крикнул другой ординарец, так как первый пыхтел и занят был тем, чтобы удержать и довести до Пархоменко начавшего барахтаться офицера.— Прикрытие ихнее товарищ Буденный снял!

— Вижу.

Офицера спустили на землю. Он, увидав огромного, забрызганного кровью и грязью всадника, изменился в лице и упал на колени.

— Ладно, ладно,— сказал Пархоменко.— Вставай. Пленных не бьем.

Широко улыбаясь, он выслушал офицера и затем обратился к ординарцу-кубанцу:

— Почетная у меня разведка! Спасибо. Скажи командарму — все сделаем! Будем сегодня идти по тылам панским.

И, пуская в галоп своего вороного, весело добавил:

— А также передай, что, кроме того, буду хлопотать о награде командарму, как разведчику. Редкое счастье! Не каждому достается. Нашли наконец слабое место. Нашли.

Показались укрепления Самгородка, но не в лоб, а с фланга. Из окопов испуганно выскакивали и немедленно бросались в бегство белопольские солдаты. Несколько кухонь и лазарет стояли в овраге. Врач бежал с криком: «Сдаемся!» Броневики мчались на полном ходу к укреплениям, которые, несомненно, с флангов слабее защищены. Бойцы мгновенно спешились и построились в цепи. Цепи шли быстро, бросая гранаты и без труда рубя проволоку.

— Ничего, хорошо идем, Моисеев?

— Двигаемся!

Пархоменко легко перескочил яму, овитую колючей проволокой и утыканную на дне острыми кольями. Ожесточенные крики бойцов и ответный вой белопольских солдат слышались и впереди и по бокам.

— Здорово идем!

— Двигаемся,— кричал где-то в отдалении Моисеев.— Вперед, красная конница!

— За Ленина!..

Пархоменко оттолкнул в сторону бойца, который бежал впереди него и на которого бросился белопольский солдат с винтовкой. Увидав необыкновенно высокого казака с саблей и пистолетом, солдат на мгновение опешил. Пархоменко выхватил у него винтовку и, так как солдат сверкнул ножом, Пархоменко, сжав зубы, его же винтовкой ударил его по голове.

— Туда же еще с кинжалом, сволочь!

Окопы остались позади.

Открылись панские тылы.

— По коням! — скомандовал срывающимся голосом Моисеев. — У-ух, по коням, советская конница!

Пока подводили коней, цепи остановились на мгновение передохнуть. Покурить бы, но куда там, когда из-за рощи, за Самгородком, скакала на них панская кавалерия. Резервная дивизия генерала Савицкого,

узнав, что конноармейцы прорвали укрепления, спешила ликвидировать прорыв.

В те же минуты здесь появился Буденный. Понимая, что бой достиг высшей точки напряжения и что, как это ни опасно, появление командарма могло оказать решающее и немедленное влияние на быстрейший исход операции, Ворошилов не только не стал спорить с Буденным, предложившим «на минутку передать наблюдение за боем начштабу, а самому мне спуститься вниз»,— Ворошилов одобрил это предложение и сказал, что сам тоже «спустится».

— Паны! — сказал Буденный, указывая на двигающиеся из рощи массы конницы Савицкого.— Плохо может быть дело у наших. В бою и погоне они порасстроились.

— Поможем четырнадцатой! Она хорошо билась.

Рядом, проселком, шел эскадрон 81-го полка. Артиллерийский дивизион сопровождал его.

— Откуда? — крикнул Ворошилов.— Резерв?

— Вашим приказанием, товарищ Ворошилов, идем на пополнение восемьдесят первого полка!

— А что бы вы сделали на маневрах, если б, вот как сейчас, увидали перед собой противника?

— По всей видимости, атаковали бы его, товарищ Ворошилов.

— И атакуйте! Мы с вами. Мы тоже из резерва!

— А-а!..

Командир эскадрона, молодой московский рабочий, чернобровый, с выпуклыми синими глазами, ошалев от восхищения, что рядом с ним в атаку пойдут Буденный и Ворошилов, так напружинил свое тело, что чуть было не вылетел из стремян, а конь его шарахнулся, не узнав голоса своего хозяина:

— В а-а-ата-ку-у!

— Ура-а!..

Эскадрон, конвой, Ворошилов, Буденный, выхватив шашки, кинулись на дивизию Савицкого.

Глядя на отважных всадников, командир артиллерийского дивизиона, тоже молодой московский рабочий, сказал, ухмыляясь:

— Они все думают — конь! Конь, конечно, хорошо, но и снаряд тоже друг. Посмотрим, кто кого обгонит.

И он приказал бить в упор по приближающимся белополякам.

Неожиданный артиллерийский огонь, атака конницы, внезапно появившиеся из-за укреплений броневики, которые сопровождали Пархоменко,— все это вместе ошеломило и привело в смятение дотоле стройную и гордую дивизию генерала Савицкого.

— Бе-ежит, хлопцы!

— Па-ан бе-е-жит, товарищи!

— Побёг!..

Увидав бегство своей красивой и, казалось, непобедимой кавалерии и увидав прямо перед собой тех, кто погнал эту кавалерию, увидав броневики и артиллерию красных,— белопольская пехота не выдержала и побежала!

— Ну вот, подняли-таки! Встал пан!— сказал Буденный, снимая головной убор и вытирая лицо платком.— Теперь есть о чем доложить в Москву.

— Поднялся пан!

— И не скоро ляжет.

— Разве в могилу!..

К вечеру 14-я дивизия прошла уже двадцать пять километров в прорыве.

Направо и налево от нее лежали убитые и раненые польские паны, те, что намеревались владеть Правобережной Украиной и всей Белоруссией. Дороги заполнялись пленными. На перекрестки дорог Ламычев свозил захваченные орудия, пулеметы, снаряды и винтовки.

В 8 часов вечера 6 июня, то есть именно в тот день, когда белопольское командование собиралось разгромить и уничтожить дотла войска Конармии, начдив-14 Пархоменко издал приказ о том, что задание партии и правительства выполнено:

а) Прорыв совершен.

б) Конармия идет по тылам белополяков.

в) Киев отрезан от панских тылов.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Если Пархоменко принимал какое-либо решение, он уже не откладывал его и им не овладевали ни колебания, ни робость. Решено — сделано. Партия приказала разгромить белополяков. Это приказание целиком отвечало всем стремлениям Пархоменко как революционера и полководца. К этому приказанию и были

направлены теперь все думы и мечты Пархоменко: как лучше и быстрей выполнить приказ.

Поэтому-то Пархоменко заставлял свою 14-ю дивизию, поставленную заслоном на юг и восток охранять наступающие на Житомир и Бердичев другие части Конармии, не только отражать удары врага, который мог появиться со стороны Киева, но и непрерывно искать его. Забот, значит, было много.

Скоро дивизия вышла к железной дороге. По пути, как весной выкидывают всякий мусор со двора, дивизия опрокидывала телеграфные столбы, взрывала дорожные мосты, впрягая волов, стаскивала в сторону рельсы, а когда кончилась взрывчатка, жгла захваченные вагоны.

Эти пожары, взрывы и разрушения, которые бойцы совершали без восторга, скрепя сердце, должны были вызвать и расширять панику среди белопольских войск. Так оно и вышло: паника распространилась вплоть до Киева и дальше.

Идя вместе с 3-й бригадой, Пархоменко увидал вдали станцию Бровки.

Бригада залегла в кустарниках. Несколько фургонов, запряженных парами в дышла, шли к станции дружно и равномерно, поднимая темную пыль. Жаворонки крутились и пели над полем.

— Пугнем, пожалуй? — спросил нетерпеливый комбриг-3.

— Пугнешь — и внезапность утеряна, — сказал Пархоменко, которому и самому очень хотелось пугнуть панов.— У станции польский разъезд торчит в тревоге. Вглядывается?

— Глядит.

— А фургоны проедут, он подумает: «Все на дороге спокойно»,— и спать пойдет. Ну, не грабители ли? Пришли на чужую землю, да еще и спят! А я вот на своей земле, а шестые сутки без сна.

Был полдень, и было жарко. Едва лишь фургоны приблизились к водокачке, разъезд ушел с дороги.

— И опять по коня-ям! — прошептал Моисеев.

Ни разъезд, ни остальные кавалеристы белополяков не успели выхватить и сабель, не говоря уже о том, чтоб вскочить на коня. Только батальон пехоты попытался рассыпаться на улице, дабы защитить станцию. Но из-за стремительности налета враги отстреливались плохо.

Лучше всех стреляли жандармы, которые, охраняя какого-то низенького и поджарого генерала, поспешно отступали к вокзалу. Когда они пробились к буфету и поджарый генерал схватил стакан воды и, плеская, нес его ко рту, по перрону, вдоль эшелонов, уже скакал Пархоменко, окруженный ординарцами.

У дверей телеграфа он спрыгнул с коня и, не обращая внимания на выстрелы жандармов, вбежал в комнату. Ординарцы, экономя боеприпасы, показали, не бросая, ручные гранаты жандармам, и те сдались.

Пархоменко положил в сумку телеграфные ленты и пошел в кабинет начальника станции. Здесь он собрал бумаги, лежащие на столе. Мертвенно-бледный телеграфист, с узкой лысиной на длинном черепе, шел за ним.

— Сдалось шестьдесят жандармов с генералом. В тыл?— спросил Моисеев.

— В тыл. Еще какие трофеи?— читая бумаги, спросил Пархоменко.

— Не считая двадцати вагонов с патронами и других эшелонов со снабжением, захвачено двадцать вагонов с сахаром. Неужели и сахар жечь?

— Жалко. Мужикам раздать, что ли? Откуда здесь сахар?— спросил он у телеграфиста, пристально глядя в его мертвенно-бледное лицо.— И почему жандармы возле сахара?

Телеграфист, не отвечая на вопрос, вскричал, указывая на бумаги начальника станции:

— Пане генерал! По бумагам видите: от станции Чернорудка идет сюда панский бронепоезд «Генерал Довбор». Рекомендую, пане генерал, взорвать поскорее путь.

Моисеев спросил:

— Прикажете эскадрон с технической командой послать?

— А зачем? — спокойно спросил Пархоменко.

— Взорвать путь.

— А зачем? — читая бумаги, повторил Пархоменко.— Опасаетесь, товарищ Моисеев, что бронепоезд войдет на станцию? А если мы взорвем путь, он уйдет от станции. Потеря! Не лучше ли взорвать путь позади бронепоезда? А? Как вы к этому относитесь?

— Отношусь одобрительно, — сказал Моисеев, уходя.

Ординарец доложил, что начдива по срочному и

важному делу желали бы видеть два красноармейца — Тройовский и Досолыго. Оба они еще до наступления перешли из тыла в эскадрон.

— Отправить их по начальству, к своим командирам?

— Зачем? Я их ждал. Веди.— Когда ординарец вышел, Пархоменко, опять пристально глядя в глаза все более и более бледневшего телеграфиста, сказал: — Красноармейцы из Западной Украины. В Житомире тоже были. Не вы скажете, другие скажут. Почему здесь сахар и жандармы? Вы — русский, поляк, украинец?

Телеграфист, быстро шевеля толстыми пальцами, сидел безмолвно, сжав бледные губы. Вошли красноармейцы Тройовский и Досолыго и, перебивая друг друга, начали говорить. Пархоменко слушал их, глядя на телеграфиста.

— Разрешите доложить, товарищ начдив... Генерала Пржевуцкого... и всех жандармов... в тыл отправить недостойно!

— Что ж, нам с ними обниматься?

—Генерал Пржевуцкий... мы его в Житомире видели... он привез сюда жандармов из полка «Шляхта смерти»... эти жандармы кололи заключенных в Житомире!

— Кололи? — И, быстро повернувшись к телеграфисту, Пархоменко спросил:— А вы?

Телеграфист вскочил:

— Да нет же, боже! Я только читал депеши и знал все. Я очень боялся вас, пане генерал...

— Но панов еще больше?

И он сказал входившему и очень довольному Ламычеву:

— Паники навели много, но все же, по-моему, недостаточно. Надо ее расширять. Сжечь все эшелоны со всем имуществом!

Телеграфист опять вскочил:

— Пане генерал! Пржевуцкий из Житомира привез жандармов. За жандармов он обещал, продав сахар, наградить контрразведку. На складах у него много сахара, а в лесах — бандиты. Он и привез жандармов охранять сахар! Пощадите меня, пане генерал! Я — украинец, но полякам не служил... и на станции двенадцать лет, не выезжая...

— Вас допросят особо. Мне некогда этим заниматься. Однако замечу, что выгоднее всего говорить правду,— где и кому служишь.— И он сказал ординарцу:— Выстроить генерала и жандармов на перроне.

Красноармейцы уже обливали эшелоны керосином. Жандармы, высокие и сейчас еще бравые, в синих мундирах с желтыми выпушками, стояли ровно и не шевелясь. То, что их пощадили при захвате станции, создавало у них уверенность и в дальнейшем благополучном исходе событий. Им и в голову не приходило, что на станции Бровки, далеко от Житомира, среди большевистских войск, могут найтись люди, знавшие о злодеяниях во дворе канцелярии ротмистра Барнацкого, где они штыками кололи пленных красноармейцев.

Пархоменко молча, с холодным и неподвижным лицом, смотрел на жандармов. Под этим взглядом они начали чувствовать беспокойство. У генерала задрожал подбородок, а стоящий рядом с ним белокурый вахмистр стал жмуриться, дергать щекой, и на глазах его показались слезы. Губы у генерала дрогнули, потекла слюна.

— Тьфу! Людей они колоть могут, а сами, как на смерть взглянули, рассудком темнеют. Оправиться! Жандарм, ты крайний. Какого полка или отряда?

— «Шляхта смерти», пане генерал.

— Командир кто? Ротмистр Барнацкий? А при нем? Ривелен? Штрауб? Еще кто из палачей? Чего же молчишь? Сознавайся. Тех, кто сознается, мы по мере сил щадим. Ну?

— Мобилизованные мы, пане генерал. Мобилизованные...

— А житомирскую тюрьму охраняли? А в канцелярии у шпиона Барнацкого служили? Кем служили? Как охраняли житомирскую тюрьму? Этих — знаете?

И он указал на Тройовского и Досолыго.

— Лгут они, пане генерал,— сказал Пржевуцкий, поглаживая слегка дрожащими руками свои бедра и тем стараясь показать, что он ничего не боится.— Я не понимаю, зачем лгать? Мы — обыкновенные фуражиры, приехали за сахаром для армии...

— Телеграмма вам от Штрауба и Ривелена, которые едут на бронепоезде для встречи с бандитами, расположившимися возле вашего сахарного завода, это что? Тоже фуражировка? — сказал Пархоменко, пока-

зывая документы, захваченные в кабинете начальника станции.

Пржевуцкий снял руки с бедер, побледнел:

— Я не знаю никакого Штрауба и Ривелена...

— Знает, знает! — закричал рослый белокурый жандарм.— Я помогу вам, пане генерал, при очной их ставке!..

«А ведь важную птицу поймаем!— говорил недоуменный взгляд Колоколова, заметившего, что Пархоменко вынимает маузер.— Зачем ликвидировать? Пусть сойдутся Штрауб и Пржевуцкий на очной ставке!» И он перевел взгляд на холмы, где на линии горизонта показались очертания бронепоезда. За бронепоездом поднялись в небо столбы черного дыма и послышались раскаты взрыва. «Видите, и бронепоезд остановился!»— продолжал говорить взгляд Колоколова.

Пархоменко видел и понимал своего начштаба, однако он произнес, четко выговаривая слова приговора:

— Диверсантам и палачам, — за прямую помощь Антанте, за шпионско-подрывную деятельность в пользу капиталистов Америки, Англии, Франции и Германии, за бесчеловечное глумление над революционными рабочими и крестьянами России, Украины и Польши, за разжигание войны между братскими народами,— именем Республики Советов расстрел!

Первым упал генерал Пржевуцкий. За ним свалились жандармы.

Пархоменко вышел на площадь. К крыльцу скакал комбриг-3. Пархоменко, передавая Колоколову бумаги начальника станции, сказал:

— Штрауба в бронепоезде нет. Его уже нет и в Житомире. Видишь, как паника-то далеко шагнула! И я уверен, что в бронепоезде тоже паника. Атакуем бронепоезд в конном строю?

— В конном строю? Да что вы, Александр Яковлевич! Невиданное дело!

— Невиданное, а увидим.

И он приказал Моисееву:

— Атаковать бронепоезд в конном строю!

На лице Моисеева выразилось живейшее удовольствие, словно он всю жизнь только и делал, что атаковывал бронепоезда в конном строю. Он скомандовал. Бригада развернулась и, летя как вихрь, начала приближаться к цели атаки. Колоколов и Пархоменко ос-

тались возле крыльца. Колоколов, крепко вцепившись в луку седла, закрыл глаза, когда всадники приблизились к бронепоезду на пулеметный выстрел. Через мгновение он почувствовал, что широкая и теплая рука Пархоменко легла ему на плечо. Он открыл глаза. Над бронепоездом висел белый флаг.

К вечеру Пархоменко, Колоколов, Моисеев и Ламычев отдыхали в офицерском купе бронепоезда. Колоколов, похваливая, пил кофе, оставленный белополяками.

— Глупости это — кофе, — сказал Ламычев.— Пробовал я его и в прикуску и в насыпку, только брюхо пучит. Ну, разве сравнить с чаем? Александр Яковлевич? Почему это, как я заметил, поляки не любят чаю?

Пархоменко, не отвечая, обратился к Колоколову:

— Все пленные подтверждают, что со стороны Киева, отступая, идет на нас много войска. Прикажи в направлении Киева развернуть дивизию, нацелить пушки в ту сторону, а перед бронепоездом путь разворотить пошире. Я надеюсь, встретим панов как следует.

— Гости знатные, — сказал Ламычев, — желанные.

Но желанные гости не появились.

Они бросились в бегство не в сторону Казатина, где их ждала Конармия, а по единственной оставшейся у них железнодорожной линии, на Коростень.

Утром Пархоменко и его дивизии стало известно, что Житомир занят 7 июня 4-й дивизией Конармии. В тот же день 11-я заняла Бердичев.

Радио сообщало, что в Житомире освобождено семь тысяч пленных, но, к сожалению, белопольские и петлюровские штабы успели покинуть город. Бежал и ротмистр Барнацкий со своей контрразведкой и все приехавшие к нему шпионы и диверсанты, в том числе, конечно, Штрауб, Ривелен и Вера Николаевна. При бегстве белополяки бросали пушки, обозы, автомобили, бросали настолько поспешно и беспорядочно, что Барнацкому пришлось уехать верхом, а те, кто не умел ездить верхом, ехали на плохих крестьянских подводах. Радио говорило правду: паны, убегая, так забивали шоссе своими автомобилями и колясками, что пехота опережала конницу.

Белополяки покидали Киев. Знаменитая, описанная во всех буржуазных газетах, как «непобедимая», 3-я панская армия бежала еще более поспешно, чем другие, не столь знаменитые армии.

Четырнадцатого июня ударная группа советской конницы под командованием Ворошилова, состоящая из двух дивизий — Пархоменко и Городовикова,— выступила в поход, чтобы пересечь отступающему врагу дорогу на Коростень. Выступила она в поход на рассвете, а шесть часов спустя уже дралась с авангардом 3-й белопольской армии. Паны сопротивлялись упорно, но к вечеру их сопротивление было сломлено, и на другой день утром 14-я дивизия вступила в Радомысль.

Перед Радомыслем к Пархоменко пришел встревоженный Ламычев:

— Снабжение за нами не успевает, Александр Яковлевич. Подача патронов из тыла прекращена.

— На себя пеняйте. Не будет патронов, предпоследний патрон — в снабженцев. Ты, Ламычев, — друг, но знаешь, я и друга за преступление перед республикой не помилую.

Ламычев вытянулся и откозырял:

— Прикажете, товарищ начдив, направиться в ревтрибунал?

Пархоменко посмотрел на часы:

— Прощаю, последний раз. Патроны получишь через час, за счет противника в Радомысле.

— М-да, — недоверчиво пробормотал Ламычев. — Я ведь секретку читал, знаю, сколько их, панов, в Радомысле стоит. Через сутки и то не выйдет получение патронов.

— Не выйдет — оба пойдем в ревтрибунал. Я обещал Ворошилову взять Радомысль через час.

Два часа спустя, в Радомысле, Ламычев, получив патроны, пришел к Пархоменко с большой разграфленной ведомостью и сказал:

— Александр Яковлевич! При таких операциях нам удобнее вообще перейти на снабжение противника. Прошу вас сообщить мне официально, какие и когда вы обещали Ворошилову захватить города. Поляки ж отступают по всему фронту! Бежала и третья, и вторая, и шестая панские армии! А петлюровцев и след потерялся!..

Пархоменко строго посмотрел на Ламычева:

— Опять — шапками закидаем! Брось ты это, Ламычев. Один раз я что-то предчувствовал, — насчет Радо-

мысля, — и прихвастнул. Вышло. Другой раз вряд ли выйдет. Паны еще держат дверь в Западную Украину, нам еще за скобу придется дергать да дергать!

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Скоба, о которой говорил Пархоменко, упиралась острием в станцию Мирополь, тянулась вдоль реки Случ до Новоград-Волынска, здесь загибалась и шла от Новоград-Волынска вдоль линии железной дороги до Коростеня. Возле Коростеня скоба опять загибалась и тянулась теперь вдоль реки Уж. Позиция, как со стороны природных условий, так и со стороны технических, была очень удачная и мощная. Реки, холмы, перелески позволяли быстро укрепляться. Линия железной дороги, протянувшаяся между реками Случ и Уж, помогала переброске частей и вооружения. От империалистической войны в этих местах остались крепкие позиции, которые были особенно мощны около Новоград-Волынска.

Кроме этих укрепленных позиций, настроению белополяков помогло и то, что с 16 июня все атаки Конармии внезапно прекратились. Среди панов распространился слух, что Конармия исчерпала свои наступательные возможности.

Опираясь на все эти благоприятные обстоятельства, белопольский генерал Ромер издал приказ, в котором говорил, что 20 июня должно начаться генеральное наступление по всему фронту на противника и что отныне всякое отступление будет преследоваться и наказываться по законам военного времени.

Однако отступление продолжалось. Станции, поезда, проселочные дороги, все по-прежнему было переполнено отступающими. Проселками и шоссе тянулись бесчисленные обозы с какими-то бумагами, имуществом, чемоданами. Это были различные охраны, панские и петлюровские учреждения из Киева, помещичьи семьи и чиновники. Немало было и духовенства. Все люди, сопровождающие и понукающие обозы, ненавидели войска, которые, боясь обхода флангов со стороны красных, тянулись к железнодорожной магистрали, захватывали вагоны в надежде откатиться подальше. Но надежды были малы: во-первых, не хватало угля,

и паровозы топили топливом «с корня», то есть поваленными соснами и дубами, а во-вторых, все железнодорожники пользовались малейшей возможностью, чтобы бросить поезд и убежать к большевикам.

И в подводах ехать было несладко. Украинцы-крестьяне окрестных деревень встречали отступающих мрачно. В оврагах прятались партизаны, и двигаться можно было только днем. Не было ни телеграфного, ни телефонного сообщения, — и вообще почты не было!

Часть пути от Житомира все начальство контрразведки вместе с Барнацким, Штраубом и Ривеленом ехало на подводах. Ехали сумрачные, спать ложились в хатах на полу, где мучили клопы и блохи; на дворе спать, несмотря на охрану, было небезопасно. И вдобавок еще этот ужасный старик Ривелен! По ночам он долго не засыпал, кашлял, сморкался, чесался и затем вслух вспоминал все проступки и «идиотство» Штрауба и Барнацкого! Не организовать заговор на юго-западном фронте, или, вернее сказать, провалить такое удачное предприятие! Сколько вложено в это дело усилий, сколько погибло людей, а почему? Почему погибли полновесные американские доллары, почему?

— Если вы уверены, что долларами все можно сделать, — говорил с ожесточением Штрауб, — остановите это постыдное отступление поляков!

— Я?! Я только что начал заниматься европейскими делами, а вам эти воды давно знакомы. Вы сколько уже лет плаваете по ним? Правда, не всегда удачно, но это, повторяю, до поры до времени. Американцы впредь будут мешать вам ошибаться.

— Давно пора, — сказал Барнацкий.— И я уверен, что, если б вы пораньше вмешались в наши житомирские занятия, Ривелен, все было бы по-другому. А то получилось, что Штрауб обманул нас: обещал явки среди большевиков, мы послали людей... люди либо не вернулись, либо вернулись ни с чем.

И, полувопросительно глядя на Ривелена, он переспросил:

— Обманул?!

Ривелен молчал. Достав из кармана широких, починенных разноцветными заплатами шаровар березовую тавлинку с нюхательным табаком, он понюхал, с аппетитом чихнул и сказал:

— Хорош табачок.

— Штрауб вас не обманывает, вы сами обманываетесь, — проговорила Вера Николаевна. — Это, впрочем, не редкость. Люди то и делают, что обманываются.

— Именно, именно, — подтвердил Ривелен.— Но если господин Штрауб еще раз и глубоко подумает, он не обманется.

— Я то же думаю, — сказала Вера Николаевна и неизвестно чему засмеялась.

Где-то, возле крошечной железнодорожной станции у Ровно, Ривелен поймал наконец фронтовую аппаратную и связался по телефону с Варшавой. Варшава приказала дать контрразведчикам вагон. Пока выбрасывали из какого-то классного вагона наполнявшие его чемоданы, перины, картины и люстры, а затем грузили имущество контрразведчиков и «учебные материалы» школы подрывников, Барнацкого вызвали к аппарату. Штрауб ждал, что позовут и его. Но он не понадобился.

Барнацкий возвратился из аппаратной веселым.

— Не знаю, — сказал он с хохотом, — то ли я оказался дураком, то ли высшее командование у нас дурацкое, но мне приказали сдать дела Ривелену, а самому формировать «Шляхту смерти» в качестве большой кавалерийской части. Не мне судить, господа, какой я контрразведчик, но кавалерист я умелый и дрался немало. Я учился кавалерийскому делу во Франции. Я несу традиции Наполеона!..

Штрауб поглядел на его гладкое лицо, всегда производившее впечатление в высшей степени хитрого и подлого, и сказал:

— А на кого останется школа подрывников? Почему меня не вызывают к аппарату? Вера Николаевна говорила с Варшавой?

Барнацкий ответил только одно:

— Подумайте, формировать кавалерийские части в такие минуты! Сколько предварительно дезертиров мне придется перебить!..

Ротмистр исчез. Штрауб в недоумении ходил по шпалам, стараясь, чтоб рассеяться, ступать через одну. У встречного канцеляриста он спросил, где мистер Ривелен. Тот сощурил глаза, улыбнулся и взглянул ему за спину. Штрауб обернулся:

— Да, я, как ваша тень, — сказал тихо Ривелен.— Только что беседовал с Верой Николаевной. Весьма умная дама. Она одобряет ваши предположения.

— Какие? — спросил Штрауб, у которого не было никаких предположений.— В каком смысле?

— В том смысле, что иначе жить нельзя. В Америке люди деловые.— Я — представитель Америки. И как деловому человеку мне глубоко противно постоянно слышать о деле, но дела не видеть. Это может плохо кончиться и для меня и для вас, к сожалению.

— Для меня, пожалуй, к большему сожалению?

Ривелен молча указал на паровоз, который гудком приглашал пассажиров. Поезд отошел.

За водокачкой увидели санитарную повозку. Врач бинтовал руку раненому. Санитары несли еще нескольких. Поезд медленно пошел через деревянный мост, наполовину сгоревший, а наполовину взорванный. Рядом, на быстрой и мутной от дождей реке, саперы заканчивали сборку понтонного моста. Ривелен сказал:

— Партизаны взорвали. И, что хуже всего, на Западной Украине показались тоже партизаны. Русских ждут там. Нужно пресечь эти ожидания, Штрауб. Варшава и наш посол одобряют ваш план. Я тоже думаю об этом, а затем мы оба пойдем к аппарату.

— Есть у вас сигарета? — спросила Вера Николаевна.— К аппарату, пожалуй, пойду я.

— Превосходно! Но вы все же продолжайте обдумывать, Штрауб.

Штрауб и продолжал, тем более что ни Вера Николаевна, думавшая за него, ни движение поезда не мешало думать: за два дня поезд взял не более пятидесяти километров. А затем он совсем замедлил ход, и возле шлагбаума, у шоссе, пересекавшего железнодорожную линию, состав загнали в тупик. Ривелен отправился браниться на станцию. Пока он ходил, паровоз увели совсем. «Вот тебе и всесильная Америка!» — не без злорадства подумал Штрауб, глядя на разозленное лицо Ривелена, который вернулся ни с чем.

— Впрочем, вам заботиться о вагоне нечего, — со скрытым злорадством сказал Ривелен. — Вы отсюда можете отправиться. Через час я сообщу вам все необходимое.— И он обратился к Вере Николаевне: — Я вас провожу на станцию. Варшава готова для разговора.

— Но Варшава не может достать нам паровоза? — спросил Штрауб.

Ривелен, все в той же крестьянской одежде, помог Вере Николаевне спрыгнуть с высокой подножки вагона. Они ушли на станцию, а Штрауб решил погулять по шоссе. В один карман он положил гранату, в другой — револьвер и отправился.

Вечер был сух и ветрен. Взошла луна. Через мост, направляясь к шлагбауму, переходил нескончаемый обоз с кирпичом и щебнем для строящихся укреплений. Возчики спустились к речке и стали пить воду пригоршнями. На шоссе послышался стук мотора.

Три офицера с револьверами выбежали к мосту и стали махать на крестьян руками, чтоб обоз сворачивал. Шоссе было узко, канавы по обочинам его глубоки и грязны. Возчики медлили. Тогда старший офицер приказал столкнуть обоз в канаву. Крестьяне что-то забормотали. Подошел обозный — польский солдат и начал бранить крестьян, а затем бросился рубить постромки, возы с глухим бульканьем опрокидывались в канавы.

Две длинные сильные машины поравнялись со Штраубом. Воз застрял на шоссе, и машины задержались. На заднем сиденье второй машины Штрауб узнал знакомое лицо — усталое, с мохнатыми бровями. Штрауб откозырял и сказал:

— Здравствуйте, господин Фолькенгайн! Не узнаете? Напоминаю: Перемышль, гостиница, доктор Иодко. И еще: Ковно, гостиница, доктор Иодко...

— Я вас узнал, — сказал Пилсудский.— Здравствуйте. Дожди как будто прекратились? Теперь красным конец!

Машины осторожно перекатились через мост и, погудев у шлагбаума, ринулись дальше по шоссе,— но только не в сторону красных, а от красных. «Значит, дожди еще не прекратились?» — подумал Штрауб с ехидством.

Штрауб вернулся в вагон. Немного погодя возвратились Ривелен и Вера Николаевна. Ривелен сказал, что сейчас мимо станции проехали командующий фронтом Рыдз-Смиглы, Петлюра и Пилсудский. И Штрауб, глядя на его холодное и сухое лицо, подумал: «Вот с ними-то ты и говорил. И Вера Николаевна с ними говорила. А мне Пилсудский ничего не пожелал сказать. Скверно!» Вслух же он сказал:

— Не хочешь ли ты прогуляться, Верочка? Ночь хороша.

— Сейчас, уложу чемодан. В общем, нам можно идти на станцию.

И они пошли на станцию. Далеко впереди два канцеляриста несли их чемоданы. Через шоссе шумел лес, и возле своих возов приглушенно ругались крестьяне. Вера Николаевна, прислушиваясь к их голосам, сказала:

— Поляки совершенно не умеют обращаться с крестьянами. Крестьяне озлоблены. Вон в той деревне за лесом крестьянка заперла в погреб офицера, который зашел к ней что-то купить. Она держала его там несколько дней без еды, пока тот не умер. И крестьяне деревни, несмотря на тщательные розыски и расспросы, так и не выдали своей землячки. Звери!

— Поэтому ты находишь, что нам лучше уехать в Россию? — спросил Штрауб.

— А ты не находишь?

— Смотря по тому, что мне там делать.

— Установишь непосредственную связь с более авторитетными лицами, — сказала она. — Я нахожу... то есть мы оба находим, что нам уже не нужны третьи лица вроде Быкова. Пора уже обойтись и без посредников.

— Да, вы правы.

— Мы правы, дорогой.

— Ривелен тоже с нами?

— Нам его пути неизвестны.— Она, явно подражая тихому смеху Ривелена, продолжала: — Ха-ха... Как пути судьбы... Ха-ха!

— Не очень у тебя веселый смех.

— Кто ж весело смеется над судьбой?

— Удачники смеются. И превесело.

— Когда мы будем удачниками, тогда и похохочем превесело. А пока нас бьют. Не знаю, как тебе, Штрауб, а мне не нравится, когда меня бьют.

— Даже когда американскими долларами?

— Из всех ударов это самый легкий. Но они так редки, Штрауб, и так обманчивы. А главное, так требовательны. Вот ты увидишь.

— Я уже вижу.

— Не все, Штрауб, не все!

— Вижу и то, что не все вижу.

— Все увидишь, Штрауб, все!

— Жду с нетерпением.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Как мы уже говорили, сильно укрепленная река Случ была южным острием той большой белопольской скобы, которая впилась в советскую землю и направлена была против Конармии. Против этой скобы восемь дней длились упорные бои. Паны дрались отчаянно.

В начале боев Конармия пыталась пробиться на севере к Коростелю, но маневрам мешали густые леса и топкие болота, совершенно непроходимые после частых дождей. Тогда перенесли операции на юг с намерением форсировать реку Случ, а затем уже ударом на север захватить Новоград-Волынск.

3-я бригада 14-й дивизии уперлась в реку Случ и никак не могла форсировать ее. Узнав, что в бригаде много донских казаков, паны, издеваясь, кричали из-за реки в рупоры:

— Эй, ходи сюда, казак! Советская власть ничего тебе, кроме лаптей, не даст!

Донцы отвечали:

— Лапти, да свои! А у тебя один сапог, да и тот антантов!

Пархоменко, приехав в 3-ю, услышал эту перебранку.

— Что это значит? — спросил он Моисеева, комбрига-3.

Моисеев, сутулый, с темным лицом и добрыми глазами, похудел за дни боев и потерял голос. Сипя, он ответил:

— Запрещаю, товарищ начдив, но удержу нет.

— Это значит, — сказал Пархоменко, — что пан забывает о панике. Надо ему напомнить. Командование приказало вам форсировать Случ. Почему вместо форсирования ваши бойцы, товарищ комбриг, христосуются с панами? Когда форсируете реку?

— Весь день гремит со стороны пана канонада, — ответил, смущенно трепля коня по гриве, Моисеев. — А наши орудия по малочисленности не могут произвести сокрушения...

— Не можешь сокрушить артиллерией, сокруши хитростью. Казаки не только глаза, но и ловкость армии. Возьмите своих донцов, попробуем испытать их хитрость.

Пархоменко, Колоколов, Бондарь и Моисеев в сопровождении донцов медленно ехали вдоль берега реки. Они часто останавливались, молча смотрели на реку. В одном месте течение образовывало дугу, выгиб которой был направлен в их сторону. Донцы позади оживленно заговорили. Пархоменко, прислушавшись к их словам, остановил коня.

— Почему сюда паны бросают больше всего снарядов? — спросил он.— Смотрите, как лес поврежден, а берег изрыли, как кабаны.

— Ширина реки — пятьдесят сажен, берега в высоких кустарниках, ну и опасаются, как бы мы не попробовали здесь форсировать.

— А пробовали?

— Ничего не выходит, товарищ комдив. Переправное место, особо мощное... вглядитесь-ка!

Метрах в ста — полутораста, по ту сторону реки, у берега, Пархоменко разглядел в бинокль пригнувшийся караул легионеров, а подальше от него лежали широкие окопы и полукруглые бетонные укрепления с пулеметными точками.

— Этот самый караул и есть ихние главные глаза. Чуть что — бьет всем, чем может. Винтовка, пулемет, легкое орудие у него рядом.

— Глаза? — Пархоменко повернулся к донцам.— Думаю, у казака супротив пана глаза лучше?

— Куда! — отозвался один из донцов.

— Я тоже думаю: куда им! — И Пархоменко обратился к Моисееву: — Сколько вы силы сосредоточили на данном пункте, товарищ комбриг?

— Полк, товарищ комдив.

— Подтяните сюда остальные ваши силы. Что нам на панские глаза ссылаться, попробуем свои. Вызовите добровольцев и будем смотреть, как они снимут караул. Снимут?

Моисеев подумал и сказал:

— В вашем присутствии, товарищ начдив, снимут. Если они — глаза армии, то вы — сердце...

— Хватанул! Сердце армии — партия, любовь к советскому народу и к своей свободе... впрочем, пора начинать.

День был горячий, ветреный, безоблачный. Не верилось, что недавно еще бушевали дожди и ходили темные

низкие тучи. В сосновой роще пахло смолой, шуршала хвоя под копытами. Полк ждал приказа.

Поравнялись с первым эскадроном. Моисеев шепотом спросил:

— Вы, товарищ начдив, обратитесь? Или вы, товарищ комиссар?

— Начинай ты, как командир, — сказал Фома Бондарь.— Только не длинно; однако и о международном положении не забудь.

Комбриг-3 удивленно поднял брови: «Нам ли забыть?» — и, откинув назад плечи, подняв голову, стараясь говорить без сиплости, он громко сказал:

— Товарищи конноармейцы, казаки, рабочие и крестьяне! По ту сторону реки Случ укрепления Антанты. Вы видели караул противника? Он нам мешает форсировать реку. Казаки! Рабочие! Крестьяне! Неужели мы не сможем неслышно снять караул Антанты? Неужели не насыплем перцу на хвост американским, французским и другим империалистам, интервентам и захватчикам, нанявшим польского пана?.. Желающие — два шага вперед!

Весь эскадрон сделал два шага вперед.

Пархоменко, смеясь, сказал:

— Вот потому вы и не могли раньше форсировать реки, что стремились выйти всем эскадроном. А надо не больше двух добровольцев. Но от этих я требую такие особенности. Плавать умей тихо, не плещись. Значит, желательно, чтоб были рыбаки. Раз. Надо, чтоб по траве умели красться. А кто лучше пастуха умеет красться? Конокрады разве. Ну, конокрадов мы в армии не держим. Стало быть, нужны нам пастухи. Два. А третье, чтоб были люди смелые. Тут уж любого из эскадрона бери. Прошу выступить.

Вышло три группы по нескольку человек.

— Кто они?

Моисеев, откашлявшись, сказал:

— Ребята ничего, сходные. Которые влево, — партийцы, шахтеры. Рядом с ними — комсомольцы с Донца и с Харьковщины, селяне. Те, вправо, — из казаков, через Дон с Ворошиловым шли, бились у Царицына, люди испытанные.

Пархоменко внимательно оглядел группы:

— Кому же отдать предпочтение?

И он отъехал в сторону, размышляя вслух:

— Вправо которые, казаки, люди пожилые, подвигами сытые. Они пускай пока на подвиги других полюбуются. Но на чьи? На шахтерские? Шахтеры рядом с ними бились. Я думаю, что им обоим следует на детей своих полюбоваться, на молодежь, на комсомольцев. Как ты думаешь, товарищ Бондарь, поддержим мы полковую комсомольскую организацию, если на такое опасное дело комсомольцев пошлем?

— Комсомольцам будет полезно. Я одобряю вашу мысль, товарищ комдив.

— Выберите же комсомольцев, товарищ комбриг.

Моисеев, указывая на розового высокого парня с красными губами и квадратным подбородком, сказал:

— Кирпичников, Данило.

Второй, веснушчатый комсомолец был еще выше и широкоплечее первого. Боясь, что его не выберут, он стоял весь багровый и стал еще багровее, когда комбриг назвал его фамилию:

— Антон Снятых!

— Снятых? — сказал Пархоменко, улыбаясь.— Фамилия подходящая. Караул снимешь!

— Мы и рыбаками и пастухами были...— сказал торопливо Снятых, — что нам не снять!

— Опиши, как вы его снимете.

— Да мы разденемся...

— Ну, разделись. Дальше?

— Ну, разделись, взяли винтовки и, чтоб посходней, в одних шароварах плывем...

— Переплыли. Дальше?

— Дальше мы идем по-над берегом. Караул стоит на крутом берегу: ему всего полотна реки не видно, он видит только наш берег, кустарники...

Второй доброволец, перебивая, сказал:

— Ему, товарищ начдив, важно, что на нашем берегу подразделения не показалось, а отдельного бойца, который плывет, он надеется пулей уничтожить.

— Ну, прошли вы по-над берегом...

— А дальше, товарищ начдив, луг. Трава высокая, видишь? И не скошена. Мы — ползем. Подползли. Кинулись мы...

Антон Снятых сжал руки и побагровел. Он взглянул на стоявшего рядом товарища, который тоже побагровел от напряжения. «Да, плохо будет пану!» — подумал, глядя на добровольцев, Пархоменко. И сказал:

— Я думаю — не пикнут?

— Где пикнуть?! — ответили в голос добровольцы.

— Одобряю. Но только одно вы забыли, товарищи. Раньше, чем кинетесь на караул, перережьте провод, который от караула в окопы ведет. Это — главное. В окопах будут — жара! — дремать и думать, что мы здесь тоже дремлем, а что караул их не спит и телефон от него действует. Повторите, что вам предстоит делать.

Добровольцы повторили. Пархоменко посмотрел на Моисеева. Тот сказал:

— Вперед и помните о родине!

Между тем 3-я бригада подтягивалась неслышно к реке.

Основные силы сосредоточивались возле безыменного ручейка, впадавшего в реку неподалеку от мыса и заросшего кустарником и ветлами. Чуть заметно колыхались ветви, изредка звякало стремя о стремя, и слышался напряженный шепот:

— Только б караул не услышал... услышит, в окоп передаст, — и ка-ак дернут шрапнелью!

— Не каркай! Дернут! Вот как самого дерну плетью...

— Буде лаяться-то, казак! Антошка — природный пластун, а тут еще сам Пархоменко наблюдает.

Река сверкала. Бригада внимательно глядела через кустарники на реку, но ничего не видела на ней. Все знали, что пластуны уже разделись и вошли в воду, но куда они девались, никто не мог понять. Река была недвижна и сияла ровным и однообразным светом.

Белопольский караул почувствовал что-то неладное. Сначала поднялось два легионера с винтовками, затем еще трое. Все они, согнувшись и держа винтовки, внимательно глядели на противоположный низкий берег и на неподвижные кустарники и ветлы на нем.

В кустарниках и ветлах шепотом переговаривалась вся бригада:

— Да что они — утонули?

— Може, еще не отплыли?

— Какое не отплыли! Минут пятнадцать прошло.

— Больше!..

И вдруг на том берегу, возле крутого яра, заколебались желтые купавки и, выпачканные тиной, с вин-

товками, выползли и легли две фигуры. Бригада шумно вздохнула:

— Ну и черти!

— Эти плавают!

— Перенырнули, выходит? Из кустов в кусты?

— Теперь не то что пану, всей Антанте будет плохо!..

— Тише вы, ораторы, не терпится!

— Тсс...

Пластуны шли вдоль крутого яра.

Вот они завернули за мысок. Вот вскарабкались на яр. Вот сверкнул затвор винтовки. Парни скрылись в траве.

Трепет волнения опять пошел по кустарнику и среди ветел у ручейка. Пархоменко нервно потер рукой шею, а комбриг-3 шепотом сипло сказал:

— Мне тут покурить хочется, а каково-то тем, пластунам?

Пархоменко передал свой сильный бинокль Колоколову, Бондарю, а затем и Моисееву.

— А я и так вижу, — сказал тот, — голова без фуражки, позади караула, метрах в тридцати... проволоку режут! Эх, Антошка, пластун, милый, перережешь — в Москву, Ленину о тебе доложу.

Змеилась трава по направлению к легионерам.

И все, казалось, слышали, как ломаются под ногой пластунов сухие стебельки, и всем хотелось, чтобы подул ветерок и заглушил треск этих стебельков.

Пархоменко сказал шепотом на ухо комбригу-3:

— Пулеметы на правый фланг!

— Приказ отдан.

И одновременно с его словами о пулеметах два пластуна выскочили из высокой травы и бросились на легионеров. Кирпичников ударил штыком крайнего к нему легионера, раздробил голову второму прикладом, а Снятых в то же время успел справиться с тремя...

Моисеев выхватил шашку и, не задевая ею о ветви, которые отовсюду обступили его, крикнул приглушенно:

— На панов и на врагов социалистического отечества вперед, товарищи!

Бригада, — несколько пониже того места, где переправились пластуны и где по быстрому течению можно было угадать перекат и брод, — кинулась в реку. Лица

у всадников были возбужденные и счастливые. Но счастливее всех было лицо комбрига-3 Моисеева:

— Чую, плохо будет пану, а?

— Плохо, плохо! — отвечал, смеясь и радуясь на его возбуждение, Пархоменко.— И пану и Антанте нынче, кажись, не поздоровится!

Бригада по долине какого-то ручейка взметнулась наверх и мгновенно развернулась в атаку.

— Ура-а!..

Легионеры в окопах, спросонья и от неожиданности побросав оружие, кинулись бежать. Только одна рота, находившаяся в лесу, попробовала сопротивляться. Тогда часть бригады, вместе с комбригом, спешилась, выбила роту из леса в чистое поле и атаковала ее здесь в конном строю. Рота сдалась.

Пархоменко подскакал к эскадрону, взявшему в плен роту.

Позади эскадрона уже шли обозные подводы, нагруженные патронами и пулеметами, уже разговаривал, поторапливая обозников, Ламычев, а впереди ехали пластуны Кирпичников и Снятых.

Пархоменко остановил эскадрон, обнял комсомольцев и сказал:

— В своей революционно-военной деятельности я наблюдал три сорта смелости. Первый род смелости, когда человек обещает пройти вперед, предположим, тысячу метров. Обещает — и пройдет честно. Он не трус, он может и дальше пройти, но вот на дальнейшее у него размаху не хватает! Он думает, что прошел тысячу метров, то и достаточно. Ему больше и не надо. Он и учиться не хочет. Такого человека надо учить да учить. А есть еще и такой, что пройдет тысячу шагов, подумает — и еще тысячу пройдет. Но тоже остановится. Такого мы тоже будем учить и подтягивать. Но есть в нашей армии люди — бойцы, и таких большинство, которые пройдут сколько угодно, не испугаются пожертвовать свою жизнь ради успеха приказа командования... Такие люди учат не только себя, но и других! Таких людей мы ценим превыше всего. И таких людей мы будем ставить как пример. Вот почему, Кирпичников и Снятых, командование дивизии представляет вас к высшей награде — к ордену!

Он еще раз обнял комсомольцев и, улыбаясь, сказал эскадрону:

— А теперь пора на Новоград-Волынск. Путь нам открыт. В нем, сказывают, двадцать тысяч жителей, а из них — три тысячи купцов и тысяча дворян. Надо думать, эти враги революции все записались в «Шляхту смерти».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

...На другой день, в конном строю, был атакован Новоград-Волынск — город, который белопольские войска укрепляли долго, тщательно и всесторонне. Сюда на самолетах были доставлены американские, французские и английские инженеры, специалисты по полевым и крепостным укреплениям.

Город густо окутывали сети проволочных заграждений, пересекали окопы, всюду стояли батареи и пулеметы.

Можно было б эти укрепления и проволоку пробить снарядами, но, чтобы пробить проход лишь для одной дивизии конницы, требовались десятки тысяч снарядов, которые нужно было доставить гужом за триста километров. Никакая энергия сотни Ламычевых не помогла бы здесь! Что же делать?

Тогда Ворошилов сказал начальнику артиллерии:

— Найти лучший способ и прорвать в проволоке проход для конницы...

— Будет исполнено, — ответил начальник артиллерии. — Наилучший способ прохода конницы найдем!

И его нашли.

Этот наилучший способ заключался в том, что дивизион — двенадцать пушек — полным карьером вылетел на открытую позицию к самой передовой линии белополяков, повернул налево кругом и в то же мгновение ударил картечью в проволочные и другие заграждения белополяков. Таким образом, один снаряд заменил здесь триста снарядов, которые понадобились бы, если б пришлось бить из тех же самых пушек издали, за несколько километров.

Проход был найден. Новоград-Волынск пал.

Но проход был найден не только в укреплениях, окружавших Новоград-Волынск; он был найден в замыслах панов, думавших остановить Конармию. Опять паника воцарилась в войсках белополяков. Бойцы шутили: «Стала ровна дорога на Ровно».

Правительственные телеграммы из Варшавы, подкрепленные «дружескими указаниями» американского посла, щедро рассылаемые по всей линии отступающего белопольского фронта и требующие прекращения паники, оставались жалкими узкими полосками бумаги, на которые командование смотрело с раздражением и недоумением. Тогда Антанта пообещала грозное вооружение: танки. И действительно, она сдержала слово. 2 июля из Ровно на позиции были направлены танки. Но в тот же день среди легионеров распространился слух, что железнодорожная линия из Ровно на Ковель перерезана дивизией Пархоменко, что дивизия того и гляди ворвется в Ровно и что танки потребуются для защиты самого города. И они поспешно вернулись в город, а обслуживающий их персонал стал искать повод для того, чтобы незаметнее покинуть свои машины.

В тот же день, вернее ночью, в 11 часов, под ружейно-пулеметным огнем белопольских войск 14-я перешла вброд реку Горынь. Через день, в полдень, конники Пархоменко прорвали фронт 3-й пехотной дивизии белополяков, сопротивлявшейся упорнее других войск. Паны кинулись в Ровно.

Через пять часов 14-я уже дралась с легионерами в предместьях города, а в 11 часов ночи ворвалась в него, захватила свыше тысячи пленных и полторы тысячи лошадей, приготовленных для формирований, которые поручались Барнацкому.

— Взяли Ровно, но дух наш тоже должен быть ровным, — сказал Пархоменко. — Обдумывайте положение спокойно и обстоятельно. Не зарывайтесь. В одном месте враг сопротивляется слабо, в другом — он подтянет силы, и вы, распустившись, можете нарваться на плохую неожиданность. Поэтому не забывайте разъяснять бойцам необходимость бдительности и осторожности. Учите, агитируйте, делайте людей сознательными.

— А от Ровно будет дорога ровна! — пробовал шутить комбриг-3 Моисеев. — Политработники не меньше других устали, Александр Яковлевич.

— Устал не устал, а действуй, — сказал Пархоменко. — Об усталости разрешается говорить на отдыхе, да и то не всегда. Что касается ровной дороги, то на нее нам, революционерам, надеяться не стоит.

Так как стоянок до Дубно не было, то митинги и собеседования проводили на марше. Комиссар дивизии

Фома Бондарь ехал в одном эскадроне, Пархоменко — в другом, предревтрибунала Соколов — в третьем, да и всем другим, в том числе и Колоколову, нашлось место, где говорить. Говорить речь на ходу трудно, а в особенности после боя или в ожидании боя. Однако говорили, и говорили неплохо, а когда подъезжали к короткому привалу, то перед тем как слезть с коней, голосовали резолюцию. Резолюции были краткие и все заканчивались одинаково: «Смерть Антанте и мировому капитализму! Да здравствует Ленин!» Пархоменко отсылал эти резолюции в газету «Красный кавалерист» и требовал, чтоб их там печатали.

— Очень важно, — говорил он, — передать настроение четырнадцатой всем бойцам Конармии. Настроение у нас передовое.

И Фома Бондарь добавлял:

— Настроение у нас пролетарское: поскорее взять Дубно и идти дальше, на Западную Украину.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Но Дубно не давалось.

Пятые сутки, день и ночь, Конармия билась под Дубно.

Пять суток без сна и отдыха! Но если сосчитать всю продолжительность боев на белопольском фронте, то окажется, что Конармия билась уже свыше сорока суток. Сорок суток без передышки и при таком плохом снабжении снарядами и конями, что даже всегда не унывающий Ламычев хватался в отчаянии за курчавую голову и кричал: «Седею!»

Пополнения людьми поступали тоже медленно, а вернее сказать и совсем отсутствовали. Еще в Таганроге создали управление формирований Конармии, но теперь его превратили там в дивизию, и оно не только не формировало части, а само ушло драться с Врангелем. Бригады, имевшие в мае по полторы тысячи сабель, теперь едва насчитывали по пятьсот, так что Пархоменко, ведший три бригады, в сущности вел одну. Часто белополяки отступали так стремительно, что усталые и голодные кони наши не могли догнать их пеший бег. И смешно и досадно до боли!

Ко всему тому шли слухи, что командование западным фронтом требует, чтобы Конармия для удобства маневрирования была передана в ведение западного фронта. 12-я и 14-я армии, стоящие в соседстве с Конной, не могут из-за того, что Конная находится в ведении командования юго-западного фронта, действовать согласованно, а оттого операции их проходят неудачно.

— Слышал о переброске нас на западный фронт? — спросил Пархоменко вернувшегося из Киева Ламычева.

— Слышал. Но меня, Александр Яковлевич, это не волнует. Меня конь волнует, Александр Яковлевич. Коней мне в Киеве дали мало.

— А людей?

— Людей и того меньше.

Когда Ламычев вошел, Пархоменко читал приказ командования юго-западным фронтом. Конармии поручалось, окончательно разгромив дубно-кременецкую группу противника, направить главную массу конницы на занятие Львова. Военспец Колоколов, прочитав этот приказ, поморщился. Он объяснил, что хотя ему и не подобает критиковать мнение Главкома, основанное, должно быть, на неправильной оценке сил белополяков, но нацеливать юго-западный фронт на Львов — неправильно. Пути двух фронтов, то есть западного и юго-западного, могут разойтись... Пархоменко вспылил:

— Что ж, по-вашему, и Главком ничего не понимает и наше — юго-западное командование?

Колоколов опять поморщился и промолчал.

Сейчас Пархоменко вспомнил этот разговор. Командование юго-западного фронта он глубоко уважал, и ему казалось, что оно неспособно к ошибкам. Поэтому, чтоб не думать лишнего, он заговорил о Львове:

— Львов! Слышишь, Ламычев, Львов! Древняя украинская земля. Сердце трепещет, как скажу — Львов. Хороший приказ!

— Я тоже думаю — хороший. А как, Александр Яковлевич, львы с конями уживаются? Коняги в том Львове найдутся? — И Ламычев подмигнул.

— И кони будут, и всякое другое снабжение, да и люди к нам подвалят. Во Львове — пролетариат.

— Дай-то бог! А то здесь мужик какой-то забитый. Не нравится он мне. Пана, верно, не любит, но к оружию тоже не способен.

— Будет их время, будут и способны.

— Дай-то бог! А то встретил я в Киеве такого хлюста, тоже военспец, сукин сын... Быков такой. Хохочет! «Ничего, говорит, у вас не выйдет!» Порубил бы я его, да говорят: «Нельзя — заручка у него большая; только ты, Ламычев, Конармии навредишь».

— На западном фронте они оказались не очень-то мозговитыми, слабенькими. Ну, надо их выручать! Другими, которые умеют и хотят воевать.

— Так это ж ихняя плохая выдумка, ложь!

— Скользка глина, Терентий Саввич, а ложь еще скользше. Вот и думают они, что мы на этой лжи поскользнемся. Нам ухо надо держать востро. Быкова тогда изрубим, когда на прямой измене поймаем.

— Фу-у... Так это ж кругом измена! Упрел я от этих мыслей, как на четверке с выносом ехал. Не могу я так думать!

— Нет, ты думай. Опрокинули мы русский капитализм; класс гнилой. Ну, перешагнули. А гнилья-то много на подметках осталось, оно и заражает. Вот Львов займем, покажем пролетариату нашу силу, — будет легче.

— Надо Львов занять, — сказал Ламычев.

— Непременно займу!.. Дай-ка, Саввич, карту. Что-то меня беспокоит, что вокруг Дубно много болот. Не люблю я болота... еще в империалистическую надоели.

Он задумался над картой. Ламычев, следя за его рукой, чертившей отметки на карте, спросил тихо:

— А чего ж ты все в болоте чертишь?

— А то, что, кроме болот, другого пути к Дубно нету. Позови ко мне, Саввич, Колоколова да вели собрать со всей дивизии белорусов. Там, помнится, в первой бригаде Григорий Отражной служит... Он был ранен легонько под Ровно, наверное, из лазарета уже выписался. Умный, помнится, боец. Его непременно пригласи. Через степи, реки, леса ходили, — через болота ли не перейдем?

— Да много их!

— Такая уж у нас земля: всего много. Ну, значит, со всем и управляться надо уметь. Управимся, поди, и с болотами...

Дубно действительно с трех сторон окружено болотами.

По плану, разработанному Пархоменко, Колоколовым и белорусами, конники прорвались по тропинкам среди болот и внезапно выскочили на холмы, поросшие сосной, дубом и грабом.

Но и на этих холмах, среди дубов и грабов, бесчисленные и мощные окопы, перевитые проволокой. Враг сопротивляется, а для того, чтоб он оказывал еще более упорное сопротивление, над красной конницей, сбрасывая бомбы, проносятся самолеты противника. Дубно не подпускало.

Особенно настойчиво защищали паны переправу и деревянные мосты через Икву. Бой затянулся. Самолеты летали часто. Дубно действовало...

В дивизию приехали Буденный и Ворошилов.

— Что это вы здесь копаетесь? Очищать надо дорогу на Львов.

— Замусорена дорога, товарищ Буденный.

Стали обсуждать положение. И было решено, дабы прекратить затяжной бой: одним полком производить демонстрацию и сковывать противника, а другим обойти и внезапно атаковать с тыла...

— И желательно в конном строю. Не любит пан конного строя!

— Каким полком атаковать?

— Выбирай сам, Александр Яковлевич.

— Я бы выбрал восемьдесят первый. «Шахтеры и донцы рядом большие молодцы», — такая уж у нас поговорка выработалась в дивизии.

— Действуйте, действуйте на Дубно!

Пархоменко, как всегда в серьезных операциях, поехал с командирами во главе колонны.

— Напрасно ты так рискуешь собой, Александр Яковлевич, — сказал ему Ворошилов.

— На войне, Климент Ефремыч, без риска нельзя.

— А все-таки побереги себя. Нарвешься когда-нибудь.

Пархоменко сказал, смеясь:

— Тогда, надеюсь, добрые люди скажут: хоть и нарвался, а для нас.

В дороге, среди бойцов, Пархоменко говорил:

— Что такое конь, товарищи? Конь есть твое второе сердце. Даже если ты струсил в бою, — это, впрочем, вас сейчас не интересует, — конь тебя спасет, вытащит. Ну, а при движении вперед, вроде сегодняшнего, конь удесятеряет нашу силу. Это я испытывал часто! Перед боем вроде дрожишь, а как он под тобой пошел, вся дрожь в тебе проходит и ты богатырем сидишь.

Он оглядел бойцов и сказал:

— Вот, вроде вас!

Перед тем как войти в высокую рожь, за которой стояли батареи врага, готовые бить по конникам с дистанции семисот метров картечью, Пархоменко выстроил полк.

Он стоял перед полком, положив руку на плечо Гайворона, командира полка:

— Нас ждут батареи и картечь. Проскользнуть трудно — не мухи. Но наша внезапность и отвага слепят врага. И будем надеяться, что расчистим дорогу на Львов. Во Львове лежит ваша слава, товарищи!

Он глубоко вздохнул и затуманившимися глазами оглядел полк. Он знал по дыханию людей, когда подходит тот момент, при котором голос командира, призывающий к атаке, звучит желанно и весело. Этот момент приближался, он чувствовал его в себе и видел в лицах других. Именно об этом моменте он говорил Гайворону, когда въезжали в рожь: «Сниму руку с плеча, ты и кричи: «Вперед!» Плечо Гайворона вздрагивало под рукой Пархоменко.

Он продолжал, глядя в высокое голубое небо и переводя оттуда глаза на лица бойцов:

— Хорошо идти на Львов! Кругом, плечом к плечу, твои товарищи, которые тоже идут на Львов. Вот мы, восемьдесят первый полк, стоим во ржи, и чудно нам думать, что Дубно мы возьмем атакой двух полков. Нет! Я вам открою тайну перед атакой. В атаку пойдет не два полка, а целых две дивизии. Так что мы здесь восемьдесят первым полком подтяжки только обрезаем пану, а штаны будем тянуть уже сообща, двумя дивизиями.

Полк тихо захохотал.

Пархоменко, смеясь, продолжал:

— Здесь, товарищи, в окрестностях Дубно, имеется сто семьдесят пять тысяч десятин земли, а владеют ею только триста помещиков. Триста! Выходит, живут богато. Зачем, — когда произошла социальная революция и земля должна принадлежать народу? Восемьдесят первый полк намерен помешать им, помещикам, в этой хорошей жизни! И еще я сегодня узнал, что в Дубно, во французскую революцию, жил принц Кондэ, который группировал здесь войска, чтобы подавить санкюлотов. Наша революция поглубже будет, так что теперешние Кондэ группируют войска не только в Па-

риже, но и в Вашингтоне. Что ж? Если французы своего Кондэ били, то нам-то американских и польских кондэвистов бить и сам бог велел. Короче говоря, хлопцы, — смерть Антанте!

И он снял руку с плеча Гайворона.

Комполка Гайворон не успел раскрыть рта, чтобы крикнуть «вперед», как полк уже рубил прислугу батарей противника.

Дубно было взято.

Два полка 14-й за отличные действия под Дубно получили почетное название «Дубнинский» и «Хорупанский» — по имени лесов, возле которых происходили бои.

Гайворон, выслушав приказ о почетном наименовании полков, сказал Пархоменко:

— Это название и к вашей фамилии не мешало б прибавить, Александр Яковлевич. Батарею-то порубили и потерь не понесли после вашей речи! Очень вы крепко говорили.

Пархоменко промолчал. А когда после собрания шли в штаб, он сказал Гайворону:

— Я и сам насчет этих речей удивляюсь. С чего это меня перед боем на речи тянет? Ведь в других-то случаях я плохой оратор! Думаю, что и здесь я плохо говорю. Слушают хорошо! И говорить хочется, потому осмысливают положение. И осмысленно желают воевать! К полному смыслу жизни идем мы, Гайворон, к полному!

— А какой же это полный смысл жизни, Александр Яковлевич?

— Социализм, — ответил Пархоменко.

...После взятия Дубно 14-й было поручено, описав громадную дугу по левому берегу реки Стырь, выйти к Разихов-Холуев.

— А где он, этот Разихов? — спросил Ламычев, глядя, как Пархоменко опять размечает карту.

— Под Львовом.

— Ну?

— Оттуда, говорят, и львовский кремль видно, и ратушу, и те Фердинандовы казармы, где паны свои части формируют. Мне один пленный описывал, что на стенах этих казарм и по сие время стоят солдаты и офицеры во всех формах австро-венгерской империи. Я спрашиваю: «Чего ж не стерли?» Он отвечает: «Некогда». Я ему и говорю: «Ну, тогда наш Ламычев сотрет».

— Меня эти формы не занимают,— сказал Ламычев, — а вот не сказал ли пленный, сколько у них там коней заготовлено? Мне кони ихние нужны, поскольку я уверен, что Львов будет наш.

— Уверен? Раньше, что ж, сомневался?

— Не то чтоб вполне, но отчасти. Военспецы контрреволюционные мешают... ну, и другие гадюки, про которых вслух не скажу, поскольку они на высокие посты влезли. Теперь у меня сомнений нет: успеем взять Львов!

— Почему ж успеем?

— В панике! В сильной панике находится пан. Те же пленные, что вам про Фердинандовы казармы рассказывали, передают, что из Франции во Львов химические снаряды привезли. Но только пусть попробуют! Наш солдат в такую ярость от ихнего газа впадет, что от всего капитализма камня на камне не оставит!

Двадцать пятого июля белополяки покинули Радзивиллов — торговое местечко и бывшую таможню у бывшей австро-венгерской границы.

В тот же день паны обстреливали расположение войск Конармии химическими снарядами, которые вызывали рвоту.

В гневе и ярости Конармия разворачивалась на ближайших путях, ведущих к древнему украинскому городу Львову.

Направления двух фронтов — западного и юго-западного — явно расходились в разные стороны. В результате этого расхождения западный фронт, — в нужные и решающие часы, — мог оказаться без поддержки юго-западного, а война без взаимодействия частей не война. Это видело немало людей, и поэтому вопрос об отношениях между западным и юго-западным перешел на обсуждение ЦК.

Пятого августа 1920 года ЦК ВКП(б) обязал провести объединение обоих фронтов под общим командованием западного фронта.

— Объединимся, — сказал Пархоменко Колоколову, узнав о решении ЦК, — за Львовом, должно быть. Как командование прикажет.

Ему хотелось добавить: «А вы ведь, Колоколов, были тогда правы», — но он промолчал.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Во всем чувствовалось, что предстоят большие события.

Папы дрались с бешенством отчаяния.

Восьмого августа белопольские части семь раз подряд ходили в атаку против 1-й бригады 14-й дивизии. Легионеры шли густыми цепями.

— За себя я не боюсь, — сказал Пархоменко, — а вот смущает соседняя, двадцать четвертая дивизия. Она что-то очень устала.

И действительно, уже после третьей атаки легионеров, направленной не только на 1-ю бригаду, но и на соседнюю с нею 24-ю дивизию, эта дивизия дрогнула.

— Подвести остальные две бригады, — приказал Пархоменко, — и выстроить всю четырнадцатую для контратаки! Нельзя форсировать Буг, пока не разбили вот этих панов, что зазря на нас лезут!

Поле, где развертывалась 14-я, было широкое, хорошо высохшее, так что казалось, можно различить топот каждой лошади. Пархоменко любовался разворачивавшейся дивизией. Когда она развернулась, он выехал вперед и громко, так, что слышал его самый задний боец, прокричал:

— Дивизия, руби!..

И зарубили не менее тысячи легионеров.

Противник был смят.

Дивизия вышла к местечку Холуев.

Десятого августа с раннего утра 14-я двинулась в обход Львова.

— День вроде бы и осенний, — сказал Пархоменко, глядя на небо, густо залепленное тучами, — а будет так жарко, что жарчей лета. Какими силами противник ведет наступление?

Колоколов сказал:

— Тремя пехотными полками и кавалерийской дивизией.

— Выдержим?

— Противник силен, но надо выдержать.

— Правильно! Надо. Враги ведут атаку не только в лоб, — в спину того и гляди ударят!

Пархоменко поймал на шее овода, раздавил его и бросил под ноги.

— Играют белополяки Львовом, а сами вдруг да и

перебросили все свои силы под Варшаву? Или, — подумал вслух Пархоменко: — ...или мы в самом деле возьмем Львов?

Собеседники ему ничего не ответили.

Они стояли на улице местечка, возле высокого частокола. Соседний дом был разрушен артиллерийским обстрелом, но хозяйка дома сидела возле него. Маленький ребенок спал на узле, а детишки постарше, взявшись за руки, караулили другие узлы. В конце улицы показалась подвода. Несколько деревенских парней шли за нею. Лошадь с огромным животом, впряженная в подводу, поравнялась с Пархоменко. Возница в соломенной шляпе, бросив на спину лошади тонкие грязные вожжи, поклонился и спросил, указывая на своих спутников, куда идти записаться в Красную Армию. Это — украинцы, да и он сам украинец, и «мы давно ждем русских. В Красную Армию много запишется»!

— Вот тебе и резервы, Ламычев! — сказал Пархоменко, весело улыбаясь.

Мимо зарядного ящика без колес и разбитой, сплющенной кухни скакал ординарец. Не спрыгивая с коня, он подал донесение и открытку-фотографию Пилсудского с его надписью: «Вперед, сын Польши!»

— «Шляхта смерти» вступила в бой, товарищ комдив! — сказал ординарец. — От самого лично Пилсудского каждый легионер имеет такую фотографию.

— Есть, значит, ему время подписывать? Ну что ж, придется зачеркнуть его подпись. — И он обратился к ординарцам: — Захватить пулеметы!

В донесении сообщалось, что полк, атакованный «Шляхтой смерти», дрогнул. В последних боях этот полк понес большие потери, и когда Пархоменко писал о них, прося пополнения, ему сказали, что об этих именно потерях будет сообщено в Киев. «Киев, надо полагать, пришлет пополнение. Не через Быкова ли он прислал вот этих?» — сжав губы, думал Пархоменко, скача навстречу «Шляхте смерти».

Но раньше, чем он увидал «Шляхту смерти», он встретил свой полк, который полностью, повернув обратно, бежал.

Пархоменко выхватил шашку и приказал ординарцам поставить на видном месте пулеметы.

— Стой! Перестреляю иначе из пулеметов. Где командир? — крикнул он.

Подскакал эскадронный, раненный в бок.

— Командир убит, товарищ начдив.

— Где комиссар?

— Комиссар ранен.

Эскадронный свалился на гриву коня. Рядом вместо него встал другой.

— Идет на нас целая бригада, товарищ начдив! «Шляхта смерти», будь она трижды проклята! Мы против той бригады...

— Что, бригада?! Корпус вас не имеет права обращать в бегство! Расступись!

Полк послушно расступился. Пархоменко проехал вперед. Не оборачиваясь, он чувствовал, что полк уже готов идти за ним.

— Где ваши позиции, товарищи?

— А вон то поле, что возле мельницы.

— Поворачива-ай!..

Полк повернулся, но, однако, стоял на месте.

Так же неподвижно стояла и «Шляхта смерти». Легионеры были одеты в синие мундиры с желтой выпушкой и красные штаны. Пархоменко, вглядевшись в них, громко захохотал:

— Ха-ха! Что это они, как на маскарад, напрокат, французскую форму одели?! Ха-ха! Я эту форму знаю. Я ее на старых картинках видел! Да они что, кого за дураков считают?

Между двумя лавами, по-прежнему стоявших неподвижно друг против друга метрах в четырехстах, лежало большое поле.

На поле был посеян клевер, но его частью скосили, частью истоптали. Посредине поля, на скрещении двух дорог, валялась длинная телега с поднятыми оглоблями и сломанной осью. Должно быть, какой-нибудь местечковый торговец вез товар, да и погиб вместе с ним. У телеги валялись ящики из-под конфет с яркими фабричными наклейками, блестели бутыли, а поодаль лежал труп человека и еще дальше его «капелюха» — шляпа с большими полями.

Пархоменко не начинал атаки потому, что хотел дать возможность полку несколько передохнуть и собраться с силами, а главное — успеть установить позади пулеметы: он рассчитывал, что, если атака будет неудачной и полк опять отступит, преследующую его «Шляхту смерти» можно будет встретить пулеметным огнем.

Офицеры и легионеры «Шляхты смерти», которую вел Барнацкий, в этот день получивший повышение в чине, кипу фотографий Пилсудского и категорическое приказание уничтожить дивизию Пархоменко, стояли неподвижно потому, что, увидя, как полк красной кавалерии, обращенный в бегство, внезапно остановился, решили — к этому полку подошло подкрепление.

Барнацкий, подобно прочим белопольским офицерам, желал и был уверен, что разгромит дивизию Пархоменко, но все же слава непобедимой Конармии заставляла его быть осторожным. Он приглядывался. Приглядевшись и решив, что подкрепление не велико, скомандовал движение на красных.

«Шляхта смерти» отлично слышала команду, но не двигалась. Она по-прежнему изучала противника и не желала рисковать. Барнацкий повторил команду. «Шляхта смерти» не торопилась на смерть. Тогда Барнацкий плюнул и, крикнув:

— За мной, панове! — бросился вперед.

Пархоменко видел, как от группы белопольских офицеров отделился всадник на сером коне. Пархоменко думал, что за ним последует вся вражеская бригада, но никого не последовало.

— А-а! Боятся! В одиночку хотят начать? Ну что ж, начнем! — Он повернул голову к бойцам и громким голосом проговорил: — Если бьешь, так бей насмерть! Только смертельная рана внушает ужас, и противник бежит! Например, глядите!

И он тронул коня навстречу пану в синем.

Барнацкий, ощущая в руке легкую тяжесть сабли, с тем особенным чувством остроты восприятия, которое дается обстановкой боя и которое в данном случае, — несмотря на то, что «Шляхта смерти» остановилась, — усиливалось абсолютной уверенностью в успехе, приближался к высокому всаднику на вороном коне в черной развевающейся бурке и серо-голубой папахе.

Абсолютная уверенность в успехе исходила из того, во-первых, что Барнацкий бивался неоднократно с немцами на западном фронте и стычки эти всегда оканчивались его победой. Во-вторых, он наполнен был несокрушимым, казалось, презрением к «хлопам», которое он и выявил, как мы видели, при своем управлении контрразведкой и при допросах измученных тюрьмой и пытками пленных и арестованных.

«Однако кто бы это мог быть?» — думал он, вглядываясь в фигуру всадника, которая казалась ему знакомой. Он много знал русских офицеров, и это, несомненно, один из них, поступивший на службу к красным, чтобы избавиться от голода и притеснений. «И хорошо было бы, — продолжал думать он, стегая коня, — вспомнить его фамилию, окрикнуть и увести с собой, под носом у красных! Ах, как хорошо!» И он оглянулся назад и криком позвал за собой «Шляхту смерти», которая уже чувствовала себя готовой двинуться за ним, но не двигалась лишь потому, что ей любопытно было посмотреть на этот, редкий в теперешней войне, поединок на саблях. Барнацкий понял настроение своих подчиненных, и это была еще одна причина, которая подбодряла его.

Барнацкий приближался к опрокинутому возу. Он брал лево-лево и потому, что воз мог помешать стычке, и потому, что труп и «капелюха» возле него — неважная примета. «Лево-лево!» — твердил он и при одном из этих восклицаний вдруг вспомнил, где он видел этого высокого всадника. Он видел его на фотографиях, и именно его фигуру описывали вчера, когда направляли «Шляхту смерти» на уничтожение дивизии красных и ее командира. Пархоменко! Конечно же! Черная бурка, вороной конь, серо-голубая папаха, несмотря на то что лето... «Пархоменко?! Не может быть! Откуда? — думал он, весь сотрясаясь от злобы и легкого испуга, вызванного, несомненно, неожиданностью встречи. — Прекрасно!» — И он взмахнул саблей...

— Э-э-эх!.. — вскричал он с досадой.

Метил он хорошо, но попал неважно: только лишь разрезал саблей бурку и кожан под ней. Барнацкий взмахнул второй раз саблей и опускал ее уже обратно, и опустил было до уровня своего уха, — как в это время Пархоменко, приподнявшись на стременах и набрав воздуху, ударил и разрубил бывшего ротмистра, ныне командира «Шляхты смерти», от плеча до пояса, вместе с фотографией пана Пилсудского, которая лежала у Барнацкого на сердце. «Э-эх, из пистолета бы его...», — смутно подумал Барнацкий, и ему представилось, что он, вместо того чтобы бить Пархоменко саблей, выстрелил из пистолета и тот упал вместе со своим вороным конем.

Но падал Барнацкий — и вместе со своим серым конем.

— Вот этот бьет саблей! — в один голос сказал полк, бросаясь на врага.

«Шляхта смерти» повернула в ужасе к Львову.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Ординарец достал документы командира «Шляхты смерти». Пархоменко, не слезая с коня, просматривал их с недоумением. Барнацкий, опять-таки все из-за той же абсолютной уверенности в успехе, взял с собой письма Пилсудского, телеграммы из Варшавы, приказ об уничтожении дивизии Пархоменко, сообщение, что к нему едут его жандармы, служившие вместе с ним в Житомире...

«Вот он какой, Барнацкий», — думал Пархоменко, глядя на труп в синем, вокруг которого летали крупные мухи.

— Да, разные бывают встречи, — сказал он вслух. — Спросите у пленных, нет ли здесь еще агентов Штрауба и Ривелена?

Но никто из пленных не мог ничего сказать о Штраубе и Ривелене.

Пархоменко вернулся в свой штаб. Колоколов доложил, что операции дивизии, равно как и операции всей Конармии, развиваются успешно. Противник по всему фронту отступает к Львову. Пархоменко бросил на стол к начштаба документы, взятые у Барнацкого.

— Господи! Да они всех жандармов на фронт бросили! — радостно воскликнул Колоколов. — Ну, нам везет, Александр Яковлевич. В силу того, что жандармы на фронте, — политические в львовских тюрьмах, может быть, уцелеют. А затем — это же полный признак паники!

— А это — признак чего? — мрачно спросил Пархоменко, дрожащей рукой передавая Колоколову только что полученную шифровку.

Главное командование повторяло свое решение о выводе Конармии с львовского направления и передаче ее в распоряжение командования западного фронта.

— А что Реввоенсовет юго-западного фронта?

Пархоменко передал Колоколову ответ на шифровку.

Реввоенсовет юго-западного фронта считал передачу Конармии и увод ее с львовского направления возмож-

ным только в том случае, если будет установлена прочная оперативная связь со штабом западного фронта. Но штаб западного фронта находился в Минске. Какая же тут может быть прочная связь с ним? Поэтому командование юго-западного фронта предлагало главкому усилить Конармией крымский фронт, а пока, уничтожив противника сокрушительным ударом в короткий срок, форсировать Буг и захватить Львов.

— И правильно! — воскликнул Колоколов. — Нужно докончить успешно начатую операцию, а не ползти сквозь леса на западный фронт!

— Подождите, подождите! — сказал Пархоменко с оживлением. — Да вы ж, Колоколов, были против похода на Львов.

— Был, пока его не начали, а раз начали...

Пархоменко, помолчав, сказал:

— Есть решение ЦК. Как же тут?

И опять его собеседники ничего не ответили.

Четырнадцатого августа главком прислал распоряжение о том, что с сего дня Конармия поступила в оперативное командование западного фронта. Для связи со штабом западного фронта в Киеве был создан особый оперативный пункт.

Конармия, продолжая бой, приближалась к Львову.

Началась местность, обильно изрытая канавами, с множеством волчьих ям, с таким обилием колючей проволоки, что казалось, ее больше, чем травы. Приходилось в силу этого действовать почти исключительно в пешем строю.

И все же Конармия двигалась и двигалась.

Ночью в бинокль Пархоменко увидел мерцающие оранжевые огоньки. Львов? Не веря своим глазам, он передал бинокль Колоколову.

— Львов?

— Львов, — ответил Колоколов.

— Львов, — сказал Фома Бондарь.

И все трое вздохнули. Нужно было возвращаться в штаб и было страшно возвращаться в него. С минуты на минуту ждали нового распоряжения главного командования. Вдруг да Конармии будет предложено идти на север, сплошными лесами и болотами, где коннице нельзя развернуться и где фактически она будет обречена на гибель?

Шестнадцатого августа была получена первая директива от Тухачевского, командующего западным фронтом.

Конармии предлагалось идти на север.

Буденный и Ворошилов ответили:

«Армия в данный момент выйти из боя не может, так как линия реки Буг преодолена и наши части находятся на подступах к Львову, причем передние части находятся в пятнадцати километрах восточнее города и армии дана задача на 17 августа овладеть Львовом».

Конармия приближалась к окраинам Львова. Бойцы 14-й дивизии видели длинную вышку городской ратуши. Мосты и здания горели. Пленные сообщали, что город поспешно эвакуируется. В городе стоит шесть белопольских дивизий и собрано несколько полков из добровольцев, но состояние их духа таково, что они не сегодня-завтра разбегутся.

— Шесть дивизий! Привести в порядок бронепоезда, надеюсь их использовать против этих шести дивизий, — сказал Пархоменко, имея в виду захваченные возле Каменки два панских бронепоезда.

Конармия продвигалась вперед, несмотря на то, что ее обстреливали из тяжелый орудий, бросали бомбы с аэропланов и встречали минометами и пулеметами.

Однако 17 августа Львов не был взят. Тогда верховное командование категорически приказало Конармии идти на север.

— Правильно, — тихо, с горечью в голосе сказал Пархоменко. — Иначе что ж получается? Бунт.

— Правильно-то правильно, — также тихо отозвался Колоколов, — только не поздно ли?

Было действительно поздно.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

К тому времени, когда Конармия вступила в леса, начались опять дожди, усиливающиеся с каждым днем. Дороги разбухли так, что те тяжелые дороги, по которым делали прорыв возле Самгородка, казались шуткой. Кроме дорог, мучили и плохие вести. Западные армии, то есть те самые, к которым Конармия шла на выручку, отступали, и выручить их теперь невозможно. Западным армиям уже пришлось оставить Брест-Литовск, тем самым позволив панам вести подкрепления с севера и бить Конармию в районах Замостья.

Тридцатого августа Пархоменко спросил у Фомы Бондаря:

— А ты, Фома Ильич, помнишь всех генералов, которых мы били под Львовом?

— Разбили мы там, помнится...

— Подожди. А чью последнюю группу мы били?.. Она еще сформировалась во Франции...

— А!..

— Генерала Галлера, — подсказал Колоколов.

— Разбили мы генерала Галлера... — начал было Бондарь.

— Били, да не разбили, — сказал Пархоменко со злостью.— А теперь этот Галлер занял Камаров-Тышевце, отрезав нам отход к югу. Опираясь на действия Галлера, командующий белопольской армией Сикорский издал приказ. Мы перехватили его. Он начинается так: «Частям, находящимся в моем распоряжении, в один час ночи 31 августа перейти в энергичное наступление, в результате которого может быть окончательное уничтожение армии Буденного...»

Он бросил шифровку и, заложив руки за спину, крупными шагами стал ходить по избе.

— Сколько у тебя боеприпасов, Саввич?

— На исходе, — ответил Ламычев.

— А сухарей?

— На исходе.

— А энергии?

Ламычев захохотал:

— Пока хватает, Александр Яковлевич. Терпим. Всем туго. Всей стране. А все-таки и терпим, и живем, и даже мечтаем. Мне вон ребята из армейской газеты сказывали, что радио из Москвы прислано. И пишут в том радио, что строится в Москве воздушный корабль. Ну, раз корабль строится, значит, не только что мечтаем, а и полететь на корабле хочем! — И он, подмигнув, тоненьким голоском запел: — «На берегу сидит девица...»

— Кабы не дожди, — сказал, глядя в тусклое залитое водой окно, Колоколов, — мы бы и из этого приключения с честью выкарабкались.

Пархоменко засмеялся:

— А вы не в окно глядите, а на Ламычева. Корабль! Не могут они нас погубить. У нас — корабль, выплывем. Не по воздуху, так по воде!

Ламычев обиделся.

— Да я не с обидой, а с уважением к тебе сказал,— проговорил Пархоменко, протягивая Ламычеву табак.— Кури, да надо к частям.

Частям идти было все трудней и трудней.

Просеки и лесные дороги превратились в непроходимое болото. Над этими болотами, как только расходились тучи, вместе с волнами комаров появлялись белопольские самолеты. Они бросали бомбы и обстреливали из пулеметов. Чтобы прогонять самолеты, эскадроны придумали «решето». При звуке мотора бойцы строились в большое каре, и, когда самолет оказывался над этим каре, они открывали огонь. Самолет, опутанный сплошной сетью пуль, падал на землю. И вскоре шум мотора не пугал, как раньше, бойцов, а, наоборот, веселил их, вызывая азарт.

Однажды дивизия увидела крупные просветы между соснами.

Бойцы прибавили шагу.

Перед ними, поросшие мелким кустарником, сквозь которые видны были нескончаемые кочки, простирались непроходимые торфяные болота. Конармия зашла в тупик.

Пархоменко, стоя перед вонючей коричнево-зеленой топью, сказал Колоколову:

— Когда-то, при царском режиме, сидел я в тюрьме. Я и тогда интересовался военным делом. И сидел там тоже один офицер. Я и попроси его: «Учи». Он учил ничего, с толком, только очень дефиле любил. «Дефиле, дескать, это такое положение, когда ты в узком месте заперт и со всех сторон на тебя враг жмет». Я не верил. Не может существовать такого положения для настоящего солдата! И ни разу в него не попадал. А теперь, товарищ начштаба, я в дефиле?

— В дефиле,— ответил Колоколов.— И, можно даже сказать, в классическом.

— А корабль! — с хохотом сказал Пархоменко.— У нас же корабль есть в запасе! Корабль — вера он называется! Вера! Выйдем, Ламычев? Выплывем?

— Обязаны, — сказал Ламычев.

— Выйдем!

И вышли.

Так как армию нельзя было развернуть для боя, а дальнейшее углубление в леса грозило ей полной гибелью, командование приказало повернуть на восток.

— Выйдем!

Два дня, бешено рубясь, Конармия просекала себе дорогу среди белополяков. Генерала Галлера опять побили и вышли к Ровно.

Здесь выяснилось, что соседние 12-я и 14-я армии не способны к бою. Вскоре утеряли связь с 14-й армией, а затем и с 12-й. Известно только было, что обе эти армии катились к Киеву.

— То-то порадуется Быков,— сказал Пархоменко.— Они там того и ждут, чтоб обнажить фронт.

Белополяки, узнав об этом приближающемся обнажении фронта, наступали с яростью, и, как ни велика и как ни опасна была эта все растущая ярость противника, командование Конармии, чтобы спасти Киев, решило принять на себя всю тяжесть удара.

В Москву полетели телеграммы, не замазывающие положение, а откровенно рассказывающие об угрозе Киеву. Требовали внимания, пополнения, снаряжения, доверия. Послали также телеграммы и в Донбасс, прося помощи у донбасских рабочих. На проселочных и на железных дорогах, на реках поставили сильные заградительные отряды, которые должны были ловить шпионов, диверсантов и дезертиров. Направили коммунистов в 12-ю и 14-ю армии с тем, чтобы подкрепить их.

Конармия развернулась вдоль реки Горынь.

— И назад больше ни шагу! — сказал Пархоменко.— Умрем на Горыни.

Бои с белополяками шли успешно. Как только Конармия развернулась, как только засияли ее кумачовые знамена, как только по полям послышалось ее «ура-а!»— белополяки остановились, и сразу же, увеличиваясь и увеличиваясь, полетела весть о новой возросшей мощи советской конницы, которую поход в лесах не обессилил, а, наоборот, укрепил.

Но Конармия и действительно укреплялась заметно. Поступили пополнения — и немалые — людьми, конями, снарядами. Москва не отказала в помощи. Приехали москвичи, приехали и донбасские шахтеры. А как результат всего этого 12-я и 14-я армии пришли в себя, оправились и с часу на час готовы были выступить в бой.

Белополяки начали отступать.

То с одного участка боя дивизии, то с другого приходили радостные донесения: паны снимаются, опять бросая вооружение и обозы. По всему чувствовалось, что произошел перелом — и перелом в нашу сторону!

Пархоменко при помощи Колоколова группировал эти донесения, чтобы передать их командованию Конармии. Вбежал сияющий Ламычев. Размахивая номером «Красного кавалериста», он остановился против Пархоменко и закричал:

— Корабль! Корабль, Александр Яковлевич!..

И Пархоменко с удивлением прочел в газете следующее:

— «Недавно особая комиссия выезжала в Петроград, где осматривала и одобрила проект нового воздушного корабля... Моторы корабля будут мощностью две тысячи триста лошадиных сил, грузоподъемность десять тысяч пудов. На корабле будут устроены каюты, расположенные этажами, сообщение между которыми будет поддерживаться лифтами (подъемными машинами). На корабле будет помещаться аэроплан, автомобиль, моторная лодка. Новый воздушный корабль будет поднимать до тысячи человек, скорость его будет около ста верст в час. Новый советский воздушный корабль является крупным завоеванием техники. Окончание работ по сооружению корабля предполагается к 1 мая 1921 года *(Радио поезда)*».

Когда Пархоменко кончил чтение, Ламычев сказал укоризненно:

— А ты еще смеялся, Александр Яковлевич!

— Я не смеялся, чудак. Я — радовался. Я, Терентий Саввич, гораздо раньше тебя на строительство этого корабля записался. И знаешь, что это радио означает?

Ламычев сказал:

— Полетим!

— Полететь — не чудо. Мы — полетим. А вот лично для тебя, для всей твоей семьи, для Лизы, для твоих внуков, что это радио означает?

Ламычев молчал.

— Ну?

— Не знаю, Александр Яковлевич.

— А тут написано: постройка будет окончена к первому мая тысяча девятьсот двадцать первого года?

— Не знаю.

— Это значит, что скоро война кончится и мы, в двадцать первом году, приступим к мирному строительству. Корабль? Выплывем?

— Выплывем, Александр Яковлевич?

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

В те годы на Тверской, наискось Глазной больницы и кино «Арс», в небольшом двухэтажном доме помещались вегетарианская столовка, библиотека-читальня и школа «Центрального международного языка АО». Здесь группировались остатки «Всероссийской организации анархистов подполья», разгромленной МЧК в сентябре 1919 года, после взрыва бомбы, брошенной анархистами в помещение МК РКП(б) в Леонтьевском переулке, когда было убито и ранено 67 большевиков. Главари анархистов, в том числе многие из знакомых Штрауба, были расстреляны; уцелели второстепенные люди, но и эти второстепенные знали Штрауба, и поэтому он опасался ходить на Тверскую, изучать язык «АО», на котором, по утверждению анархистов, скоро должен был заговорить весь мир.

Как-то в последних числах июля Вера Николаевна, придя к себе на Остоженку, где они со Штраубом вдвоем занимали огромную барскую квартиру из семи комнат, полученную по ордеру, сказала:

— Ривелен просит тебя вечерком прийти в «АО».

— Я сказал тебе, Вера, что не пойду туда. У меня нет никакого интереса разговаривать ни с Дзержинским, ни с его следователями.

— Думаю, что у Ривелена еще меньше интереса.

— Но почему тогда нельзя встретиться в другом месте? В крайнем случае у нас. Ходят же к нам люди!

— Мне кажется, тебе надо пойти в «АО», — сказала она серьезно, пристально глядя в глаза Штрауба.— Завтра мы уезжаем.

— Куда?

— Ривелен тебе скажет.

— Но ты, по-видимому, знаешь не меньше его!

— Ривелен тебе скажет, — повторила она тем холодным и многозначительным тоном, который тревожил Штрауба.

Ривелена он нашел в библиотеке-читальне. Никого, кроме него, в ней не было. На столах из сосновых досок лежала анархистская литература: две-три газетки, брошюры, книга братьев Гординых «Свобода духа». Ривелен, чуть заметно улыбаясь, перелистывал эту книгу. Дверь в коридор была открыта.

— Садитесь лицом к коридору, — сказал Ривелен, — и скажите мне, когда пройдет мимо Аршинов.

Аршинов был один из друзей и «идеологов» махновщины. Штрауб хорошо знал его и часто поддерживал своими статьями в анархистской прессе.

— А разве он здесь?

— Да, приехал с поручениями от Махно. Но ни со мной, ни с вами видется не желает.

— Странно! Почему?

— А потому, что после вашего отъезда они расхлябались и ужасно плохо работают. Ну, судите сами, Штрауб. Одна из главных целей, которые ставит Заокеанская Добрая Мать...

— Бросьте вы всю эту отвратительную символику. Говорите проще!

— Вы стали раздражительны, Штрауб. Это для нашей профессии не годится. Терпение и спокойствие — два главных качества, которые...

— ...ставит нам Добрая Заокеанская Мать?

— Ну да. Так вот, одна из главных целей последней военной кампании против большевиков — соединение на берегах Днепра войск Врангеля и Польши. Эта цель достигнута? Нет. И не достигнута, несмотря на то, что французское правительство назначило руководителем польской армии своего любимого генерала Вейгана; несмотря на то, что мы, американцы, послали в Севастополь, в штаб Врангеля, дипломатическую и военно-морскую миссии адмирала Мак-Келли, несмотря на то, что мы снабжаем врангелевские армии...

— Я все это отлично знаю. Отчего же, по-вашему, поляки не соединились с врангелевцами?

— Оттого, что мы плохо действуем в тылу большевиков.

— Опять!

— Да, опять.

— Вы сами находитесь в тылу большевиков! Себя и

вините. Я человек маленький. Меня даже к разговору с Пилсудским не допустили.

— Берегли вас. Пилсудский на вас гневался, а он — страшен в гневе.

Штрауб захохотал:

— Я видел на шоссе, как этот страшный в гневе пан удирал от большевиков. Бросьте, Ривелен. Мы сейчас с вами — анархисты, люди «духа освобожденного»; давайте говорить правду. Что вы от меня хотите?

— Хочу, чтоб вы меня познакомили с Аршиновым. Я должен передать ему партию оружия и денег, во-первых. А, во-вторых, он должен поддерживать все ваши начинания, Штрауб, в Гуляй-поле.

— Ага, я еду, значит, к Махно? Почему не к Врангелю? Почему не к полякам?

— Поляки скоро заключат мир с большевиками. Полякам — плохо.

— Несмотря на Вейгана?

— Да, они могут заключить плохой мир. И вы, вы, Штрауб, виноваты в этом плохом мире.

— Я?

— Если б вы оставались у Махно, он вел бы более правильную политику: он должен был напасть на большевиков. А он — мямлил, занимался «прямыми действиями», то есть бандитскими налетами. Сейчас нужно поторопить его! Он должен вышибить советский клин между Врангелем и поляками. Врангель и поляки должны соединиться во что бы то ни стало! Вот почему мы считаем, что вам, Штрауб, необходимо вернуться в государство «анархического строя», в Гуляй-поле.

— Веру Николаевну вы тоже направляете туда?

Ривелен пожал плечами.

— Она ваша супруга, как я ее могу куда-либо направлять?

— А я хочу знать: направляете вы ее или нет?

— Что с вами, Штрауб? Вы не в себе.

— Не в себе! Я ее люблю и желаю знать: действительно ли она близкий мне человек или она более близка американской разведке?

— А зачем вам это? Любовь и разведка — две вещи разные.

— Вы находите?

— Я нахожу, что в моем возрасте, Штрауб, непристойно разговаривать о любви. Мой возраст не верит в нее; он больше верит в доллар. И, право, эта вера верней. Что и вам советую.

Он взглянул в коридор и, указывая на приземистого человека в пенсне и длинных сапогах, спросил:

— Аршинов?

— Аршинов, — ответил Штрауб, вставая. — А вы мне так и не скажете ничего, Ривелен?

— Голубчик, вы хотите, чтоб я измерил глубину дамской любви! Ах, Штрауб, если мы будем заниматься этими проблемами, мы никогда ничего путного не сделаем. Давайте отложим этот вопрос до соединения врангелевцев и поляков. Господин Аршинов? — сказал он еле слышно в коридор. — А это я, Таган, слышали?

Аршинов побледнел и, поспешно снимая потное пенсне, поклонился. Ривелен, улыбаясь, тихо прошептал Штраубу на ухо:

— Загордились они там, у Махно. Слышал, что Таган его зовет, а идти не хотел. Прошу вас, проходите сюда, в читальню, господин Аршинов. Здесь пусто, и мы поговорим по душам, открыто, как и подобает честным анархистам. Я еще в Америке о вас слышал, господин Аршинов. Широкий, признаюсь, у вас ум, такой широкий, что и забывает часто, чьи деньги расходует. Наши денежки, наши!..

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Красная Армия двинулась на Врангеля.

Войска Врангеля пытались пробиться на правый берег Днепра. Десанты Врангеля высадились на Дону и в Кубани. Но этим войскам не удалось попасть на правый берег Днепра, и десанты их были уничтожены как на Дону, так и на Кубани. И войска Врангеля начали медленно откатываться к Крыму. Шла и Конармия в Крым.

Если мы в воображении своем пытаемся восстановить молнию, она неизбежно появляется перед нами в виде огненно-пылающего зигзага. Таков и путь Первой Конной — этого гигантского огненного зигзага, рассекающего тучи вражеских полчищ. Всмотритесь

в карту. Молния бьет в кавалерию генерала Мамонтова под Воронежем, сверкающе чертит сквозь банды Деникина путь свой к Бахмуту, сжигает в Донецком бассейне корпуса Шкуро и Улагая, пронзает армии белых под Таганрогом и Ростовом и от Майкопа вдруг летит на запад, чтобы, пройдя сквозь проволочные заграждения и окопы, вспыхнуть в тылу польской армии, пронестись через Ровно, спалив по дороге неприступные знамена польской крепости Новоград-Волынска, загрохотать возле Львова и от Грубешова, завершая зигзаг, ударить в степи северной Таврии, в черные полки генерала Врангеля.

Двадцать восьмого октября Конармия остановилась на высоком берегу у Бреславской пристани, дабы форсировать Днепр, а затем выполнить важнейшую оперативную задачу фронта: отрезать Врангелю пути отхода в Крым. Командарм Фрунзе уже теснит «черного барона». Перед войсками лежат суровые снега Таврии. Но до весны ждать нельзя. Надо делать последние усилия и бить врага. Страна не может ждать. Городское население, как говорят итоги всероссийской переписи, уменьшилось на треть. В Москве до войны было девять тысяч промышленных заведений, теперь — только две тысячи пятьсот шестьдесят. Поля лежат непаханые. Махновцы грабят деревни.

Ждать до весны никак нельзя. Нужно гнать врага из страны.

Холодно. Из степи несется и гудит ветер, махая каштановым суглинком вперемешку со снегом. Конармия идет по мосту, везут ее и в барках и на крошечных пароходиках. На берегу горят костры. При свете костра видно, как отделилась от берега барка. У борта последний раз мелькнули штыки красноармейцев, сидящих на соломе, и труба кухни. Подъехав к мосту, всадники спешиваются и берут коней под уздцы.

Ворошилов и Буденный стоят на высоком скате Днепра. От реки несет зимой. Они стоят молча и слушают. Мост гудит от топота. К костру подбежит красноармеец, погреет руки и скроется в медленно текущей толпе. В барку погружают обоз.

— Обозов таки много, — говорит Буденный.

— А еды мало! — продолжает Ворошилов.— Коней — и тех нельзя есть, одни кости остались.

Река чувствуется, но ее не видно. Падает мокрый снег. Мост гудит, как громадная струна: у-у-уу! На пароходик втягивают что-то большое и тяжелое,— судя по шуму, должно быть, артиллерию. У костра показывается вороной конь и на нем высокий всадник. Всадник наклоняется и что-то говорит греющимся красноармейцам.

— Пархоменко? — полувопросительно говорит Ворошилов.

— Он! — отвечает Буденный.

И они снова молчат и думают. Всадник отъехал, подводы на мосту как будто пошли быстрее, и мост гудит уже по-другому: а-а-аа! Ворошилов кивает в сторону моста:

— Пархоменко идет!

— Он! — отрывисто бросает Буденный.

Какая пронизывающая, холодная тьма жидкого, водяного цвета! И в эту тьму мимо пурпурных костров по мосту нескончаемой вереницей идут всадники, орудия, зарядные ящики, продовольственные летучки. Когда к костру подбегает красноармеец, его шинель на мгновение делается грязно-зеленой, как плохое стекло, а лицо — кирпичное, грубого цвета. Он говорит:

— Дайте огоньку! — Взяв уголек, он, подкидывая его в ладонях, закуривает и спрашивает: — Это что же, такая погода до самого Севастополя определена?

— Ничего, возле Нахимова погреемся.

Другой берет уголек молча, и тогда веселый спрашивает его:

— Какой губернии?

— Волынской.

— А мы из Екатеринбурга. У нас еще холоднее. Нет, наши места куда страшней!

— У вас, известно, каторга!

— Эх, поговорил бы я с тобой, да некогда, барона гнать надо...

Свет близкого утра медленно наполняет реку. Видно понтонный мост, лодки. Перила на борту пароходика горят чистым синим цветом, а труба у него веселая, желто-зеленая. Поднимается солнце. Оно окружено хризолитовой короной. Оно щедро освещает Таврию, где море степей может перейти, но не скоро переходит в море воды. По ней вольно ходят теперь снега, и хотя

нет ни балок, ни рек, негде прятаться врагу, но негде и согреться.

Ворошилов и Буденный спускаются к мосту. Проходят последние подводы. Переправа окончена.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Впереди Конармии шла 14-я дивизия Пархоменко. За нею двигались Особая бригада и Реввоенсовет. 14-й предстояло сделать переход в девяносто километров и захватить село Рождественское.

Наступление оказалось настолько неожиданным, что в селе Покровке попали на свадьбу. В церкви венчался этапный комендант врангелевских войск. Комендант побежал в степь вместе со своей невестой, покрытой фатой.

У хутора Отрада столкнулись с офицерской заставой. Застава поскакала в Рождественское, чтобы предупредить врангелевцев. Два полка, преследующие эту заставу, развернулись перед Рождественским. Из села послышалась сильная пулеметная и ружейная стрельба. Бойцы с изумлением осматривались. Стрельба идет отчаянная, но нет ни убитых, ни раненых. Тогда изумленный полк перешел в атаку. Опять потерь нет. Подскакали к самым окопам. Из окопов, подняв руки, вышли солдаты. Оказалось, что это были пленные красноармейцы, которых офицеры заставили стрелять. Стрелять-то они стреляли, но в воздух.

— Отрадное явление. Отрада будет рада, — сказал, смеясь, Пархоменко, намекая на Реввоенсовет, остановившийся в Отраде.

Из Рождественского вышел было офицерский батальон. На повозках у него были установлены пулеметы. Офицеры построили каре. Тогда батареи открыли шрапнельный огонь по ним, а конный полк перешел в атаку. Офицеров прогнали сквозь Рождественское и по дороге выбросили оттуда два полка дроздовцев.

Из Рождественского послали разведку. Разведка сообщила, что вся дорога на юг заставлена бронемашинами с обеих сторон, а посредине дороги идут колонны пехоты и обозы. Врангель отступает.

Пархоменко приказал выстроить бригады за Рождественским.

Впереди показалась конница врангелевцев. Самолеты атаковали батареи 14-й. Стало ясно, что врангелевцы, прикрывая свое отступление, рвутся к Отраде, чтобы захватить штаб Конармии.

Пархоменко скакал от полка к полку вдоль всей своей дивизии. И едва только показывался его вороной конь и над полком проносился трубный голос Пархоменко, дрожь боя охватывала полк. Опять начинали стрелять пулеметы, которые на таком морозе и на таком ветру невозможно было держать в руках. Опять снимали с винтовок рукава шинели и прикасались к жгучему железу голой, озябшей рукой. Бойцы стреляли, падали, умирали, но голос полков не утихал.

— За Донбасс! Вперед, товарищи! Долой черного барона!

— За Советскую Украину! За Коммунистическую партию!

— За Ленина!

— За Красный Дон, товарищи!

Темнело. Пархоменко опустил саблю и приподнялся на стременах. Грива его коня взлохматилась и была покрыта снегом.

Подъехал комбриг 3-й Моисеев.

— Поредели ряды? — спросил Пархоменко.

— Сосчитал: десять атак произвели, — сказал Моисеев.

— Много, черт побери! А какие разговоры?

— Разговоры усталые, атаки не помогают. Холодно.

— Собирай комсостав и политсостав. Полки отведи к Рождественскому. Кабы да мне горячей пищи выдать бойцам. До сумерек вести с врагом бой, когда он ошалел и хочет во что бы то ни стало пробиться! — И Пархоменко посмотрел на Ламычева.

Ламычев молчал. Горячей пищи не было. Обозы отстали.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

— Обстановка рисуется таким образом, что дивизия находится в окружении, — сказал Пархоменко, когда к нему в хату собрались все командиры полков и бригад.— Врангелевцы, отступающие от Второй Конармии и от шестой и одиннадцатой дивизий, навалились

на нас. Наступление отбито. Но связь с полевым штабом армии утеряна. Пока противник не повел решительное ночное наступление, даю приказ немедленно группироваться и двинуться ночным переходом через степь для соединения с остальными дивизиями. Двигаться на юг. Затем сразу повернуть на запад. Вся дорога, как говорит разведка, заставлена пехотой и броневиками врангелевцев. Однако метель да наш нюх помогут. Пошли в метель!

Когда он делает перерывы между фразой, слышится, как за окном в темноте дует колючий, нестерпимый ветер. Окно колышется. Пархоменко стоит возле окна, огромный, черный, и густой стократный голос его гудит настойчиво и упорно, подробно объясняя, где пройти, как пройти. Командиры полков расходятся, унося в себе огромную уверенность и силу.

Двенадцать часов ночи. На улицах Рождественского стоят и готовятся к походу все шесть кавалерийских полков. Комбриг-2 Румянов, получив сообщение, что бригада готова выступить, вернулся в хату. Пархоменко хотел ехать с ним.

— В такую погоду три недели можно кружить вокруг Рождественского и не выберешься, — сказал Румянов.

— Поехали, — проговорил Пархоменко.— Слова не дорога.

С улицы послышалась стрельба. Врангелевцы начали ночное наступление. Черный барон, чтобы раскрыть ворота на Чонгарский мост, направил для уничтожения 14-й специальную ударную группу из двух дивизий.

Ух, какой ветер! Кажется, что вся степь встала на дыбы и кидает тебе в лицо снег, песок, стебли прошлогодней некошеной травы. Вокруг темно, холодно, слышен звон, треск, и такое впечатление, что толкут тебя в ступе и ты сразу в одно мгновение то натыкаешься на стенки, то устремляешься в небо.

Бригады, говорят, направились на юг, но обозы от выстрелов врангелевцев стали паниковать и забили дорогу. Тогда комбриг-1 повернул на северо-восток, комбриг-3 — на северо-запад, а 2-я бригада осталась на улицах Рождественского ждать приказаний. Пархоменко сказал:

— Приказ был идти на юг. И отмены ему не полагается.

Бригада пошла на юг. Обозы уже куда-то свернули с дороги.

Вторая бригада долго шла в темноте. Бойцы двигались, тесно прижавшись друг к другу. Часам к трем ночи буран окончился. Показались звезды. Шли по звездам на юг. На рассвете увидали впереди возле кургана группу всадников и четыре орудия.

— Стоят бесстрашно. Это наши, — сказал Пархоменко.

И точно, у кургана стоял Василий Гайворон со своим полком. Пархоменко сказал ему:

— Веди к Сивашским озерам, а потом круто поворачивай в западном направлении на Отраду.

К обеду добрались до хутора Отрада. На крыльце встретил Пархоменко секретарь штаба Конармии.

— Никто в штабе не знает, где ваша дивизия.

— Дивизия придет, — хмуро и уверенно сказал Пархоменко, берясь за ручку двери.

Он стоял у порога хаты, весь обледенелый. С плеч его, с шинели и сапог на пол стекала вода, образуя лужу. По ту сторону комнаты, у окна, стоял Ворошилов и сердито глядел на Пархоменко.

— Смотрите на него! У него дивизии нет, а он пришел докладывать. Зачем ты приехал? Молчи уж...

Пархоменко молчал.

— Почему же ты молчишь? Где ты потерял свою дивизию?

— Приказ выполнен, дивизия задержала врага, сколько могла...

— Молчи уж, не разговаривай...

Ворошилов повернулся к окну и стал смотреть на улицу. Пархоменко стоял у порога. Буденный подошел к нему и стал расспрашивать, сколько шло на него врангелевцев и с каким вооружением. Пархоменко объяснил подробно. В середине его объяснений Ворошилов вдруг повернулся и, улыбаясь, сказал:

— Он сделал, что мог. Он стоял один против всей врангелевской армии.

Ворошилов подошел к Пархоменко, обнял его и поцеловал. Пархоменко смотрел на него удивленно, но, расслышав шум на улице, вдруг понял все.

Бригады пришли целиком в Отраду, с обозами и батареями. 14-я дивизия вышла из окружения. 14-я готова к новым боям.

...После Перекопа к Симферополю шли по сто километров в сутки. На дороге валялись пушки, пулеметы, винтовки; шли пленные и беженцы. В Симферополе парад 14-й дивизии принимал командарм Фрунзе. После парада он спросил Пархоменко:

— Вы, кажется, занимались анархизмом?

Пархоменко понял, о чем он говорит, и, слегка улыбаясь, ответил:

— Составлял некоторые возражения, товарищ командарм.

— Мне довелось слышать, как товарищ Ленин сказал, что ликвидация украинского бандитизма — пожалуй, не менее важная задача, чем ликвидация врангелевщины. А вы как об этом думаете?

— Я с вами согласен, товарищ командующий.

— А именно?

— А именно, что товарищ Ленин прав.

Однажды, в ноябре, у Пархоменко пил чай секретарь штаба Первой Конной. Разговорились о прошлом, о знакомых, о Донбассе. Пархоменко стал рассказывать секретарю свою жизнь, и секретарь уговорил его написать автобиографию. Пархоменко написал двадцать пять страниц о том, как он рос, воспитывался, учился и боролся. Вечером 9 ноября 1920 года он закончил свою автобиографию следующими словами:

«Надеемся, если скоро не израсходуют, сделать коечто еще более серьезное».

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

После ликвидации врангелевского фронта Конармия была направлена на зимние квартиры в район Екатеринославщины. В село Аджанка, где находился штаб 14-й, приехала погостить Харитина Григорьевна. Пархоменко встретил ее у ворот, улыбающийся, раскрасневшийся от мороза. Заглядывая в лицо, прикрытое шалью и опушенное по краям шали инеем, он сказал:

— Побелило-то тебя как!

Он распахнул ворота и, держась за облучок саней, бежал рядом с санями, согнувшись и забавно подпрыгивая, и, смеясь, говорил:

— Снимались мы с тобой, Тина, в трех видах, а теперь, кажись, снимемся в четвертом. Дали мне отпуск

до двадцать четвертого января, поедем к детям. И с детьми желаю сфотографироваться.

Помогая тащить вещи в дом, он расспрашивал, как живут в Луганске, много ли получают угля и пустили ли какие заводы. А Харитина Григорьевна уже обеспокоилась. Укутанная в платки, в длинной шубе, отороченной мерлушкой и вышитой на груди гарусом, она поспешно вошла в хату и, распутывая шаль, озабоченно сказала:

— Раз отпуск, надо мне уехать домой раньше, вперед. Дома все надо приготовить.

— Чего приготовлять? Поедем вместе!

— Да ведь какой командир приедет, как же не убрать?

Харитина Григорьевна рассказывала, что переехали на новую квартиру, а холод все старый. Топлива нет.

— Паровоз — и то не разогрели, — сказал Пархоменко, с улыбкой наблюдая, как ординарец, надув щеки, разжигал самовар и никак не мог разжечь. У ног ординарца терлась рыжая облезшая кошка.— Смотри-ка, Тина, зверю — и тому мышей в пищу не хватает.

Он откинулся назад, прислонился к стене и, глядя на жену сияющими глазами, сказал:

— Но это не смертельно. Поправим!

И он опять стал расспрашивать о детях. Харитина Григорьевна рассказала, как дети собрались вместе и праздновали 7 ноября, — это как раз, когда Конармия шла на Врангеля. Были у детей и гости, играли в жмурки, плясали, а затем стали играть в «черного барона», и черным бароном никто не хотел быть, все кричали своим противникам, что те — врангелевцы.

Вошел ординарец:

— Чего?

— В штаб вас просят, Александр Яковлевич. Срочно.

Пархоменко взял шапку и, указывая на ординарца, все еще раздувавшего самовар, сказал:

— Помоги ему, мировой пожар раздувает, а самовар у него глохнет. Я сейчас вернусь.

Когда он вернулся, самовар уже стоял на столе, не только кипевший, но даже начищенный. Харитина Григорьевна, в голубой кофточке, с белой шалью на плечах и с зеленой гребенкой в волосах, сидела за столом, улыбаясь и весело рассматривая привезенные гостинцы: баранки, бутылку неизвестно где добытой ря-

биновки, колбасу, пряники такой твердости, что, казалось, они перенесли не только гражданскую и империалистическую, но и русско-японскую войну.

Пархоменко, не снимая шапки и не взглянув на стол, прошел в передний угол и лег на диван. Харитина Григорьевна отошла от стола и села молча к окну. Она уже знала, что раз он лежит на диване и пофыркивает, значит, что-то неладно.

— Да в чем дело? — не выдержала она наконец, услыша, что самовар перестал гудеть.

— А ничего. Дай подумать.

— И чем расстраиваться? Фронта теперь нет. Все в порядке?

— А бандиты? — Он поднялся на локте и, сдвинув шапку на затылок, сказал: — Бери, Тина, бумагу, пиши адреса в Екатеринослав — у кого тебе остановиться.

— Какие мне адреса надобны? Зачем мне ехать в Екатеринослав?

— Завтра на Махно выступаю.

«Экий вояка — Махно, — подумала Харитина Григорьевна, — что здесь особенного? Какая с ним война? Раз и два — глядишь, и разбили. Чего писать адреса, знакомых беспокоить, можно и в селе обождать». И она сказала:

— Чего мне писать твои адреса? Никуда я не поеду.

— А если захватят махновцы?

— Пускай захватят. Оставь винтовку, буду отстреливаться.

Пархоменко рассмеялся и сел к столу.

— Никак не дает эта Махна мирную работу делать в селе. Бьет и жжет. Кооперативы, продовольственные магазины, Советы... Она смерть чует, а когда она смерть чует, то напряженно сопротивляется.

— Значит, много сил пустишь на нее?

— Выделили две дивизии, соединили в группу, поставили меня той группой командовать. Надо эту Махну по ниточкам раздергать.

...Два-три перехода Харитина Григорьевна сопровождала дивизию.

Разведка сообщила, что показались махновцы. Пархоменко взял полк, два своих автомобиля и пошел вперед. Харитина Григорьевна ждала его в хате до вечера, не выходя на улицу, чтобы не показывать дивизии своего беспокойства. Когда появилась луна, Харитина Григорь-

евна села на крыльце. Перед ней расстилалась широкая белая улица; изредка проходил усталый и уже дремлющий боец.

По замерзшим колеям застучала машина. Шла она с перебоями, как бы хромая. Машина остановилась у ворот. Она была вся изрешечена пулями, и пулемет с нее был снят. Харитина Григорьевна, не сходя с крыльца, чтобы не унизить боевой опытности своего мужа и показать, что она не беспокоится за него, раздельно спросила ординарца, приехавшего на машине:

— Где Александр Яковлевич?

— Бой ведет. Сказал мне: «Езжай, ремонтируй скорей машину».

— А сам-то каков?

— А сам переставил пулемет на вторую и поехал опять к линии.

Через час Харитина Григорьевна расслышала вдали еще более дребезжащий стук другой машины. Она спустилась с крыльца на ступеньку и теперь уже облокотилась на перила. Подкатила вторая машина. В ней качался раненый в голову ординарец.

— Где Александр Яковлевич? — спросила Харитина Григорьевна.

— Бой ведет. Послал меня отремонтировать скорей машину.

— А сам на чем остался?

— Да на тачанку пересел.

А еще через час Харитина Григорьевна ожидала уже за воротами. Послышался стук колес и дробный топот коней. Впереди тачанок, в бекеше, в заломленной на затылок шапке, скакал Пархоменко.

— С сочельником вас, Тина! — крикнул он, смеясь.— А мы его по ниточке раздергаем все-таки, Махну этого. Но силы собрал, у-у!.. Ты бы ехала в Екатеринослав, хватит с тебя. Чего смотреть? Не театр!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Виляя, спотыкаясь и иногда выскакивая в поле, иногда прячась в лес и всегда переодетый крестьянином, уже свыше тысячи километров скакал Украиной патлатый батько Махно. То входя в лес, то громыхая степью, свесив с тачанок ноги и держа в поводу лошадей, всад-

ники уже с тоской и омерзением смотрели на мир. Из орудий уцелело только два, остальные были брошены.

Въезжали в село. Из телеги вытаскивалась «печатная машина» — ручная бостонка, на которой некогда печатали визитные карточки; втаскивались в хату кассы, закрытые войлоком, и свернутый рулон бумаги. Штрауб садился к столу, возле черного знамени, и составлял статью. Бабы растопляли печи, готовя угощение. К соседней деревне мчались всадники, чтобы предупредить о встрече, а главное, собрать свежих лошадей. В середине статьи, как раз, когда Штрауб, перечислив «достоинства» махновского царства, переходил к «преступлениям» советской власти, под окном раздавался уже знакомый крик:

— Пархоменко! Собирайся!..

Тачанки и телеги разбрасывали по дворам, с лошадей снимали седла, винтовки и хобота орудий прятали в соломе, лафеты — в трясине, в зарослях камыша у речки. Хлопцы делали вид, что чинят сбрую; ходили по двору с топорами.

После одной из таких тревог, оказавшейся напрасной, во двор вошел хлопец и велел Штраубу идти к Махно.

Был тусклый декабрьский день. С утра порошило, к обеду, когда Штрауб пришел в штаб, разыгралась большая метель, заклеило окна, закрыло противоположную сторону улицы, и, только Штрауб поднялся на крыльцо, так махнуло сверху, от трубы, дымом на него, что он еле разглядел дверь.

В сенях, отряхивая валенки, он слышал грубый, осипший голос раненого Махно и стук его костылей. Штрауб подождал, когда уйдет обруганный «батько», сдавший в плен две сотни человек, и, по привычке погладив голову, на которой почти не осталось волос, вошел в комнату, крепко прижимая к боку папку с написанными им статьями, которую он захватил на всякий случай с собой.

Стуча костылями, Махно несколько раз прошелся по комнате, а затем поддерживаемый сестрой милосердия под руку, с легким, каким-то капризным стоном опустился на лавку. Маруся, жена Махно, вынула из низенького резного шкафика графин, налила тоненькую рюмочку и подала Махно вместе с тарелкой, на которой лежали тонкие розовые ломтики сала. Он выпил и, беря

сало грязными пальцами с длинными ногтями, сказал, кивая на графин:

— Не то налила. Лимонной хочу.

— Выдохлась корка, никакого запаху не дает,— сказала Маруся, разводя беспомощно руками.

Несколько поодаль, у печи, сидели махновские «батьки» — Чередняк, Правдá, Каретник. Среди них сидела Вера Николаевна. Когда Махно подходил к «батькам», он бросал взгляд на Веру Николаевну и криво улыбался.

— А холодно, газета? — резко повернувшись к Штраубу, спросил Махно.— Где Аршинов?

— Сейчас придет.

— Слушай, газета! — сказал Махно, принимая рюмку от Маруси. Он выпил, поморщился и, видимо, не забывая о лимоне, сказал: — А в Мадриде лимоны есть? Ты в Мадриде бывал, газета? Большой город, красивый, а? Вот бы зажечь. Ха! Екатеринослав я жег, Мелитополь жег, Ростов жег — что мне Мадрид или Париж не зажечь?

— Париж или Мадрид можно, а вот Нью-Йорк нельзя,— сказал, входя, Аршинов.— Здравствуйте, селяне. Здравствуй, батька. Почему, спросишь, нельзя Нью-Йорк?.. Ну, люди здесь свои, скажу. Ривелен к нам едет. Сам Ривелен! Нью-йоркский анархистский батька. Он не позволит нам Нью-Йорк сжечь, ха-ха!..

— Ну, едет, и черт с ним,— сказал Махно.— А ты с чем пришел? Какие предложения? Чего вы все молчите?! Я знаю, что вы сговорились!

Аршинов улыбнулся:

— Ну, в моем предложении мы не сговорились. Пришло время, батька, мобилизовать у селян еще по одному коню со двора.

— Не можно,— сказал батька Правдá.— Этого никак не можно: селяне на нас рассердятся, начнут Пархоменке помогать... нет, больше коней у селян брать нельзя.

Чередняк проговорил:

— Чего нью-йоркский батька везет? Коней бы вез!

Аршинов, привыкший к манере «батьков», продолжал:

— Артиллерия заграничная, хорошая, а без толка вязнет в снегу, пропадает... вот и сейчас отстала. Коней

не хватает, батька! Надо конскую мобилизацию объявлять.

— Уходи,— сказал Махно.— Надоел. Кони, кони! Ненавижу.

— Кого, батька?

— Спать не могу. Водка не пьянит. Никому не верю! Куда ни пойду, он везде меня — рукой за горло! Кто? Пархоменко! — Он подсел к «батькам», рядом с Верой Николаевной. Маруся поднесла ему новую рюмку водки. Махно обнял Веру Николаевну за талию. Она отодвинулась.

— Я — замужняя, батька.

— Можно развести.

— Каким образом?

— Не образом, а обрезом.

— Глупо!

— Паскудная зима...— сказал среди общего молчания батько Чередняк.— То снег, то слякость... а он все-таки за нами скаче...

Батько Правда́ спросил:

— Кто?

— Да он же!.. Кони у него добрые... а нам у селян никак нельзя коней брать... выдадут.

— Ненавижу! — крикнул Махно. И, помолчав, с другим выражением лица, еще более злым и приглядывающимся, продолжал: — Слушай, газета! Поедешь к Быкову. Возьми жену. Она у тебя ловкая. Приедешь, тебе скажут — как делать.

— А что делать?

— Хлопцы мои устали скакать. Коня я не могу мобилизовывать у селян. Понял? Три наших отряда разбиты, четвертый, лучший, кавалерийский сдался без боя. Пархоменко тебе поручаю убрать. Понял... Ты все делаешь плохо, я тобой недоволен, — с Пархоменкой ты должен сделать «хорошо», Быков тебе поможет. Понял?

— Но ты меня не слушаешь, батька, — сказал Штрауб с обидой, — я тебе предлагал наступление, когда большевики были заняты Врангелем, — ты меня не послушал. Теперь дождались, когда Пархоменко собрал силы...

— Молчи. Надоел. Уходи.

Штрауб повернулся. Махно ему крикнул вслед:

— А что этот Ривелен, лимону не привезет, часом?

— Получите и лимоны.

— Свежие?

— Свежие, — весь дрожа, сказал Штрауб.

Штрауб согласился ехать по нескольким причинам. Первая — ему хотелось подружиться с Махно, отбросить ту опасность, которая ему сейчас, несомненно, грозила, потому что Махно не нужен был шпион, не помогающий ему. Хотелось доказать, что действия Штрауба на польском фронте — или, вернее, провал всех действий — зависели от плохого стечения обстоятельств, а вовсе не от отсутствия у него способностей. Хотелось также встретиться с Быковым, от которого он уже месяца три или четыре не мог получить извещений. И вторая — хотелось уехать и потому, что его жизнь с Верой Николаевной совершенно испортилась.

Кроме того, и физически он себя чувствовал отвратительно. Все время ныла печень, и во рту была какая-то горечь. Часто он просыпался с такой головной болью, словно ему сорвали кожу с черепа. И хотя понимал, что в городе ему придется скрываться и трепетать и, может быть, исполнять крайне опасные поручения, все же он с удовольствием думал о том, что увидит город, электричество, мирно шагающих безоружных людей, услышит смех, не пьяно-разгульный, как здесь, а нормальный человеческий смех, прочтет какую-нибудь газету... Все-таки хорошо в городе!

Придя в хату, где стояла походная типография, он внимательно посмотрел на Веру Николаевну. Она села штопать чулок. Лицо у нее было неподвижное, скучающее. Кассы стояли на столе, прикрытые влажным войлоком, и Штрауб подумал: уже можно не ругать хлопца за то, что не стрясли с войлока снег, а если войлок заледенеет на улице, то и черт с ним. Штрауб снял шапку и повторил вслух свою мысль:

— Все-таки, Вера, хорошо в городе!

— Как говорится, от скуки и земля вертится, — сказала сухо Вера Николаевна, давая этим понять, что даже его восклицания, глупые и однообразные, со скуки ей кажутся достойными внимания.

В иное время Штрауба это больно кольнуло бы, но сейчас он улыбнулся и воскликнул:

— Совершенно верно!

Вера Николаевна ничего не ответила. Только иголка быстрее заходила в ее пальцах:

— Вернись к Махно сейчас же, пусть велит выдать тебе карандашей, ученических тетрадей, чернил. Лучше всего и безопасней пробраться учителями. Учителей они любят.

Щуря глаза, она дотронулась до его лица кончиками длинных своих ногтей иточас же с видимым омерзением отдернула руку. Голос у нее был и умоляющий, но такой, каким умоляют в последний раз, и в то же время презрительный.

— Соображайте обстановку, голубчик.

Штрауб понимал, что она рассуждает правильно. Он послушно вышел и направился к Махно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

Два дня назад па площади села, протпв школы, похоронили двух убитых махновцами работников сельсовета: председателя и секретаря. А могилу уже занесло пушистым, как пена, снегом, и тень тополя лежит на ней ало-голубая и такая крепкая и ясная, как будто она лежала здесь сотни лет. Поодаль возвышается братская могила, возникшая здесь летом: к высокому столбу прибита доска с надписью: «Погибли за социализм», — и позавчера, когда хоронили председателя и секретаря, над доской приделали маленький, покрашенный охрой навесик, чтобы надпись подольше держалась.

Пархоменко провожал Ламычева, который уезжал в Екатеринослав для доклада командованию Конармии о действиях группы, преследующей Махно. Позади, скрипя полозьями, шла подвода, возница что-то насвистывал, а Ламычев вслух перебпрал, что он скажет, хотя все слова были тщательно записаны:

— ...передвижения противник совершает большей частью ночью, для чего разделяется на маленькие шайки. Махно говорит: там-то и там соединяемся, — и разбегаются. Что же касается снабжения и пополнения, то черпаемое им в кулацких районах...

Он откинул назад голову, посмотрел голубыми близко поставленными друг к другу глазами в небо и сказал:

— На Дон мне хочется, Александр Яковлевич!

— Внука растить?

— И внука и вообще все человечество, Александр Яковлевич!

Пархоменко рассмеялся. Хотя последнее время была страшная скачка, все же Ламычев, по стародавнему времени считая сражение с Махно пустяковым делом, успокоился, раздобрел и ходил необычайно самодовольный и важный. И сейчас он шел, выпятив грудь и глубоко дыша морозным крепким воздухом.

Поскрипывали полозья. Из переулка гнали к водопою скотину. Корова остановилась у коричневого плетня и стала тереться; с плетня падал слежавшийся снег.

Пархоменко спросил:

— А ты, Терентий Саввич, к нашим-то зайдешь?

— В войне — народу сутки, а себе минутки. Обязательно зайду, отдам минутку. Харитина Григорьевна детей собиралась везти в Екатеринослав. Как сказать?

— Чего им мучиться по этим железным дорогам. Не советую, скажи. Вот Махну выметем, Донбасс подметем, уголь станем доставать: ему небось тоскливо под землей лежать. Да и то сказать — всякому огня хочется.

— И углю?

Они рассмеялись.

— По углю думаешь пойти, Александр Яковлевич?

— Хотел бы по заводскому делу, да не пустят. Климент говорил, что в академию надо идти.

— Для академии ты ростом вышел!

Ламычев достал часы, щелкнул крышкой: дескать, и мы тоже делали кое-что, и — пожелай мы в академию, вряд ли откажут. Хороший, честный мужик этот Ламычев! А семья какая, какое крепкое, честное племя!

Сынишка Лизин уже говорит, и первое слово, сказанное им, было «часы»: так долго дедушка вертел их перед его глазами. А дочь, Лизавета Терентьевна, промчалась свыше тысячи километров то в тачанке, то верхом, изредка в санях, — тряско, холодно, клопы, сырость, болезни, сухой хлеб, горячая пища бывает раз в пять суток, — и ни разу не пожаловалась Лиза, не погрустила; а если стычка, бой, она всегда впереди, и раненый немедленно получит и врачебную помощь и утешение.

— Прекрасная у тебя дочь, Терентий Саввич, непременно ее в науку надо послать, и так, чтобы далеко ушла, отцу чтоб не видать.

— И пусть уходит! Хоть в академию, — притворно

сердито сказал Ламычев, поцеловав в губы Пархоменко.— Тебе обязан, Александр Яковлевич. Ты — ее уводишь, а чем дальше уведешь, тем и ей и мне лучше; я так обстановку понимаю. Кроме того, сообщаю тебе последние сведения. Махно-то приказал еще по одному коню у селянина мобилизовать.

— Ну, теперь махновцам — крышка!

— Крышка! — и, прыгая в сани, он крикнул вознице: — Гони, как будто за самим Махном гонишься!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Знобило, голова болела все больше и больше. Когда они въехали в расположение пархоменковских дивизий, Штрауб сказал:

— Плохо, если мы здесь Ривелена встретим.

— Ну, сделаем вид, что не узнали, — сказала Вера Николаевна.

— А если — внезапно?

— Откуда же внезапно, когда посылают нас по его предложению?

— По его? Он тебе писал?

— Писал.

— И ты его давно знаешь? — задал он давно мучающий его вопрос.

— Года четыре, кажется. Нет, три с половиной. В обществе он был очень мил.

— Почему же ты не говорила мне, что работаешь с ним?

— Зачем? Он сказал: «Придет время, и вы признаетесь мужу».

— И теперь пришло?

— И теперь пришло,— ответила она просто, и этот простой ответ ужаснул его, хотя он весьма отдаленно понимал всю ужасную ясность этого ответа, стараясь всеми силами уйти от этой ясности.

Уходя от этой гнетущей ясности, он убеждал себя, что она сознается в совместной деятельности своей с Ривеленом потому, что любит его, Штрауба, и любит теперь так сильно, что пора ей выдать самые глубокие и серьезные свои тайны. Он не мог понять и осознать ту ужасную для него правду, что Вера Николаевна никогда не любила его и что он нужен был ей на ее пути

как помощник, а как только его помощь оказалась для нее слабой, он стал не нужен ей; и она хотела убрать его возможно быстрей.

Они въехали в село ранним утром. Когда переезжали речку, около проруби они увидали солдат, поивших коней. Сначала они подумали, что это свои, но затем по шлемам догадались, что попали в расположение Конармии. Возвращаться было уже поздно, к тому же их возница сморщил свое скопческое и злобное лицо и сказал, сразу поняв их тревогу:

— Провезем. Снаряжение возили, а человек — что...

И он крикнул красноармейцу:

— Школа где тут? Учителя везу.

Красноармеец, не оборачиваясь, махнул рукой налево.

Вера Николаевна искоса посмотрела на Штрауба. Да, он был болен. Как он изменился! Солнце взошло, и в ярком его свете на Штрауба было страшно смотреть. Лицо горело: видимо, сильно недужилось, но и жар не украшал его, а делал еще более ужасными эти ввалившиеся глаза и синие губы. Одет Штрауб в студенческую шинель, голову повязал желтым башлыком. Голова у него сильно тряслась. И Вере Николаевне было странно, что она нисколько не жалеет его, а больше того — она чувствует, что с каждым шагом лошади, приближающим ее к Быкову, сильнее и сильнее ненавидит Штрауба, всю его нудную и томительную бездарность, хвастовство, глупый апломб, с которым он всегда проводит параллели между собой и Наполеоном, или Бисмарком, или еще бог знает кем, и любит восклицать при этом, хлопая себя ладонью по голове: «Вот кто спасет цивилизацию и капитализм!» «Боже мой, какой ничтожный и жалкий человечек!» — думала она, помогая ему вылезти из саней; он сказал, что чувствует сильнейшее головокружение и тошноту. «Какой ничтожный и суетливый человечишка!» — думала она, глядя на его мелкие и действительно суетливые движения.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Когда Лизе Ламычевой передали, что захворали учительница и ее муж, ехавшие куда-то на службу, то она, давно не говорившая с учителями и с удовольствием вспоминавшая курсы в Луганске, немедленно со-

бралась и пошла. Увидав Веру Николаевну, ее полукрестьянское, полугородское платье и мужа ее, лежавшего на лавке и прикрытого студенческой шинелью, Лиза еще более умилилась. Она бережно поставила термометр — термометров тогда было совсем мало,— вынула часы и заметила время.

Штрауб с беспокойством следил за ее движениями. Поглядев на термометр, она небрежно, как всегда при разговоре с больными о температуре, сказала:

— Тридцать восемь и одна десятая. Инфлюэнца, наверно.

А на самом деле было тридцать девять с десятыми, и она видела, что у него не инфлюэнца, а тиф. Штрауб ей не нравился — и не тем облезшим и грязным видом чрезвычайно изможденного человека, видом, к которому она теперь привыкла, а не нравился чем-то более глубоким и сложным, каким-то еле уловимым запахом душевной мерзости. Она, чтобы не беспокоить больного, ступая на цыпочки, вышла в другую комнату.

Вера Николаевна вышла за ней, плотно прикрыв дверь. Хозяева хаты, еще до прихода врача догадавшись, что у приезжего сыпняк, переселились к соседям. Вера Николаевна и Лиза сели за стол. Лизе очень хотелось поговорить о школе, где-то в газетах она читала, что теперь преподают по другим методам, и втайне она даже надеялась, что новая знакомая была в Луганске и что у них окажутся общие друзья.

— Ну, что? — тревожно спросила Вера Николаевна.

Лиза помолчала.

— А можно мне вас спросить? — сказала она.

— Конечно же! — и удивившись и обеспокоившись, сказала Вера Николаевна.

— Так вот, по-товарищески спросить,— сказала Лиза со своей несколько угловатой улыбкой. — Я ведь вам коллега, я тоже когда-то училась на учительницу... готовилась,— поправилась она, стесняясь, что выразилась неграмотно.

— Да, да, да,— торопливо сказала Вера Николаевна.

— Вы хорошо живете с мужем? — спросила Лиза, глядя ей в глаза.

— Конечно же, хорошо, — ответила Вера Николаевна, покоробившись от этого вопроса.

Лиза, не замечая ее сухости и вся устремляясь поговорить, поделиться своими сокровенными мыслями с человеком, который ее поймет, продолжала:

— Видите ли, может быть, это и странно для медицинского работника то, что я говорю, но мне кажется, что если вы сейчас с ним, то это, пожалуй, самое лучшее лекарство. За ним нужно смотреть. Вы знаете, когда я вышла замуж...

— Теперь вы счастливы? — перебила Вера Николаевна.

— Я видите ли, всегда счастлива. Наверно, плохо так хвастаться, но почему-то так получалось. Было тяжело, но все же я была счастлива. Он меня найдет, я думала. Потому что, если понять, что находится в человеке, если приглядеться, то, боже мой, какое богатство! Как мы иногда не вглядываемся. А я всегда пристально вглядывалась в людей, в их радости, и мне иногда просто становилось душно дышать — такое я видела огромное богатство в народе. И я счастлива.

— Ну, а если все-таки ничего нет? Ни радости, ни богатства. А так, пыль одна.

— Как же так нет?

— А вот так-таки и нет.

— Этого не может быть! — сказала решительно Лиза.

Она сидела, согнувшись, и, вытянув ноги вперед по одной прямой линии, смотрела пристально на Веру Николаевну, продолжая говорить, рассказывая, как они шли с армией, что видели и как добились того, что в дивизии у них великолепный лазарет, прекрасно питаются больные и быстро выздоравливают. А как трудно в голод и нужду создать такой лазарет! Но вгляделись в мир и создали.

Чем дальше шел рассказ Лизы, тем все более и более волновал и раздражал он Веру Николаевну. Ага! Значит, это дочь Ламычева, одного из ближайших друзей Пархоменко? Значит, через Ламычева можно будет и узнать, где Пархоменко, и попасть к нему. А если попасть, то разве не может убрать его Штрауб из револьвера?.. Вот что волновало Веру Николаевну. Тревожило же ее то, что ее предположение оправдывается — Штрауб болен тифом. Раньше она думала, что в случае болезни Штрауба тифом она бросит его просто в любой крестьянской хате или вывалит с помощью возницы в прорубь, под лед, а теперь ни бросить,

ни оставить нельзя. Лиза — сердобольна, начнет ухаживать и при уходе услышит бред Штрауба. Конечно, тифозный бред — не доказательство, но все же Штрауб может сболтнуть такое, что навредит и Быкову, к которому и без того большевики относятся чрезвычайно настороженно, а еще больше способен навредить ей и Ривелену. Сорвется тогда последнее и важнейшее поручение Ривелена, погибнет не только Штрауб, а и Быков, и сама Вера Николаевна, и Чамуков, и Геннадий Ильенко, рассованные на очень ответственные посты... Плохо!..

— Что же, однако, у мужа?

— Сыпняк.

— Ну что вы, что вы!..

Вера Николаевна побледнела, схватилась за стол и широко раскрытыми глазами взглянула на нее:

— Как, тиф?

— Сыпняк.

— Тиф?

— Да, тиф! Сыпняк! — И Лиза добавила, успокаивая ее: — Сердце у него хорошее, он выдержит, часика через три мы его перенесем в лазарет. Врач дивизии разрешит нам, я попрошу. Я поставлю к нему лучшего санитара, да и вы будете дежурить.

— И это долго? Болезнь?

— Недели три.

— Будет жар, наверное бред?

— Жар уже есть, а до бреда недалеко. Но не распускайтесь. Это для вас теперь самое главное.

— Не распускайтесь! — почти вскрикнула Вера Николаевна, и в голосе ее чувствовались и огорчение, и недоумение, и укор кому-то. — Для меня это самое главное.

— Именно самое главное, — проговорила ласково Лиза и, сказав, что попозже, вечером, зайдет, ушла, оставив какой-то порошок.

Вера Николаевна опустилась на скамью возле печи, у которой лежала солома. Чело печи было обмазано так ласково и умело, как делают это ласточки в своих гнездах. Вера Николаевна смотрела на это чело. Дверь в соседнюю комнату была теперь полуоткрыта, и свет лампы падал оттуда на белую печь. Штрауб лежал с закрытыми глазами, часто и глубоко дыша. «Именно самое главное, — думала она с ужасом. — Понимает ли она то, что сказала мне. Именно самое главное. Она

коммунистка, и кто знает, не послали ли ее ко мне нарочно и не приказано ли ей восхищаться мною, чтобы узнать то, о чем в бреду будет он говорить».

И, повторяя по нескольку раз эти слова, она в то же время какими-то узенькими тропками шла к тому решению, к той пропасти, в которую она пыталась заглянуть еще сегодня утром и не осмелилась. Дыхание Штрауба, громкое и горячее, мешало ей думать. Она вышла во двор. Свет месяца с синего неба казался желтым, как от керосиновой лампы. Она направилась к овину. Он был заперт. Она подошла к хлеву, открыла дверь. Месяц осветил солому. Она потрогала ее ногой, раздался шипящий звук, как будто кто-то убегал на цыпочках. «Бежать, бежать», — повторила она. И, чувствуя и ненависть, и боязнь, и многое другое, с чем хотелось расстаться возможно скорее, она вернулась в дом и взяла Штрауба за руки. Он открыл глаза, смотрел на нее и не понимал. Она сказала:

— Бежать, бежать!

И тогда он поспешно встал, вряд ли понимая, что он делает. Она взяла его под руку и вывела во двор. Слышно было, как в сарае переминается с ноги на ногу лошадь. Штрауб шел, спотыкаясь, она вела его к хлеву, но так как шаги его были мелки и медленны, а она вся дрожала и мучительно желала избавиться от этой дрожи, то она подвела его к саням, в которых они приехали, к сугробу, который высился за санями. Испытывая горький и тягучий страх и в то же время мучительное наслаждение оттого, что все наконец сейчас окончится, она сказала, кладя ему левую руку на шею:

— Наклони голову, шагни, здесь притолока, порог...

— Да, да, да, — послушно сказал Штрауб, послушно наклоняя голову над сугробом, и тогда Вера Николаевна сняла левую руку с его шеи. Он стоял, пошатываясь, без шапки, и от головы его, совсем теперь голой, шел легкий пар. Когда Штрауб наклонил голову так низко, что еще немножко, и он упал бы, она взмахнула дубовым сучковатым поленом, которое взяла в сенях, и ударила его по голове. Он крякнул, ухнул, упал в сугроб, который мгновенно потемнел вокруг него, и стал мелко бить носками сапог по утоптанному снегу. Полено упало вместе с ним и вздрагивало у него на шее. Она подождала, пока он не затих, наклонилась, пощупала пульс и проговорила:

— Ну вот и нет температуры.

Возница, привезший ее, остановился у своих знакомых, через два дома. Когда она постучала в окошко, он сразу выскочил и спросил шепотом:

— Запрягать?

— Скорей! — сказала Вера Николаевна.

И когда она села в сани, уже закидав труп снегом, мужик не спросил про Штрауба и только, сморщив скопческое свое лицо, сказал быстро:

— Маршрут, барынька, тот же? Командуйте!

— Да, на станцию, к железной дороге! — сказала она, кутаясь и потирая подбородок. Когда они выехали за село и неслись по дороге среди мелкого дубового лесочка, она смотрела в синее небо и думала с каким-то умилением, восторгом и в то же время ужасом перед собой: «Боже мой, неужели это сделала я?»

Той же ночью нашли труп Штрауба. При обыске обнаружили документы на имя сельского учителя Никитина и среди них любовное письмо к Вере Николаевне, в котором Штрауб объяснял свою ревность к Быкову. Некоторые намеки в этом письме показались странными, и письмо передали по телеграфу в екатеринославскую Чека.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ

Пархоменко встал первым. В хате было еще совсем темно и слышался густой храп начштаба Колоколова. Пархоменко натянул сапоги, подышал на стекло, которое чуть подернулось морозом, потер его пальцами и вытер затем пальцы о рукава куртки. В окно видно было небо, уже слегка голубевшее и потерявшее много знакомых звезд. «Часов пять, выходит!» — сказал он сам себе и посмотрел на часы. Часы стояли. Он вспомнил часы Ламычева и улыбнулся. «Терентий хоть в какую сумятицу, а часы завести не забудет», — подумал он.

А сумятица, точно, была. За Махно гнались уже двадцать один день. Проскакали без малого тысячу триста километров, а когда вчера попробовали подсчитать повозки и пулеметы, забранные у него, то оказалось, что их хватило бы на целую армию. По всем сведениям, Махно застрял. У него осталось только три кавалерийских полка и три тысячи пехоты на повозках.

В час ночи явилась разведка и подтвердила, что Махно ночует в районе Лукашевска, километрах в сорока отсюда, в Юстин-городке. Банды собирают свои вьюки и хотят просочиться в район Умани и повернуть оттуда к Днепру, чтобы скрыться в чернолесье.

— Бандит уже поет с завоем, — сказал в заключение командир разведки, — не проскользнуть Махно.

Тихо шагая, чтоб не разбудить товарищей, Пархоменко подошел к Колоколову, который спал на деревянном настиле, вроде нар, у печи. Над ним висела пустая люлька, а в головах стоял рогач, кочерга и веник. Колоколов клал всегда часы на портсигар, который держал возле подушки. Но едва Пархоменко наклонился к часам, как Колоколов поднял голову и сказал:

— Половина шестого. — Видимо, и он думал о том же, о чем думал Пархоменко, и боялся выпустить Махно.

Как только он проговорил это, тотчас послышались голоса проснувшихся, кто-то завел вчерашний спор о конях, кто-то пожаловался на зубную боль, а кто-то стал рассказывать, как он видел во сне встречу Нового года.

— По старому стилю встретите, — сказал Колоколов, оборачиваясь к переднему углу, к «богам», украшенным полотенцем, и расправляя гимнастерку.

Пархоменко, достав полотенце и мыло, подошел к низкой двери с большим порогом, возле которой висел рукомойник. Вода там была теплая. Ординарец Осип Замело, как всегда совершенно неслышно, уже успел вскипятить самовар и налил в рукомойник теплой воды, хотя Пархоменко никогда не умывался теплой водой. Замело считал, что такой герой, как Пархоменко, о котором всегда рассказывал, что тот сидел «шестнадцать с половиной лет в каторге и бегал с нее столько же раз», непременно должен умываться теплой водой и непременно он, Замело, должен ставить для него самовары. Во всем этом было приятно одно, что, ставя самовар, Замело одновременно будил всех остальных ординарцев и коноводов и заставлял их скорее кормить и поить коней.

— В повара тебе, Замело, идти! — сказал Пархоменко, намыливая шею и руки, фыркая и стараясь не брызнуть на брюки и сапоги. — Коней напоили?

— Сейчас погонят.

С улицы вернулся Колоколов.

— А, заведующий погодой! Каково?

Колоколов любил предсказывать погоду. Вчера вечером он предсказал упорный снегопад и сейчас выскочил, чтобы проверить себя. Не отвечая на вопрос, он прошел к переднему углу и положил на темный выщербленный и замасленный стол только что полученные депеши.

— Сне-е-г валит...— раздался веселый голос редактора газеты Беляева.

Послышался звучный хохот, и Колоколов сказал:

— А у меня новости... Махновцы вели вчера бой с восьмой дивизией в районе Лукашевска. Значит, туда и идут, а не в нашу сторону. И ночь прошла благополучненько.

Он намекал на вчерашнее утверждение Беляева, что Махно попробует прорваться через центр группы и что прорыв этот возможен ночью. Беляев ядовито спросил:

— А как погода?

И так как Пархоменко смотрел на него вопросительно, то Колоколов не мог не ответить:

— Ночью было нечто вроде дождя, а к утру ударил мороз. Я предлагаю эскадроны спешить, кони у них совсем задрябли, пускай идут вместе с комендантским батальоном.

— Не кони задрябли, а люди мешкотны и вялы,— сказал Пархоменко, которому всегда не нравилось, когда усталость свою объясняют усталостью коня.— А если бы завьюжило, тогда, что же, сидеть нам на печи?

Он вышел на улицу, чтобы проверить дорогу. Нога действительно скользила, все выпуклости стали грубы, и ступать на землю было неприятно и тяжело. Да, по такой дороге далеко не ускачешь. Хорошо, если к вечеру поспеешь в Лукашевск.

Впереди на улице послышался трескучий гул, словно кто-то скакал по гигантскому барабану. Гул этот приближался. Через минуту топот, уже громкий и частый, послышался возле дома. Мимо Пархоменко в ворота во весь опор проскакали на неоседланных конях два человека, и один из них был в светлом полушубке. При бледном, чуть сиреневом свете утра, проглядывавшем с чистого неба, видно было, как человек в белом полу-

шубке, разведя локти, дергал лошадь и бил ее ногами в широких сапогах. Лошадь задирала голову и беспокойно трясла его.

— Ну и дорожка! Льду-то, льду-то — чисто река разлилась по всему божьему свету!

С крыльца послышался голос:

— Кто? Чего вам?

— А добровольцы! До командира!

Во дворах зажигались огни. Кое-где бойцы гнали коней на водопой. «Вечно они запаздывают», — с неудовольствием подумал Пархоменко.

Чей-то веселый голос громко рассказывал сказку, видимо не досказанную вчера, и, когда боец выпускал очередное ругательство, которое как бы уравновешивало реальностью своей неправдоподобие сказки, слышался смех. Шаги коноводов были размеренны, и можно было думать, что эскадроны не опоздают и выйдут из хутора вовремя. Да и разлеживаться-то негде. На хуторе очень тесно, а большие села Зеленый Лог и Бузиновка хоть и лежат километрах в семи, но бойцы вчера так устали и так было поздно, что решено было переночевать на хуторе. Подумав об этих двух селах, лежащих на возвышенности почти рядом друг с другом и разделенных только балкой, Пархоменко вспомнил Самгородок, который находился недалеко отсюда — кажется, по течению той же речушки, на которой стоят эти села. «Эка нас опять махнуло!» — подумал он.

Когда он вернулся, командиры уже кончали завтрак. На столе лежал хлеб, творог и стояли стаканы с морковным чаем. Колоколов, раскрасневшийся, дул с ожесточением на блюдечко и грыз кусочек сахару так громко, как будто бы это был кирпич. Фома Бондарь солидно прихлебывал из стакана. Богенгардт, командир группы из двух бригад 11-й кавалерийской дивизии и бригады Упроформа, стоял у стола и, надев маленькие стальные очки, рассматривал что-то в записной книжке. Беляев старался налить чаю покрепче. Для Пархоменко, который никогда не пил горячего чаю, с краю стола, возле тарелки творога, оставили большую эмалированную кружку с остывшим чаем. Колоколов, указывая на кружку, сказал:

— А у меня новости. Депеша, шифровка, — и, торопясь, чтобы его не перебили, поднял к Пархоменко крупное свое лицо с пухлыми губами самого густого

багряного цвета.— Помнишь, при шпионе письмо нашли, любовное? Где насчет Быкова и ревности!

— В Петровском. Еще бы не помнить. Этот Быков у меня в голове, как гвоздь.

— Из Екатеринослава телеграфируют, что пришли арестовывать Быкова, а жена, Вера эта, успела уже к нему пробраться. Стучат, а она его и стукни из револьвера.

— Вот тебе бы такую жену,— сказал кто-то из соседней комнаты.

Все захохотали. Колоколов был холост и постоянно жаловался, что уже десять лет ищет жену и все не может подобрать по характеру.

Колоколов, не обращая внимания на хохот, продолжал:

— Застрелила — и себя хотела убить. Но в крови мужа, что ли, поскользнулась или взволновалась, только вместо сердца попала в область шеи.

— Жива?

— Легкое ранение. Оправилась уже. Первый допрос сделали. И есть, по ее словам, богатая добыча возле Махно. Американские, французские шпионы... она знает: муж ее был Штрауб, международный шпион...

— Я даже видел его раза два,— сказал Пархоменко.— Ловок, пес!

— Она была жена Штрауба! Она его и убила! Есть подозрение, что она успела другим шпионам передать: «За мной, дескать, гонятся, так вы — к Махно!..»

— Догоним и там,— сказал Беляев.— Что ж это она, двух мужей на протяжении недели убила? Ну, баба!

— Подожди, не мешай, Беляев,— сказал Пархоменко,— пусть он о других депешах докладывает. Время напряженное, нельзя заниматься пустяками. Давай, Колоколов.

Колоколов начал докладывать о других депешах, Пархоменко слушал, и как ему ни хотелось, а мысли невольно возвращались к Быкову. Экий негодяй, изменник, предатель!

Как подозревали, так оно и вышло. Недели две тому назад всячески старались какие-то люди всадить его в группу, преследующую Махно, и только с большим трудом отодвинули тогда этого Быкова. «Прямой барыш, что не взяли»,— подумал Пархоменко. Колоколов уже сообщил все депеши и возобновил спор с Боген-

гардтом: они недолюбливали друг друга и сейчас спорили о том, нужно ли спешивать эскадроны. Беляев, глядя в их раздраженные лица, как всегда, смеялся дробным смехом.

Пархоменко придвинул тарелку с творогом и стал есть творог большой, с крупными зазубринами, ложкой. Доев ломоть хлеба и залпом выпив остывший чай, он взял приказ, написанный Колоколовым.

В углу, около печи, Бондарь, натягивавший сапог, говорил Беляеву:

— Выводы такие, что Быков мог многое нам напортить и еще нам придется как следует разобраться в этом. Им Махно спасти куда как выгодно.

— Теперь Махну и бог не спасет, не только что Быков, — сказал Пархоменко, дочитывая приказ.

Приказ начинался так: «Банды Махно, преследуемые 8-й червонной дивизией, отступают в северо-западном направлении и задержались в районе Лукашевска...» Пархоменко достал часы, завел их и, подписав приказ, поставил под ним дату: «8 часов 15 минут. 3 января 1921 года». И, взяв бекешу, он сказал:

— Задержался Махно в районе Лукашевска иль не задержался, но нам задерживаться нельзя. Прошу вас, товарищи, быть сегодня особенно бдительными.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Пархоменко, Колоколов, Богенгардт, Беляев, Фома Бондарь и коновод выехали в тачанке со двора, когда уже совсем было светло. Спешенные бойцы выводили коней из ворот. Когда тачанка проезжала мимо них, они отдавали честь и улыбались. Ординарец Осип Замело, верхом, вел в поводу двух верховых коней: коня Пархоменко и рыжего коня Колоколова. Так как он опасался, что кони могут поскользнуться, то не очень торопился за тачанкой, и только когда можно было свернуть с дороги и проскакать необледеневшим полем, он догонял тачанку.

Возле околицы они свернули с дороги, чтобы пропустить большой воз соломы. Воз шел, должно быть, из Зеленого Лога. Рядом с возом шагали крестьянин и крестьянка. Крестьянин был высок, худ, а женщина — пониже и поплотнее, с карими очами и с таким гибким станом, что он чувствовался даже по очертаниям

ее полушубка. Воз шел медленно, стояли долго, да торопиться было и не к чему, потому что из хутора не показался еще ни комендантский батальон, ни эскадрон. Дул такой ветер, что, казалось, сразу выжил все тепло из тела. Они соскочили с тачанки и стали подпрыгивать на льду, отливающем голубым.

Поодаль были видны стены мазанок, плетенные из хвороста, и ветер был такой резкий, что казалось, вытаскивал хворост из мазанок и качал под навесом «причилка» плуги и бороны с такой же легкостью, как железного петушка на трубе.

Только Фома Бондарь, в длинном полушубке и в буденовке, которая была ему велика, неподвижно сидел на тачанке, свесив ноги. Но и он скоро промерз и сказал, потирая руки:

— Что-то наши не едут. Вернуться в хату, погреться, что ли?

— А в Зеленом Логу погреемся,— сказал Колоколов. — Хозяев жалко, опять им студить хату.

Колоколов только что прервал спор с Богенгардтом, который говорил, что напрасно они зарываются вперед, а не ждут основных сил. Колоколов то ли не верил, что Махно может прорваться, то ли устал, но по их спору выходило так, что в Зеленый Лог совсем не надо и ходить, а следует забирать больше в сторону Умани. Пархоменко слушал и проговорил:

— Раз признали необходимым идти, раз приказ отдан, чего спорить?

Все молча сели.

Кое-где вчерашний дождь согнал с чернозема снег, и видны были остатки стеблей кукурузы. Вскоре их сменили черные будылья подсолнечника, мелкого и какого-то заброшенного. На ветру качалась несрезанная, должно быть потревоженная червем, бурая шапка подсолнечника; вся обледеневшая, жалкая, она стучала о землю и, казалось, говорила: уберите меня отсюда поскорее!

Навстречу показалась легонькая, словно вырезанная из картона, тележка. Тощий еврей в рваном ватном пиджаке и несколько его ребятишек, укутанных во что попало, сверкнув на них испуганными глазами, повернули было в поле, а затем, разглядев буденовки, опять выехали на дорогу. Еврей, сняв длинную, с рыжим верхом шапку, низко поклонился в сторону тачанки.

— Куда? — крикнул ему Пархоменко.

— За керосином. Керосин ищу, — ответил он протяжно, прикрывая лицо рукой от ветра и глядя на них воспаленно-слезящимися глазами.

Еврей остался позади. Поле сверкало, но так как солнце било наискось, не сильно, то на это сверкание было приятно смотреть. Тачанку догнал ординарец. Осторожно держа повод, он улыбнулся и кивнул головой.

— Ребята вышли? — спросил Пархоменко.

— Вышли, догоняют, там, за лесом, — ответил Замело, указывая назад.

Хутора уже не было видно. Его скрывал лесок. Этот же лесок, почти сплошь из молодых дубков, окружавших толстые пни, задерживал порывы ветра. Кони были подкованы отлично, дорога звенела под ногами, крупинки льда мелко дробились колесами, тачанка катилась быстро. Опять отстал Замело, но вскоре появился на повороте, позади.

Колоколов вдруг сказал:

— Что-то мы сильно гоним. Батальон в мороз быстрее идет, однако тачанку ему не догнать. Задержи-ка, коновод, на холмике нас.

Поднялись на холм. От хутора, где они ночевали, отъехали уже километров пять. С холма в бинокль можно было разглядеть в лесу группы пехотинцев и коней.

— Идут,— сказал Пархоменко, кладя бинокль в футляр, — догонят, трогай.

— По такой дороге трудно догнать, — начал было Колоколов, но его прервал Фома Бондарь:

— Догонят! Не в первый раз! — И Фома Бондарь, достав портсигар, вынул из него тоненькую папироску и, приподняв полу полушубка, прикрыл им спичку и закурил.

Спустились с холма, пересекли овраг и затем стали подниматься на холм, уже довольно высокий. С этого холма можно было видеть почти все эскадроны и весь комендантский батальон. Он уже миновал лесок и тянулся на тот холм, на котором была недавно их тачанка. Мягко сверкали штыки, стройно шли кони, и Фома Бондарь указал рукой на маршировавших красноармейцев и проговорил:

— Красота!

Внизу под бугром уже начинались хаты Зеленого Лога. Они взбирались на еще более крутой бугор.

Голые и тощие тополи, чем-то напоминавшие недавно проехавшего мимо еврея, стояли у хат. У одной ограды терлись у ног мальчика две овцы. Мальчик смотрел на тачанку. Из хаты вышла баба в цветной юбке и, быстро колотя мальчишку кулаком по шее, погнала овец в хлев.

— Сильно запуганы Махной, — сказал Бондарь. — Думает, сейчас мы в ее овец вцепимся.

Поднялись и на третий бугор. Отсюда можно разглядеть было всю дугу речки, мост через нее. Внизу, подле речки и моста, стояли сараи, а за сараями начиналось второе село — Бузовка.

Тачанка осторожно спустилась под бугор по скользкой и накатанной дороге. Коновод слегка освободил вожжи и, повернувшись к Пархоменко, сказал:

— А на горбе-то, Александр Яковлевич, у Бузовки, какие-то люди.

Точно, впереди, на горбе холма, метрах в трехстах — не больше, на широкой улице видно было небольшую группу всадников. Так как солнце било в глаза, да и, кроме того, всадники стояли на сверкающей дороге, то разглядеть их толком никак не удавалось.

— Не разведка ли наша? — спросил Пархоменко.

Колоколов побледнел и глухо ответил:

— Не проверял, послана ли была разведка.

Тачанка остановилась. Колоколов подошел к своему коню и прыгнул в седло.

— Я разомнусь, — сказал он, виновато взглянув на Пархоменко, и поскакал в гору.

— Чего им на нас смотреть, если мы им свои, — проговорил ординарец, поглядывая на гору.

— Как же это Колоколов разведку забыл послать? — сердито сказал Бондарь. — Твердим, твердим о бдительности, а он...

Пархоменко слез с тачанки и, покусывая губы, ходил по дороге. Группа всадников на горе увеличивалась. С одной стороны, Пархоменко был доволен, что им удалось заметить этих неизвестных и вооруженных людей, которые могут оказаться махновцами: значит, удастся предупредить прорыв и внезапное нападение. С другой стороны, Пархоменко жалел, что отпустил Колоколова. Правда, Колоколов виноват, что не проверил, послана ли разведка, но Пархоменко мог бы и сам проверить. Между тем всадники на холме уже окружили Колоко-

лова. На минуту он исчез в толпе, и сердце у Пархоменко замерло, он подумал: «Зря я его отпустил, зря разрешил командованию идти вперед, как будто разведчики».

— Вышел, — сказал Бондарь. — Наши.

Действительно, из толпы выступила вперед высокая фигура Колоколова. Он что-то горячо говорил и размахивал руками. Всадники все прибывали и прибывали. Колоколов исчез.

— Сколько у нас винтовок? — спросил Пархоменко.

— Да у меня одна под ногами, — ответил коновод.

— Что же вы, дьяволы, хоть бы пулемет взяли. — Пархоменко оглянулся назад, сильно ли закрывает их бугор. Бугор был высокий, как стена, и батальон мог и не услышать выстрелов. Вот разве по реке прорвется звук. Пархоменко влез на тачанку и вынул револьвер.

— Не наши, Александр Яковлевич, — сказал, подъезжая, ординарец. — Садись на коня.

— Ты что говоришь? Тебя чему учили? Товарищей бросать? Начальника штаба бросить? Становитесь, товарищи, спинами друг к другу.

— Да они в шлемах! — сказал Бондарь.

— Не наши,— повторил плачущим голосом ординарец. — Садись на коня, Александр Яковлевич.

— Чего пристаешь? — оборвал Пархоменко.

Ординарец отъехал немного в сторону, еще раз посмотрел на всадников — и вдруг выпустил повод и стегнул вороного коня Пархоменко. Конь подумал мгновение, затем повернулся и побежал обратно, к тем коням, шаги которых, как чувствовал он, приближались к Зеленому Логу.

— Конь ускакал! — крикнул Замело.

— Э, лови, дура! — сказал, взглянув мельком на коня, Пархоменко. — Да заодно скажи нашим, чтобы конники шли в обход, а пехота наступала со стороны речки, равно и по нашему следу.

Ординарец только и хотел этого распоряжения. Он надеялся поскорее привести помощь и спасти Пархоменко. И он поскакал, во всю силу гоня лошадь. Услышав топот его коня, Пархоменко сказал:

— В гору нам теперь не подняться, на реку выскочить не успеем, так что берегите пули, товарищи. Хоть у них передние ряды и в шлемах, но определенно могу сказать, что это махновцы.

Как только поскакал ординарец, отовсюду из-за соломенных сараев, из-за хат Бузовки послышались крики, и мутная толпа всадников понеслась с горы. Четверо, ставших спиной друг к другу, встретили эту толпу выстрелами. Трое били из револьверов, а Пархоменко стрелял из винтовки. Всадники скакали теперь и сверху оврага, а в конце боковой улицы показались их тачанки.

Едва Пархоменко выстрелил из винтовки, с тачанок раздалась пулеметная очередь.

— Махно здоровается, — сказал Пархоменко и указал винтовкой на видневшееся ландо, украшавшее собой вершину холма.

Стоявший направо от него Фома Бондарь как-то по-детски, тонким голосом охнул и присел. Он попробовал поднести руку к животу, но лицо его уже было теперь не оливкового цвета, а цвета мертвенной охры. Рука его была неподвижна.

— Хороший товарищ был, — сказал Пархоменко, отбрасывая опустошенную винтовку и вынимая револьвер.

Махновцы уже отодвинулись к сараям, и только некоторые из них ползли по земле, изредка стреляя. Пархоменко выбрал того, который был половчее, дал ему подползти поближе, отвернулся слегка в сторону, как бы не видя его. «Ну теперь хватит этому кулаку жизни», — подумал Пархоменко и, повернувшись, выстрелил. Махновец подпрыгнул и упал навзничь. Пархоменко выстрелил в другую сторону. Покатился еще один махновец.

— Э-э-э... — застонало что-то. Беляев, тряся головой, раненный и в плечо и в руку, тщетно старался направить к сердцу револьвер, чтобы выпустить в себя последний патрон.

Пархоменко положил ему на плечо левую руку и сказал:

— Зарубят и так, ты вон в того бей. Вроде попа. А я в его соседа. — И Пархоменко показал на двух ползущих с винтовками длинноволосых людей.

Беляев выстрелил. Ползущие забились и завыли.

Пархоменко поискал глазами Богенгардта. Тот лежал у его ног, рядом с коноводом. Голова Богенгардта была прострелена. Беляев замолчал. «Ушли все товарищи», — подумал Пархоменко и опять, прицелившись в махновца, нажал пальцем на холодный, казалось,

струящийся в руке металл. Револьвер молчал. Пули вышли. Он отбросил револьвер и выхватил саблю. Тесно забитое людьми пространство, коричнево-желтый склон бугра, четыре сарая, хата, несколько тополей — все это скользнуло в сторону, покрылось какой-то медной дымкой, а затем вновь остановилось.

Пархоменко почувствовал, что правый бок его оцепенел. Так как Пархоменко держал саблю в правой руке, то попробовал пощупать бок левой. Рука действовала, но, скованная словно бы одурью, ничего не могла нащупать и двигалась в какой-то скользкой и оседающей вате. Пархоменко попробовал занести ногу на облучок, чтобы покрепче опереться и хорошо встретить саблей первую приблизившуюся к тачанке голову. Но то ли ногу не пускали мертвецы, то ли она была прострелена. «Услышали ли ребята?» — подумал Пархоменко и с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на бугор, с которого он недавно спустился. Бугор был пуст.

А с другого бугра уже съезжало ландо. Низенький человек, опираясь на костыли, стоял в ландо и что-то кричал. Махновцы, обнажив шашки, скакали к тачанке Пархоменко. «А ничего, стою вровень с собою, не робею,— подумал Пархоменко, проверяя себя. — Ребята-то наши, кажется, скачут уже... другой какой-то топот слышно».

Человек на костылях выпрямился, повел рукой. Махновцы остановили коней шагах в десяти от Пархоменко. И расступились. Ландо приближалось. Человека на костылях поддерживала под руку сестра милосердия. Глядя на Пархоменко глинистыми своими глазами, Махно крикнул:

— Ты кто такой?

— Пора бы знать в лицо, — медленно ответил Пархоменко.

— Ты кто такой? — крикнул Махно и протянул к сестре милосердия руку.

Сестра милосердия подала ему маузер.

Пархоменко понимал, что Махно ждет от него жалких слов, чтобы после этих жалких слов приказать зарубить его. Пархоменко ухмыльнулся, поднял саблю и, как только мог громко, сказал:

— Я командир четырнадцатой, Пархоменко, а ты бандит. Сдавайся именем Советов.

Махно выстрелил.

Пархоменко всем своим громадным телом тяжело упал на землю.

— Руби! — крикнул Махно.

А за бугром уже развернулись для атаки два полка 2-й бригады. К мосту через речку приблизился полк Гайворо́на. Конный пулеметный полк несся по ложбине. Махно был окружен. В этой страшной сече у Бузовки зарубили тогда девятьсот махновцев, множество «батькив», в том числе Чередняка, Правда̀, Каретника. Захвачены были в плен известный американский контрразведчик и диверсант Ривелен, а вместе с ним шпионы, завербованные некогда Штраубом и теперь бежавшие к Махно Геннадий Ильенко и Николай Чамуков. Отбили все махновские обозы, захватили сто шестьдесят пулеметов, типографию и ландо, в котором разъезжал глава «анархистского строя».

Сам Махно, отчаянно плача и бранясь, проклиная «батькив», которые ему изменили и предали его, с помощью Аршинова влез на коня и с уцелевшей сотней охраны прорвал спешенную часть, стоявшую у реки. Отсюда началось его бегство через Украину, Бессарабию, Румынию — вплоть до кабаков Монмартра.

Приказ был выполнен. Группа Пархоменко рассеяла банды Махно.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Шестнадцатого января 1921 года, днем, было открыто траурное заседание пленума Екатеринославского Совета рабочих и красноармейских депутатов. На трибуне портреты Розы Люксембург и Карла Либкнехта, задрапированные черным. В этот день исполнилось два года, как были убиты вожди немецкого пролетариата.

В передних рядах, среди красноармейцев и рабочих, стоял Ламычев. Единственной своей рукой он поддерживал Харитину Григорьевну, которая стояла, свесив голову. Она шептала:

— Привезли тело в штаб... Военные и деревенские окружили... Подняла я солому, глянула — и не могла больше смотреть, так он был изрублен...

Ламычев смятенно прислушивался, что говорит Харитина Григорьевна. Он смотрел, что происходит вокруг,

и чувствовал внутри горькое и неодолимое беспокойство. Ему казалось, что ничего этого нет, что это тот унылый и стремительный сон, какой терзал его тогда в больнице, когда ему отрезали руку. Вот-вот войдет Пархоменко, и все это тяжелое и ужасное развеется.

Но оно не развеивается. Рядом с Ламычевым стоит бледный Гайворон, Лиза и множество друзей Пархоменко. И раздается голос председателя:

— Товарищи, к тем жертвам, о которых мы сейчас говорим, присоединились еще жертвы: убит один из наших лучших товарищей — Александр Пархоменко. Предлагаю почтить память погибшего.

Собрание исполняет «Интернационал», затем оркестр переходит на похоронный марш.

Председатель говорит:

— Слово о памяти погибшего товарища Пархоменко имеет член Реввоенсовета Конармии товарищ Ворошилов.

Лицо Ворошилова без единой кровинки, словно оно обморожено. Он стоит у стола, и одно плечо его слегка опущено вниз, как будто еще чувствует тяжесть гроба, который он нес.

— Товарищи, в двухлетнюю годовщину гибели великих борцов Коммунистического интернационала, Карла Либкнехта и Розы Люксембург, наша мысль невольно останавливается на тех мучениках и жертвах революции, великих страдальцах, которые отдали жизнь за освобождение человечества.

И он рассказывает о тех тысячах бойцов, которые сложили свои головы на многочисленных фронтах, защищающих социализм, и затем рассказывает о замечательной жизни Пархоменко, вплоть до его смерти, рассказывает о его подвигах, мечтах.

— И после того, когда все наши фронты ликвидированы, после того, как мечта этого легендарного революционера сбылась — все наши враги уничтожены, — после всего этого товарищ Пархоменко сложил свою голову в борьбе с бандитом. На Украине, которая перенесла только что такие страдания, муки и ужасы, каких еще ни одна страна в мире не видала, есть разновидность класса буржуазии — кулачество, питающее всех бандитов, в том числе и главного своего выразителя батько Махно. Эти кулаки мечтают о том, что они... построят свое кулацкое царство. Вот наш враг, от руки

которого погибли наши товарищи вместе с товарищем Пархоменко. Конечно, мы еще, очевидно, потеряем не одного нашего бойца и нам предстоит еще большая борьба с кулачеством...

И Ворошилов рассказывает о том, что кулаки убили только что шестнадцать человек технической команды, когда команда явилась в одно село исправить телеграфное сообщение, натянуть проволоку на столбы.

— Кровь наших товарищей требует, чтобы мы сплотились и раз навсегда положили конец этим подлым бандитским шайкам. Этим самым мы положим конец угрозам жизни наших товарищей в те дни, когда они уже могли бы отдыхать от нападений. Кровь наших товарищей вопиет об отмщении. Гибель Пархоменко укрепила в нас волю к отмщению. И мы уничтожим врагов рабочего класса и трудящегося крестьянства, с какой бы стороны они ни являлись!

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Шел 1924 год.

Сгоревшие и взорванные вокзалы уже восстановлены. Настланы крепкие крыши, вставлены рамы, и ветер, широкий, сильный, тщательно крутит вокруг и бьет дождем. Неподалеку возвышается новое депо, и из него, сияя медью и сталью, оставляя на пути пятна масла, словно бахвалясь тем, что нефти сколько угодно, выходят гулкие паровозы. Паровозы пересекают реки по серым новым мостам, которые отражаются в реке, словно какие-то невиданные рыбы. В полях поднялись высокие нивы.

В середине лета 1924 года робкий юноша в длинной истрепанной кожанке, должно быть с плеча старшего, вошел в большой дом на Воздвиженке, где тогда находился ЦК РКП(б). Это был Ваня, старший сын Александра Пархоменко. Юноша приехал учиться в Москву на подготовительный курс какого-то института. У него не было ни комнаты, ни стипендии, ни знакомых. Тогда он написал письмо Сталину и теперь входил в дом за ответом.

В большой комнате несколько секретарей отмечали желающих видеть Сталина. Окна были раскрыты. С улиц несло запахом города, нефти, печеного хлеба, телег, автомобилей. Слышался звон трамвая, бежавшего с таким напряжением и грохотом, будто он переклепывал

всю улицу. В комнате с коричневыми обоями и изразцовыми печами находилось человек сорок. «Часов шесть придется сидеть, наверно, пока их всех пропустят», — подумал юноша.

В дверях, обитых клеенкой, показался секретарь. Он подошел к юноше и сказал:

— Ваня Пархоменко, прошу вас к товарищу Сталину.

Сталин стоял позади стола, возле кресла, держа в руке белый конверт. Лицо его было задумчивое, еще не отпустившее света воспоминаний. Он усадил юношу и стал расспрашивать о семье Пархоменко, о Харитине Григорьевне, о младшем брате.

— Вы знаете, Ваня, где Кремль? — спросил он негромким своим голосом. — Возьмите это письмо, пойдите туда, во ВЦИК, и мне думается, что жизнь ваша наладится, вам необходимо продолжать ваше образование.

Сталин вышел с Ваней в приемную и с тем же задумчивым, наполненным воспоминаниями лицом спросил у секретаря:

— Скажите, нет ли у вас бланка, чтобы пропуск ему написать в Кремль? А то могут не пропустить.

Пока секретарь писал на бланке пропуск, Сталин смотрел на Ваню, как бы отыскивая в нем черты его отца, а затем проговорил:

— Ваш отец был замечательный человек и революционер. Надо полагать, родина запомнит его имя.

Ваня взял пропуск. Тогда Сталин положил ему руку на плечо и стал подробно рассказывать, как Ване надо идти в Кремль, как, выйдя из дома, повернуть направо, там видна башня, Кутафья, затем пройти помостом и через ворота войти в Кремль. Рассказывая дорогу шаг за шагом, он подвел Ваню к самому зданию ВЦИК. Подведя и как бы распахнув двери, Сталин снял руку с Ваниного плеча и ласково сказал:

— Учитесь, Ваня. Учитесь так, как будто жив ваш отец. Он понимал, что если отцы погибают в борьбе, — остаются дети, и тогда отцом им делается народ. Народ же бессмертен, возьмет свое, победит. Не так ли, товарищ Пархоменко?!

1938—1950—1958

ПРИЛОЖЕНИЕ

СОКРОВИЩА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО[1]

Роман

ГЛАВА ПЕРВАЯ

— Обстоятельства, при которых я увидел гемму царицы Роксаны, супруги Александра Македонского

Чему посмеешься, тому и поработаешь.

Пословица

Начало этой повести о необычайных превратностях, испытанных нами при розысках утаенных сокровищ древних греков, относится к времени для меня сравнительно отдаленному.

В 1925 году, будучи разъездным корреспондентом крупной московской газеты, приехал я в Баку. Помимо того, что попал я туда впервые, надо добавить, что лет мне тогда было едва-едва за двадцать, а характер я имел ищущий и мечтательный. Понятен поэтому восторг, с каким глядел я, как проворные тартальщики черпают из земли нефть — тяжелую и глянцево-темную — при помощи желонок или как современные, блещущие металлом и краской насосы, почти без помощи человека, выкачивают целые реки нефти. Без устали ходил я по заводам, бесконечно большим, а того более бесконечно сложным. А вечером, когда в крутое небо поднималась луна цвета самой чистейшей извести, я забирался в Старый Город, и сердце мое тоскливо и сладостно ныло.

Мне, изволите ли видеть, мало было тех чудес, что я наблюдал!.. Я призывал Древность. Мне казалось, что если эту Древность соединить вот с этой Новизной в один, как бы сказать, вал, а затем на этот вал подействовать рычагом моей мечты, то, мгновенно, я увижу великое Будущее, перенеся себя словно с чертежа на место работ.

Мне мерещились хрустальные дворцы, разумеется, кубической формы, как было тогда в моде. Мнилось мне, что я беседую с прекрасными и умнейшими девами. Мудрецы приветствуют меня. Друзья мои разбросаны по всему миру, который процветает без каких бы то ни было промежутков во времени и пространстве...

...Улицы в Старом Городе так узки, дома стоят так тесно, что думалось — жители перепутали тут не одни лишь свои коммерческие

---

[1] Подготовка текста Е. Краснощековой.

дела, но и самые сокровенные мысли. А перепутанные сокровенные помыслы разве не то дышло, которое ворочает передок и везет за собой всю повозку фантазии! На каждом повороте улички мне чудился встречный караван, несущий к бакинскому храму Огнепоклонников мумифицированные трупы из Ирана и Индии. И вот — встает труп. Открывает тусклые очи. Он все знает, но ничего уже не разумеет. Я все разумею, ничего еще не знаю. И он сухими синими губами рассказывает мне историю о заточенной спящей царевне, о сокровищах и о путях к спрятанным сокровищам...

...А прекрасные и таинственно распахнутые настежь кофейни! И старцы возле кальянов с обожженными солнцем лицами, на которые падает тень от высоких вытертых меховых шапок. И мусульманское кладбище на горе, снабженное таким количеством намогильных памятников, что вспоминаешь птичий базар где-нибудь в Арктике... А горячий ветер, в одно мгновение насовывающий вам полные руки и рот душистой пыли прокаленного Апшеронского полуострова!..

Однажды на улице, дыша этой пылью, просматривал я «Бакинскую вечернюю газету». Среди разных объявлений, вроде условия приема в геологический институт или расписания остановок новой трамвайной линии, наткнулся я на сообщение местного археологического кружка.

Желающие приглашались прослушать публичный доклад некоего П. И. Петрова на тему «Сокровища Искандера Двурогого». Доклад состоится в воскресенье, такого-то числа, в филиале местного музея — во дворце бывшего бакинского хана, в Старом Городе.

Несмотря на свои двадцать лет и мечтательный характер, я понимал, что тема этого публичного доклада не столь уж значительна и редка. Известно, что о знаменитом полководце Александре Македонском, или, как его зовут на Востоке, Искандере Двурогом, имеется достаточно много легенд и песен. Конечно, не мало их и о предполагаемых сокровищах Александра, которые будто бы он скопил за время своих походов. По-видимому, П. И. Петров попросту свел воедино все предания и песни о сокровищах и теперь возжелал поделиться своими выводами с публикой и учеными археологами.

Над последними двумя словами я задумался.

Почему доклад организует местный археологический кружок, т. е. люди, превосходно знающие Восток и его историю, именно с материальной стороны. Если дело идет о простом своде песен и преданий, то не лучше ли прочесть П. И. Петрову свой доклад у фольклористов, этнографов, поэтов, наконец. Следовательно, раз доклад Петрова устраивают ученые археологи, то, несомненно, он, в подтверждение своих доказательств, привел новые материальные данные, а коли доклад о сокровищах, то, возможно, он знает доподлинно, где эти сокровища!

Ах, шалопай, повеса, пустой бестолковый человек! Что я наделал! Из-за одного глупого разговора по телефону, я,— восемнадцать лет спустя,— вынужден, голодный, израненный, измученный, скитаться по бесконечной, чудовищно-страшной «Стране Мрака», о существовании которой никто из вас и не подозревает. Из-за проклятой чванливости и рисовки я теперь при мерцании смрадных «звездных колес» на полях случайно захваченного романа А. Франса «Остров пингвинов» пишу эти жалкие строки. Дорогая моя семья! Дойдут ли до вас мои вопли. Изложу ли все, что мне пришлось пережить...

...Помню, что я вернулся в гостиницу и немедленно позвонил по телефону директору бакинского музея. Мне подумалось, дурачку, что мои двадцать лет не гарантируют мне искреннего и исчерпывающего ответа директора, и я поспешил сослаться на свою газету, которой, конечно, не было никакого дела ни до фантастического доклада, ни тем более до личности этого П. И. Петрова.

Я и скажи:

— Наша газета горячо интересуется, товарищ директор, гр. П. И. Петровым и его докладом «Сокровища Александра Македонского».

В ответ я услышал:

— «Шакшой», но не ручной, а дикий, хотя это одно и то же животное.

Я так удивился ответу, что опустил трубку. Но, через секунду оправившись, переспросил:

— Какой такой шакшой?

— Северный олень,— ответил мне хриплый голос, ломающий последний слог каждого слова и заканчивающий его каким-то шипением селезня.

— Мне кажется, вы даете ответы по другому телефону,— сказал я,— я же вас спрашиваю о докладе «Сокровища Александра Македонского».

Я услышал хохот, стук чего-то отшвырнутого и тот же шипящий голос, хотя и значительно мягче, сказал:

— Извините, товарищ корреспондент. Сегодня в печи пекли пироги, надуло горячим воздухом в ухо. Целое утро какой-то дурак пристает ко мне с тем, чтоб я купил чучело шакшоя. Мне и почудилось... а что касается сокровищ, то прошу пожаловать, дам объяснения лично.

Пройдя небольшой дворик, обвитый крытыми галереями и чрезвычайно душный, я поднялся по широкой лестнице и без труда нашел кабинет директора Переквоктова. Я увидал маленького, рябоватого, как наперсток, человека в чесучовой толстовке и коротких брюках. Должно быть, он страдал малярией, да и едва ли и сейчас не было у него припадка. Лицо его, бледно-желтое, подергивалось, крупные

капли пота катились по его вискам, губы все время он обводил тоненьким языком. Неприятен мне был этот директор Переквоктов!

Дерево за окном бросало узкие тени своей листвы на книги и обломки каких-то коричневых кувшинов, разложенные по столу в виде буквы «а», деревья, как известно, тогда в Баку были чрезвычайно редки, и это обстоятельство должно было б, казалось, придать некую многозначительность столу директора и самой фигуре его, но нет, не нашел я никакой многозначительности, а наоборот, мне показалось, что директор смертельно боится меня.

— Я вам помешал?

— Нет, нет, пожалуйста,— хриплым голосом заговорил директор, вытирая со лба пот,— я очень рад... почти до бесчувствия! — выкрикнул он вдруг ни с того ни с сего, бросая на пол обломок вазы, который тут же и разбился в мелкие куски.— Именно до бесчувствия!..

— Но почему же до бесчувствия? — спросил я.

— Пресса редко отмечает нас. Редко нас дают. Тем более такие газеты. Перлы, можно сказать, до бесчувствия!.. — опять выкликнул он и опять бросил на пол осколок вазы.

Странная манера разговаривать! Этак если он при каждом посетителе будет бросать на землю осколки, то через неделю мало останется у него от музея. Я сказал:

— Тем более, говоря вашими словами, у вас меньше затруднений в объяснении данного происшествия.

— Это что — фигура риторическая? — спросил он.

С директором, должно быть, нелегко разговаривать. Я развел руками и приподнял плечи в знак недоумения.

Тогда директор привскочил, вцепился в обломки твердыми и длинными, как козьи рожки, пальцами и, глядя мне в глаза, сказал:

— Затрудняюсь, к какому роду отнести гражданина П. И. Петрова.

— А он разве не из вашего археологического кружка?

— Отнюдь... и до бесчувствия! — воскликнул он опять истошно и бросил осколок.— К какому роду отнести. Не получилось бы, по поговорке, близкое родство: на одном солнце онучи сушили. Ха-ха-ха!.. Представьте, входит посетитель спокойного советского вида и без всякой близости и дальности, свойственной сумасшедшим, говорит мне: «Я желал бы сообщить бакинским ученым и публике новые данные о сокровищах Александра Македонского». Кладоискателей — ха-ха-ха! — я встречаю много, ха-ха-ха!..

Смех его казался мне очень напряженным. Он не столько смеялся над чем-то действительно забавным, сколько подстегивал себя этим смехом, подбадривал. Мне было досадно и обидно на него смотреть, но что я мог поделать,

— Кладоискатели обращаются ко мне и за советами, и с прямыми предложениями: искать вместе. Большинство из них люди больные, с поврежденной психикой, с маниями. Таких я с первого взгляда угадываю, слушаю внимательно, а затем... ха-ха-ха!.. пишу записку к районному психиатру. Больные народ догадливый. Они сразу узнают мою уловку... ха-ха-ха!.. мы расстаемся довольно быстро.

— Не все больные, есть и шалоброды, шалуны от безделья,— сказал я, чтобы отвести разговор в сторону от больных.

— Именно... и до бесчувствия!.. — воскликнул он, приподнимая очень большой осколок и глядя на меня. Мне почудилось даже, что левый глаз его слегка подмаргивал. Я сидел неподвижно. Очень уж мне хотелось узнать о сокровищах и о докладчике.

Директор Переквоктов не разбил осколка. Он с преувеличенной осторожностью положил его на стол, а затем, откинувшись в кресле, спросил меня:

— Чего же вы хотите? Какие ваши условия?

— Только те, чтоб вы рассказали мне поподробнее о Петрове. Он, по-видимому, не производит впечатления больного. — Директор качнул головой.— Не хвастался своими баснословными научными знаниями, благодаря которым он найдет сокровища. — Директор опять послушно качнул головой. — И что же он принес вам в доказательство?

Директор наклонился и открыл боковой ящик дубового стола. Он вынул оттуда картонную коробку из-под папиросных гильз.

— Вот. Доказательства.— Сказал он с бесчувственным лицом, неподвижным и сухим, как деревянный шар. — Все... доказательства...

Перемена и одеревенение его лица не очень теперь занимали меня. Я смотрел в коробочку.

На дне ее, среди ваты, лежал темно-красный камень в толстой золотой оправе. Собственно говоря, я выразился неточно, с размаху назвав его темно-красным. Он отдавал темно-красным, наводил, так сказать, на темно-красный цвет. Уж какой я знаток в драгоценных камнях,— мельком видел их в музеях да в витринах ювелиров,— но и мне было ясно, что передо мной редчайшая, уникальная вещь.

Я осторожно взял камень. Теперь он отливал желто-масляписто, и притом так ласково, что я забыл загадочный разговор с директором, да и весь его многоученый кабинет. Я впился глазами в камень, я ощущал запах древности, аромат преданий!.. В то же время я не забывал изучать его внешне. Размером он был с трехкопеечную монету. Оправа и внутренность покрыты чрезвычайно искусной и мелкой резьбой. Отшлифован он тонко, рукою совершенной.

— Камея? — спросил я.

Директор, словно бы в забытьи, ответил мне равнодушно:

— Нет. Гемма. Камеями, как вы помните, называются камни, на которых фигуры выпуклы. Гемма же есть фигура, врезанная в глубь драгоценного камня.

— Значит, это драгоценный камень?

— Рубин,— ответил он по-прежнему равнодушно.

— Поди-тко дорогая штука?

— Да, если прибавить, что древние чрезвычайно редко пользовались рубином как материалом для резьбы. Обыкновенно брали агат, сердолик, аметист, яшму или оникс. Из оникса красоты поразительной камея Александра и матери его Олимпиады,— похожая на эту гемму, между прочим,— камея, находившаяся в сокровищнице русского императора...

— Древние. Петров, видно, знает кое-какую правду о древних, а?

— Да, не менее вас, во всяком случае, товарищ корреспондент.

Этот злобствующий и шипящий человечек наконец начал мне надоедать. Не поднимая головы, я сказал ему довольно резко, что мне неизвестна ни правда, ни ложь о древних. Я буду ему очень признателен, если он мне поможет разобраться, а не поможет,— что поделаешь!..

Он сразу же переменил тон, засуетился, подбежал к нише за письменным столом, отдернул занавес из толстого и плотного палатника. Он достал большую лупу и, как мне показалось, со вздохом пригласил меня внимательнейше разглядеть гемму.

Я видал две головы, два профиля. Первая, мужская, слегка наклоненная вбок, немного заслоняла женскую, — и какой такт обнаружил художник, что заслонил ее!.. Лицо мужчины выражало самодовольство и уверенность, даже чересчур, даже казалось, что он чуть-чуть под хмельком. Профиль женщины — строгий, прямой, резко очерченный — наполнен был тоской невыразимейшей. Так и думалось, глядя на нее, что она сейчас раскроет тесно сжатые уста и завопит, закричит от непереносимой муки... Отчего она мучается? И кто она...

Направо, пониже шлема, у самого ободка, я увидал какой-то росчерк или нечто похожее на грубый чертеж... но я не вглядывался в него, так как голова женщины с ее ужасающей тоской поглотила все мое внимание.

Я вернул коробочку директору. Он быстро спросил:

— Пирготель?

— Возможно,— уклончиво сказал я, догадываясь, что он говорит или о владельце геммы или о резчике.

— Сейчас снимете? — задал он мне второй, не менее странный вопрос.

Я ответил неопределенно:

— Куда ж торопиться? Подождем до воскресенья.

Так мы и расстались. Я вернулся в гостиницу, пообедал, и так

как стояла невыносимая жара, то я прилег на диван. Я листал «Остров пингвинов» и ничего не понимал. Мне казалось, что я на пороге великого открытия, чего-то вроде гробницы Тутанхамона... мне представлялась книга, которую я напишу. Я уже чертил первые строки этой книги... я нарисовал гемму и рядом с нею лысую, безобразную голову директора Переквоктова... все это на полях книги, такая уж у меня привычка, оставшаяся от школы.

В воскресенье, в семь вечера,— ровно за час до начала доклада,— я направился в ханский дворец. Мне хотелось, перед докладом, порасспросить П. И. Петрова... событие как-никак историческое!

Возле ворот дворца, в тени, стояли какие-то люди с усиленно-беззаботным выражением лица. Я подумал, что директор,— с какой целью, не знаю,— сообщил о докладе в угрозыск. Внутри двора те же люди с еще более беззаботными лицами. Они косо поглядели на меня, и мне пришло в голову, что не так-то много посетителей придет на этот доклад, да и явится ли сам докладчик, заметив этот эскорт.

К восьми пришло человек шесть — все руководители бакинской археологии; шаркая мягкими сапогами, вкатились сотрудники местной газеты, с завистью они оглядели меня. Затем начала появляться публика — все больше молодежь, привлеченная громким названием доклада. В десять минут девятого мы все взглянули на часы — докладчика не было.

Я отвел в сторону директора и сказал ему:

— Зачем вы сообщили в угрозыск?

Он хрипло ответил:

— А если это украденная гемма.

«Боже мой, какой дурак!» — подумал я, сказавши вслух:

— Позвольте, неужели вы думаете, что если гемма похищена, то он будет показывать публично?

— Что вы знаете о жизни, молодой человек! — воскликнул директор, и тогда его восклицание показалось мне очень глупым, но как я раскаиваюсь теперь, что не вдумался в эти слова.

В девять часов мы разошлись по домам, браня директора и археологов. Докладчик не явился. Перед уходом директор сказал мне:

— Видите, я был прав. Он не явился. Значит, мошенник. Теперь я при помощи угрозыска составлю акт и передам гемму государству. Пускай она идет в Исторический музей. Ха-ха-ха!..

Смех его окончательно рассердил меня. Сухо простившись с ним, я ушел.

Утром, в понедельник, я пошел в редакцию местной газеты, чтобы узнать телеграфные новости. Один из сотрудников, встреченный мною вчера на несостоявшемся докладе, сказал мне, что этой ночью убили директора музея Переквоктова.

— Как убили!

Он подумал, что я расспрашиваю о способе убийства, и он пространно объяснил мне, что убили его в кабинете музея, за столом, «бульдогом», особо веской закомлистой палкой, которая тут же и валялась. Я побежал в музей. На двери музея была наложена печать. Я устремился в угрозыск. Благодаря моему газетному удостоверению меня принял следователь, который вел дело об убийстве Переквоктова. Когда я сообщил ему о гемме, а также и о вызове Переквоктовым агентов угрозыска на доклад, следователь сказал:

— Гемма не обнаружена, а что касается агентов, то никаких агентов Переквоктов на доклад не вызывал, да и неужели мы такие дураки, что пошлем стаю агентов.

Вскоре я уехал из Баку. Через несколько лет я встретил в Москве того сотрудника газеты, который сообщил мне об убийстве Переквоктова. Я спросил: нашли ли убийц, кто они?.. Сотрудник быстро ответил, что убийцы обнаружены — обыкновенный грабеж,— что они понесли заслуженную кару. Но по лицу его я видел, что он забыл об убийстве Переквоктова и путает его с каким-то другим убийством.

Лично мои обстоятельства были тогда не блестящи. Меня уже уволили из газеты. Будущее мое было довольно пасмурно и туманно. Цепляясь за литературу, я бродил по редакциям, писал плохие рассказы и очерки, обижался, что мне их возвращают, и в то же время начинал понимать, что мне пора заняться ‹делом›. У меня уже было двое детей, два умных и красивых мальчика. Жена, по болезни, не служила... Я стал подумывать о педагогике, к которой,— перед началом своей литературной деятельности, — чувствовал большое влечение.

Вот почему, занятый своими мыслями, я не особенно усердно расспрашивал о деле Переквоктова. Вскоре оно и совсем вышло у меня из головы, и я не думал о нем лет пятнадцать.

Я переехал в Калугу. Я стал преподавателем древней истории, а в кружках читал о русской литературе XIX и XX века. Работать мне приходилось много, но это была приятная и увлекательная работа. Если б вы знали, с каким удовольствием я раскрывал учебник в классе и любовался горящими глазами моих учеников! Несколько раз, рассказывая детям об Александре Македонском, я вспоминал гемму царицы Роксаны, ее страдающее, полное тоски лицо, и я рисовал им картины Баку и моей молодости. Но,— дети есть дети,— они требовали продолжения, и я, посмеиваясь, говорил им, что продолжения не последовало. Тем не менее они настаивали. Мне не хотелось лгать им, и я перестал вспоминать Баку, музей, гемму с двумя профилями, один из которых, несомненно, принадлежал Роксане, жене Александра, так как мать его, Олимпиада, не могла быть столь молодой...

Наступил 1941 год. Не мне дано описать эти великие дни. Скажу только, что и гениальному человеку это трудно будет сделать: так огромны, мощны и нечеловечески прекрасны и нечеловечески тяжки были эти дни. Я, вместе с жителями города, рыл длинные окопы, день и ночь не расставался с противогазом и лопатой, а винтовок для нас не хватало, не говоря уже об автоматах. Видел я и нескончаемые потоки беженцев, и смерти, и расставания, и встречи,— многое видел на многострадальных русских полях. Мой старший сын Гришенька добровольцем ушел в армию, и с октября месяца 1941 года я не получаю от него известий. Моя жена, несчастная страдалица, была убита при бомбежке Калуги. Перед смертью она завещала мне беречь младшего, Петю, тринадцатилетнего любимчика нашей семьи. Я обещал ей сберечь его.

Когда я узнал о тех неистовых жестокостях, которые творят немцы на земле нашей, я подумал, что лучше всего я сберегу своего мальчика, если сам пойду на войну и буду защищать его и его землю штыком и пулей. Я оставил Петю моей сестре, которая жила в Москве, и записался в армию. Два месяца спустя, в бою за один населенный пункт под Москвой, я был ранен в голову. Надо добавить, что я сильно близорук. Ранение каким-то странным образом усилило эту близорукость, и я стал совсем плохо видеть на правый глаз. Мне пришлось покинуть армию.

Я переехал в Москву. Мою школу уже эвакуировали далеко на восток, в Калугу я вернуться не мог, сестра моя, врач, была мобилизована, и я поселился, вместе с Петей, у нее в комнате. Комната сестры находилась в коммунальной квартире одного благоустроенного и красивого дома в центре города. Первые дни по приезде мы не могли налюбоваться Москвой, а затем привыкли, да и хлопот было много. Московские школы не работали, и мне самому приходилось учить Петю. Надо было также подыскивать службу не по специальности; я выбрал ночную корректуру, днем же я читал популярные лекции по истории героического русского прошлого в воинских частях и подразделениях. Петя часто сопровождал меня на эти лекции, иногда приходилось уезжать далеко за город; и оттуда Москва еще более нравилась нам, несмотря на бомбежки, и мы решили жить в ней, пока не вернется сестра.

Так прошел весь 1942 год.

Однажды, после лекции, мы вернулись домой около полуночи. По дороге я зашел в редакцию газеты, куда, дня четыре назад, сдал рукопись. Повидав кое-что на войне, я решил тряхнуть стариной и, уже явственно понимая, что я не гений и никогда им не буду, спокойно и не претендуя на многое рассказал о виденном. Очерк мой понравился. Его приняли и даже выписали гонорар. Этот гонорар всколыхнул мои воспоминания, и, слегка преувеличивая сладость

прошлого, я стал делиться с Петей своими воспоминаниями, желая, чтоб перед его умственным взором мелькнул образ предприимчивого и бойкого корреспондента.

Возле дверей моей комнаты, прислонившись к стене, стоял человек, одетый в хорошее серое пальто и серую шляпу. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы; шляпа, сдвинутая на затылок, открывала большой лоб и веселые голубые глаза.

— От профессора Огородникова,— сказал он.

Держа ключ в руке, я с удивлением глядел на него.

— Петр Никанорыч?

Не ожидая ответа, человек в сером отрекомендовался. Зовут его Никита Гаврилыч Варфоломеев. Он ассистент профессора Огородникова. Он извиняется за профессора, который ранен и, к сожалению, не может приехать, но который прислал его, ассистента, задать Петру Никанорычу несколько вопросов — самого невинного свойства, добавил он неизвестно для чего.

Закончив эту ловко сказанную тираду и испытав, должно быть, от этого большое удовольствие, ассистент вынул руки из карманов и поздоровался со мной, как говорится, «ручно». Я пожал его большую теплую руку и сказал, что хотя и не знаю профессора Огородникова, но с удовольствием отвечу, как честный человек, на любой вопрос. Беседа, к сожалению, затрудняется только тем, что мне пора на работу, она у меня ночная. Ассистент, в знак похвалы что ли, наклонил голову и снова всунул руки в карманы, каковое движение, как я полагаю, указывало на его полное уважение к личности профессора Огородникова и едва ли особенно большое к моей.

— Касательно вашей ночной работы,— сказал ассистент,— то вы на данную ночь от нее избавлены. Есть разрешение от заведующего типографией. Теперь позволите задать вопрос. Нет, нет, зачем же входить в комнату, ведь вопрос самый невинный. А именно: слышали ль вы, Петр Никанорыч, о некоем Андрее Ивановиче Переквоктове, или эта фамилия вам совершенно незнакома?

Я подумал и ответил с уверенностью, что не помню никакого Андрея Ивановича Переквоктова... Да и фамилия какая-то куриная, чудная... нет, не помню!

Здесь Петя подтолкнул меня. Я взглянул на него. Он был весь красный. Ему, бедняжке, подумалось, что я растерялся перед важным ассистентом и забыл о Баку, музее, непонятном хохоте директора... а все дело в том, что меня сбило с толку имя-отчество Переквоктова. Скажи мне ассистент, что, мол, директор бакинского музея, я бы сразу вспомнил!..

— Простите! Разумеется, помню. Переквоктов! Еще бы забыть!.. Я столько раз о нем рассказывал своему мальчику, что даже он помнит... как же, как же...

— Андрей Иванович Переквоктов. Следовательно, вам знакомо это имя. Вы его видели? Разговаривали с ним? Теперь второй и последний вопрос. Он показывал вам гемму царицы Роксаны?

— Еще бы!

— Вы помните ее очертания?

— Кажется, даже я зарисовал их в тот же день. Вот не помню только — привез ли я из Калуги «Остров пингвинов», куда была зарисована эта гемма.

Петя воскликнул:

— Папа, она здесь! Ты ее привез. Я еще просил тебя не забыть эту книгу. Я всегда считал, что она понадобится.

Ассистент, одобрительно поведя глазом в сторону Пети, сказал:

— Прекрасно. Зарисовка ваша понадобится профессору Огородникову. — И он засунул руки так глубоко в карманы, как только возможно засунуть.

— Для чего ж так нужна моя зарисовка профессору Огородникову?

Ассистент ответил:

— Для успешной организации поисков сокровищ Александра Македонского.

Я невольно свистнул, подумав: «Ко всем этим удовольствиям мне еще не хватает поисков сокровищ Александра Македонского».

Но я не отказался поехать к профессору. Этого желал, во-первых, Петя, а во-вторых, несмотря на то что прошло уже восемнадцать лет, я снова почувствовал свою вину перед директором Переквоктовым, и мне захотелось ее искупить.

ГЛАВА ВТОРАЯ

— Пока я не понимаю, каким способом предполагает профессор Огородников приподнять грузную плиту времен, придавившую тайну сокровищ Искандера, если они существуют вообще

Мы прошли большой сад, заваленный снегом. Темные, оголенные деревья стояли неподвижно. Светила луна. По дорожкам сновали люди. Многие из них шли в том же направлении, что и мы. Судя по голосам и походке это были люди, знакомые с войной. Я подумал: «Какое отношение они имеют к знаменитому физику». Но тут же мне в голову пришли сокровища Искандера. Уж они-то, казалось, совсем далеки от профессора, а он нашел меня, пригласил к себе и даже о сынке моем вспомнил,— и на его имя был ночной пропуск по Москве!

Оказалось, что для размышлений времени у меня достаточно. Мы через подъезд с толстыми ампирными колоннами вошли в переднюю.

Ассистент исчез. Он вернулся через минут десять и сказал, что, к сожалению, придется обождать, так как у профессора срочное заседание. И он опять, прыгая через несколько ступенек, полетел вверх, куда несли длинные и узкие ящики с пометками охрой: «А, Б, В, Г» — чуть ли не всю азбуку. Зазвенел звонок председателя, хлопнули, закрываясь, двери, наступила тишина, и я понял, что заседание началось. Теперь хочешь не хочешь, а жди. Куда мы уйдем? Не говоря уже о том, что Петин ночной пропуск у ассистента, кто нас выпустит из этого, охраняемого часовым сада.

Я вынул «Остров пингвинов», пожелтевшую книгу, которую не раскрывал с того памятного дня, и задумался, глядя на эти страницы, испещренные моими заметками, потому что в молодости я имел привычку записывать свои мысли на полях книг. Как летит время! Давно ли я мечтал над этими страницами, рвался к необычному, к приключениям, а теперь с тревогой смотрю на них и думаю: «Куда-то они могут меня увлечь».

По совести говоря, я утомлен, и как ни тревожно в Москве, но я не хочу покидать ее, я привык к ней, привык к домам, к улицам, ко всему распорядку жизни. Мне Москва нравится, и я отдыхаю в ней. Невольно я вспомнил Н. Гоголя и его слова, что А. Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать! И я прибавил от себя — «вдобавок казенные и еще в военное время». И тут же я дал слово, что выскажу профессору Огородникову эти свои соображения, а что касается геммы и директора Переквоктова — признаю, ошибался, раскаиваюсь, но нельзя же судить о взрослом муже, опираясь на поступки, сделанные юношей, восемнадцать лет назад!..

Меня тревожил только Петя. Глаза его горели. Он с таким вниманием рассматривал переднюю особняка, будто попал невесть куда. А в передней стояла дубовая пустая вешалка с метелкой для обметания снега возле. Старинная мраморная лестница была выщерблена, и ковер на ней отсутствовал. Массивные двери были замызганы и почему-то закапаны чернилами. Ко всему тому в особняке было холодновато и дуло из окон, прикрытых новенькими сосновыми ставнями... Что происходит в этом особняке, почему волнуется Петя, что наконец может знать этот мальчик, хотя и очень способный, но все же только ученик седьмого класса средней школы.

Должен добавить, что Петя хотя и сведущий и способный, но отнюдь не заносчивый. К нему старший, не теряя своего авторитета, может обратиться с любым вопросом, с любым разъяснением, и мальчик иногда дает поразительные ответы и сведения. Правда, Москва 1941—1942 и начала 43 года была особым городом. Мы не разглашали военных тайн, но все, что касалось войны и нашей помощи победе, мы узнавали как-то инстинктивно, как и инстинктивно стремились помочь Красной Армии и нашей победе. Ну и естественно, что

такие нервные и впечатлительные мальчики, вроде Пети, знали иногда даже больше, чем мы, взрослые. Вот почему я спросил у него тихохонько — кто такой этот профессор Огородников и почему все говорят о нем с таким почтением.

Петя удивленно взглянул на меня:

— Неужели ты, папа, не знаешь о профессоре Огородникове?

Я развел руками. Этот жест говорил: «война, Петя, война и работа, война и ранение». Я сознался, что слышал краем уха да будто и на фронте говорили об Огородникове, но что говорили... хоть убей меня — не помню.

Оказывается, Огородников знаменитейший, если не величайший физик нашего времени. Во время войны он сделал несколько открытий, которые значительно помогли боеспособности нашей Красной Армии. Его имя носит пеленгатор, улавливающий движение вражеских самолетов за много километров от вас; его начальная буква стоит на... (вычеркнуто военной цензурой. — *В. И.*). Но мало открытий. Огородников представляет тип ученого, которому суждено полностью развиться лишь в нашем советском обществе. Он — энциклопедист нашего времени, т. е., как специалист, он знает почти в с е науки, в с е знания, которыми славится передовое человечество. Разумеется, этому трудно поверить, но это правда. Нам известно, что уже в XVIII веке энциклопедические знания принадлежали немногим, того менее было их в XIX, а в XX веке... веке специализации и детализации, когда даже о корректорском деле и то исписаны томы, и есть профессора, знающие, сколько ошибок было в первопечатной Библии и правильно или неправильно делались переносы в первой светской книге, оттиснутой на типографском станке.

Специальность Огородникова — физика. Но, помимо физики, как специалист, который всегда может прочесть курс по данному предмету, Огородников знает политэкономию и учение Маркса — Ленина. Он знаток искусств и художественной литературы. Он говорит и пишет на девяти языках и считается знатоком славянских литератур и славянской истории. Он — археолог и превосходно знаком с историей Греции. Он — этнограф, геолог, металлург, палеонтолог и ко всему тому — садовод и охотник. Его перу принадлежит лучшее в мире исследование — о ком или о чем бы вы думали — о борзых собаках...

Петя вываливал мне все эти сведения, а я думал: «не так-то, должно быть, легко будет мне говорить с профессором». Я, как вы уже успели, наверное, заметить, человек маленький, и сравнения у меня — по моему масштабу. Поэтому не обижайтесь, если я сравню знаменитого или, может быть, великого физика с моей покойной женой. Она в нашем доме была тоже знаменитым человеком, а некоторые ее знания, например о наших родственниках, я, не обинуясь, могу наз-

вать энциклопедическими. Так вот, моя покойная супруга была склонна поддерживать мой упавший дух даже и тогда, когда он не падал. И смею сказать, что убедить ее в обратном всегда было очень трудно.

Вот почему, при появлении ассистента, мне захотелось вернуться домой. Но мой сынок Петя унаследовал все достоинства своей матери. Так и она при трудных и сомнительных обстоятельствах всегда шла впереди меня, так и Петя встал рядом с ассистентом и направился в столовую, куда нас приглашал знаменитый ученый, специалист экспериментальной и теоретической физики.

Я увидал обширнейшую столовую, может быть, самую обширнейшую из всех виденных мной: с добрую городскую площадь, где разъезжаются два-три десятка автомобилей.

По средине этого пиршественного зала стоял огромный стол, поставленный «покоем». Стулья с высокими спинками и широкими сиденьями толпились вокруг него. Со стен глядели на стол большие полотна, изображавшие яства: дичь, овощи и мясо. К потолку поднимались хоры для музыкантов. Стены, потолок, колонны и хоры были из резного дуба. Деревянные поросята, кабаны, олени, рыбы, тетерева, гуси, рябчики, павлины,— трепеща и подпрыгивая,— стремились на вас с тем, чтобы вы отведали их... Богатый московский барин построил этот особняк, «храм живота», как назвал он его, в XVIII веке, но, объевшись накануне открытия храма, отдал богу душу. Наследники сохранили этот особняк как курьез. Позднейшие исследователи нашей старины признали его шедевром крепостного искусства. Много хозяев переменил он. Ныне здесь находилась главная резиденция профессора Огородникова.

Толпа заседавших редела, как и редел едкий табачный дым, желтоватой пеленой прикрывавший хоры. Мимо нас проходили к дверям русые молодые лаборанты в очках с бледными лицами; хозяйственники в сапогах с такой твердой походкой, что старинный паркет испуганно плясал под их ногами; инженеры, полные достоинства, и идущие с ними в шаг солидные техноруки. Все они продолжали обсуждать тему заседания, уснащая речь мудреными терминами.

И теперь мы могли свободно рассматривать профессора Огородникова.

Он сидел в низком кресле. Ноги его, укутанные теплым, стеганым одеялом бледно-розового цвета, лежали на скамеечке. Повернув к нам большую, коротко остриженную, седеющую голову с мясистым носом и толстыми губами, он глядел на нас. Глаза у него карие, маленькие, но силы, живости, проницательности и теплоты необыкновенной. Он не сказал нам еще и слова, как мы уже почувствовали себя в близкой, почти родственной атмосфере. Мне, например, сразу же показалось, что мы с профессором вместе выросли, вместе дышали

в течение ряда лет воздухом одного гнезда, спали в стенах одного дома и много раз плакали вместе, деля детские страхи и восторги...

И что удивительно — голос у него был высокий, юношеский, чистый. Улыбаясь, он краснел — алые пятна вспыхивали тогда у него на верхней части щек. Некрасивое, но поразительно поэтическое и у б е д и т е л ь н о е было это существо.

— Прошу вас, товарищ, присесть,— сказал он протяжно, на московский манер. — Сейчас подойдут остальные, и мы побеседуем. Извините, что побеспокоил вас ночью, днем у меня нет времени: ко всему прочему мне приходится сейчас совмещать и обязанности директора завода, и от людей не отобьешься. Товарищ Варфоломеев изложил вам, ради какой сказочной темы пригласил я вас сюда.

Товарищ Варфоломеев тем временем перехватил у курьера поднос со стаканами чая и тарелочкой с сухарями. Поставив поспешно все это перед Огородниковым, он сообщил, что тема доложена и что товарищ не отказался захватить с собой требуемые документы, т. е. «Остров пингвинов».

Профессор поблагодарил его и пригласил нас разделить ужин.

— Трудно, глядя на все это,— сказал он, поведя бровями в сторону резной дичи и животных, согласиться на ужин в виде сухаря, но болезнь побеждает любой соблазн. Вы ужинали? У нас для ночных работников недурно готовят жареный картофель. Товарищ Варфоломеев, попросите две порции картофеля.

Пока ассистент добывал жареный картофель, Огородников выспрашивал меня о моей корректорской работе. Он знает, что корректоров сейчас не хватает, да и вообще хорошие корректора редки. Вы, кроме того, кажется, читаете лекции по истории. Какой областью, любопытно, интересуются больше всего бойцы. Великими полководцами. Ну, разумеется, разумеется, так оно и должно быть... Очень жаль, что приходится отрывать вас от такой работы, но что поделаешь...

На сковороде принесли картофель. Он спросил нас — достаточно ли хорошо он прожарен, и приказал приготовить еще две порции — для тех, кого мы ждем... «А, вы еще не скушаете? Не стесняйтесь, у нас его достаточно»...

— Вас, может быть, удивляет,— помолчав, сказал он,— что я знаю об «Острове пингвинов» и гемме царицы Роксаны. Мне говорил об этом один из ваших учеников, некто Панкратов. Короткое время он был у меня в институте, но физика не прельстила его, и он ушел на фронт... Ну, вот мы и в сборе,— сказал он, приветствуя рукой двух вошедших. — Товарищ Варфоломеев, пригласите инженера Мирзабытова. Сейчас мы начнем.

К столу приближался быстрым канцелярским шагом усатый мужчина в сером костюме, блестевшем от долгого знакомства со столом

и стулом. Мужчина был худ, сутул и постоянно щурил глаза; выражение лица его было хмурое, упрямое и недалекое. Я сразу же решил, что это бухгалтер экспедиции, заранее недовольный размахом работ и претензиями профессора Огородникова. Мужчина, кивнув всем головой, сел за стол и раскрыл папку, одинаково готовый и докладывать, и слушать доклад. Он холодно смотрел на профессора, и не думаю, чтобы он сознавал разницу между начальником своего отдела и знаменитым физиком, скорее он предпочитал первого.

Девушка—круглолицая, коренастенькая, бойкая—поздоровалась с профессором по-военному, а на меня и Петю даже и не взглянула. Но я полагаю, что и профессор занимал ее больше как приложение к той «физике», которую она предполагала здесь встретить,— очень уж любопытным взглядом своих уверенных серых глаз осматривала она зал. На лице ее читалось явное разочарование: ни сложных аппаратов, ни сооружений, ни даже проводов. «Ну, что это за физика, ну, что это за ученый! — так и говорил ее взгляд. — Небось эти длинные ящики и те со снарядами». Дело в том, что артиллерийские снаряды, должно быть, были ей не в диковинку: ее военный ватник, юбка-хаки и сапоги всем своим видом указывали, что они знали бои и знали запах порохового дыма.

Резные звери и птицы одинаково не интересовали ни девушку, ни бухгалтера. Зато третьего нашего собеседника, вошедшего вместе с ассистентом Варфоломеевым, эта резьба, видимо, очень волновала. Небольшого роста, черный, горбоносый, с оливковым цветом лица и темно-малиновыми губами, он, несомненно, происходил с Востока. Знакомясь с нами, он смотрел в сторону хор, а когда уселся, то, не вытерпев, сказал:

— Месяца три буду видать этих птиц во сне. Поразительное искусство!

— Инженер Израил Бимимович Мирзабытов,— сказал, представляя его, профессор. — Бухгалтер Наркомата Илья Вавилыч Коробицын. Откомандированный в мое распоряжение снайпер, слушатель моего института, Мария Андреевна Переквоктова. Между прочим, вот этой маленькой ручкой она уложила семьдесят два немца и, пробравшись в тыл, убила гранатой коменданта города...

Как хорошо, что ни профессор, ни девушка и вообще никто не смотрел в мою сторону. Я чувствовал, что краска залила мои щеки и шею. Ведь менее всего я ожидал встретить здесь дочь директора Переквоктова! Меня поражало не то, что она снайпер, не то, что она пробиралась в немецкий тыл и убивала там немецкого офицера, меня сразило то, что она дочь Переквоктова. Даже за свое короткое пребывание на фронте я видел много девушек-снайперов, видел и таких, которые убивали по три-четыре коменданта, но чтобы, восемнадцать лет спустя, в кабинете знаменитого физика встретить дочь директора

бакинского музея, умершего при таких странных обстоятельствах... человека, перед которым я до сих пор чувствовал себя как-то виноватым... удивительно!.. Я жадно смотрел на нее, ища сходства с ее отцом. Сходства было мало, разве только руки с длинными и твердыми, очень красивыми пальцами. Но, сколько помнится, директор предпочитал размахивать руками, наверное, даже и во сне, а девушка как вошла и как села, то положила руки на колени и так не шевельнула ими, хотя ответы ее на вопросы профессора, конечно, сильно волновали ее,— и потому, что хоть и восемнадцать лет назад, но ведь убит-то был ее отец, и потому, что ей хотелось быть точной перед профессором, которого, как оказалось, она видела впервые по приезде сюда.

Профессор сказал:

— Инженер Мирзабытов, по поручению Наркомата и моего института, направляется в горы Средней Азии, чтобы испытать новый аппарат, сконструированный нашим институтом по моему проекту. Условно мы называем этот аппарат «центровкой». Конструкция его представляет государственную тайну. Задачи аппарата — помочь нашим изыскателям в открытии руд редких металлов: молибдена, вольфрама, сурьмы и так далее, а главное — в поисках «редких земель», в силу военных обстоятельств, о которых не время сейчас говорить обстоятельно, очень нужных для нашей оборонной промышленности. В качестве консультанта при инженере Мирзабытове едет мой ассистент товарищ Варфоломеев...

Товарищ Варфоломеев засунул руки в карман так глубоко, что мне показалось, что пальцы его, прорвав карманы, вылезли на ботинки. Лицо его выражало самое живейшее и беззастенчивое удовольствие.

— Таково поручение товарища Мирзабытова, поручение ответственное и весьма срочное. Аппарат «центровку» должен был везти я сам. Но болезнь задержала меня... И, кажется, надолго.

Улыбаясь своей застенчивой улыбкой, он указал рукой на стеганое одеяло, прикрывавшее его ноги. Я взглянул на одеяло. Сердце мое похолодело и сжалось. Я заметил то, чего, от волнения, не замечал раньше. Очертания одеяла указывали, что правая нога профессора Огородникова была ампутирована до колена, и должно быть, недавно, так как у него еще не было протеза да и лицо имело тот цвет, который говорит, что обладатель его только что покинул больницу.

Профессор продолжал:

— Откладывать поездку нельзя. Мало того, откладывание преступно. В самый скорейший срок мы должны дать для нашей техники столько «редких земель», сколько она их пожелает. Я знаю товарища Мирзабытова, знаю и остальных, и я убежден, что поручение Наркомата и нашего института вы выполните с честью, в срок, который

вам указан,— к 1 июля 1943 года «редкие земли» должны быть найдены с тем, чтобы уже в течение июля эксплуатационные партии приступили к разработке указанных вами месторождений.

Говорил он просто, почти задушевно, изредка потирая лоб рукой, как бы подыскивая слова и делая паузу в средине фразы. Таким же задушевным тоном, указывая этим, что его вопрос имеет непосредственное отношение к месторождениям «редких земель», он обратился к девушке:

— Не вспомните ли, при каких обстоятельствах,— в смысле их детализации,— был убит ваш отец, Маша. Например, часто ли, перед смертью, говорил он о диком олене, шакшой?

Девушка вздрогнула, да и мы все тоже. Но она мгновенно оправилась и ответила:

— Мне сразу трудно переключиться в прошлое... я секундочку подумаю...

Профессор глазами попросил Варфоломеева подать Маше Перевоктовой стакан чаю. Варфоломеев придвинул ей стакан. Она не притронулась до него. Она только посмотрела на металлическую ложечку, которая тонко звякнула о блюдечко. Затем она сказала:

— Я скажу, что накануне смерти он заговаривал не менее десятка раз о шакшое. Хотя мне не было тогда и полных пяти лет, я помню отца и его поведение перед смертью. Он весь менялся в лице и сильно жестикулировал, когда говорил о шакшое. Ведь к нашей квартире привозили чучело шакшоя, я видела его. Привозил его ломовой извозчик в фартуке, испачканном смолой...

Профессор перебил ее:

— Переговоры с вашим отцом относительно покупки чучела шакшоя кто вел? Если помните, попрошу подробно описать внешний вид продавца, походку, голос...

— Я не знаю, кто продавал. Отец ни слова не говорил о продавце. Извозчик, старый, подслеповатый азербайджанец, явно не имел никакого отношения к продаже шакшоя. Помню, как в нашем дворе появилась телега, на которой качалось чучело шакшоя, ветвистое, изъеденное молью. Битюг ступал тяжело. Брезент, покрывавший чучело, соскользнул от сильного ветра, который так част в Баку. Мальчишки прыгали и визжали возле телеги, теребили брезент, извозчик махал кнутом и бранился... мы были б очень довольны, но волнение отца... он нас баловал, и мы с братом любили его... Прошло много лет, но и теперь тяжело вспомнить о его безвременной смерти...

Голос ее задрожал. Руки поднялись над столом и тяжело опустились, словно свинцовые.

Профессор сказал:

— Мы чувствуем и понимаем ваши страдания. Я б не потревожил их, не приди время отмстить за смерть вашего отца,

— Значит, вы, Вениамин Николаич, знаете, кто убил моего отца?

— Догадываюсь.

— Кто же?

— Прошу вас, продолжайте о шакшое. Это очень важно, и может подтвердить мою догадку.

— Во-вторых, слово «шакшой» я запомнила и потому, что тогда часто говорили о «шаксей-ваксее», фанатическом мусульманском обычае, когда, в честь аллаха, люди резали себя ножами и саблями. Обычай этот недавно был запрещен в Баку. И я могла, в своем детском понятии, соединить в одно оленя и этот обычай. Вот и все об олене.

Профессор спросил:

— Перед тем, как стать директором музея, ваш отец преподавал историю в бакинской гимназии. Так. Я слышал, он был общительный и уживчивый человек. У него друзьями числились почти все учителя гимназии. Конечно, вы не помните их всех, но не знали ль вы некоего преподавателя новейших языков Никольса Бурке?

— Я припоминаю такую фамилию.

— Фамилию — мало. Не припомните ли внешности, голоса, манеры говорить?

Девушка ответила с усилием:

— Кажется, помню смех... такой... как бы сказать, обмороженный... знаете, бывают обмороженные руки, они навсегда сохраняют красноту... так вот, учитель Бурке... у него было будто обмороженное горло.

— Определение довольно точное. Горло пьяницы. А еще.

— Еще помню... рыжий... длинная голова с толстой отвисшей губой...

Профессор протянул ей четырехугольник серой газетной бумаги. Мы увидали вырезку из немецкой газеты, фотографию. Три немца на фоне южного русского села, возможно где-нибудь на Дону. Средний, с фотографическим аппаратом в руках, смеется, широко открывая большой рот с толстой отвисшей губой.

— Он?

— Наверное, брат.

— Почему брат?

— У него был младший брат, часовщик Оскар Бурке. Однажды мы гуляли, и отец зашел в мастерскую — отдать часы в починку. Я хотела увидеть часовщика. Отец взял меня с собой. Помню, что рыжий человек в очках вышел из-за прилавка, взял меня на руки и с легкостью подбросил меня высоко вверх. Я была девочка грузная, значит, он был очень силен. Лицом часовщик походил на брата, одет в синий триковый пиджак и брюки..., знаете, такая шерстяная ткань с косой ниткою...

Она замолчала.

— Однако вы, Маша, не объяснили: почему же брат?

— Никольс Бурке, вскоре после смерти отца, был уволен из училища. Он впал в бедность и стал попрошайкой. Он много пил. Брат его «прогорел» в 1927 году, закрыл мастерскую и тоже, говорят, запил. Его арестовали за воровство, и мы потеряли его след, а старший Бурке умер в ночлежном доме. Ночлежники ходили по преподавателям и их семействам с подписным листом, сбирали на похороны. Помню, приходили к нам. Мой брат уже к тому времени поступил на службу, мы не бедствовали, и мать подписала полтора рубля и ходила на похороны. Как видите, старший Бурке умер. Кроме того, скажу, что братья были датчане...

— Да, и в подписи под фотографией сказано, что это датские добровольцы на берегах Дона. Тем не менее оба Бурке и не датчане и не братья, и смею утверждать, что оба они живы,— сказал профессор, и что-то наступательное, требовательное прозвучало в его голосе, когда он задал девушке новый вопрос. — Что вы помните относительно лекции некоего Петрова о сокровищах Александра Македонского и показывал ли вам отец гемму царицы Роксаны?

— Брат, помню, чистил для этой лекции отцу пиджак. И все. О гемме царицы Роксаны впервые слышу.

Профессор ласково сказал:

— Благодарю вас, Маша.

И со своей неизменной бодростью духа, улыбнувшись, он кивнул головой девушке и обратился ко мне:

— Василий Иваныч [1], одолжите на минуточку мне «Остров пингвинов».

Он взял книгу, нашел страницу, на которой я зарисовал директора Переквоктова и гемму. Он довольно долго смотрел на гемму. Закрыл глаза. Опять посмотрел.

— Вам, Василий Иваныч, после экспедиции,— если вы согласитесь на нее, разумеется,— стоит заняться живописью. Годы? Годы в искусстве и науке только достоинство. — Он протянул книгу девушке. — Ведь отец ваш: вылитый, Маша!

Девушка посмотрела в книгу, затем перевела взор на меня. Мне показалось, что она ищет во мне черт которого-нибудь из Бурке,— и не хотелось бы мне быть на его месте!..

— Похож,— сказала она. — Но почему вы, Вениамин Николаич, говорите: похож. Разве вы знали моего отца.

— Видел... мельком... — ответил профессор. — Мы немножко... переписывались с ним...

Он глубоко вздохнул, глаза его подернулись влагой, и он сказал:

— Много лет назад, пятьдесят ровно, в 1893 году вышло иссле-

[1] Ошибка автора — нужно читать Петр Никанорыч. — *Ред.*

дование академика В. Истрина «Александрия русских хронографов». Сборник легендарных сказаний о жизни и походах Александра Македонского «Александрия» в течение многих столетий был широко известен в славянских, романских и восточных странах. Несколько вариантов сборника имеется и в русских древних книгохранилищах. В. Истрин разбирает русскую «Александрию», сопоставляя ее с греческими и романскими источниками. Вот по поводу этой-то русской «Александрии» я и переписывался с вашим отцом. Я жил тогда, как и сейчас, в Москве...

Вениамин Николаич посмотрел на стакан чаю, который держал в руке. Казалось, он читал в нем свое прошлое. Затем он поставил стакан на стол и продолжал:

— Когда я уставал от работы,— а работать приходилось также много, как и сейчас,— я брал стакан крепкого чаю и это исследование Истрина. Для того, чтоб вам была понятна моя тяга к этой книге, я должен сказать вам несколько слов о моем детстве. Отец мой был помощником смотрителя Арсенала, в Кремле, должность с очень громким названием, но крайне скромным окладом. Много раз приходил я к отцу в Арсенал. Особенное удовольствие доставляло мне идти к нему весной мимо внешних стен Арсенала, по фасаду, где расставлены медные пушки и гаубицы на лафетах. Между плит тротуара прорастала травка, приятная и какая-то теплая на ощупь. Пушки тускло блестели, их зеленые жерла строго глядели на меня, и мне чудился Наполеон, бегущий из Москвы, бросивший эти пушки. Я видел, как, тяжело дыша, влазит он на седло, и как скачет, и как развеваются полы его серого сюртука с чернильным пятном на поле... он подписывал приказ об отступлении и уронил перо...

Он улыбнулся.

— Извините, я был мечтательным мальчиком. Рядом с Теремным дворцом в Кремле есть небольшая церковь «Спаса за золотой решеткой» с двенадцатью позолоченными куполами. Если б вы знали, какие мечты потрясали меня, когда я видел эту церковь или воображал ее. Почему — за решеткой? Почему — за золотой? Почему — Спас? Ни одно из объяснений не удовлетворяло меня. Я придумывал свое... Прошу простить меня еще раз, опять заболтался, должно быть, близка старость...

Он рассмеялся и, не без кокетства, указал на свои коротко остриженные седые виски.

— Жили мы в Замоскворечье, и жили не по-московски, а по-деревенски: в небольшом домишке о три комнаты с гигантскими печами. Зима, снега, холод. Прибежишь из школы, а домишко старенький, отовсюду дует, ну, значит, скорей к деду на печь. Дед мой некогда был дьячком при церкви «Папы Клемента», на Пятницкой. Повидимому, это была самая лучшая пора его жизни, и оттого он очень

любил нам читать книги на церковно-славянском языке, а больше всех «Александрию» того же самого В. Истрина, который в конце своего исследования приводит четыре варианта «Александрии»! Вот здесь-то, на печи, в тепле и уюте впервые познакомился я с древней историей и с походами Александра Македонского. Ух, как замирало сердце и захватывало дух, когда мы следили, как гонится Александр за несчастным Дарием, царем персидским. Какие ехидные письма он пишет ему, и как едко отвечает ему царь Дарий! Но вот Александр «достигнух его в последнем издыхании, его же помиловав, своею хламидою покрых», то есть догнал его, разбил войско, но царя не убил, а, видя его тяжело раненным, покрыл своим пальто и захотел услышать от Дария его последнее желание. «Хотях же о него слышать нечто о пагубе его. Он же рече: поручение имай, Роксана, моя дщерь да живет жизнь с тобою». Иначе говоря, последним желанием Дария было то, чтоб Александр женился на дочери персидского царя Роксане...

Вдруг мы услышали:

— Роксана была дочь не Дария, а дочь бактрийского князя Оксиарта, укрепленный замок которого находился в Средней Азии, а не в Персии. Замок взял Александр, вместе с Оксиартом и Роксаной. Усмирить восставшие племена иначе нельзя было, как согласившись на компромисс. Александр и женился на Роксане. А что касается слуха о том, что он возвысил Роксану до звания своей жены за ее красоту, то красота имела к этому отношение второстепенное.

Голос принадлежал бухгалтеру Илье Вавилычу Коробицыну. Он сказал эти слова бесстрастно, как говорят справку, отметил что-то карандашом у себя в папке и замолчал.

Профессор с видимым удовольствием выслушал его и сказал:

— Вы глубоко правы, Илья Вавилыч. Так оно и было в истории. Но составитель «Александрии», по мотивам, которые, надеюсь, мы с вами когда-нибудь откроем, умолчал или вернее...

— Извратил исторический факт,— сказал строго бухгалтер.

— Да, извратил исторический факт неизвестно по каким причинам. Вообще-то автор очень осведомлен в истории. Но пойдем дальше, по следам моей мечты. Александр женится на Роксане. Он оставляет ей персидское царство... между прочим, ни у Квинта Курция, ни у других историков, Илья Вавилыч, нет данных, что Роксана сопровождала Александра в его походе на Индию.

Бухгалтер молчал, листая свои бумаги в папке.

— Оставив Персию, Александр «приим многи народы восхотел взыти в заднюю страну — пустяни в след звездных кол», приняв многие народы, захотел посмотреть окраины Персии, пустыни, идя по свету северных созвездий... Так, кажется, насколько помню. И вот здесь, между разгромом Дария, императора персидского, и Пора, им-

ператора индийского, есть в «Александрии» четыре страницы путешествий Александра по Средней Азии...

— Абсолютно баснословных,— вставил опять бухгалтер.

— Так ли уж абсолютно? — спросил по-прежнему спокойно Вениамин Николаич.— Во всяком случае тогда, в детстве, эти странствования Александра казались мне не только не абсолютно баснословными, но не баснословными вообще.— И он добавил, улыбаясь:— Как они не кажутся таковыми и сейчас. Ах, Илья Вавилыч, надо верить детству!

Бухгалтер сказал:

— Детству надо не верить, а надо ему прививать знания, а затем проверять эту прививку.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Он хотел не верить детям, но себе-то он верил, несчастное дитя! — думал я, глядя на тупое и упрямое лицо бухгалтера, истертое и запыленное заботами в его канцелярии. — Существует ли у него дом, семья, дети, и как он к ним относится?»

Бухгалтер Илья Вавилыч раздражал меня. Но профессору Огородникову явно было приятно беседовать с ним. Почему? Или ему доставляло наслаждение будоражить и поднимать этого каменнолобого человека, нравилось входить в его рассуждения, понимать его.

Профессор продолжал, постукивая рукой о спинку кресла:

— «Академик Истрин умел читать «Александрию», что он и доказал в своем исследовании. Но он *не прочел* «Александрии», как ее читали древние и как ее могут прочесть теперь лишь дети. В моем детстве я мечтал расшифровать «Александрию», найти дорогу, по которой шел Александр Македонский, увидать то, что он видел,— именно во второй части книги! Не однажды я возвращался к этим мечтам в юные годы, и даже тогда, когда давно миновала юность, даже, пожалуй, чаще, чем в юности. В юности у меня было чрезвычайно много забот, а теперь я их упорядочил и в дальнейшем думаю упорядочить еще лучше, при помощи Ильи Вавилыча.

Заключение было неожиданное. Бухгалтер покраснел. Оказывается, он, как и все смертные, падок на лесть!

— Однажды, это было во времена нэпа, я рылся в книжном хламе возле Сухаревки. Под руки мне попалась брошюра некоего Н. Бурке — «Древние греко-местопребывания на Кавказе и Ср. Азии». Брошюрка была не разрезана, год издания — 1924-й. Баку. Я решил ее прочесть. Принес домой. Я был тогда уже профессором, очень молодым, правда, а значит, и очень горячим. Хотя я и читал теоретическую физику, однако история занимала меня, а тут «греко-местопребывания»! Развернул я брошюрку и, признаться, пожалел, что разре-

зал ее и купил. Вздор какой, да и еще в наше советское время, да еще во времена Марра! Н. Бурке, видите ли, сообщал свои соображения насчет того, что, ища золотое руно, греки колонизировали Кавказ так же, как и они же, несколько попозже, с войсками Александра Македонского колонизировали и заселили всю Среднюю Азию. Ну, это еще полбеды, что спорить с древними греками, которые давно перемерли. Но ведь Н. Бурке шагал дальше по векам, как по ступенькам своего дома. По его словам, выходило, что древние греки суть не греки, а древние немцы, а значит, и современные немцы имеют все законные права на Среднюю Азию, Кавказ и, разумеется, Индию, поскольку некогда Александр Македонский проходил по ней. Написано все это было тем ультраученым псевдофилософическим языком, которым умеют писать только немцы,— и разозлила меня эта брошюра...

Девушка сказала:

— Брошюра зелененькая, заголовок белыми буквами... она лежала у отца на столе... он сильно тогда бранился...

— Оказывается, мы бранились сообща. Я тогда пописывал в газетах, под псевдонимом. Тиснул я небольшую статейку и зло высмеял Н. Бурке, что, мол, надели вы, милостивый государь, кавказскую бурку, только, мол, бурка эта берлинского шовинистического происхождения и нам, людям советским, не по плечу. Высмеял и забыл. Однако недели через две получаю письмо из Баку, от директора Перекводтова, который выражает мне живейшее восхищение. Он, мол, лично знаком с Н. Бурке, которому вслух прочел эту статью, отзыв столичной прессы, и рассорился с Н. Бурке, чем и доволен. Знакомство знакомством, но истина прежде всего. Директор разделяет мое мнение, что «Александрия русских хронографов» более реальна, чем «Александрии» немецких источников, на которые ссылается Н. Бурке, да и там нет никаких данных для подтверждения мыслей Бурке! И директор добавлял, что он разделяет и ту мою мысль, которая признает реальной и невымышленной *вторую* часть русской «Александрии», а именно якобы баснословные скитания Александра по Средней Азии...

— Да, мой отец был мечтатель, — сказала девушка; тонкие, мечтательные нотки послышались в ее голосе.

Профессор Огородников, сидел облокотясь о ручку кресла и подперши голову рукой. На нем была куртка цвета хаки, наглухо застегнутая, из тонкого сукна, какую обычно носят секретари обкомов или директора больших заводов. Он смотрел на Илью Вавилыча, широко открыв глаза, и казалось, что глаза эти излучают целые снопы света. Бухгалтер, неподвижно опустив голову, смотрел в папку.

— Мечта! — воскликнул Вениамин Николаич. — А есть ли что в жизни, окружающей нас, что не было когда-либо мечтою! Этот дом в саду, разве он не порождение мечты, пусть сумасбродной. А разве

ваша жизнь не воплощение мечты? А то, что мне удалось говорить с вами. Собрать вас здесь. Разве я не мечтал о таких упорных и настойчивых людях, способных мечтать. И разве не лучше воплощение мечты, отправить с вами «центровку» и тем заранее быть уверенным, что польза государству, огромная, существенная польза, будет принесена!.. Да, всякая настоящая творческая мечта непременно заменяется качеством, а действительное качество — воплощенная мечта — опять снова превращается в новую мечту.

Мы молчали, завороженные огромным пафосом его слов, поразительно убеждающей силой его звенящего голоса. Казалось, скажи он нам сейчас — прыгайте в бездонную пропасть, мы бы немедля прыгнули и только бухгалтер спросил бы: долго ли продлится прыжок и не опоздает ли он на службу.

Девушка, прервав молчание, спросила:

— Но можно ли верить *каждой* мечте?

— Вы хотите, Маша, сказать, что в мечте трудно разобраться? — спросил он и, не отвечая, продолжал каким-то намеренно сухим, деловым тоном: — В силу различных обстоятельств, о которых здесь не место и не время говорить, наша переписка прервалась на третьем письме. Дальнейшую судьбу вашего отца я узнал от моего друга, молодого инженера Петрова. Его отправили для совершенства в Америку. По профессии он был физик, математик, но не это сдружило нас. Мой друг, одновременно с занятиями физикой, работал над книгой по истории несториан, знаете такая ветвь христианства в древности, некогда очень могущественная, близкая к православию и даже влившаяся в него в 1898 году. Ныне эта ветвь очень бедна и бледна, остатки ее имеются в Курдистане, а в средние века, в пору общего упадка просвещения, несториане стояли во главе расцветшей арабской науки, имея своим центром Багдад. Влияние несторианства выходило далеко за пределы халифата, их епископии были в Средней Азии, Китае, Ост-Индии, Аравии. Одно монгольское племя Средней Азии было целиком обращено в христианство и образовало сильное несторианское государство, которое существовало до XIV века. Мой друг выпустил «Очерки по истории несториан». Его перевели на английский, и когда мой друг находился в Америке, он получил письмо из селения Кудманиса на турецкой территории, где ныне находится несторианский патриарх. Одно лицо, близкое к кругам несторианской патриархии, обещало моему другу показать новые материалы к его «Очеркам». Его приглашали приехать в местность, близкую к Кудманису. Дело в том, что ныне наука среди несториан находится на низком уровне, и мой друг опасался, что ценные документы вообще могут погибнуть, так как несториан грабят и режут дикие курдские племена. Петров решил вернуться из Америки через Турцию, хотя было и трудновато это, и по денежным соображениям, и по соображениям

визирования паспортов. Но парень он был настойчивый, молодой, — добился своего. Он попал в архив несториан, познакомился с рукописями, узнал много ценного и даже я бы сказал — поразительного, а когда он уезжал, ему в подарок вручили гемму царицы Роксаны...

— Гемму царицы Роксаны! — невольно воскликнул я.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

— Да, гемму царицы Роксаны. Ту самую, которую зарисовали вы, Василий Иваныч,— сказал мне профессор. — Дарившие гемму знали ей ценность, но, пожалуй, лишь со стороны денежной. Вряд ли они догадывались о тайне, которую хранит гемма. А может быть, и догадывались, да хитрили, недаром столько столетий жили эти несториане на Востоке! Возможно, они увидали проблески гениальности на челе этого ученого, той гениальности, которой давно или даже никогда не было в их рядах, а может быть, они сами не могли разгадать — прочитать гемму. Не знаю. Как бы то там ни было, Петров приехал в Баку. Гемму он зашил в жилет. По дороге ряд происшествий указал ему, что его преследуют. Кто? Почему?

Американцы часто пишут о нас, что мы, русские, очень скрытны. На фоне американской болтливости наша неразговорчивость иному покажется и скрытностью, но мы, скажу, все же крайне несдержаны. И мой друг, к сожалению, тоже оказался несдержанным. Какому-то никудышному и подозрительному интервьюеру он сказал, что, по дороге домой, он заедет к несторианам в Курдистан. Из Курдистана написал домой несколько глупых, восторженных писем, которые, конечно, прочли на почте, кому надо прочесть. За табльдотом, выпив стакан вина, болтал с кем попало. Словом, мальчишка!

Короче говоря, и возле Кудманиса, и по дороге в Баку он заметил, что за ним следят. «Ну, думает, лишь бы мне перевалить границу, а там — дудки!»

Парень, повторяю, был молодой, ловкий, сильный. Как только он увидал, что за ним следят, он ночью ушел из гостиницы и так как знал языки, то добраться ему до границы в гуще простого народа не представляло большого труда. Переправился он через границу и вздохнул всей грудью.

По дороге времени для размышлений было достаточно. Думает он: «с чего бы это и кому бы это за мной гнаться? Велика штука — рубин! Ну, стоит он тысячу рублей, ну, пять, ну, наконец, десять. А тут ведь в дело пущены такие пружины, что расходы по слежке за мной уже шагнули далеко за пару тысяч рублей. Есть, видно, какая-то особая ценность в гемме. Какая?»

Отойдет он в сторонку и смотрит на гемму. Купил даже лупу,

Рассматривал-рассматривал и однажды вспомнил он беседу с молодым своим другом-профессором Огородниковым. Этот профессор как раз перед тем как Петрову уехать в Америку, написал реферат. Реферат дилетантский, так как профессор по специальности был физиком, но реферат, не лишенный остроумных соображений в области исторических изысканий.

Профессор трактовал вопрос все той же «Александрии русских хронографов». Он спрашивал, почему хронографы так упорно, наряду с реалистическим описанием битв с персидским императором Дарием и индийским Пором, вставляют всюду этот кусок чудесных и *баснословных* похождений Александра Македонского. Нет ли в этих чудесных похождениях правды и нельзя ли расшифровать ее?

Далее. Кто может знать правду? Кто близок авторам славянских «Александрий», на чьи знания намекают они, когда оставляют для расшифровки таинственную средину «Александрии». Откуда они ждут помощи? На кого надеются? Что они не знали тогда, но надеялись, что потомки узнают? С кем они были разобщены?

Разгадка проста, говорил профессор Огородников. Славянский список «Александрии», как утверждает исследователь Срезневский, а за ним и академик Истрин, относится к 1262 году. А столица халифата Багдад был разгромлен монголами под предводительством Гулагу, внука Чингисхана, в 1258 году. До этого разгрома несторианский католикос имел под своей властью 25 митрополий и 150 епископий. Монголы, громя багдадский халифат, разгромили и несторианскую церковь. Список «Александрии русских хронографов», таким образом, сделан был в дни разгрома несторианской церкви, в дни, когда она хотела скрыть какие-то свои тайны или передать их потомкам.

Вот почему оставлены темные места в «Александрии», так как греческий источник этой книги хранился, несомненно, у несториан и оттуда пришел в Европу, и на Балканы, и на Русь, туда, куда адресовались несториане, с кем они отныне были разъединены монгольским нашествием. В чем же тайна? Что хотели сказать несториане? И почему они сами не открыли до конца эту тайну?

Несториане, повторяю, во времена халифата были руководителями культуры всего мира, единственным светочем просвещения, так как Русь только что начинала усваивать просвещение, а Европа погрязла в средневековой тьме. Но, будучи единственным светочем просвещения, несториане в то же время были под властью мусульман, были в *чужой* им стране по духу, в стране, которая, с трудом признавая Аристотеля, отворачивалась от Платона, в стране, которая разбивала великие скульптуры греческих древних ваятелей Фидия, Праксителя и Поликлета, как чучела, которые тормошит и выпотрашивает ребенок.

Несториане не могли открыть сокровищ греков полностью, не могли показать статуи, раскрыть и опубликовать все рукописи, да и золотые драгоценности и резные камни не все покажешь.

Профессор Огородников утверждал, что несториане знали место, где спрятаны сокровища Александра Македонского, или, во всяком случае, догадывались об этом местонахождении, но не желали разглашать его. «Не пора ли нам взяться за эту разгадку?» — спрашивал он.

Вот что вспомнил Петров.

И он подумал: «Стало быть, в мое отсутствие, Огородников напечатал свой реферат. Реферат каким-то образом попал за границу, был переведен и, может быть, попал к несторианам. Да и я сам говорил им об идеях моего друга, а они загадочно улыбались. И не поэтому ли они подарили мне гемму царицы Роксаны? И не поэтому ли гонятся за мной неизвестные, что появилось подтверждение теории Огородникова и есть теперь возможность нажиться? Ведь недаром есть поговорка, что вор всегда убежден, будто краденые семена лучше родятся».

Петров снова впился взором в гемму.

Сбоку, у шлема Александра, он увидал нечто, что воспаленному его взору показалось чертежом, планом дороги. Правда, что чертеж геометрически правилен, а, значит, не похож на план дороги. Тогда это очертания лабиринта или храма, в развалинах которого надо искать сокровища.

Лабиринт. Развалины. Мало ли на Востоке развалин!

С такими мыслями приехал он в Баку. «По приезде,— предполагал он,— пойду в авторитетное учреждение и сообщу немедленно о гемме и о преследовании. Надо разобраться в этом сообща».

Однако обстоятельства сложились так, что «сообща» ему разобраться удалось не скоро. В первый же день приезда услужливая рука знакомого журналиста положила перед ним критический журнал, где была напечатана статья о его книге «Очерки по истории несториан». Статья начиналась следующими словами: «Хотя прошло и полтора года с момента появлений этой подлой и лживой книги, но назвать подлеца подлецом, и притом прямо в глаза, никогда не поздно». Приведенные строки вполне передают весь характер и направление статьи. Петрова объявили проповедником самого дикого изуверства, которому нет места ни в советской науке, ни даже на советской земле!..

Две-три снисходительных рецензии, перевод книги на английский, а особенно письмо и подарок несториан не могли не избаловать дилетантизм Петрова. Поэтому статья в критическом журнале ударила его как обухом по лбу. Он, бедняга, и не знал, что такова была тогда

манера критиков высказывать свои сомнения и возражения. Он-то, по молодости, принял статью как приговор судьбы.

Кроме того, его ждало и второе разочарование. Два-три ювелира, которых посетил он, перед тем как направиться к ученым археологам, сказали, что гемма — фальшивая и что рубина такого размера и быть не может. Хотите продать. Десять рублей 87 копеек!

Чрезвычайно обидели его эти 87 копеек. Ну, десять рублей еще понятно, а почему 87 копеек. Откуда они? Кто так размечал?

Зашел он и в комиссионные магазины. Там ему сказали, что ни подлинных, ни поддельных драгоценностей они на комиссию не принимают. Их дело — мебель, картины, посуда, носильное платье... В углу магазина он увидал, изъеденное молью, чучело северного оленя с огромными рогами, причем крайний зубчик левого рога был отломлен.

Безвыходные, казалось, раздражение и тоска глодали сердце и разум Петрова!

Он дотронулся до сломанного зубчика рога оленя и сказал:

— Посуда или носильное платье?

И ушел.

Он жаждал отмщения, и в первую очередь, конечно, автору статьи критического журнала. В уме он набрасывал проект ответа... этого мало! Ему хотелось выступить публично, излить чувства всем, разоблачить клеветника. «Газеты,— думал он,— подхватят мои мысли, перенесут их по телеграфу и радио в столицу — и держись ты тогда, скотина!»

Он знал о существовании в Баку директора Переквоктова. Я ему рекомендовал его. Петров направился к Переквоктову. Он показал гемму. Директор, естественно, спросил: «Откуда?» Человеческая слабость — не дать оппоненту лишних данных, что автор книги «Очерки по истории несториан» лично связан с этими несторианами, да еще и подарки от них получает!— помешала ему сказать правду.

Петров пробормотал, что он приобрел гемму случайно... хотя давно занимался изысканиями в области преданий о сокровищах Искандера; с тех пор как прочел Шах-Наме... ему хотелось бы поделиться... он не знает, имеет ли смысл показывать именно на данной лекции эту гемму... но поскольку он показал ее ювелирам и в комиссионном...

— Ювелиры сказали: дрянь.

— Да, и в комиссионном, приблизительно, то же самое, — улыбаясь, ответил директору Петров.— А сами не дрянь продают. Какое-то чучело дикого оленя...

И вдруг Петров увидал, что улыбка исчезла с лица директора. Лицо его потемнело, и рука, державшая гемму, задрожала:

— Стало быть, шакшой, — сказал он грустно. — Опять шакшой!

И он спросил.

— А вы не изволили заметить,— сказал он,— насчет левого рога? Зубчик отломан. Ответвленьице такое...

— Отломан,— удивленно ответил Петров, не понимая связи между геммой, которую усиленно рассматривал директор, и надломленным рогом оленя.— А что?

Переквоктов вернул гемму и сказал:

— Настоящая. Подлинная! Портрет Александра и жены его Роксаны. Прекрасная работа,— удовольствие показалось на его лице, и он, на мгновение, казалось, забыл все свои неприятности,— удивительная работа, завидую вашей удаче и радуюсь ей, как любитель древностей!

Но тут он опять нахмурился:

— Кабы не шакшой...

— Прошу вас объяснить...

Директор Переквоктов слабо улыбнулся:

— Для того и несколько раз упоминаю про шакшоя, чтоб вы спросили объяснений.

Равномерно постукивая длинной ладонью по стулу и как бы желая успокоить себя этим равномерным стуком, Переквоктов сказал:

— Итак, шакшой. История неприятная, ибо — глупа. Надо начать ее с того, что в молодости был я препаратором животных, или, говоря проще, набивальщиком чучел. Вы слышали об экспедиции князя Мещерского по горам Средней Азии. Так вот, я служил в этой экспедиции препаратором. Скальпель мой поработал! Да и ноженьки тоже, потому что я предпочитал сам убить птицу, которую предполагал препарировать. Я, так сказать, видел ее в полете и беге, прежде чем придать ей ту позу бега или полета, что видите вы в музее. Однажды в горном массиве верховьев реки Касан, на небольшом плоскогорьице, я заметил стайку светло-розовых монгольских вьюрков... как они попали сюда, бог весть!.. я погнался за ними. День был жаркий, воздух крайне сухой, камни так и жгли... а вьюрки взлетают да взлетают, рябит даже в глазах. Я про себя твержу: «Ну, и будет же у меня занятное чучело, хе-хе-хе, вьюрки из верховьев реки Касан». И с камня на камень, с камня на камень, с одной россыпи на другую. Солнце выше. Жарко. Пить хочется страшно. Я — за флягу. А там на донышке. Огляделся — и охватил меня ужас. Справа и слева, словно мрачные безжизненные стены какой-то бесконечной развалины, стоят нагромождения скал. Тишина мертвая. Ни птички, ни жука, ни мухи, даже ящерица и та не шелохнет. «Пора возвращаться»,— думаю. А куда возвращаться? Кругом — скалы, обрывы, сам не понимаю, как я влез сюда. И главное, горизонта нет, все замкнуто, зажато... только панорама камней и дымка жары над ними. Ух, страшно!

Присел я на камень, достал компас. Идти мне полагается на юг, чтобы — к своим. А именно на юг-то и лезут все эти скалы... полез и я.... ну, лез недолго, поскольку понял, что бесполезно: на юг хода мне нету. Полез я тогда в обход, на юго-запад. Та же история... чуть было в пропасть не свалился. Короче говоря, пал я на землю и взвыл, проклиная свой скальпель и свою дурацкую профессию, которой я так недавно гордился. Очень неприятно заблудиться в горах, а без воды особенно... Отполз я в тень скалы, лежу, и тишина вокруг меня все гуще и гуще, а сердце у меня бьется, ноет... закрыл я глаза... и сразу же, разумеется, передо мной — родимый наш север, широкая река, и лежу я будто в кустах, а через поляну, осторожным шагом, идет к водопою «шакшой». Рога по плечам как волосы у дьякона, вид вообще величественный до необычайности! Подходит он к реке и, не обращая на меня внимания, начинает пить воду. И как он пьет, какие он делает глотки,— по ведру! Что за чрево, что за горло, что за вода!.. а у меня чрево свело, горло как камышовая дудочка, а воды на слезинку не хватит... гляжу я на его рога, и очень странными мне кажутся их очертания. Много я сам сделал чучел шакшоя, многим препараторам помогал, но таких неестественно правильно расположенных ответвлений я не встречал, вроде как бы план какого-то строения, лабиринта...

— Лабиринта! — невольно воскликнул Петров.

Директор Переквоктов, криво улыбнувшись, указал пальцем на гемму и продолжал:

— Именно лабиринта. Неприятное чувство. Не мог я смотреть на эти рога. Открываю глаза. Ну, естественно, никакой реки, а пейзаж прежний: камень да небо. И только замечаю: прямо, против меня, скала, похожая на упавший боком письменный стол. Привыкший к языку спутников-геологов, сразу же, про себя, определяю: «биотитовый гранит в контакте с мраморовидными нижнепалеозойскими известняками», и, одновременно с этим, думаю: «так-то оно так, да все-таки не так», ибо по всей поверхности скалы идет вот тот самый рисунок лабиринта, который мне только что пригрезился в бреду... Так что, когда я покинул свое бредовое состояние,— неизвестно. Да и покинул ли!.. А пить по-прежнему дьявольски хочется, а рисунок по камню словно бы водой сделан, такой темный... я к нему ползу, приподнимаюсь, дотрагиваюсь... и доныне не могу сказать вам, была ли это краска или какое либо рудное тело. Только уж, во всяком случае, не вода!.. так как, поняв, что влаги здесь нет, я перестал обращать внимание на скалу и пополз куда-то в сторону. Полз я долго... вставал... брел уже в темноте... было ли это днем или ночью, не знаю... к полудню следующих суток меня нашли возле развалившейся древней печи, посредством которой древние рудокопы добывали здесь некогда свинец. Нашли меня рабочие с Аштамбердынского

месторождения золотоносных пиритов, они направлялись по тропе к устью реки. Меня принесли в становище нашей экспедиции. Фельдшер дал мне опиума, а после того порцию молока, и через несколько часов я опять работал со скальпелем. Ну, естественно, начали меня расспрашивать — как и что. Я изложил все подробно, не забыв и о рогах «шакшоя», и о странных рудных жилах на столообразной скале. Старший проводник экспедиции, седой и почтеннейший Мир-Усман Муххидин-Ходжа, сказал, беря у меня папиросу: «Большое счастье ждет тебя, таксыр. Видел ты печать Искандера». И добавил, пуская дым: «Но счастье как рассада цветов: мало высадить, надо поливать, иначе самая лучшая рассада не даст самого плохого цветка». Я спросил: «Не разъясните ли вашей мудрой мысли, Мир-Усман. Что это за рассада в виде геометрической фигуры?» Мир-Усман Муххидин-Ходжа улыбнулся соответственно своим замысловатым словам и сказал: «Искандер любил сказки и после каждой удачной сказки, которую ему рассказывали, ставил свою печать. И человек получал счастье, как в сказке. Вот и все, таксыр». Я говорю: «Но Искандера нет. Кому же мне рассказывать сказку, или в чем заключается сказка, которую я слышал и в конце которой, как утверждаете вы, Искандер поставил на меня печать». Мир-Усман Муххидин-Ходжа сказал: «Каждый из нас сам для себя колодец: сам из себя черпает воду и сам себя может иссушить. Как я могу сказать, сколько в твоем колодце воды и что ты видишь на ее поверхности, таксыр. Если хочешь, ты увидишь счастье, не захочешь — будет перед тобою сплошное горе. Вода, таксыр, вода!» Тут Мир-Усмана окликнули, так как иноходец начальника экспедиции вдруг зауросил, а Мир-Усман был великим знатоком коней и, значит, врачевателем. Он ушел. Разговор впоследствии не возобновлялся, потому что у меня было много работы, да и не нравилась мне тогда вся эта восточная символика, вроде изречений Мир-Усмана: работа над чучелами приучает человека к реализму. Хе-хе...

Директор Переквоктов попробовал рассмеяться, но это не вышло у него. Он махнул рукой; до усмешек ли тут, говорил его жест.

— Я не намерен излагать вам свою биографию. Скажу только, что я отстал от экспедиции Мещерского и поселился в Ташкенте. Причина: сердечные чувства, образование семьи. Из Ташкента вскоре я переехал со своей семьей в Баку и здесь поступил в музей. В Ташкенте музейной работы мне не находилось, я специализировался по боковой линии — служил в скорняжном деле, — тоже в своем роде препарирование... И тогда еще, в скорняжной этой мастерской, меня посетило три-четыре темноватых личности. Заведут разговор о мерлушке, о замше и вдруг перейдут к преданиям о сокровищах Искандера и к его печати. Сразу видно — выпытывают, присматриваются. Кладоискателей в нашей стране больше, чем вы думаете, и принесли они

вреда музейному делу очень много. Разроет какой-нибудь дурак или мерзавец курган, железные или медные находки выбросит в степь, а золотую вещь переплавит и получит за это чепуху, и, глядишь, великая ценность пропала для культуры! Я и тогда ненавидел кладоискателей, а теперь уже и говорить нечего... Смотрю я на такого и думаю: «Пронюхал, узнал. Так ничего ты не пронюхаешь и ничего от меня не узнаешь!» Ну и отвечаю раздраженно. Он от меня уходит. Однако камушек моего мнимого «знания» катится и, замечаю, год от года растет и превращается, можно сказать, в гору, а уж в холм-то во всяком случае.

Переквоктов вздохнул:

— Человеческая глупость неизмерима. Но это еще ничего,— кладоискатели. Есть экземпляры похуже. Я назвал бы их «конокрадами идей». Представьте себе идею в виде коня и жулика в виде пешехода, который с невинной мордой идет мимо этого коня, держа за спиной узду. Поравнялся с конем,— ах! — узду на коня и поскакал. Таких людей мне и убить не жалко!.. Дело в том, что эти люди со знаниями, с умением комбинировать этими знаниями, но направлять их в дурную сторону, в сторону вреднейшую и подлейшую. К числу таких людей принадлежит Никольс Бурке. Вы слышали о нем?

Петров подтвердил, что кое-что слышал.

Директор Переквоктов продолжал:

— Отвратительнейшая и гнуснейшая личность. Вор. Объединен с ворами, из которых младший брат его, самый низкопробный жулик и, вдобавок, фальшивомонетчик и взломщик. Тут вообще целая группа подлецов, которую я выведу на чистую воду!.. Выведу! — почти выкрикнул Переквоктов.

— Клянусь, что выведу!.. — повторил он, шагая по комнате. — Баку — местоположение для мошенников и прохвостов золотоносное. Но тут мало этой естественной, так сказать, золотоносности. Здесь еще имеется, по-моему, и вторая сторона дела. Никольс Бурке не прочь заняться и побочным делом, которое в его предприятии, основном, будет ему полезно. Я предполагаю, что Никольс Бурке ищет клиентов, заказчиков, как хотите это называйте, ищет «сильную руку» по ту сторону границы. Шайка у него готова. Он рыскает туда-сюда, нюхает, приглядывается... и, черт меня дернул, в связи со статьей вспомнить и рассказать в среде археологов мое видение у скалы в верховьях реки Касан. Я даже попробовал восстановить план лабиринта... начертал нечто неопределенное на бумаге, нечто ветвистое...

Переквоктов опять развел руками.

— И ума не приложу, каким образом этот мой набросок попал в руки Бурке! Я с ним... с момента памятной статьи Огородникова не раскланиваюсь. Статья много испортила ему в его замыслах и

жульнических махинациях; к нему стали приглядываться и прежнего доверия не было. Но кое-кто еще верил ему. Меня он, разумеется, жаждал уничтожить, но только соломинки-то мои,— сказал Переквоктов, указывая на ноги, — оказались не столь жидки, и колос не полег! Он и туда, он и сюда, ан ни клевета, ни надругательства не помогают. Мало того, из помощника директора меня назначают директором и выбирают в горсовет! Что ему оставалось делать? Или уезжать, или преклониться, или хитрить. Он пошел на последнее. Публично он признался, что Огородников и я, Переквоктов, правы, а он, Бурке, заблуждался. Теоретическая часть спора, таким образом, отошла в прошлое, а выступила практическая. Бурке уже давно сопоставил высказывания Огородникова относительно «Александрии русских хронографов» и мой бред на верховьях реки Касан. Бред-то он бредом не считал, а полагал, что мы совместно ищем сокровища. Мало того, нашли. Мало того, к этим сокровищам добавили и кое-какие новые, которые мы-де присоединили из Баку от семейства богатейших нефтепромышленников, еще уцелевших после Октября. Психология вора известна: кроме ворованного ничего не видит.

Я понял его замыслы сразу же. Но мне хотелось вывести его на чистую воду целиком! Я притворился, что не прочь с ним побеседовать. Ссора наша как бы рассосалась, и однажды он говорит мне: «Не хотите ли посмотреть на партию оленьих рогов, вас, кажется, очертания их интересуют». Думаю: что за партия, откуда и кому на Кавказе нужны оленьи рога. Пошел я вместе с Бурке. Пришли в железнодорожный пакгауз, и в углу, занумерованные мелом, и завернутые в рогожу действительно лежат оленьи рога, штук не менее полутораста. Экспортируют, оказывается, за границу. Для какой-то гребеночной фабрики. Или пуговичной, прах ее знает, точно не помню! Я сердился. Душно, пыльно, а тут мысль: «зачем и почему мы допущены до рогов и к чему они мне», а в то же время вижу, что заведующий пакгаузом — с соответствующего разрешения, значит!— распарывает рогожи и начинает вываливать рога. Бурке смотрит мне прямо в глаза, дышит водкой. Глаза воспаленные и словно желают прочесть на моем лице: «на очертания какого рога похож план лабиринта». Надоело мне это ломанье Никольса Бурке, и я говорю: «Слушайте, Бурке. Поезжайте вы сами в верховья Касана и срисуйте этот лабиринт, этот план, если уж вы так в него верите!» Он мне и говорит: «Стало быть, он существовал». — «Что значит, говорю, существовал». — «А то значит, говорит он, что план этот вами стерт со скалы». Я ему говорю: «Позвольте, значит, вы там были, что ли?» Он ухмыляется: дескать, думай как хочешь! Я ему опять: «Бурке, мы с вами последний раз говорим. Скажите мне — неужели вы думаете, что мир — бред и что только в бреду и можно достичь материального благополучия, ибо иное для вас не существует?» Он мне отвечает:

«Да, говорит, совершенно верно, бред, и в бреду лишь человек находит свое счастье. Вот вы его нашли, а со мной поделиться не хотите. Но я заставлю вас поделиться. Эти рога будут вас преследовать, пока вы мне не откроете истинного очертания. Для меня ваш олень — это тот золотой олень, которого, помните, видел Юлиан из легенды Флобера...» Начитанный был жулик!

Петрову показалось, что директор Переквоктов не без удовольствия рассказывает о своих столкновениях с «начитанным жуликом» Н. Бурке. Петров понимал директора: хитрого врага приятно уничтожить, а Бурке враг не только хитрый, но и вреднейший, по-видимому.

— Я не длиннен? — спросил Переквоктов.

— Наоборот, наоборот,— сказал Петров. — Очень прошу вас быть поподробнее. Я слышу уже шаги «шакшоя».

— Ага, вы догадались! Я рад. Тогда нам легче понять друг друга. Бурке действительно начал меня преследовать «шакшоем». На какие только измышления он не пускался, чтобы видеть мое лицо в тот момент, когда передо мной неожиданно мелькали рога оленя! И где я только не находил их!.. В ресторане, в каком-нибудь особняке, куда меня приглашали как консультанта осмотреть какие-нибудь брошенные ценности, в квартире нового знакомого, в вестибюле нового дома, который почему-то вдруг украшали рога. Это все и забавляло меня и раздражало. За этой дикой и нелепой игрой мне мнилось что-то более серьезное, вот та самая узда, набрасываемая конокрадом на лошадь, о которой я вам говорил выше. И наконец вчера, получив от вас телеграмму...

— Позвольте,— сказал Петров,— я вам не посылал никакой телеграммы.

— О том, что вы желаете прочесть лекцию и просите предоставить зало. «Сокровища Александра Македонского» телеграфировали вы.

— Мысль о лекции мелькнула у меня только сегодня! — воскликнул Петров.

— И о том, что мне позвонит сотрудник московской газеты...

— Но покажите же мне наконец телеграмму.

Петров прочел телеграмму. Она была помечена пограничной станцией и днем, когда он там находился. Нельзя сказать, чтоб веселое чувство испытывал Петров. За ним следили тогда, когда он думал, что все следы потеряны. И он пришел туда, куда неизвестные хотели, чтоб он пришел. И принес то, что они хотели, чтоб он принес!

— И на основе этой телеграммы...

— ...равно, как и телеграммы из центра, я разрешил вам прочесть эту лекцию,— сказал Переквоктов. — Что же касается «шакшоя» в комиссионном магазине, то магазин уже предлагал музею купить это

чучело. Я сказал, что у нас нет этнографического отдела, да если б и был, какое отношение имеет шакшой к Закавказью. Я отказался. Я не желаю его приобретать! Я его даром не возьму!.. И вообще надоела мне эта глупая погоня... ведь я же на скале, там, в верховьях Касана, ничего не видел и никаких очертаний не помню!.. Да и что за бред — искать сокровища Александра Македонского...

Петров видел, что Переквоктов чрезвычайно взволнован. Ну, и действительно, кого не взволнует такая чепуха и преследование со стороны не то маниаков, не то преступников, поймать которых, конечно, не директору Переквоктову. Пора уйти. Петров поднялся. «А как же гемма»,— подумал он. Директор, во все время рассказа, смотрел на гемму, и Петрову казалось, что особенно внимательно он разглядывал тот «чертеж», что находился возле шлема Александра. «Унести с собой,— думал Петров. — Но преследователи превосходно знают, что я ее унесу, и будут искать ее у меня. Знакомых, кроме Переквоктова, у меня нет. Государству сдать. Но, поскольку ценность геммы еще не доказана, кому она нужна».

И Петров сказал:

— Гемма пока останется у вас.

Переквоктов ответил:

— Вряд ли кому в голову придет, что гемма у меня. Но как быть, если корреспондент.

— Какой корреспондент?

— В телеграмме говорится, что придет корреспондент и ему надо дать исчерпывающие ответы по вашему докладу.

— Корреспондент приплетен для правдоподобия. Не придет он.

— А если?

— Не может же быть корреспондент столичной газеты в шайке каких-то темных мошенников. Отвечайте ему искренне и правдиво по всем вопросам, какие он задаст. Мне думается, в нем мы приобретем друга,— сказал Петров.— Кроме того, я найду сам этого корреспондента и поговорю с ним, посоветуюсь.

Наступила уже ночь, когда Петров вышел из музея. В конце концов он был доволен беседой с директором, и хотя ничего еще не решено и ничего не кончилось, но беда словно сползла с плеч. «Хороший он человек,— думал Петров, шагая по улице,— но чересчур нервничает. Кроме психологических заключений, ничего нет, никаких данных, ну, и надо быть поспокойнее. Не так страшен Бурка — вещая каурка...»

Тут он почувствовал, что улица словно подломилась под ним. Холодная, до величайшего омерзения, волна окатила его с ног до головы Он потерял сознание.

Пришел он в себя спустя много дней. Больница, халат, бескровные руки на байковом одеяле, лицо врача. Что? Почему? Пролом

черепа и рана ножом в области спины... Показания следователю давал он в больнице — и не утаил ничего. Рассказал он и о разговоре с директором... убийство Переквоктова поразило его необычайно. Он жаждал возмездия. Он рылся в памяти, отыскивая все, что могло б помочь следствию. Подробнейше описал он гемму, исчезнувшую в день убийства, телеграмму, которую будто бы послал он Переквоктову, вспомнил даже корреспондента важной московской газеты. Следователь сказал, что корреспондент — глупый, мечтательный мальчик, к тому же перепуганный убийством...

Слушал он и процесс, именно только слушал, так как следователь не нашел данных для привлечения его в качестве свидетеля, как и Никольса Бурке в качестве обвиняемого, хотя Н. Бурке и выступал, поскольку покойный Переквоктов в разговоре с Петровым обвинял Бурке. Выступал Н. Бурке свидетелем. Судили по обвинению в убийстве трех молодых людей, воришек. Забрались они в музей, чтобы похитить из витрины старинные золотые часы. Спавший в кабинете Переквоктов услышал шум, вышел с револьвером, выстрелил — пуля попала в потолок. Воришка — кривоногий, подслеповатый, заикающийся — ударил его в шею изразцом XVII века, которые лежали у витрины, и поразил насмерть. Два остальных подтвердили, плача, показания первого... противно и мерзко было на них смотреть, а того противней на Бурке.

Это был неопрятный человек, широкоплечий, левша, с длинными руками и волосами цвета охры. Часто обнажая скверные желтые зубы, он оглядывал судей наглыми сластолюбивыми глазами и по залу суда, при появлении Бурке, распространился явственный запах рыбы. Как ни держал ход процесса председатель, но Бурке все же ухитрялся каждую свою фразу повернуть в сторону, и преимущественно в сторону еды, и даже не еды, пожалуй, а жратвы, обжорства, самого отвратительного и пошлого сластолюбия.

Петров, при первом же взгляде на него, задрожал от злобы, но и при первом же взгляде понял, что Никольс Бурке так уж попросту в руки не дастся. Хотя он, несомненно, был пьян, и пьян мертвецки, тем не менее все показания свои он давал твердо, определенно и точно, разумеется, кроме его экивоков в сторону, относительно жратвы. О покойном Переквоктове он отзывался с глубоким уважением.

— Да. Рога осматривали, гражданин председатель. Я в свободное время точу роговые табакерки и поэтому интересуюсь рогом.

— Да. Покойный гражданин директор был высокообразованный и высоко мною уважаемый ученый. Я консультировался с ним по любому вопросу, в том числе и по вопросу о «шакшое». Я хотел приобрести рога, а гражданину директору предлагал шкуру чучела. Разговор происходил между прочим, и я на шкуре не настаивал, ведь и все чучело стоило гроши.

— Да. Гражданин директор Перекпоктов последнее время усиленно работал и, мне кажется, чувствовал переутомление. Иначе я не могу объяснить показаний гражданина Петрова относительно «шакшоя» и его рогов, а равно и плана какого-то лабиринта. Переутомление, еда не вовремя, плохое пищеварение...

— Да. Спор относительно греко-бактрийского царства в Средней Азии в годы 254—134 до нашей эры был. Я признал, что ошибался, называя греков немцами. Но история, гражданин председатель, как блины, один любит с семгой, другие с икрой...

Мелкими штришками, недоговорками, намеками Н. Бурке ухитрился нарисовать перед слушателями образ директора, как человека невменяемого, хотя и ученого, как человека с поврежденной психикой и почти манией, хотя и в своей области знающего. Петров слушал его и с каждым словом Бурке все более и более убеждался, что перед судьями стоит подлинный убийца, хотя улик делалось все меньше и меньше. Бурке в день убийства Перекпоктова находился в море, в двадцати километрах от Баку. Он плавал с артелью рыбаков, и десяток людей подтверждал, что он ни на минуту не покидал баркаса. Что же касается рогов шакшоя, то...

— Не будем повторяться, — сказал председатель суда.

Однако, чем ловчее отдалялся Н. Бурке от места и причин убийства, тем яростней шептал про себя Петров: «Ты — убийца. Ты!.. И я тебя поймаю. Поймаю. Раздавлю».

Процесс окончился. Осужденных воришек увели отбывать наказание. Бурке и его друзья спокойненько направились в шашлычную, где уж был заказан ужин и приготовлено отличное вино.

Петров вернулся в Москву.

Что же касается чучела шакшоя, то его из комиссионного магазина приобрел какой-то изобретатель новой системы освещения номера дома и названия улицы одновременно, изобретатель, неимоверно разбогатевший на этом деле.

Вот так и закончилась первая часть истории геммы царицы Роксаны, директора Перекпоктова, Никольса Бурке, чучела шакшоя и инженера Петрова. Если не возражаете, я перейду ко второй части. Она значительно короче...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Стальная ложечка слабо звякнула о стакан. Профессор отпил глоток, вытер большой, красиво очерченный, волевой рот и оглядел нас. Он готов был продолжать рассказ...

Последние минуты я следил не столько за рассказом Огородникова, сколько за лицом и всем поведением Маши. Несомненно, она

любила отца, но было еще что-то другое, волновавшее ее, помимо любви и памяти к отцу. Сначала она вела себя сдержанно. Впившись глазами в профессора, она так плотно прижалась к столу, что руки ее будто вросли в крышку. Но с того момента, когда рассказ коснулся того, как Петров возвращается от несториан на родину, она изменилась. Руки ее взметнулись над столом, поплыли и начали описывать круги, как коршуны кружатся над степью. Лицо ее вытянулось, приобрело какой-то не свойственный ее возрасту медный оттенок, и вся фигура ее стала заметно длинней, словно выросла на глазах. «А с ней будет не так-то просто разговаривать!» — подумал я в удивлении. Мне представлялась она выправленной корректурой, а оказывается, это очень неразборчивый оригинал!..

Она внезапно сорвалась с места и, направляясь к креслу профессора, быстро заговорила:

— Прежде чем о второй части... разрешите мне... тоже очень, крайне коротко. Мне совершенно необходимо высказаться.

— Прошу вас, — неохотно сказал профессор, и тут я еще раз удивился.

Профессор-то Огородников, оказывается, не столь олимпийски спокоен и благодушен. Его сердит сопротивление и вмешательство в его планы, а это уже известный признак самодовольства... Не подумайте дурно о моих мыслях. Я глубоко уважаю профессора, я чту его ранение, его самоотверженный подвиг в деле вооружения нашей страны, но я не могу скрывать правду. Самодовольство, выходящее за нормальные пределы, — качество неприятное, а Вениамин Николаевич способен испытать самодовольство и оттого, что в этой огромной комнате натоптано, неубрано, холодно, что, мол, на это великие люди не должны обращать внимания, что его первая семья, — года два назад он женился вторично, — испытывает горести, вспоминая счастливую былую жизнь с ним; что теперешняя его жена чересчур громко говорит о достоинствах своего мужа и чересчур тихо о достоинствах других ученых... тяжеленько стало у меня на душе, но все же, не без удовольствия, начал я слушать Машу. Девушка она, видимо, порывистая, но что поделаешь — нужно.

К чести Вениамина Николаевича, надо добавить, что он, кроме небольшой сухости в голосе, ничем не проявил больше своего неудовольствия, хотя, несомненно, предчувствовал, что Маша скажет неприятные для него слова. А ведь он мог напомнить и о дисциплине, тем более что ее сюда на работу направил комсомол.

— Мне нужно высказаться потому, что я испытываю... испытываю негодование! — высоким и юношески звенящим голосом воскликнула Маша. — И не одно негодование, а два! То, которое вы желали вызвать во мне, Вениамин Николаич, и то, которое вы, наверное, не желали...

— Начнем со второго, — холодным голосом проговорил Огородников.

— Со второго. Хорошо. Хотя это и трудно. Оно... оно направлено против вас, Вениамин Николаевич!

Профессор кивнул головой. Дальше, дескать.

— Сейчас, больше... больше, чем когда-либо в мире, всем нам хочется искренности. Вся земля вопит об искренности! И я — тоже. Извините, что я ставлю себя рядом со всей землей, но я маленький человек, еле видный от земли, и поэтому, может быть, имею на это право. Я ближе к ней, к земле, ее голос мне слышнее... Извините меня...

Профессор опять кивнул головой.

— Искренность! И еще — верность данному слову. О, вот это тоже очень важно. Потому что, опять-таки повторяю, вся земля держит слово верности, вся земля! Сказали: будем защищать тебя... и защищают. Я это видела сама, своими глазами. И вот вы тут похвалили меня, сказали, что я убила энное количество немцев. Ну, разве я их убила? Ну, где мне? Я у нас в кружке шестым стрелком была... а это волна меня захватила и понесла! И, право же, мне и рассказать трудно было б, как я их убила, хотя и держалась в бою хладнокровно и все точно знала, как и что... и куда лучше метить, и какие признаки обнаружения врага... но все это второстепенное, а первостепенное — верность данному слову. Верность! Такая вышина есть в этом слове, что голова кружится, когда вообразишь его целиком.

Она опустила поднятые руки, оглядела нас и, нисколько не смущаясь, сказала:

— Возможно, говорю выспренне. А все с того, что подумала о фронте. Там часто, наряду с точностью и даже детализацией мелкого факта, существует и эта выспренность. О домашних думаешь выспренне, о командирах выспренне, о всей окружающей природе выспренне. И по-моему, нельзя иначе, потому что рядом-то — смерть. Слово известное, серьезное, историческое слово! Тут приходится жизнь мерить не сантиметрами, а километрами...

И залпом, не передохнув, она проговорила в лицо Вениамина Николаевича:

— Как же могли вы поэтому скрыть свои действия под вымышленной фамилией какого-то инженера Петрова?! У меня нет никаких данных утверждать, что вы и Петров одна и та же личность. Но всем сердцем я утверждаю: одна! И вы сами не отрицаете, не способны отрицать. Тогда зачем такая двусмысленность? И перед кем? Перед дочерью покойного в момент, когда открывается тайна его смерти! Это, это... это я осуждаю...

— Мы ждем. Насколько я понимаю, высказана лишь половина вашего вопроса, — сказал Вениамин Николаевич.

Она ответила:

— Самая большая, во всяком случае, Вениамин Николаич.

— Вторая будет о целесообразности поездки?

— Да, для меня! Я потому выставляю себя, что разговор-то шел о смерти моего отца. Я представляю право мести...

— Несомненно. Я заботился о вашей чести, когда все это рассказывал вам. Иначе я мог бы обойтись и без вас, здесь присутствующих, ибо все вы, так или иначе, связаны с личностью Перекбоктова, а значит, и с личностью его дочери.

— И вот, о целесообразности поездки. Я спрашиваю вас, Вениамин Николаич, откуда и сюда попала двусмысленность? Одно из двух — либо строго научная, от института, командировка для опытов в район провинции оптических минералов, либо — любительская экскурсия в поисках «сокровищ Искандера». Но контрабандой, под видом научной поездки, ехать отыскивать «сокровища» и, как понимаю, ловить какого-то диверсанта, благодарю покорно! Лучше буду я считать своего отца маньяком, как и инженера Петрова, между прочим, чем...

— Чем поедете в Среднюю Азию.

— Чем поеду в Среднюю Азию, — ответила она и, вернувшись к своему стулу, села.

Огородников сказал:

— Я не поклонник резких выражений, а того более резких формулировок. Но, к сожалению, в данной ситуации, должен говорить резко. Мне стало заметно, Маша, что вас мучает дуализм. Вы бьетесь на фронте, и в то же время огорчаетесь, что месяцы проходят и вы многое забываете и товарищи в учебе, там, в Москве, опережают вас. Командование понимает ваше состояние и переводит вас в радиослужбу, где вы не растеряете, а наоборот, улучшите ваши знания. Тогда вы начинаете мучиться, что вы не со снайперской винтовкой в руке. Прекрасно. Вас не удовлетворяет радиослужба. Командование направляет вас в Москву, на учебу. Вас зачисляют в мой институт. Вас опять мучает двойственность. Вы чувствуете себя одинокой, думаете, что если б с вами находился отец, вам было б легче. Многие из окружающих кажутся вам тоже двойственными: на службе или на выступлениях декламируют и декламируют, а дома — ворчат и мурлыкают...

— Есть такие.

— Конечно, есть. Да и вы сами, Маша, из этого числа. Из того самого числа, из которого получаются герои. Да, я утверждаю это. Ибо плох тот плотник, который одобряет каждое дерево и не видит в нем ни сучков, ни трещин. А вот тот плотник, который умеет

выбрать настоящее сухое, звонкое и стройное дерево, тот мне выстроит хороший дом.

Маша улыбнулась:

— Каждый сам себе дерево.

— И каждый сам себе плотник, вот что главное, ибо каждый сам для себя строит свой дом, дом своей страны. Поэтому-то ваш дуализм — кажущийся дуализм, и я вам, Маша, докажу немедля же.

И он продолжал:

— Таким образом, мы и перешли ко второй части истории геммы царицы Роксаны. Ах, простите, я не ответил на ваш вопрос. Профессор Огородников и инженер Петров, спрашиваете вы, одно и то же лицо? Да. Для чего же лгали, профессор? Уж не хотите ли скрыть свое прошлое? Причина простая. Мои труды, под псевдонимом П. И. Петрова напечатанные, значатся во всех справочниках, где упоминается моя фамилия, подлинная. Я просто хотел проверить, — читали ль вы эти труды, так как, если вы поедете отыскивать сокровища Искандера, вам придется ознакомиться с этими трудами. Вы не находите, что, психологически, ход моих размышлений совершенно правильный.

Рассмеявшись, мы сказали наперебой, что правильней едва ли что и может существовать.

— Итак, гемма, — продолжал он. — Гемма, к сожалению, оказалась похищенной. Одно из двух, либо гемма настоящая, либо нас хотели направить по ложному следу. Впрочем, ни в том, ни в другом случае я не нашел следов. Бурке вскоре «спился», исчез, и я стал забывать о нем. Только в этом году, просматривая журналы, захваченные у немцев, я увидел его фотографию. Он, он! Я его узнал сразу, несмотря на мундир и сбритые усы. Мне даже показалось, что в комнате распространился свойственный ему запах рыбы. Давно я ожидал эту встречу. И, признаться, взволновался. Я увидал зал суда, стол с вещественными доказательствами и самого Бурке, дающего показания. Он размахивает левой рукой с отрубленным мизинцем и хрипло говорит что-то... Мне всегда казалось, что Бурке фатоват, несмотря на всю свою неряшливость. Фотографии убедили меня в этом. Бурке, несомненно, стал немецким шпионом фактически, ибо, внутренне, он был им всегда. Но если он шпион, — зачем же ему фотографироваться, да тем более печатать эту фотографию, пусть его фамилия изменена, в журнале. Из фатовства, из презрения к нам. Вот, мол, я какой! Никого и ничего не боюсь и спокойненько, прямо от стен Сталинграда, отправляюсь в Среднюю Азию, в Ташкент...

Инженер Мирзабытов сказал обиженным голосом:

— Отправиться можно, но попасть...

— Он попал. Вот доказательства, — проговорил Вениамин Николаевич, показывая нам небольшую фотографию.

Снимок изображал угол комиссионного магазина. Гардероб, мягкая кушетка, с накинутым на нее ковром, какая-то масляная картина и за этим всем — чучело большого северного оленя. Снимок был не очень отчетлив, но мне почудилось, что я вижу отломанный кончик рога...

— Из Ташкента? — спросил инженер Мирзабытов.

— Из Ташкента. У меня всюду ученики, и я разослал по ним одну и ту же телеграмму. Вот ответ, — сказал Вениамин Николаевич.— Добавлю, что через час после того, как фотография была снята, чучело оленя купили. Что же это значит, спросите вы? А это значит следующее. Покорив Кавказ и Сталинград, немцы намеревались идти на Индию. Боком, фланговым ударом, они покоряют Среднюю Азию. Ну, разумеется, предварительно туда надо направить лазутчиков. Волна беженцев, направляющаяся с Кавказа, должна помочь этой заброске. В числе прочих, а может быть, и ведя прочих, пробирается в Ташкент и некий старый мошенник Никольс Бурке. Приехал. С целью нам еще неизвестной выставил чучело шакшоя...

— Невозможно, — голосом еще более обиженным сказал Мирзабытов. — У меня. В Ташкенте. Лазутчики.

— Почему невозможно. В Ташкенте, допустим, полмиллиона жителей. Неужели среди этого полмиллиона нельзя затеряться одному, двум, трем шпионам. Если б, как вы думаете, с фашистами так легко справиться...

— Я не думаю, Вениамин Николаич, что легко...

— И я не думаю, что вы так думаете. Но если допускать, что легко, то враг не подошел бы к Волге и Кавказу. Не подумайте также, что я умаляю своими словами деятельность наших разведывательных органов. Так же, как и вы, я уверен в их силе и уме. Но будет лучше, если мы с вами, предчувствуя недоброе, будем дремать на один глаз. Тем более что у меня никаких данных, кроме туманных предположений. Я даже не совсем уверен, что Бурке в Ташкенте. Но я очень люблю свое дело и «центровку», и мне хочется сберечь ее... Итак, знает ли Бурке, что мы везем «центровку»? Знает ли, что мы предполагаем искать сокровища Искандера...

— По выходным дням, — сказала Маша, глядя на рояль.

Он стоял, чуть приподняв крыло, казалось готовый к полету. В тускловато-дымчатом лаке его отражались звери потолка и антресолей. Глубоко, среди них, светлело бледное лицо девушки. Она еще не начала играть, но уже слышалась музыка.

Опять вошла жена профессора. В руках ее была щетка. Она тихо, на ухо сказала профессору. Мы явственно расслышали, что уже

утро и надо ему хоть час заснуть. Он сказал «сейчас, сейчас» и попросил Машу сыграть, добавив, что рояль расстроен. Маша не дала жене его и слова вымолвить, а та явно хотела сказать, что раз расстроен, чего и играть. «Да, жена эта нам причинит кое-какие неприятности»,— подумал я. Но музыка смяла все мои мысли.

Маша, сказав, что она будет играть, делая поправку на расстроенный инструмент, жадно устремилась к роялю. Мне подумалось, что она не в состоянии выразить словами все свои думы и хочет выразить их музыкой.

Я не могу назвать пьесы, которую она играла. Но я назвал бы ее «Сюитой верности». Уже с первых звуков стали понятны чувства, которые она выражала. «Если Бурке знает хоть одно слово из сказанного вами, Вениамин Николаевич, он, в первую очередь, должен знать, что его смерть близка»,— так начиналась эта грозная и мощная музыка. И затем пронесся как бы теплый весенний ветер. Вы все понимаете, о каком ветре я говорю. О том самом, что соединяет впервые в одном порыве молодые листья дерев, едва-едва распустившиеся. О, не улыбайтесь! Я знаю, что не молод и моя юность давно уже отцвела. Но кто весной не молод, да еще перед первым весенним ветром, дышащим вам в лицо запахом деревьев и трав. Листья соединяются в одном порыве, и они впервые, может быть, понимают тогда, что такое дружба... и они тихо, изумленно перешептываются.

Мы не перешептывались. Наши губы не двигались. Перешептывались, если можно так сказать, наши сердца, соединенные этой молодой и сильной музыкой в одном порыве дружбы. Да, нас соединила отныне и навсегда великая дружба. Мы знаем, что еще предстоят ссоры, мы часто плохо будем разбираться в чувствах друг друга, будем негодовать. Но в тяжелые и опасные минуты мы не предадим друзей и всегда придем им на помощь!..

Начиналось утро, когда мы вышли из особняка. По улицам мела метель. Перегруженные трамваи, накренясь набок, словно корабли меняющие курс, огибали перекрестки. Не хуже любого вагона трамвая перегружен я был мыслями. Музыка кончилась, и я думал о продовольствии, которое надо брать на дорогу, о своем сынишке Пете, о том, как закрепить за мной комнату, чтоб кто-нибудь не вселился, пока я путешествую...

Маша спросила меня:

— Что вы думаете о моем отце? Кто он был? И что такое шакшой? Может быть, профессор нарочно, чтоб успокоить меня, чтоб я не думала, будто отец мой болен и его преследовала мания, придумал всю эту историю с шакшоем. Или он сам... А вы ничего не

знаете! Профессору, кажется, предстоит ампутация ноги, и комсомол, чтоб не волновать его, приказал мне подчиняться ему! Странная манера: чтобы успокоить оперируемого в Москве, нам уезжать в Ташкент!.. Что это такое, скажите.

Как будто я знал, что такое предстоит нам!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Прошлый раз я говорил вам о могущественном влиянии музыки, соединившей нас в одном порыве. Порыв действительно был так огромен, что я не смог разглядеть лица моих спутников и всю дорогу до Ташкента ме...

[*1943*]

КОММЕНТАРИИ

В шестом томе собрания сочинений Вс. Иванова помещен роман «Пархоменко», в качестве приложения дается незавершенный роман «Сокровища Александра Македонского». Над первым романом писатель работал во второй половине 30-х годов, второй создавался в годы Великой Отечественной войны. Оба произведения свидетельствуют о богатстве жанровых и стилевых поисков Вс. Иванова. В пределах одного жанра писатель находит различные формы: «Пархоменко» — историко-биографический роман, написанный в традициях реализма, «Сокровища Александра Македонского» — произведение фантастическое, где реальное и таинственное взаимопроникают и взаимодействуют, раскрывая жизнь в ее новых гранях.

Вс. Иванов был писателем ищущим, в разные периоды существенно менялась его художественная манера, он всегда ратовал за то, чтобы писатель искал свой стиль. «Искусство есть анализ, — замечал он, — поэтому искусство — как и точные науки — должно экспериментировать» («Переписка с Горьким», с. 298). Его постоянно мучило сомнение, то ли он делает, так ли. «Почему, за каким дьяволом стремился я к *новой* форме? Выгоды? Никакой выгоды... Внутреннее удовлетворение? Тоже было мало», — иронически писал он в 1960 году («Переписка с Горьким», с. 314—315).

И все-таки он искал, искал постоянно и мучительно, стремясь найти самые подходящие, лучшие формы для отражения новой, революционной действительности. Именно поэтому он работал подолгу над рукописями, писал множество вариантов одного и того же произведения, «прочитывал и «прорабатывал» множество теоретических трудов, стараясь наметить законы и пути построения литературного произведения» («Всеволод Иванов—писатель и человек», с. 299). При этом творческие искания Иванова не имели ничего общего с формальным экспериментаторством. Исходным моментом для Иванова было «уяснение жизненных координат» (Л. Леонов), стремление найти общий язык с народом.

Тридцатые годы вошли в творческую биографию писателя как время обращения к темам большого общественного звучания, как интенсивный и плодотворный путь поисков положительного героя

эпохи. Иванов стремился запечатлеть в произведениях этого периода процесс формирования и становления характера советского человека.

В «Путешествии в страну, которой еще нет» (1930) и в «Повестях бригадира М. Н. Синицына» (1931) Вс. Иванов обратился к сегодняшнему дню страны и решал вопрос, каков же новый человек, вернувшийся с фронтов гражданской войны и строящий социализм.

В «Похождениях факира» (1934—1935) писатель вспоминал прошлое. Обращаясь в романе к первым двум десятилетиям XX века, в которые формировалось большинство людей, совершивших Октябрьскую революцию, он по-своему отвечал на важнейшие вопросы современности.

Прозу Иванова 30-х годов отличают напряженные поиски новых эстетических путей воспроизведения советской действительности. Он был противником точки зрения на реализм как на синоним жизнеподобия, для него «искусство есть изображение несуществующего как существующего» («Переписка с Горьким», с. 304), «реализм, — отмечал он, — по возможности, старается отодвинуть от себя подальше фантазию, и он часто выдает фантазию за факты, которые будто бы он наблюдал в жизни» («Переписка с Горьким», с. 303).

Иванов искал «свой» реализм, и совершенно естественным для него было включение в правдивое изображение жизни вымысла, фантазии, мифа. Так, действие романа «Путешествие в страну, которой еще нет» развивается в необычных условиях, при невероятных обстоятельствах. Изображенные в романе события воспринимаются в двух планах — реальном и выдуманно-экзотическом, в основе сюжета лежит почти детективная интрига, большую роль играет в романе элемент случайности.

Суровая критика сборника «Тайное тайных» (1927) повлияла на художественную манеру писателя. В записной книжке начала 30-х годов он делает пометку: «У человека обычно *две* жизни. И второй, подспудной (теперь ее называют подсознательной), он не любит касаться. Да и зачем?.. Художник не всегда способен следить за ней и описывать эту вторую скрытную жизнь: она не смыкается с первой: одна — сама по себе, другая — сама по себе» («Переписка с Горьким», с. 103).

Отказываясь от психологического исследования характеров и раскрытия их «внутренних драм», Иванов в начале 30-х годов нередко ограничивался описанием внешней стороны в поведении героев. Именно такой способ изображения виден в «Повестях бригадира М. Н. Синицына».

В романе «Похождения факира» причудливо сочетались реальность и фантасмагория, скучная житейская обыденность и мечта о сказочной и прекрасной Индии. Бытовые штрихи и материальность в обрисовке провинциальной России сочетались со стихией вымысла,

с чем-то невероятным, почти мифическим. Такая художественная манера Иванова в «Похождениях факира» свидетельствовала о чрезвычайном разнообразии выразительных средств, которыми он обладал.

Усложненная фантастика писателя часто рассматривалась критикой 30-х годов как крайность его творчества, как отклонение от некоей реалистической нормы. В критике укрепилось мнение, что Иванов — писатель, идущий в русле горьковского реализма, его талантливый ученик. Если же Иванов выходил за пределы предназначенного ему, критика стремилась вернуть художника на проторенный путь.

Прислушиваясь к мнению критики, Иванов слабо противостоял тем силам, которые направляли его дарование в сторону, ему несвойственную. Писателя так упорно упрекали в формализме, что он уверовал в свои ошибки и каялся в формалистических «грехах».

Во второй половине 30-х годов в поисках пути к читательскому сердцу Вс. Иванов возвратился к теме гражданской войны и создал роман «Пархоменко», который отличается тщательной разработкой проблемы формирования характера нового человека. Но эта проблема решается не изолированно, она теснейшим образом связана с изображением событий, действий масс. Писатель пошел по трудному, но единственно верному пути, рисуя жизнь Пархоменко на широком историческом фоне, в органической связи с изображением жизни и борьбы советского народа.

Композиционно роман построен по хроникально-биографическому принципу. Писатель взял за основу биографию Пархоменко и детально разработал узловые эпизоды его жизни. Иванову удалось реалистически, эстетически убедительно запечатлеть не только героическую жизнь коммуниста, революционера и командира Пархоменко, но и нарисовать широкую картину гражданской войны, ярко воплотить облик сражающегося народа. В романе отразилось глубокое понимание писателем исторического процесса, законов общественного развития.

К серьезным достижениям романа «Пархоменко» относится и образ Ленина. Писатель по-своему рассказал о неотразимой силе простоты, подлинной демократичности, народности великого вождя революции. Воссоздавая неповторимую индивидуальность Ленина, Иванов отказался от документальности, стремясь не к фактической, а к поэтической художественной правде. Образ вождя, созданный Ивановым,— достойный вклад в Лениниану советского искусства.

Роман «Пархоменко» написан без пестроты, пышной красочности, метафоричности, в нем нет погони за исключительным, нет стремления удивить читателя необычными образами. Заметна тяга писателя к простоте и естественности повествования.

Сущность эстетических принципов Иванов видел в «умении сочетать глубочайшие мысли, полнозвучные образы с абсолютной простотой и ясностью словесной фактуры» (Вс. Иванов. Мысль и язык. — «Советское искусство, 1934, № 20). В «Пархоменко» эти новые эстетические требования нашли свое выражение. Роман был одной из дорог в художественных исканиях Вс. Иванова. Роман ознаменовал победу писателя в жанре; в «Пархоменко» Иванов нашел художественное решение центральной проблемы советской литературы — изображения положительного героя эпохи.

Принятые условные сокращения:

Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах. М., Гослитиздат, 1958—1960 гг. — 2-е собр. соч.

Сб. «Всеволод Иванов—писатель и человек. Воспоминания современников». М., «Советский писатель», 1970. — «Всеволод Иванов — писатель и человек».

Всеволод Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969. — «Переписка с Горьким».

«Пархоменко» — впервые опубликован в журнале «Молодая гвардия» (№№ 9, 11, 12 за 1938 г. и 1, 2, 3 за 1939 г.), отдельным изданием вышел в 1939 году в Государственном издательстве художественной литературы.

В дневнике Вс. Иванова за 1943 год приводится любопытный факт, свидетельствующий о действенности фильма, сделанного по роману. Один украинский писатель рассказал Иванову, что «с последней подводной лодкой, пришедшей в Севастополь, привезли... фильм «Пархоменко». Смотрели фильм в подземелье», а посмотрев, велели передать автору «привет и поцелуй» («Переписка с Горьким», с. 369).

Легендарный герой гражданской войны Александр Пархоменко привлек Вс. Иванова героическим характером, кристальной чистотой, храбростью и особой удачливостью в революционных и боевых делах. «Я работал над романом «Пархоменко» с великим увлечением. Вот теперь-то я наткнулся именно на того героя, по которому давно тосковал»,— писал Иванов в «Истории моих книг».

О том, как возник замысел романа, писатель рассказал в автобиографии, опубликованной в 1952 году, и в «Истории моих книг». В 1924 году некоторое время он жил на Украине и познакомился с бывшими бойцами и командирами конной армии, от них впервые и услышал рассказы об Александре Пархоменко. Рассказы эти его «поразили, и он записал их». «Десять лет спустя мне попала в руки

автобиография А. Пархоменко, и тогда впервые у меня мелькнула мысль написать о нем роман»,— рассказывал Вс. Иванов («Пархоменко», М., Гослитиздат, 1952, с. 6).

К этому же времени относится и начало работы Вс. Иванова вместе с другими видными советскими писателями над материалами «Истории гражданской войны». Об этом свидетельствует письмо М. Горького к Ромену Роллану: «В этом году мой визит в Союз Советов был уже не визитом наблюдателя, а поездкой работника. Удалось организовать несколько литературных предприятий, из них особенное значение я придаю «Истории гражданской войны» в 15-ти томах и затем «Истории фабрик», которая должна дать полную — насколько это возможно — историю роста промышленности и рабочего класса. В первом издании участвуют человек полтораста историков, военных специалистов и все наиболее крупные литераторы: Леонов, Всеволод Иванов, Алексей Толстой, Федин и т. д. Они будут работать над материалами документов, мемуаров, устных — застенографированных — рассказов участников войны и должны придать этому материалу удобочитаемость, картинность, яркость, в то же время весь этот материал даст им темы для художественных работ» (М. Горький. Собрание сочинений в 30-ти томах, т. 30, с. 228—229).

Горький верно определил многогранное значение участия писателей в издании «Истории гражданской войны». Хотя Вс. Иванову тема революции и облик легендарного Пархоменко были родственны и близки давно, широкое ознакомление с документами было небесполезным. Сам писатель выразил на титуле романа «Пархоменко» благодарность главной редакции «Истории гражданской войны» за помощь, оказанную ему в сборе материалов.

Ценные сведения дали писателю беседы с семьей А. Я. Пархоменко, со многими участниками гражданской войны, с защитниками Царицына. Вс. Иванов побывал в тех местах, по которым шел боевой путь Первой Конной, «поехал на Украину, в Донбасс, проехал путем Конармии, которым она шла от Ростова на фронт против белополяков» («Пархоменко», Гослитиздат, 1952, с. 6).

В дневнике Вс. Иванова есть запись, дающая точные сведения о времени окончания работы над романом. «Пархоменко» закончен 17 февраля 1939 г. Через день сдал издательству.

Книга, первые листы, начали печататься 7 марта, 14 заменили последнюю запятую в фразе «Ламычев подумал с удовольствием...».

Десять дней до 17-го едва ли не лучшие по настроению — ходил довольный и только думал о всяких хороших вещах...

И. Лежнев усиленно просит экземпляр «Пархоменко». В издательстве, говорил Кончаловский, ждут книгу с нетерпением» («Переписка с Горьким», с. 366).

Роман, написанный рукою мастера, был высоко оценен критикой 30-х годов. Пожалуй, «Пархоменко» — единственное произведение писателя, получившее тогда почти единодушное одобрительное признание.

Критика отмечала воспитательное значение образа главного героя. М. Серебрянский писал: «Роман Всеволода Иванова бесспорно станет популярным произведением советской литературы, массовой художественной книгой, интересной и для старшего поколения, и для нашей молодежи... Для воспитания молодых читателей особенно ценно значение яркого и правдивого образа пролетарского полководца — Александра Яковлевича Пархоменко» («Литературное обозрение», 1939, № 12, с. 8).

Ю. Севрук видел заслугу писателя в том, что он «создал образ выдающегося исторического деятеля и показал передовой общественный класс, выдвинувший Пархоменко в первые ряды борцов за социализм» («Книга и пролетарская революция», 1939, № 10, с. 166).

Роман рассматривался как новая ступень в идейно-эстетической эволюции писателя. В частности, А. Воложенин так отзывался о нем: «Перед нами выдающееся произведение советской литературы, написанное на военную тематику... Мужественная книга! Талант писателя в романе достиг идейной зрелости, развернулся необыкновенно мощно» («Новый мир», 1939, № 4, с. 279).

Вместе с тем отмечались и некоторые недостатки в художественной ткани произведения. Ю. Севрук увидел «слишком последовательную биографичность композиции», ему казалось, что в образе Штрауба «много логики, но мало искусства» («Книга и пролетарская революция», 1939, № 10, с. 170). По мнению М. Серебрянского, первая часть романа «написана суше и менее ярко в сравнении с остальными», Штрауб и его жена принадлежат к числу «недостаточно выразительно обрисованных персонажей» («Литературное обозрение», 1939, № 12, с. 6, 7).

Сам Вс. Иванов также не был вполне удовлетворен своим созданием. «...Я мало обращаю внимания на конструкцию и часто ухожу в сторону от того течения, которое должно быть в романе главным и преобладающим. Страдает этим недостатком и роман «Пархоменко» (2-е собр. соч., т. 1, с. 98).

Придавая произведению большое значение, прислушиваясь к голосу критики, писатель неоднократно его дорабатывал.

Существует три редакции «Пархоменко» — 1938, 1950, 1959 годов. Самым значительным изменениям роман подвергся в 1950 году, в редакцию 1959 года автор внес ряд поправок, уточняющих историческую обстановку, и просмотрел заново текст с точки зрения стиля. Сравнение двух редакций — первой и последней — дает представле-

ние о том, в каком направлении шла работа требовательного художника.

Прежде всего Иванов стремился создать эпос революции. И в первой редакции биографический роман о Пархоменко вылился в обширную историческую эпопею, охватывающую почти двадцать лет революционной борьбы рабочего класса, руководимого Коммунистической партией. Создав образ пламенного революционера и бесстрашного воина, писатель показал и передовой общественный класс, выдвинувший Пархоменко в ряды борцов за социализм, и изобразил целую эпоху общественной жизни.

В последней редакции Вс. Иванов усиливает эпический разворот событий. Он стремится придать повествованию широту, подчеркивает конкретность изображаемого. С этой целью автор начинает многие главы историческими справками. Так, в первой редакции роман открывался пейзажной зарисовкой, в новой она опущена, первая глава начинается фразой: «В октябре 1905 года рабочая Москва начала всеобщую забастовку». Такой зачин связывает события в Луганске с общим революционным подъемом в России. Материалом исторического характера открывается и 21-я глава I части, где рассказывается о зверствах германских захватчиков на оккупированной территории Украины. Заново написана 1-я глава IV части, здесь автор анализирует положение на фронте и объясняет, в связи с чем дивизия Пархоменко оказалась на польском фронте. В первой редакции этот момент был неясен.

Иногда писатель дополняет или завершает некоторые главы новыми документальными сообщениями (17-я и 18-я главы I части, 31-я глава III части, 22-я глава IVчасти и др.). Нередко он акцентирует внимание на исторических материалах, вынося их из середины или конца глав в начало. Затерявшееся в 17-й главе I части сообщение о положении в Донбассе сразу после Октября становится началом 16-й главы. То же можно сказать о перемещении исторического материала в 8-й главе I части.

Таким образом, писатель создает многоплановую картину эпохи, четко обрисовывает положение молодого Советского государства, дает более верную и четкую трактовку исторических событий.

Иначе показана борьба мировой реакции против советской республики. Это связано прежде всего с изменением образа международного шпиона — Штрауба.

В первой редакции романа Эрнст Штрауб проявлялся только в 7-й главе, линия его казалась искусственно включенной в роман. Судьбы Пархоменко и Штрауба развивались параллельно и не были связаны необходимостью.

В последней редакции встреча Пархоменко со Штраубом и его

приятелями — черносотенцами: Чамуковым, Ильенко и Быковым — происходит в 1-й главе, и таким образом в самом начале произведения завязывается конфликт и определяются главные герои, борьба которых составляет развитие сюжета романа и отражает столкновение антагонистических сил. Не параллельно, а скрещиваясь, пересекаясь, идут в новой редакции дороги Пархоменко и Штрауба. Роман стал композиционно целостнее, а характер Штрауба приобрел четкую социальную определенность.

Существенные изменения внесены автором в изображение мировой контрреволюции. По-новому трактует Вс. Иванов роль Соединенных Штатов Америки в интервенции против Советской России: американский империализм выступает как главный вдохновитель антисоветской кампании. Американский доллар скупает оптом и в розницу английских, австрийских, германских и русских шпионов, он диктует им свои законы и порядки. В роман введен новый персонаж — руководитель американской контрразведки в России Ривелен.

В соответствии с жизненной правдой, на основе появившихся новых материалов раскрывается в последней редакции романа эпоха гражданской войны и революции, исторически достовернее трактуется роль Сталина, более углубленно изображается руководство партии в годы гражданской войны. Центральный образ романа — Пархоменко — был и в первоначальном издании большим художественным открытием писателя, в новой редакции Пархоменко стал целеустремленнее. Теперь он предстает не только как храбрый и мужественный человек, но и как революционер, знающий наизусть работу В. И. Ленина «Что делать?».

В первой редакции романа, по существу, было два героя, причем Иван, брат Пархоменко, играл решающую роль в революционном и политическом возмужании Александра, а в I части романа он даже заслонял собой образ главного героя. Писатель подверг существенной переработке первую часть, и таким образом жизненная правда была восстановлена, а художественные пропорции соблюдены.

Теперь Иванов стремится освободить образ Пархоменко от всего случайного, нехарактерного. Он изымает из романа эпизод, рассказывающий о том, как Пархоменко и Ворошилов, подпоив атамана Луганской станицы, доставали бланки паспортов (глава 2-я, часть I). Нет в романе и повествования о ненужном геройстве, когда Пархоменко и ординарцы, лежа на спинах, стреляли в белополяков (3-я глава, IV часть). Эти эпизоды ничего существенного не добавляли к характеру героя, в них чувствовался налет простой занимательности. Зато писатель существенно обогатил героический

характер Пархоменко, показав его тягу к знаниям, выразившуюся в горячем желании познать военную науку.

Харитина Григорьевна, жена Пархоменко, в новой редакции предстает не заурядной деревенской девушкой, а человеком, прекрасно понимающим дела и интересы мужа. И все отношения Александра и Харитины освещаются в последней редакции романа светом большой идеи и большого чувства.

Работа, проделанная писателем над образом Пархоменко, способствовала типизации характера, воплотившего лучшие качества народа.

Углубляя вопрос о роли большевиков в революции, Иванов подверг значительной переделке образ комиссара Рубинштейна. В первой редакции это человек чудаковатый, любитель витиеватых выражений, он называет себя «конквистадором», и было неизвестно, кто он в социальном отношении.

В последней редакции социальное происхождение его прояснено. «Слесарь. Был хлебопеком, работал в лаборатории взрывчатых веществ, а затем окончил курсы политсостава в Москве. По национальности — еврей». Речь его утратила сложность и витиеватость. В образе Рубинштейна писатель убрал все, напоминавшее в какой-то мере штамп «кожаной куртки», подчеркнул преданность идеям революции, внутреннюю культуру (он знает и любит Чехова), обширные знания, скромность, простоту речи.

В последней редакции романа, таким образом, заметно стремление автора освободить произведение от всего случайного, несущественного, сделать книгу эпическим полотном о судьбах народа и революции.

Работа Вс. Иванова над характерами героев, углублением и конкретизацией общественно-исторической обстановки сказалась положительно и на композиции произведения, которое в новой редакции приобрело стройность архитектоники.

Роман выдержал 11 изданий, переведен на чешский, словацкий, польский, болгарский, румынский, венгерский и немецкий языки. На материале романа Вс. Иванов написал пьесу, которая в течение нескольких лет не сходила со сцены Центрального театра Советской Армии. Фильм, поставленный по роману режиссером Л. Д. Луковым, вышел на экраны в 1942 году. И пьеса и кинофильм приобрели острозлободневное значение в дни вторжения фашистов на землю нашей родины. «Во время Великой Отечественной войны я с особой силой ощущаю те лучшие качества советского человека,— его идейную убежденность, отвагу, презрение к смерти,— которые воплощены в героическом образе Пархоменко... Сейчас я с особенным душевным подъемом играю роль Пархоменко»,— отмечал Г. М. Васильев («Советское искусство», 1941, № 30, с. 3). Кинодра-

матург Е. Габрилович писал: «Фильм впечатляющ, мужествен, героичен — такова сила крупного характера, сила народа, сражающегося за свою землю» («Красная звезда», 1942, № 173).

Печатается по тексту издания: Вс. Иванов. Собр. соч. в 8-ми томах, т. 5. М., Гослитиздат, 1959.

Л. Иванова

* * *

Как уже говорилось выше, в последнее прижизненное издание романа «Пархоменко» автор внес ряд исторических уточнений. Однако в период этой работы в распоряжении Вс. Иванова не было еще многих документов и материалов, освещавших более полно и правдиво исторические события, описанные в романе. В частности, это касается обороны Царицына, плана борьбы с деникинской армией, советско-польской войны.

Следуя данным историографии своего времени, Вс. Иванов несколько односторонне изобразил ход боев за Царицын и положение в городе, не показал деятельность местной партийной организации, ее руководителей и ряда военачальников. Сейчас на основе вновь выявленных документов можно сказать, что партийная организация Царицына, насчитывавшая в описываемое время около двух тысяч коммунистов, возглавляла героическую оборону города, активно помогала военному командованию. За период обороны состоялось три партийных конференции (7 июня, 19 августа и 20 ноября), которые обсуждали вопросы мобилизации трудящихся и их участия в борьбе с красновцами. Руководитель местной партийной организации, председатель городского Совета и председатель штаба обороны Царицына С. К. Минин, наравне с И. В. Сталиным и К. Е. Ворошиловым, входил в состав Военного совета Северо-Кавказского военного округа и принимал активное участие в руководстве обороной. Он постоянно информировал В. И. Ленина о положении в городе и получал от него указания (см.: «Хроника истории Волгограда и области».— «Наш край», Волгоград, 1973).

17 сентября 1918 года С. К. Минин был введен в состав Реввоенсовета Южного фронта (см.: «Директивы Главного командования Красной Армии (1917—1920)», М., 1969, с. 793). С. К. Минин (1882—1962) член КПСС с 1905 года, впоследствии (с 1919 по 1921 г.) член Реввоенсовета Первой Конной армии.

Во второй книге 3-го тома «Истории КПСС» (М., 1968, с. 144) так говорится о роли рабочих и местной партийной организации в обороне города на Волге: «Партийная организация Царицына мобилизовала все силы для защиты города. В период боев в ряды совет-

ских войск влилось 10 тысяч рабочих, в числе которых было много коммунистов. Партийная конференция представителей районных организаций, состоявшаяся в августе 1918 года, отмечала, что у сознательных рабочих масс нарастал «...революционный дух и твердое стремление стоять вместе с нашими доблестными армиями на своих постах до конца, как бы трудно это ни было. Царицынские рабочие вместе с пролетариями Донбасса, отступившими к Волге под натиском немецких войск, явились главной силой в защите города».

В. И. Ленин, выступая на VIII съезде партии, «...подчеркнул подвиг советских войск, отстоявших Царицын, указав, что в истории революционного движения в России героизм царицынских бойцов займет величайшее место» (там же, с. 145).

Героическая оборона Царицына 1918 года подробно освещена на основе новых исторических документов в книге М. А. Водолагина «Бастионы славы» (М., Политиздат, 1974).

Ограничивая описание борьбы Красной Армии против войск Деникина в 1919 году событиями, связанными с изменой Махно и Григорьева (с. 339—356), подчеркивая нераспорядительность командарма-2 Скачко (с. 343), измену некоторых командармов (с. 350), автор сводит к этим причинам наши неудачи на фронте. Он так прямо и говорит устами Пархоменко: «Чем силен наш народ в тылу у белых? Партизанами. А чем слаб на фронте перед белыми? Партизанщиной. Это я, брат, из собственных уст Ленина понял» (с. 364).

В. И. Ленин неоднократно выступал против партизанщины и боролся с ее проявлениями, но никогда не считал ее главной причиной неудач Красной Армии на отдельных фронтах. Основной причиной неудач на Южном фронте было тяжелое положение на Восточном фронте, где наступал Колчак. Туда и перебрасывались все основные силы (об этом Вс. Иванов вскользь упоминает на с. 93). Поэтому пополнение для Южного фронта почти прекратилось.

Другой причиной было колебание среднего крестьянства на Украине, вызванное не только его социальной природой, но недостатками и ошибками партийных и советских органов в национальной, земельной и продовольственной политике, а также давлением на него особенно сильного и многочисленного на Украине кулачества. Из этих же особенностей социальных отношений на Украине вытекала и третья причина наших неудач — партизанщина, сепаратизм, самостийность.

К сказанному надо добавить, что Коммунистическая партия Украины была еще не достаточно сильна и хотя в мае 1919 года она насчитывала до 36 тысяч членов, но прирост ее происходил в значительной мере за счет ремесленных, мещанских элементов города, не прошедших школы пролетарской борьбы (см.: О. Слуцкий. Третий съезд КП(б) У. Киев, 1958, с. 154).

На странице 366 романа автор, опираясь на некоторые исторические работы своего времени, так рассказывает о положении в стране осенью 1919 года: «15 октября Политбюро ЦК РКП(б) определило Южный фронт как главный фронт Советской республики».

Это не совсем верно. Действительно ряд ответственных военных работников, в том числе и И. В. Сталин настаивали на том, чтобы сделать Южный фронт главным, Политбюро на заседании 15 октября 1919 года не приняло их предложения. Исходя из указания В. И. Ленина «Не изменять плана, *не трогать распоряжений,* не поддаваться панике, дать **добавочные** силы» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 39, с. 452), Центральный Комитет РКП(б) внес в ранее принятый план лишь существенные коррективы. В резолюции Политбюро ЦК от 15 октября была констатирована самая грозная военная опасность и было решено провести учет всех членов партии, чтобы распределить их по военной пригодности, дать на Южный фронт дополнительные силы, Тулу и Москву не сдавать (см.: «История КПСС», т. 3, кн. 2, с. 360).

При описании советско-польской войны автор, правильно рассказав о трудностях наступления на Львов и Варшаву (с. 494—513), не имел тогда возможности объяснить причины неудач Красной Армии на этом фронте. Только в последнее время, на основе новых документов, эти причины получили достоверное объяснение. Выступая с политическим отчетом на IX партийной конференции в сентябре 1920 года, В. И. Ленин «отметил, что ошибки, допущенные при наступлении на Варшаву, надо искать как в области политики, так и стратегии. Они проистекали из переоценки революционной готовности рабочих и беднейших крестьян Польши, а также переоценки сил советских войск на главном направлении». «Критикуя главное командование, Ленин не снимал ответственности и с Центрального Комитета, который рассматривал и утверждал стратегические планы» («История КПСС», т. 3, кн. 2, с. 499—500).

Поражение Красной Армии под Варшавой изменило ход войны в пользу противника, но не было полным проигрышем. Отмечая это, В. И. Ленин говорил: «Мы жестоко обманули расчеты дипломатов на нашу слабость и доказали, что Польша нас победить не может, мы же недалеки от победы над Польшей и были и есть» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, с. 281).

Положение Польши было чрезвычайно тяжелым, и она вынуждена была пойти на заключение мира с Советской Россией.

Войну с буржуазно-помещичьей Польшей и Врангелем принято теперь называть разгромом последнего похода Антанты, а не третьего, как это указывается в романе (с. 380, 381, 521).

Роман заканчивается рассказом о том, как в 1924 году Генеральный секретарь ЦК РКП(б) И. В. Сталин, хорошо знавший Пар-

хоменко в годы гражданской войны, принял участие в судьбе семьи героя. Это не художественный вымысел писателя. Такая сцена действительно имела место и описана сыном Пархоменко Иваном в его воспоминаниях, опубликованных в 1938 году в сборнике «Героическая юность» (с. 122—123).

А. Мельчин

«Сокровища Александра Македонского» («бакинский вариант») — впервые: Вс. Иванов. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., «Советский писатель», 1969 (в сокращении).

«Удивительно долго лежала во мне мысль о «Сокровищах Александра Македонского»,— писал Вс. Иванов в одной из заметок последнего года жизни (Архив Вс. Иванова). Самые первые материалы, связанные с этим романом, относятся к 1940 году, последние — к 1963-му. Весь массив рукописей, запечатлевших двадцатилетнюю работу над «Сокровищами Александра Македонского», хранится в архиве Вс. Иванова. Изучение этих рукописей позволило выявить несколько этапов работы над романом.

Замысел «Сокровищ Александра Македонского» связан с циклом фантастических или «таинственных» повестей и рассказов.

В работе над «Сокровищами Александра Македонского» писателя увлек с самого начала жанрово-сюжетный эксперимент, сказавшийся с особой силой в романах конца 20-х — первой половины 30-х годов («Кремль», «У», «Похождения факира»). Существо эксперимента, предпринятого в «Сокровищах Александра Македонского», высказано самим Вс. Ивановым в одной записи: «Начал писать «Сокровища Александра Македонского». Мне давно хочется написать приключенческий роман в новом стиле, соединив приключения, психологизм и некоторые размышления философского характера,— насколько, конечно, для меня возможно. И еще изрядную порцию красивых пейзажей» (Архив Вс. Иванова).

Роман о поисках сокровищ Александра Македонского, начатый в 1940—1941 годах, имел двойное название «Рыжее чудо мира — Моя первая книга стихов» и подзаголовок «Приключенческий роман». Наброски эти столь немногочисленны, что по ним трудно судить о стиле будущего произведения, но о жанре его можно сделать некоторые выводы. Сюжет поисков древних сокровищ (обнаружение тайны) в обстоятельствах живой современности завязывался уже в самой первой главе, но работа была прервана, вернее всего, войной, эвакуацией.

С декабря 1941 по октябрь 1942 года Иванов живет в Ташкенте, участвует в создании на Ташкентской киностудии фильма по его роману «Пархоменко». Возвратившись из Ташкента в Москву, вновь обращается к «Сокровищам Александра Македонского». 24 декабря 1942 года Иванов записывает в дневнике: «Окончательно придумал сюжет «Сокровищ Александра Македонского»,— и очень доволен им: много неожиданностей, препятствий, поисков. Если б удалось сделать характеры,— было бы чудесно. Уже хочется писать» («Переписка с Горьким», с. 365). Работа сопровождалась изучением разных источников об Александре Македонском и его эпохе (см.: письмо Т. В. Ивановой от 17/1—43 г. — «Всеволод Иванов — писатель и человек», с. 323; запись в дневнике от 19 февраля 1943 г.— «Переписка с Горьким», с. 374).

Сохранилось четыре варианта первой главы романа: два из них датированы 1942—1943 годами, на одном стоит дата: 23/III 1943 года, на последнем: 1943 год. События во всех вариантах отнесены к 1942 году. Каждая из глав — экспозиция романа, где только намечается будущая сюжетная коллизия, так или иначе связанная с геммой царя Александра Македонского — своего рода эмблемой его нераскрытых сокровищ.

В двух сохранившихся в архиве начальных «кусках» романа, выросших на «плацдарме» этих четырех вариантов первой главы,— сюжет, привязанный к гемме, остается ведущим. Эти два «куска» (объемом каждый около 3 печатных листов) разнятся более всего начальными 20 страницами, далее тексты почти совпадают. Один имеет подзаголовок «роман», другой — «фантастический роман». Действие в обоих развертывается в Баку.

Этот город Вс. Иванов впервые увидел в 1925 году, и он произвел на писателя сильное впечатление. С Баку и его окрестностями связана неоконченная пьеса Вс. Иванова «Верность» (1929—1930) и повесть (роман) «Путешествие в страну, которой еще нет» (1930). Вспоминая свою первую поездку в Баку, Иванов записывал: «В одном из кружков, занимающихся археологией, а их тогда в Баку было, кажется, несколько, мне показали диадему, которая будто бы принадлежала царице Роксане, жене Александра Македонского» (Архив Вс. Иванова).

Уже само название первой главы — «Обстоятельства, при которых я увидел гемму царицы Роксаны, супруги Александра Македонского», «куска», который публикуется в данном томе («бакинский вариант»), напоминает первые наметки романа (1940—1941). Опять перед нами «роман тайн», приключений, сложных поисков. Только теперь эти поиски осенены высокими патриотическими идеями, навеянными днями испытаний (первые месяцы войны). По-

вествование, как и в этих наметках («Моя первая книга стихов»), ведется от лица рассказчика — человека с воспаленным воображением, которого страстно влекут к себе тайны, притягивают люди, словно вышедшие из легенды.

Прошлое — далекое (эпоха Александра Македонского), недавнее — 1925 год и современность — дни войны — оказываются неразрывно связанными: прошлое врывается в настоящее и освещает характеры людей, их судьбы с неожиданной стороны. Так реализуется дорогая для Вс. Иванова мысль: «*Писатель* постоянно сравнивает прошлое и настоящее, отсюда выводя заключение, что настоящее проходит, походя на прошлое, и его стоит и уважать, и презирать; за свои мелочные страдания, которые повторяются и ничтожны» («Переписка с Горьким», с. 268).

В другом варианте 1943 года действие разворачивается в Ташкенте («ташкентский вариант»). Под пером писателя на этот раз родилось сатирико-романтическое повествование. Сатира была обращена против бюрократов, ставших участниками поисков сокровищ в Ташкенте 1942 года и, естественно, лишивших их высокой романтики. Поэтизировалась память народа (легенды, сказки...) — ключ к разгадке тайн.

Столкновение двух таких разных стихий, как сатирическая и романтическая, сформировало особую интонацию повествования, осложненную еще одним дополнительным обстоятельством: оно ведется от лица своеобразного рассказчика, в котором ожил популярный в классической литературе «простак» — человек наивный и всем восхищающийся. Вослед Н. В. Гоголю, автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Миргорода», Вс. Иванов таким путем достигает сильного иронического эффекта: «высоким штилем» повествуется о банальных сентенциях и прозаических поступках героев-бюрократов.

Из намеченных четырех книг «ташкентского варианта» была написана (да и то не до конца) лишь первая — «Коконы, сладости, сказки и Андрей Вавилыч Чашин» (см.: «Звезда Востока», 1967, № 3).

Мысли о «Сокровищах Александра Македонского» не оставляли Вс. Иванова все годы войны. «...даже в Нюрнберге в 1945 году я думал об этом романе» (Архив Вс. Иванова). Сохранились черновые записи, относящиеся к «Сокровищам Александра Македонского», датированные 1945 годом.

В «Истории моих книг» Вс. Иванов вспоминает, что после войны его охватило желание «соединить наши бурные годы с далеким прошлым; искусство этого далекого прошлого с современным, мечты прошлого — с мечтами нашими; людей былого с трепетными чуткими людьми нашего дня.

Поэтому, наверно, я вспомнил о сокровищах Александра Македонского и царицы Роксаны, о диадеме ее, которую я видел когда-то в Баку.

Не написать ли мне роман «Сокровища Александра Македонского»? Действие романа будет развиваться в наши дни в Москве и Казахстане — ведь Азербайджан и Баку я знал плохо. Роман можно развернуть, например, в предгорьях Джунгарского Алатау, где имеются следы древнейшей культуры того несторианского государства уйгуров, которое было здесь когда-то в глухой древности. Я поехал в Казахстан». В итоге этой поездки (май 1946 г.) родилась книга Вс. Иванова «Летом 1948 года» и новый вариант начала «Сокровищ Александра Македонского».

На первом черновом листе этого варианта писатель начертал: «Написано в 1948 г. после поездки в Джунгарский Алатау». Место действия на этот раз — Казахстан. Вокруг антитезы: новый город — сокровища древности — вращается мысль художника. Эта общая коллизия, как можно проследить по черновым записям, постепенно начинает материализоваться в частных сюжетных линиях. При разработке характеров Вс. Иванов, как бы забыв о запланированных приключениях, углубляется в анализ нравственного содержания личности, пытается уловить ее специфику и «стоимость». Две стихии: авантюрно-приключенческая и психологическая — оказывались трудно соединимыми: писатель ищет глубокую и современную мысль, которая стала бы стержнем разнопланового повествования. И как будто подобная мысль была автором нащупана (правда, в самом общем виде): это мысль о живой связи настоящего с прошлым. Но она, как демонстрируют черновики, так и не вросла в сюжет, не реализовалась в характерах.

Опыт «казахского варианта» был учтен уже с самого начала работы над следующим вариантом «Сокровищ Александра Македонского» (середина 50-х годов). «...для того, чтобы роман не был только набором приключений, он должен нести в себе современную большую тему. Такой темой, например, является тема современного искусства» («Переписка с Горьким», с. 265).

Был написан пролог — «Змий» (в кн.: «Переписка с Горьким», с. 288—294) и продуманы очень важные первые три главы (существуют в набросках), которые дают представление о четкой эстетической ориентации художника: он не сосредоточивается на острых сюжетных коллизиях, а стремится прежде всего проследить судьбу человека искусства, обнаружить его силу и слабость. Это уже явно иная программа, чем во всех предыдущих вариантах. Легенда о сокровищах Александра Македонского, в каждом из вариантов поданная по-разному, на этот раз связывается с Крымом (Коктебелем),

где ученые ищут статую Венеры, для которой якобы позировала Роксана — жена Александра Македонского (отсюда такие названия романа: «Венера Коктебельская», «Венера Карадагская», «Афродита с Черной Горы»...). В процессе работы над этим вариантом художника не оставляют сомнения: большая тема — драма человека искусства — опять, чувствует он, не вплетается в сюжет поисков.

С замыслом «Сокровищ Александра Македонского» в этом их «коктебельском варианте» переплелась судьба другого романа Вс. Иванова «Вулкан» (он тоже существует в нескольких вариантах, последний создавался в конце 50-х — начале 60-х годов). «Вулкан» впитал в себя итоговые размышления художника о судьбе таланта в искусстве. В этом романе реализовался и другой замысел, программированный в работе над «Сокровищами Александра Македонского» (50-е гг.): свести в одном повествовании современность и мифы (старые и новые). Отдав дорогие мысли и выстраданные художественные решения «Вулкану», Вс. Иванов, естественно, «обескровил» замысел «Сокровищ Александра Македонского».

Но мысли о «Сокровищах Александра Македонского» не оставляли писателя. 1960 годом датированы отдельные записи — размышления о жанре, который наиболее адекватен замыслу «Сокровищ Александра Македонского». В 1962 году Иванов записывает: «С. А. М.». Главное все-таки сейчас (отчего роман и не выходил так долго) — это не сказка (так я пытался осуществить роман «С. А. М.», т. е. в форме сказки), а *быль* — и притом самая едкая, насущная, так сказать. Сказки, оказывается, я попросту ⟨писать⟩ не умею; роман строить не могу, все распадается» (Архив Вс. Иванова).

В 1962 году рождается еще одна (последняя) серия черновых материалов на тему поисков сокровищ. Теперь главная сюжетная коллизия связывается непосредственно с нравственными вопросами, так увлекшими многих писателей в конце 50-х — начале 60-х годов. Излюбленная идея поисков сокровищ перестает быть для художника, безусловно (априори), оправданной; целесообразность их проверяется теми нравственными последствиями, которые повлечет за собой удача.

Надежда написать роман не оставляла писателя до конца его дней. В 1962 году, готовя для издательства «Советский писатель» план сборника повестей и рассказов, Вс. Иванов включает в него и роман «Сокровища Александра Македонского», имея в виду опять новый сюжет. Самая последняя запись о «Сокровищах...» датирована 1963 годом и подводит итог двадцатилетней работе над романом: «...придумано было много, но все вздор, мелочь, уже использованная другими в пошлейших сочинениях...» (Архив Вс. Иванова). В этой записи, как и во многих других записях Вс. Иванова, высказалась его

беспощадная самокритичность. «Меня постоянно мучило сомнение — то ли я делаю, так ли?» — признавался писатель («Переписка с Горьким», с. 315).

Двадцатилетний труд Вс. Иванова над «Сокровищами Александра Македонского», пусть и не вылившийся в законченное создание,— важный этап его творческой эволюции, демонстрирующий исключительную требовательность писателя к себе. Экспериментируя в сфере жанра, богатого традициями (приключенческий роман, «роман тайн»), Иванов вдохновлялся идеей первооткрытия новой жанровой формы, более всего его пугала перспектива написать что-либо, похожее на «мелочь, использованную другими». Многочисленные черновые и получерновые материалы, запечатлевшие работу над романом, дают яркое представление о «лаборатории творчества» писателя, в которой выкристаллизовывались идеи, поэтические формы, использованные им во многих других завершенных произведениях.

Для публикации в настоящем томе из всех материалов выбран наиболее сюжетно развернутый — «бакинский вариант» 1943 года.

Печатается по автографу (авторская машинопись), хранящемся в архиве Вс. Иванова. Машинопись черновая, поэтому, в частности, в ней спутаны имена героев, номера глав.

Е. Краснощекова

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРХОМЕНКО (роман) 7

Приложение. СОКРОВИЩА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО (роман) 557

Комментарии 605

Иванов Вс.

И20 Собрание сочинений. В 8-ми томах. Т. 6. Пархоменко. Роман. Изд. осуществляется под ред. Т. В. Ивановой, А. И. Пузикова, С. В. Сартакова. Коммент. Л. Ивановой, Е. Краснощековой, А. Мельчина. Оформл. худ. Л. Чернышева. М., «Худож. лит.», 1976.

623 с.

В томе помещен роман «Пархоменко» — одно из наиболее известных произведений писателя, в котором ярко запечатлен образ легендарного героя гражданской войны Александра Пархоменко. В качестве приложения публикуется один из вариантов неоконченного романа «Сокровища Александра Македонского».

И $\frac{70302\text{-}122}{028(01)\text{-}76}$ подписное **Р2**

ВСЕВОЛОД ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИВАНОВ

Собрание сочинений

Том 6

Редактор *Т. Аверьянова*

Художественный редактор *В. Горячев*

Технический редактор *В. Кулагина*

Корректоры *З. Тихонова* и *И. Тереховская*

Сдано в набор 15/VIII 1975 г. Подписано к печати 29/I 1976 г. А05020. Бумага тип. № 1. Формат 84×108¹/₃₂. 19,5 печ. л. 32,76 усл. печ. л. 34,905 уч.-изд. л. Зак. № 160. Тираж 100 000 экз. Цена 1 руб.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

Scan Kreyder - 23.01.2018 - STERLITAMAK

